
Ц
ент
риф
уга
,

Centrifuga

Russian Reprintings and Printings

Edited by
Karl Eimermacher, Johannes Holthusen,
Simon Karlinsky, Reinhard Lauer
and Vladimir Markov

Vol. 3. • 1972

Н. Берберова

КУРСИВ МОЙ

Автобиография

Nina Berberova

HERVORHEBUNG VON MIR

Autobiographie

Mit 12 Abbildungen

WILHELM FINK VERLAG MÜNCHEN

Gesamtherstellung: Grafoimpex, Zagreb

ДЖОНУ,
ФРЕДУ,
НАНСИ,
АЛИКУ и
МУРУ.

Если ты можешь посмотреть в семена времени и сказать, какое, зерно взойдет, а какое — нет, тогда говори со мной.

МАКБЕТ. Действие 1, сцена 3.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Эта книга — не воспоминания. Эта книга — история моей жизни, попытка рассказать эту жизнь в хронологическом порядке и раскрыть ее смысл. Я любила и люблю жизнь и не меньше ее (но и не больше) люблю ее смысл. Я пишу о себе в прошлом и настоящем, и о прошлом говорю моим настоящим языком. В разное время я писала случайные очерки воспоминаний и, когда говорила о себе, чувствовала себя не совсем ловко, словно я навязывала читателю героя, которого он от меня не ждет. Здесь я буду говорить больше о себе, чем обо всех других вместе взятых: почти всё здесь будет обо мне самой, о моем детстве, молодости, о зрелых годах, о моих отношениях с другими людьми — таков замысел этой книги. Мысль моя живет не только в прошлом (как память), но и в настоящем (как сознание себя во времени). Будущего может не быть вовсе, или может быть оно кратковременно, схематично и фрагментарно.

История моей долгой жизни имеет, в моем сознании, начало, середину и конец. В процессе рассказа будет ясно, в чем я вижу смысл этой жизни (и может быть — смысл всякой жизни) и где путь к этому смыслу или хотя бы — где то направление, где этот путь лежит. Я буду говорить о познании себя, об освобождении себя, о раскрытии себя, о зрелости, дающей право на это раскрытие, об одиночестве в муравьиной куче, которое для меня всегда было чем-то более соблазнительным и плодотворным, чем одиночество в гнезде.

Из трех возможностей: жить для будущей жизни, жить для будущих поколений и жить для сегодняшнего дня, я очень рано выбрала третью, „свирепейшую имманенцию", по выражению Герцена. Это одна из тех установок, которая пришла ко мне вовремя. Я во многом, но далеко не во всем, была развита преждевременно, но я научилась думать сравнительно поздно, и слишком часто я опаздывала, теряя

драгоценное время, — ту единственную основу жизни, ту ткань ее, которую нельзя ни купить, ни обменять, ни украсть, ни подделать, ни вымолить.

Автобиография в отличие от мемуаров откровенно эгоцентрична. Автобиография — рассказ о себе, воспоминания — рассказ о других. Впрочем, случается, что и воспоминания косвенно больше говорят о самом авторе, чем о людях, о которых он вспоминает. Я когда-то давно прочитала в одном еженедельнике очерк, назывался он „Три встречи с Львом Толстым". Первая встреча: автор приехал в Ясную Поляну, но Толстой был болен и не принял его. Вторая встреча: он пришел в Хамовники и узнал, что Толстого нет дома. Третья встреча: он приехал в Астапово, Толстой только что умер... О Толстом я не узнала ничего, но как много я узнала об авторе очерка! Я никогда не забыла его.

Сейчас большинство книг в западном мире — вот уже лет пятьдесят — пишутся о себе. Иногда кажется, что даже книги по математике и астрофизике стали писаться их авторами отчасти о себе. Моя задача написать о жизни осмысленно, не ставя смысла впереди жизни, будто ценишь его превыше всего, но и не ставя его позади жизни так, чтобы сквозь жизнь просвечивал ее смысл. Я хочу писать, осмысляя то, что было (и самое себя), т. е. давая факты и размышления о них. В этом двойном раскрытии мне представляется пережитое.

Я ни в кого никогда не могла заглянуть так внимательно и глубоко, как в самое себя. Иногда я старалась, особенно в молодости, это делать, но это мало удавалось мне. Быть может, есть люди, которые умеют это делать, но я не встречала их. Во всяком случае, я не встречала людей, которые могли бы заглянуть в меня дальше, чем я это делала сама. Познай самого себя — это всегда было ф а к т о м моей жизни, который, я не могу вспомнить когда, появился в моем сознании. Не познай вообще человека, или людей, или своих друзей, но именно самого себя. Я помню хорошо, как я впервые узнала, что земля круглая, или что все взрослые когда-то были детьми, или что Линкольн освободил негров (я долго думала, что он и сам был негр, глядя в его грустное, темное лицо), или что мой отец — нерусский.

Но я не могу вспомнить, когда в моем сознании появился факт о познании самой себя и смотрении внутрь себя. Сколько я помню, он всегда был во мне, только конечно в разное время по-разному: в шесть лет, в восемнадцать лет, в сорок лет. Кажется, мысль о познании себя всегда жила во мне, только иногда, например, между двадцатью и тридцатью годами, она дремала и только смутно сосуществовала со мной, а иногда, в раннем детстве и после пятидесяти лет, она ярко и требовательно руководила мной. Во всяком случае, пребывая со мной постоянно, она была ярче и требовательней в детстве, чем в молодости, и всего сильнее и неотступнее живет со мной сейчас.

У каждого человека есть тайны. Но некоторые люди несут их сквозь жизнь, как тяжесть, а другие дорожат ими, берегут их, считают их не омертвелым грузом, но живой силой, которая живет и развивается и дает жизнь вокруг себя, той силой, из которой, собственно, до последней минуты существования произрастает личность. Через эти тайны прошлое во мне соединяется с настоящим. Я принадлежу к людям, у которых нет ничего, что бы они тащили за собой, как мертвую тяжесть, подавляющую или угнетающую их. То, что я в свое время не сбросила с себя, увидев, что оно бесплодно, тому я дала цвести в себе, быть живым, менять меня, давать жизнь моей жизни. Я — кажется — из всякого балласта делала что-то (горестное или радостное), но непременно живое. Смотря на себя, я вижу, что мне, как говорится, всё шло впрок, и если расплата за это иногда бывала непомерной, так ведь это была расплата за жизнь. И у меня было постоянное сознание, что за жизнь не может быть и нет непомерной расплаты, что бояться переплатить — значит внутренне умереть.

Я никогда не чувствовала свою отъединенность от мира и даже если говорить правду, чувствовала свою сознательную слитность с ним еще тогда, когда лет 25—30 тому назад и не подозревала, что человек и скала — одно и то же, что нет органического и неорганического мира, что звездная туманность повторяет рисунок новооткрытых элементов и что человек по своим размерам стоит посередине между этой звездной туманностью и атомом. Заряд энергии, который есть во мне и который я ощущаю, как волну тепла,

проходящую по мне, когда я говорю слово „я", не может быть отъединен от всей энергии или суммы энергий мира в скале, в звезде, в другом человеке. Она — часть целого, и я — часть вселенной. И бывают минуты, когда эту часть вселенной я ощущаю больше целого. Я знаю, что мне, фактом моего рождения, был дан этот электрический заряд, колоссальный заряд громадной силы, если принять во внимание долголетие, здоровье, самосознание и возможность — до сих пор — моего самоизменения, и что в миг, когда его не будет — его не будет.

Я сказала „самоизменения". Познание себя было только первой задачей, второй было самоизменение. То есть, узнав себя, освободить себя, прийти к внутреннему равновесию, найти ответы на вопросы, распутать узлы, свести путанный и замельчанный рисунок к нескольким простым линиям. Получить то, что никогда ни отнято, ни нарушено быть не может: сознание, что эмоциональная анархия молодости, интеллектуальные игры, затянувшийся вельтшмерц и трепеты дрожащей твари XX века — позади, что нет больше страхов, суеверий, колебаний, оглядки на других и модных миражей. И значит в обретенном равновесии найти уверенность, что эти чудовища уже никогда не сделаются навязчивыми идеями, от которых в старости нет спасения.

Процесс разрешения этих двух задач и был драгоценной частью моей жизни.

Всё это звучит страшно серьезно. Читатель может быть уже видит перед собой строгое лицо, очки, усы, вставные зубы, седые, прямые, коротко остриженные на затылке волосы (редеющие на темени) и то скучное, толстое и действительно „вечное" перо, которое держит артритическая рука с синими жилами. Картина неверная. У меня не только нет усов, но и бровей-то немного. В юности у меня было лицо миловидное и без всякого выражения, годам к сорока лицо сделалось худым и очень грустным. А теперь не мне судить, какое оно. Да я и не очень сейчас помню его, когда это пишу. Знаю только, что время поработало топором над моими чертами: оно отточило подбородок, обрисовало рот, подняло скулы, срезало щеки. Лоб стал твердым, и весь овал в своих тенях живет теперь жизнью куда более ин-

тенсивной, чем на ранних фотографиях. Но нос у меня до сих пор короткий.

А пишу я обыкновенным карандашом.

Трансцендентное меня мало интересует. Оно для меня лежит где-то неподалеку от „опиума для народа" и его, как уголь или нефть, кто-то эксплоатирует. Меня это не касается. Как только оно выходит из своих недр и пытается вмешаться в мою жизнь, я настораживаюсь: оно несет с собой ложные истины, легкие ответы, и его нельзя подпускать близко. Всё, что в христианской религии — одном из элементов нашей цивилизации (ныне на наших глазах сливающейся с культурой) — есть высокого, есть и было в других религиях, которые тоже есть и были элементами цивилизации. Бога убивали, бога „вкушали" всегда и всюду. Ни Деяния апостолов, ни Апокалипсис, ни церковь не взорвали рабства, Новый завет ни слова не сказал о животных и скорби мира в их глазах. Девятнадцать столетий после заповедей блаженства люди всё еще смеялись над горбунами, уродами, калеками, над импотентами обоего пола, над обманутыми мужьями и старыми девами. Освободив людей духовно, христианство не освободило их социально, и только демократия XIX и XX веков отучила людей кичиться богатством и презирать бедность, предложила один закон для всех и право не быть ни проданным, ни купленным.

Одно убеждение постоянно жило и живет во мне, что мой век (с которым вместе я родилась и вместе старею) — единственный для меня возможный век. Я знаю, что многие судят этот век иначе. Но я сейчас говорю не о мировом благополучии или о счастье жить в своей стране, а о чем-то более широком. Как женщина и как русская, где, в каком еще времени могла я быть счастливее? В XIX веке, среди пушкинских Нанетт и Зизи? Среди герценовских Наталий (или их воспитанниц)? Среди дочек и маменек нарождающейся буржуазии? Или ученых поборниц женского движения? Или может быть в XVIII столетии? Или еще раньше, когда по всей Руси спали, ели и молились, молились, ели и спали молодые и старые?

Я пришла на готовое. Вокруг меня лежат сокровища — только успевай их хватать. Я свободна жить где хочу, как хочу, читать что хочу, думать обо всем, о чем хочу, так,

как я хочу, и слушать кого хочу. Я свободна на улицах больших городов, где никто не видит меня, когда я иду под проливным дождем, не зная куда и откуда, бормоча стихи; и в лесу, и на берегу моря в благословенном одиночестве и музыке, звучащей во мне; и у себя в комнате, когда закрываю дверь. Я могу знать всё, что хочу знать, и я могу забыть всё, что мне не нужно. Я могу задать любой вопрос и получить на него ответ. Я выбираю своих друзей. Я счастлива, что все теоремы моих незрелых лет разрешены. Я никогда не притворяюсь — умнее, красивее, моложе, добрее, чем я есть на самом деле — с целью казаться иной, чем я есть, потому что в этой неправде нет для меня никакой нужды. Я живу в невероятной, в неописуемой роскоши вопросов и ответов моего времени, которые мне близки и которые я ощущаю, как свои собственные, в полной свободе делать свой выбор: любить то и тех, кого мне хочется. Я нахожусь в центре тысячи возможностей, тысячи ответственностей и тысячи неизвестностей. И если до конца сказать правду — ужасы и бедствия моего века помогли мне: революция освободила меня, изгнание закалило, война протолкнула в иное измерение.

Освобождать себя от последствий буржуазного воспитания (тяжелая задача, которой занимаются вот уже пятьдесят лет во Франции Луи Арагон и Жан-Поль Сартр) мне было не нужно: я росла в России в те годы, когда сомнений в том, что старый мир так или иначе будет разрушен, не было, и никто всерьез не держался за старые принципы — во всяком случае в той среде, в которой я росла. В России 1912—1916 г. г. всё трещало, всё на наших глазах начало сквозить, как истрепанная ветошь. Протест был нашим воздухом и первым моим реальным чувством. И я только очень поздно, лет двадцати пяти, узнала, что я принадлежу по рождению к буржуазному классу. Не чувствуя с ним никакой связи (главным образом потому, что ведь вся моя жизнь прошла среди деклассированных изгнанников, какой я была сама, и какими были герои моих рассказов и романов), я должна всё-таки сказать, что буржуазия, как класс, для меня всегда была и любопытнее, и интереснее, чем, например, остатки класса феодально-аристократического, и пожалуй так же любопытна и интересна, как и рабочий

класс, но гораздо менее, чем класс так называемой интеллигенции, деклассированной или нет, к которому я чувствую себя наиболее близкой. А наиболее далеко стоят от меня все власть имущие — диктаторы, триумвиры, личности, дождавшиеся культа, и личности, культа дожидающиеся, и всяческие добрые и злые короли — динозавры, которым следует во всех смыслах (если предложен выбор) предпочитать акул.

Всё это не имеет прямого отношения к трудной или легкой жизни, к работе ради хлеба насущного, к быту, перед которым (за малыми исключениями) мы все равны.

В быту всякий труд, какой бы он ни был тяжелый, всегда должен иметь для меня след хоть какого-то символического значения: мне было бы легче набивать новые подметки на старые сапоги или шить мешки, чем высчитывать задолженность или торговать ненужными предметами. Но всё это — быт и хлеб насущный — горизонтальная плоскость нашего общего существования, я говорю не о ней сейчас, я говорю о его вертикали. Когда-то в вертикальном измерении (интеллекта) жили очень немногие, и те, которые жили, часто страдали от чувства вины перед остальными, которые жили в измерении горизонтальном. Сейчас все люди, которые того хотят, могут научиться жить по вертикали со спокойной совестью: для этого необходимо три условия — хотеть читать, хотеть думать, хотеть знать. Как сказал Ясперс: чихать и кашлять учиться не надо, но мыслям надо учиться. Разуму надо учиться. Разум не есть функция организма.

Когда я вспоминаю себя в раннем детстве (я помню себя без малого трех лет), я вижу людей-великанов и огромные предметы, деформированные потому, что я смотрю на них снизу, как существо очень маленьких размеров. Высоко надо мной я вижу ветку яблони (на самом деле взрослому человеку она доходит до пояса). Я не могу ее схватить, становлюсь на цыпочки и протягиваю к ней руки. Я вижу громадный розовый дом, который на самом деле был одним их тех „домов с мезонином", о которых писал Чехов. Я вижу великана с целым кустом сирени в руках, сидящего напротив меня на палубе парохода, идущего по Неве от Смольного к Адмиралтейству, в солнечный, голубой день. Он

улыбается и дает мне ветку, он чужой, но я не боюсь чужих, я беру у него эту кисть сирени и мне приятно, что я понравилась ему. Я вижу где-то под самым небом окно, и кто-то кивает мне, и манит меня, весь белый и немного страшный — это протирают стекла, намотав на швабру белую тряпку. Ветка яблони в конце концов после того, как ее пригнули, попадает в мои протянутые руки, я повисаю на ней и качаюсь, воображая, что дерево — это просто громадный цветок и я теперь вишу на этом цветке, вроде букашки. Я падаю, сорвавшись, мне не больно, и я встаю и бегу куда-то, где зелень гуще, где пахнет сыростью, где шелковая трава, и там у старого деревянного сруба останавливаюсь и нагибаюсь над чем-то, что кажется мне бездной, пока меня, схвативши сзади, не оттаскивают. Это — старый колодец, и я каждое лето буду смотреть в него: он пуст и сух, и черен, и в нем давно нет воды. Но я каждый год буду смотреть в него, всё дольше и дольше, пока наконец лет в двенадцать я не почувствую желания спуститься в него. Но спуститься не на чем, можно только стоять и слушать, как в глубине, давно сухой, что-то иногда потрескивает и шелестит. И тогда мне придет в голову, что меня кто-то может посадить туда и забыть, и я там буду умирать от жажды. И сейчас же мне захочется, чтобы это случилось как можно скорей, чтобы на дне колодца найти родник, ключ, который станет поить меня. Я найду его и буду пить из него, и никто не будет знать, что я жива, что я продолжаю думать, сочинять стихи про колодец и ключ и что этот ключ бьет только для меня одной.

Мой дед со стороны матери принадлежал к вольнолюбивому тверскому земству, а лицом был совершенный татарин. Его звали Иван Дмитриевич. С Дмитрия Львовича, отца его, Гончаров писал своего Обломова и однажды, будучи в гостях у своего героя, забыл бисерный футляр для часов, которым я в детстве играла. Футляр был потертый, страшно засаленный, и мне его не позволяли брать в рот, но я ухитрилась всё-таки попробовать его — вкусом он напоминал куриную котлетку. При отце Дмитрия Львовича, Льве Ивановиче, сгорел старый белый ампирный дом и был выстроен новый, розовый, который я знала. Об Иване Семеновиче, отце его, было известно только одно, что он выстроил цер-

ковь в самом конце сада и был похоронен под ней. О Семене Юрьевиче ничего известно не было, зато Юрий (уже без отчества) был тот самый, который получил от Екатерины Второй всю эту болотистую и лесную землю, с шестью деревнями и пятью тысячами десятин лесов, болот, лугов и пахотной земли. Вся галерея предков висела в полутемной гостиной: Юрий (без отчества), похожий на Державина, весь в орденах и буклях, Семен Юрьевич и его жена, с сильно раскосыми глазами, Иван Семенович, благообразный и богомольный, в высоком воротничке, Лев Иванович и его три сестры, все четверо в профиль и рисованные пастелью, и наконец — Дмитрий Львович, весивший под старость одиннадцать пудов. Лет до шести я путала собственного прадеда, Илью Ильича Обломова и его автора, и мне казалось, что Обломов и был тем писателем, который бывал в доме и написал известный роман из жизни Дмитрия Львовича, который стал таким толстым потому, что был ленив (следы семейной басни с подобающим нравоучением).

Из татарского „черного города" приехал на Русь, в царствование Ивана Грозного, а может быть был привезен, Кара Аул. Он крестился и не вернулся в свое татарское царство. Что делали его потомки те двести лет, которые прошли до того дня, когда Екатерина подарила Юрию имение, за что это имение было ею подарено и каким образом Юрию дались его ордена и букли, осталось мне неизвестным. Старины в доме было не много, всё, что было, было связано с прошлым веком, о позапрошлом и помину не было. На чердаке, в беспорядке, покрытые паутиной, валялись старые кринолины, бархатные альбомы, глобус, комплект „Вестника Европы" и большое количество флер д'оранжа, символа невинности, который надевался дворянским невестам на голову в день свадьбы. Из него я как-то раз сплела венок для старого сенбернара.

Дед был небольшого роста, с круглым брюшком, с одним черным зубом во рту и курчавой зелено-серой бородой, в которой иногда что-нибудь застревало. Я помню его домашним, и помню его парадным, когда он, мертвый, лежал в гробу, после того как служащий похоронного бюро надел на него вицмундир, ордена и ленту и раскрасил его розовой и палевой краской (это делалось для того, чтобы мертвец

выглядел живым и красивым). Служащий похоронного бюро заперся с ним часа на два и разделал его таким румяным, веселым и нарядным, что даже борода перестала быть зеленой, а стала голубоватобелой. Домашним он был совсем другой: часто, уже в глубокой старости, его костюм бывал в беспорядке и под носом висела небольшая капля, говорили, что это оттого, что он принимает йод. Я не знаю, что именно делал он в Петербурге — вся его жизнь была посвящена городу Устюжне и Весьегонскому уезду Тверской губернии. Сейчас поблизости этих мест сооружено Рыбинское водохранилище, чтобы поить Волгу водой широких и ленивых вологодских, тверских и ярославских рек. Во время моего детства это были бедные места, крестьяне жили в нищете, земля рожала плохо, железная дорога проходила в девяноста восьми верстах от усадьбы, и в детстве я только и слышала, что дед крестит у крестьян, выхлопатывает способным стипендии в уездную прогимназию, устраивает кого-то в больницу в губернском городе, приглашает в волость нового фельдшера, гонит спившегося попа из соседнего села.

Да, это были бедные, печальные и дикие места: в лесах дремучих и воистину девственных водились волки и медведи — их редко трогали; река Саванка, приток Мологи, была неприступна из-за количества комаров, тучами круживших над ней, в болотистых берегах легко было завязнуть; поля тянулись на сотни верст, горизонт был прям и тверд; дороги, часто гати, уходили в бескрайние дали, где только жаворонки пели свою песнь.

Семья Карауловых была большая и, вспоминая свое детство, я вижу, что не всё в этой семье было благополучно: бабушка, мать моей матери, видимо сделала небольшой мезальянс, выйдя за дедушку, человека, принадлежавшего всем сердцем эпохе великих реформ, а позже — кадетской партии, вместе со своими друзьями, членами Государственной думы Петрункевичем, Колюбакиным и, конечно, Ф. И. Родичевым, знаменитым думским трибуном. Бабушка была из сановной семьи, не любила вольнодумств, какие-то родственники ее были министрами и иными высокопоставленными лицами, и все эти больницы и гимназии, которые помогал строить дед, были ей совершенно, я бы сказала,

противны. Она умерла, когда мне было двенадцать лет, и я думаю, что она мало чем отличалась от своей матери или бабки, говоривших „ты" слугам и втайне считавших крепостное право злом средней руки.

Родичев, Федор Измайлович, у которого был такой могучий голос, что фрейлейн и я слышали его с другого конца сада, когда он приезжал, и другой кадет, член Государственной думы, Колюбакин, и Павел Ассикритович Корсаков (женатый на дочери бывшего крепостного, женщине передовой и образованной, отец „Ванечки", однокашника Осипа Мандельштама по Тенишевскому училищу) — всё это были друзья деда. Уездный предводитель дворянства, попечитель женской гимназии, мировой судья, основатель реального училища — всем этим он был, и земская деятельность заполняла его жизнь. Не знаю, на каком основании он получил чины и каким образом умер действительным статским советником, не знаю даже, почему на официальном портрете, висевшем в каком-то уездном учреждении, видимо им основанном, он был изображен с красно-белой лентой через плечо — не то с Анной, не то со Станиславом на шее (таким, каким лежал потом в гробу). Я только раз видела его едущим на официальный прием, это был какой-то смотр дворянству, устроенный Николаем Вторым, когда дед вдруг снял свой уютный, обсыпанный перхотью сюртук и надел шитый золотом мундир, и даже треуголку (всё тщательно проветренное на морозе), и стал похож на городничего из „Ревизора", каким его играл в Александринке В. Н. Давыдов. Позже он рассказывал, что на приеме стоял руки по швам. Николай медленно шел, останавливался, задавал вопросы. Он остановился около деда, спросил: далека ли от его мест железная дорога? Дед не удержался и ответил: „Сто верст, ваше величество. Пора бы провести ветку в нашу сторону, давно пора."

— Россия велика, — сказал царь, грустно улыбнувшись, как и подобает царям, — нельзя в такой великой стране всё сделать сразу.

(Какие темпы, собственно, считал он приличными для перемен в России? Ему самому дали по шапке на сто лет позже, чем следовало!)

Это было в Петербурге. В тот год мы вместе с дедом в первый раз проехались на трамвае. Они стали ходить от Николаевского вокзала, до того были только конки. Поехали мы в гости к его сестре. У него были две сестры, которых я, конечно, знала только в старости, и о них я хочу сказать здесь несколько слов.

Ольга Дмитриевна для меня всегда была каким-то подобием Анны Карениной. Она была замужем за князем Ухтомским, сошлась с другим, родила от этого другого сына (впоследствии — скульптор, женатый на Евг. Павл. Корсаковой, расстрелянный в 1921 г. по делу Таганцева), уходила от мужа, возвращалась к нему, ездила за границу и не получила развода. Сын другого носил фамилию мужа, и этот муж, хоть и знал, что сын не его, не отдавал ей мальчика и мучил их всячески. Эта нелепая и тяжелая история кончилась тем, что в конце концов все умерли после страданий, „позора", „скандала" и потери средств к существованию. Почему дед повез меня к ней, я не знаю; я конечно ничего тогда обо всем этом не знала, видела перед собой уже очень пожилую, но еще красивую и ласковую женщину. Кряхтя, дед влез в трамвай и вылез из него. Всё вместе оставило во мне какое-то меланхолическое впечатление.

Другая сестра деда, которую звали Алина, была совсем другой судьбы. Она время от времени появлялась в имении и была в полном смысле слова посмешищем прислуги: стриженная под гребенку, носившая мужскую одежду, говорившая басом, она была не то мужчиной, не то женщиной, а вернее всего гермафродитом. Замужем она, конечно, никогда не была, обо всем имела свое собственное мнение, которое выражала резко, не заботясь о том, какое это и на кого произведет впечатление. Мне всегда хотелось узнать, бреется ли она. В ее жизни было десять лет, о которых никогда не говорилось. В последний раз, когда я видела ее, мне было лет тринадцать. Она была полупарализована, едва влезла в шарабан (теперь она носила широкие до полу канифасовые юбки и курила трубку) и села рядом со мной. Я взяла вожжи в руки и мы тихонько поехали по пыльной колеистой дороге в поля, кататься, так просто, без всякой цели. Чтобы ее занять, я читала ей стихи — свои и Блока,

которые тоже выдавала за свои. Они ей нравились. Надо ли говорить, что Алина и Ольга Дмитриевна приглашались в дом бабушкой, когда других гостей не бывало?

В кабинете деда, где когда-то сидел Гончаров и, как я понимаю, изучал своего героя, сидела теперь я. К деду ходили по утрам крестьяне, или, как их тогда называли, мужики. Были они двух разных родов, и мне казалось, будто это были две совершенно разные породы людей. Одни мужики были степенные, гладкие, сытые, с маслянными волосами, толстыми животами и раскормленными лицами. Они были одеты в вышитые рубашки и суконные поддевки, это были те, что выходили на хутора, то есть выселялись из деревни на собственную землю, срубив новые избы, в еще недавно дедовском дремучем лесу. Они в церкви шли с тарелкой, ставили у образа „Утоли моя печали" толстые свечи (хотя какая могла быть у них печаль?), Крестьянский банк давал им кредит и у них в избах, где я иногда бывала, стояла на окнах герань и пахло сдобным кренделем из печки. Сыновья у них росли энергичные, они начинали новую жизнь для себя, а для России — в зародыше новый класс.

Другие мужики были в лаптях, ломали шапку, дальше дверей не шли, одеты были в лохмотьях и лица их были потерявшие всякое человеческое выражение. Эти вторые оставались в общине, они были низкорослые, часто валялись в канаве подле казенной винной лавки и почему-то всегда выходило так, что у них детей было мал-мала-меньше, баба на сносях или в чахотке, а малыши в коросте, и дома у них (где я тоже бывала не редко) разбитые окна были заткнуты тряпкой, и теленок с курами находился тут же, и пахло кислым, в то время как у степенных и толстых почему-то всегда вырастали ловкие, веселые и работящие сыновья, невестки на загляденье, а когда появлялись внуки, их отсылали в уездный город в реальное училище. Бабушка, конечно, терпеть не могла ни тех, ни других.

Деда, который был всей душой против Столыпинской реформы и всецело за общину, видимо всё это часто мучило; сознание, что кругом всё еще продолжается трехпольная система, и в амбарах ближайшей деревни всё еще молотят цепами, и в некоторых волостях нет других школ кроме

приходских, и что маккормики живут главным образом в Англии, а не в России, видимо нагоняло на него порою тоску, потому что вдруг, ни с того, ни с сего, походив часа два по зале по диагонали, заложив руки за спину, он приказывал закладывать тарантас и уезжал на неделю. Возвращался он как-то незаметно, проходил к себе в кабинет (где спал по тогдашнему обычаю на тахте) и с слегка виноватым видом являлся в столовую. С женой своей он разговаривал мало. Много позже я узнала, что в Новгородской губернии у него была вторая семья: женщина, на много моложе него, которую он любил, и трое детей. Я была счастлива узнать об этом.

Мне было десять лет, когда мне в голову пришла странная мысль о необходимости скорейшим образом выбрать себе профессию. Возвращаясь мысленно к этому времени и роясь в ранних событиях моего детства, я могу теперь объяснить (хотя может быть только частично) это желание найти себе в жизни дело: года за четыре до этого я совершенно случайно, но с неопровержимой силой узнала, что у мальчиков есть что-то, чего нет у девочек. Это произвело на меня ошеломляющее впечатление, однако ничуть меня не обидело и не привело ни к зависти, ни к чувству обездоленности. Я, впрочем, очень скоро забыла об этом обстоятельстве и оно — во всяком случае на поверхности — не сыграло роли в моем дальнейшем развитии, но видимо застряло в подсознании (или там, где ему полагается быть). В недетской силе едва сформулировавшегося желания иметь профессию „на всю жизнь", иметь что-то, что могло бы срастись со мной, как рука или нога, и быть частью меня я теперь вижу некую компенсацию чего-то, чего я, как девочка, была лишена. Я искала не только самую профессию, но и акт выбора ее, акт сознательного решения, и этот акт вырос из неизвестного мне тогда тайника. Теперь я хорошо знаю, что не все решительные и бесповоротные действия мои на протяжении шестидесяти лет были результатом сознательного решения: отъезд из России в 1922 году не был таким результатом, а неотъезд из оккупированной Франции в 1940 г. им был. За всю мою жизнь ответственный выбор, имевший значение для моей судьбы и индивидуальности (значение глобальное или тоталитарное), был сделан мной не более

четырех-пяти раз, но, признаюсь, каждый раз этот сознательный выбор давал мне сознание силы жизни и свободы, острое ощущение электрического заряда, которое можно назвать счастьем, вне зависимости от того, нес ли этот выбор за собой житейское благополучие или явный ущерб его. И ощущение „электрического счастья" не уменьшалось от того, что выбор мой был частично обусловлен законами времени, то есть, законами биологическими и социальными. Я не мыслю себя вне их.

Осуществление первого сильного желания выбрать, решить, найти, сознательно двинуть себя в избранном направлении, дало мне на всю жизнь, как я понимаю, чувство победы не данной свыше, но лично приобретенной, — не над окружающими, но над собой. И вот я написала на листе бумаги длинный список всевозможных занятий, совершенно не принимая во внимание того обстоятельства, что я не мальчик, а девочка, и что значит такие профессии, как пожарный и почтальон собственно должны были быть исключены. Между пожарным и почтальоном, среди сорока возможностей, была и профессия писателя (я не придерживалась строго-алфавитного порядка). Всё во мне кипело, мне казалось, что необходимо теперь же решить, в самом срочном порядке, кем я в жизни буду, чтобы соответственно с этим начать жить. Я смотрела в свой список, словно стояла перед прилавком с разложенным товаром: мир открыт, я вошла в него, ворохом рассыпаны передо мной его ценности. Даром бери! Всё твое! Хватай, что можешь! Алфавитный порядок не совсем тверд в уме: мне не совсем ясен тот закоулок, где ять, твердый знак и мягкий знак играют с буквой ы в прятки. Но мир настежь открыт передо мной, и я начинаю лазать по его полкам и ящикам.

И вот, после долгих размышлений, в полном одиночестве и секрете, решение пришло ко мне. И тогда из меня хлынули стихи: я захлебывалась в них, я не могла остановиться, я писала их по два, по три в день, читала их самой себе, Даше, фрейлейн, родителям, знакомым, кому придется. Это суровое чувство профессии всю жизнь уже не оставляло меня, но в те годы оно, мне кажется, было не совсем обычным: ведь в десять лет я играла в игры, норовила увильнуть от приготовления уроков, стояла в углу, колупая шту-

катурку, — словом была такой же, как и все дети, но рядом с этим жила постоянная мысль: я — поэт, я буду поэтом, я хочу водить дружбу с такими же, как я сама; я хочу читать поэтов; я хочу говорить о стихах. И теперь, смотря назад, я вижу, что мои две сильные и долгие дружбы были с такими же, как я, пишущими стихи, выбравшими для себя в жизни призвание, прежде чем войти в жизнь. Один расстрелян в годы сталинского террора, другая в сталинском терроре потеряла двух мужей.

Я хорошо помню то лето и поиски профессии. Я решила испробовать всё, что возможно, и не терять времени, которым я всегда очень дорожила. Сначала вопрос встал: не быть ли акробаткой? Несколько дней я упражнялась в гимнастике, но мне это очень быстро надоело. Затем я обратилась к естественным наукам и, набрав в банку воды из пруда, целыми часами наблюдала за инфузориями. Но и это показалось скучно. Узнав, что есть люди, которые записывают народные песни, я взяла тетрадку и карандаш и отправилась вечером на дойку. Там девки пели: „Как сегодня горох, да и завтра горох, приходи моя милáя, подоивши коров." Записать было не трудно: песня была пропета раз двести, пока не передоили всех коров — а их было немало, потому что дед в эти годы жил главным образом продажей сливочного масла и голландского сыра, который выделывался тут же, в избе, называемой заводом. Но и фольклор не удовлетворил меня, и на меня нашло что-то вроде черной тучи. Я боялась, что меня подымут на смех, а вместе с тем было ясно: я должна была не откладывая в долгий ящик найти себе профессию. Я слонялась целыми днями по дому, по саду, по двору, упала в крапиву, была укушена гусем, рыдала на чердаке под кринолинами, но профессия мне не являлась. В этом безутешном состоянии мне попалась „Молитва" Лермонтова. Я переписала ее, подписала ее. Она утешила меня, мне показалось, что я ее сама сочинила.

Все семь дочерей сельского священника, из которых две младшие были моими сверстницами (так же, как их брат, со странным именем Авенир), твердо знали с самых ранних лет, что они пойдут в сельские учительницы, и это очень нравилось мне. Священник был беден и совершенно необра-

зован, но у дочерей его были стипендии и они жили зимой в городе. Бедность в доме была ужасающей, и они стыдились меня, когда я заставала старших босиком, моющих в доме полы, а младших хлюпающих по навозу во дворе, бегающих от свиньи к корове, облепленной синими мухами. Эти четыре дома, стоявшие между усадьбой и церковью, были окружены густыми кустами сирени, жасмина, жимолости. У дьякона жена была глухонемой, у псаломщика дети лет до десяти ходили голые — такая была нищета. Четвертый дом принадлежал двум старухам, одна была без носа. Они бросались целовать мне плечи, руки, платье, когда я проходила мимо. Горничная Даша сказала мне однажды, что они „бывшие гулящие" и если много гулять, то останешься без носу. Им посылали остатки праздничных обедов. Кто были эти женщины? Почему дедом им был дан дом между домами попа и дьякона? Они считались портнихами. Возможно, что это так и было когда-то, но сейчас — растрепанные, седые, страшно худые, они были похожи на старых ворон.

Мне было стыдно, что они целуют меня, мне было стыдно босых ног поповых дочерей, и своих собственных босых ног, и даже голых рук летом, не говоря уже о купальном платьице, в которое меня рядили, хотя в воду я не шла, или шла с воем. С тех пор, как я себя помню, и лет до двенадцати-тринадцати, я изнемогала от стыдливости. Стыдно было показать пальцы ног. Стыдно было за сказанную глупость. Стыдно было за бальное платье матери, в котором она показывала свои красивые плечи, стыдно было обкусанных ногтей и царапины на носу. Иногда бывало стыдно за чужую глупость, за ошибку очередного кумира (Ходасевич в шутку называл стыд за другого „гипертрофией чувства ответственности"). Но конечно больше всего было стыдно пальцев ног. Когда меня еще мыли в корыте, я старалась, чтобы мыльная пена прикрывала их, чтобы они были одеты ею. И самым страшным была для меня пара легких, скрипучих сандалий: вот эти в воде не тонут и в огне не горят, сказал приказчик обувного магазина в Гостинном дворе, примеряя их мне (я, разумеется, была в черных рубчатых чулках, так что могла кое-как всё это вытерпеть без рева). Не горящие, не тонущие сандалии стали

для меня на несколько лет образом непобедимого и неотвратимого летнего ужаса.

В церковь я не ходила. Сначала меня водили, потом, когда я подросла и водить было уже невозможно, я старалась увильнуть от „Утоли моя печали" и всего того, с чем я не чувствовала ничего общего. Помню, когда еще мне приходилось бывать там, как каждое воскресенье в левом приделе стояли рядом маленькие гроба с младенцами — шесть, восемь, иногда и больше. Младенцы были все одинаковые, похожие не то на кукол, не то на пасхальных поросят, которым кладут в рот салатный листик. Некрещеных хоронили в одной стороне кладбища, крещеных в другой. Дед говорил с ностальгией: „Да, так-то братец (это он мне говорил „братец"), у нас вот так-то. Глушь. Это тебе не Московская губерния и не Орловская губерния. Это, братец, наши места: девяносто восемь верст до железной дороги, шестьдесят шесть верст до ближайшей больницы, сорок три версты до фельдшера. И так далее, братец, и так далее. И бездорожье, смотри-ка, братец, бездорожье, дебри, болота. А уж в распутицу—то! — он махал рукой, — когда мосты сносит, фельдшера и того добиться невозможно. Скачи — не доскачешь: „Филипп Геннадиевич позавчера уехали и по сю пору не возвращались. Так-то, братец." (Всё в свое время, сказал царь с печальной улыбкой.)

Я часто сидела за тахтой в углу, в старом кресле, когда степенные мужики рассуждали о долгосрочных кредитах в Крестьянском банке, говоря „вы" деду и „мы" себе самим. Один из них, Савва Кузьмич Караулов (большинство из них при выборе паспорта брали фамилию ближайшего помещика), с хитрым лицом и чистыми, сильными руками, недавно был произведен в церковные старосты, а старший сын его собирался открывать в волости скобяную лавку. Разговоры продолжались долго, обоим Карауловым они были интересны, и торопиться было некуда. Начинало смеркаться, Даша вносила свежезаправленную керосиновую лампу с матовым абажуром, на котором было нарисовано множество любопытнейших вещей, поблескивал на стене портрет — дяди Сережи, маминого брата, нечаянно застрелившегося на охоте восемнадцати лет. Кресло, в котором я дремала и слушала их, было обито какой-то рубчатой

материей, и я перебирала пальцами эти рубчики и мечтала о том, чтобы сделаться вдруг слепой и научиться читать пальцами. Вот, — скажу я им, — вы видите, я сделалась слепой, но это совершенно ничего не значит, я могу прочитать всё, что хочу, пальцами. Потом мне приходило в голову, что пора идти ужинать, что на нас с дедом будут сердиться, и с удивлением видела, что перед дедом сидит уже не Савва Кузьмич Караулов, а Тимофей без фамилии в онучах и лаптях, сидит на краю того же кресла, мнет в руках шапку и слезящимися глазами смотрит на деда, который говорит:

— Э-э, братец, землю я тебе под дом дам, но кто же у тебя его строить будет? Анисья? Матрена? Ты их сначала замуж выдай, зятьев заведи. Небось старшей скоро двадцать? Пора ей. Засиделась! А впрочем, братец, я подумаю. Пока ты знай, лес бери, слышь, говорю, лес бери. Мы это абгемахт обделаем. А о земле дай подумать. Не могу я так быстро думать. Я старый человек, братец, престарелый русский человек, не какой-нибудь вьюн-француз. А теперь ты на кухню поди. Поди, поди, там тебе дадут, что надо.

Он выходил в столовую, а я за ним. Он говорил: „Дайте-ка мне ту мазь, что мне в прошлом году доктор Вассерквелле в Киссингене прописал, когда я устрицами объелся. Тимофей всё подмышкой сегодня чесался". На что его жена, дама тонная, брезгливая, серьезная, спокойно отвечала: „Он чесался потому, что у него насекомые. Его портянки ампестировали нам всю атмосферу. Тут необходимо провентилировать воздух, иначе мы все будем сюфокэ".

У нее был дядя — министр Александра Третьего и двоюродный брат — министр Николая Второго. Но на этом всё и кончалось: племянники все были никудышные, а сын погиб на охоте.

В темной русской ночи бывала особенная тишина. Она длилась, длилась, длилась, словно не было ей начала и не будет конца. „И если ты в ней застрянешь со своими мечтами и надеждами, — говорила я себе, — то она затянет тебя, засосет, проглотит, эта беззвучность, эта неподвижность и бездыханность в саду, в доме и в полях, и так до горизонта". Я садилась на подоконник и думала, что может быть мне заняться лечением людей, или стать сельской учительницей, как поповы дочки, или пойти пахать, как Толстой, или на-

учиться строить эти великолепные тесовые избы с геранью и петушками по карнизу, в которых я поселю потом Тимофея и его родственников. Я всё продолжала выбирать себе профессию и никак не могла выбрать, а спросить совета было не у кого, потому что человечество разделялось тогда для меня на две половины: доброжелатели, которые, по моему убеждению, понимали в этих делах еще меньше меня, и враги, которые ничего не могли посоветовать хорошего.

Я многих и многое любила в то время, но я также умела и ненавидеть. Я ненавидела главным образом всё то, что имело отношение к „гнезду", к семейственности, к опеке, к защите малых (то есть меня) от чего-то страшного, или опасного, или просто рискованного. Пригреться подле кого-нибудь, притулиться к кому-нибудь, укрыться — мне это казалось не только в высшей степени противным, но и унизительным. Помню, как я однажды почти грубо спихнула руку моей матери со своего плеча. Этот жест — взять за плечо — вдруг представился мне не просто ласковым движением руки, но символом покровительства, защиты, которых я не могла вынести. Я спихнула руку и глубоко вздохнула, словно стащила со своего лица подушку, пытавшуюся меня задушить. От чего, от каких ужасов и страхов, видений и катастроф, от каких обид, болезней и печалей хотят защитить меня? Я готова к ним, я жду их, я рвусь к ним. Я учусь писать обеими руками, так что если кто-нибудь отрубит мне правую, я перехитрю его. А если мне суждено потерять обе ноги, я буду ползать на обрубках, как тот нищий на паперти — недаром вот уже два дня как я учусь ползать по полу, когда никто не видит, к удивлению двух собак — сенбернара и таксы.

Живя в гнезде я еще не понимала, конечно, всего того, что это понятие несет с собой, но как в жесте руки, положенной на плечо, я увидела больше, чем жест, так и в гнезде я видела символ. Никогда в течение всей моей жизни я не могла освободиться от этого и до сих пор думаю, что даже муравьиная куча лучше гнезда, что в муравьиной куче можно жить более вольно, чем в гнезде, что там меньше тебя г р е ю т твои ближние (это грение мне особенно отвратительно), что в куче, среди ста тысяч (или миллиона) ты свободнее, чем в гнезде, где все сидят кружком и смотрят

друг на друга, ожидая, когда наконец ученые выдумают способ читать мысли другого человека. Это не значит, что всякая семья есть для меня гнездо; бывают исключения и даже постепенно их становится всё больше. Но психология гнезда мне омерзительна, и я всегда сочувствую тому, кто бежит из гнезда, хотя бы он бежал в муравьиную кучу, где хоть тесно, но где можно найти одиночество — самое естественное, самое достойное состояние человека. Драгоценное состояние связи с миром, обнажение всех ответов и разрешение всех скорбей.

Романтическая в своей основе мысль, что скала или камень живут одни, а человек живет скопом, в тесном единении с себе подобными, не только не верна, но по существу своему прямо противоположна истине. Скала живет в тесном единении своих молекул, она являет собой некое неделимое единство множественности миллиардов частиц, составляющих одно целое. Но чем дальше мы уходим от камня и чем ближе подходим к человеку, тем яснее видна дифференциация непреложная и необходимая. Удивительно живучи ложные идеи! Они даже имеют свою эволюцию. Сначала они — истины, потом житейские бытовые законы и наконец — суеверия. К категории таких суеверий относится и понятие бессмертия. Но прежде всего: кому нужно бессмертие? Кто хочет, утратив способность меняться самому, мешать другим менятся? И потом: что такое бессмертие? Нам говорят: бессмертно то, что не умирает. Но что же именно в природе не умирает? Да ведь только то, что размножается, делясь. Амеба бессмертна, потому что она делится, чтобы размножаться, и потому она, так сказать, живет вечно. Но мы, люди, размножающиеся через пол, умираем, и не можем быть бессмертны, потому что мы не делимся.

Страх (а иногда и ужас) одиночества относится к тому же ряду ложных суеверий — из него сделали пугало. Между тем, ничего еще не подозревая, я с самых ранних лет стремилась к тому, чтобы быть одной, и ничего не могло быть страшнее для меня, как целый день, с утра до вечера, быть с кем-нибудь, не быть со своими мыслями, не отдавая никому отчета в своих действиях, иногда даже ведя сама с собой диалог и читая всё, что ни попадется: сперва объяв-

ления в „Речи", по которым меня учили читать („Господа рекомендуют повара" или „Сдается квартира с дровами"), потом „Вот-тот-кот, кошка-тоже-хороша" — модный в то время букварь (имя автора мною забыто); потом „Детствоиотрочество" (я гораздо позже узнала, что тут не одно слово, а целых три, бежала по нему глазами в спешке узнать, „а что потом"?) и наконец — „Преступление и наказание", уже лежа на животе и жуя травки, под деревом, в полной погруженности проглатывая иногда вместе с соком травки безвкусного паучка.

Вспоминаю такой вечер: я лежу в жару, петербургский вечер синий и черный за окном, а рядом со мной — лампа, чай с лимоном и лекарства на столике, часы показывают десять минут шестого, компресс сжимает мне горло; мать сидит прямая и строгая на жестком прямом стуле подле меня. Почему она сидит? Почему не уходит? Мне хочется быть одной, закрыться с головой одеялом и тихонько в темноте, тепле и сосредоточенности одолевать болезнь, но она здесь, она пришла, чтобы мне не было скучно, и вот она сидит. Я стараюсь думать, что будет, когда она наконец уйдет и вся комната будет моей. Я буду слушать звонки трамваев с Литейного, буду воображать искры, которые сыплются в снег из-под вагонов, я буду думать о людях, которые в шубах и шапках идут домой и о которых мне так хочется знать всё, что можно и что нельзя. Я вытащу наконец засунутую под матрац книжку. Но она всё не уходит, она предлагает мне чаю, котлетку и — верх ужаса, от которого я леденею — почитать вслух. „Что это? У тебя ноги, как лед!" — кричит она, но не уходит за грелкой, а зовет Дашу, которая и приносит мне завернутую в полотенце металлическую грелку, выгнутую очевидно в предвидении чьего-то очень круглого живота и из которой всегда течет вода. Проходит тысячу лет, и она всё сидит, пока из кухни не вырывается запах пирога с капустой. Звонит телефон. Освобождение! Всё делается как-то мгновенно, и вот я одна в полутемной большой комнате, в туманном окне движется отблеск проплывающего фонаря. Это извозчик едет куда-то, везет кого-то, зачем-то, к кому-то... Я никогда, никогда не узнаю, кто он, куда едет, кто живет рядом, кто в эту минуту, не зная меня, вот так же думает обо мне,

как я думаю о нем. Почему жизнь так огромна и прекрасна, главное — огромна, как мир, и столько во мне самой всего, еще больше, кажется, чем вокруг меня, что я не успею, не успею, протяните немножко, чтобы подольше, лет двадцать, тридцать... Нет, этого мало. Гадалка сказала: шестьдесят. Когда же это будет? Это, значит, будет в 1961 году. О, какое счастье, что это еще так далеко, так бесконечно далеко, как от Казани до Рязани, как от Рязани до Лебедяни, до Тьмутаракани... „Ты бредила уроком географии", — сообщают мне, когда я открываю глаза. Пора мерить температуру.

К тому, что я всем сердцем ненавидела, относились елки, рождественские елки, с хлопушками, свечками, обвисающей с веток фольгой — они были для меня символом гнезда. Я ненавидела бумажных ангелов с глупыми розовыми лицами, от хлопушек мне бывало скучно, ни один дурацкий колпак не налезал на мою голову (как позже не налезали шляпы). Свечи мерцали, ложно уверяя, что при них жить было лучше, чем при вольфрамовой лампочке — а этому поверить было невозможно: я считала личными врагами людей, утверждавших это. Главное же всё это не имело для меня никакого смысла, кроме одного: в квартире вдруг оказывался центр, где надо было быть, вместо того, чтобы быть свободной и одной, сидеть то на подоконнике под шторой, рассматривая на стекле морозные узоры (всегда прельщавшие аллитерацией), то у себя за столом, то под столом, то на кухне, где раскладывался пасьянс „Могила Наполеона", — словом надо было сидеть и смотреть, как горят свечи, и делать вид, что любуешься ангелами и ждешь подарков (радость доставляли только неожиданные), то есть делать то, что по моему тогдашнему пониманию приводило взрослых в состояние совершенно непонятной и чем-то неприятной мне искусственной экзальтации, какая находила на этих людей также при чтении вслух Апухтина или при слушании цыганских романсов. Зато какое бывало счастье, когда эту мертвую, раздетую елку наконец уносили вон.

Экзальтации и ложной меланхолии я боялась пуще огня. Мне казалось, что ее слишком много кругом, и она может--таки добраться до меня и донять меня, и тогда я погибла. А ее было много вокруг потому, что перед тем, как в двадцатых годах нашего века впервые вырвались наружу глу-

бокие и важные внутренние тайны человека и люди объяснили сами себя, в начале века впервые бесстыдно вырвались наружу его лирические черты, и так как они были всеобщие, то они были не только дешевыми, но часто и пошлыми. Я помню мелодекламацию с рыданьем в голосе на слова Щепкиной—Куперник, я помню вариации на „Две гитары", пропетые в нос и с полузакрытыми глазами, я помню портреты масляными красками светских дам, во весь рост, с кружевными оборками шлейфов, завивающихся вокруг ног, с лицами, выражающими меньше мысли, чем самые эти шлейфы, но зато еще большую томность. Я помню обложки журналов с усатыми мужчинами, расширенные ноздри Веры Холодной, женщин-змей и женщин-птиц, женщин-фей и женщин-львиц (прошу простить меня за эти рифмы: они в духе того времени), в которых уже мечтал превратиться кое-кто из моих сверстниц, но которые во мне возбуждали только оторопь. И, как обычно, перекидываясь в крайность то ли от инстинкта самосохранения, то ли после холодных рассуждений на эти темы с самой собой (было, конечно, и то, и другое), я брала под сомнение, вместе с аффектацией лиризма, и самый лиризм, вместе с дурными стихами о лунной ночи и самую лунную ночь, безобидных соловьев, и лебедей на озере — не только в поэзии, но и в действительности. Все эти „либестраумы" для меня имели один и тот же привкус: привкус чего-то, что тронуто концом, что не переживет и первого удара, откуда бы он ни пришел, и помешает лично мне быть во всеоружии при первом столкновении с судьбой. Но либестраумы звучали повсюду, доставляя удивительное наслаждение нашим матерям, которые (ведь еще совсем тогда молодые) чувствовали, что это для них, о них, за них поднимается в мире флаг общедоступного лиризма. Они несомненно мечтали, что и мы вслед за ними вступим, как в разношенный башмак, во все эти романсы и нюансы, а уж наши дети окончательно благополучно устроятся среди них. Но мы отказывались пользоваться этими благами, вместо манной каши грызли сызмальства черт знает что, ломая зубы и слыша очень часто где-то шелестевший упрек: неблагодарные, огрубевшие души, нечуткие, сухие, любят поэзию без размера, музыку без мелодии, живопись без настроения. Надо

сказать правду: я брала под сомнение лет с двенадцати и диалог Наташи Ростовой с Соней в окне, в ту ночь, когда князь Андрей ночевал в Отрадном, и прелесть Китти, и „божественную природу" человека, открывшуюся князю Андрею на Аустерлицком поле. Мне это казалось дымовой завесой, камуфляжем над жизнью: диалог Наташи и Сони находится в самом центре их либестраума, князь Андрей на Аустерлицком поле — поэтическая доза, впрыснутая Толстым в семейный роман, а Китти с первой минуты, вместе с ее „гнездом", была мне более далекой, чем дикари с островов Полинезии.

Ни дымовой завесы над жизнью, ни эмоциональных обертонов религии (сумрак, лампада, свечи, панихида). Глубокое отвращение к ложному уюту божественного: для меня — стосвечовая лампочка, светящая мне прямо в раскрытую книгу, где всё договорено, всё досказано, ясный день, черная ночь — вот что я хотела. Без двусмысленных значений, без минорных импровизаций, подернутых флером взглядов, вздохов, намеков. Страшнее пушечного огня казались мне эти фатаморганы, за которыми ведь стояла и ждала меня собственная жизнь — которую я предвидела с настоящим пушечным огнем, действительно три раза прогремевшим надо мной; собственная борьба, где никто не посмеет заменить меня в деле, где я не уступлю своего места под огнем. Жизнь всё больше становилась для меня реальностью, от которой я не собиралась прятаться ни за чью спину.

Всякий дуализм для меня болезнен. Моей природе противно всякое расщепление или раздвоение. Когда Ленин говорит о материи, противопоставляя ее энергии, когда Бердяев говорит о материальном начале (реакции) и духовном (революции), когда идеалисты-философы говорят о духе и плоти, меня, как фальшивая нота, коробят эти понятия. Моей заповедью была истина, что материя и есть энергия и вся жизнь моя была примирением в себе самой противоречий: все разнообразные и часто противоположные черты во мне теперь слиты. Я давно уже не чувствую себя состоящей из двух половинок, я физически ощущаю, как по мне проходит не разрез, но шов. Что я сама есть шов. Что этим швом, пока я жива, что-то сошлось во мне, что-то спаялось, что я-то и есть в природе один из примеров

спайки, соединения, слияния, гармонизации, что я живу недаром, но есть смысл в том, что я такая, какая есть: один из феноменов синтеза в мире антитез.

Я несу, как дар судьбы, то обстоятельство, что две крови — русская, северная, и армянская, южная, слились во мне и во многом с детства обусловили меня. Эта противоположность, как и целый ряд других противоположностей и даже противоречий, которые я видела и знала в себе, постепенно перестали быть для меня причиной конфликтов: я стала ощущать их, как соединение полярностей и сознательно стала радоваться себе, как „шву”.

Дед мой со стороны отца, Иван Минаевич Берберов, был потомком тех безыменных армян, которые в силу сложного исторического процесса в середине восемнадцатого века оказались на южном берегу Крыма в крайне бедственном положении. Об этом Потемкин донес Екатерине. Она решила вывести этих людей из Крыма и дала им землю на берегу Дона, при впадении его в Азовское море, в непосредственной близости от казацких станиц и города Ростова, чтобы они могли построиться и начать новую жизнь, занимаясь торговлей и ремеслами. Это, конечно, сответствовало ее крымской политике. В центре городка Нахичевани (названного так в честь Нахичевани закавказского, старого армянского города) я помню перед армянским собором (а за ним стоял собор русский, фасадом на базарную площадь) огромный бронзовый памятник Екатерине, с надписью: „Екатерине Второй — благодарные армяне”. Этот памятник в 1920 году местные власти своротили и выбросили на помойку, где он долго лежал вверх тормашками, а затем его нашли и перелили не то на пушку, не то на плуг. Теперь там, по слухам, стоит Карл Маркс.

Дела армян на новом месте пошли завидно хорошо. Деда Ивана Минаевича его отец (видимо, имевший средства) послал в конце 1850-х годов учиться медицине в Париж. На даггеротипе того времени он был изображен в цилиндре, с длинными волосами, в элегантном сюртуке, плаще и с тростью. Имена Шарко и Пастера, как впрочем и Гамбетты, носились в воздухе до конца дней деда (он умер в начале 1917 года). Из Парижа дед вернулся врачом, женился, имел семь сыновей и одну дочь, и стал известен

в округе, как доктор бессеребренник, образованнейший из людей своего поколения, обитателей этого — не губернского и не уездного, но какого-то особого, не похожего на другие южно-русские центры, — городка.

Из семи его сыновей мой отец, Николай Иванович, был третьим. Все мальчики были постепенно посланы в Москву, учиться в Лазаревском институте восточных языков. Там они зубрили наизусть: „Ты трус, ты раб, ты армянин" и „Бежали робкие грузины", о чем позже вспоминали не без юмора. После Лазаревского института все постепенно выходили в университет. Меня всегда восхищала в детстве та симметрия, с которой они каждые два года (так мне рассказывали) сдавали государственные экзамены и выходили в люди, стройным рядом всевозможных профессий, словно на подбор: врач, адвокат, математик, журналист, банкир и т. д. И на семейной группе они стояли плечом к плечу: один в штатском, двое других в университетских мундирах, трое в курточках Лазаревского института и один — на коленях у бабушки, в кружевном воротничке, все, как нарочно, рослые, прямые, красивые, старшие — с черными бородами и огненными глазами, младшие с серьезными лицами, большеглазые и мрачные.

Дедушка Иван Минаевич жил на другом конце России, и в нем всё было противоположно сыну Обломова. Это был первый европеец, с которым я столкнулась в жизни. От парижской молодости у него осталась к этому времени только трость — в его сухой, выхоленной руке. Набалдашник был, как полагалось, из слоновой кости, и в нем была дырочка. Я иногда смотрела в эту дырочку и видела там Париж, вид с Монмартрского холма, но конечно без Эйфелевой башни: это была палка, купленная у Шарвиля в 1861 году. Небо было синее, без единого облака, и купол Инвалидов и башни Нотр Дам постепенно стали такими знакомыми. Я могла бы войти туда, в эту дырочку, как крошечная козявка, и остаться там. Но только окольными путями я добралась до этого города в конце концов, чтобы остаться в нем на целые четверть века.

Стоя у письменного стола, который в тот год приходился мне под подбородок, я осторожно перебирала медицинские журналы, газетные вырезки, карандаши, перья, конверты

с заграничными марками, ручное зеркало в серебряной оправе. Дед любил его иметь под рукой, как и флакон замысловатых духов, которыми он, не стесняясь посторонних, и в том числе меня, время от времени душил свою белую, прямую, шелковую бороду, которая моим щекам казалась чем-то совсем не похожим на серо-зеленую, курчавую, жесткую бороду деда Ивана Дмитриевича, в которой иногда можно было найти крошки утром съеденного калача. Оба они, конечно, как все тогдашние деды, имели в себе нечто от Саваофа, но только русский дед был Саваоф в соединении с водяным, а армянский дед — Саваоф в соединении с Просперо.

В черном с иголочки сюртуке и белом атласном галстуке, надушенный, расчесанный, он появлялся к утреннему чаю и окидывал быстрым, до самой смерти острым взглядом, стол, который ломился от сливок, пирожков, булочек, просто румяных, очень румяных и весьма сильно поджаренных, масла, икры паюсной и свежей в голубых маиловских коробках, кефали копченой, кефали полукопченой, рыбца, лоснившегося розовой спинкой, балыка, ветчины такой и эдакой (выбранной не с кандачка), от яичницы, трещавшей на сковородке, блинчиков с творогом, вафель с вареньем, колбас, сыров со слезой и без, тех которые пахли и тех, которые не пахли — он окидывал всё это пронзительным взглядом и пил свой стакан чаю с лимоном и сухарем, так как приблизительно в это именно время у него начался, как говорилось в доме, „бзик" касательно того, что чем меньше есть, тем лучше. Тогда это было так ново, так непонятно, так шло в разрез со всем тем, что делалось на кухне, в кладовых, в погребах, что очень скоро весть о том, что доктор Б. советует вместо беф-строганова есть шесть виноградин и что сыновья его (среди которых был доктор) собираются везти его в Швейцарию и там лечить у знаменитого психиатра, начала внедряться в умы жителей города, где он практиковал, и практика его начала сильно страдать; правда, каждое утро из донских станиц и из нижнего города, лежащего на берегу Дона, продолжали приезжать больные: станичники, казаки, мещане, мелкие домовладельцы, хуторяне, но это всё были р у с с к и е, то есть люди сравнительно бедные и простые, в то время, как „общество",

которому всю свою жизнь принадлежал дед, было общество армянское.

Жену его катали в кресле. Вспоминая этот дом и жизнь в нем, я теперь сильно сомневаюсь, чтобы бабушка была на самом деле в параличе: мне кажется, она просто переутомилась за свою долгую жизнь, ей всё надоело, и она села в самокатящееся кресло и объявила, что с нее довольно. Так и за границу она ездила со своей верной прислужницей, всё в том же кресле; она вероятно сознавала, что если она встанет, иначе говоря выздоровеет, ей придется опять нянчить, если уже не детей, то внуков, исполнять все дедушкины капризы, следить за кухаркой, кучером, экономкой, горничными, принимать гостей, кормить обедами сорок человек за раз, выписывать из Парижа туалеты, чествовать членов партии Дашнакцутюн, приезжающих гостить из Закавказья, входить в семейные, денежные и другие дела семи сыновей (из которых каждый жил по-своему и говорил, что к нему нельзя прикладывать общую мерку), заниматься родственниками, которые заполняли дом и изживали здесь свои бурные жизни. Бабушка нашла выход: она притворилась, что ее хватил паралич, и теперь жила в свое удовольствие.

Разницу двух пород я оценила очень рано: лет восьми я поняла, что происхожу из двух различных, хотя и не враждебных, миров. С одной стороны — люди, которые не только всё делают, как все, но и стараются быть, как все: Ольга Дмитриевна, замученная „позором" и „скандалом" своей семейной жизни, о которой не говорится вслух, Алина, спрятавшая от всех десять лет собственной жизни. С армянской стороны был целый мир характеров своеобразных и жизней и судеб оригинальнейших. Эта необщность, как я поняла позднее, была заложена в самих людях, в их жизненной энергии, в их могучих желаниях, в их постоянном сознании, что ничего не дается само, ничто не делается само, и что каждый день есть особый день. У них была горячая кровь, сильные страсти, среди них были отъявленные картежники, срывавшие стотысячный банк в Купеческом клубе, и передовые люди, боровшиеся за идеи, им дорогие, именами которых были позже названы улицы городов свободной Армении (в 1917 году); среди них были жено-

любы, Дон Жуаны, которые, впрочем, могли пожертвовать свиданием с донной Анной ради свидания с Командором — чтобы поподробнее расспросить его о загробных делах. Они бушевали в жизни еще может быть и потому, что предки их не спали на боку под портретами царей при зажженной лампаде, но продвигались веками от Персидской границы к Месопотамской границе, по берегам Черного моря, чтобы возродиться у устья Дона и стать через сто лет аристократией города — денежной и интеллектуальной. И значит, в то самое время, когда Юрий без отчества, потомок Кара-Аула, получал свои земли, другой мой пра-пра-прадед, имя которого, как и других предков со стороны отца, не сохранилось, по профессии не то хлебопашец, не то брадобрей (судя по фамилии), а может быть и фальшивомонетчик, получил свой угловой надел, который, после распланировки города несколько бедными на выдумки градостроителями, получил название Софийской улицы и 18-ой линии.

В очень русской, очень православной, очень патриархальной семье брак моей матери с моим отцом был воспринят как удар, от которого оправились не скоро. Армянская вера отца казалась чем-то чужим, а сам он — почти иностранцем, южный темперамент внушал опасение; неизвестно откуда пришедший человек тем не менее не был отвергнут. Оба любили друг друга и любили друг друга всю жизнь и не расставались никогда, пока не развела их смерть.

Если семья моей матери с трудом примирилась с тем, что она вышла замуж за „чужестранца", то для семьи моего отца это было гораздо сложнее: принять в семью русскую, отцу иметь от нее русских детей, это считалось изменой Армении. Но, конечно, ни та ни другая сторона запрета не наложила. Свадьба состоялась в январе 1900 года, а в августе следующего года (8-го числа) я родилась в том доме на Большой Морской*), который позже был переделан в Яхт-клуб, и чей широкий стеклянный подъезд я до сих пор хорошо помню.

Как я ни старалась уговорить деда позволить мне сидеть в углу кабинета, когда он принимает больных, он не согла-

---

*) На этой-же улице, теперь Герцена, родился и Набоков, за два года и четыре месяца до этого.

шался на это. Сколько я ни говорила ему, что у меня свое кресло у тверского деда, у которого от меня нет секретов ни с Тимофеями, ни с Саввами Кузьмичами, он твердо говорил свое: „нет-нет" или „что за фантазии!" Но однажды я спряталась за штору и слышала, как дед принимал двух больных: одна была женщина средних лет с непонятной для меня болезнью, другой был мальчик с воспалением уха. Я вышла из-за шторы сама полубольная, решив, что по крайней мере я получила урок: медицина выпадала из списка профессий, которые я то и дело пересматривала в уме, ища себе подходящую. Я и своих-то почек любить не могла и интересоваться собственным средним ухом казалось мне совершенной бессмыслицей, а тут надо было говорить о чужих внутренностях. Меня наказали очень строго, объяснили, что визит к доктору есть секрет, охраняемый законом, и что я совершила преступление, за которое сажают в тюрьму. И мне вдруг страстно захотелось сесть в тюрьму, чтобы сейчас же убежать из нее на волю, доказав и себе, и другим, что я могу быть слепой, безрукой, безногой и преступной, и всё-таки жить, жить, жить!

Вместо тридцати восьми лошадей здесь было всего две и их запрягал в дышло кучер Селифан, который был воплощением если не Саваофа, то Санта-Клауса, каким его знают дети запада. Ему не надо было подкладывать подушек, он и так был толст, но он всё-таки их подкладывал и сзади был похож на земной шар. Мне он вожжей не давал, а приказывал садиться в элегантную коляску, блестевшую каждой спицей, и так как лошади здесь были какие-то тонные, характером и даже видом напоминавшие ту, тверскую бабушку, то я и не стремилась особенно водить с ними дружбу.

Я садилась рядом с дедом, и мы ехали кататься, и тут впервые в жизни мне хотелось быть чистой, нарядной и красивой. Последнее (как я понимала тогда) было конечно совершенно невозможно, но чистой и нарядной удавалось оставаться во всё время катанья, когда дедушка, распушив бороду, опираясь обеими руками о палку с видом Парижа и надев блестящий цилиндр, который предварительно причесал изумрудной бархатной подушечкой, смотрел по сторонам и строго осуждал солому на мостовой в базарный

день, яркую вывеску парикмахера с полуголой красавицей, бондаря, стучавшего слишком громко в своем сарае.

Из Закавказья к нему приезжали гостить писатели и поэты, публицисты, общественные деятели, члены партии Дашнакцутюн. Я не читала их, я не знала их языка, я только умела распознавать две буквы армянского алфавита: Н и Б — метку на полотенцах и салфетках, которые мне казались знаками хоть и моего собственного, а всё-таки загадочного мира. Пяти лет была у меня встреча с католикосом, главой армянской церкви. Он был весь лиловый, в лиловой рясе, с лиловой бородой и его торжественно привезли в дом и посадили в углу гостиной. Мне было велено подойти к нему под благословение вместе с другими детьми — двоюродными братьями, из которых ближайший ко мне по возрасту сейчас — генерал советской авиации в отставке. Видя, что никто из детей не двигается, а только таращит глаза и переступает с ноги на ногу, и решив, что католикосу сидеть и ждать скучно, я, нисколько не чувствуя значительности минуты (и, как обычно, боясь потерять драгоценное время) пошла первая, подошла к нему, и довольно развязно протянула ему руку для рукопожатия. Но он руки мне не дал, положил лиловую руку мне на голову, прочитал молитву (со знакомым восклицанием „тэр бохормя!") и дал поцеловать свой огромный лиловый перстень, после чего я не знала: нужно ли отойти и дать место другим или можно поговорить с ним, и если поговорить, то на какую тему? Меня быстро убрали и выкинули на двор.

Этот двор, совершенно квадратный, казался тогда самым защищенным местом на свете: около кухни стояли ведра с отбросами, Селифан чистил сбрую или спал, сидя на лавке, подле него бродили собаки. В этом дворе в 1919 году убили инженера Магнера, квартиранта, „уплотненного" в дом, и над этим двором в те страшные ночи гражданской войны летали длинные, узкие снаряды и ухали, разрываясь неподалеку; но до этих ночей еще было далеко, о них ничего не было известно, будущее было скрыто так плотно и прочно, как только будущее может быть скрыто от человеческих глаз. Всякую тайну можно так или иначе узнать, можно выхватить ее из уст другого человека ласками или пытками, но тайна будущего спрятана, утаена от нас так,

как будто никакого будущего и никакой тайны и нет. Да так оно и есть: будущее не лежит в запасе и не ждет нас, оно творится жизнью и нами самими. Оно возникает с каждым новым днем. Оно никем не предписано. И тогда тот погреб, где мы много лет спустя отсиживались и куда зарывали серьги и брошки покойной бабушки, был только самым обыкновенным погребом, где хранилась всякая снедь, которую дед называл ядом.

Окончив Московский университет по физико-математическому факультету, мой отец колебался, идти ли дальше по специальности или поступить на государственную службу. Он выбрал второе, уехал в Петербург и поступил в министерство финансов молодым помощником столоначальника. К 1917 году он оказался в чине статского советника, чиновником особых поручений при последнем министре финансов Барке, и одним из незаметных специалистов по подоходному налогу, который царская Россия собиралась вводить в стране.

Дифференциалы и интегралы никогда не вязались с его обликом. А впрочем, быть может, я находилась тогда во власти старого предрассудка, что математика — наука сухая, и математик — человек не от мира сего. Наше время кибернетики и электронных машин показало, как близка ко всему, чем мы живы, математика, но тогда я иначе воспринимала смысл наук и никак не могла понять, каким образом этот горячий, быстрый, живой человек мог иметь хоть что-либо общее с водой, натекающей из кранов в бассейны или с пифагоровыми штанами, или с биномом Ньютона — ко всем этим вещам я в те годы не чувствовала никакого интереса.

Он никогда не был для меня олицетворением власти, силы, авторитета, воли, и потому я так любила его. Между тем уж конечно в нем не было ничего женственного и слабого, безвольного и вялого, он и теперь, когда я пишу о нем, кажется мне воплощением мужского и только мужского начала, и я не часто в жизни встречала такого цельного в этом смысле человека среди людей не только моего, но даже и его поколения. Но в нем я не замечала попыток охранять меня, защищать меня, вести меня, направлять меня, и это-то и делало его для меня таким драгоценным.

Женщины в моем детстве гораздо больше проявляли надо мной власть, указывали, что делать и что не делать, и часто — с лучшими намерениями — пытались взять меня под крылышко, а я боялась этого пуще всего, а с годами бежала и этого „крылышка", и тепла, и заботы их — всего того, что обычно считается таким необходимым в начале всякой жизни. Я вижу отца рядом с собой, рука его в моей руке или моя — в его. Мы идем рядом, я делаю большие шаги или он делает маленькие, и мы говорим о чем-то, всегда существенном, всегда интересном, в равном удивлении перед миром и остальными людьми, идущими мимо нас.

Но он заражал меня своими слабостями, своими фобиями, которых у него было не мало, и одной из них был страх воды. Он не любил жить у моря, смотреть на волны, слушать водопады, и с самых ранних лет этот страх перешел ко мне. Сесть в лодку было для него немыслимо, пароход был мучителен одним своим видом, и плеск реки или даже гладь озера заставляли его ускорять шаги и не оглядываться. Этому пришло позднее объяснение. Оно конечно было мне дано в детстве, но я начисто забыла его, и вот во сне, однажды, когда мне уже было за тридцать, я увидела гладь воды, прямо в нее садилось солнце, вечер был полон цветов, лета, прелести и мира, и всё во мне отрицало страх воды, страх этого голубого моря, но я не могла освободиться от него, и была скована ужасом, и понимала, что в данный час моей судьбы я ничего не могу поделать с этим страхом, что он со мной, во мне. Я говорю, что всё это не может быть врожденным, а значит должно быть побеждено. И кто-то, насмешливо и даже слегка презрительно поглядывая на меня, говорит, что ничего удивительного тут нет, что отец мой тонул в купальне, потеряв внезапно равновесие, когда ему было лет семнадцать, и с тех пор он болен водобоязнью. Это подсознание возвратило мне сном слышанное мною много лет тому назад объяснение, и я поняла проснувшись, что мной самой указывалась дорога (как бывало в жизни не раз), путь, как победить что-то, что даже в сущности не было моим. Я вышла из этого страха много позже, и это оказалось одним из самых внутренне важных событий моей жизни, одной из ступеней к равновесию, которое мне далось через этот акт освобождения.

Отец был высок и худ, так худ, что благодаря недостающему дюйму в объеме груди его не взяли на военную службу. Военные были, впрочем, его второй фобией, у нас никогда не бывало в доме военных, и только уже в 1916 году, когда призвано было ополчение, я помню френчи и погоны на двух молодых его товарищах.

Я знала, что он любит женщин. Я знала, что он любит особый род женщин, который теперь, в наше время, исчез или почти исчез. Они должны были быть женщинами „света", и в то же время доступными, красивыми, веселыми и не слишком умными. Они должны были любить любовь. Эти женщины занимали его мысли и он нравился им, в нем было, в полном соответствии с его мужественностью, всё, что нравилось женщинам: сила в соединении с нежностью, сдержанность и мягкость при энергии; мне всегда казалось, что тот факт, что он страстно хотел иметь дочь, а не сына, был в гармонии с его природой; он искренне огорчался, когда видел, что я привожу в дом некрасивых подруг, и во мне самой он любил искать и находить женское начало, никогда не старался принизить или не заметить во мне значение женственности, но делал всё, чтобы дать ей цвести. Я поняла в нем многое, когда сама однажды, лет двенадцати, пронеслась с ним по какому-то дачному бальному залу под гром штраусовского вальса. Никогда никто не танцевал так плавно, властно и самозабвенно, как мой отец.

В теплой куртке, в темно-красной феске, с длинной черной шелковой кистью, с янтарными четками в руке, смотря то на меня, сидящую на полу у его ног, то на конец своей гаванской сигары, набухающей голубым тяжелым пеплом (и не дай Бог уронить его!), он *говорил глазами* — и я тогда почувствовала впервые, что дайте мне выбрать человека среди тысячи людей, я выберу того, кто *говорит глазами*. Когда, как по небу облака, сами в себе законченные, легкие и прозрачные, проходят мысли, ясные мне без слов, рождаясь тут же и уплывая куда-то, и я знаю, что он хочет сказать, что он сейчас скажет мне. Я любила его глаза, любила его руки, его запах, где смешивалась сигара с крепким брокаровским одеколоном, любила его элегантную фигуру (которую он унаследовал от своего отца), когда в 1913 году он вернулся из Парижа в модном широ-

ком пальто и мягкой шляпе, которая тогда была новинкой среди котелков и цилиндров. Я любила его растерянность перед моей ранней самостоятельностью, его восторг в феврале 1917 года и медленное старение, ущерб энергии, в лишениях и преследованиях и, наконец, перед второй мировой войной его короткую кинематографическую карьеру, когда на Невском в 1935 году к нему подошел режиссер Козинцев и сказал ему: „Нам нужен ваш типаж". „Почему же мой? — спросил отец. — У меня нет ни опыта ни таланта". — „Но у вас есть типаж, — был ответ, — с такой бородкой и в крахмальном воротничке, и с такой походкой осталось всего два-три человека на весь Ленинград. Одного из них мы наняли вчера" (это был бывший камергер и балетоман Ковра́йский, чудом уцелевший с т а к о й бородкой и в т а к о м воротничке). И отец мой сыграл свою первую роль: бывшего человека, которого в конце концов приканчивают. За ней были другие. Гримироваться ему почти не приходилось.

В 1937 году где-то в грязной, вонючей улице около Севастопольского бульвара (много в Париже улиц нашего позора: Севастопольский бульвар, Аустерлицкий мост, авеню Малаков, бульвар Инкерман) я нашла небольшую комячейку, ведавшую показом советских лент, которые по причине их низкого качества и грубой пропаганды коммерчески во Франции не показывались. Мне сказали, что такой-то фильм пойдет там-то тогда-то, но что билета мне продать не могут, надо чтобы я стала членом комячейки и уплатила годовой взнос. Я не задумываясь сейчас же стала членом комячейки, уплатила что требовалось и в назначенный день сидела в большом темном зале, в числе других членов комячейки, восторженно настроенных. Дело на экране волновало зрителей. Оно заключалось в том, что некий контрреволюционный гад, директор Госбанка, саботажник и агент иностранной державы, портил Ленину восстановление российского бюджета, и Ленин послал в Госбанк матроса Балтфлота, который, хотя и не умел ни читать ни писать, но в три дня восстановил финансовый баланс России (дело происходило в 1918 году). Директор банка был арестован вместе со своими приспешниками, и на экране и в зале толпа яростно кричала: Бей его! Дай ему в зубы! Кроши врагов

рабочего класса! Мой отец в последний момент успел вылить банку чернил на открытую страницу гросбуха, доказав, что до последнего вздоха он будет вредить делу Ленина. Его повели к выходу. В воротах Госбанка ему дали минуту, чтобы остановиться, взглянуть на Екатерининский канал, на петербургское небо, мутившееся дождем и прямо на меня, сидящую в парижском зале. Глаза наши встретились. Его увели под конвоем. И больше я его никогда не видела. Но несколько слов, произнесенных им, донесли до меня его голос, его улыбку, быстрый, говорящий словами взгляд его карих глаз. После пятнадцати лет разлуки какая это была встреча! Не всем на роду выпадает счастье увидеться после такой разлуки и перед тем, как расстаться уже навеки!

Небольшим усилием воображения я могу еще раз увидеть его, но уже так, что он меня не видит. Я вижу Ленинград зимой 1941—42 года, я вижу улицу Салтыкова-Щедрина (бывшую Кирочную), громадный проходной двор, сквозной, выходящий на Манежный. Я вижу моего отца, теперь совсем маленького, худенького, в глубоком снегу, белого, как этот снег, с кастрюлькой в руке, идущего к невской проруби, скользящего по льду улицы Чернышевского (когда-то Воскресенского проспекта); я вижу как он возвращается и топит железную печку, медленно, с усилием выламывая паркет в темноте вымершей квартиры. Я вижу потом, как их обоих, мою мать и отца, эвакуируют. Она умирает в пути. Он выживает. И где-то в провинции его оставляют — у чужих людей, в чужом месте, совершенно одного. Где? В Оренбурге? Или на Минеральных Водах? Или в Алма-Ате? И там он живет несколько месяцев и умирает. И единственное место, где он живет сейчас, это моя память.

Это видение петербургского проходного двора, или дедовского, провинциального, где лежал, в нижнем белье, зарубленный (или пристреленный) инженер Магнер, или еще того двора, где жил мой отец в последние месяцы своей жизни и который я никогда не найду, проходят в уме моем, как места, истинную роль которых никто не мог угадать — ни гадалки, ни астрологи, ни поэты такими видениями не торгуют. Стоят дома, где из прошлого делается будущее, стоят дворы, где оно вяжется. В первом граммофоне рычит голос Шаляпина, звонит первый телефон, первая электри-

ческая лампочка сияет над крыльцом дома и первый автомобиль стоит у подъезда, чтобы везти нас на какое-то поле, смотреть полет первого биплана. Теплый дом, ненавистный мне инкубатор, выращивает людей, чтобы выпустить их в стихию войн, революций, осад, бомбежек, лагерей и расстрелов, в стихию атомных бомб. Мое поколение — первое, которое может не умереть, но рассыпаться в пыль. И эшелоны, уходящие за полярный круг, и корабли, тонущие в океанах, и голодная смерть на городской скамейке чужой столицы — всё предстоит всем. Ничто не предписано, всё возможно.

В связи с этим я вспоминаю один свой сон о Достоевском. Я играю в шахматы с кем-то, в комнате много народу. Достоевский стоит около меня и внимательно смотрит на доску. И я говорю ему: Вот, Федор Михайлович, здесь в шахматах можно точно всё предвидеть и учесть: если шагнем сюда, то все двадцать пять или тридцать пять ходов до самого конца игры заранее предрешены и известны. Если шагнем туда — опять целая цепь причин и следствий разворачивается и выхода из нее нет. А вот в жизни человеческой даже вы не можете предвидеть, что случится: дадут вам кучу данных о двух людях, а вы всё-таки не скажете нам сегодня, что они будут делать — вместе или порознь — завтра. Закон причины и следствия не действует, когда речь идет о людях.

Он улыбается, щурит один глаз, молчит с минуту и потом говорит:

— Да, это пожалуй так. Двадцать пять ходов или тридцать пять, их, конечно, можно предвидеть, но только при том условии, что потолок не обвалится во время игры или одного из играющих не хватит кондратий. Если это случится, то шахматы станут вроде жизни, то есть перейдут в измерение, где нет ни социальных, ни биологических законов, ни возможности угадать самому изощренному уму „выкройку" будущего.

— Как нет социальных и биологических законов? Разве есть такое место на свете?

— Встреча двух людей и творчество, — говорит он. — Там эти законы не действительны.

Я вижу, как мой противник кушает мою пешку. И вдруг замечаю, что у Достоевского изящные, холеные, маленькие руки.

Если я когда-либо играла в куклы, то в не совсем обычные. Это были всё мальчики, и они все были либо больные, либо калеки. Их звали Адольф, Альфред, Альберт, Артур и т. д. Увлечение было сильным, но очень коротким, оно продолжалось, вероятно, всего несколько месяцев, и откуда оно пришло, я не знаю. Все эти бледные, немые мальчики, забинтованные, укрытые одеяльцами, лежали закутанные, полуживые, в то время как щекастые куклы-девочки, расфуфыренные, в желтых париках, говорили мама-папа и совершенно не занимали меня. Но об этом увлечении я очень скоро забыла и когда поступила в гимназию, то от кукол и следа не осталось, остался только небольшой след в убеждении, что мальчики несчастнее девочек, что они беззащитнее, что мужчины — хрупкие существа, требующие осторожного обращения — один из тех предрассудков, которых так много бывает в детстве и юности и который уходит своими корнями в какие-то, вероятно, подслушанные суждения старших о том, что мужчин на свете меньше и жизнь их короче.

Опять возвращаюсь к этому образу, к теме соединения противоположностей, одной из самых важных тем моей внутренней жизни. В людях вокруг меня, в книгах и в себе самой я видела, как часто человеческая личность разорвана, разрезана, рассечена надвое, и считала это одним из самых роковых явлений человеческой судьбы и одной из тех загадок, которые заданы человеку. Внутри себя, как и в других людях, я видела как и где проходит это разделение, это раздвоение („трещина, которая расколет меня пополам и убьет"), непримиримые противоречия — сначала молодые и острые, потом — зрелые и тяжелые, с годами делающиеся всё опаснее, всё глубже, давящие, мешающие свободе и покою, и строю, и ладу, без победы над которыми жизнь, когда пойдет к концу, обозначится как не имеющая истинного смысла: ни смысла познания самого себя, ни смысла „устройства", „гармонизации" себя. Я знаю, что дни отчаяния, какие мне пришлось пережить в жизни, всегда были так или иначе связаны с этим ощущением раздвоения, ощущением

фальшивой ноты, звенящей в моем „финальном аккорде", связаны с мыслью о необходимости стройности — единственного достоинства человека в себе самом, не того человеческого достоинства, которое существует в общении индивидуума с себе подобными, но того, которое есть самый важный элемент в человеке по отношению к самому себе. И настал день — как почти всегда бывало в моей жизни, внезапный день (и потому может быть я больше верю в ход эволюции на земле толчками, чем плавными волнами), — настал день и передо мной вдруг поднялся туман и я поняла, что то что я считала разъединением, было соединением, что противоречия во мне были организованной гармонией моего индивидуального контрапункта; что якобы рассеченная надвое личность есть личность, которая в себе, в замкнутом своем бытийстве объединяет в едином процессе два полюса. Это было огромным днем моей жизни, концом сомнений и началом покоя и меры в познании себя и устроении себя.

В историческом плане, как я теперь вижу, это признание шва, признание самой себя швом, особенно плодотворно: оно дает ответ на жизнь моего поколения, существующего в двух мирах: одном, идущем к концу, и другом — едва начинающемся, оно дает покой и полноту существования в раздробленном, искаженном и беспокойном мире. На стыке старого и нового — умирания одной эпохи и рождения другой, которое продолжается уже лет пятьдесят, — мы сливаем обе, и в некотором смысле даже чувствуем себя привилегированным сословием благодаря тому, что одинаково вольно дышим и в старом и в новом, то есть *способны* к такому дыханию. В плане природном мы суть некие феномены этой гармонии. В плане же символическом мы вероятно будем впоследствии *значить*, как знак моста или звена. В этом последнем смысле я вижу, что даже сны мои находятся в соответствии с мышлением наяву, и подсознание отвечает моему сознанию, как вечно бодрствующему элементу во мне, которому подает голос его тайный, скрытый, загадочный друг и советник.

Снежные петербургские зимы и ранние вечера на огромном диване, казавшемся мне плашкоутом, на котором можно пуститься в далекое плавание (он потом вошел в первую часть моего романа „Без заката") были моей детской деко-

рацией. Я особенно помню зимы в первые годы гимназии (я поступила восьми лет в младший приготовительный класс), когда я жила уже не только среди взрослых, но и среди таких же девочек, как я сама. Некоторых я называла подругами и что-то священное и серьезное было для меня в этом слове, к дружбе меня всегда влекло, влечет и теперь, и я была всю жизнь безмерно счастлива в дружбе. Подруги были разные, сочетать их между собой было невероятно трудно, и я через некоторое время отчаялась достичь какого-либо порядка в этом направлении. Особенно одна из них, Наташа фан-дер-Флит, правнучка декабриста Ивашева, не подходила ни под какую рубрику. Она жила в деревянном доме на Васильевском острове, где всё было так непохоже на нашу городскую „приличную" квартиру на улице Жуковского 6. Там три поколения жили вместе и среди них — две замечательные бабушки. Одна из них была невесткой сосланного в Сибирь декабриста Василия Петровича Ивашева и жены его, урожденной Камиллы Ледантю (одной из трех француженок, воспетых Некрасовым в „Русских женщинах"), и двоюродной сестрой писателя Григоровича (мать Григоровича была сестрой Камиллы, Сидония Петровна). Другая бабушка была Пелагея Николаевна, в замужестве фан-дер-Флит, (урожденная Пыпина), о которой Набоков в „Даре" написал, что у нее была „верная, прочная, в эвклидовых складках юбка", за которую „держался сын Чернышевского". Мать Наташи была учительницей в школе, а отец был тем самым Константином Петровичем фан-дер Флитом, знакомство с которым сыграло такую роль в творчестве Алексея Н. Толстого (К. П. был сыном Пелагеи Николаевны). В доме скрипели полы и не было горничной в кружевном фартуке и накрахмаленной наколке, как у нас, а было много книг, маленькие оконца, выходившие на тихий двор, и тишина 6-й линии возле Среднего проспекта. Светловолосая, голубоглазая Наташа, позже в трагических обстоятельствах потерявшая мужа, была внутренне чем-то очень похожа на меня, мы хорошо понимали друг друга, говорили о выборе профессии, о тайнах жизни, о декабристах, и обе дрожали от внутреннего нетерпения при мысли о будущем, которое неслось на нас с недостаточной скоростью и силой (так мы считали), словно

были мы обе два паруса, которые рвутся в море, а ветра всё нет, чтобы надуть их и умчать.

И было другое место: огромная казенная квартира в самом здании Николаевского вокзала, принадлежавшая директору железной дороги, с окнами на шумную площадь, похожую на карусель, с только что недавно открытым тогда памятником Александру Третьему, где жила, найденная на путях железной дороги и усыновленная директором дороги, девочка. Директор и его жена казались мне совсем древними, они были людьми сановными и приходились родней моей тверской бабушке — я сейчас же распознала эту породу. Там были приемные залы и гостиные амфиладой, и бальный зал, и атласные кресла в детской, в которых сидели скучные куклы в атласных платьях и кружевных панталонах. Но тихую, бледную Люсю, мою однолетку, я любила именно за тайну ее рождения, и однажды, когда мы сидели обнявшись в кукольном доме, настоящем, куда можно было войти и где стояла миниатюрная мебель, игрушечный рояль и даже крошечная швейная машинка, я нагнулась к ее уху и спросила ее, знает ли она, кто она и откуда. И она тоже очень тихо ответила мне на ухо, что она этого не знает и никогда не узнает. Ее позже сослали на Воркуту, на лесоповал.

Одно лето было прожито не в имении тверского деда, но на берегу Финского залива, моря, о котором я до сих пор имела очень смутное понятие. Я мечтала о нем, ждала его, и оно не обмануло меня, но я боялась войти в него, это было первый раз, когда я остро ощутила в себе отцовскую водобоязнь. Я забегала в тихие волны до колен, но дальше идти не могла, схваченная безотчетным ужасом и даже тоской. Вечерами солнце садилось в самую его середину, и это считалось красивым, но т р о н у т ь я ничего не могла, словно всё, что было в мире страшного соединялось для меня в морской глади, всё, чего следовало бояться и чего я не боялась: темная комната, привидения, ночные воры, всадник без головы, черт на картинке, нищий у ворот с красной культяпкой — всё это для меня сходилось в стихии воды.

И сосновый лес, весь сухой и душистый, так близко около нашей дачи, сколоченной из этих же сосен, был мне гораздо

милее. Там часто мы бродили вдвоем, лупоглазый, близорукий мальчик Юра, носивший такие толстые очки, что его глаза, бывшие и без того сильно на выкате, казались огромными, неподвижными и очень сердитыми, и я. Мне в голову не приходило, что у него были какие-то первые любовные чувства, какие-то мучения и радости, которым причиной была я. Он рассказал мне о них в 1921 году, когда уезжал на какое-то строительство в Архангельск, откуда он не вернулся.

Я думаю, что писание стихов пришло ко мне совершенно естественно, от переполнения души, как у ранних романтиков. Если я когда-нибудь была романтиком, то именно в эти первые годы после того, как профессия была наконец выбрана. Начало, впрочем, было довольно позорно: восхитившись стихотворением Лермонтова „В минуту жизни трудную", я почувствовала, что расстаться с этим восторгом не могу, взяла чистую тетрадку, надписала на ней „Стихотворения" и аккуратно переписала в нее все двенадцать строчек. Оно привело меня в восхищение своей мелодией, и тут, девяти лет, я бессознательно почувствовала то единство формы и содержания, о котором люди до сих пор еще не перестали спорить. Содержание, если вспомнить меня ребенком, было мне совершенно чуждо: молитвы я знала, какие знать полагается, но они никогда не были для меня чудными, а святая прелесть чего-либо была совершенно непонятна. Но что это были за звуки! Минуты были трудные, и вместе с тем они всё-таки были чудные, потому что в них чудной была грусть, которая играла в их „у". Созвучие живых слов пело и искрилось у меня в голове, и то, что Лермонтов признавался, что что-то в жизни было для него непонятно (как и мне самой), трогало меня до слез; и вместо того, чтобы плакать от сомнений, оказывается можно было плакать после того, как их разрешишь, а „легко-легко" — это я уже знала хорошо, „легко-легко" я умела чувствовать давно. И вот вся эта вдохновенная красота поселилась во мне, и я чувствовала, что „твержу наизусть" уже не молитву, а самого Лермонтова, с таким же чувством полноты и счастья, с каким он „твердил наизусть" какую-то молитву. Получался круг, где мы были с Лер-

монтовым вместе, — блаженный круг! Оказались позже и другие...

— Да это плагиат! — сказал отец, когда я похвасталась тетрадкой, и сейчас же объяснил мне это трудное слово. Но я чувствовала всё совсем по-иному. Я могла пойти на небольшую уступку, в крайнем случае признать факт, что написали стихи мы с Лермонтовым вместе.

В то лето я впервые услышала имя Бальмонта. Старшая сестра Юры (погибшая во время осады Ленинграда) мелодекламировала „Умирающего лебедя", которого я не понимала, потому что совершенно темным казалось мне, чтобы птица могла говорить со своим прошедшим и видеть правду — точно Лев Толстой. С Васильевского острова донеслись ко мне „Свечечки да вербочки", к которым я осталась равнодушна, зато прочитав „Кавказского пленника", я помешалась на посвящении к нему. Это опять было что-то, что имело отношение ко мне самой:

Когда я погибал безвинный, безотрадный,
И шопот клеветы внимал со всех сторон, —

что-то здесь действовало прямым путем на меня, несправедливо наказанную, и стоя в углу и колупая обои, я твердила:

И бури надо мной свирепость утомили,
Я в мирной пристани богов благословил, —

причем я понимала это так, что **богов** относилось к пристани и что я благословил вообще всё на свете, очутившись в этой божественной пристани богов. Остальное же: „любви холодный сон" и „кинжал измены хладной" действовали опять-таки совершенно заумно, просто звуками, напряжением и очарованием пауз.

Мою мать я любила — и не любила, часто разлюбляя ее и потом опять влюбляясь в нее. Я начала судить ее гораздо раньше, чем начала судить отца. В колебаниях моей любви к ней виноват был тот протест, который очень рано проснулся во мне по отношению к ней. Я видела ее достоинства как бы издали, а под рукой был вечный протест, автоматический, как условный рефлекс. Я помню борьбу, постоянное свое „нет" на всё, что исходило от нее и в этой борьбе,

в этом многолетнем, непрерывном поединке не оказалось места ничему другому: ни ласке, ни пониманию, ни прощению, ни согласию. Всё, что шло от нее, вызывало во мне настороженность, вооружение всех сил, словно поднималась внутри меня щетина ежа, или внешне я окрашивалась в защитный цвет, как хамелеон, или вся напрягалась как тигр, готовый к нападению другого тигра. Она была человеком своего времени, того времени, когда воспитание, условности света, предрассудки коверкали женщин, когда считалось самым важным в жизни казаться не тем, кто ты на самом деле, говорить одним голосом с детьми, другим с прислугой, третьим с гостями, четвертым с приказчиком в магазине, пятым с мужчиной, которому нравишься. Голоса менялись в зависимости от окружения. Женщины того времени, якобы обученные совершенно нежизненной роли жен и матерей (разумеется, по-настоящему ни тому, ни другому), жили только для того, чтобы закрыть, утаить, замаскировать в себе что-то живое, и это что-то в конце концов бывало убито, задавленное твердыми правилами поведения. Она была одновременно поколения и чеховской „Чайки", и Доры Бриллиант, поколения, из которого вышло столько н а ш и х женщин, освободившихся из рамки искусственной жизни, тепличной, мимозной психологии. Они родились в начале восьмидесятых годов, и многие из них, не сделав настоящего свободного шага и внешне не освободившись, освободились внутренне — там где-то из кокона вылетела бабочка. Вопрос здесь не в устройстве ими личной жизни, но в осознании ими себя и своего места в окружающем мире — такие женщины были заметны в годы моего детства даже в светских гостиных. Сначала открывались лазейки, потом широко распахнулись двери (наглухо запертые в эпоху королевы Виктории и бабушки Ольги Дмитриевны), и не талант был нужен, а лишь желание принять новый век и стать человеком нового века. Мать моя не умела и не хотела этого сделать, и этого я долго не могла ей простить.

Мне казалось в те годы, что всё в ней было не совсем настоящее. А где же было настоящее? Задавленное твердыми правилами поведения, пустыми формами общежития, к тому моменту, когда я начала сознательно жить (в восемь--девять лет), оно почти исчезло, жива была только внешняя

форма жестов, взглядов, одежды, походки, суеверий и запретов, натянутых улыбок, общих мнений, неподвижной и беззвучной души. Может быть, не кто иной, как я, и только я, сделала ее такой? Страх, что в доме у нее (выйдя из нее) растет что-то чужое, новое, враждебное, далекое? Она ведь не могла не чувствовать, как далеко ушла она от своей матери (вернее не ушла, но жизнь увела ее), как далеко увело ее от собственной бабки и прабабки, и может быть предчувствовала иногда, куда мы собираемся шагнуть и что готовимся разрушить? И страх, и недоумение перед нашим будущим, страх разрыва не меня с ней, а разрыва двух наших поколений, разлома внутри нашего класса и перерыв нашей общей истории, предчувствие распадения их незыблемой вселенной сделали ее такой? А в альбоме была ее фотография: на ней ей было шестнадцать лет, она была легка, стройна, изящна, с локонами над лбом, с живыми озорными глазами. Как будто всю ее, как ноги тогдашних китаянок, стиснули, чтобы она не росла, как будто кто-то приструнил ее раз и навсегда, пригрозил ей, что мир развалится, если она, и только она, не поддержит то, на чем он стоит. И ее красота приняла сухой и строгий оттенок, ее губы стали тоньше, голос громче, движения однообразней, и серые глаза, смотревшие на старой фотографии так лукаво, стали неподвижны, словно остановленные скучной заботой: быть как все. А мир королевы Виктории, Франца-Иосифа и Александра Третьего развалился всё равно!

Гимназия, в которую я поступила, была одна из тех передовых, которые начали появляться в Петербурге после 1905 года. Тут дело не обошлось без советов с Васильевского острова — этот выбор шел оттуда, и мать поддалась ему. Спартанство было ее законом, и, как и многие женщины того времени, она боялась снобизма. О том, чтобы отдать меня в модную гимназию, одну из тех, где учились мои двоюродные сестры, никогда не могло быть и речи. Так я попала к М. С. Михельсон. Отец ее, старенький, подслеповатый Сем. Ал., ходивший в вицмундире, автор учебника арифметики, преподавал арифметику; сестра ее, В. С., жена профессора К. (впоследствии ликвидированного за уклоны) — французский, другая сестра — немецкий, жена брата —

пение. (С этим братом я дружила в Париже, он перед смертью всё беспокоился, что не узнает, чем кончится царствование Сталина — это были его последние слова). Другой брат был профессором Технологического института и нашим инспектором. Это была семья педагогов, и в первые годы, когда гимназия только что открылась и помещалась в двух смежных квартирах на Владимирском проспекте, учение носило несколько семейный характер. Но уже через два-три года всё изменилось: состав преподавателей был отличный, и родственники М. С. постепенно исчезли с горизонта.

Гимназия очень медленно вбирала меня в себя. Несмотря на то, что с первого дня мне всё там очень понравилось, в первые три года моего учения там ни само это учение, ни подруги, ни учителя не играли первенствующего значения в моей жизни. Всё было интересно, всё занимало меня, но не больше чем то, что делалось дома, или летом на даче, и гораздо меньше, конечно, чем то, что делалось во мне самой. После кражи из Лермонтова я стала самостоятельно писать стихи. Они имели два свойства, присущие одинаково стихам детским и стихам скверным: стук метронома и щелканье рифмы. Этим я вполне удовлетворялась: мне было десять лет. Как часто этим удовлетворяются взрослые люди: тра-та, тра-та, тра-та — есть? мочь-ночь, белый-смелый — есть? Ну, значит, это стихи. Секрет бывает утерян, секрет бывает не найден. Но кое-кто думает, что никакого секрета вообще нет.

Профессия теперь была выбрана. Помогли в последнюю минуту музы. Из было девять. О них я прочла в чудной книжке по мифологии. Выбор мой сузился. Я не спала ночь и утром, когда поднялась температура, был вызван доктор. Я-то знала, что это не корь! Я-то знала, что это не свинка! Но я никому ничего не сказала. И не поспав вторую ночь, я утром в последний раз перечитала длинный реестр, составленный прошлым летом, который я всегда носила с собой, перечитала и, уверившись наконец в том, что у меня нет ни к рисованию, ни к трагедии никаких способностей, я сделала свой выбор. Я разорвала реестр на мелкие кусочки, бросила их в весело трещавшую печку и началась та vita nuova, по которой я так томилась.

Это был детский кризис, который столько значил для меня. Теперь я знала, что мне надо делать, что я хочу делать. Теперь, когда начиналось вечерами „переполнение души", я уже знала, что надо ему поддаваться и стук метронома и щелканье рифм целыми днями трещали у меня в мозгу и заползали в сны, дикий вел за собой великий, глубокий вел одинокий, и легкой поступью шли мне навстречу хореи и ямбы, когда я сидела в углу зеленого плашкоута и смотрела в синюю ледяную петербургскую ночь, где начиналась улица, где начинался город, Россия, мир и вся вселенная. И где мне уже не было обратного хода.

Да, я уже понимала в то время, что обратного хода мне нет, и для себя самой я была центром вселенной, как человечество на заре человечества. Но вот прошли годы и научили меня видеть мир, как сферу, с радиусом, равным бесконечности, с центром в каждой точке этой сферы. И я опять оказываюсь в этом смысле центром его, как каждый вокруг меня, потому что точкам нет конца и сфера вмещает всё — и мир Евклида, и мир Эйнштейна, и все миры, какие придут им на смену. Но тогда, в те вечера, когда падал снег, когда замерзали окна, когда переполнялась душа ожиданиями, которые были в атмосфере тех лет, во мне сквозь детские стихи начинала звучать первая музыка настоящей жизни, воли к жизни, воли к познанию себя, серьезностью и величием своим заставлявшая меня содрогаться. Всем моим тогдашним физическим телом я помню эти содрогания. Я в них росла. И когда я переживала их — и это мне сейчас всего дороже — торжественность, ответственность и неповторимость тех минут была мне ясна, и я слышала толчками как бы собственное прорастание в будущее.

А рядом с этим шло всё еще очень детское, домашнее и школьное существование, где всё решительно было как у всех: сегодня созорничать, завтра увильнуть от урока, послезавтра прилгнуть, хвастнуть, потом разбить и не сказать, украсть вкусное из буфета и аккуратно замести следы, и даже какие-то „подпольные" ощущения, свойственные детям: детское подполье, особое в своем уродстве, было мне хорошо знакомо, — словом всё было так, как у всех детей, за исключением разве уж совсем примерных, с которыми, однако, мне в жизни встретиться не удалось.

В третью зиму (я была в первом классе) случилось одно происшествие, после которого моей матери довольно долго пришлось приходить в себя: я предложила одной подруге обменяться родителями. Я заметила, что за ней после уроков приходит мать с маленьким братом, и эта мать мне чем-то понравилась. Нравилось тоже, что отец ее писал в газетах. Я сказала ей, что собираюсь, когда выросту, тоже писать в газетах. Особенно же мне понравилось то, что у нее дома были еще сестры. Я объяснила ей, что будет очень, очень интересно, если на время перемениться родителями: она поживет вместо меня у нас, а я — у нее. Скажем: месяц. А потом мы опять переедем куда-нибудь в третье место. Так мы больше узнаем о жизни, — сказала я, — скорее вырастем, а то если всё сидеть годами с одними и теми же родителями, то ничему не научишься и ничего не узнаешь.

Она оторопело посмотрела на меня и вдруг захныкала. Я пожала плечами, больно дернула ее за косичку и отошла. Эта мысль побольше узнать пришла мне в голову еще летом, когда Даша сказала про одну знакомую кухарку, что она нигде не заживается, меняет господ каждый год и оттого такая „бывалая". Я решила как можно скорее тоже сделаться „бывалой".

На следующий день на перемене я заметила, что кое-кто с любопытством посматривает на меня. Пришли три большие девочки из пятого класса, им было лет по четырнадцати. Окружили меня:

— Ты что, найденная? Расскажи...

Нет, я не была найденышем, а впрочем... кто его знает?

— Тебя что, дома порют?

Нет, меня не пороли... А впрочем был один случай, только один, кажется: я, лет пяти, сорвала с груди немки-бонны часики вместе с мясом, как говорится, и брякнула их об пол. Отец, схватив меня одной рукой за поясок, отнес в спальню, бросил ничком на кровать, задрал платьице и своей собственной ночной туфлей... Да что об этом вспоминать! Я переминалась с ноги на ногу.

— А почему ты именно Тусю выбрала?

Я знала, почему именно я выбрала Тусю: я всегда хотела иметь сестер и братьев для того, чтобы они оттянули от меня внимание. Мне казалось: больше свободы, больше

одиночества, меньше гнездышка, меньше крылышка, где пусть они будут сидеть, не я.

— Значит, ты хочешь кочевать по чужим родителям?

Я даже облизнулась от удовольствия при этой мысли.

— Ну подожди, попадет тебе от Марьсеменны.

На следующий день мою мать вызвала к себе М. С. Михельсон, до которой дошло мое странное поведение. Она решила выяснить, истязают ли меня дома.

Мать вернулась перед обедом заплаканная. Я поняла, что такое „позор", „опозориться", „опозорить собственную мать", „покрыть позором семью". Это был тяжелый день моей жизни, и я даже мечтала умереть. Я умоляла позволить мне хотя бы три дня посидеть дома, пока там всё забудется, но на следующее утро меня выпроводили из дому.

Долго еще приходили из старших классов смотреть на меня. Некоторым отчасти понравился мой план, они его обсуждали. Обсуждали и меня. Кое-кто отвернулся от меня, приготовишки боялись меня. А когда „позор" прошел и осталась только память о моей дерзости, я стала чувствовать легкий ореол вокруг себя, и хотя это было приятное чувство, но мне всё-таки продолжало быть стыдно до самого лета.

Однажды во время рождественских каникул, по сугробам и в грохоте скребущих снег поскребков, мы отправились с отцом в одну столярную мастерскую покупать зачем-то нужный в гостиную столик маркетри. Там, в гостиной, стоял нотный шкафик с инкрустациями, и я, только утром узнав, что это называется маркетри, носилась с этим словом и не чувствовала под собой ног от радости, что отец берет меня с собой. Мы пошли — уже не за руку, а под руку; мы пришли к столяру, человеку пожилому и степенному, и отец довольно подробно обсуждал вопросы „маркетри" и „булля" (о котором я не имела ни малейшего понятия). Выходя во двор, я сказала отцу, немножко ревнуя его к столяру, с которым ему было видимо интереснее, чем со мной:

— Ты с ним говоришь о маркетри, а он наверное и не знает, что такое маркетри.

Положительно, произнести это слово уже доставляло мне неизъяснимое заумное удовольствие, от которого я не могла удержаться.

Столяр, сняв картуз, сказал тихим и вежливым голосом за моей спиной:

— Я уже тогда знал, что такое маркетри, барышня, когда вас на свете не было.

Мне показалось, что земля заколебалась под моими ногами, и я, с надеждой провалиться в нее, замедлила шаги, но к сожалению это была иллюзия. Я взглянула на отца. Он спокойно смотрел в сторону.

— Так тебе и надо, — сказал он холодно. — Спасибо, Трофимов.

И мы ушли. Я не знала, куда мне смотреть, я хотела вернуться и просить у столяра прощения.

— Ну довольно глупостей, — сказал отец, — ты не только необразована и невоспитана, но еще вдобавок и сентиментальна.

Я пришла домой убитая. Мне и теперь совестно думать, что это случилось уже тогда, когда в гимназии ставились мои пьесы (совершенно не помню о чем они были, только помню, что они были в стихах), когда громадным большинством класса (и мною) переживалось дело Бейлиса, когда читался „Ответ Синоду".

В то утро, когда оправдали Бейлиса (в 1913 г.), я стояла в раздевалке и смотрела, как мои две подруги Ляля и Лида, обливаясь слезами радости, обнимали друг друга. Я на минуту почувствовала себя отрезанной от них: у них была общая радость, а я не участвовала в ней. Растерянно я стояла у вешалки, не двигаясь, не решаясь уйти и остаться окончательно одной, и боясь остаться — словно я со стороны смотрю на что-то, куда меня не принимают. И вдруг они расцепились, увидели меня и бросились ко мне, схватили меня, и мы все три крепко и долго обнялись, с совершенно мокрыми лицами.

Ляля Зейлигер была дочерью известного петербургского адвоката, члена кадетской партии, в доме которого бывал весь цвет петербургской интеллигенции, политической и артистической. В огромной квартире на Надеждинской улице мы обыкновенно играли в кабинете Филиппа Николаевича, когда его не бывало дома — шесть окон смотрели на улицу. Стены были уставлены книгами, на толстых коврах лежали медвежьи шкуры, и мы строили из них

пещеры, где сидели подолгу и разговаривали о всевозможных наших тайнах, которых к этому времени было уже довольно много. Иногда я оставалась обедать и тогда робела в присутствии Лялиной матери, веселой, деловой и энергичной, тоже имевшей отношение к кадетской партии, старшей Лялиной сестры (позднее вышедшей замуж за журналиста В. Азова) и брата Сережи, застрелившегося в Берлине в конце двадцатых годов. Здесь бывали Милюков из Думы и Ходотов из Александринки, скрипачи Мариинского театра, видные адвокаты, актрисы, писатели. Но конечно я не видела их никогда, я только знала, что они бывают, и ходила по комнатам в священном трепете, воображая, как всё это выглядит, когда зажжена великолепная люстра и гремит рояль, и толпа гостей наполняет гостиную, столовую, кабинет и все остальные комнаты, где сейчас снуют помощники Ф. Н. Ляля была курчавая, маленькая, худенькая, ничего не понимала в стихах и не понимала, зачем я их пишу, но что-то связывало нас: любопытство к миру, интерес друг к другу. Она была на класс старше меня. Я очень скоро как-то потеряла ее, она быть может еще жива сейчас — последнее, что я знаю о ней, это то, что она жила в Казани, куда ее выслали. Не то Корделия, не то Антигона, она отдала свою жизнь отцу. Но тогда она была совсем не похожа на героиню трагедии.

Есть что-то преувеличенно-трогательное и искусственно-слащавое в воспоминаниях о школьном классе взрослых людей, но когда я думаю о своих тогдашних подругах, я вижу перед собой не наивных маменькиных дочек, в изящных платьицах и с бантами на голове, но совершенно зрелые существа, с определившимися вкусами, с политическими убеждениями, умеющие судить, спорить, рассуждать, выбирать книги для чтения и себе подобных для общения. Время сыграло здесь свою роль: каждый год менял Россию и каждый день старил нас. И самой незрелой, как мне теперь кажется, была я сама, с моими „подпольными" чувствами, заумными радостями, с частичным знанием тайн жизни, в которые я была посвящена некоей Мусей Р., сидевшей в каждом классе по два года и бывшей в то время чуть ли не на пять лет старше всех нас. Единственным моим преимуществом перед ними было писание стихов, но и оно скоро

померкло, когда появилась в 4-ом классе Наташа Шкловская, тоже писавшая стихи, и какие стихи! Но об этом я скажу позже. В одиннадцать лет все мы более или менее знали, чего хотели, и все хотели чего-то особенного. С двенадцати лет мы читали запрещенную литературу и рассуждали о преимуществах партии с.-д. перед партией с.-р. Мы все — нас было пять-шесть — были связаны друг с другом и вечером договаривали по телефону недоговоренное днем, прося телефонную барышню соединить нас по три вместе (что было возможно), а по воскресеньям ходили друг к другу, читали вместе непонятные слова в словаре Граната и обо всем имели мнение, иногда общее и шумное, иногда свое собственное, секретное.

Муся Р. и я остались после уроков, и в пустом классе, в полутьме, у холодного окна, она не только объяснила мне всё, но и дала прочитать „Яму" Куприна, чтобы не быть голословной. Эта книга произвела на меня ошеломляющее впечатление. Во всей моей жизни ни одна книга не имела на меня такого действия. Я так и сказала об этом А. И. Куприну, когда однажды, в гостях у В. В. Барятинского в Париже в 1929 году, я осталась с ним одна в гостиной после того, как все другие перешли в столовую. Куприн был похож в те годы на старого татарина, отчасти напоминая моего тверского деда. Он покачивал головой, опустив руки и казался дряхлым и сонным. Он выслушал меня, медленно взял с вазы вишню и попросил меня взять ее за хвостик в рот. Вишня повисла у меня на подбородке. Он придвинулся ко мне и осторожно взял вишню ртом, почти не коснувшись меня. Когда он выплюнул косточку, он сказал:

— Это — моя последняя стадия.

Мне стало его жалко, но я ничего не сказала. И он поцеловал мне руку, капнув слезой, словно слеза в его угасшем глазу долго ждала мгновения, чтобы упасть мне на руку. Мы вышли в столовую.

После чтения „Ямы" мне в течение нескольких недель ничего не шло в голову. Я говорила себе, что если „спрос" рождает „предложение", то нельзя оставаться чистой и терпеть Лондон, Гамбург, Париж и Невский проспект, как неизбежное зло, что что-то должно произойти со всеми

н а м и, со мной, с моими подругами, с девочками всего мира, подрастающими сейчас в миллионах семей, чтобы кончилось то, что есть в „Яме". Недостаточно это запретить, недостаточно взорвать, надо чтобы что-то очень существенное переменилось внутри нас самих. Отчасти теперь, через пятьдесят лет, в мире западных людей это и случилось („западных", то есть тех, которые живут в современных техникой обусловленных городах). Я тогда не представляла себе конкретно этой смутно призываемой перемены, не догадывалась, что буду принадлежать к тому поколению, с которым прежнее положение вещей окончится, когда женщины перестанут делиться на порядочных и непорядочных, и когда окажется, что „груз", который якобы несли „непорядочные", облегчая тем самым жизнь „порядочным", будет не только разделен между теми и другими, но и потеряет свой основной смысл г р у з а. Литература, законодательства, психология и даже точные науки помогли в этом, внутренний бунт современного человека доделал многое, экономика довершила остальное.

К этому же времени относится также первое мое ощущение связи времен. Много раз впоследствии мне приходилось говорить с М. А. Алдановым на эту тему. Его всегда волновала эта идея, и он возвращался к ней в разговорах. Конкретно это выражалось в том, что он в юности видел императрицу Евгению в Париже, глубокую старуху, которая в юности, в свою очередь, видела деятелей французской революции. Мне суждено было в детстве знать урожденную Пыпину и дочь декабриста, дружить с русским англичанином, бывшим уланом, лично не раз видевшим Николая Первого. И это впечатление связи с пушкинской Россией производило на меня в те годы громадное впечатление. Что-то новое открывалось мне о времени, оно делалось чем-то конкретным и начинало походить на пространство. Этот бывший улан, муж сестры тверской бабушки, знал Николая Первого, а Николай знал Екатерину, а Екатерина конечно знала кого-то, кто хорошо помнил день закладки первой сваи Петербурга-городка. Это вызывало во мне трепет, вызывает и сейчас. Так кто-то через пятьдесят лет вспомнит, что видел меня — человека в детстве знавшего участника войны с турками 1855 года!

Он был сыном настоящего англичанина, подданного Георга Третьего, приехавшего в Россию и застрявшего в России. Несмотря на то, что он был привезен в Россию трех лет, он казался мне совершенным иностранцем. Он мало мог сказать об Англии, больше интересовался урожаем и семейными делами (он был соседом-помещиком Карауловых) и удивлял меня тем, что в кабинете его, рядом с ружьем и парой пистолетов, висела на виду у всех эсмархова кружка с длинной клистирной трубкой.

Мне всё-таки удавалось, после длинного описания парада „в присутствии августейших особ" возвратившихся в 1856 году из Бендер русских войск, выжать из него какие-то названия английских городов и весей. Тут вступала в свои права география, со множеством сложно и мощно звучащих названий, с Гималаями и Андами, с Испаганом, Лиссабоном и перуанскими, заросшими лианами, городами. И впервые увиденная карта звездного неба тоже была чем-то, что нужно было постоянно принимать во внимание, о чем ни дня нельзя было забыть, как и тот факт, конечно, что мы не только висим, и плаваем, и кружимся, но и то, что мы со всех ног летим прямо в созвездие Геркулеса.

Ощущение „со всех ног" было постоянным. Со всех ног — в созвездие Геркулеса, и со всех ног — Россия в революцию, и со всех ног — из гимназии домой, читать, думать, сочинять стихи, и со всех ног — вон и прочь от либестраумов к настоящим бурям, которые ждут. Чем больше расстилалось надо мной „крылышко", тем больше хотелось подальше от него, чем теплее и милее было всё вокруг меня, тем сильнее рос протест во мне против руки, покровительственно положенной на плечо, против заботливого взгляда и вопроса: ты здорова? против правил и установлений, которые должны регулировать мою внешнюю жизнь. О, каким я была несносным существом! Каким жестоким, отчаянным, своевольным, жадным до жизни существом! За что меня любили? Я сама далеко не всегда любила себя.

Минуты восторга и переполнения души всегда бывали в одиночестве. Я не помню, чтобы они наступали в „пещере" из медвежьих шкур, где мы бывали вдвоем с Лялей, или в ложе театра, куда в самом раннем моем детстве еще ездили с гладильной доской, чтобы маленьких сажать вчетве-

ром на два стула в ложе, подложив под них доску, или где-нибудь, где вокруг меня были люди, сверстники или старшие. Восторг и переполнение души всегда приходили, когда была тишина и полнота сознания (полнота сознания, само собой разумеется, была разной в десять, в пятнадцать, в двадцать лет). Одиночество для меня до сих пор — тишина души и полнота сознания, и я не знаю ничего, что было бы лучше них. Мне возразят, что я никогда не была действительно одинока и во всякий час моей жизни у меня были люди (или человек), которые могли разделить со мною некоторую часть моих мыслей и чувств. Это верно, но как подводное течение всегда было одиночество, и я не знаю ничего выше, важнее и серьезнее его.

А жизнь приоткрывала мне всё больше и больше свою суть, сначала как бы картину, а потом — ее значение, сначала как бы наспех, на бегу — пейзаж, а после и смысл его. Она учила меня читать книги и видеть за занимательной историей связь смыслов, за театральной пьесой — сеть вопросов и ответов, за разговором людей — ткань проблем. Ничто не повисало в воздухе без контакта с окружающим, всё было соединено нитями с остальным, часть с целым, и если призвать на помощь метафору, всё было гораздо больше похоже на великую паутину звездного неба, перед которой я стояла, рассматривая ее, часами, чем на фейерверк, который обыкновенно люди запаляют, а потом бегут от него.

Первое мое сближение с животными было первым жестоким разочарованием в православной религии (в которую я была крещена при рождении): я узнала, что о них она никогда не сказала ничего. Правда, были львы и тигры, которые дружили со святыми, но во-первых инициатива дружбы принадлежала зверям, а во-вторых вся теплота общения исходила от животных. Морда лошади, уши собаки, грудь и брюшко кота — пусть это перечисление и напоминает „Дианы грудь, ланиты Флоры", — остаются для меня одними из сладчайших впечатлений нашего мира. Я таю от гордого и печального взгляда верблюда, я чувствую глубокое родство с медведем и зеброй. Голодная собака, брошенный кот — для меня нет горше существ. Мне пришлось однажды в голодный год зарезать курицу, — я люблю мясо, я люблю кровавый бифштекс, не понимаю вегетарианства,

и не вижу непоследовательности в этом: цель моя не в том, чтобы завязать концы, а в том, чтобы развязать узлы. Громадная, неописуемой красоты бельгийская овчарка песочного цвета, с обведенными чернью глазами, принесла мне в зубах полумертвого от страха большого цыпленка, рыжего в коричневых подпалинах. Было воскресенье, Франция, октябрь 1941 года, и Оля (погибшая впоследствии в Аушвице) говорила, что кормить приезжающих из Парижа четырех гостей совершенно нечем и что она уходит в лес искать грибы, чтобы испечь пирог с грибами. Фермерша, продавшая накануне всё свое масло и кадушку солонины немецким солдатам (платившим радужными французскими деньгами, печатавшимися во Франкфурте в количестве неограниченном), отказалась продать мне что-либо, считая, что с немцами дело иметь вернее, чем с русскими — немцы стояли тогда под Москвой. Я остановилась в саду, под посаженными нами два года тому назад грушами (которые, как я слышала, теперь, через двадцать лет, дают ежегодно большой урожай берре александр), смотрела с тоской вокруг себя и соображала, чем я буду кормить голодных парижских друзей, которые проедут на велосипедах 30 километров. В это время появился Рекс с курицей. Он принес мне ее с соседнего луга и положил к моим ногам. Я схватила ее за лапки, побежала за топором, раскачивая ее на бегу вниз головой, и на том пне, где мы пилили дрова для печурки, ударила курицу топором поперек шеи. Она трепыхнулась под моей рукой два раза, и всё было кончено. Рекс стоял и смотрел, серьезно и внимательно. Он был горд собой, и он был прав. И хотя я в первый раз в жизни убила живое существо, я тоже была права. Он пошел на преступление ради меня. Я пошла на преступление ради Оли и друзей. Он любил меня, как я его, и с того дня как будто стал любить меня еще больше.

Но церковь ничего не сказала о зверях, она забыла о них. Вообще же от принесенного в мир нового было много крови — не соответственно этому новому (всё главное, важное, высокое было уже сказано ранее). Зато мало что и изменилось за двадцать веков: социальной стороны жизни христианство не коснулось, и если человек изменился в наше время в сторону жалости-прощения-забвения-отказа

от выпячивания денежного благополучия в сторону общей нивеллировки в доброте и считает ложь, месть, лесть, злость и зависть чем-то неприличествующим человеку, то это сделала демократия: покупательная способность, свобода печати, всеобщие выборы, отсутствие военных парадов и многое другое, что для одних быть может потеряло „аромат новизны" и получило „оттенок прагматизма", а для других не соответствует принципам диалектического материализма, но что мне было, есть и будет дорого — и без „аромата", и не подпертое Энгельсом.

Жизнь приоткрывала мне свое трехмерное пространство, давая задумываться о четвертом измерении, помещая меня в этот, не имеющий края и конца пейзаж. Она приоткрыла мне Европу, но не открыла ее. Мне было двенадцать лет, и я только успела схватить на лету то, что потом, на много-много лет стало мне своим. От Берлина, который через восемь лет был узнан мной во всей его жесткой и серой сущности, от Парижа, ставшего позже „столицей моей судьбы", от Лондона (до сих пор чужого) остались клочья дней и ночей, гостиницы (первые в жизни), темпы уличной жизни (непохожие на русские), старость и роскошь Европы, которые делали ее особым каким-то антирусским миром. Но в этом путешествии были часы, которые как бы предваряли дальнейшее, и есть что-то странно-тождественное в моих одиноких прогулках по Женеве тогда, летом 1914 года, и в прогулках по Цюриху — более двадцати лет спустя — вдоль одного и вдоль другого озера, но в той же неизменной Швейцарии, где покой заливает людей, где живется под лозунгом „а там хоть трава не расти" . . . Дни бегут, и вот уже поезд увозит нас в ночные Альпы, в туннели, где черно и гремят колеса, и свищет туннельный ветер навстречу поездам. В двадцатых годах, вернувшись в Париж и начиная новую полосу жизни, я искала и не нашла ту гостиницу, где мы тогда, в августе 1914 г., остановились (на обратном пути из Виши). На пути туда — всё еще было, как полагалось ему быть: встретили нас в Гранд-Отеле, где почему-то днем горело электричество в номерах, и мы больше ходили по магазинам — по плану матери музеи и соборы должны были быть осмотрены во второй приезд, после месяца жизни в Виши. Но второй приезд оказался

скомкан войной, немцы подступали к Амьену, Бельгия была взята, Париж вдруг вымер, и когда мы приехали извозчик повез нас по пустым улицам, в зловещей тишине ставшего мертвым города, от Этуали к Нотр Дам, по набережным, мимо Дворца Инвалидов. „Пользуйся, пользуйся, неизвестно, попадешь ли сюда еще в жизни, смотри, любуйся, это Париж..." Я попала сюда, я жила здесь. Я прожила здесь двадцать пять лет. Четверть века изгнания.

Гостиницы, где мы остановились на пути домой, я потом никогда так и не нашла. С деньгами было туго, о Гранд-отеле нельзя было и подумать. Мы жили тогда около церкви св. Роха, между улицей Риволи и рынком, жили всего три дня и слышали: „Tous a Berlin!" и „On les aura!" и всё это было для меня ново. Потом был поезд и пересадка в окруженном немцами Амьене, эшелоны раненых, раскаты пушек и приезд в переполненный порт Булони, где мы сели на пароход и уплыли в Англию. Тогда они шли через Амьен. До того они шли через Седан. Потом они шли через Компьен. Девяностолетняя мать фермерши, отказавшейся продать мне курицу в 1941 году, говорила:

— Вот помню как сейчас, в 1870 году они пришли по этой вот дороге, что ведет к амбару Мотэ, за вашим пчельником, а вишь-ты теперь они в обход пришли, мимо стогов наших и гречихи Валлэ. А всё такие же молодцы, как были, один к одному — бравый народ.

Интонации не было. В деяносто лет уж какие там интонации! Она только показала клюкой на юг, на север, и единственный зуб ее шевелился во рту, как будто вот-вот готовый упасть. Но он еще держался года три.

Ночи Виши, писание стихов, теннис с русскими девочками, дружба с французским мальчиком, читавшим мне Верлена и свои стихи наизусть, всё теперь было позади и казалось уже далеким в этой Англии, о которой я знала только то немногое, что мне рассказывал в свое время николаевский улан, во всяком случае меньше, чем об Африке (Пушкин и Гумилев) и об Америке: долго считая Линкольна негром, мне казалось, что его грустное, темное лицо было похоже чем-то на лицо нашего отечественного арапа, и мне нравилось думать, что он освободил свой собственный народ. Кстати, лет до восьми у меня было неизвестно

откуда взявшееся убеждение, что в Америке живут только негры и индейцы, и вовсе нет белых людей. Как много нелепостей может питать воображение человека на заре его жизни! Но об Англии я теперь знала, что и она была в войне. Несмотря на это мы всё же неделю остались в Лондоне. Меня повели в Национальную галерею. Это было тогда, когда половина зал была закрыта для публики от ярости суфражисток, выкалывавших глаза Рембрандтам и Рафаэлям.

Если кое в чем я была развита преждевременно отчасти благодаря самой себе, отчасти благодаря условиям российского существования в предреволюционный период, была область, в которой я запаздывала, и это было всё то, что касалось искусства. Поэзия не входит сюда, в поэзии я уже точно знала, что люблю, и что не люблю, и почему, в поэзии я делала открытия и за них стояла горой, я презирала, я ненавидела, я преклонялась, я чутьем знала, что хорошо и что дурно. Но понимание музыки и живописи пришло ко мне поздно. Лет до шестнадцати я не имела о них никакого понятия, не чувствовала ни старой, ни новой музыки, любила Манэ (или так мне тогда казалось), не любила Гойи (ничего не понимая в нем), проходила мимо современного искусства, античности — словом всего того, что стало потом необходимостью такой же, как читать книги, есть, пить, путешествовать и узнавать новых людей. Я принадлежу к тем редким русским писателям, которые любят музыку и для которых живопись — пища постоянная, а периодами даже ежедневная. Но только годам к двадцати проснулось во мне „эстетическое чувство", как это называют, и понимание искусства, и любовь к нему, и потребность в нем. А в это время я уже давно знала, что отличает Мартова от Суханова и Спиридонову от Блюмкина.

— Советское дитя! — сказала мне однажды в 1920 году одна барыня, взяв меня за подбородок и сверля меня глазами.

— Что вы хотите, Марья Иванна, мы едим перловую кашу, танцуем под граммофон и носим рвань.

— Почему ты зовешь меня Мариванной, когда я Ариадна Леонидовна? . . .

Итак, пробегая по Национальной галерее Лондона я не увидела ничего, как дикарь, привезенный из джунглей, а на первых концертах в зале Петербургской консерватории в ту зиму я едва досиживала до конца в скуке, чувствуя себя не лучше. Теперь и музыка, и живопись мне столь же близки, как и литература, и я так же не представляю себе жизни без „видения" и „слышания", как и без чтения.

Что касается делания в музыке, то однажды один честный друг мне сказал:

— Я люблю тебя слушать издалека. Лучше всего — уйти в лес, когда ты играешь на рояле: там едва слышно.

А про одну мою акварель, принесенную домой с урока рисования, друг нашего семейства, „сын знаменитой русской грамматики" (и синтаксиса) Вяч. Петр. Смирновский как-то спросил:

— Это что, пряники?

— Нет, это свинья с поросятами.

„Сын грамматики" этому не поверил.

Между тем поэзию я чувствовала, жила в ней, писала сама и читала других, училась незаметно, питалась ежедневно прежним и новым, своим и чужим. Французский мальчик говорил мне, что стихи можно писать только по-французски и я, хоть и знала, не могла объяснить ему, почему он неправ. Мы спорили долго, и он хотел, чтобы я и он написали оба по стихотворению на одну и ту же тему, он — по-французски, я — по-русски, и потом пусть рассудят нас, как на турнире. Мы решили написать стихи под названием: „Дай мне комету", вероятно по ассоциации с кометой Галлея 1910 года. Мысль была такая: я не боюсь ни темной комнаты, ни воров, ни привидений, — дай мне комету на небе, страшную и длинную, предвещающую катастрофы, несущуюся на мир, как угроза. Дай мне комету, чтобы я наконец узнал, что такое страх. Но я, никогда не писавшая на заданную тему, не сумела написать стихов о комете. Он написал, и тем спор решился в его пользу. Сейчас в Париже есть улица его имени. Я много раз ходила по этой улице и думала: ему дали улицу. А мне дали комету, предвещавшую катастрофы, принесшую катастрофы. И я узнала, что такое страх.

Пушечный обстрел поезда около Амьена был неосознанным началом будущих российских и европейских исторических обвалов, и вслед за ним, через неделю, пришла странная незабываемая ночь в Северном море, когда мы шли из Эдинбурга в Берген и я ходила по палубе в спасательном поясе: море было минировано, и по приказу капитана все поднялись наверх в поясах, все, кроме моего отца, для которого пояс не мог быть спасением. В полной темноте, в равномерном плеске спокойной волны, я устроилась на самом носу, на полу, и очень скоро вокруг меня появились темные фигуры, с раздутыми пробковыми поясами спинами, и тоже легли, заполнив всё пространство от борта до борта. Мы шли из черноты в черноту, всё было пронизано мыслью об опасности, о возможном взрыве, но меня клонило ко сну, я то и дело закрывала глаза и сознание мое прерывалось. Внезапно я проснулась оттого, что кто-то лег мне на ноги. Их было двое, женщина и мужчина, они говорили по-русски. И кругом я вдруг услышала тихую русскую речь. В волшебном мраке эти двое обнимались и целовались, тихо смеялись, и кто-то по левую руку от меня тоже обнимался и целовался, кто-то рядом пил коньяк и курил. „А это кто же?" — спросил кто-то, видимо обо мне. „Чужая девочка. Дайте ей шоколадную конфетку". Через четверть часа я уже читала им стихи.

Я сделалась свидетельницей ничем не прикрытого таинственного молодого любовного буйства. Чьи-то головы лежали на моих коленях, кто-то опирался на мое плечо. Я сидела неподвижно, прислонясь к парапету, как свидетель, как зритель, даже мысли не имея о том, что и я могла бы участвовать в этой ночной вакханалии. Кто-то трогал в темноте мое лицо, длинные косы (они, гладкие и холодные, доходили мне в те годы до колен), кто-то наклонялся ко мне: ах, это вы, ах это не ты, — говорил кто-то в ночном мраке. А пароход шел и шел, и шумело море, и я читала наизусть и „Как вплелась в мои черные косы", и „У моря ночью", и „А под маской было звездно". И они просили еще, когда я останавливалась, думая, не заснули ли они все в объятиях друг друга. Но они не спали, они праздновали свою молодость, они шептали друг другу нежные слова, накрывшись по двое кто пледом, кто курткой, иногда раз-

давался долгий стон и в воздухе будто разливалось дрожание. И я сознавала, что приглашена странным образом на чужой праздник, как менестрель ко двору короля, и чувствовала себя переполненной чужим счастьем. На следующее утро, за завтраком, я не узнала их, да и не старалась узнать. Я уже понимала тогда, что есть радость в том, что всё проходит, и радость в том, чтобы не насиловать его, давать ему проходить.

И Берген, и Стокгольм были мне показаны на мгновение, чтобы позже открыться во всей их северной, зелено-седой красоте, позже, много-много лет спустя. Всё путешествие оказалось пробой, испытанием, словно лента кино прошла передо мной: здесь ты будешь жить. Здесь ты будешь. Здесь ты. Здесь. Всё это свяжется с твоей жизнью так тесно, что ты не будешь в конце концов знать: сама ли ты жила вот в этом доме или тут жил герой твоего рассказа? Как ты видишь всё это теперь, так ты этого уже больше никогда не увидишь, ты увидишь это иначе, ты сама себя увидишь в центре этих городов, этих океанов, этих горизонтов.

Мы смотрим на веселый цветной плакат, объявляющий нам и всем о счастливой семейной жизни на лоне природы. На первом плане — травинки, былинки, ромашки; на втором — дети играют; на третьем — мать и отец готовят завтрак на лужку; на четвертом — коровы пасутся и далее — лес и горы. Летний день. Пикник. Мы опять смотрим на тот же плакат и видим: огромная божья коровка ползет по ромашке, ростом с дом. За ней — дети в тумане, родители — пятно, а коров и гор не видно вовсе. Мы смотрим в третий раз и видим: сидит художник и пишет этот плакат, он выглядит добрым дядей (таким его видят дети), он выглядит посторонним господином, ничего не имеющим на старость (таким его видят родители), он выглядит точкой (таким его видят коровы). И наконец мы смотрим в последний раз и видим какие-то треугольники и пирамиды, искры и круги („как это вешать? где верх? где низ?”) — это во все глаза смотрит на божий мир божья коровка.

Поезд вошел в Финляндский вокзал. Это была Россия, моя родина, возврат домой, война. Последние дни августа 14-го года, густая пыль, толпа новобранцев. Грусть, впервые почувствованная мною от солдатского хора: „Рано по утру

вставали — трезвонил набат!" Набат здесь, над этим солдатским эшелоном, гудящий тревогой, полнеба в огне, звон над Невой, „барышня, подари на счастье заграничную игрушечку" — даю из сумочки зеркальце. Странно, никогда не дорожила своими вещами, могу отдать, могу потерять, нет у меня „священных" вещей, как бывало у русского человека старых времен (ложка, гребешок). Чистое полотенце и чистая наволочка — вот всё, что мне надо. Остальное не важно. Даю зеркальце. Шинель скручена и надета накось. И вдруг покрывая хор грянул духовой оркестр. А на Литейном мосту горят фонари. Почему они горят? Почему извозчик сидит боком? Почему плачет женщина? Почему ребенок просит: дяинька, дай копеечку? Почему? Почему у городового такой толстый живот, а у попа еще толще? Почему бледный мальчик, сын нашего швейцара, говорит моему отцу скороговоркой: „Обещали, Николай Иванович, но не дали. Не вышло". (Это о стипендии в реальное.) Почему всюду кругом: не дали, не вышло, нетути. Почему? Почему холодно в августе? Темно в сентябре? Почему у Даши растерянный вид и фонарь под глазом? „Напившись вчерась на прощанье как тарабухнет меня кулаком. В Галицию погнали их". Что всё это значит? Зачем это всё? И куда я ни смотрю — на божью ли коровку величиной с дом, на детей, играющих на лужку, на папу с мамой, расстилающих белую скатерть или на коров, говорящих „му", я вижу только одно: грусть, бедность, нетути, войну, сапог солдата, сапог городового, сапог генерала, мутное небо надо всем этим, осеннее небо военного Петербурга.

Через несколько дней я иду в гимназию. Радость встреч, несколько новеньких. Знакомства. „А это кто такая? Не смотрит ни на кого". — „Это Шкловская — пишет стихи". Чувствую, что умираю от любопытства, желания подружиться и страха, что моему литературному первенству пришел конец. Она садится со мной рядом, на ту же парту. Ей, как и мне, тринадцать лет, но лицо ее — лицо взрослого человека: серьезный взгляд серых глаз, узкий нос, слегка поджатые губы, и фигура женщины. Я невольно теряюсь. Мы однако переходим на ты. Она говорит, что у нее есть двоюродный брат, литературный критик. Никогда не слыхала! (я смущена). Я знакомлю ее с Надей Оцуп, (позже

была репрессирована, как троцкистка) — у нее брат поэт; я знакомлю ее с Люсей М. (позже расстрелянной) — у нее отец издатель. И еще с Соней Р. (покончившей с собой в 1931 году) — у нее брат будущий киноартист. Мы все — цвет класса. Она теперь тоже цвет класса. Я ей намекаю на это обстоятельство, она понимает меня, но молчит.

На русском уроке ее вызывают к доске. Правда ли, что она пишет стихи? Это правда. Она нисколько не смущается, она каменно спокойна. Может быть, она прочтет их классу? Отчего же, она может их прочесть. В лице ее — никакого волнения. Я волнуюсь за нее. Она обводит глазами потолок и смотрит в окно. Брови ее, круглые и высокие, поднимаются еще выше. Уверенно, очень отчетливо, она читает:

Ландыши тихо цвели,
Дружно о счастье мечтали.
Бедные ландыши скоро увяли.
Видел ли кто, как они расцвели?

Я с трудом набираю воздух в легкие. Это так хорошо, что я чувствую, как всё во мне тает от восхищения. Наташа читает еще:

Эх, взлететь бы мне высоко
Над болотною осокой,
Цепи сердца в море кинуть,
В беспросветную пучину.
Всё на свете позабыть,
Вольно жить!

Но мои погрязли крылья
В тине мутного бессилья,
Мне глаза закрыты снами,
Ноги скованы цепями,
Мне цепей не разорвать:
Надо ждать.

Сердце мое сильно бьется. Я люблю ее. Я люблю ее косу, ее родинку у носа, ее немного слишком белые, взрослые руки, ее колечко, ее воротник из суровых кружев, я люблю ее лицо, напоминающее мадонну Кранаха, и больше всего я люблю ее стихи.

— Послушай, Шкловская, — говорю я ей небрежно во время перемены, — у тебя там есть „за-за" в стихах.

— Да? Где?

— „Глаза — закрыты".

— А? Хорошо. Надо переделать. Я только вчера написала. Не успела еще посмотреть как следует.

Я решаюсь открыть ей мою самую тайную тайну, о которой не смею сказать никому. Это — мой секрет, и мне и страшно, и стыдно в нем признаться, и до сих пор я его не открывала никому. Я говорю ей, что не люблю „Евгения Онегина". За что его любить? Сначала Татьяна влюбляется, не сказав человеку двух слов, просто за один его вид (фатоватый, скучающий, пресыщенный, пустой). Затем — она выходит замуж за толстого генерала только потому, что мать ее просит об этом, мать, которая полна Грандисонами до старости! Затем Татьяна говорит Онегину, что она его любит, но гонит от себя — какие-то старомодные и безответственные проделки... Наташа стоит передо мной с неподвижным лицом, только круглые брови ее чуть подымаются и губы как будто делаются уже. Она говорит: „Разве это важно? Не всё ли равно? Важно, что

Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник,

важно, как бегут enjambements из строчки в строчку, из строфы в строфу. А язык! А ирония! А сам Пушкин!"

Я бегу домой, чтобы поскорее остаться одной и обдумать всё это. Я чувствую, что передо мной раскрываются новые перспективы. И там литература поворачивается ко мне совершенно новой стороной, новым уровнем значений и смыслов.

Четыре года, которые судьба дала ей прожить до тюрьмы, мы дружили. Мы обменялись кольцами, мы обменялись крестильными крестами. Она была арестована за принадлежность к левому эс-эрству после убийства Мирбаха. Мой червонного золота крест она обменяла в тюрьме на пачку папирос. Я не помню, кто и когда украл у меня ее крест, который я никогда не носила.

Всё теперь отступило от меня. Она заменила мне всех, все дружбы. Вместе мы открывали Уайльда и Метерлинка, Гамсуна и Ибсена, Бодлера и Ницше, Анненского, Тютчева. Она и я делились всем, что было у нас в настоящем, и всем нашим прошлым — таким, в сущности, бедным, потому что мы не были в нем вместе. Мы вместе любили и Брандта, и Дориана Грея, и „Четки", и „Снежную маску", и летом ежедневно писали друг другу длинные письма, обменивались стихами, книгами. Я была здоровее и живее ее, но она была разумнее, она всё знала, как мне казалось тогда, всё понимала, отвечала на все вопросы. Вместе с тем в этой дружбе не было старшей и младшей, не было учителя и ученика, — было равенство, была преданность друг другу и ненасытная жадность. И подо всем — ее и моя поэзия.

В ее семье на второй год наших отношений произошли перемены, в корне изменившие ее жизнь. До тех пор она с матерью и отцом жили в крошечной, душной, заставленной мебелью квартире на Коломенской улице, в прихожей нельзя было повернуться от шкафов и сундуков. Старая прислуга шаркала по комнатам в мягких туфлях, в дыры которых высовывались ее большие пальцы, с длинными грязными ногтями. Пахло капустой, рыбой, луком, в потолке горели желтые, тусклые лампочки, было холодно, тесно, беспокойно. Отец спал в кабинете на кожаном диване, из которого торчала мочала, мать где-то за кухней, в конце темного коридора. Это была женщина лет сорока, густо накрашенная, с цыганскими серьгами в ушах и сожженными завивкой кудельками над лбом, я не чувствовала к ней никакой симпатии и с трудом скрывала это. Отец был моложавый, румяный и веселый человек с русой бородкой и серыми глазами на выкате, он всё бегал куда-то всё спешил, и всё делал на лету. И вот эта жизнь дала трещину и распалась: Александр Владимирович внезапно, взяв с собой Наташу, переехал в прекрасную квартиру на Староневском, обставил ее, нанял кухарку и горничную и стал ждать развода, чтобы жениться на другой. Что-то произошло с ним в его карьере инженера-технолога, что совершенно переменило его материальное положение и параллельно с этим — его семейные дела. Наташа пережила весь

этот кризис довольно болезненно. Мать ее скоро вышла замуж за человека, который чем-то напоминал ее самое — что-то в нем было неприятное, кудрявое и не совсем чистоплотное. Александр же Владимирович взял себе жену красавицу, спокойную, ласковую, одевавшуюся со вкусом и умевшую ладить со всеми. С ней у Наташи были хорошие отношения. Она была всего на десять лет старше нас. Кажется, все — и я в том числе — были счастливы таким оборотом дел.

Я возвращаюсь к первому году войны, той войны, которую называют и „первой", и „мировой", и „великой". И здесь я должна рассказать о человеке, который вместе с Наташей Шкловской имел на меня в эти годы огромное влияние.

Татьяна Викторовна Адамович, та, которой Гумилевым посвящена его любовная книга „Колчан", поступила к нам в гимназию и как классная надзирательница, и как учительница французского языка. После первого же урока, как только закрылась за ней дверь, я вскочила с места и воскликнула: „Вот фурия!" — не совсем понимая, что именно значит „фурия", но это слово, как когда-то маркетри, мне нравилось своим звуком, и у меня была потребность выкрикнуть его. Она услышала его из коридора. Она как-то позже спросила меня: „Почему, собственно, я показалась тебе тогда фурией?" Она была худенькая, черноволосая с огромными бледно-серыми глазами, с узкими изящными руками и необычайно интонированной речью, в которой переливались „р" и „л" и где особенно заостренно звучали все „и". Она была человеком особого мира: она была знакома с Ахматовой, бывала на собраниях „Гиперборея", и я в разговорах с ней пила каждое ее слово. После уроков Наташа и я оставались в учительской, в той самой, где когда-то Муся Р. посвящала меня в страшные тайны у снегом занесенного окна. Татьяна Викторовна говорила с нами о стихах, об акмеизме, о французской поэзии, о концертах Кусевицкого, о художниках Мира Искусств, о Мейерхольде, о Мандельштаме, о Кузмине и Царском Селе, о С. М. Волконском и его школе Далькроза. Я, как бедный Лазарь, ловила крохи с того стола, за которым пировали все эти небожители. В 1936 году она приезжала в Париж (у нее

в Варшаве после революции была балетная школа). И мы встретились с ней. „Это вы? Это ты?" — путалась она, а я вспоминала строки:

Дорогая с улыбкой летней
С узкими слабыми руками,
И, как мед двухтысячелетний,
Душными черными волосами.

Коридор, классы, зал — всё было погружено во тьму. На столе горела зеленая лампа. На жестком диване сидели мы обе, а она ходила из угла в угол, заложив руки за спину (у нее была эта мужская привычка) и говорила с нами, а мы ритмично поворачивали за ней головы — вправо и влево. Каждое слово ложилось в памяти, как карта в колоде, и вечером в кровати, завернувшись с головой в одеяло, я повторяла ее речи, словно медленно раскладывала перед собой всю свою пеструю колоду. Я метила карты собственными знаками (а мастей было не четыре — бесконечное множество) и потом опять прятала в память, как гоголевский Ихарев прятал в чемодан свою Аделаиду Ивановну. „Всё пропало — и ничего не пропало! — хочется мне крикнуть ей сейчас, если она еще жива. — Всё погибло — и ничего не погибло!"

Но, конечно, главной темой ее речей была Ахматова. Из нас двоих я, по незрелости, сильно подражала ей в это время, и для меня она была существом особым. Мы читали Т. В. собственные стихи, и она говорила о том, что такое поэзия, новая поэзия, о возможностях паузника (который мы тогда называли дольником), иногда брала наши стихи и через неделю возвращала их нам, говоря, что прочла их Ахматовой. Она хвалила нас довольно редко, но одно из моих стихотворений она признала хорошим. Оно оканчивалось так:

Сегодня пришла долгожданная
Моя тринадцатая весна.

— Я дам их прочесть моему брату, он скажет, что это его. Только заменит „тринадцатую" весну „шестнадцатой" (смеялась она). — Ее брату, позднее критику Г. В. Адамовичу, было тогда, вероятно, лет двадцать.

Ближайшей подругой Т. В. была первая жена Георгия Иванова, Габриэль, воздушное, очаровательное существо, француженка по рождению. Вся эта группа людей, благодаря моим постоянным мыслям о них, постепенно стала превращаться в моем воображении в какой-то волшебный Олимп, сначала они появились из тумана, из небытия, потом приняли форму, и потом снова стали утрачивать ясность черт, когда я придала им фантастические ореолы, от которых слепли мои глаза. Я жила теперь в удивительном, прельстительном мире. Двойка по физике и кол по немецкому на миг отрезвили меня, но очень скоро опять сладостно и тайно я погрузилась в другое измерение, где не было ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная от стихотворения к стихотворению.

Но что именно любила я в то время в поэзии? Возможность делать то, что делали полубоги? Или переселяться в абстрактную красоту? Или давать волю приглушенным внутри либестраумам? Или я стремилась реализовать себя в мире? Или коснуться единственного в те годы понятного мне искусства? И как я чувствовала тогда красоту, не подозревая даже, что ей есть определения? Чувством без мыслей? Животно? Растительно? Думаю, всё было здесь, и особенно поиски „стесненного сердца", „трепещущего сердца" и „торжествующего сердца", то есть иначе говоря поиски того, что и сейчас во всяком искусстве для меня главное: обретение чувства грозного, великого, раздирательно-жалкого и смущающе-волшебного, данного в законах Меры.

Из трех областей — политики, этики и эстетики — первая была воздухом тех лет, вторая объектом моего протеста и третья всё-таки оставалась непрозрачной. Я чувствовала, что она должна в конце концов связаться со всей моей жизнью и что „эстетическая истина" рано или поздно откроется мне. Я знала, что она не ускользнет от меня, что я найду ее, но что пока я могу только смиренно задумываться над разницей между нашим печным горшком, в котором подается к борщу каша, и тем горшком, в котором тонкорукая с низким узлом волос женщина, на нем изображенная, хранила зерно или оливковое масло. Первоначаль-

ный и вечный смысл меры и красоты, кто не болеет его вопросами в юности, тот остается глух к нему на всю жизнь!

Он открывается не в дискурсивной речи. Он прячется где-то недалеко от того глубокого тайника, что спрятан в человеке: этот тайник не связан с тем шумным, страшным и подчас зловещим, а иногда и смешным, что окружает человека вовне. Как не связано пьяное ночное веселье, за тридевять земель от всего дорогого, с печалью и обреченностью ночного мира вокруг. На подножке автобуса может открыться вечность; гася окурок папиросы мы понимаем вдруг единственность каждого отдельного человека; перед почтовым окошечком нам мелькает хрупкость всей мировой системы; в приемной консула — собственный неизбежный конец, связанный с определенным календарным листиком. Бывает мгновение, когда „средний" человек ест свой „средний" обед, покупает в аптеке „среднее" лекарство, — но уже в следующую долю секунды всё среднее в нем оказывается нарушенным его собственной единственностью, и бессмысленность и мудрость всего сквозит сквозь его бледную плешь, и в очках, скользящих по потному носу, видна даль, у которой нет горизонта.

Я бродила вокруг тверского дома в то лето, и это оказалось моим прощанием с ним и с парком, где липовая аллея уводила в поля. Всё тогда предвещало перемены, особенно же по вечерам, когда вся деревня приходила гулять в эти дворянские сады. Было ли это предчувствием того, что годика через два-три весело запылают эти дома с балконами, а управляющие будут дрыгать ногами, повешенные на яблонях? Не знаю. Но как только наступал вечер, так у клумб, возле прудов, подле гамаков, в беседке начинали мелькать тени, тренькать балалайка, растягивать лады гармонь. Странным казалось это, и даже сейчас это кажется не совсем вероятным, чтобы так сказать за несколько лет до революции происходило такое теснение помещиков, и вместе с тем в этом есть что-то естественное: так как она должна была наступить неукоснительно, то чего же ждать? Молодость того и гляди пройдет, дожидаючись, да и в Галицию угнать могут. Почему не покачаться в гамаках, в которых давно никто не качается, почему не подышать барскими левкоями — от этого их не убудет!

Я забредала на кладбище, где лежал Обломов, я уходила туда, где, мне казалось, возникло мое первое сознание. Ветки яблони, до которых я когда-то не могла дотянуться, сейчас касались земли. Сухой колодец, в который мы кричали, чтобы он ответил нам, был всё тот же, с полуразрушенным срубом, и однажды заглянув в него я вспомнила, как когда-то мечтала, что меня бросят в него. „Не выберусь, — сказала я себе спокойно, — останусь там умирать от жажды". Но в это время, на третьи, скажем, сутки, я вдруг замечу, что у самых моих ног пробился родник. Он бежит, журча и поблескивая, и я наклоняюсь к нему и пью. И так начинаю жить — на дне колодца, с ключом, питающим меня, о котором никто в мире не знает. Самое важное: найти ключ. В колодце? В себе? Зачем? Чтобы остаться жить. Зачем остаться жить? Нужно ли это? Только если найден ключ. Какой ключ? К какому замку? Я хочу сказать: родник. Родник откроет возможность жить. Или ключ откроет. Отопрет. Самое главное: найти. Потому что колодец непременно будет.

И в ту минуту я вдруг поняла, как озаренное молнией, мое будущее: я увидела, что колодец непременно будет, что он собственно уже есть. И что если я не найду в нем тайного источника, то я погибла.

(А если выползут змеи, то найдется дудочка их зачаровать.)

Я вернулась домой поздно. В темном саду молодые голоса орали: „А кто любит, кто не любит, пусть походит да пождет". Там были и поповы дочки теперь, и другие, кого я с детства знала.

Я поднялась к себе в комнату. Окно выходило в сад, и месяц вставал над старыми липами. Впервые я почувствовала, что надо мной и жизнью моей встал символ, встал и озарил для меня и жизнь и ее смысл. До того все знаки и даже комета, которую я просила мне дать, были только знаками, словно **а**, **в**, **с** в геометрии, означавшие углы и стороны треугольника. Но сейчас появился символ полный смысла, был колодец и ключ в нем, о котором я одна знала. И змеи. И дудочка. Будто я вкусила от дерева познания, и результатом этого было уже не беспредметное переполнение души, но большая печаль.

(Всех змей можно было зачаровать дудочкой. Но одна старая змея была глупа и глуха, и она не услышала чарованья.)

Это окно всегда напоминало мне то окно в Отрадном, где Наташа и Соня — которые „меня не касаются" — шептались ночью, а внизу их слушал Болконский. Так моя мать с внучкой декабриста, когда-то гостившей тут, предавались мечтам, а внизу уже был кто-то, кто волновал ее воображение. Так дочери Обломова — Ольга и Алина — поверяли друг другу свои секреты о заезжих гусарах, а их мать — о николаевских уланах. Но где во всем этом была я? Что во всем этом было моим? Я ощущала себя всем им чужой, на них непохожей, страшно далекой их мечтаниям, их шопотам и надеждам. Я зажгла свечу, взяла „Войну и мир" и хотела найти это место, но вместо того открыла страницы, где Наташа пляшет у чистое-дело-марш дядюшки, а любовница дядюшки (крепостная) любовно смотрит на нее. Это опять показалось мне камуфляжем: любовница дядюшки должна была ненавидеть Наташу, сделать ей больно, дети и внуки этой любовницы теперь хохотали в парке и сорили семечками и топтали цветы — вот это была правда, которая была мне понятна и которую я целиком принимала: они только и ждали, когда можно будет сорвать в гостиной со стен штофные обои и сделать из них одеяла для ребят. Они были правы, а всё, что писал Толстой, была иллюзия, я не могла верить ей, между мною и ею вставала жизнь, а между жизнью и мной самой — мой символ.

Я смотрела теперь на вставший над затихающим парком полный месяц, глаза мои наполнились слезами, что-то шевельнулось внутри меня, я чувствовала в доме смерть (у деда накануне был удар), но смерть не страшную, какую-то естественную и своевременную. Я чувствовала странное бессилие и потом сквозь слезы увидела второй полный месяц, он судорожно пытался догнать первый и содрогался в небе, как что-то содрогалось во мне, может быть рыданье. Потом он пропал. Я чувствовала, что продолжаю погружаться в то страшное, узкое, глухое пространство, в которое вгляделась, наклонившись над срубом. А отец, стоявший за моим плечом, говорил:

— Вот увидишь, скоро слоны придут за слоновой костью и черепахи — за твоим гребешком.

Я усмехнулась.

— Они придут отнять то, что им принадлежит по праву и что мы отняли у них.

— Я не отняла, ты не отнял.

— Не знаю, не знаю, это сложный вопрос. Но они придут.

Я знала, что он прав, и хоть он и говорил со мной сейчас как с маленькой, я не протестовала.

Быть может надо было сказать ему, что я живу в глубоком колодце. Спросить его, как и когда пробился около него тот ключ, который его питает. Но я не спросила. Я боялась, что у него нет ключа или что его ключ никогда не поможет мне.

(А как же быть с той глухой, глупой, старой змеей, которая не услышит моей дудочки?)

Утешения не было, но было успокоение, успокоение в мысли, что мне что-то открылось там, под яблоней моего младенчества (куда я уже больше не вернулась), в прозрении, которое неожиданно озарило меня, как бы ответом на смутные вопросы, касавшиеся меня и мира, и наконец — как красота образа. „В степи мирской печальной и безбрежной таинственно пробились три ключа" вдруг прозвучало во мне внезапным соответствием моим мыслям. У меня было не три ключа, но всего один, и он соединял в себе все три: сливая юность мою, мои вдохновения и возможность забвения.

А ночь уходила всё глубже, и луна, как стрелка часов, двигалась, восходя и нисходя по небесному циферблату, усыпанному звездами, которых делалось всё больше и больше, чем дольше я на них смотрела: камни, огонь, лава, разрывы, жар, кипенье, пары, круженье, молчанье.

Третий том стихов Блока вышел в этом первом военном году. Бурю музыки, которую он поднял в наших душах, трудно сейчас передать в нескольких словах. Он отвечал той стороне души, которая отрицала либестраумы и искала красоты, соединенной с отчаянием. Теперь, когда я смотрю назад, я вижу, что Пушкин был русским Возрождением, Блок — русским романтизмом, Белый — русским кубизмом. В исторической перспективе всё стало на место. И парал-

лельно росло мое поколение: от детского (и отроческого) Пушкина переходя к юношескому Блоку и дорастая до Белого — схематически, упрощенно намечаю я эту линию, которую я конечно тогда не видела, тем более что в те годы она переплеталась и путалась с другими, которые иногда перерастали, иногда заглушали ее.

Ранней весной 1915 года в зале Армии и Флота на Литейном состоялся вечер „Поэты — воинам". Это был вечер благотворительный, один из многих других (как например „Артист — солдату"), на которые интеллигенция ходила с увлечением. Не знаю, почему меня решили взять на этот вечер. День был будний, вернее — вечер, уроки, вероятно, опять не были готовы (училась я урывками, как-то умела „выезжать", не брезговала ни подсказкой, ни подглядыванием, особенно в алгебре и физике — слишком много времени уходило на чтение и писание стихов — до глубокой ночи), но так случилось, что после обеда мать объявила мне, что мы пойдем слушать поэтов. Пошли мы пешком с улицы Жуковского, где тогда жили*), вверх по Литейному. Я волновалась, всё казалось — придем слишком поздно, не будет мест, случится что-то, что помешает. Ярко освещенная зала была переполнена. Мы сели довольно далеко от сцены, я — в своем парадном коричневом бархатном платье, с длинными косами и башмаках на пуговицах. В первом отделении пела Андреева-Дельмас, а потом шло какое-то „действо" Мейерхольда; классический репертуар Александринки не подготовил меня к восприятию такого рода спектаклей, я не имела понятия в эти годы о новом театре, да и программа, которую я мяла в руках, так волновала меня, что я ничего не могла воспринять, думая о предстоящем. У актеров были огромные приклеенные носы, и они кувыркались на сцене, давая друг другу звонкие оплеухи, перегородки шатались, Олечка Судейкина и Габриэль Иванова были едва прикрыты легкими газовыми одеждами. Публика шикала и аплодировала. Свет сиял, всё во мне напряженно дрожало. Наступил первый антракт, и я приросла к своему стулу. После перерыва на эстраду

*) Окна в окна с квартирой Бриков (ул. Жуковского 7, кв. 35), где тогда жил Маяковский.

вышел Сологуб, за ним Блок, Ахматова, Кузмин, Городецкий.

Сологуб читал каменно. Он казался мне очень старым, небольшого роста, не то в очках, не то в пенсне, в черном сюртуке, бледный и серьезный. Голос у него был глухой. В воспоминаниях о нем мы часто читаем, что он не менялся. Через шесть лет, когда я встретила его и говорила с ним, я увидела перед собой совершенно того же Сологуба, что и тогда, в зале Армии и Флота. Верю, что он пришел в русскую поэзию и ушел из нее таким, каким был тогда, и может быть никогда другим и не был. Кузмин, с мягкой прядью волос на лбу, читал долго и, несмотря на маленький недостаток речи, читал прекрасно. Он сильно пел, но пение это было тогда чем-то почти обязательным для поэтов. Об этом пении (не Кузмина только) Мережковский говорил мне однажды (в Париже, в 1928 году), что „оно идет от Пушкина" — так ему объяснил когда-то Я. Полонский, которого он знал в молодости глубоким стариком. Полонский видимо соблюдал традицию и всегда тоже читал напевно, помня людей, слышавших Пушкина и других. Пел и Тютчев, по словам Полонского, и вообще только актеры в то время рубили стихи и читали эмоционально, подчеркивая, как в прозе, знаки препинания и интонацию, так что и рифмы слышно не было, и все пэаны тонули в ускоренных и замедленных смысловых сгустках, начисто лишая стих и ритма, и мелодии, выделяя лишь какие-то отдельные слова, патетическим выкриком или бытовым шопотом, причем даже руки иногда приводились в действие, чтобы подчеркнуть „реализм" представления, не говоря уже о мимике, поддерживавшей драматизм голоса — на нее лучше было не смотреть. Со слов Полонского Мережковский говорил, что Пушкин читал неподвижно, с напевом, выделяя пиррихии и спондеи довольно сильно, выделяя цезуру и перенос. Кузмин пел, Сологуб хмуро и глухо читал со своим хмурым и глухим напевом. Блок читал почти не разжимая зубов, без мелодии, но с удивительным рисунком ритмического смысла. Его манера была некоторым преувеличением неподвижности. Идеальный баланс в этом смысле был у Ходасевича. Гумилев преувеличивал пафос, и его чтение портило то, что он не произносил нескольких звуков. Белый

нажимал на свою собственную, раз навсегда усвоенную, мелодию.

Блок вышел на сцену прямой и серьезный*). Лицо его было несколько красно, светлые глаза, густые волосы, тогда еще ореолом стоявшие вокруг лица (и светлее лица в свете электричества), были те же, что и на фотографиях. И всё-таки он был другой, чем на фотографиях. Какая-то печаль, которую я увидела тогда в его облике, никогда больше не была мной увидена и никогда не была забыта. Фотографии не передали ее, не удержали ее. Что-то траурное было в его лице в тот вечер и может быть теперь, после чтения его дневников, и записных книжек, и писем, можно сказать, что оно, в те годы появившись, уже не ушло никогда из его черт. Он стоял в левом углу эстрады, заложив руки в карманы (не то блузы, не то пиджака). Он читал:

Болотистым, пустынным лугом
Летим. Одни.
Вон точно карты полукругом
Расходятся огни.

Эта спайка слов „болотистымпустынн..." и немедленный разрез строки на „Летим. Одни" — вот творческий секрет этой строфы. Как почти всегда у Блока, строфа — единица, где живет либо аккорд, либо арпеджио, где дается неожиданность и ее объяснение (или сначала намек на разрешение, а потом — вопрос-ответ). И тут, в этих стихах, сначала брошено сравнение: огни точно карты, и сейчас же в него, как в реальность, мчатся поэт и „дитя". Был ли найден „маяк"? Нет, он не был найден, потому что в бесцельность летели не только те двое, но и весь мир, мир ночи, туманов и духов. И если „дитя" опять вернулось сюда из „Голоса из хора", то „туманы и духи" наползли из „Незнакомки", где, между прочим, намек и вопрос-ответ даны в их наиболее обнаженной силе, когда пейзаж становится портретом (очарованный берег, очи цветут, за вуалью и страусовыми перьями в собственном мозгу поэта). Этот

*) „28 марта (1915 г.). Мы с ней (Дельмас) участвуем на вечере, устраиваемом Ан. Чеботаревской (Зал Армии и Флота)". А. Блок. Записные книжки.

„пейзаж-портрет" делает романтизм Блока почти сюрреалистическим, приближая его к нам на сверхъестественно близкое расстояние.

Ахматова была в белом платье со „стюартовским" воротником (какие тогда носили), стройная, красивая, черноволосая, изящная. Ей тогда было под тридцать, это был расцвет ее славы, славы ее паузника, ее челки, ее профиля, ее обаяния. „Вестей от него не получишь больше", — читала она, сложив руки у груди, медленно и нежно, с той музыкальной серьезностью, которая была в ней так пленительна.

И опять наступил антракт. Но теперь я встала и пошла к эстраде, в сверкающем вокруг меня тумане, в котором я вдруг увидела Татьяну Викторовну под руку с Ахматовой. Т. В. доходила ей до плеча. Она взяла меня за руку и представила Ахматовой:

— Вот это та девочка... Пишет стихи. („Тоже" пишет стихи?)

Ахматова протянула мне худую руку.

— Очень приятно.

Это „очень приятно" мне показалось таким светским, обращенным ко мне, словно ко взрослой, пожатие руки оставило впечатление чего-то узкого и прохладного в моей ладони, я хотела убежать — от смущения, волнения, сознания своего ничтожества. Но Т. В. держала меня крепко. И каким-то путем, совершенно не помню каким, я вдруг очутилась перед Блоком в артистической:

— Познакомьтесь, Александр Александрович, вот девочка пишет стихи. („Тоже" пишет стихи?).

И Блок сказал „очень приятно", едва взглянув на меня, пока на одно мгновение его рука коснулась моей руки. Густой туман всё заволок вокруг меня в одну минуту, и в этом тумане потонуло неподвижное и печальное лицо Блока, прядь Кузмина, очки Сологуба. Я бросилась бежать обратно, протолкалась к своему месту, села. Что теперь? — пришло мне в голову. — Куда идти? Что делать с собой? И может быть надо было там сделать что-то, сказать что-то, не молчать, не пускаться наутек, — но сейчас только сердце билось, громко и сильно, впрочем этого никто кроме меня слышать не мог.

Волнение в дверях дачи Леонида Андреева было совсем другого порядка. На рождественские каникулы я уезжала к Наташе Шкловской в Финляндию, где теперь у ее отца была дача. В снегах, в густых елках стояла она, и мы сами запрягали рыжую длинногривую лошадь в маленькие финские сани, и она несла нас не спеша по дорогам и лесам, мимо одетых льдом озер и прудов, с бубенчиком, бившимся под дугой. В эти дни у Наташи открылся дар стихотворной импровизации (пятистопным ямбом или четырехстопным хореем без рифмы), с этим даром она решительно не знала, что ей делать. Я правила, она импровизировала, короткий день уходил, скрипело под полозьями, и мы ровно и мирно скользили то мимо жилья, то мимо железной дороги, с уснувшими рельсами и огненным оконцем станции, то мимо молчавших деревьев, предлагавших нам снег на своих плоских широких ветвях. Мы ели шоколад, учились курить и однажды в порыве дерзкого любопытства решили заехать на чернорозовую дачу Андреева, чтобы объявить ему, что читали его „Жизнь Человека". Мы довольно долго звонили, и нам открыла какая-то старушка, сказавшая „Леонид Николаевич уехал в Петербург". И по снегу, утопая по колена, мы побежали обратно к саням, где рыжая наша кобылка, вся в инее прядала ушами.

Дома нас бранили за папиросный дух, стоявший как нимб вокруг наших порозовевших лиц, кормили обедом, требовали, чтобы мы ложились спать не позже десяти. А мы в постели разговаривали иногда до глубокой ночи, сначала при лампе, керосиновой, горевшей между нашими кроватями, на чистой, некрашенной тумбочке (вся мебель была некрашеной), а потом — в темноте. Нам тогда обеим хотелось драматизировать настоящее: я говорила, что больше не могу так жить и убегу от людей, которые „ничего не могут дать мне кроме заботы", в которой я не чувствую никакой нужды, как и в их любви, потому что хочу любить сама, но никого не люблю, и хочу жить среди богов, которые, как пеликаны, будут кормить меня своими внутренностями (где эти боги? дайте их мне!), божественными внутренностями, от которых я буду расти, расти, расти без конца. „Я хочу расти, — говорила я тихо, зарываясь в горячую подушку, подбирая под себя ледяные ноги, — я хочу

расти, расти, расти". Наташа же всё старалась применить к себе старинный миф о злой мачехе — но и то, и другое было неправдой: убежать мне было некуда, и дома не так уж всё было плохо, а у нее мачеха (развод еще получен не был, свадьба была только через год) была веселая, ласковая, молодая женщина и только то и делала, что старалась приручить нас, диких и своенравных, и таких на нее непохожих. И эти разговоры ночью, несмотря на то, что с точки зрения зрелых людей были и многословны, и непоследовательны, и хаотичны, и немножко театральны, когда я вспоминаю их, кажутся мне важными — в них затрагивалось многое, чему отклик нашелся и в дальнейшей жизни. И если трактовка тем бывала иногда наивной и патетичной, то сами темы были экзистенциальными, они не умерли, не растворились. Они и сейчас живут во мне.

Ощущение уюта и тепла в доме. Мы отрезаны от вьюги, метущей вокруг дома, двойными рамами, толстыми стенами, крыльцом-тамбуром, лестницей, тремя дверьми. Раскаленная печь дышит на нас жаром. Мы обе — малиновые от него, березовые дрова стреляют во все стороны, день клонится к концу, а когда уймется метель, выйдут огромные плоские финские звезды. С утра по высоченным сугробам вокруг дома носится ветер и термометр стоит так низко, что его ртуть невозможно рассмотреть. Финские синие снежные дали с уснувшими в них дачами и елками, тишина и небо. Багровым квадратом падал в лиловый снег свет из окна кухни. Скрипели лыжи, мы неслись домой в сумерках, между деревьями. Тонкий дымок вился из трубы. Мы неслись на этот багровый квадрат, мы неслись на этот синий дымок, мы неслись во весь дух в лунный вечер, в холодное пространство, взрывая летучий, серебряный снег.

Валерий Брюсов приезжал в Петербург в 1916 году на чествование, которое ему было устроено армянами Петербурга по случаю выхода „Поэзии Армении", огромного тома переводов старых и новых армянских поэтов. Мой отец был в комитете чествования. В день торжества, в Тенишевском училище, был вечер Брюсова (14 мая), он читал свои переводы. У него был необыкновенный взгляд очень острых, каких-то колючих глаз, он как будто уколол меня на всю жизнь своим взглядом в тот вечер. Я совершенно не помню

ни голоса его, ни манеры чтения. Главное в нем было его лицо, его надо было смотреть, не слушать. И в этом лице главным были глаза. И я смотрела в его лицо, а когда отводила свой взгляд, то встречалась взглядом с тем, кто смотрел на меня из второго ряда: Осей А. Начиналось ли между нами что-то, похожее на любовь? Думаю, что начиналось. Нам хотелось быть вместе, и нам обоим хотелось трогать друг друга. Но всё это оборвалось событиями: не потому, что подошел февраль 1917 года и для любви не оказалось времени, но потому что во всероссийском обвале всё, что было до февраля вдруг показалось детским, заношенным до дыр, использованным, и отступило, когда всё вокруг нас полетело в бездну вниз головой.

Я принадлежу к тем людям, для которых дом, в котором они родились и выросли не только не стал символом защиты, прелести и прочности жизни, но разрушение которого принесло огромную радость. Ни „отеческих гробов", ни „родного пепелища" у меня нет, чтобы опереться на них в трудные минуты; родства по крови я никогда не признавала, и так как природа не дала мне ни панцыря буйвола, ни когтей, ни зубов пантеры, и так как я не искала способа, как нарастить себе двойную кожу и как отточить зубы, то я и живу — без опоры, без оружия, без тренировки для защиты и нападения, без собственного племени, родной земли, политической партии, без прадедовских богов и гробов. Самое трудное для подобных мне — это то, что силы, с которыми мы боремся, еще не сформулированы: мы боремся с еще не принявшими твердых форм врагами, явлениями, не успевшими еще перейти в ту стадию, где дискурсивная терминология и ясные выводы дали бы возможность схватиться с ними на почве новых критериев. Мы, двуногие позвоночные, потеряв защиту (по остроумному слову Ольдуса Хексли) „газообразного позвоночного", и — собственно — потеряв все, что имел человек прошлых веков, остались наедине с самими собой.

Как я сказала в начале этой книги, вопроса о смысле жизни отдельно от самой жизни для меня нет. Жизнь для меня и была, и есть переполнена значением. Бытие есть единственная реальность, ничего не лежит за ней. Мы ничего не отражаем, мы никуда не прорываемся, мы — здесь

и только здесь и только с е й ч а с что-то з н а ч и т. Расшифровать смысл реальности (внутри меня и во вне), найти нити, связующие отдельные стороны этого смысла друг с другом и с целым, всегда казалось мне необходимостью. Таким образом, сама жизнь становилась своим смыслом, не в абстракции, но в моем собственном конкретном взаимоотношении с моим временем, которое для меня состоит из пяти-шести мировых событий и пяти-шести мировых имен. Каждый день приносил мне что-то, что я была в состоянии взять с собой в ночь, открывая в мире что-либо схожее с тем, что было у меня внутри, иногда объясняя мне меня, но чаще раскрывая мне мой собственный факт в соответствии с фактом мира. Моей задачей с годами стало: совлечь с себя по возможности все хаотические черты, угомонить анархию, расчистить путаницу и двойственность, которые, если их не унять, разрушат человека. Я вижу жизнь не в пространстве вообще, а в определенной географической точке, не во времени, а в истории. Не среди подобных или ближних, но среди выбранных или даже избранных, и потому п р и н о р о в л е н и е к миру и людям есть для меня радость, потому что в нем есть элементы внутреннего порядка и развития. В положенных рамках рождения и смерти (единственно детерминированных) я ощущаю полностью и свободу воли, и свободу выбора, той внутренней воли, которая во столько же раз важнее и больше обстоятельств, во сколько раз разумный человек сильнее щепки, плывущей в волнах. Я знала очень рано, что с разумом не рождаются, что „разум свой мы постоянно сами создаем", по слову Чаадаева. И я училась, как умела, создавать его, училась и учусь до сих пор, и всё мне мало, потому что, только познавая, человек живет в связи с вечностью, в координации с событиями и именами. Так, я стою перед картиной Рембрандта „Аристотель, созерцающий бюст Гомера" и чувствую цепь (схожую с той цепью, что надета на груди центральной фигуры), крепко держащую Гомера, Аристотеля, Рембрандта и меня, стоящую перед картиной. Словно сеть артерий и вен несет кровь от одного, через другого, к третьему и наконец — в мои собственные жилы. Мы все стоим в одном ряду, который нерушим, если я сама не нарушу его. Но я не нарушу его потому, что у д а р т е п л а

дается мне этой кровью, бегущей через меня, которой я жива, и открывает мне двери и к суждениям, и к импульсу воображения, а они в свою очередь дают возможность сделать своей всю сложную систему символов и мифов, которыми жило человечество с того первого дня, когда поклонилось солнцу. С тех пор проделан путь огромный — от огнепоклонников к Фебу-Аполлону и через Христа к тому, что мы понимаем под словами „цивилизация — это тепло".

И я часто мысленно говорю людям:

— Дайте мне камень. А уж я сама сумею сделать из него хлеб. Не беспокойтесь обо мне. Я хлеба не прошу. Только протяните мне вон тот булыжник, уж я знаю, что мне с ним делать.

Я сейчас смотрю на годы моего детства без малейшей „дымки грусти", без меланхолической слезы о „навеки утраченном". Всё мое прошлое со мной, в любой час моей жизни. Вся прелесть его для меня в том, что оно дало жизнь моему настоящему. Так же как когда-то, я иногда сажусь перед окном и теперь, и смотрю на улицу, огни и крыши, или на деревья и облака, или на черту горизонта. И так же слушаю, как кровь бежит по моим жилам, и как все биения и шумы во мне соответствуют ритмам в мире. И я сознаю, что я живу, что живу живая, что добивалась в жизни не счастья, а интенсивности чувства электрического, живого тепла. Сознаю, что корни всех поздних раздумий — в моих ранних годах, корни всех поздних страстей — в детских бессонницах. Что всё, что мною разгадано теперь, было загадано тогда. Что судьба моя была (и есть): развитие и рост, как всякая судьба живого. Что ничего не отошло, но наоборот присутствует и преображается вместе со мной. И что всё, что построено на основе прошлого, находится в полном соответствии с этой основой. И в этой мысли — мое назначение, мое значение, мой рок и мой урок.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Я приступаю к трудному и серьезному делу: с помощью Даши начинается мытье моих кос. Колонка в ванной гудит, печь раскалена, краны поют, в расписном фарфоровом кувшине булькает вода; наклонившись над ванной, я смотрю, как волосы, словно неподвижные, темные водоросли, лежат на ее дне. Даша льет тяжелую струю мне на темя. Это продолжается долго. Потом она вторично мылит мне голову огромным, громоздким куском желтого мыла. Он два раза падает, один раз в ванну и один раз на пол и долго играет с Дашей в прятки, пока она ползает вокруг меня и, наконец, шваброй достает его из-под ванны. Я терпеливо стою, наклонившись. Наконец, волосы начинают скрипеть — признак, что они чистые, и Даша безжалостно наматывает их себе на руку, крутит и выжимает их, как будто это полотенце или тряпка. Она накидывает на меня что-то мохнатое и теплое, и тогда всё вокруг начинает греметь: Даша споласкивает ведро, ставит всё на свое место, тарахтит эмалированными тазами, напуская пар из горячего крана. Я иду к себе, она идет за мной, и когда я усаживаюсь за стол и утыкаю нос в книгу, она ставит на пол у стула какой-то ушат, чтобы с меня не натекала на пол лужа. В этом есть что-то унизительное.

Пятница, 9 марта*). В городе беспорядки. Завтра у нас званый вечер, и мать боится, что разведут мосты, что Сергей Алексеевич и Юлия Михайловна не смогут приехать с Каменноостровского и что из кондитерской Иванова не пришлют мороженое. Мне это впопыхах тоже кажется катастрофой, но внезапно я оказываюсь в совершенно другом измерении, и мне открывается иной мир: мир, где нет ни Юлии Михайловны, ни кондитерской Иванова, мир, где гремит

---

*) Благодаря старому календарю февральская революция произошла в России в марте, а октябрьская в ноябре.

Россия, где идут с красными флагами, где наступает праздник.

Всё чаще и чаще я теперь знаю это ощущение: это выпадение из нашего обычного измерения в иное. Там другие законы; там тела имеют иной вес и иные взаимоотношения, и ценности там иные; там новые „нельзя" и „можно", и мне там весело, и страшно, и соблазнительно остаться там навсегда.

Гости съехались к десяти часам вечера, их было около тридцати. Я любила всегда, и до сих пор люблю, чужое веселье. Впервые мне было позволено остаться до конца, то есть до пяти часов утра, и я слышала, как Волевач, сопрано Мариинской оперы, пела „Лакмэ" и видела, как танцевали модный танец танго. Всё было так далеко от меня и всё-таки так интересно, как и теперь бывает, когда кругом танцуют или пьют чужие люди, почти так же интересно, как когда пьют и танцуют свои. Своих в мире мало. Громадный пароход пересекает океан, на нем тысячи две людей и ни одного своего; в огромной гостинице, на побережье зеленого моря, толпы людей — едят, разговаривают, ходят туда и сюда — и ни одного своего. Это в порядке вещей, и всё-таки хорошо быть в толпе и, едва касаясь людей, проходить с улыбкой на лице из своего в свое, стараясь никого не задеть. И в ту многозначительную субботу — последний день старой России — за шумным ужином в столовой, для меня само собой разумелось, что я не могу — в силу каких-то законов, которые я сама признала в незапамятные времена, — что я не могу ни с кем из присутствующих иметь что-либо общее. Я была среди них, но я не была с ними.

Мне и сейчас еще кажется какой-то фантасмагорией та стремительность, с которой развалилась Россия и то гигантское усилие, с которым она потом поднималась — сорок лет. Тогда на верхах люди просто бросали всё и уходили: сначала царь и его министры, потом кадеты, потом социалисты. Оставались самые неспособные и неумные, пока не провалились в тартарары и они. От святых (вроде кн. Львова) и до бесов, имена которых всем известны, все были тут налицо, вся гамма российских бездарностей, слабоумцев, истериков и разбойников. А главный виновник всего,

тот, который дал России опоздать к парламентскому строю на сто лет, тот, который не дал возможности кадетам и социалистам выучиться ответственному ремеслу государственной власти или хотя бы ремеслу оппозиции государственной власти, тот, кто вел страну от позора к позору двадцать три года, кто считал, что, прочитав в день коронации молитву „помазанника" он, принимая символ за реальность, стал действительно этим „помазанником", никакой так называемой мученической смертью не заплатил за свои ошибки: они остались при нем. То, что можно платить смертью за жизнь, есть предрассудок, апеллирующий к чувствительности чувствительных людей. Смертью за жизнь не платят. Она сама есть часть жизни. И хотя мы все, в унисон, шлем проклятия нашему Камбизу тридцатых и сороковых годов, во всех российских несчастьях прежде всего и больше всего повинен царь.

Чтобы в наше время вообразить себе характер старого режима, далеко ходить не надо: достойный выученик Николая Второго еще жив и продолжает царствовать в Абиссинии, и не надо быть особенно проницательным человеком, чтобы понять, что если бы в России не было сопротивления самодержавию (и не было бы революции), то при наличии таких царей, как Романовы, Россия была бы сейчас огромной механизированной Абиссинией, с тонким слоем интеллигенции, вероятно выселившейся бы в какую-нибудь другую страну, если бы Россия вообще была. Даже в Саудовской Аравии (где правят муллы) есть планирование, но русский царь вряд ли бы дошел до этого. Десять процентов грамотных, как среди подданных Хайле Селасье, — вот что ожидало Россию в двадцатом веке — если помазанник понимал себя не как метафору, а как реальность. Николай Второй жил в убеждении, что Бог реально мазал его и строго запретил делить власть с кем бы то ни было — см. вышеупомянутую молитву.*)

---

*) „Я несу за все власти, мною поставленные, перед Богом страшную ответственность, и во всякое время готов отдать Ему в том ответ". Письмо царя к Столыпину. Цитирует Коковцев „Из моего прошлого" (стр. 238) и Маклаков „Вторая Государственная Дума" (стр. 40). Замечу здесь кстати, что Абиссинские принцы (как и Сиамские принцы) получали образование в привилегированных учебных заведениях Петербурга.

Счастливая толпа, гневная толпа, колеблющаяся толпа, свет, блеснувший на мгновение (особенно — среди интеллигенции и рабочих), и кровавый развал всего, и искусственно продлеваемая война, преступно и бессмысленно подогреваемый патриотизм, дешевый и вредный, и слова, слова, и неумение сделать то, что нужно, всё было в ту весну и в то лето, кроме быстрых, верных и необходимых мер. Не было гения, а когда пришел Октябрь, то мы все оказались не с ним (даже Горький в своих „Несвоевременных мыслях"), потому что мы не могли принять ни „немецких денег", ни постепенного уничтожения целых классов населения, ни грозящей гибели двух поколений интеллигенции, ни „всё позволено" ленинской идеологии, ни снижения культуры, ни ставки на мировую революцию.

Кстати — о немецких деньгах. Теперь, когда факты о них раскрыты, и берлинские архивы времен Кайзера стали известны, непонятно почему эти факты вот уже скоро пятьдесят лет скрываются в Советском Союзе и почему, будучи пораженцем, Ленин не мог этими деньгами воспользоваться? И почему, воспользовавшись ими, что было вполне логично, он потом отрицал это, как и его окружение? Керенский в 1959 году говорил мне, что он достоверно знал весной 1917 года об этом факте (получение Лениным сумм от Кюльмана--Людендорфа), но не мог раскрыть эту тайну, неопровержимо доказать этот факт, так как был связан клятвой. Какой? С кем связан? С Палеологом и Бьюкенаном (послами Франции и Англии)? Или с Альбером Тома? Но какая клятва могла быть для Керенского важнее, чем та присяга, которую он принял как председатель совета министров российского Временного правительства? Ек. Дм. Кускова оставила в своем архиве, в Париже, документы, из которых явствует, что Некрасов, Терещенко и Переверзев, министры Керенского, были между собой связаны той-же самой клятвой и потому ничего сделать не могли. Но Переверзев нарушил клятву.

Всё, или почти всё, было ново для меня, как и для большинства, ново и радостно, потому что рушилось то, что не только возбуждало ненависть и презрение, но и стыд, стыд за подлость и глупость старого режима, стыд за гниение его на глазах у всего мира: Цусима, „Потемкин", Восточная

Пруссия, Распутин, царица, виселицы и сам он, тот, кому нет и не может быть прощения, пока на земле останется хотя бы один русский. Он думал, что он второй царь Алексей Михайлович и что Россия — та самая допетровская Русь, которой нужны помазанники, синоды и жандармы, когда России нужны были быстрые шаги сквозь парламентский строй и капитализм к планированию, новым налогам, свободному слову и технологии двадцатого века, к цивилизации для всех, к грамотности для всех, к человеческому достоинству для каждого. А те шутники, которые пришли ему на смену, думали, что их пригласили на праздник: не понравилось — уйдем, а понравилось — останемся и будем веселиться, это — наш день. Но это был день России, и они этого не учли. Не учли, что их оглядка на демократических министров Франции и либеральных послов Англии не только смешна и недостойна, но и преступна, и что сермяжный демос шел в историю сметая всё, и прежде всего их самих, на своем пути.

Ничего не неизбежно, кроме смерти. И революция не была неизбежна. Двадцатый век научил нас, что нищету и неравенство, эксплоатацию и безработицу преодолевают иначе. В Швеции сто лет тому назад было три короля подряд, вносивших в парламент законопроекты слишком радикальные, и парламент их проваливал, пока парламент не стал столь же радикален, как и сам шведский король, и законопроекты наконец прошли (пенсия на старость). Не „даровать" сверху конституцию надо было, а совместно с оппозицией разработать ее и повернуть туда, где страна могла бы дышать и развиваться; не дворцовый переворот был нужен, а спокойный отказ от всех вообще дворцов и фонтанов, чтобы провести линию между мифом и действительностью. А если несчастные войны были России не по силам, то надо было оставить мысль о *великой* России раз и навсегда. Только недоразвитые страны делают революции — этот урок был нам преподан двадцатым веком, развитые страны меняются *иначе*. И я даже могу согласиться с тем, что в шестидесятых годах двадцатого века Россия была бы приблизительно на том же этапе, на котором она находится теперь, но если бы это и оказалось так, то во всяком случае — без насильственной коллективизации,

без войны армии, лишенной командного состава, без изничтожения культурного слоя — который и в двести лет не восстановим. Но как богатырю на распутье трех дорог, стране в 1917 году на всех трех путях предстояли испытания: через Корнилова и Деникина, через Троцкого, через Сталина. К этому положению вещей ее привели шесть последних царей.

Цирк Чинизелли, куда меня в раннем детстве водили смотреть ученых собак, сейчас стал местом митингов, и мы ходили туда: Наташа Шкловская записалась в партию левых эсэров (она была позже арестована, после убийства Мирбаха), Надя Оцуп — в партию большевиков (она погибла как троцкистка), Соня Р. — в партию правых эс-эров (она в 1931 году покончила с собой), Люся М. — в кадетскую партию (она была застрелена при бегстве за границу). Я в партию не записалась, но считала себя примыкающей к группе Мартова. Мы жарко спорили друг с другом, но знали, что никто никого не переспорит. Мы держались вместе. Остальной класс, за исключением двух-трех тупиц, приблизительно разделился поровну между эс-эрами и эс--деками.

Экзамены отменили, закон божий ликвидировали. Мы заседали в учительском совете, где тоже были и мартовцы, и ленинцы, и тайные оборонцы. Мы отменили молитву перед началом уроков, повесили на стену в классе портреты Герцена, Плеханова и Спиридоновой. В моем журнале замелькали двойки по физике. Будучи влюбленной в маленького волосатого физика, я в обиде на него находила для себя даже некоторую сладость. Пришлось нагонять, что было нелегко. Рассчитывать на поблажки видимо было безнадежно: он вовсе не замечал меня.

Я никак не могу восстановить в памяти, что привлекало меня к этому желтому, сухому, черноглазому, белозубому человеку, ставившему мне плохие отметки. Я думаю он попался в сеть моего воображения, которое искало, к чему бы ему прилепиться. Физик мне казался загадочным, полуяпонцем, обреченным, злым, жестоким и циничным. Думаю теперь, что он совсем был не таков. Я его выдумала и носилась с моим чувством к нему, оно питало мои стихи,

оно бросало меня в жар и в холод. Очень скоро, впрочем, всё это прошло, и я с усилием сползла с двоек.

Отношения мои с Виктором Михайловичем Усковым были совершенно другого рода. Он пришел к нам, когда мне было лет одиннадцать, и преподавал естественные науки — ботанику, анатомию, зоологию. Через три года мы ушли от него к физику, но каждое воскресенье утром, в течение двух лет, я ходила к нему в его физический кабинет и там „помогала ему в его занятиях". Знал ли кто-нибудь об этом? Вероятно знал, я не могла скрыть ни дома, ни от подруг, что „работаю" с В. М., но все относились к этому довольно равнодушно. Обыкновенно я сидела на высоком стуле около препаратов, не спуская с него глаз, а он, препарируя что-нибудь, глуховатым голосом, наклонив высокий, лысый лоб, рассказывал о Бакунине, о Ренане, о Гиббоне, о Шекспире, об Аристофане, о Паскале... И так продолжалось часа два. Иногда он, вымыв руки, садился с полотенцем в руках, на стул против меня, и мы сидели, глядя друг на друга, и я слушала его восхищенно раскрыв рот. По моему тогдашнему мнению, он знал решительно всё, а я — ничего. Мне почти не приходилось задавать ему вопросы — его речь текла, как река, и несла меня, и только когда били стенные лабораторные часы, я знала, что надо уходить.

И всё-таки я не была влюблена в него. Правда, иногда я мечтала о том, что он сделает мне предложение и я стану его женой, буду чистить его сапоги, гладить пиджаки, готовить ему обед, развлекать его, дарить ему каждый день что-нибудь и обожать его до гроба. Но я мирилась с невозможностью такого будущего очень легко. Был ли он женат, мне было неизвестно. Что он находил во мне, почему тратил на меня время — я никогда не узнала. Но два года продолжались эти воскресные свидания.

— Вы говорите о ботанике? — спросила как-то мать.

— Нет, мы говорим о Гиббоне и Паскале.

— О ком?

— О Гиббоне и Паскале, — повторила я.

Она ничего не ответила. Иногда я брала с собой Наташу Шкловскую, она тоже любила слушать его. Тогда мы вдвоем сидели перед ним, как цыплята на жердочке, а он ходил по комнате. Хотелось, чтобы это продолжалось вечно.

Возможно, что именно в эти годы мой протест против всякой дихотомии принял реальные формы. Он был во мне и раньше, но постепенно и частью бессознательно я стала искать „аккорда" — я еще не знала, какой он будет, в каком ключе и какой гармонии. Я не только психологически, я физически требовала его. Аккорд мог оказаться чем-то похожим на Бетховенский, в патетической сонате, или на Вагнеровский, в „Тристане", я не могла сделать его или придумать, я могла только знать, что он необходим, и ждать, когда он прозвучит для меня. Я физически, всем своим организмом, реагировала на всякое раздвоение, на двойственность и дуализм. Координация стала во мне какой-то постоянной потребностью, фиксацией, и чем дальше я жила, тем я всё более ощущала некое чисто физическое чувство тошноты (в соединении с мгновенным чувством смертельной скуки), когда мне случалось вдруг заподозрить себя самоё разрезанной надвое какой-нибудь проблемой, потерять хотя бы на минуту благословенное ощущение шва. И я говорю здесь об этом не метафорически: тошнота, поднимающаяся во мне при ощущении раздвоения в любой форме, сопутствует мне сквозь всю жизнь, и пробный камень физиологической реакции еще никогда не подвел меня.

Социальные проблемы, которые волновали меня, волнуют и сейчас, в тот год российской революции были по природе своей дихотомичны (двусмысленны, двуостры) и мучили меня чрезвычайно. Я думаю, что все тогда мучились ими, то есть все люди с совестью и мыслью. Потому меня до сих пор волнует чтение дневников Блока того времени, что я вижу в них то же самое наше общее слепое кипение, где любовь, вернее — жалость к дальнему, отвращение и страх к ближнему, тяжелое чувство общей вины, непоправимости всего, сливались в тоске всеобщего бессилия. Принято говорить о пропасти между интеллигенцией и народом. Не пропасть, а слишком большая связанность была между ними, связанность двух частей одного целого в роковом чувстве вины одной половины перед другой, в дихотомии трагической чуждости этих двух, искусственно спаянных между собой частей. Почему одна отвечала за другую? Почему одна каялась перед другой? Нужно было не ходить в народ

и каяться, а строить железные дороги, прививать оспу и в массовом масштабе печатать буквари, для насильственного обучения.

Я только смутно сознавала тогда всё это и больше физически реагировала на противоречия, чем интеллектуально, то есть ощеривалась внутри, настораживалась, „извергала" легкий ответ, который хотел внедриться в меня, отрицала, что есть два ответа на один и тот же вопрос, что какие-то проблемы имеют право быть не решены, какие-то туманы не рассеяны. Что есть мысль и чувство, добро и зло, там и здесь, и так далее, в то время как мысль есть мысль и чувство, зло — отсутствие добра, а добро — отсутствие зла (в человеке, как и вообще в природе, потому что человек есть часть природы), а там никакого нет, а есть только великий миф, изменяющийся и неизменный в своей цельности, та игра, без которой жизнь человека делается сухой, плоской и скучной, игра, нужная человеку, как всякий символизм, как смех, как слезы, как восторг, как потрясение ужасом и блаженством, как сны.

Год мой в последнем (седьмом) классе гимназии был годом великих событий, годом Октябрьской революции, Брестского мира, „Двенадцати" Блока, а заодно и моей первой любви (а также, кажется, и второй, и третьей), годом интенсивной дружбы с Наташей Ш.; годом тревог о социальном неравенстве людей, политики, заполнившей жизнь, и первых лишений. Из нашей, всё еще благополучной, и просторной, и чистой квартиры, я тогда шагнула впервые в ад чужой бедности, так долго таимой от меня. Конечно, я всегда знала, что не у всех людей на свете есть отбивные котлеты, здоровье и крахмальные воротнички, папа и мама, живущие в мире, но я не видела их близко, я только читала про них. Не помню почему именно мне пришлось отправиться с тридцатью тетрадками домашнего сочинения „Базаров, как тип" к учителю русской литературы, Василию Петровичу Соколову, на дом — видимо мы не сдали их вовремя, наступили рождественские каникулы, и мне поручили это сделать. Он жил в каком-то переулке на Петербургской стороне, где я до тех пор никогда не бывала. Сам он был человеком без возраста, внешностью напоминавший Передонова, ходил в желтом целулоидном воротничке, во-

лосы его были масляными, а усы совершенно рыжими, и к каждому слову он прибавлял: „ну-те-с”. Мы так и прозвали его Нутесом. Сюртук его был грязен, ногти черные, нос картошкой. При всем этом он был огромного роста, сутулился и смущался, но его так, несмотря на это смущение, боялись, что в классе на его уроках стояла мертвая тишина, а две сестры-двойняшки Кругликовы плакали навзрыд, как только он их вызывал к доске, хотя им и было по семнадцати лет. Чувства мои к нему были несколько странного свойства: он был мне противен, но не страшен, вместе с тем я не могла не заметить, что стихи он читал по-нашему, то есть не по-актерски и когда говорил о „Медном всаднике” (связав его с „Анчаром”), то ему пришлось после чтения громко высморкаться в грязный носовой платок, от чего у меня у самой увлажнилось в носу. „Нутес кажется раскис”, — шепнула мне Наташа, которая сидела, конечно, на одной парте со мной. Но его слова о том, что „Медный всадник” и „Анчар” — об одном и том же (власть человека над человеком), глубоко запали в меня, и я стала думать о Нутесе и была рада, что вот иду к нему, увижу как он живет и, может быть, поговорю с ним о новых поэтах.

Дом был старый, узкий и высокий, в темном вонючем переулке, вход был со двора, где два бледных мальчика в лохмотьях старались съехать на домодельных санках с черной снежной кучи. Я вошла в узкую дверь и стала подниматься по лестнице, скользкой от помоев, где удушливо и сладко пахло кошками. Некоторые двери были едва притворены и из-за них доносились звуки: крики, ругань, пьяные всхлипы, детский плач, дикое пение каких-то куплетов, визг избиваемой собаки, бормотание не то молитвы, не то заклинаний. Кто-то громыхал чем-то тяжелым, рвался пар от стираемого белья. Всё было черно, липко и гнусно. Из одной двери высунулась женская голова: лицо было красно и кажется пьяно, волосы растрепаны, незастегнутая кофта открывала серую, повисшую до пояса грудь. Она на одно мгновение отпрянула увидев меня, потом протянула обе руки и мгновенно ощупала меня. Я бросилась назад от запаха, шедшего от нее, от брезгливой дрожи, потрясшей меня. Дверь захлопнулась. Наконец я нашла квартиру

номер 29, из клеенки торчала мочала. Звонок продребезжал и смолк, это был хриплый, медный, какой-то достоевский колокольчик. Раздались шаги, и Нутес открыл мне. На нем был тот же целулоидный воротничек и тот же сюртук, но манжеты были сняты. Воздух квартиры был тяжел: пахло кислой капустой, прошлогодней жареной рыбой (с великого поста), чем-то тушеным на сале, луком, дымом печки, странным запахом сырости, в который вплетался струйкой какой-то химический дух — не то средства от моли, не то средства от тараканов, а вернее всего — от клопов, потому что с каждой минутой он становился всё резче, убивая кухонные запахи и торжествуя над ними в горле и в носу. Нутес ввел меня в комнату, похожую на столовую. Посреди стоял стол, накрытый грязной клеенкой, старой и облупленной, как будто кто-то вечерами долго колупал ее, выводя рисунок. Направо стоял буфет, а налево — старые ширмы, с нарисованным на них китайским болваном, у которого чьим-то пальцем был проткнут толстый живот. Было сумеречно, но он не зажег света и не предложил мне сесть.

— „Базаров, как тип", — сказала я. — Вы просили вам принести.

— Ну-те-с, — сказал он и взял тетради. Через минуту он спросил:

— А что вы читаете?

Я ответила, что „Карамазовых".

— А из поэтов?

— Блока.

Он посмотрел на меня и вдруг сказал:

— Это хорошо.

Я почувствовала, как внутри меня начали распускаться цветы.

— Культ вечной женственности. Гете знаете?

Я сказала, что да.

— Обратите внимание на конец „Фауста". А Владимира Соловьева читали?

— Немножко.

— Прочитайте. Там у него про вечную женственность. А у Блока любите: „Но ты, Мария, вероломна"?

— „Он на коленях в нише темной", — продолжала я.

Он вдруг вышел в маленькую дверь, видимо, за книгой,

и я осталась одна. Становилось всё темнее. Окно, затянутое пыльной, рваной занавеской, серело. На буфете лежал кусок ржаного хлеба и обкусанная редька, а рядом с редькой стояли две круглые, огромные манжеты с перламутровыми плоскими запонками, которые я хорошо знала и которые он ежедневно на себя навинчивал, как мы выражались. И вдруг меня неудержимо потянуло взглянуть на то, что за ширмами. Я ступила шаг и вытянула шею.

На кровати лежала огромная толстая женщина и неподвижно смотрела в потолок. В первое мгновение я решила, что она мертва, что это мать его или жена, которая умерла, может быть, сегодня утром. Женщина не шевелилась, а я, как окаменелая, смотрела на нее. Она была до подбородка укрыта тряпьем, тело ее высилось горой под этими отрепьями, а на вершине этой горы, которая приходилась над самым ее животом, лежала маленькая засаленная куколка, безносая и лысая, в рваных панталончиках. Рука женщины была положена поверх тряпья и она гладила куколку, едва-едва шевеля толстыми, совершенно негнущимися пальцами. Лицо ее выражало идиотское блаженство.

И вдруг она медленно перевела свои глаза на меня и сделала попытку слабо мне улыбнуться. Я отпрянула назад. Соколов входил в комнату.

— Ну-те-с, — сказал он, садясь, — прочитаем вот это. Так он шесть раз в неделю начинал свой урок.

Глаза, опущенные скромно,
Плечо, закрытое фатой,
Ты многим кажешься святой,
Но ты, Мария, вероломна.

Я, наконец, расстегнула крючек зимнего пальто.

— А Сологуба любите?

Да, я любила Сологуба.

Наконец, я ушла. По совершенно темной лестнице спустилась во двор, пошла по переулку. Стихи запели у меня в голове:

Не поскользнись на этих черных
Ступенях мокрых и кривых,
Таких обшарпаных, неровных,
Меж стен холодных и сырых.

За нами жадно наблюдает
Из-за дверей недобрый глаз,
И пар тяжелый наплывает
Из всех щелей, и душит нас.

Зачем мы здесь с тобою вместе,
В аду зловонном и чужом?
Где дышат жуткие болезни,
Испепелившие Содом?

Ужели суждено обоим
Скользить неверною ногой
По этим вековым помоям?...

И я шла, и шла, и от стихов, от мысли о мертвой женщине за ширмами (теперь я была уверена, что мне только показалось, что она улыбнулась мне), от воспоминания голоса и манеры чтения Соколова, от черного двора и обкусанного куска хлеба, в душе поднималась буря мыслей и чувств, и мысле-чувств, так что в конце концов я заблудилась, вышла на незнакомую мне набережную, где свистел ветер и дымила какая-то фабрика, где Петербург был не похож на Петербург и где какой-то мастеровой довел меня до остановки трамвая, спросив на прощание, не приду ли я сегодня вечером выпить с ним пива в пивную на угол?

И больше никогда мы не говорили с Соколовым. От Базарова, как типа, был переход к Левину и князю Андрею, а потом и к „Плодам просвещения". В последний день, весной 18-го года, он решил произнести в классе речь.

— Ну-те-с, — сказал он, глядя куда-то поверх наших голов, — поздравляю вас: вы вступаете в жизнь...

Он говорил долго, скучно, упрекая нас в недостаточном знании русской словесности и напоминая нам, что хотя букву ять и отменили, но грамотного от неграмотного всегда можно будет отличить. И потом он перешел на себя и заговорил о том, что мы уйдем, а он останется делать то, что он всегда делал и будет делать. И что в этой его жизни нет однообразия, а есть высший смысл, потому что изредка, когда он выпускает на волю очередной седьмой класс — как Пушкин птичку, „при светлом празднике весны", — он чувствует себя, как лермонтовский утес. Потому что иногда, правда редко, с ним бывает, как с этим утесом. И он прочел

тихо, медленно: „Ночевала тучка золотая". А когда произнес „и тихонько плачет он в пустыне", то ему пришлось вынуть всё тот же огромный грязный платок.

Меня слегка покоробило от двух литературных ассоциаций, нахлобученных одна на другую. Мне показалось на одну секунду, что он при этом посмотрел на меня, но я не обратила внимания. И только после того, как он, раскланявшись, вышел из класса, все повернулись, ко мне и хором объявили мне, что всё это было обо мне, что Нутес расчувствовался при расставании со мной. Но в те дни столько странного, нового, чудесного происходило вокруг меня и со мной, что тема „Ну́тес как у́тес" благодаря дурацкой рифме приняла какой-то юмористический оттенок. И больше я Соколова никогда не видела.

Но это хождение к нему открыло мне чужую жизнь и мне стало нравиться ходить к людям и смотреть, что и кто „лежит у них за ширмами". И я полюбила смотреть в чужие окна, особенно вечерами, ничуть не желая разделить чью-то чужую жизнь, но только желая увидеть эту жизнь, узнать, понять ее и погадать о ней. Я словно рассматривала какие-то иллюстрации в толстой книге, не всегда интересуясь ее текстом. И эти картинки жили со мной потом, перед сном, в кровати, они вдруг возникали в памяти (при совершенно неуловимой ассоциации). Вот семейство сидит за вечерним чаепитием. Вот девочка, похожая на меня, разбирает сонатину Клементи. Вот мужчина старается стащить с женщины длинное, узкое платье, вот собака спит, подняв одно ухо и опустив другое, а между задними ногами у нее примостился котенок в ошейнике... Много позже это смотрение в чужие окна, любопытство к тому, что у кого „лежит за ширмами" перешло и в „Мыс Бурь", и в рассказ мой „Большой город".

Таким было прощание с учителем русской литературы, но совсем иным было прощание с Усковым. Нас было человек десять, и мы решили отпраздновать окончание гимназии с двумя учителями, — хоть Усков и не преподавал в старших классах, но он был популярен и популярен был учитель алгебры, Семен Григорьевич Натансон, позже женившийся на моей однокласснице. Он был молод, хорош собой, и талантлив, и в последнем классе и алгебра, и

тригонометрия уже не были для многих из нас закрытой книгой. Мы взяли две ложи в Александринку на какую-то пьесу Сумбатова-Южина, очень скверную, но всем нам было не до пьесы, а в воскресенье, в самом конце мая, мы поехали в Павловск на целый день — там нашелся какой-то пустой дом (или вернее — дача), в котором мы и приготовили обед на двенадцать человек и потом гуляли в парке, сидели в саду, около дома, на большой террасе, и вернулись в город домой поздно. Розанов, кажется в „Уединенном", говорит, что какое-то одно воспоминание молодости может иногда удержать человека от самоубийства, вывести его из безнадежности и отчаяния. Этот день в Павловске — такое воспоминание.

Усков проводил меня домой, а потом пошел провожать Наташу, пешком через весь город, белой ночью. „А ведь у нас было что-то вроде клуба трех, — сказал он напоследок. — Спасибо вам". Я тоже хотела сказать „спасибо", но от волнения и грусти едва могла выговорить это слово. Нет, я не была влюблена в него, но если бы, — думала я потом, в своей комнате, ночью, — если бы он позволил мне каждый день стирать пыль с его книг и сидеть в углу молча, когда он пишет или читает, я бы сейчас же ушла из дому и была бы так счастлива... Эта роль бедного Лазаря мне ужасно нравилась в те годы. Я как-то очень вовремя выдумала себе ее.

Весна. Павловск. Счастье, как ореол, стоит над нашими лицами, от полноты жизни и ожидания собственной судьбы блестят глаза. Над огромной чужой дачей, в уже запущенном, но еще не отнятом саду поют птицы, цветет сирень, а в кухне Эся нарезает селедку своими красивыми, белыми, большими руками, сама красивая и большая, с подкрашенным ртом, пахнущая сладкой пудрой, которую она носит при себе в изящной пудренице. Она немножко бывает нахальна, потому что знает себе цену, но мы ее любим. Она командует, чтобы кто-нибудь нарезал лук, и кроткая Поля берется за нож, пока Тамара разогревает пирог, привезенный из дому. Я стараюсь изо всех сил найти себе дело, потому что кто не работает, тот не ест, но Наташа брезгливо ни до чего не дотрагивается и уходит к нашим двум гостям на террасу и их там занимает. „Об умном разговаривают",

— так определяет Эся их времяпрепровождение. Потом откупоривается белое вино, я выпиваю два стакана залпом и вдруг чувствую, что не знаю, куда девать собственные руки, что у меня широкие ноги, что у меня слишком большой рот, не достаточно тонкая талия и, может быть, не совсем чистый нос. Но уже после третьего стакана все эти сомнения проходят и хоть я и знаю, что не красавица, но я чувствую всю свою ладность: и крепко подтянутые чулки, и тугой лифчик, и аккуратно заколотые на затылке узлом волосы, и чистые ногти, и высокие каблуки. Наташа читает стихи, я читаю стихи, Эся привезла гитару, Тамара поет — высоким, высочайшим сопрано, каким-то приятным птичьим фальцетом, Семен Григорьевич ей подпевает, они поют дуэт, они сидят друг против друга и смотрят друг другу в глаза, а Эся, накинув скатерть на одно плечо, изображает испанца и аккомпанирует, теребя и щипля струны длинными женственными пальцами.

И потом в поезде начинается меланхолия счастья, это особое чувство в молодости, какое бывает, когда кончается счастливый день. И вот преувеличиваешь всё: белая ночь светлее, чем она есть, пение печальнее, чем оно было, человек, сидящий напротив, моложе и красивее, чем он на самом деле есть, и я сама как будто вижу только его одного — и никого другого, а смотрит он на Наташу, на Люсю... и не помнит, уже не помнит меня! Берешь минутный реванш за все отвергнутые либестраумы, и стук колес растравляет тебе сердце, а свист паровоза уносит всё, что было, в небытие.

Уносит, но не всё. То, что остается, я берегу, я дрожу над моим сокровищем, я, словно нищий на паперти, хожу с протянутой рукой и жду, не упадет ли что-нибудь в мою ладонь, а когда падает, — крепко держу. Поток стихов к этому времени остановился. Я стала строже к себе, и не всякое тра-та — тра-та, не всякое милый-унылый записывала. Я смиренно собирала крохи: разговор с Нутесом, долгие импровизации Наташи, Достоевский, Ницше, Шестов, кем-то брошенное слово (и мною подобранное), и копила их, и хранила их, и думала, и думала, и думала над ними. Если мне приоткрывалась новая даль — в тот год гоголевские места между Диканькой и Миргородом, и позже — Москва,

полная для меня новых и безотрадных впечатлений, — если я смотрела в эту даль, то как путник в пустыне в ожидании, не капнет ли на него тот дождь, от которого оживет и он сам и вся пустыня вокруг. И от каждого человека я ждала чего-то. И от каждого дня я надеялась получить что-то. И были дни, которые приходили и уходили в российском сквозняке тех месяцев, и другие которые словно лепили мою душу, и еще третьи, которые, как памятники, вдвигались навеки в сознание. Это были особые дни (всего может быть четыре или пять в тот год), которые стоят до сих пор, как бронзовые фигуры, в памяти, и были иные, которые запомнились меньше, чем запомнилось то, что они со мной сделали, и еще третьи — важные потому, что осветили меня, подняли меня, прибавили ко мне, надстроили меня.

Свадьба Александра Владимировича Шкловского состоялась в самый день нашего окончания гимназии, и в этот день сошлись самые разные „темы" моей жизни и завязались в один узел. Утром в первый раз в жизни пришел парикмахер и причесал мне волосы, и я увидела впервые совершенно новую взрослую себя. Днем был торжественный акт в гимназии, а вечером — свадебный обед в квартире Шкловских, куда А. В. привез Наташу и меня, заехав за нами после церкви, где он венчался. Я не видела человека счастливее: он сиял, излучая счастье, и только был озабочен одним: как бы сдержать себя, как бы не сделать чего-то уж слишком безумного от восторга, буквально душившего его. В большой столовой был накрыт стол покоем для тридцати гостей, и я села рядом... правда, не с литературным критиком, но с его братом (погибшим потом на Соловках).

— Я знаю, — сказал он в конце обеда, — что вы никогда не забудете этого дня (он знал, что днем был акт), — и я рад, что случайно и я буду каким-то краем захвачен в это воспоминание, и там мне в нем будет уютно и тепло до конца ваших дней.

Мы больше никогда не встретились. Он оказался прав.

А литературного критика, с которым позже я близко была знакома и который, конечно, помнит обо мне и сейчас, я совершенно в тот вечер не заметила. Был ли он, не был

ли, мне неизвестно. Я была слишком захвачена событиями этого дня, разговором с моим соседом, первым разговором в каком-то еще неведомом мне новом ключе, чтобы думать о литературном критике. Я тоже, как А. В., излучала переполнявшее меня счастье и тоже заботилась о том, чтобы хоть как-нибудь совладать с ним.

Этот день был чудным днем моей жизни, и этот вечер был именно первым вечером ее, когда всё сошлось, чтобы мне самоё себя почувствовать и увидеть взрослой, свободной, вооруженной разумом и внешней прелестью. Гимназия была позади; я была приглашена на свадьбу не старшего сверстника, но взрослого человека, поколения моего отца и матери. Я сидела рядом с оканчивающим Духовную Академию богословом, который говорил мне вещи, которых до сих пор мне не говорил никто, и как он говорил их — тоже было ново: словно слова, произносимые им, напечатаны были где-то в абстракции не корпусом, а курсивом.

Уже в июне и эта свадьба, и поездка в Павловск стали прошлым. Напрасно я старалась уверить себя, что жду переезда в Москву, что всё мне и там будет интересно и что конец старой жизни и неизвестность новой дают мне ощущение движения времени. Трудно и печально отрываться в эти годы (шестнадцать лет) от того, с чем сжился: оборвать дружбы, бросить книги, бросить город, красота и величие которого в последние месяцы начали помрачаться от разбитых окон, заколоченных лавок, поверженных памятников, снятых дверей и длинных угрюмых очередей. Я уезжаю куда-то, куда и письма не доходят, хотя туда только ночь езды. Я уезжаю туда, где у меня нет ни души знакомой. Я каждый день прощаюсь с кем-нибудь: прощаюсь с Дашей, которая уезжает к себе в Псковскую губернию, прощаюсь с подругами, прощаюсь с Осей, с которым всё как-то жестоко и несправедливо обрывается, прощаюсь со старым письменным столом и с милым другом, „сыном синтаксиса", который всё еще любит Надсона и носит усы колечком.

Я звоню в последний раз Осе по телефону и вижу, как он бежит по освещенным комнатам на мой звонок: они живут напротив нас, окна в окна. Мы видим друг друга и слышим друг друга, но нам не весело. Я не боюсь его. Я не боюсь, что он тронет меня, что он поцелует меня, что он

сядет близко и узнает, чем от меня пахнет — мылом и чернилами, вероятно, больше нечем! Я знаю, что многие девочки боятся мальчиков, боятся, что мальчики не такие, как мы, и что есть много мальчиков, которые боятся нас. Но я тоже хорошо знаю, что Ося не боится меня. И от мысли, что я может быть когда-нибудь буду жить вдвоем с кем-нибудь, в одной комнате, спать в одной кровати, мне тоже не страшно. Я об этом еще мало думаю, мне это кажется еще довольно далеким, но не страшным. Я уверила Осю, что мы едем в Москву на время, и я кажется уверила и себя в этом. На какое время? Может быть потому, что больше всего мне нравится улыбка Оси и я боюсь, что он перестанет улыбаться и сделает грустные глаза.

Девочки боятся мальчиков и мальчики боятся девочек, но девочки, когда боятся, говорят себе: „Ничего, как-нибудь обойдется" (но иногда ничего „не обходится"), а мальчики, когда боятся — и не пытаются близко подойти. Но мы с Осей принадлежим к тем, которые не боятся, не каменеют в присутствии друг друга, не пытаются притворяться, что всё в порядке, когда на самом деле всё в большом беспорядке и только и хочется, быть за тридевять земель. Мы свободны смотреть друг на друга, свободны говорить, что взбредет в голову, свободны сидеть щека к щеке и перебирать пальцы друг друга. „У меня некрасивые руки", — считаю я нужным ему сообщить. „А у меня — красивые", — отвечает он, чтобы подразнить меня. Но я знаю, что это правда. И я целую его в губы и в брови. И он целует меня в брови тоже. И нам кажется, что мы первые в мире придумали эти „бровные" поцелуи.

Все дружбы распались в тот день, когда мы уехали в Москву, и я осталась одна — сама с собой, чувствуя, как постепенно во мне начинают образовываться узлы, которых распутать нет умения, как возникают вопросы, которых не с кем обсудить. Никогда я не чувствовала себя такой нищей, как в то лето, в пыли и духоте Никитского бульвара, в чужом месте, лишенной всего, чем я жила до того. 18-й год, лето, зной и голод, первые столовки, черный сырой хлеб с соломой, перловая каша, чувство — до того мне незнакомой — робости: как войти в Румянцевскую библиотеку? Как посидеть одной на скамейке бульвара? Можно

мне поступить в восьмой класс? Или надо искать службу? И что я буду делать дальше в этом мире бывших и будущих людей, в котором я внезапно оказалась?

Некоторые из бывших были уже совершенно прозрачными, с глубоко запавшими глазами и тяжелым запахом; другие еще продавали на толкучке старье и оттого, что приобщились к коммерции, у них появился жадный блеск в глазах. Новых я видела только издали. Я вдруг совершенно потерялась, не знала, куда мне идти, с кем говорить, и целыми днями, не зная, куда себя девать, стала ходить по улицам. Мне было семнадцать лет. Все трое — отец, мать и я — жили в одной комнате, которую снимали в коммунальной квартире. Я выходила утром и появлялась к вечеру, есть кашу. Я исходила всю Москву, на Сухаревке бритвой мне вырезали спину пальто, на Смоленском бульваре один раз мне стоило ужасных усилий не заплакать. Памятник Пушкину я ненавидела, он всё время попадался мне на глаза. Я забредала в странные места. Один раз я услышала тихое хоровое пение, толкнула дверь и вошла в грязный, полутемный зал, где собирались толстовцы. В. Г. Чертков долго говорил о „Льве Николаевиче", потом Сергеенко раздал всем какие-то листочки и все опять запели. Под конец случилось нечто неожиданное: вошел красивый, возбужденный молодой человек и сказал, что он — воскресший Лев Толстой. Это был сын Сергеенки, убежавший в тот день из сумасшедшего дома... Нет, в этом месте мне ничего не перепало.

В другой раз я вошла в калитку где-то у Кудрина, прошла темной подворотней и вошла в сад, полный цветов и солнца. Пруд цвел водяными лилиями, плакучие ивы склонялись над ним, и на скамейках сидели полумертвые от голода и страха люди и разговаривали друг с другом, как будто сидели уже на том свете. Там подсел ко мне какой-то человек со светлой бородкой и сказал, что он вчера донес в че-ка на дьякона, с которым жил на одной квартире и чувствует теперь, что не вынесет этого и хочет повеситься... Он тоже показался мне полумертвым, а когда я оглянулась — я была одна, и только какой-то инвалид-садовник, обойдя меня, осторожно воткнул передо мною обструганную со

всех сторон палочку, к которой была привязана надпись: не трогать цветов!

Однажды я вошла в большой гастрономический магазин — вероятно последний открытый. Я была очень голодна, но я ничего не могла купить из того, что лежало на широком мраморном прилавке. Я долго смотрела на балык, на салями, на посыпанные маком булочки и особенно на сыр, который тек вокруг себя самого правильной, густой, медленной сырной лужей, расширяясь на глазах. И вдруг из-за прилавка раздался голос:

— Кушайте, что желаете.

Я переглотнула и взглянула туда, откуда шел голос.

— Очень приятно. Вы — дочка Николая Ивановича. Я вас с ним видел. — Голова кивала. — Кушайте, не стесняйтесь. И ему скажите, чтобы как-нибудь зашел.

Это был армянин А., последний владелец последнего гастрономического магазина в Москве — через год он был расстрелян. Да, тут мне перепало — я не говорю о еде, я говорю о чем-то, чему не найду слов: перепало голодное унижение, смиренное чувство, что я — никто, но как дочка Николая Ивановича могу еще рассчитывать кое-где на бутерброд. И еще: ощущение какого-то падения, из глубины моего благословенного колодца просто в лужу, откуда иначе, как на четвереньках, и не выберешься.

„А вот — царь-пушка. А вот — царь-колокол", — объяснял кто-то кому-то, и я, как все, стояла и смотрела, а потом пошла к Пречистенскому бульвару и там долго сидела и ни о чем не думала, и как-то незаметно познакомилась с каким-то студентом, которому на следующий же день принесла свои книжки (вероятно — любимые), которые он никогда не вернул. Потом одна дальняя родственница обещала познакомить меня с одним умным человеком (кажется, впрочем, это была чья-то квартирная хозяйка), сказав: „Вы друг другу очень понравитесь", но видимо забыла об этом, или умному человеку было не до меня. Потом, в столовке, страшный, худой, с гнойными глазами, пятнистый пес лизнул мою кашу... Потом на Сухаревке у меня украли туфли, которые я пошла продавать, чтобы на эти деньги... нет, не купить сочинения Гегеля, а просто пойти к парикмахеру, который завивал щипцами (мне вдруг ужасно захо-

телось быть завитой щипцами!). Чему меня учили? Меня не учили, как добывать себе пропитание, как пробиваться локтями в очередях за пайкой и ложкой, за которую надо было давать залог; меня не учили ничему полезному: я не умела ни шить валенки, ни вычесывать вшей из детских голов, ни печь пирогов из картофельной шелухи. Из книжных магазинов на меня смотрели тонкие, бледные, желтоватого оттенка книжки — политические брошюры и сборники стихов. Они напоминали мне Людмилочку, тоже желтого оттенка, которая всё время икала от голода и вытирала набегавшую слюну кружевным платочком „валансьен". Она была такая бледная, тоненькая. Ее родители тоже были „бывшие".

Всё это продолжалось всего четыре месяца — одиночество, неизвестность, что будет дальше, прогулки по одичавшему, жаркому городу, с постоянным бурчаньем в животе, так что я даже была довольна, что какому-то умному человеку оказалось не до меня: я не могла бы скрыть от него этого бурчанья. Еще немного и я вероятно нашла бы путь в восьмой класс гимназии (потому что надо было во что бы то ни стало одолеть тригонометрию и латынь), в библиотеку, в собрание, где кто-нибудь что-нибудь уронил бы в мои пустые ладони, в общество великих, от которых я ждала всего, и в общество малых, с которыми я могла бы вместе подняться из этого падения. Если бы я решилась написать книгу о потерянных годах моей жизни, то она началась бы этими четырьмя московскими месяцами. У меня не было угла, чтобы прочесть книжку, которую денег не было купить, у меня не было друга, которого мне некуда было бы посадить, мне надо было учиться молча думать, смотреть вокруг и в себя по-новому, а я только искала, как воробей или ворона, где бы подобрать какую--нибудь крошку, не упадет ли что-нибудь мне в рот. Мне одинаково хотелось: пойти в МХТ на „У жизни в лапах", и пойти в баню, и поехать в Петровское-Разумовское полежать под деревом. Я как будто лишилась воли выбирать. Это была не бедность и даже не Бедность, это была скудость, как ее ни пиши. То, что было внутри меня, было похоже на то, как если бы человек не знал, что лучше: Самофракийская победа или кусок вареной говядины, и

никто, то есть буквально никто вокруг, не знал бы этого, забыл или просто не интересовался такими вопросами. Я исходила все Кривоколенные и другие переулки, я иногда долго смотрела в сумерках в окна чужих домов. Какая-то странная сила сковывала меня, я была в пустоте. Мне даже не очень хотелось выходить из нее. Я была слишком молода, чтобы понять, что случилось: когда я вышла в жизнь всё оказалось н е т о. Будто мы ехали в лифте на десятый этаж, а когда вышли из лифта, то оказалось, что десятого этажа нет, стен нет, пола нет, крыши нет, ничего нет. А лифт ушел. Я когда-то писала стихи. Я когда-то была влюблена. Я дружила с такими же, как я, веселыми, дерзкими на язык. А сейчас не хотелось и вспоминать об этом. Ничего не снилось. Ничего не сверкало вокруг и во мне. Хотелось есть. Хотелось спать. Иногда хотелось перед вечером посидеть у Манечки в комнате.

Манечка была уличной, ходила по Тверскому бульвару и жила вместе с нами в коммунальной квартире, одной из первых в Москве, принадлежавшей мадам Кошкодавовой. У нее в комнате стояли комод, стул, стол и кровать, а на столе лежали колода карт и коробка пудры. Больше у Манечки не было ничего. И так я узнала, что можно жить не имея ничего, только колоду замасленных карт и коробку ярко розовой пудры. Манечка садилась напротив меня и гадала мне. Потом мы разговаривали с ней. Она удивлялась, что я люблю читать. Я удивлялась, что она любит гулять у памятника Пушкина. Она была осторожна со мной, как если бы я была хрустальной вазой. Мне очень хотелось иногда с ней вместе пойти ночью на Страстную площадь (это было всё то же желание взглянуть, что „лежит у нее за ширмами"), но она тихо и твердо сказала мне, что это нельзя, и я не настаивала. Мадам Кошкодавова говорила, что она „нюхает". Мне некого было спросить, что это значит, и я спросила об этом самоё Манечку.

— Ну и нюхаю, — ответила она, и так посмотрела на меня, что я больше к этому не возвращалась.

Когда я уезжала на юг, я подарила ей золотую брошку с сапфиром, — кажется, фамильную, единственное ценное, что у меня было, и много позже сказала матери, что ее у меня кто-то украл. В те годы солгать было легко, гораздо

легче, чем теперь. Вижу, что я уже тогда делала, что хотела, не ждала, когда мне будет сорок лет.

„Когда я уезжала на юг". Да, там, в Нахичевани, „благодарные армяне" всё еще ели белый хлеб, и когда моего отца сократили, нам ничего другого не оставалось, как двинуться через Оршу и Киев к Ростову. Я приняла новость о нашем отъезде с полным равнодушием, никогда в жизни не была я такой неподвижной, молчаливой, угрюмой и потерянной. На ростовском вокзале я вышла, завернутая в одеяло и босая: ночью между Фастовым и Казатиным у меня унесли всё, чемодан был вспорот ножом, особенно стыдно было мне почему-то оказаться без шляпы. В одних чулках я взошла на крыльцо дедовского дома. Он был пуст. Деда не было. Селифана не было. Лошадей не было. Собак не было. Только мебель стояла у стен в чехлах и старинный несгораемый шкаф. Я поселилась в комнате с этим шкафом и, так как никто не мог сдвинуть его с места, он остался стоять, и я хранила в нем остаток своих книг — тех, что я не успела раздарить Манечке и студенту с Пречистенского бульвара.

Я вполне отчетливо сознавала, что от меня остались клочья, и от России — тот небольшой кусок, где мы сейчас жили, без возможности свидания или переписки с теми, кто жил по другую сторону фронта гражданской войны. Говорили, что война в Европе идет к концу, — я только много лет спустя узнала, когда именно она кончилась. Говорили, что в Париже носят короткие, до щиколодки, юбки, что выходят новые книги, что театры в Лондоне по-прежнему ставят Шекспира и Шоу, что в Италии цветут лимонные деревья. Но в реальность всего этого трудно было поверить. Белый хлеб теперь был реальностью, восьмой класс гимназии был другой. И библиотека. Городская нахичеванская библиотека, где можно было получить и роман Германа Банга, и „Петербург" Белого, и „Дикую утку", и „Стефанос". Помещалась она на Проспекте. Там шумели деревья и заламывая фуражки и выпуская из-под них на лоб вихор, ходили гимназисты, задевая гимназисток. Но позже, к ночи, они уходили в сад городского клуба и на Проспекте становилось пустынно, тихо; под фонарями на скамейке пахло гелиотропом; и я придумывала сегодня, что это — Амстердам, завтра — что это Барселона, послезавтра — что это

Царское Село. А Виржинчик сидела рядом, читала под фонарем Альтенберга или Штирнера и только просила заранее ей сказать, где мы нынче находимся, чтобы уже наверное не спутать на сегодняшний вечер Шотландию с Эгейским морем.

В своем дневнике (от 29 ноября 1851 года) Лев Толстой писал:

„Я никогда не был влюблен в женщин. (Ему в это время было 23 года.) В мужчин я очень часто влюблялся. Я влюблялся в мужчин, прежде чем иметь понятие о возможности педерастии (подчеркнуто Толстым); но и узнавши, никогда мысль о возможности соития не входила мне в голову. Странный пример ничем необъяснимой симпатии — это Готье. Меня кидало в жар, когда он входил в комнату. — Любовь моя к Иславину испортила мне целые 8 месяцев жизни в Петербурге. Красота всегда имела много влияния в выборе; впрочем, пример Дьякова; но я никогда не забуду ночи, когда мы с ним ехали из Пирогова, и мне хотелось, увернувшись под полостью, его целовать и плакать. — Было в этом чувстве и сладострастие, но зачем оно сюда попало, решить невозможно, потому что, как я говорил, никогда воображение не рисовало мне любрические картины, напротив, я имею (зачеркнуто: врожденно) страшное отвращение".

Толстой в 1851 году не знал, как не знал до самого конца своей жизни, что так чувствует в молодости по крайней мере половина людей. И со мной это было, только плакать не хотелось никогда и никогда „любовь" не портила мне жизни. Но я знаю теперь, что Виржинчик хотелось иногда плакать. В этом ее чувство ко мне разнилось с моим чувством к ней.

Я увидела ее впервые на вечеринке, она ужасно кокетничала весь вечер с красивым, смуглым мальчиком (позже убитым в добровольческом отряде) и не обратила на меня никакого внимания. То есть она весь вечер наблюдала за мной, не глядя на меня, а я не сводила с нее глаз открыто, не понимая, что именно притягивает меня к ней. Она была маленькая, очень худенькая, с огромными черными глазами, пунцовыми щеками и нависающими на лоб и уши тяжелыми волосами. Позже, в двадцатых годах, в Париже, я

замечала, что под ней не зажигается в лифтах свет — были такие лифты, в которых свет включался автоматически, когда человек входил в лифт, и пол от тяжести опускался, так вот она была так легка, что свет в лифте не зажигался. Она тогда пять лет пробыла в различных санаториях в Пиренеях и умерла от туберкулеза, перед смертью приняв православие и изменив свое имя на мое. И тогда, в Париже, она напоминала мне — этими черными волосами и пунцовыми щеками — Альбертину Пруста. Только у Альбертины не было высоких скул и темных кругов под глазами, и этого глухого кашля, и жарких ладоней, когда ежедневно у Виржинчик поднималась температура.

Я носила ее по комнатам, слушала, как она играет Медтнера и Скрябина, а потом мы садились или ложились с ней на диван и часами говорили, как будто до нашей встречи

Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой.

Как будто Россия разлетелась на куски только для того, чтобы нам обрести друг друга. Я оставалась ночевать, мне стелили на диване, мы продолжали разговор до двух, до трех часов ночи. Никогда раньше я не испытывала такой радости оттого, что была с кем-то вместе, никогда раньше не было в моих отношениях с другим человеком такого волшебства, такого творчества в мечтах и мыслях, которые тут же переливались в слова. Я не могу назвать это дружбой, я должна перенести это в область любви, в область иного измерения, чем то, в котором я до сих пор привыкла жить и чувствовать. Ей особенно свойственны были два круга настроений: круг тихой и глубокой грусти и круг юмора. Она была восприимчива и задумчива и к ней невозможно было подойти с обычными мерками: она никогда не выезжала из маленького городка, где родилась и прожила двадцать лет, она едва кончила гимназию — всегда болея, неделями пропуская классы. Теперь считалось, что она сидит со мною рядом, на той же парте, но она почти не появлялась, ее держали взаперти, при ее слабости ей опасно было оказаться в толчее трамвая. Она играла на рояле, больше читая с листа, чем разучивая, повторяя часами одну

и ту же музыкальную пьесу с полными слез глазами — от волнения и восторга. Потом она куталась в платок, в углу дивана, ее длинные ресницы опускались, и чудная ослепительная и всё-таки болезненно-сонная улыбка появлялась на ее лице. И запах „ориган", который тогда был в моде и одна капля которого доставляла нам столько радости, шел от ее волос, падавших всё ниже на худенькое, серьезное, иногда печальное лицо.

Я садилась около нее, и она клала мне голову на плечо или я клала голову на ее колени, никто не удивлялся, глядя на нас, когда входил в комнату, как мы часами сидим так и не можем расстаться, мне давно пора домой учить латынь и тригонометрию, ей пора в кровать, доктор велел ложиться рано. И вот глубокой ночью я бегу через базарную площадь, сперва мимо русского собора, потом мимо армянского собора, потом по Софийской улице, и в голове одна мысль: как мы опять увидимся завтра, как я приду к ней или она придет ко мне, как мы обрадуемся друг другу.

Через год, когда юг России пал, мы уже жили вместе, они всей семьей переселились к нам в дом, и в ту ночь, когда грохотали орудия и рвались снаряды, мы сжимали друг друга в объятиях от страха и ощущения несущегося на нас грозного будущего, которое открывалось нам за этими ночами. Я не могла тогда знать, что ровно через двадцать пять лет я буду опять укрывать ночами кого-то от падающих бомб и искать непременно капитальную стену, возле которой, как говорят, стоять безопаснее, и буду закрывать своей дрожащей рукой испуганные (но на этот раз светлые) глаза, чтобы тот, кто прижимается ко мне, не видел, как, фиолетовым светом озаряя замерший Париж, летит смерть, метя в нашу крышу!

Юг России пал. Мимо дедовского дома проехал отряд буденовцев: на одном из красноармейцев был широкий горностаевый палантин, заколотый бриллиантовой брошкой, а на остальных — мохнатые банные полотенца, которые издали можно было принять за горностаевые палантины, заколотые английскими булавками. Я стояла у окна и смотрела на них, а Виржинчик в это время дочитывала „Пана" Гамсуна и лукаво спрашивала меня:

— „Что такое любовь?" — и сама отвечала: „Это ветерок, шелестящий в розах".

Я оборачивалась к ней и очень серьезно говорила, что я давно обдумала этот вопрос и что для меня он навсегда решен: это о д и н артишокный листик, съеденный д в у м я людьми. Она слушала цоканье копыт по мостовой, ржанье лошадей и ругань, и говорила:

— Артишоков больше не будет. Артишок будет забыт. В энциклопедических словарях к нему будет стоять: „устар".

Шли обыски. Мужчин посылали чистить отхожие места в казармах, и отец, надев чистый крахмальный воротничок, тоже пошел. Виржинчик никогда не знала своего отца: он бросил ее мать, когда она была беременна ею, и теперь в Ереване был видным партийцем, расстреливал и вешал и посылал обыскивать тех, кто еще носил крахмальные воротнички.

До последнего дня, пока можно было, я ходила в университет. Это был историко-филологический факультет, и я слушала греческий, археологию, историю искусств, языковедение, но во всеобщем распаде того года (20-го) я редко умела сосредоточиться, скучала на лекциях, мало училась дома. Профессора были замучены страхом и голодом, большинство из них перешло из Варшавского университета, люди тусклые и старомодные. А дома из отца и матери постепенно уходила жизнь — я иначе не могу определить этого, — в то время как во мне жизнь бурлила, требовала выражения, действия, и чем больше делался гнет и чем сильнее лишения, тем больше я начинала „шляться", по выражению домашних, — шляться куда придется, с кем придется, — потому что с каждым месяцем я чувствовала себя всё увереннее, всё свободнее, и мерка моя к людям изменялась: я уже не искала среди них того, кто мог говорить со мной о Брюсове и Блоке, или о Троцком и Мартове, или о Скрябине — я брала тех, кого посылал мне случай и иногда искала самого простого, непосредственно-грубого забвения, никого по-настоящему не выбрав, никого по-настоящему не предпочтя.

— Культ забвения, — говорила Виржинчик. Мы не ревновали друг друга ни к кому.

„Wanderjahre" мои, собственно, всё еще продолжаются. У немцев „Wanderjahre" следуют за „Lehrjahre" и потом, вернувшись, так сказать, к исходной точке, человек начинает жизнь. У нас, в России, вместо „годов странствий" люди в большинстве имели „годы распутства" — в разной степени силы этого понятия. В слабой степени имела их и я. Книг я не читала больше, стихов почти не писала, едва-едва помнила о колодце и роднике, и в тайном отчаянии примирялась с тем, что почти ничего не падает мне в руки. Раза два за этот год я едва не стала чьей-то женой, и я бы стала, если бы я не думала, что лучше бежать от всякого серьезного сближения и никому не отдавать своей свободы. Я втайне понимала, что такое положение вещей не может продолжаться вечно, я знала, что „моё" вернется, потому что была Виржинчик и наше с ней общее. Что было бы со мной без нее? Ничего не говоря мне обо мне, она всё понимала и никогда ни в чем не останавливала меня, глядя как я живу и трачу себя.

Больше всего меня увлекала в эти месяцы мысль о том, какие все люди разные и как по-разному складываются мои с ними отношения, неумышленно, словно я поворачивалась силою вещей к разным людям разными своими сторонами. Помню, что были отношения страстной силы, когда, как Бунин однажды мне сказал, два человека только и ждут, когда закроется за ними дверь и повернется замок, чтобы „кинуться друг к другу и вцепиться друг в друга, как звери"; и была почти любовь с одним приезжим петербуржцем, с которым внезапно создалось нечто вроде мирной общей жизни, уютной, словно мы уже лет двадцать жили вместе; забота друг о друге: не болит ли что? не грустно ли сегодня? пойдем вместе, съедим что-нибудь вкусное, приляг, усни, а я тут посижу, посторожу тебя... И еще была короткая встреча, на время смутившая мою гордость: выкручивание рук (с кем вчера ушла?), тяжелый кулак у лица (искрошу! не смеешь смотреть на другого!) — которую я не вынесла, но от которой тоже что-то во мне осталось: опыт собственной слабости и мужской силы.

И несмотря на всё это были минуты и драматические своею серьезностью, когда А. Д. С. искусно влюбил меня в себя. Было ему далеко за тридцать и был он женат на

молодой и красивой женщине, обращавшейся со мной приветливо. Жил он на втором дворе разрушающегося, какого-то расползающегося дома, где были две огромные, злющие черные собаки, которые бросились на меня, когда я к нему пришла однажды. (А на углу, там где его улица впадала в Соборную, лежал труп лошади, полузанесенный снегом.) Эти собаки как-то охладили меня, и я, угрюмо войдя в переднюю, почувствовала желание быть подальше отсюда. Зная, что жена его уехала куда-то на неделю, я согласилась на его уговоры и пришла к нему; в душе было беспокойно и совсем не весело. Теперь я с не малым страхом думала, что мне придется идти обратно тем же двором и волкодавы растерзают меня на части, если он не пойдет провожать меня. Это был странный человек, талантливый гравер и эрудит. Я чувствовала, что он головой выше всех остальных, кого я знала. Над диваном висела копия Иоанна Крестителя Леонардо да Винчи, и на этом диване он обнял меня (я сидела в толстой ватной шубе, сшитой из старой драпировки, было очень холодно и губы С. были совершенно синими). Он обнял меня, и в ту же секунду я поняла, что лучше было мне сидеть дома. Он притянул меня к себе и внезапно сказал дрожащим голосом:

— Вы — богиня моя.

Я окаменела.

— Он сказал: „Вы — богиня моя", — говорила я Вирджинчик, вся дрожа от обиды и негодования, — а я думала, что так любила его!

Она, накрывшись пуховым платком, с ногами сидела на диване и смеялась, ее волосы обвисали по двум сторонам пунцовых щек.

— О-о-о!

— Ты пойми: эти страшные псы. Что он не мог что ли привязать их? Они меня за икры едва не схватили. А потом этот холод и шепот: богиня! Почему он просто не сказал: андел вы мой!

— Не ожидала я этого от него, — задумчиво посмеиваясь говорила она, — кто бы мог подумать! Что же ты сделала?

— Я боялась разреветься. Я ушла. Ты пойми, я два месяца думала, что без него жить не могу.

— А собаки?

— У него достало ума проводить меня до ворот. Они не кидались.

И мы уже хохотали, хотя одновременно мне немножко хотелось и плакать.

Все служили. И я бросила университет и тоже служила. И приносила пайки. И радовалась теплу, когда на базаре появлялась рыба, которую художник Сарьян, поддев двумя пальцами под жабры, нес к себе домой и, прежде чем сварить, писал с нее маслом натюр-морт, обложив ее луком и морковью. А Мариэтта Шагинян, в самодельных шлепанцах и какой-то кацавейке, видавшей лучшие времена, задумчиво проходила под нашими окнами, прижав к груди огромную кость, имевшую такой вид, будто ее уже кто-то обглодал. Они напоминали мне, что есть другая жизнь. В зале, где еще недавно происходили баптистские моления, теперь иногда собирались поэты и художники: один ничевок, два фуиста, один имажинист и три эго-пуписта. Молодые девушки, голодные и грустные, какой и я бывала иногда, читали стихи, но я не читала. Я только слушала и ничего не падало в меня, ничего не расцветало во мне, ничего не прорастало, как бывало когда-то. И меня не соблазняло жить, как жили они: было во мне уже тогда что-то, что заставляло предпочитать простую линию — излому, и иногда я даже стыдилась этого. Впоследствии моя профессия (и жизнь, которую она обусловила) часто ставила меня среди пьяниц, педерастов, наркоманов, неврастеников, самоубийц и неудачников, полугениев, считавших добро скучнее зла, а разврат — необходимой принадлежностью литератора. Но я постепенно убедилась в том, что нормальные люди куда любопытнее так называемых ненормальных, что эти последние — несвободны и часто стереотипны в своих конфликтах с окружающим, а первые сложны и вольны, оригинальны и ответственны — что всегда интересно и непредвидимо. Да, уже тогда было во мне что-то, что не хотело излома. И уже тогда мне было не по себе среди ничевоков, биокосмистов и презентистов, хотя, вероятно, какие-то крохи перепали бы мне от них, если бы я подошла к ним ближе. Ничего в них для меня не искрилось, ничего не искрилось в мире, только рядом с Виржинчик я еще чувствовала драгоценное и необходимое мне.

Но она таяла с каждым месяцем, горели только ее глаза с черными кругами да щеки с высокими скулами. Она по-прежнему часто сидела за роялем, читая с листа, иногда это были рукописные ноты, которые у нашей общей приятельницы оставил перед падением Ростова снимавший у них комнату композитор, ушедший с Добровольческой армией. Она говорила, что он оставил ей кипу нот и просил сохранить их. Мы ничего не знали о нем. Его звали Сергей Прокофьев. Виржинчик разбирала его целыми днями. Я слушала.

С первого дня я смотрела на революцию не как на перемену, а как на данность, с которой мне предстоит жить мою жизнь. Переменой она могла быть для буржуев, для царей, для Врангелей, для контрреволюционеров (и поделом!), но не для меня. Мне — восемнадцать лет, я — никто. Я беру революцию, как ту почву, на которой я буду вырастать. Другой не знаю. Запад? Где он? Прошлое? Не нужно оно мне. Ломка? Чего? Не хочу и помнить, что именно сломалось, дайте мне со всеми строить новое, а с черепками я не знакома. Они — часть детства. Будущее важнее прошлого. Кто-то вокруг меня говорит, что „всё пропало", но я не верю этому, никогда не поверю. Пропал хлеб, пропало сало, пропали свечи. Пропала контрреволюция. Но мы живы. Ведь живы?

Мы возвращаемся в сумерках с прогулки, мы теперь обе полюбили гулять далеко, в теплые дни, вниз, к Дону, и часто на ходу читаем книжки (Заратустру я читала, гуляя по улицам), наталкиваясь на прохожих. Мы возвращаемся домой. Первые звезды и запах цветущей акации, Апассионата из открытого окна соседнего дома, птицы... А на печке кипит котелок, в нем варится суп. И в эту минуту кажется, что суп страшно важен, важнее, пожалуй, всего на свете. И это нисколько не унижает меня, не обижает. Это приближает меня ко всем другим людям, близким и далеким, ко всем тем, кому нужен суп. И я чувствую, как тает моя дерзость, как я смиряюсь, как страшно я бедна — без красивых платьев, без книг, без стихов, и как я богата той библиотекой на Проспекте, моим здоровьем, моей молодостью и моими мыслями, которыми я дорожу. И я верю, я знаю, что они со мной будут всегда.

И мне хочется делать хорошее. И я делаю его. И вместе с тем, я — не хорошая. Я необразована, несдержана, легкомыслена, я лгу матери, когда возвращаюсь домой в два часа ночи, сняв туфли на лестнице и ползком добираясь до своей постели, я не люблю детей, я не люблю старых людей, я труслива, боюсь, что меня выгонят вон из конторы Владикавказской железной дороги, где я теперь служу, узнав, что мы живем в бывшем собственном доме, и я останусь без крупы и селедки. Я не хочу замуж, потому что не хочу застрять в этом городе и боюсь соскучиться, и я не читаю стихов у ничевоков, потому что считаю себя лучше их всех.

Выше, выше, вдаль, на север,
Там, где голод, где мороз,
Где два года редок клевер,
Где два года тощ овес, —

им такого не написать вовеки! Задрав нос, я являюсь на их вечер чтения и не разжимаю губ, уже слегка накрашенных: мы с Виржинчик купили один губной карандаш и разрезали его пополам — только и было что два цвета: желтый и темно-малиновый. „Не артишокный листик, а всё-таки!" — смеется она.

Когда я иду на окраину города в громадный сыпнотифозный госпиталь навещать А. Д. С., я не совсем понимаю, зачем это делаю. От сознания собственной силы? От желания испытать опасность? От мысли показать ему, что вот я какая, или может быть доставить ему маленькую радость? Но я больше не люблю его. Всё пропало в мгновение ока от „богини", и я не люблю его любовь, его длинные объяснения и скучные упреки. И теперь, ничего никому не сказав, я покупаю бутылку портвейна (магазины закрыты далеко не все) и икру и везу их ему.

Больные лежат на кроватях, на полу в палатах и коридорах, в когда-то белом вестибюле, на лестницах, на матрасах и без матрасов. Окна открыты. Весна. Но воздух тяжелый. Стоит однообразный говор — это бред, хором бредят наголо обритые, заросшие бородами, полуголые... Я шагаю через них, ищу санитара, в коридоре кто-то из лежащих хватает меня за ногу, и я едва не падаю на старика в красной сыпи, с вытаращенными глазами.

— Вы куда это прётесь? — спрашивает грязный санитар за каким-то поворотом, у него в руках подкладное судно. — Женщинам сюда нельзя.

Я пихаю ему в ладонь деньги и сверток и умоляю найти С. Затем жду. Наконец санитар возвращается. Французская записка: „Je n'oublierais jamais" . . . Я иду к выходу.

— Отряхнитесь получше, домой вшей занесете, — кричит мне санитар.

С. выздоравливает, через две недели он дома. И я прислушиваюсь: не звякнет ли, не зазвенит ли что-то внутри меня? Нет, там всё тихо. Он мне никто. На двенадцатый день меня начинает знобить. Нет, это не тиф. Я прошла по канату над пропастью, и вот, смотрите, не упала!

Может быть это я сделала от тайной тревоги, в поисках чистой совести? Может быть. Но в желании пройти по канату, или лечь под поезд между рельсами, или перегнуться с десятого этажа всегда есть свидетельство о неблагополучии, о тайной внутренней драме, о нарастающем конфликте с самим собой. Впрочем, записка „Je n'oublierais jamais" может быть стоила этого похода? Кто знает! Я довольно долго хранила ее.

И вот настал день отъезда. Куда? Домой, в Петербург, в Петербург-Петроград. Зачем? Неизвестно. Может быть — учиться (если дадут паёк), а нет — так служить. Паёк зря тогда не писался с заглавной буквы, особенно тот, где бывал отрез материи, калоши, крупчатка. Отец будет служить, мать будет служить. А я? Посмотрим.

Пока что я однако не могу считать себя паразитом: мне дают половину товарного вагона для перевоза семьи в Петроград („переезд на постоянное местожительство"), и три недели нас будут прицеплять и отцеплять к товарным, товаро-пассажирским и пассажирским (если повезет) поездам. В Москве мы простоим два дня где-то на путях Москвы-товарной, я опять увижу этот огромный, голодный и безобразный город. Вот и памятник Пушкина. Ходит ли еще здесь Манечка вечерами? Верно нет. На Тверской открыта кофейня, и в окне лежат два пирожка. Я долго смотрю на эти пирожки, но не смею зайти и купить их. Я труслива, я боюсь, что меня арестуют за это: пирожки

верно испечены для местных жителей, я же здесь только проездом и не прописана.

Последние дни там, на юге, еще в памяти. Кое с кем я прощаюсь навсегда, кое с кем я встречусь в Петербурге осенью. Я поднимаю Виржинчик на руки, она легче перышка. Увидимся ли мы? Надежды на это нет никакой. Мы ничего не знаем о том, что обе будем через пять лет в Париже. Она приедет с матерью после страшных лет первых репрессий, первых потерь, выселений, уплотнений, арестов. Лифт под ней не зажжется. Круги вокруг глаз станут глубже, черней, огромные глаза еще огромней. Что-то надорвется в ней, обреченной на медленное умирание в санатории, в горах, на границе Испании, потом — на границе Италии. Туда я поеду к ней. Она будет лежать в шезлонге, укутанная в одеяло, и много будет молчать и вечером скажет мне, что мне снята отдельная комната в другом флигеле: доктор не позволяет мне спать с ней в одной комнате. Но я ложусь с ней в одну кровать, где она занимает так мало места, где я пугаюсь от вида ее худенького тела, ее торчащих колен и локтей и кажущихся громадными ступней ног и кистей рук. Я целую ее и обнимаю, говорю, что она выздоровеет, пью из ее стакана, выношу ее мокро́ту и потом мо́ю подносик в умывальнике, согреваю ее среди ночи, пока она не начинает гореть, и сразу после этого она вся в поту, и тогда я меняю ей рубашку. Слезы текут у меня из глаз, когда она наконец засыпает, текут и падают в подушку: она уже наполовину ушла, она не та, что была, я разделяю с ней артишокный листик не от любви, а от жалости. Ее косточки еще целы, еще она слушает и смотрит, но как далека она от меня сейчас! И она незаметно перестает жить, как тень переходит в тень в огромной палате туберкулезных в госпитале Лаэннек. И в сырой, туманный день ее хоронят на Версальском кладбище...

Поезд остановился где-то на путях. Был июньский светлый вечер, и Петербург (мы все еще называли его так) тонул в дымке — только трубы были видны в сиреневом небе. Отец и мать остались с вещами в вагоне до утра, я же пошла по шпалам туда, где мне показали здание товарной станции. Я шла довольно долго мимо семафоров, водо-

качек, скрещений рельс, прошла наконец сквозь здание товарной станции и по немощеной дороге пошла дальше, мимо каких-то немых составов старых вагонов (40 человек. 8 лошадей. Варшава—Лодзь), пустых вагонных платформ, мертвых паровозов. Через час я вышла на площадь к памятнику Александра Третьего и невыразимое волнение охватило меня. Всё показалось меньше, чем было в памяти. Три года прошло, ровно три, а кажется, что тридцать. Северная гостиница, старая, облупленная, смотрела на меня, с Лиговки ехали телеги. Невский уходил влево, и можно было различить Адмиралтейскую иглу — принадлежность моей детской мифологии.

О, город мой неуловимый,
Зачем над бездной ты возник?

Телеги теперь гремели по площади. Люди шли — чужие люди, прежних не было, должно быть, вовсе. Люди начинали жить заново, стояли белые ночи — я забыла, что они бывают; а царь моих предков всё сидел на своей толстой кляче, и шел трамвай, увешанный людьми: он шел в конец Суворовского, мимо Песков.

О, город мой неуловимый,
Зачем?

Я потрогала рукой выступ у вокзального крыльца. Мне показалось, что ничего во мне не готово к этой встрече, к этому несказанному счастью возвращения.

О, город мой!

Он принадлежал мне когда-то и был отнят, и я даже каким-то необъяснимым образом примирилась с тем, что я лишилась его. Мне не нужны были его светлые июньские вечера и его туманные площади, я могла жить без Медного всадника, без Невы, без Пушкина, без Блока, без истории, без мифа. Бедному Лазарю в проказе и парше сейчас бросался судьбой первый кусок за столько времени! И я стояла, вся преображенная, на ступенях Николаевского вокзала, трепеща при мысли, что завтра я всего коснусь опять,

возрождаясь из своей духовной нищеты, словно опять касаясь судьбы моей родины, ран моего города, воскресая к бытию не изо дня в день, но из века в век.

Сестра моей матери и Женя, ее дочь (первая женщина, окончившая Технологический институт и через год покончившая с собой от неудачной любви), жили тогда за Таврическим садом, и из окон их квартиры был виден Смольный и та сторона города, которая была мне неизвестна. Часы были переставлены на три с половиной часа вперед: когда я легла, солнце еще гуляло по комнатам, а когда я проснулась оно опять было высоко в небе, и опять в окне был Смольный и вокруг меня стоял город, мой город, возвращенный мне, которому я теперь опять принадлежала несмотря на то, что в том отделе, куда мы пошли регистрироваться, никак не хотели понять, что мы приехали „насовсем" и кажется хотели направить нас в Петрозаводск. Заполнение анкет взяло два полных дня. Мне хотелось кричать: это я! Неужели вы меня не узнаете? Посмотрите на меня! Наконец мы получили прописку, продовольственные карточки последней категории, право на жилплощадь... Но весь город был теперь моей жилплощадью, что мне было до девяти квадратных метров! И Летний сад, и набережная, и арка на Галерной, и тот поворот Мойки у Конюшенной, который, как поворот милого лица, я узнавала, волнуясь.

Я ходила по городу, я сидела в садах, трогала камни, стояла у Ростральной колонны, была в гавани, на Крестовском, на кладбищах, заново узнавала перекрестки, научалась по-новому видеть забытое. Как непохожи были эти прогулки на мое московское „шлянье"! В желудке бурчало по-прежнему, но там я была всему чужой, ненужной, несчастной, а здесь я была богата тем, что город был моим, и всё мое спасение — как я тогда понимала — было прилепиться к нему, держаться за него: за Таврический сад, который я не могла миновать, куда бы ни ходила, за Чернышов мост с его цепями и Театральной улицей, за тихие линии Васильевского острова, где против знакомого дома фан-дер-Флитов росла теперь трава и чья-то коза паслась, тряся выменем.

В полночь (когда на самом деле было всего половина девятого) солнце высоко стояло в небе, а надо было ложиться спать. Мы поселились в коммунальной квартире, когда-то принадлежавшей потомкам Глинки, заняли две комнаты и, пока было тепло, у меня была своя комната. Потомки Глинки тоже жили в двух комнатах, а остальные две занимали лица без речей. Но дома я бывала мало. Отец и мать поступили на службу, а я подала бумаги в Институт истории искусств, бывший Зубовский, на Сенатской площади. Наступил июль.

Лето 1921 года. В жемчужном разливе белых ночей, в тишине сонных улиц (извозчиков, конечно, не было, трамваев было очень мало), редкие прохожие не спеша проходили, осунувшиеся, оборванные. Дома рушились, двери и паркеты ночью уносились соседями, прозрачные дети ждали, когда им выдадут карандаши, чтобы научиться грамоте. Парадные были заколочены, и в большом доме, где мы сняли комнаты, ход на Манежный был забит — ходили через Кирочную. Но какой-то проблеск начинался на Невском, и в угловой лавке, где вчера еще окна были разбиты и заколочены досками, вдруг стало возможным купить сдобную булку, цветок, книгу — старую, извлеченную из пыльного подвала, или новую — вышедшую только что.

Я нашла кое-кого из старых друзей. Шкловские были в Финляндии, Наташа, вышедшая недавно из тюрьмы, жила теперь с матерью. Эся, красивая и нарядная, едва взглянула на меня — ей явно было не до старых знакомых. Ося был в Москве, женат и член партии. Другая Наташа, в старом доме на Васильевском, бросалась от танцев Дункан к живописи, пела, сочиняла стихи, лепила и собиралась замуж. Ляли Зейлигер в городе не было. Но я чувствовала себя такой новой, такой непохожей на ту, какой была три года тому назад, что это всё мне казалось совершенно естественным. Я приняла всё это спокойно. И отправляясь в дом на Васильевском, я только мечтала взять там книги, которые мне обещали дать — надолго, а может быть и на совсем.

Бабушек больше не было. Отца не было. Митя был в Сибири, и я не расспрашивала: ушел ли он к Колчаку,

или был сослан туда, или убежал сам, вынужденный скрываться. Меня подвели к шкафам: бери, что хочешь, держи сколько вздумается. Четыре дня я носила книги с Васильевского на Кирочную и потом поставила их в шкаф, где раньше потомок Глинки хранил тома Сенатских решений. Когда я пришла в четвертый раз за книгами, внучка декабриста Ивашева посмотрела на меня внимательно:

— Ты знаешь, куда тебе надо пойти? К поэтам.

— ?

— В Дом Литераторов, на Бассейной. Тебе интересно будет. Что ты всё одна!

Я пошла в Дом Литераторов на Бассейной, но никаких поэтов там не нашла. Смущаясь, я навела справки. Союз поэтов помещался в доме Мурузи, на Литейном. Прием от семи до восьми.

— Утра? — удивилась я.

— Нет, вечера, — спокойно ответили мне.

Но я медлила. С чем я пойду к „поэтам"? С моими детскими стихами? Или с „Выше, выше, вдаль, на север"? Или с написанным недавно „О, если будешь завтра с ней"? Оно мне казалось вымученным: „Я не скажу тебе ни слова / Лишь посмотрю . . ." Это я кого-то ревновала, кажется еще там, на юге. „Ты не узнаешь никогда". Как это плохо! Только вот разве что конец: „И буду жадно я искать /. Следы неведомых объятий / Твоих, на этом черном платье /, Что помогал ты надевать". Хотя почему он помогал ей надевать платье? В крайнем случае он мог помочь ей застегнуть его, на кнопки или крючки.

На углу Невского и Мойки, в бывшем доме Елисеева помещался в те годы Дом Искусств, и в его общежитии жил в то лето дядя Сережа Ухтомский, скульптор, тот, рожденный как-то таинственно мамин двоюродный брат, сын Ольги Дмитриевны, к которой мы однажды с дедом поехали на трамвае. Он был женат на Евгении Павловне, урожденной Корсаковой, и от Евгении Павловны этой, которую я едва знала, пришло приглашение в воскресенье днем (10-го июля) прийти на какой-то прием с танцами. Я отправилась туда с матерью.

В тот день я увидела только парадные комнаты этого раззолоченного внутри и разукрашенного лепкой купече-

ского дворца. В залах было человек пятьдесят гостей, и бывшие елисеевские лакеи разносили чай и сероватое печенье на тяжелых серебряных подносах. Было много молодежи, но я не запомнила никого, кроме Ю. Султанова, сына Летковой-Султановой (они жили рядом с комнатой Ухтомских, в общежитии на том же этаже), с которым танцевала. А. Н. Бенуа (в то время с широкой бородой) и его брат, Альберт Николаевич, сели за два концертных рояля на разных концах зала, и Штраусовский вальс загремел из-под поднятых крышек. Солнце сверкало в позолоте, звенели десятипудовые люстры, в окна смотрел на нас дворец Строганова с красным флагом над обшарпанным подъездом.

— Приходи еще, — говорила Евгения Павловна, — и непременно пойди в дом Мурузи. Там Гумилев и весь Цех, и бывают вечера. Стихи читают.

И Анна Александровна Врубель (тоже жившая в Доме), и Липгарт из Эрмитажа, и В. А. Чудовский с перевязанной рукой (брезговал подавать знакомым) — все сочувственно мне улыбались, а Леткова-Султанова (хорошо знавшая Тургенева) позвала меня в гости, и Аким Волынский, худенький, в пиджаке с чужого плеча (или он так похудел?) тоже кивал и поцеловал мне на прощанье руку.

Здесь жили боги, и я была у богов в гостях. Боги играли Штрауса и ели печенье, и я танцевала среди богов, и лепные купидоны с потолка смотрели на меня.

Но я еще выждала несколько дней и только вечером 15-го июля пошла в Союз поэтов. Я пришла рано, не было еще семи часов. На лестнице с широкими пролетами было полутемно. Я стала ждать. Явилась „секретарша" — мать поэта Сергея Колбасьева (о котором Георгий Иванов без особых оснований написал в „Петербургских зимах", как о доносчике). Секретарша была похожа на Екатерину Вторую, накрашенная, завитая, толстая, ее столик и стул стояли на площадке первого этажа, перед входом в помещение Союза (состоявшего из двух гостиных и зала). Она выслушала меня и сказала, чтобы я принесла десять стихотворений, которые будут „рассмотрены президиумом". Председатель Гумилев и секретарь Георгий Иванов должны

будут обсудить их. „И если стихи годятся, — сказала толстая дама равнодушно, — то вас примут в Союз".

19-го я явилась с переписанными стихами и тихонько положила свой конверт ей на стол, собираясь неслышно сбежать с лестницы. Но она увидела меня, выплыла из двери на площадку лестницы и взяла конверт. Глядя в сторону и поправляя прическу, она велела мне заполнить анкету „на предмет" вступления в Союз. Я, наставив клякс, скрипучим „почтамтским" пером заполнила анкету и вопросительно взглянула на Екатерину Вторую. Она велела мне прийти на будущей неделе, чтобы узнать, годятся ли стихи.

Почему „на будущей неделе"? И что со мной будет, если стихи „не годятся"?

Через Таврический сад, где щелкали соловьи, я вернулась домой. А солнце всё стояло высоко над деревьями и домами. И величественное убожество Петербурга было тихо и неподвижно: весь город тогда был величествен, тих и мертв, как Шартрский собор, как Акрополь.

27-го июля я вошла в дом Мурузи минут за десять до начала вечера стихов. Я прошла прямо в гостиную, где Г. Иванов подошел ко мне и узнав, что мой конверт „где-то имеется", подвел меня к Гумилеву. Он взглянул на меня светлыми, косыми глазами с высоты своего роста. Череп его, уходивший куполом вверх, делал его лицо еще длиннее. Он был некрасив, выразительно некрасив, я бы сказала немного страшен своей непривлекательностью: длинные руки, дефект речи, надменный взгляд, причем один глаз всё время отсутствовал, оставаясь в стороне. Он смерил меня глазом, секунду задержался на груди и ногах, и они оба вышли, закрыв за собой дверь. „Они пошли совещаться, — сказал мне Н. А. Оцуп; он вспомнил, что видел меня когда-то у своей сестры в гостях. „Это было страшно давно, — поспешила я, чтобы облегчить ему эти минуты. — Вы не можете меня помнить. Я тогда была гимназисткой".

— Надя теперь служит в Чека, — сказал он спокойно и дружески посмотрел на меня. — Она ходит в кожаной куртке и носит револьвер. Я встретил ее недавно на улице, она сказала, что таких, как я, надо расстреливать, что они и делают.

Гумилев вышел из дверей и подошел ко мне. Я встала. Стихи годились, то есть всего четыре строчки из всего принесенного. Вот эти („И буду жадно я искать"), — он держал листочки в длинных своих пальцах. „И, пожалуй, еще это: север-клевер, мороз-овес".

В зале, где сидела публика, человек двадцать пять, Г. Адамович уже читал „Мария, где вы теперь?" и я пошла слушать. Всё во мне вдруг угомонилось. Я почувствовала, что в полном ладу и с собой, и со всем, что меня окружает. Я шагнула куда-то, и теперь спокойствие наплывало на меня и накрывало меня волной.

Сразу после того, как чтение закончилось (Гумилев читал, Иванов, Оцуп и некто Нельдихен — в артистической куртке, с длинными волосами, декоративный с великолепным голосом), Гумилев пригласил меня выпить чаю. Нам подали два стакана в подстаканниках и пирожные. („Покойник был скупёнок, — говорил мне впоследствии Г. Иванов, — когда я увидел, что он угощает вас пирожными, я подумал, что дело не чисто".) Никто не подошел к нам. Мы сидели одни, в углу большой гостиной, и я догадывалась, что подходить к Гумилеву, когда он сидит с облюбованной им особой женского пола, не полагается: субординация. Об этой субординации Гумилев сразу и заговорил:

— Необходима дисциплина. Я здесь — ротный командир. Чин чина почитай. В поэзии то же самое, и даже еще строже. По струнке!

Я ничего не говорила, я слушала с любопытством, тщетно ища в его лице улыбку, но был только отбегающий глаз и другой, с важностью сверлящий меня. — Я сделал Ахматову, я сделал Мандельштама. Теперь я делаю Оцупа. Я могу, если захочу, сделать вас.

Во мне начала расти неловкость. Я боялась обидеть его улыбкой и одновременно не могла поверить, что всё это говорится всерьёз. Между тем, голос его звучал сухо и лицо было совершенно неподвижно, когда он умолкал. И затем опять начиналась речь, похожая на лай. Напрасно, мне казалось, он думает, что в Цехе есть что-то военное, на роту или взвод это отнюдь не было похоже, члены Цеха скорее напоминали (в их отношении к главе Цеха) петиметров и куртизанов в свите одного из Людовиков.

— Я — монархист. Крещусь на церкви. Если будете делать то, что я вам буду приказывать, из вас может выйти поэт... Но для этого нужно перестать любить Виктора Гофмана.

Тут я вдруг рассмеялась. Мне показалось, что было еще немножко рано приказывать мне, кого любить и кого не любить. Он сердито взглянул на меня и тем же жестким тоном не сказал, а как бы „объявил в приказе" о моем лице и ногах.

Теперь неловкость стала во мне переходить в окаменение. Ноги свои я задвинула под диван, руки спрятала под стол, только лицо мое было повернуто к нему, вероятно в глазах была просьба: повернуть всё это в шутку. Но он этого не замечал.

Мы сидели рядышком, на вид совершенно смирно, но между нами вспыхивали искры недружелюбия. Он заговорил опять:

— У меня студия в Доме Искусств. Там я учу молодых поэтов (он выговаривал п о а т о в) писать стихи. Я научу вас писать стихи. Вы писать стихи не умеете.

— Спасибо, Николай Степанович, — сказала я тихо, — я непременно поступлю к вам в студию.

— Кто ваш любимый поэт? — внезапно вылаял он.

Я молчала: мне не хотелось лгать, это был не он.

Он взял мою руку и погладил ее. Мне захотелось домой. Но он сказал, что хочет завтра пойти со мной гулять по набережным. Он с тех пор как вернулся в Петербург всё ходит смотреть и насмотреться не может. Камни гладит. У урны в Летнем саду, в три часа. Хорошо? Я тоже гладила камни в эти недели.

— Может быть послезавтра?

— Завтра, в три часа.

Я встала, подала ему руку. Он проводил меня до дверей.

Мой лад не был нарушен. Я спокойно вышла на улицу и пошла домой. Колбасьев пошел провожать меня. Он рассказывал, как они с Гумилевым встретились и подружились в Крыму. Я не могла никак понять, почему всё, что он говорил пока мы шли по Литейному, было мне совершенно неинтересно.

На следующий день я была у урны в три часа.

Мы сначала долго сидели на скамейке и мирно разговаривали, очень дружески и спокойно, и я даже вынудила у него признание, что Ахматова сама себя сделала, а он даже мешал ей в этом, и что он вчера вечером сказал мне, что он ее сделал, только чтобы поразить меня. Он рассказывал о Париже, о военных годах во Франции, потом о Союзе поэтов и Цехе, и всё было так хорошо, что не хотелось и уходить из-под густых деревьев. Потом мы пошли в книжный магазин Петрополиса и по дороге он спросил, есть ли у меня „Кипарисовый ларец" Анненского, Кузмин, последняя книга Сологуба и его собственные книги. Я сказала, что Сологуба и Анненского нет. Пока я разглядывала полки, он отобрал книг пять-шесть, и я, нечаянно взглянув, увидела, что среди них отобран „Кипарисовый ларец". Смутное подозрение шевельнулось во мне, но конечно я ничего не сказала, и мы вышли и пошли по Гагаринской до набережной и повернули в сторону Эрмитажа. День был яркий, ветреный, не жаркий, мы шли и смотрели на пароходик, плывущий по Неве, на воду, на мальчишек, бегающих по гранитной лесенке с улицы к воде и обратно. Внезапно Гумилев остановился и несколько торжественно произнес:

— Обещайте мне, что вы беспрекословно исполните мою просьбу.

— Конечно нет, — ответила я.

Он удивился, спросил, боюсь ли я его. Я сказала, что немного боюсь. Это ему понравилось. Затем он протянул мне книги.

— Я купил их для вас.

Я отступила от него. Мысль иметь Сологуба и Анненского на секунду помрачила мой рассудок, но только на секунду. Я сказала ему, что не могу принять от него подарка.

— У меня эти книги все есть, — продолжал он настойчиво и сердито, — я их выбрал для вас.

— Не могу, — сказала я отвернувшись. Все мои молодые принципы вдруг, как фейерверк, взорвались в небо и озарили меня и его. И я почувствовала, что не только не могу взять от него чего-либо, но и не хочу.

И тогда он вдруг высоко поднял книги и широким движением бросил их в Неву. Я громко вскрикнула, свистнули мальчишки. Книги поплыли по синей воде. Я видела, как птицы садились на них и топили их. Мы медленно пошли дальше.

Мне стало очень грустно. Мы простились где-то на Миллионной, и я пошла домой, перебирая в мыслях эту вторую встречу. На следующий день я опять была в Союзе поэтов, а еще на следующий день, 30-го июля, мы пошли с ним вместе во Всемирную литературу, где мне изготовили членскую карточку Союза. Гумилев подписал ее. Она теперь в моем архиве.

Затем наступили два дня, 31 июля и 1 августа, когда мы опять ходили в Летний сад и сидели на гранитной скамье у Невы, и говорили о Петербурге, об Анненском, о нем самом, о том, что будет со всеми нами. Он читал стихи. Под вечер, проголодавшись, мы пошли в польскую кофейню у Полицейского моста, в том доме на Невском, где когда-то был магазин Треймана. Надо было сойти несколько ступеней, кофейня была в подвале. Там мы пили кофе и ели пирожные и долго молчали. Чем ближе подводил он свое лицо к моему, тем труднее мне было выбрать, в который из его глаз смотреть. Вспоминаю, как позже, в Берлине, однажды я ужинала у Виктора Шкловского с Р. О. Якобсоном, который тоже косит. Всем было очень весело, и Р. О., сидя напротив меня за столом и только что познакомившись со мной, закрывал рукой свой левый глаз и кричал, хохоча: „В правый смотрите! Про левый забудьте! Правый — у меня главный, он на вас смотрит!..” Но в Гумилеве не было юмора, он всех вообще и себя самого принимал всерьез, и мне он мгновениями казался консервативным пожилым господином, который вероятно до сих пор иногда надевает фрак и цилиндр.

И тогда он вдруг мне сказал, в этой польской кофейне, где мы поедали пирожные, что он завел черную клеенчатую тетрадь, где будет писать мне стихи. И одно он написал вчера, но сейчас его не прочтет, а прочтет завтра. Там есть и про белое платье, в котором я была вчера (оно было сшито из старой занавески). Я была смущена, и он это заметил. Медленно и молча мы пошли к Казанскому со-

бору и там в колоннаде долго ходили, а потом сидели на ступеньках, и он говорил, что я должна теперь пойти к нему, в Дом Искусств, где он живет, но я не пошла, а пошла домой, обещав ему прийти в „Звучащую раковину" (его студию) на следующий день, в три часа. Там он учил, как писать стихи (что так раздражало Блока). Студисты учились у него всю прошлую зиму (1920—21 г.) и теперь „научились писать". И вы научитесь, добавил он, если будете меня слушаться.

Прислонясь к одной из колонн, он положил мне руку на голову и провел ею по моему лицу, по моим плечам.

— Нет, — сказал он, когда я отступила, — вы ужасно благоразумная, взрослая, серьезная и скучная. А я вот остался таким, каким был в двенадцать лет. Я — гимназист третьего класса. А вы со мной играть не хотите.

Это прозвучало деланно. Я ответила, что я и в детстве-то не очень любила играть и теперь страшно рада, что мне уже не двенадцать лет.

Я оставила его в колоннаде злого и недовольного. И сама была недовольна этим днем, решив больше с ним не встречаться. Но в студию я, конечно, пошла. Был и другой гость, кроме меня, Николай Тихонов. Гумилев ценил его и принял его в Союз в тот же день, что и меня.

Студия помещалась в Доме Искусств. Был вторник, 2 августа. По какой причине собрание было перенесено с понедельника на вторник, я сейчас не помню, но это было исключением. В одной из елисеевских гостиных стоял длинный стол, мы все сели вокруг него. Читали стихи „по кругу", как тогда было принято. Были две сестры Наппельбаум, была Н. Сурина, А. Федорова (позже жена Вагинова), Вера Лурье, Ольга Зив (впоследствии — детская писательница), К. Вагинов, Волков, Столяров, Рогинский, Миллер, Николай Чуковский — все те, которые изображены на групповой фотографии, вокруг Гумилева — снимок был сделан весной 1921 года фотографом Наппельбаумом, отцом Иды и Фриды. (Первая была женой М. Фромана, поэта и секретаря Ленинградского союза поэтов, репрессированного во времена Сталина, вторая умерла при трагических обстоятельствах в 1950 году.) Все члены студии были в свое время напечатаны в сборнике „Звучащая раковина", до

библиотек западного мира не дошедшего. Они выпустили его осенью 1921 года, посвятив его Гумилеву — вряд ли этот сборник когда-либо пошел в продажу.

Лучше других был Костя Вагинов, Николай Чуковский и Фрида. Она читала:

Я открою окна и двери,
Ветер зашумит в волосах,
И придумаю, что скрылся берег
Там, где синяя полоса.

Я сейчас же сдружилась с Н. Чуковским (сыном Корнея Ивановича). Ему было тогда семнадцать лет, и он был толст и стеснялся своей толщины. Вагинов был очень тих и печален, (позже он мне напоминал чем-то Зощенко) и писал стихи странные, немножко бредовые:

В книгохранилище вхожу едва —
В книгохранилище летят слова...

Волков прочел свою рецензию на „Огненный столп" Гумилева, только что вышедший тогда (и тоже им потопленный в Неве), написанную ритмической прозой, а Тихонов сидел угрюмо и очень быстро ушел.

После „лекции" Гумилев предложил играть студентам в жмурки, и все с удовольствием стали бегать вокруг него, завязав ему глаза платком. Я не могла заставить себя бегать со всеми вместе — мне казалась эта игра чем-то искусственным, мне хотелось еще стихов, еще разговоров о стихах, но я боялась, что мой отказ покажется им обидным, и не знала, на что решиться. В конце концов я заставила себя присоединиться к играющим, хотя мне вдруг сделалось скучно от беготни и я была рада, когда всё это кончилось — что-то было тут фальшивое. После игры Гумилев повел нас к себе, кое-кто ушел, и нас оказалось всего человек пять. Комната его была большая, вдоль стен стояли узкие, длинные диваны — это был елисеевский предбанник, в бане рядом, в кафельных стенах, жила Мариэтта Шагинян. Когда все ушли, он задержал меня, усадил опять и показал черную тетрадку. „Сегодня ночью, я знаю, я напишу опять, — сказал он, — потому что мне со вчераш-

него дня невыносимо грустно, так грустно, как давно не было". И он прочел стихи, написанные мне на первой странице этой тетради:

Я сам над собой насмеялся,
И сам я себя обманул,
Когда мог подумать, что в мире
Есть кто-нибудь, кроме тебя.

Лишь белая в белой одежде,
Как в пеплуме древних богинь,
Ты держишь хрустальную сферу
В прозрачных и тонких перстах.

А все океаны, все горы,
Архангелы, люди, цветы,
Они в глубине отразились
Прозрачных девических глаз.

Как странно подумать, что в мире
Есть что-нибудь, кроме тебя,
Что сам я не только ночная
Бессонная песнь о тебе.

Но свет у тебя за плечами,
Такой ослепительный свет.
Там длинные пламени реют,
Как два золотые крыла.

Я чувствовала себя неуютно в этом предбаннике, рядом с этим человеком, которому я не смела сказать ни ласкового, ни просто дружеского слова. Я поблагодарила его. Он сказал: и только? Он, видимо, совершенно не догадывался о том, что мне было и неловко, и неуютно с ним.

Когда я собралась уходить, он вышел со мной. Он говорил, что ему нынче тяжело быть одному, что мы опять пойдем есть пирожные в низок. И мы пошли, и вся его грусть в тот вечер, не знаю каким путем, перешла в меня. Он долго не отпускал меня, наконец мы вышли и через Сенатскую площадь пришли к памятнику Петру Первому, где долго сидели, пока не стало темно. И он пошел провожать меня через весь город. Я не знала, на что решиться: дать всему этому растаять постепенно, раствориться самому, молчать и отдалиться в ближайшие дни, или же сказать ему, чтобы он придумал для наших отношений

другой тон и другие темы. Я никогда, кажется, не была в таком трудном положении: до сих пор всегда между мной и другим человеком было понимание, что нужно и что не нужно, что можно и что нельзя. Здесь была глухая стена: самоуверенности, менторства, ложного величия и абсолютного отсутствия чуткости. Как бывает в таких случаях, хотелось временами быть за тридевять земель и вместе с тем я помнила, что это — большой поэт. „Я с женщинами дружбы не признаю, сказал он, будто нечаянно, я дружбы с вами не ищу". Зачем я здесь с ним? — в эту минуту подумала я. Одновременно же я казнилась, что не могу рассеять, как он говорил, его беспричинную грусть, в тот вечер, чувствуя, как эта грусть всё больше и больше переливается в меня и как я делаюсь внутренне всё более тяжелой, неповоротливой, напряженной.

— Пойду теперь писать стихи про вас, — сказал он мне на прощанье.

Я вошла в ворота дома, зная, что он стоит и смотрит мне вслед. Переломив себя, я остановилась, обернулась к нему и сказала просто и спокойно: „Спасибо вам, Николай Степанович". Ночью в постели я приняла решение больше с ним не встречаться. И я больше никогда не встретилась с ним, потому что на рассвете 3-го, в среду, его арестовали.

— Я нашел среди бумаг Николая Степановича, — сказал мне через месяц Георгий Иванов, — черную клеенчатую тетрадь, в ней записано всего одно стихотворение. Вы знаете про эту тетрадь?

— Да, — ответила я.

— Хотите ее получить?

Но как я не могла принять от Гумилева книг, так я не могла принять его стихов. Я поблагодарила Иванова и отказалась.

Я не хотела ни расспросов, ни догадок. Больше мы с Ивановым никогда к этому не возвращались: стихи он напечатал в последнем сборнике Цеха, в Берлине, в 1923 году.

Мне теперь нужно было разобраться в том, что произошло. Я увидела, что моя дорога внезапно скрестилась с человеком далекого прошлого, который не только не понимал свое время, но и не пытался его понять, а за одно не понял и меня. Он рассказывал о себе, что он монархист, крестился

на церковный купол, уверял, что счастлив тем, что чувствует себя двенадцатилетним. Всё это было мне так чуждо, всё это было такое „анти-я", что мне показалось невероятным, когда я узнала, что Гумилеву был только 35 лет — в своем недомыслии я представляла его себе пятидесятилетним. Кстати, лицо его, как это часто бывает у безобразных людей, было без возраста.

Зачем я встретила его? — думала я. Зачем он говорил мне вещи, от которых меня коробило, и тоном, от которого всё во мне сжималось? Права ли я, когда так много значения придаю словам, и может быть даже богиня моя, сказанное с лучшими намерениями, вовсе не было так ужасно? Но я понимала, что тут были не одни слова: тут была плеть, которая еще раньше кое у кого „висела на стенке". А ко мне еще никто не входил с плетью (и без улыбки) — надобности в этом не было.

Но теперь он был арестован. Это страшное утро, когда его взяли и увезли, после того как он сказал, что ему тяжело, как никогда... Я перебирала в памяти его стихи, я знала их наизусть с тринадцати лет, многое я в них любила, но я вдруг увидела всю их детскость, в то же время как и старомодность, их несовременность, их искусственность для нашего времени. Ведь он повернул обратно, от символизма к парнасу, думалось мне, а вовсе не устроил революции против символистов. Неужели парнасом хотел он победить Вячеслава Иванова, Андрея Белого, Блока? Даже в его многопудовой, неповоротливой мужской самоуверенности сквозила эта старомодность — завоевателя, покорителя. Не истинная старомодность отцов и дедов, а какая-то стилизованная, утрированная, деформированная копия ее. Он был большим поэтом, я теперь уверена в этом, но вероятно родившимся слишком поздно; он был бы счастливее, живи он где-то между Константином Леонтьевым и Случевским. Недаром он однажды сказал: „Я вежлив с жизнью современною, но между нами есть преграда". Это но говорит о драме Гумилева, оно многозначительно. Теперь я знаю, что он большой поэт, но тогда — как сухо и с каким предубеждением я думала о нем!

Через несколько дней (это было воскресенье) я вышла из дому, совершенно не зная, куда идти, но дома оставаться

не хотелось. В те дни я была очень одинока, дружба с Ник. Чуковским, Идой и Львом Лунцем пришла только в начале осени. Я вышла и пошла по улицам, думая зайти в Дом Литераторов и может быть там узнать что-нибудь новое о судьбе Гумилева. По пути я пережидала дождь в какой-то подворотне. Я никак не могла овладеть собой, всё во мне было залито черной тоской, таких дней во всю жизнь у меня вероятно было не более тридцати, когда не знаешь, куда приткнуться, и понимаешь, что никто ничем помочь не может, когда ничего не ждешь, только чтобы полегчало немножко, чтобы наступила ночь, и уснуть, как будто зубная боль, которую надо вытерпеть и хоть как-нибудь дотянуть до минуты, когда что-то дрогнет и повернется внутри. Но ничего не поворачивается, всё замерло, остыло, одеревенело, и всё болит — а в общем: всё равно!

Я шла по Бассейной в Дом Литераторов. Было воскресенье (и канун дня моего рождения), часа три. Может быть у меня была надежда встретить там кого-нибудь и узнать что-нибудь новое об арестованных — в ту ночь были, среди других, взяты дядя Сережа Ухтомский, бывший сотрудник „Речи" Бак, проф. Лазаревский, которых я знала лично. Я вошла в парадную дверь с улицы. Было пусто и тихо. Через стеклянную дверь, выходившую в сад, была видна листва деревьев (Дом Литераторов, как и Дом Искусств, помещался в чьем-то бывшем особняке). И тогда я увидела в черной рамке объявление, висевшее среди других: „Сегодня 7-го августа скончался Александр Александрович Блок". Объявление еще было сырое, его только что наклеили.

Чувство внезапного и острого сиротства, которое я никогда больше не испытала в жизни, охватило меня. Кончается... Одни... Это идет конец. Мы пропали... Слезы брызнули из глаз.

— О чем вы плачете, барышня? — спросил худенький, маленький человек с огромным кривоватым носом и прекрасными глазами. — О Блоке?

Это был Б. О. Харитон, которого я тогда не знала. Позже он стал эмигрантом, редактором рижской вечерней газеты. Советская власть, после взятия Риги в 1941 году, депортировала его в Советский Союз, где он и умер.

Он вышел на улицу, вынимая платок. Я тоже вышла вслед за ним.

Я медленно пошла к Литейному, повернула на Симеоновскую и Фонтанку. Здесь, на углу Симеоновской и набережной, я зашла в цветочный магазин. Да, как сейчас помню свое удивление, что в Петербурге открыт цветочный магазин. Открывались кухмистерские и комиссионные, было что-то вроде посудной лавки на Владимирском и парикмахерская на втором дворе на Троицкой. Но цветочного магазина, так казалось мне, здесь еще не было во вторник, когда мы проходили с Гумилевым, а теперь он был открыт и в нем стояли цветы. Я вошла. Не помню, входила ли я когда-нибудь до того в цветочный магазин, может быть это было впервые. Цветочные магазины Петербурга когда-то в детстве были для меня сказочным местом. Цветочные магазины Парижа... Цветочные магазины Нью-Йорка... Все они имеют свой смысл. Денег у меня было немного. Я купила четыре белые лилии на длинных стеблях. Оберточной бумаги в магазине не было, и я понесла лилии на Пряжку открытыми. Мне чудилось: прохожие догадываются, куда я иду и кому несу цветы, они читают объявления, расклеенные на углах улиц, все всё уже знают, и сейчас встречные повернут за мной и пойдут, и мы тихой толпой придем всем Петербургом к дому Блока.

Где-то на углу Казанской я села в трамвай, и когда я сошла в самом конце Офицерской, я сообразила, что никогда в жизни не была здесь и совершенно этих мест не знаю. Речка Пряжка, зеленые берега, заводы, низкие дома, трава на улицах, почему-то ни души. Вымерший, тихий край, край Петербурга, пахнет морем — или это мне только кажется?

Панихида была назначена в пять часов, я пришла минут на десять раньше. Так вот что предстояло мне в этот тоскливый день! Тоскуя и не зная, куда себя девать, я не могла предугадать, что этот день — число и месяц — никогда не забудутся, что этот день вырастет в памяти людей в д а т у, и будет эта дата жить, пока живет русская поэзия. Большой, старый и давно не ремонтированный дом. Вход из-под ворот. Лестница, дверь в квартиру полуоткрыта. Вхожу в темную переднюю, направо дверь в его кабинет.

Вхожу. Кладу цветы на одеяло и отхожу в угол. И там долго стою и смотрю на него.

Он больше не похож ни на портреты, которые я храню в книгах, ни на того, живого, который читал когда-то с эстрады:

Болотистым, пустын...

волосы потемнели и поредели, щеки ввалились, глаза провалились. Лицо обросло темной, редкой бородой, нос заострился. Ничего не осталось, ничего. Лежит „незнакомый труп”. Руки связаны, ноги связаны, подбородок ушел в грудь. Две свечи горят, или три. Мебель вынесена, в почти квадратной комнате у левой стены (от двери) стоит книжный шкаф, за стеклом корешки. В окне играет солнце, виден зеленый покатый берег Пряжки. Входит Н. Павлович, которая неделю тому назад мелькнула мне в Доме Искусств, потом Пяст и еще кто-то. Я вижу входящих, но мало кого знаю — только месяца через два я опознала всех.

По-бабьи подперевшись рукой, Павлович склонив голову долго смотрит ему в лицо. Опухшая от слез, светловолосая, чернобровая мелькает Е. Книпович; входят Ю. П. Анненков, мать Блока и Любовь Дмитриевна вслед за ней. Ал. Ан. крошечная, с красным носиком, никого не видит. Л. Д. кажется мне тяжелой, слишком полной. Пришел священник, облачается в передней, входит с псаломщиком. Это — первая панихида. Уже во время нее я вижу М. С. Шагинян, потом несколько человек входят сразу (К. Чуковский, Замятин). Всего человек двенадцать-пятнадцать. Мы все стоим по левую сторону и по правую от него — одни между шкафом и окном, другие между кроватью и дверью. Мариэтта Шагинян много лет спустя написала где-то об этих минутах: „Какая-то девушка принесла первые цветы”. Замятин тоже упомянул об этом. Других цветов не было, и мои вероятно пролежали одни всю первую ночь у него в ногах.

На одеяле первые цветы...
. . . .
Пять лет тому...

Это из моих стихов 1926 года.

Потом я ушла. Опять Офицерская, Казанская, трамвайная площадка. И наконец я дома. К нам кто-то пришел, и теперь мы все пьем морковный чай с черным хлебом. Это празднуется день моего рождения — завтра будний день и будет не до того.

10-го, в среду, были похороны. Там я впервые увидела Белого. Я увидела, как под стройное, громкое пение (которое всегда так мощно вырывалось из русских квартир на лестницу, при выносе, и хор шел за покойником переливаясь и гудя, будто наконец-то вырвался мертвец из этой квартиры и вот теперь плывет, ногами вперед) спускались Белый, Пяст, Замятин, другие, высоко на плечах неся гроб. Л. Д. вела под руку Ал. Ан., священник кадил, в подворотне повернули на улицу, уже начала расти толпа. Всё больше и больше — черная, без шапок, вдоль Пряжки, за угол, к Неве, через Неву, поперек Васильевского острова — на Смоленское. Тысячи полторы людей ползли по летним, солнечным, жарким улицам, качался гроб на плечах, пустая колесница подпрыгивала на булыжной мостовой, шаркали подошвы. Останавливалось движение, теплый ветер дул с моря, и мы шли и шли, и наверное не было в этой толпе человека, который бы не подумал — хоть на одно мгновение — о том, что умер не только Блок, что умер город этот, что кончается его особая власть над людьми и над историей целого народа, кончается период, завершается круг российских судеб, останавливается эпоха, чтобы повернуть и помчаться к иным срокам.

Потом всё затихло. Две недели мы жили в полной, словно подземной, тишине. Разговаривали шепотом. Я ходила в дом Мурузи, в Дом Литераторов, в Дом Искусств. Всюду было молчание, ожидание, неизвестность. Наступило 24 августа. Утром рано, я еще была в кровати, вошла ко мне Ида Наппельбаум. Она пришла сказать, что на углах улиц вывешено объявление: все расстреляны. И Ухтомский, и Гумилев, и Лазаревский, и, конечно, Таганцев — шестьдесят два человека. Тот август не только „как желтое пламя, как дым”, тот август — рубеж. Началось „Одой на взятие Хотина” (1739), кончилось августом 1921 г., всё, что было после (еще несколько лет), было только продолжением этого августа: отъезд Белого и Ремизова за границу, отъезд

Горького, массовая высылка интеллигенции летом 1922 года, начало плановых репрессий, уничтожение двух поколений — я говорю о двухсотлетнем периоде русской литературы; я не говорю, что она кончилась, — кончилась эпоха.

Ида и я держали друг друга за руки, стоя перед стенгазетой, на углу Литейного и Пантелеймоновской. Там, в этих строчках, была вписана и наша судьба. Ида потеряет мужа в сталинском терроре, я никогда не вернусь назад. Там было всё это напечатано, но мы не умели этого прочесть.

В Казанском соборе была панихида „по убиенным". Было много народу и много слез.

Наступила осень, начались лекции в Зубовском институте (тогда еще он назывался так). Словесное отделение помещалось на Галерной, сейчас же за аркой, аудитории были небольшие, там мы теснились, голодные и холодные, вокруг столов. Лекции начинались около четырех и шли часов до семи-восьми: Томашевский, Эйхенбаум, Бернштейн, другие... (Тынянов в ту зиму был в Москве). О стихах, о слове, о звуке, о языке, о Пушкине, о современной поэзии; восемнадцатый век, Тютчев... Теория литературы. Кое-кто еще жив сейчас из тех, кто сидел там рядом со мною за большим столом (Н. Коварский, Г. Фиш), глядя, как С. И. Бернштейн крутит „козьи ножки" особого фасона из газетной бумаги, не длинные, а круглые, и потом прокалывает в них дырочку, чтобы они лучше курились. Томашевский весь в заплатах, с опухшими глазами, Эйхенбаум с подвязанными веревкой подошвами, прозрачный от голода. Молодой Толстой, Флобер, Стендаль... Иду пешком с Кирочной на Галерную, и обратно тоже пешком, вечерами, уже темными, сумрачными и холодными. Перелицованное ватное пальто, зеленая шапка „мономаховского" фасона, валенки, сшитые на заказ у вдовы какого-то бывшего министра, из куска бобрика (кажется когда-то у кого-то лежавшего в будуаре), на медных пуговицах, спороты с чьего-то мундира. По понедельникам теперь собирается студия Корнея Ивановича Чуковского, по четвергам — студия М. Л. Лозинского, читающего в Доме Искусств технику стихотворного перевода. У меня нет больше собственной комнаты, у нас только одна печурка, а если бы и была вторая, то всё равно нет дров, чтобы ее топить. Я

переехала в комнату родителей: две их кровати, мой диван, стол с вечной кашей на нем, картофель, который мы едим со шкуркой, тяжелая пайка черного грубого хлеба. Тут же гудит примус, на котором кипятятся кухонные полотенца и тряпки, которые никогда не просыхают. На веревке сушится белье, рваное и всегда серое; лежат в углу (бывшей глинковской гостиной) до потолка сложенные дрова, которые удалось достать и которые с каждым днем тают. Через всю комнату идет из печки труба и уходит в каминную отдушину. Из нее иногда капает черная вонючая жижа в раскрытый том Баратынского, в перловый суп или мне на нос.

У Иды была квартира на седьмом этаже на Невском, почти на углу Литейного. Это был огромный чердак, половину которого занимала фотографическая студия ее отца. Там кто-то осенью 21-го года пролил воду, и она замерзла, так что всю ту зиму посреди студии был каток. В квартире жили отец, сестры и братья Иды, маленькие и большие, и там было уютно, и была мама, как говорила Ида, „настоящая мама" — толстая, добрая, всегда улыбающаяся, гостеприимная и тихая. Первую комнату от входа решено было отдать под „понедельники" (в память Гумилева и его понедельничной студии „Звучащая раковина"). Тут должны были собираться поэты и их друзья для чтения и обсуждения стихов. Два незанавешенных окна смотрели на крыши Невского проспекта и Троицкой улицы. В комнату поставили рояль, диваны, табуреты, стулья, ящики и „настоящую" печурку, а на пол положили кем-то пожертвованный ковер. Здесь вплоть до весны собирались мы раз в неделю. Огромный эмалированный чайник кипел на печке, в кружки и стаканы наливался „чай", каждому давался ломоть черного хлеба. Ахматова ела этот хлеб, и Сологуб, и Кузмин, и мы все, после того, как читали „по кругу" стихи. А весной, когда стало тепло, пили обыкновенную воду и выходили через окна на узкий „балкон", то есть на узкий край крыши, и, стараясь не смотреть вниз, сидели там, когда бывало тесно в комнате. Собиралось иногда человек двадцать-двадцать пять.

— Кто придет сегодня? — спрашивала я, расставляя табуреты, пока Николай Чуковский старался забить в стену

гвоздь, а Лев Лунц и Ида по очереди дули в печку, где шипели сырые дрова. Сюда приходили боги и полубоги. Сначала появились Радловы, Николай и Сергей, потом Н. Н. Евреинов, потом М. Кузмин, Корней Чуковский, М. Лозинский, молодые члены „Серапионова братства" — Зощенко, Федин, Каверин, Тихонов (кооптированный в тот год в Серапионы). В октябре пришла Ахматова, а за ней — Сологуб. Приходили не раз Е. Замятин и Ю. Верховский, а А. Волынский и В. Пяст (друг Блока) стали частыми гостями. И конечно вся „Раковина", и Цех (Г. Иванов, Г. Адамович, Н. Оцуп). Бывал Валентин Кривич (сын Иннокентия Анненского), Всеволод Рождественский, Бенедикт Лившиц, Надежда Павлович, А. Оношкович (переводчица Киплинга), с которой я сидела рядом в семинаре Лозинского.

С Николаем Чуковским мы виделись теперь почти ежедневно. После лекций в Зубовском институте я обыкновенно заходила в Дом Искусств, где он поджидал меня. Ему было 17 лет, мне только что исполнилось 20. Я называла его по имени, он меня — по имени и отчеству, иногда нежно прибавляя „голубушка". Это был талантливый и милый человек, вернее — мальчик, толстый, черноволосый, живой. Популярность его отца несколько смущала его, он хотел придумать себе псевдоним, чтобы его не смешивали с Корнеем Ивановичем. Ранние его стихи и поэма „Козленок" (позже напечатанная в „Беседе") подписаны Н. Радищев. „Ведь настоящее имя Корнея Ивановича — Николай Корнейчук, — пояснял он мне, — так что я ведь даже не Николай Корнеевич, а Николай Николаевич. И фамилии собственной у меня не имеется".

Мы вместе ходили в концерты, в дом Мурузи, в студию Корнея Ивановича. „Голубушка, — говорил мне Николай Чуковский, — бросьте ваш институт, переходите в университет. Там Жирмунский. Будем туда вместе ходить в будущем году". Но я, как мне ни хотелось слушать Жирмунского, не соблазнялась и твердо решила оставаться в Зубовском.

„Серапионовы братья" собирались в том же Доме Искусств, в комнате Михаила Слонимского. Это был второй год существования кружка. Они больше уже не слушали лекций в студиях Замятина и Шкловского — кое-кто был

в университете (Каверин, Лунц), кое-кто уже печатался в журналах и даже выпускал книги (Зощенко, Федин, Вс. Иванов). Груздев работал над биографией Горького. Полгода тому назад они выпустили коллективный сборник (первый; второй вышел в 1922 г. в Берлине и в России, видимо, издан не был). Часть из них была заворожена Ремизовым, другая — Шкловским. Зощенко, смуглый, серьезный, с большими темными глазами, лежал посреди комнаты на трех стульях; говорили, что он отравлен газами. Приходили три-четыре девицы, ничего не писавшие, но дружившие с Никитиным, Лунцем и Фединым. Комната была тесная, прокуренная, темная. Бывало очень шумно, но когда кто-нибудь читал свое, слушали внимательно и обсуждали умно. Только в самом конце зимы (1922 г.) появились первые, еще едва заметные, признаки будущего распада — они шли от Ник. Никитина и Вс. Иванова, — Лунц, Слонимский, Каверин, Федин до самого конца оставались верными кружку. Но распад был в порядке вещей: все постепенно созрели литературно и обосабливались по линии „литературной политики", в которой были далеко не единогласны.

Лунц был моих лет. Он увлекался тогда сюжетностью прозы и мало интересовался поэзией. Это был милый, ясный, живой, искренний человек. Девятнадцати лет он остался один в Петербурге, вся семья его уже была за границей в это время. Жил он в нижнем этаже Дома Искусств, в том коридоре, где жили Рождественский (в одной комнате с Тихоновым), Пяст и Грин. Комната была узкая, вся в книгах, с продавленной постелью, холодная и сырая. „Обезьянником" называл он ее. Пальцы его были в чернильных пятнах, курточка аккуратно вычищена, курчавые волосы над лбом придавали ему совсем юный вид. Без него не обходилось ни одно сборище, он, конечно, был душой Серапионов. В мае 1923 года, после долгой болезни сердца (всё в том же „обезьяннике"), он наконец выехал к семье, в Гамбург, и пролежав в больнице около девяти месяцев, 9-го мая 1924 года умер от эндокардита. Говорили потом, что на каком-то юбилее „Серапионовы братья" его, по безобразному обычаю, качали и уронили, и с этого началась его болезнь. Его письма ко мне в Берлин опублико-

ваны в № 1 „Опытов" (Нью-Йорк, 1953 г.), мои письма к нему до сих пор целы. Вот часть моего некролога, напечатанного в газете „Дни" в 1924 году, № 475:

„Когда в 1922 году, в Петрограде, редакция журнала „Летопись Дома Литераторов" предложила членам группы „Серапионовых братьев" дать свои автобиографии, Лев Лунц, которому тогда было 21 год, отказался, сказав, что у него биографии еще не было. В то время он только что кончил филологический факультет и был оставлен по романо-германскому отделению.

Родившийся в Петербурге в 1901 году и почти не выезжавший из него, росший в мирной семейной среде, учившийся сперва в гимназии, а затем в университете, знаток испанского и старофранцузского языков, он был внутренне далек остальным членам „Серапионова братства", оставаясь, по какому-то недоразумению, душою этого кружка. Один из его инициаторов, он сразу же встал к нему в оппозицию. Его речь к „Серапионовым братьям", напечатанная в № 3 „Беседы" только частично отражает его отношение к кружку в 1922-м году. Их было двое, — он и его ближайший друг В Каверин, — которые из десяти молодых „Серапионов" были образованными людьми, презиравшими компромиссы и рекламу. Они призывали к незаметной и сосредоточенной работе.

Лунц не любил рассказывать о своих планах, работал тихомолком, два года над пьесой не казались ему слишком долгими. Он не гонялся за славой, как делали иные из его товарищей, его не печатали — он не роптал и не унывал. Пьесу его „Вне закона" сперва приняли в Александринский театр, а затем запретили. С редкой прямотой признавался он в своих ошибках.

При нашем последнем свидании в Берлине, говоря о многих иных своих разочарованиях, он мне признался: „А знаете, в Иванове-то я ошибся. Совсем его не понял вначале". Много грустного, много и грубого рассказал он мне в эти наши мимолетные встречи, только что приехав из России, уже больной, смущенный и обрадованный Европой. Порок сердца, начавшийся у него в России, развился за эти годы в болезнь страшную, редкую в столь молодых годах. Сперва упорно повышенная температура, а затем

два сильнейших припадка уже в Гамбурге, где жила его семья, приковали его на девять месяцев к постели, обрекли на безвременную смерть.

Похудевший, выросший, в новом костюме, сменив студенческую фуражку на мягкую шляпу, он приходил ко мне в Берлине между визитами к врачам и без умолку говорил, передавая почти день за днем петербургскую жизнь за тот год, что мы не виделись с ним.

Пробыв четыре дня в Берлине*), Лунц уехал в Гамбург, а через месяц слег, сначала в санатории, а потом в клинике. В сентябре прошлого года положение его представилось безнадежным. Затем ему стало легче. Частые письма его, то продиктованные сестре, то написанные самим, говорили то о полном упадке сил, то вновь об улучшении. В декабре он писал, что скоро вышлет свою последнюю пьесу, которую до сих пор хранил под подушкой, никому не показывая. Но пьесу не выслал. За последние месяцы я почти ничего уже не знала о нем. 9-го мая он скончался. Похоронили его в Гамбурге... Он вырос в революцию, в тяжелые годы лишений и душевного огрубения, когда ежедневно перед молодыми писателями вставали соблазны, но он до конца оставался скромен, прям и бодр. Он готовился к жизни трудной, суровой и горячей, но от всего этого осталось несколько десятков исписанных листов бумаги да память о нем в сердцах тех, что знали его и утешались им в безутешные годы".

Аким Львович Волынский, спавший в те зимы не только в шубе и шапке, но и в калошах, находил, что в Иде есть что-то итальянское, и он был прав. Ее черные волосы локонами спадали на лоб, ленивые движения, красивые маленькие руки, какая-то во всем южная лень, медлительность улыбки; тяжелое тело, изнеженное, несмотря на лишения, картавость, — ей следовало бы носить парчу и запястья, а она ходила (как все мы) в пальто из портьеры, в платье из маминого капота, в кофточке из скатерти.

— Сегодня обещал прийти Радлов, — картавила она, таинственно сверкая глазами, — на будущей неделе придут актеры из Александринки. Я ездила к Бенуа и пригла-

---

*) В середине июля 1923 года.

сила его... — Она была хозяйкой понедельников, и ту часть жизни, которая оставалась свободной от „г'оманов" (не тех, что читают, а тех, что переживают), отдавала собраниям и стихам.

Мне запомнился вечер в понедельник 21-го ноября. Из Зубовского я пришла в Дом Искусств, в класс К. И. Чуковского, и там, как и все, читала „по кругу" стихи. И Корней Иванович вдруг похвалил меня. „Да, — сказал он, пристально глядя на меня и словно меря меня, внутри и снаружи, — вы написали хорошие стихи"... И Коля Чуковский сиял от удовольствия толстым лицом, радуясь за меня.

Потом мы с ним вместе пошли с Мойки к Литейному и пришли к Иде довольно рано. Опять расставляли табуреты, пепельницы, дули в печку.

— Я пригласила Анну Андреевну, — говорила Ида (а „настоящая мама" в это время готовила бутерброды с чайной колбасой мне и Коле). — И я встретила Ходасевича. Он тоже обещал прийти.

Эта фамилия мне ничего не сказала, или очень мало.

Поздно ночью, когда мы шли домой (Чуковский жил на Спасской и нам было по пути), он говорил мне, весело размахивая руками:

— Голубушка! Вас сегодня похвалили! Как я рад за вас! Папа похвалил сначала, а теперь — Владислав Фелицианович. Замечательно это! Какой чудный день! (Ида шепнула мне, когда я уходила: Сегодня т в о й день!)

Там, сидя на полу, я „по кругу" читала:

Тазы, кувшины расписные
Под теплым краном сполосну,
И волосы, еще сырые,
У дымной печки заверну.
И буду девочкой веселой
Ходить с заложенной косой,
Ведро носить с водой тяжелой,
Мести уродливой метлой.

И так далее. Так что даже Ахматова благосклонно улыбнулась (и надписала мне экземпляр „Анно Домини"), впрочем, ничего не сказав, а некто, которого почему-то звали

„Фелициановичем", объявил, что насчет ведра и швабры — простите! метлы! — ему понравилось.

Ну а если бы и нет? — подумала я. — Если бы ни этот Фелицианович, ни Корней Чуковский не похвалили бы меня? Тогда что? Ничего бы не изменилось, всё равно!

У Ходасевича были длинные волосы, прямые, черные, подстриженные в скобку, и он сам читал „Лиду", „Вакха", „Элегию" в тот вечер. Про „Элегию" он сказал, что она еще не совсем кончена. „Элегия" поразила меня. Я достала его книги, „Путем зерна" и „Счастливый домик". 23-го декабря он опять был у Иды и читал „Балладу". Не я одна была потрясена этими стихами. О них много тогда говорили в Петербурге.

Но кто был он? По возрасту он мог принадлежать к Цеху, к „гиперборейцам" (Гумилеву, Ахматовой, Мандельштаму), но он к ним не принадлежал. В членах Цеха, в тех, кого я знала лично, для меня всегда было что-то общее: их не-современность, их манерность, их проборы, их носовые платочки, их расшаркиванья и даже их особое русское произношение: красивий вместо красивай, чецверг вместо читверк; грим „светских молодых людей" (а „света"-то больше и не было!), что-то „классовое", что казалось иногда забавным, иногда довольно приятным, а порой и печальным анахронизмом, и всегда носило печать искусственности. Ходасевич был совершенно другой породы, даже его русский язык был иным. Кормилица Елена Кузина недаром выкормила этого полуполяка. С первой минуты он производил впечатление человека нашего времени, отчасти даже раненного нашим временем — и может быть на смерть. Сейчас, сорок лет спустя, „наше время" имеет другие обертоны, чем оно имело в годы моей молодости, тогда это было: крушение старой России, военный коммунизм, Нэп, как уступка революции — мещанству; в литературе — конец символизма, напор футуризма, через футуризм — напор политики в искусство. Фигура Ходасевича появилась передо мною на фоне всего этого, как бы целиком вписанная в холод и мрак грядущих дней.

В студии Лозинского мы учились поэтическому переводу. Выбран был сонет Хозе-Мариа Эредиа о путешествии

волхвов в Вифлеем, — первая строчка трудностей не представляла (она же была и последней):

Волхвы Гаспар, Мельхиор и Вальтасар,

но дальше появились трудности, которые в подробностях обсуждались — сначала предлагались слова, потом комбинации слов, отвергались десятки возможностей, принималась единственно совершенная, и за час мы успевали продумать или „проработать" не более двух-трех строк.

Оттуда — на Галерную. „Тени сизые смесились" и Томашевский, ведущий анализ, тот, что тогда был еще такой новостью и который сейчас в западном мире считается основой всякой поэтики. Тень Щербы витала над нами, и в меня сыпалась словесная премудрость. Выхожу на заснеженную улицу. Тихо под аркой, тихо на площади, Петербург — в пророчествах Гоголя и Достоевского (и Блока), как стиснутый льдинами корабль под вьюгой. Где кончается тротуар, где начинается мостовая — неизвестно. Бегу в мягких валенках, падаю, встаю. На углу Конногвардейского бульвара — памятник Володарскому. Он из гипса, под него в прошлом году подложили бомбу и вырвали ему живот, починить нечем, оставить так — неуважительно, снять — распоряжения ждут, а пока закрыли его рваной тряпкой, которая под метелью, на ветру, хлещет в разные стороны, машет, грозит, зовет и кланяется. Мимо памятника и с угла Конногвардейского прямо наискось, через площадь, к углу Морской, к Астории, падая, проваливаясь в снег. Ни огня, ни звука, только воет вьюга да плывут в серо-белом уже ночном зимнем сумраке смутные фигуры пешеходов (не то: „Впереди Исус Христос", не то: „А шинель-то моя!"), пропадают, пригибаясь от ветра, опять выныривают и скользят мимо меня.

— Осторожно! Тут скользко!

Это кто-то кричит мне подле самой Астории с противоположного угла и из метели появляется фигура в остроконечной котиковой шапке и длинной, чуть ли не до пят, шубе (с чужого плеча).

— Я вас тут поджидаю, замерз, — говорит Ходасевич. — Пойдемте погреться. Не страшно бегать в такой темноте?

Он знал, что в Зубовском лекции кончаются в восемь и стоял на углу, поджидая, когда я пройду. Пока мы стоим и рассматриваем друг друга, он говорит:

— Шуба у меня Мишина, потому такая длинная, это мой брат, московский адвокат, а френч — из Мишиного перелицованного фрака. И мне тепло. А вам?

Я шагаю с ним рядом. Он ходит легко, он выше меня, он худ и легок и, несмотря на „мишины" одежды, в нем сквозит изящество.

Пока мы пьем кофе в низке, он расспрашивает меня: живете с папой-мамой? учитесь? а папа-мама какие? влюблены в кого-нибудь? Стихи новые написали? Еще что-нибудь было про швабру? На некоторые вопросы я не отвечаю, на другие отвечаю подробно: папа-мама конечно здорово мешают жить, когда человеку двадцать лет, но в общем, если сказать правду, я их воспитала так, что они съехали на тормозах со своих позиций. Мне ж, окромя цепей, терять нечего.

— Ишь ты! Конечно, когда барышне двадцать лет...

— Я сказала: когда человеку двадцать лет.

— Ах, я ослышался!...

Я твердо говорю „нет", когда он предлагает проводить меня домой в эту вьюгу, и он не настаивает. Мы оба снимаем варежки и прощаемся у входа в Дом Искусств. Рука его узкая и сухая. Он входит в дверь и в свете желтой лампочки, через полузанесенное снегом стекло входной двери, я вижу как он поднимается по лестнице: шапка, шуба. Неспешно поворачивает и исчезает, прямой, с высоко поднятой головой. Силуэт его остается в моей памяти.

Позже он писал о своей жизни в „Доме Искусств":

„Помещался ‚Диск' в том темно-красном доме у Полицейского (в старину — Зеленого) моста, что выходит тремя фасадами на Мойку, Невский проспект и Большую Морскую. До середины восемнадцатого столетия на этом месте находился деревянный Зимний дворец. Отсюда Екатерина двинулась со своими войсками в Ораниенбаум — свергать Петра Третьего. Дом этот — огромный, состоящий из нескольких домов, строенных и перестроенных вероятно в разные эпохи. Перед революцией в нем помещался „Английский магазин", а весь бэльэтаж со стороны Нев-

ского занимал банк, названия которого я не упомню, хоть это и неблагодарно с моей стороны*).

Под ‚Диск' были отданы три помещения: два из них некогда были заняты меблированными комнатами (в одно — ход с Морской, со двора, в другое — с Мойки); третье составляло квартиру домовладельца, известного гастрономического торговца Елисеева. Квартира была огромная, бестолково раскинувшаяся на целых три этажа, с переходами, закоулками, тупиками, отделанная с убийственной рыночной роскошью. Красного дерева, дуба, шелка, золота, розовой и голубой краски на нее не пожалели. Она-то и составляла главный центр ‚Диска'. Здесь был большой зеркальный зал, в котором устраивались лекции, а по средам — концерты. К нему примыкали голубая гостиная, украшенная статуей работы Родэна, к которому хозяин почему-то питал пристрастие — этих Родэнов у него было несколько. Гостиная служила артистической комнатой в дни собраний; в ней же Корней Чуковский и Гумилев читали лекции ученикам студий — переводческой и стихотворной. После лекций молодежь устраивала игры и всяческую возню в соседнем холле — Гумилев в этой возне принимал деятельное участие.

...Та часть ‚Дома Искусств', где я жил, когда-то была занята меблированными комнатами, вероятно, низкосортными. К счастью, владельцы успели вывезти из них всю свою рухлядь и помещение было обставлено за счет бесчисленных елисеевских гостиных: пошло, но импозантно и уж во всяком случае чисто. За то самые комнаты, за немногими исключениями, отличались странностью формы. Моя, например, представляла собою правильный полукруг. Соседняя комната, в которой жила художница Е. В. Щекотихина (впоследствии уехавшая за границу, здесь вышедшая замуж за И. Я. Билибина и вновь увезенная им в советскую Россию), была совершенно круглая, без единого угла, — окна ее выходили как раз на угол Невского и Мойки. Комната М. Л. Лозинского, истинного волшебника по части стихотворных переводов, имела форму глаголя,

---

*) На бумаге этого банка Ходасевич писал стихи, а Лунц — письма мне, когда мы были уже в Берлине (Н. Б.).

а соседнее с ней обиталище Осипа Мандельштама представляло собою нечто столь же фантастическое и причудливое, как и он сам.

Соседями нашими были: художник Милашевский, обладавший красными гусарскими штанами, не менее знаменитыми, чем „пясты"*) и столь же гусарским успехом у прекрасного пола, поэтесса Надежда Павлович, общая наша с Блоком приятельница, круглолицая, черненькая, непрестанно занятая своими туалетами, которые собственноручно кроила и шила вкривь и вкось — одному Богу ведомо из каких материалов, а также О. Д. Форш, начавшая литературную деятельность уже в очень позднем возрасте, но с величайшим усердием, страстная гурманка по части всевозможных идей, которые в ней непрестанно кипели, бурлили и пузырились, как пшеная каша, которую варить она была мастерица". („Возрождение", №№ 4178 и 4179, 1939 г.)

Здесь необходимо упомянуть роман О. Д. Форш, написанный ею через несколько лет, „Сумасшедший корабль", где изображаются жители Диска (названного „Дом Ерофеевых" вместо дома Елисеевых): Котихина — художница Щекотихина, Элан — Надежда Павлович, художник Либин — Билибин, Геня Чорн — смесь Лунца и Евг. Шварца, Акович — Волынский, Сохатый — Замятин, Долива — сама Форш, Олькин — Нельдихен, Феона Власьевна — — Султанова, Гаэтан — Блок, Жуканец — частично Шкловский, частично сын Форш, Сосняк — Пильняк, Еруслан — Горький, Иноплеменный Гастролер — Белый, профессор Михаэлос — Гершензон, Микула — Клюев, Копильский — Мих. Слонимский, Тюдон — Ромэн Роллан, Корюс — Барбюс, и где не названы, но фигурируют: Репин, Гумилев, К. Чуковский, Чеботаревская, Сологуб, Тихонов, Федин и — на последней странице — человек в кепке: смесь Щеголева и Зиновьева. В романе рассказана подробно исто-

---

*) Клетчатые брюки В. А. Пяста, знаменитые в те годы в Петербурге. О них было в пародии на стихи Мандельштама „Домби и сын":

И клетчатые панталоны
Рыдая обнимает Пяст. (Н. Б.)

рия с яйцами Белавенца-Белицкого, упоминается „умеревший офицер" из стихов Н. Оцупа. Упомянута в книге и я, и наш отъезд с Ходасевичем за границу в июне 1922 года. В замаскированной форме об этом сказано так:

„По вечерам в узкую комнату (Копильского-Слонимского — Н. Б.), как в нежилую, собирались для любовной диалектики парочки. На диванчике плечом к плечу, как на плетне воробышки, оседал целый выводок из школы ритма, или из студии, или просто сов- и пиш-барышни. Они чаровали писателей. Они вступали с ними в новый союз и, если надо, заставляли расторгать союз старый. Завистницы говорили, что здесь назревало умыкание одного поэта одной грузинской княжной и поэтессой..."

Был один вечер, ясный и звездный, когда снег хрустел и блестел, и мы оба — Ходасевич и я — торопились мимо Михайловского театра куда-то, а в сквере почему-то устанавливали большие прожектора, в лучах которых клубилось наше дыхание; перекрещивались лучи, словно проходили сквозь нас, вдруг освещая в ночном морозном воздухе наши счастливые лица — почему счастливые? Да, уже тогда счастливые. Мы ловили какой-то уж очень нахально приставший к нашим шубам луч — может быть кто-то заигрывал с нами с другого конца сквера? На миг всё потухло, и мы чуть не потеряли друг друга в кромешной тьме, но опять начались сверканья и они проводили нас до самой Караванной.

Его окно в Доме Искусств выходило на Полицейский мост, и в него был виден весь Невский. Это окно и его полукруглая комната были частью жизни Ходасевича: он часами сидел и смотрел в окно и большая часть стихов „Тяжелой лиры" возникла именно у этого окна, из этого вида. Разница между нами в то время была та, что он смотрел *из* окна, а я смотрела в окна. Но был в этом его окне и обратный смысл: я, уже начиная с Гостинного двора, старалась различить его окно, светлую точку в ясном вечернем воздухе или мутную каплю света, появлявшуюся в темной дали, когда я бывала на уровне Казанского собора. В этом окне, под лампой „в шестнадцать свечей", я видела его зимой, за двойными рамами, а весной в раме открытого окна; он видел меня далеко-далеко, когда под-

жидал мой приход, различая меня среди других на широком тротуаре Невского, или следил за мной, когда я уходила от него: поздним вечером черной точкой, исчезающей среди прохожих, глубокой ночью — тающим силуэтом, ранним утром — делающей ему последний знак рукой с угла Екатерининского канала.

Несмотря на свои тридцать пять лет, как он был еще молод в тот год! Я хочу сказать, что тогда он еще по-настоящему не знал ни вкуса пепла во рту (он говорил потом: у меня вкус пепла во рту даже от рубленых котлет!), ни горьких лет нужды и изгнания, ни чувства страха, который скручивает узлом все тонкие, толстые, прямые и слепые кишки человека. У него, как и у всех нас, была еще родина, был город, была профессия, было имя. Безнадежность только изредка, только тенью набегала на душу, мелодия еще звучала внутри, намекая, что не из всех людей хорошо делать гвозди, иные могут пригодиться в другом своем качестве. В этом другом качестве казалось возможным организовать — не Россию, не революцию, не мир, но прежде всего — самого себя. Осознана была важность порядка внутри себя и важность смысла за фактом — не в плане утешительном, не в плане оборонительном, но в плане познавательном и экзистенциальном. И в разговорах, которые мы вели друг с другом весь январь и февраль были не „вы" и „я", не случаи и не происшествия, не воспоминания и надежды, а связи мыслей, мысленных планов, и узнавания взаимных границ.

Перемена в наших отношениях связалась для меня со встречей нового 1922 года. После трехлетнего голода, холода, пещерной жизни, вдруг зароились фантастические планы — вечеров, балов, новых платьев (у кого еще были занавески или мамины сундуки); в полумертвом городе зазвучали слова: одна бутылка вина на четырех, запись на ужин, пригласить тапера. Всеволод Рождественский, с которым я дружила, предложил мне вместе с ним пойти в Дом Литераторов вечером 31-го декабря. Я ответила согласием. Ходасевич спросил меня, где я встречаю Новый год. Я поняла, что ждала этого вопроса, и сказала, что Рождественский пригласил меня на ужин. Он не то огорчился, не то обрадовался и сказал, что тоже будет там.

Рождественский, как я сказала, делил в этот год свою комнату с Н. С. Тихоновым. Я бывала у них часто, и однажды Рождественский показал мне кипарисовый ларец Анненского, ту шкатулку кипарисового дерева, которую Валентин Иннокентиевич Кривич-Анненский принес ему на сохранение. В ларце лежали тетради, исписанные рукой Анненского, и мы однажды целый вечер читали эти стихи, разбирая их, оба изнемогая от восторга и волнения.

За столиком в столовой Дома Литераторов сидели в тот вечер: Замятин с женой, К. И. Чуковский, М. Слонимский, Федин со своей подругой, Ходасевич, Рождественский и я.

Честно, весело и пьяно
Ходим в мире и поем,
И втроем из двух стаканов
Вечерами долго пьем.
Спросит робкая подруга:
Делят как тебя одну?
. . . .
Только стала я косая:
На двоих зараз смотрю.
Жизнь моя береговая,
И за то благодарю!

— Что это значит „жизнь береговая"? — спросил Ходасевич, сидевший справа от меня за ужином.

— Береговая — это которая берегом идет, дорога береговая, прогулка береговая. — Меня удивило, что он не понимает.

— Значит, не настоящая, а так, сбоку, что ли?

— Если хотите.

— Просто для развлечения. Хочу — пойду, хочу — дома останусь.

— Ну да. По краю. Жизнь по краю. Не всамделишная.

Выждав, когда сидевший налево от меня Рождественский вступит в разговор с сидевшим напротив Фединым, Ходасевич тихо сказал:

— Нет. Я не хочу быть береговым. Я хочу быть всамделишным.

Часы пробили двенадцать. Все встали со стаканами в руках.

Сказать ему: вы уже всамделишный, я не могла. Я еще этого не чувствовала.

Потом Рождественский куда-то исчез — не нарочно ли? — и мы пошли вдвоем по Бассейной в Дом Искусств. Невский был празднично освещен, был час ночи. На углу Садовой, над входом в большое недавно открытое „Международное кафе" трепалась вывеска:

Все граждане свободные
В кафе Международное,
Местечко очень модное
Спешат, спешат, спешат!

И пьяный хор пел на весь околоток:

Мама, мама, что мы будем делать,
Когда настанут зимни холода?
У тебя нет теплого платочка-точка,
У меня нет зимнего пальта!

Нам было смешно. Смеясь, скользя, цепляясь друг за друга, мы по легкой гололедице дошли до Конюшенной.

Мама, мама что мы будем делать, —

горланили из бывшей Европейской гостиницы под залихватский оркестр.

У меня нет зимнего пальта!

вырвалось из подвала дома на углу Мойки, где помещалось „польское" кафе. Положительно эту модную песенку пели тогда во всех кабаре Петербурга! Три года ждали и теперь изливали душу под гармонь, под скрипку, под рояль, под оркестр.

В Доме Искусств, в зеркальном зале, в двух гостиных и огромной обшитой деревом столовой было человек шестьдесят. Ужин только что кончился. Все были здесь — от Акима Волынского до Иды и от Лунца до Ахматовой. Артур Лурье сидел на диване, как идол, между нею и А. Н. Гумилевой, вдовой Николая Степановича. (Она была дочерью жены Бальмонта от ее второго брака с Энгельгардтом.)

Живая, как огонь, жена Николая Радлова, Эльза, была в красном маскарадном костюме („Там живет красотка Эдди / Я красавицу люблю”, писал о ней позже Н. Оцуп) — все были одеты кто в чем: одни в сохранившемся дореволюционном платье (собственном), другие — в таком же, одолженном, третьи — в театральном или маскарадном костюме, добытом по знакомству из театральной кладовой, четвертые — в заново перешитом, пятые — в смастеренном из куска шелка, лежавшего лет тридцать на дне сундука. В зале Н. Радлов с прелестной Шведе и Оцуп с Эльзой танцевали фокстрот, уан-степ, танго, в лакированных ботинках и выутюженных брюках*). Серапионы поили вином жену актера Миклашевского, поэтесса Анна Радлова (жена Сергея), считавшаяся красавицей, с неподвижным лицом сидела в простенке между двумя окнами.

— Это женщина? Или это драпировка упала в кресло? — спросил испуганный Ходасевич. Действительно, широкое и длинное платье Радловой из золотого броката было подстать елисеевским гардинам, висевшим по бокам.

Я вижу столовую, гостиные и зал в непрерывном движении знакомых лиц, молодых и старых, близких и далеких. В столовой всё еще едят и пьют, в зале танцуют — четыре пары, которые чудом успели где-то перехватить модные танцы далекой, как сон, Европы. Ими откровенно любуются, стоят в дверях, жадно впитывают до сих пор не слышанные синкопы фокстрота, смотрят на качающиеся, слитые вместе фигуры. От кого-то пахнуло Убиганом, кто-то что-то сказал по-французски, кому-то предлагают бокал шампанского — не спрашивайте, откуда оно: может быть из елисеевского погреба (завалилась бутылка в дальний угол), может быть из Зиновьевского распределителя, может быть из бабушкиной кладовой. Мы сидим на диване в гостиной, мимо нас ходят люди, не смотрят на нас, не говорят с нами, они давно поняли, что нам не до них.

На рассвете он провожает меня домой, с Мойки на Кирочную. И в воротах дома мы стоим несколько минут. Его

---

*) В воздухе чувствовалась цепь романов, сломанных браков, новых соединений, шницлеровский „Хоровод” всех подхватил в своем кружении.

лицо близко от моего лица, и моя рука в его руке. И в эти секунды какая-то связь возникает между нами, с каждым часом она будет делаться всё сильней.

В ту зиму, я думаю, нужен был только предлог для того, чтобы людям дать подобие праздника. „Русское рождество" 7-го января вспоминается мне снова каким-то кружением в елисеевском доме, музыкой и толпой. Часа в три ночи мы пошли по глубокому снегу в соседний подъезд, к его входу и просидели до утра у его окна, глядя на Невский, — ясность этого январского рассвета была необычайна, нам отчетливо стала видна даль, с вышкой вокзала, а сам Невский был пуст и чист, и только у Садовой блестел, переливался и не хотел погаснуть одинокий фонарь, но потом погас и он. Когда звезды исчезли (ночью казалось, что они висят совсем близко — рукой подать) и бледный солнечный свет залил город, я ушла. Какая-то глубокая серьезность этой ночи переделала меня. Я почувствовала, что я стала не той, какой была. Что мной были сказаны слова, каких я никогда никому не говорила, и мне были сказаны слова, никогда мной не слышанные. И что не о нашем счастье шла речь, а о чем-то совершенно другом, в тональности не счастья, а колдовства, двойной реальности, его и моей.

Еще одним и, кажется, последним был вечер в особняке Зубова, под „русский Новый год". В. П. Зубов всё еще был в то время директором созданного им Института Истории Искусств, продолжавшего носить его имя. В огромных, промерзших залах особняка (на Исаакиевской площади) собрались всё те же. В некоторых комнатах видно было дыхание, в других пылали камины. Опять кружились и качались пары, опять горели люстры и какие-то старые, почтенные лакеи смотрели на нас с презрением и брезгливостью. Здесь, в противоположность домам на Бассейной и Мойке, мы были не у себя, в реквизированных гостиных, мы были в гостях. Перед камином в одном из углов огромного, холодного покоя, сидели: Ходасевич, Ида, Рождественский, Лунц, Николай Чуковский, я. Кажется Рождественский предложил по очереди рассказывать что-нибудь обо всех нас. Он и начал. Дело происходило во время фантастической экспедиции на север Ирландии, в которой мы все принимали участие. Случайно собрались мы в одном забро-

шенном доме, в глубине лесов, и теперь сидим у камина и начинаем какую-то новую общую авантюрную жизнь. Есть среди нас разбойники и поэты, герои, мирные люди, авантюристки и красавицы... Но, постойте, что такое Ирландия? Как вы представляете ее себе? Оказалось, что для всех нас тогда что Ирландия, что Перу, что Новая Каледония — всё было одинаково нереально.

Три надписи на книгах В. Ф., сделанные им в эту зиму отражают наше сближение:

В декабре 1921 года на „Счастливом домике": „Нине Николаевне Берберовой — Владислав Ходасевич.

Хорошо, что в этом мире
Еще есть причуды сердца" (стр. 55)".

2-го января 1922 года на „Еврейских поэтах": „Н. Н. Б. даю эту книгу — не знаю, зачем. Владислав Ходасевич".

И 7-го марта 1922 года на „Путем зерна": „Нине. Владислав Ходасевич. 1922. Начало весны".

Да, это было начало весны; перед этим, 2-го марта, он дописал „Не матерью, но тульскою крестьянкой" (первые четыре строфы лежали с 1917 г.). Всё потекло как-то сразу, солнце засияло, с крыш закапало, зазвенело во дворах и садах. Он пошел покупать на Сенной рынок калоши, продал для этого только что полученные из Дома Ученых (Кубу) селедки. Впопыхах купил калоши на номер больше, чем надо, засунул в них черновик стихотворения и пошел ко мне. Через год, в Берлине, черновик нашелся в калоше — он у меня хранится до сих пор.

В тот день у меня собрались несколько человек, вторую комнату, заледеневшую за зиму, отперли, истопили, прибрали. Там впервые (это был кабинет Глинки) он читал „Не матерью", читал наизусть (черновик уже был в калоше) и по просьбе всех читал два раза. В этот день мы не читали „по кругу" — никому не хотелось читать свои стихи после его стихов.

В самом начале февраля был юбилей Серапионов — два года существования и выход в свет сборника „Ушкуйники", который издал Ник. Чуковский и в котором напечатались Тихонов, Вагинов, сам Ник. Чуковский, я и еще кое-кто. А в апреле, все в том-же Михайловском сквере, на скамейке,

Ходасевич сказал мне, что перед ним две задачи: быть вместе и уцелеть. Или может быть: уцелеть и быть вместе.

Что значило тогда „уцелеть"? Физически? Духовно? Могли ли мы в то время предвидеть гибель Мандельштама, смерть Клюева, самоубийство Есенина и Маяковского, политику партии в литературе с целью уничтожения двух если не трех поколений? Двадцать лет молчания Ахматовой? Разрушение Пастернака? Конец Горького? Конечно, нет. „Анатолий Васильевич не допустит", — это мнение о Луначарском носилось в воздухе. Ну, а если Анатолия Васильевича самого отравят? Или он умрет естественной смертью? Или его отстранят? Или он решит, что довольно быть коммунистическим эстетом и пора пришла стать молотом, кующим русскую интеллигенцию на наковальне революции? Нет, такие возможности никому тогда в голову не приходили, но сомнения в том, что можно будет уцелеть, впервые в те месяцы зароились в мыслях Ходасевича. То, что ни за что схватят, и посадят, и выведут в расход, казалось тогда немыслимым, но что задавят, замучают, заткнут рот и либо заставят умереть (как позже случилось с Сологубом и Гершензоном), либо уйти из литературы (как заставили Замятина, Кузмина и — на двадцать пять лет — Шкловского), смутно стало принимать в мыслях всё более отчетливые формы. Следовать Брюсову могли только единицы, другие могли временно уцепиться за триумфальную колесницу футуристов. Но остальные?

Много раз впоследствии это понятие „уцелеть" являлось мне в самых различных своих смыслах, неся с собой целую радугу обертонов: от животного „не быть съеденным" до античного „самоутверждения перед лицом уничтожения", от инстинктивного „как бы не попасться врагу" до высокого „сказаться еще одним последним словом". И низкое, и высокое часто имеют один корень в человеке. И схватиться за травинку, вися над пропастью, и передать рукопись своего романа уезжающему из Москвы на Запад иностранцу — имеют одно и то же основание.

Был апрельский день в Михайловском сквере, том самом, где зимой бегали по нас лучи прожекторов и где сейчас я собираюсь идти смотреть ледоход — но не с ним, а одна: Ладожский ветер в эти весенние дни для Ходасевича опа-

сен. Он потерял счет своим болезням, а другие еще стерегут его. Когда-то, году в 1915-м, он боялся туберкулеза костей, легкие у него в рубцах. От московской жизни 1918—20 годов и трехлетнего недоедания, вернее — голода, у него фурункулез, от которого он едва вылечился и который угрожает ему и сейчас. Он худ, слаб, бледен, ему необходимо лечить зубы, он устает от ношения пайков — а видит Бог, они легче перышка, в них селедки (которых он не ест), спички, мука. Селедки он продает на Сенном рынке, покупает папиросы. Покупает на черном рынке какао.

Еще зимой мне пришла посылка из Северной Ирландии (да, да, оказалось, что на свете есть такая страна!) от двоюродной сестры, вышедшей в 1916 году замуж за англичанина. Эта посылка была настоящим событием. На саночках, вместе с отцом, мы привезли ее из таможни, открыли, вернее — вспороли тяжелый зашитый в рогожку пакет. На рояле разложили: шерстяное платье, свитер, две пары туфель, дюжину чулок, кусок сала, мыло, десять плиток шоколаду, сахар, кофе и шесть банок сладкого сгущенного молока. Я тут же, как была, в шубе и теплом платке, взяла молоток и гвоздь, пробила в одной из банок две дыры и, не отрываясь, выпила одним махом густую сладкую жидкость. До дна. (Через двадцать пять лет, в Париже, открыв первую после войны посылку из Америки от М. М. Карповича, где были приблизительно те же вещи, я разорвала голубую обертку мыла, вынула и поцеловала его.) До дна, как зверь. Пустую банку мы потом подвесили к печной трубе, чтобы в нее капала жидкая сажа, портившая мне книжки. Из рогожки смастерили половую тряпку. Ничего не пропало.

Теперь начали приходить Хуверовские посылки АРА. Страшно и стыдно читать сейчас, как Горький просил французов, американцев, англичан, даже немцев, помогать голодному населению революционной России. Когда в лице бывало „ни кровинки", от сала, какао и сахара она появлялась. Глядя на АРУ казалось: уцелели на время. Существуем от АРЫ до АРЫ. Прекратилась топка для тепла, перешли на топку для готовки. Зато вдруг в солнечном свете заметнее стало нищенство одежд: зимой как-то сходило, не выпирали подвязанные веревками подошвы Пяста,

перелицованная куртка Замятина, заплаты на штанах Юрия Верховского, до блеска заношенный френч Зощенки. С каждой неделей жить становилось немножко страшней. Да, стало тепло, и можно расположиться в двух комнатах, снять валенки и не считать каждое полено, и открыть окна, и надеяться, что через месяц в распределителях появится хоть что-нибудь, но вместе с тем, у разных людей по-разному, начало появляться чувство возможного конца — не личного даже, а какого-то коллективно-абстрактного, который, впрочем, практически еще не начал мешать жить, и конца не физического, конечно, потому что Нэп продолжал играть свою роль и „кровинка" появлялась на лицах всё чаще, но может быть „духовного". Конец появился в воздухе сначала как некая метафора, тоже коллективно-абстрактная, которая, видимо, становилась день ото дня яснее. Говорили, что скоро „всё" закроется, то есть частные издательства, и „всё" перейдет в Госиздат. Говорили, что в Москве цензура еще строже, чем у нас, и в Питере скоро будет то же. Говорили, что в Кремле, несмотря на Анатолия Васильевича, готовят декрет по литературной политике, который Маяковский собирается сейчас же переложить в стихи. Из Москвы кто-то привез слух, что где-то кому-то кем-то было сделано внушение свыше и что оно пахнет угрозами... Морозами, вьюгами всё как-то держалось, а сейчас — потекло, побежало, ручьями, не за что уцепиться, всё летит куда-то. Не обманывайтесь, добрые люди, не „куда-то", а в очень даже определенном направлении, где нам будет нечего делать, где нам вероятнее всего не уцелеть.

Теперь, глядя назад в те месяцы, я вижу, что уничтожение пришло не прямым путем, а сложным, через некоторый расцвет; что ход был не так прост через это „цветение", что некоторые люди одновременно и цвели, и гибли, и губили других, сами этого не сознавая, что немного позже жертвами оказались сотни, а потом и тысячи: от Троцкого через Воронского, Пильняка, формалистов и попутчиков, до футуристов и молодой рабочей и крестьянской поэзии, буйно цветшей до самого конца двадцатых годов, верой и правдой служившей новому режиму. От бородатых старцев, участников „Религиозно-философских собраний", до

членов ВАПП'а, бросивших, казалось бы, вовремя лозунг о снижении культуры, и всё-таки потонувших. Уничтожение пришло не личное каждому уничтоженному, но как уничтожение групповое, профессиональное и плановое. Такой-то, писавший стихи, был уничтожен планово, „как класс". Параллельно начали делаться не вещи, а плановые вещи. Мандельштам был уничтожен, как класс, Замятину запретили писать, как классу. Литературная политика (до конца тридцатых годов) была частью политики общей — сначала Ленина—Троцкого, потом Зиновьева—Каменева—Сталина и наконец Сталина—Ежова—Жданова. И в итоге были уничтожены люди, рожденные около 1880-го года, люди, рожденные около 1895-го года, и люди, рожденные около 1910-го года.

Худой и слабый физически, Ходасевич внезапно начал выказывать несоответственную своему физическому состоянию энергию для нашего выезда за границу. С мая 1922 года началась выдача в Москве заграничных паспортов — одно из последствий общей политики Нэпа. И у нас в руках появились паспорта на выезд: номера 16 и 17. Любопытно было бы знать, кто получил паспорт номер 1? Может быть Эренбург? Может быть Алянский?

Ходасевич принял решение выехать из России, но конечно не предвидел тогда, что уезжает навсегда. Он сделал свой выбор, но только через несколько лет сделал второй: не возвращаться. Я следовала за ним. Если бы мы не встретились и не решили тогда „быть вместе" и „уцелеть", он несомненно остался бы в России — нет никакой, даже самой малой вероятности, чтобы он легально выехал за границу один. Он вероятно был бы выслан в конце лета 1922 года в Берлин, вместе с группой Бердяева, Кусковой, Евреинова, профессоров: его имя, как мы узнали позже, было в списке высылаемых. Я, само собою разумеется, осталась бы в Петербурге. Сделав свой выбор за себя и меня, он сделал так, что мы сказались вместе и уцелели, то есть уцелели от террора тридцатых годов, в котором почти наверное погибли бы оба. Мой выбор был он, и мое решение было идти за ним. Можно сказать теперь, что мы спасли друг друга.

Паспорт был мне выдан в Москве. Я приехала туда в середине мая по вызову Ходасевича, который туда уехал хлопотать о разрешении на выезд ему и мне. Москву я не узнала: теперь это была столица нового государства, улицы были черны от народа, всё кругом росло и создавалось, вытягивалось, оживало, рождалось заново, пульсировало. С утра мы шли заполнять анкеты, подавать бумаги, сидеть в приемных. Для разрешения на выезд нужны были две подписи, одну дал Юргис Балтрушайтис, посол Литвы в Москве, старый друг Ходасевича, другую — всё тот же Анатолий Васильевич. В паспорте была графа: причина поездки. Там было вписано: для поправления здоровья (в паспорте Ходасевича), для пополнения образования (в моем паспорте). На фотографии я была изображена с круглым лицом, круглыми глазами, круглым подбородком и даже круглым носом. Откуда пришла ко мне эта круглота — не знаю. Теперь, сорок лет спустя, в моем слегка индокитайском лице нет никакой круглоты вовсе.

Пока мы были в Москве, в Союзе писателей на Тверском бульваре был литературный вечер, и там Ходасевич читал свои новые стихи („Не верю в красоту земную", „Покрова Майи потаенной", „Улика", „Странник прошел") — стихи о любви, и Гершензон, и Зайцев, и Лидин, и Липскеров, и другие (не говоря уже о брате „Мише" и его дочери, Валентине Ходасевич, художнице) с нескрываемым любопытством смотрели на меня. К Зайцевым мы зашли потом как-то вечером в переулок возле Арбата, они тоже собирались за границу „для поправления здоровья", — с этого дня начались мои отношения с Борисом и Верой, длившиеся более сорока лет. У них я увидела П. П. Муратова, одного из умнейших людей, встреченных мною, дружба с которым оказала на меня влияние — как это ни странно — значительно позже, когда она кончилась и судьба нас развела. Мы сидели у Зайцевых между раскрытыми сундуками и незавязанными баулами, наваленными на столах книгами. Выходило так, что мы одновременно должны будем оказаться в Берлине.

Лавка писателей в то время находилась где-то вблизи Страстного бульвара (если не ошибаюсь). Мы вошли в нее. Н. А. Бердяев стоял за прилавком и торговал — это был

его день. Были здесь и рукописные книги, те, для которых невозможно было найти издателя, и старые издания, редкие экземпляры, и новые, только что вышедшие журналы и брошюры. Потом мы отправились к Михаилу Фелициановичу. Он был на двадцать один год старше Ходасевича, многие крупные московские уголовные процессы в свое время прошли через него. Он поехал провожать нас на вокзал (мы возвращались в Петербург). Там я вернулась в дом родителей, Ходасевич остановился рядом, на Кирочной же, в квартире Ю. П. Анненкова. А через три дня мы выехали в Ригу.

Накануне отъезда он лежал на моей постели, а я сидела у него в ногах и он говорил о прошлом, которое внезапно в эти последние недели так далеко отошло от него, вытесненное настоящим. Отойдет еще дальше — сказал он, словно вглядываясь в свое будущее. Я попросила его записать кое-что на память — канву автобиографии, может быть, календарь его детства и молодости. Он подсел к моему столу и стал писать, а когда кончил, дал мне кусок картона. На нем было написано:

„1886 — родился

1887, 1888, 1889 — Городовой. Овельт. Париж, грамота. Маня.

1890, 1891 — Конек-горбунок (Ершова). Балеты. Танцы. Мишины книжки. Мастерская отца, портвейн, дядя Петя. Бабушка. Овсенские и т. д.

1892 — Покойница в Богородском.

1893 — Щенковы, торговля, индейцы. Балы. Зима — стихи, котильон. Корь.

1894 — Чижики. Война. Фромгольд. Школа. Бронхит.

1895 — Толга. Школа. Оспа.

1896 — Экзамены. Коронация. Озерки. Сиверская. Майков.

1897 — Гимназия. Карашевич. Фотография. Балы. Ж. Органова. Брюсов. Малицкий.

1898 — Смерть Юрочки. Балы. Женя Кун. Дом Масс.

1899 — Багриновские. Инженерство. Бабочки.

1900 — Ставрополь. Три разговора. Бабочки. Рерберги.

1901 — Хулиганство. Балы. Прасолов. Тимирязев. Достоевский.

1902 — Северные цветы. Малицкий. Стихи. Ланговой. Шенрок. Театры. Дарьял.

1903 — Гриф. Гофман. Малицкий. Стихи навсегда. Тарновская. Переезд от родителей. Стражев.

1904 — Тарновская. Марина. Белый.

1905 — Альманах Грифа. Женитьба. Бальмонт. 17 октября. Рождество в Гиреeве. Ссора с Мишей.

1906 — Золотое Руно. Перевал. Зайцевы и др. Карты.

1907 — Муни. 30 декабря разъезд с Мариной. Карты.

1908 — „Молодость". Голос Москвы и пр. Голод. Беклемишев. Карты.

1909 — Пьянство. Гиреево. Женитьба Муни. Карты.

1910 — Маскарад. Женя Муратова. Пожар. „Марина из Грубаго". Карты, пьянство.

1911 — Пьянство. Карты. Италия. СПБ. Смерть мамы. Босячество. Нюра. Смерть отца. Голод. Зима в Гиреeве.

1912 — Дом Б... Институт красоты. Валентина. Т. Савинская.

1913 — Валентина. Мусагет. Голод. Гиреево. „Летучая мышь". Дом Андреева. Смерть Нади Львовой.

1914 — Футуристы. Пьянство. „Счастливый домик". Игорь Северянин. Русские ведомости. „София". Война.

1915 — Таня Саввинская. Финляндия. Царское село. Дом Мартынова. Именины Л. Столицы.

1916 — Таня Савв. Смерть Муни. Коктебель. Армяне, финны, латыши. Женя Богословская.

1917 — Революция. Клуб писателей. Коктебель. „Народоправство". Ссора с Г. Чулковым. Октябрь. Евреи.

1918 — Толстые. Амари. Вечера. Наркомтруд. Книжная лавка. Всемирная литература.

1919 — Лавка. Книжная палата. Голод.

1920 — Голод. Болезнь. „Путем зерна". Петербург.

1921 — Диск и пр. Бельское устье. Книги. К а т а с т р о ф а."

(Несколько строк для разъяснения этих коротких записей:

Городовой — первое воспоминание.

Овельт — ксендз, ходивший в дом родителей.

Париж — поездка родителей на Парижскую выставку.

Грамота — научился читать трех лет.

Маня — старшая сестра.

Конек-горбунок — первый увиденный балет. С этого началось увлечение танцами.

Оспа — черная, не оставившая следов на лице.

Брюсов — Александр, товарищ по классу, брат поэта.

Женя Кун — первая детская любовь.

„Три разговора" — В. Соловьева.

„Северные цветы" — журнал.

„Гриф", „Золотое руно" — тоже.

Прасолов, Тимирязев — представители золотой московской молодежи.

Достоевский — Ф. Ф., сын писателя.

Тарновская — первая серьезная любовь.

Гофман — Виктор, поэт.

Марина — первая жена, урожденная Рындина.

Муни — Самуил Киссин, женатый на сестре Брюсова, Лидии.

„Молодость" — первая книга Ходасевича.

Женя Муратова — первая жена П. П. Муратова.

„Марина из Грубаго" — роман Тетмайера, перевод Ходасевича.

Нюра — вторая жена В. Ф., урожденная Чулкова (сестра Георг. Ив.).

Валентина — В. М. Ходасевич, художница, племянница В. Ф.

„Летучая мышь" — театр Балиева. Ходасевич переводил и писал для него.

Надя Львова — см. „Стихи Нелли" Брюсова.

„Счастливый домик" — вторая книга стихов Ходасевича.

Л. Столица — поэтесса. В гостях у нее В. Ф. упал и сместил себе позвонок.

Коктебель — дача М. А. Волошина.

Армяне, финны, евреи и т. д. — переводы на русский Ходасевича.

Толстые — Ал. Ник. и Нат. Вас.

Амари — М. О. и М. С. Цетлины.

„Путем зерна" — третий сборник стихов Ходасевича.

Бельское устье — летом 1921 г. (Псковская губ.).

Теперь передо мною было его прошлое, его жизнь *до* меня. Я тогда много раз подряд перечитала эту запись. Она

заменила мне альбом семейных фотографий, она иллюстрировала драгоценную для меня книгу — и такой я любила ее. К этому куску картона он тогда же приложил свой шуточный „дон-жуанский список" — этот список долго забавлял меня:

Евгения
Александра
Александра
Марина
Вера
Ольга
Алина
Наталия
№№
Мадлен
Надежда
Евгения
Евгения
Татьяна
Анна
Екатерина
Н.

На вокзале, растерянные, смущенные, грустные, взволнованные, стояли мои отец и мать. Отъезд наш был сохранен втайне, этого хотел Ходасевич. Я не простилась ни с Идой, ни с Лунцем, ничего не сказала Ник. Чуковскому. Петербург отступил от меня — разъездами рельс, водокачками, пустыми вагонами (40 человек, 8 лошадей. Брянск-Могилев), Адмиралтейской иглой — частью моей детской мифологии. Отступил этот год, начавшийся в одном июне и кончившийся в другом, без которого я была бы не я, год дарованный мне судьбой, наполнивший всю меня до краев, чувствами, мыслями, перепахавший меня, научивший встречам с людьми (и человеком), окрыливший меня, завершивший период юности. Бедный Лазарь был теперь так богат, что готов был уже начать раздаривать то, что имел, налево и направо.

В товарном вагоне, в котором нас перевозили через границу в Себеже, Ходасевич сказал мне, что у него есть неоконченное стихотворение и там такие строчки:

Я родился в Москве. Я дыма
Над польской кровлей не видал,
И ладанки с землей родимой
Мне мой отец не завещал.

России пасынок, о Польше
Не знаю сам, кто Польше я,
Но восемь томиков, не больше,
И в них вся родина моя.

Вам под ярмо подставить выю
И жить в изгнании, в тоске,
А я с собой мою Россию
В дорожном уношу мешке...

Вокруг нас на полу товарного вагона, лежали наши дорожные мешки. Да, там был и его Пушкин, конечно, — все восемь томов. Но я уже тогда знала, что никогда не смогу полностью идентифицироваться с Ходасевичем, да я и не стремилась к этому: Россия не была для меня Пушкиным только. Она вообще лежала вне литературных категорий, как лежит и сейчас, но в категориях исторических, если под историей понимать не только прошлое и настоящее, но и будущее. И мы говорили с ним о других неоконченных стихах и о том, что я могла бы может быть продолжить одну его начатую поэму, которую он никак не может дописать:

Вот повесть. Мне она предстала
Отчетливо и ясно вся,
Пока в моей руке лежала
Рука послушная твоя.

Я взяла бумагу и карандаш и, пока поезд медленно шел от одного пограничного контроля к другому, приписала к этим его четырем строкам свои четыре:

Так из руки твоей горячей
В мою переливалась кровь,
И стала я живой и зрячей,
И то была — твоя любовь.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Из окна моей комнаты в берлинском пансионе Крампе видны окна напротив. Пансион помещается на четвертом и пятом этажах огромного дома с мраморной лестницей, канделябрами, голой фигурой, держащей электрический факел. Комнаты наши выходят во двор, комнаты Крампе занимают оба этажа, два круга окон, и всё это — Крампе. И есть комнаты, которые выходят на площадь — Виктория-Луиза-Платц — два этажа по фасаду — тоже Крампе (там живет Гершензон). Сама Крампе серьезная, деловая, лысая старая дева; впрочем, живет она с художником, лет на двадцать моложе ее. Из окна моей комнаты я вижу, как они вместе пьют кофе по утрам. Вечерами она сидит над счетными книгами, а он пьет ликер Канторовица. Потом они задергивают шторы, потом тушат свет.

В другом окне жильцы комнаты № 38. Она толстая и он толстый. Они раздеваются медленно, аккуратно складывают, каждый на свой стул, белье, платье, потом ложатся (я, кажется, слышу их кряхтенье) в двуспальную кровать. Шторы они не спускают, пусть смотрят к ним в окна кто хочет — им всё равно уютно, скрывать нечего и совесть чистая. Под кроватью — фаянсовый ночной горшок, у кровати рядком — ночные туфли, над изголовьем — мадонна Рафаэля.

Над ними в окне горит яркая лампочка. „Серапионов брат" Н. Никитин, вчера приехавший из Петербурга (и привезший мне письмо от Лунца), буйный, как с цепи сорвавшийся, весь день покупал себе носки и галстуки в магазине Кадеве, потом выпил и привел к себе уличную девицу с угла Мотц штрассе. Она, совершенно голая, жеманится в кресле, он — на кровати, видна только высоко закинутая волосатая нога.

Рядом с ним — комната Андрея Белого. Он выдвинул ящик ночного столика и не может его вдвинуть обратно: мешает шишечка, он держит его не в фас, а в профиль.

Он долго бьется над ним, но ящичек войти не может. Он ставит его на пол и смотрит в него, потом делает над ним какие-то странные движения, шепчет что-то, будто заклиная его. И вот он опять берет его — на сей раз так, как надо, — и ящик легко входит, куда следует. Лицо Белого сияет счастьем.

Под окном Белого — комната вице-губернаторши М. Она ходит в глубоком трауре не то по „государю-императору”, не то по Распутину, которого она близко знала. Она в первый же день с отвращением посмотрела на меня за табльдотом и потом спросила: что такое пролеткульт? училась ли я в пролеткульте? кончила ли пролеткульт? собираюсь ли ехать обратно и держать экзамены в комсомол?

Я, насмотревшись в чужие окна, надеваю на себя брюки, рубашку, пиджак и ботинки Ходасевича, прячу волосы под его шляпу, беру его трость и иду гулять. Иду по зеленому Шарлоттенбургу, по тихим улицам, где деревья сошлись ветвями и не видно неба, по притихшему Вильмерсдорфу, где в русском кабаке распевают цыганские романсы и ругают современную литературу — всех этих Белых и Черных, Горьких и Сладких, — где в дверях в ливрее стоит генерал X., а подает камерюнкер Z. Сейчас они еще раритеты, уники. Скоро их будет много, ой, как много! Париж и Лондон, Нью-Йорк и Шанхай узнают их и привыкнут к ним.

Прошлое и настоящее переплетаются, расплавляются друг в друге, переливаются одно в другое. Губернаторша и генерал, клянущие революцию, и поэт Минский, младший современник Надсона, приветствующий ее; едва унесшие ноги от революции „старые эмигранты”, то есть социалисты царского времени, вернувшиеся к себе в Европу после того, как часок побыли на родине; и пионер велосипеда и фотографии Вас. Ив. Немирович-Данченко, весь в бакенах, в пенсне на черной ленте, носящий перед собой круглый живот свой, нажитый еще в предыдущее царствование, и сообщающий мне в первую же минуту знакомства, что он — второй после Лопе-де-Вега писатель по количеству им написанного (а третий — Дюма-отец). И Нина Петровская, героиня романа Брюсова „Огненный Ангел”, брюсовская Рената, в большой черной шляпе, какие носили в 1912 году,

старая, хромая, несчастная. И писательница Лаппо-Данилевская (говорят, знаменитая была, вроде Вербицкой), пляшет в русском кабаке казачка с платочком, вокруг в присядку пошедшего Серапионова брата Никитина — впрочем, они не знакомы.

Рядом с этим живет день настоящий: приходят к нам Виктор Шкловский, Марк Слоним, немного позже приезжают из России („для поправления здоровья") Пастернак, Вл. Лидин, пушкинист Модест Гофман, Н. Оцуп, В. Ирецкий. И не совсем понятно: к прошлому или настоящему принадлежат мелькающие то у нас, то в Литературном клубе (на Ноллендорф Платц), то в русском ресторане на Гентинерштрассе, фигуры С. К. Маковского, Сергея Кречетова, художника Масютина, Амфитеатрова-Кадашева (сына), проф. Ященки, Ляцкого, Семена Юшкевича, С. Рафаловича. И целый рой издателей, издающих всё, что угодно, от воспоминаний генерала Деникина и стихов Игоря Северянина до кулинарных книг.

Всё это носится по Берлину и постепенно начинает находить свои места: генералы и вице-губернаторы отходят в небытие, социалисты-революционеры, обрастая Керенским, Черновым, Зензиновым, Постниковым, Гуковским, — в одну сторону, эс-деки (Белицкий, Сумский, Далин) — в другую. Москвичи — Зайцевы, Осоргин, Муратов, Бердяев, Вышеславцев, Степун, Белоцветов держатся дружно; вокруг издательства „Геликон" группируются Шкловский, Белый, Эренбург, Натан Альтман, Ремизов. У Шкловского я встречаю Р. О. Якобсона, Эльзу Триолэ (сестру Л. Брик), художника Ивана Пуни. Кадетов мы не видим, и в газете их („Руль") пишут далекие от нас люди: сам редактор И. В. Гессен, Ю. Айхенвальд, Глеб Струве, молодой Набоков. Мелькают друг Блока, издатель „Алконоста" Алянский, старая переводчица З. Венгерова, актеры Лаврентьев, Миклашевский, Чабров, поэтесса Анна Присманова, философ Лев Шестов и возвращающийся в Россию (чтобы там погибнуть) Абрам Лежнев.

30 июня 1922 г. мы приехали в Берлин. Белый уехал в Цоссен 3-го июля и перед своим отъездом один раз был и не застал, а потом только забежал на полчаса проститься, сказав, что вернется в Берлин в сентябре. Я его не видела.

Когда я вернулась домой, вся комната была в пепле, окурки были натыканы в чернильницу, в мыльницу, пепельницы были полны, и Ходасевич сказал, что в ту минуту, когда Белый вошел в дверь — всё кругом преобразилось. Он нес с собой эту способность преображения. А когда он ушел, всё опять стало, как было: стол — столом и кресло — креслом. Он принес и унес что-то, чего никто другой не имел. И я до 11-го сентября ждала Белого. 11-го сентября он опять появился в Берлине.

В Берлине Ходасевича ждало письмо Горького. Он выехал к Горькому в Херингсдорф сейчас же, как приехал, и провел там два дня. Замелькали дни: 4-го июля — первая встреча с Шкловским за границей, 5-го — первая встреча с Цветаевой, 21-го с Эренбургом. 18-го августа Ал. Н. Толстой читал публично свою комедию „Любовь — книга золотая" (в этот день Ходасевич отправил Мариэтте Шагинян длинное письмо). 27-го августа мы оба на три дня уехали к Горькому, 1-го сентября был литературный вечер в кафе Ландграф (первая моя встреча с Пастернаком), 8-го — опять кафе Ландграф: Пастернак, Эренбург, Шкловский, Зайцев, Муратов и другие. 11-го — возвращение Белого. 15-го — опять Ландграф, где Ходасевич читал свои стихи. 22-го приходила к нам Нина Петровская. 24-го вечером — в Прагер Диле на Прагер Платц — около пятнадцати человек составили столики в кафе (Пастернак, Эренбург, Шкловский, Цветаева, Белый...). 25-го, 26-го, 27-го приходил к нам Пастернак. 26-го вечером мы все (с Белым) были на „Покрывале Пьеретты" (пантомима А. Шницлера с Чабровым, гениальным Арлекином; через пять лет он стал монахом католического монастыря в Бельгии). 1-го октября — вечер в честь Горького*). 10-го — первое появление у нас В. В. Вейдле, тоненького, светловолосого, скромного. 17-го и 18-го опять Пастернак и Белый, с ними в кафе, где толпа народу, среди них — Лидин и Маяковский. 27-го доклад Шкловского в кафе Ландграф, 3-го ноября — доклад Ивана Пуни. 4-го Муратов и Белый у нас, 10-го я в Ландграфе читаю стихи. 11-го Пастернак, Муратов и Белый у

---

*) 25-го сентября исполнилось тридцать лет его литературной деятельности.

нас — а в скобках приписано, „как каждый день". Так идут день за днем краткие записи Ходасевича. И отдельный к ним листок: „Встречи с Белым":

„1922 г.	БЕРЛИН.
июль:	1, 3 (2 раза)
август:	8 (1)
сентябрь:	11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30 (15)
октябрь:	1, 2, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 (20)
ноябрь:	1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15 (10)
	СААРОВ.
ноябрь:	23, 24, 25 (3)
декабрь:	6, 7, 8, 9, 13, 31 (6)
1923.	СААРОВ.
январь:	1, 2, 10 (3)
февраль:	1, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 (9)
март:	1, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (7)
май:	9, 15, 18, 22, 23 (5)
	БЕРЛИН.
июль:	1, 4, 5, 6, 8, 11 (6)
	ПРЕРОВ.
август:	14—27 (14)
	БЕРЛИН.
август:	30, 31 (2)
сентябрь:	3, 4, 5, 6, 7, 8 (6)".

Андрей Белый был в тот период своей жизни — 1921—1923 гг. — в глубоком кризисе. Будучи со дня своего рождения „сыном своей матери", но не „сыном своего отца", он провел всю свою молодость в поисках отца, и отца он нашел в антропософе Рудольфе Штейнере, перед первой мировой войной. Вернувшись на Запад в 1921 году, после голодных лет военного коммунизма, он встал перед трагическим фактом: Штейнер отверг его, и Белый, потрясенный раскрывшимся перед ним одиночеством, возвращенный в свою исконную беззащитность, не мог ни преодолеть их, ни вырасти из них, ни примириться с ними. Причины, по которым Штейнер отверг его, ясны тем, кто близко знал

Белого в эти годы в Германии. Одновременно Белый, после пяти лет жизни в России, не вернул и ту, которая — он думал — автоматически вернется и которая, после его неудачной любви к Л. Д. Блок, казалась ему якорем спасения, — но которая никогда не собиралась им быть. Его пьянство, его многоречивость, его жалобы, его бессмысленное и безысходное мучение делало его временами невменяемым. Поправить можно было всё только изнутри, в себе самом, как это почти всегда (не всегда ли?) бывает в жизни. Он, однако, жил в надежде, что переменятся обстоятельства, что та, которая не вернулась, — каким-то образом „поймет" и вернется, и что тот, который отверг его — вновь примет его в лоно антропософии. Белый не видел себя, не понимал себя, не знал („жизнь прожить не сумел"), не умея разрешить ни этого кризиса, ни всей трагической ситуации своей, требуя от окружающего и судьбы для себя „сладкого кусочка", а его не могло быть, как не может быть его у тех, кто хоть и остро смотрит вокруг, но не знает, как смотреть в себя. Он жил в глухоте, не слыша хода времени и полагая в своем безумии, что „мамочку" он найдет в любой женщине, а „папочку" — в ускользнувшем от него учителе жизни. Но люди кругом становились всё безжалостнее, и это было законом времени, а вовсе не модой, веком, а не днем. Безжалостное в людях нашего времени началось еще в 80—90-х годах прошлого века, когда Стриндберг писал свою „Исповедь глупца", — там можно найти некоторые ответы на двуострую драму Андрея Белого. „Пожалейте меня!" — но никто уже не умел, да и не хотел жалеть. Слово „жалость" доживало свои последние годы, недаром на многих языках это слово теперь применяется только в обидном, унижающем человека смысле: с обертоном презрения на французском языке, с обертоном досады — на немецком, с обертоном иронического недоброжелательства — на английском. От „пожалейте меня!", сказанного в слезах, до удара громадным кулаком по столу: „проклинаю всех!" — он почти каждый вечер проходил всю гамму своего отношения к людям, в полубреду, который он называл „перерывом сознания". Я видела его однажды играющим на старом пианино „Карнавал" Шумана. Никто не слушал его, все были заняты

своим, собой, то есть „свирепейшей имманенцией". На следующий день он не поверил мне, когда я сказала, что он играл Шумана, а я с удовольствием слушала его — он ничего не помнил. В другой вечер он два раза рассказал Ходасевичу и мне, в мельчайших подробностях, всю драму своей любви к Л. Д. Блок и свою ссору с А. А. Блоком, и когда, без передышки, начал ее рассказывать в третий раз, я увидела, что Ходасевич скользит со стула на пол в глубоком обмороке. В ту ночь Белый шумно ломился в дверь ко мне, чтобы что-то досказать, и Ходасевич, в холодном поту, шопотом умолял меня не открывать, не отвечать — он боялся, что опять начнется этот дикий, страшный, не имеющий в сущности ни смысла, ни конца рассказ.

Я знала и знаю его наизусть. Бледное отражение его можно найти в „Воспоминаниях" Белого (в обоих изданиях: первом, основном, и втором, переделанном для советской печати). Я знаю этот рассказ таким, каким его слышала несчетное количество раз. Да и не я одна. Было человек пять-шесть в то время в Берлине, которые попадались Белому вечерами между улицами Пассауэр, Аугсбургер, Прагер и Гейсберг. Кое-кто из ходивших с ним ночами в трактир „Цум Патценхофер" еще жив и сейчас. Но они не расскажут всего, как и я не расскажу всего. В начале этой книги я сказала, что люблю *свои* тайны. Но я также храню и тайны других*).

Белый любил Ходасевича. Быть может в период сентябрь 1922 — сентябрь 1923 не было человека на свете, которого бы он любил сильнее. Он любил меня, потому что я была женой Ходасевича, но иногда он пытался восстановить меня против него, что ему, конечно, не удавалось. Ходасевич не

---

*) Об этих настроениях Белого много верного появилось в печати в 1964 году в России, в книге превосходного „блоковеда" и автора статей о символизме, Влад. Ник. Орлова, „Пути и судьбы". Пораженная его глубоким пониманием и чувством эпохи, я решила весной 1964 г. написать ему письмо в Ленинград и спросить его, не могла ли бы я ему сообщить некоторые дополнительные сведения о Белом — уже не на адрес типографии „Советского писателя", куда я писала, а на его домашний адрес. Орлов ответил мне и я послала ему заказное письмо на семи страницах. Орлов дал мне знать, что мое письмо было получено.

обращал на это никакого внимания, „предательство" в Белом было очень сильно, оно было и в малом, и в большом, но я и теперь думаю (как мы оба думали уже и тогда), что он был в тот период своего кризиса, как на смерть раненый зверь, и все средства казались ему хороши — делать больно другим, когда ему самому сделали так больно — лишь бы выйти из него, все удары были дозволены.

А параллельно с этим он писал, иногда целыми днями, иногда — ночами. Это было время „Воспоминаний о Блоке", которые печатались в „Эпопее". Зимой мы жили в Саарове, под Берлином, где жил и Горький с семьей. Борис Николаевич гостил у нас часто (см. стр. 177) и писал, а вечерами читал нам вслух написанное. Да, я слышала в его чтении эти страницы воспоминаний о Блоке, я имела это высокое, незабываемое счастье. Бывало, до двух часов ночи он читал нам, сидя за столом, в своей комнате, по черновику, а мы сидели по обоим сторонам его и слушали. И один раз я помню, как я легла на его кровать, это было вечером 1-го января, накануне была встреча Нового года у Горького и я легла в пять часов утра, а днем мы гуляли втроем по снежным дорожкам Саарова. Я легла на его кровать и, пока он читал, уснула. Мне было стыдно сказать, что я была не в силах бороться со сном, попросить его прервать чтение, отложить на завтра. Я заснула крепким сном и временами, сквозь сон, слышала его голос, но не могла проснуться. Ходасевич поблескивал очками, обхватив руками худые колени, покачиваясь, внимательно слушал. Это были главы „Начала века".

— Какое придумать название к этой части? — беспокойно спрашивал нас Белый несколько дней подряд.

— „Начало века", — как-то сказала я случайно, и так он и сделал.

Женщины вокруг него в тот год, когда я знала его, видели все симптомы его слабости, но не понимали ее. Многие из них в эту эпоху бури и натиска женской инициативы во всем (и в нашей среде) часто больше интересовались, как работает дизель, чем закатами солнца, и Белый не узнавал в них жеманных, переутонченных (сейчас — смехотворных для нас) декаденток своей молодости. Когда из Москвы приехала К. Н. Васильева (ставшая впоследствии

его женой), он встретил в ней частично то, что искал: „мамочку", и материнскую защиту, и силу, и поддержку своим затуманенным и замученным антропософским мысле-чувствам, в соединении с отсветом на ней ортодоксального, чугунного штейнерианства. Ее не испугало это страшное распадение в нем душевных сил под уродливым, мучительным давлением вполне головного идеала. Или она не понимала кризиса и видела в Борисе Николаевиче только заблудшую овцу, существо не поддержанное идеей, скользящее в гибель, ищущее защиты от судеб? Или она и в самом деле была сильным человеком, которого он искал? Или она только сумела притвориться сильной и тем — отчасти — спасла его?

Между тем, он беспрерывно носил на лице улыбку дурака-безумца, того дурака-безумца, о котором он когда-то написал замечательные стихи: я болен! я воскрес! („свалили, связали, на лоб положили компресс"). Эта улыбка была на нем, как маскарадная маска или детская гримаса, — он не снимал ее, боялся, что будет еще хуже. С этой улыбкой, в которой как бы отлито было его лицо, он пытался (особенно, выпив) переосмыслить космос, перекроить его смысл по новому фасону. В то же время, без минуты передышки, всё его прошлое ходило внутри него каруселью, грохоча то музыкой, то просто шумом, мелькая в круговороте то лицами, а то и просто рожами и харями минувшего. Теперь бы остановить это инфернальное верчение в глубине себя, начать бы жить заново, жить настоящим, но он не мог: во-первых потому, что это было свыше его сил, и во-вторых потому, что настоящее было слишком страшно. Дурак-безумец иногда вдруг как на пружине выскакивал из него с какой-то злобой. Я как-то спросила его:

— Борис Николаевич, вы любите Цветаеву? — В этом вопросе, принимая во внимание весь контекст нашего разговора, было мое любопытство к его отношению и к стихам Марины Ивановны, и к ней самой. Он еще шире раздвинул рот, напомнив Николая Аполлоновича Аблеухова, и ответил слово в слово следующее:

— Я очень люблю Марину Ивановну. Как же я могу ее

не любить? Она — дочь профессора Цветаева, а я — сын профессора Бугаева.

Я не поверила своим ушам и через год, в Праге, когда он уже был в Москве и уже было напечатано его стихотворение к ней (про малиновые мелодии), рассказала про этот ответ Марине Ивановне. Она засмеялась с какой-то грустью и сказала, что она не раз слышала от него совершенно такие же дурацкие ответы на вопросы о людях и книгах. (Она использовала его ответ мне в своих воспоминаниях о Белом.)

И тут же рядом шло и другое: „Воскрес я! Смотрите! Воскрес!" Тогда, и до этого, конечно, а вероятно и позже, в разговорах, и еще чаще в писаниях, достигал он высоты невероятной, с которой тут же скатывался вниз, „шлепался" (одно из его любимых слов) в лужу — „метафизическую", конечно! От лягушки в луже до образа Христа можно проследить в его прозе и поэзии эти взлеты и падения, которые обыкновенным людям бывали почти всегда непонятны, часто противны, а порой и отвратительны.

У Николая Аполлоновича Аблеухова была улыбка лягушки, у Белого в берлинский период была не только улыбка, все его движения были лягушачьи. Он после стука в дверь появлялся где-то ниже дверной ручки, затем прыжком оказывался посреди комнаты, выпрямлялся во весь рост, казалось, не только его ноги, но и его руки всегда готовы были к новому прыжку, огромные, сильные руки с коричневыми от табака пальцами, растопыренными в воздухе. Волосы, почти совсем седые, летали вокруг загорелой лысины, топорщились плечи пиджака, сшитого из толстого „эрзатца" — немецкого твида „рябчиком".

В „Исповеди глупца" великого шведа, о которой я уже упоминала, есть страницы, через которые, как через таинственное стекло, видишь Белого. Есть и другие у него предшественники и старшие современники, которые вместе с ним непоправимо, неизлечимо были ушиблены своим временем (а может быть и убиты им), когда век двадцатый поворачивал на свою дорогу, жестокую, открытую всем ураганам внешним и внутренним, поворачивал, раскрывая в точных науках (о вселенной внутри нас и вне нас) новые пропасти и повороты, от которых слепило в глазах, — не у

тех, которые двигали свое время и строили его, но у тех, которые и хотели бы двигать и делать его, но не знали, как им расстаться с Кантом, Блаженным Августином, Евклидом, Ньютоном и Аквинатом. Они отталкивались от прошлого и отталкивались с огромной творческой силой, но в ту же секунду трепетали от образа будущего или каменели от него, как от лица Горгоны. У всех у них была великая способность плыть против течения при полном отсутствии таланта жить в своем собственном меняющемся времени.

Можно себе представить Блока в эмиграции, Горького в эмиграции, даже Маяковского в эмиграции. Но Белый мыслим в эмиграции только в одном единственном аспекте: тенью Штейнера в Дорнахе, строющего новый Гетеанум (после пожара первого, который был выстроен руками учеников Штейнера, в том числе — руками Белого), тенью Штейнера живого, и тенью Штейнера мертвого („доктор" умер в 1925 году), и живущего, как за каменной стеной, в крепости своего швейцарского мировоззрения до смертного часа. Но крепости быть не могло — на этом месте между Борисом Николаевичем и „доктором" образовался за годы 1916—21 ров, в котором, как выразился бы сам Белый, кишели чудовища. И когда Белый окончательно осознал, что ни „отца", ни „матери" он на пути в Дорнах не найдет, он кинулся в Россию: твердая рука К. Н. Васильевой (казавшаяся ему в ту минуту тверже, чем она на самом деле была) помогла ему найти туда дорогу.

Но сила его гения была такова, что несмотря на все его тягостные юродства, ежевечернее пьянство, его предательства, истерическую возню со своим прошлым, которое всё никак не хотело перегореть, несмотря на все не только „сочащиеся", но и „гноящиеся" раны, каждая встреча с ним была озаряющим, обогащающим жизнь событием.

Он приходил к нам и рассказывал что-нибудь, приблизительно в следующем стиле:

— Пролета́ю трамва́ем по Ку́рфюрстенда́мму я. Вижу: пёсик у ту́мбочки но́жку подняв о чём-то заду́мался. Вдруг да́ма кака́я-то ста́вит мне но́гу свою на кало́шу. — Суда́рыня? За кого́ вы меня принима́ете? А она́: Я вас зна́ю

давно́, я тебя вижу в сна́х моих та́йных. Наши ду́ши — родные. Ты по́мнишь у Ге́те:

Ach, du warst in längst vergangnen Zeiten
Meine Schwester oder meine Frau, —

Когда́ сотворим мы с тобо́й эту дивную ска́зку?

Я бежа́л, соскочив на ходу́, и навстре́чу бежа́ли уро́ды неме́цкие, и я бился в толпе́, пробива́ясь локтями, ища́ того пёсика, под рекла́мой сига́рной. ... И вот — добежа́л я до ва́с... Дорога́я, чайку́ бы мне ча́шечку, а е́сли найде́тся пече́ньице, то и пече́ньица...

Он приходил к нам, и мы шли куда-нибудь „посидеть" — начиналось это иногда в семь, иногда в девять часов вечера, и кончалось далеко за полночь. Или он уводил нас, после какого-нибудь литературного собрания, в пивную „Цум Патценхофер" и там держал разговорами до закрытия трактира, то есть часов до двух-трех. Или, когда мы переехали в Сааров и он приезжал к нам на несколько дней, иногда на неделю, он писал, читал нам написанное, иногда отделывал и писал вторично, и опять уводил нас „посидеть" с ним, то есть выпить в кафе, ресторане или пивной, иногда туда, где люди танцевали, и он тоже танцевал — слишком частая потребность таких, как он, физически не защищенных и в чем-то незрелых людей, мучимых до старости соблазнами и боящихся этим соблазнам предаться, а может быть не умеющих им предаться. А может быть и не могущих?

Об этих наших ночных прогулках по Берлину Ходасевич написал замечательное стихотворение: мы все трое в нем — как три ведьмы в „Макбете", — но с песьими головами:

С берлинской улицы вверху луна видна,
В берлинской улице ночная тень длинна,
Дома, как демоны, между домами мрак,
Шеренги демонов и между них сквозняк.
Дневные помыслы, дневные души — прочь!
Дневные помыслы перешагнули в ночь.
Опустошенные, на перекрестки тьмы,
Как ведьмы, по-трое, тогда выходим мы.
Нечеловечий дух, нечеловечья речь,
И песьи головы поверх сутулых плеч.

Зеленой точкою глядит луна из глаз,
Сухим неистовством обуревая нас,
В асфальтном зеркале сухой и мутный блеск,
И электрический над головами треск.

Иногда с ним вместе приезжала в Сааров К. Н. Васильева. Она была похожа на монашку („антропософская богородица", иногда в сердцах называл ее Борис Николаевич, конечно — за ее спиной, но так называл он и других своих антропософских подруг). Она носила черное, длиное платье, черный шерстяной платок на узких плечах. Мне (да и всем вокруг) она казалась без возраста, она никогда не улыбалась, с тонкими, поджатыми губами, красным носиком, гладкой прической. Она ложилась рано в отведенной ей комнате, рядом с моей (мы тогда жили в гостинице при вокзале), и ни одного звука не раздавалось за стеной. Ее Борис Николаевич не просил ни „посидеть" с ним, ни потанцевать с ним, ни выслушать еще раз всю драму его любви к Л. Д. Блок, ни пересмотреть развалины прекрасного когда-то здания его антропософских верований. Она держалась в стороне от всех его надрывов и конечно не могла бы найти себе места среди тех женщин, которых он тогда ставил в один ряд — от Сикстинской мадонны до уличной проститутки (причем иногда одна и та же женщина была и тем и другим почти одновременно). Впрочем, у К. Н. Васильевой тоже был целый ряд различных воплощений: иногда в его диком воображении она была защитой и убежищем, „почти что мамочкой", а иногда он готов был приписать ей коварную роль: она подослана „доктором" следить за ним и спасти его! Какая-то мысль „спасти" его, видимо, уже тогда жила в этой женщине, но угадать, что она станет его женой, было совершенно невозможно. Она была, как говорилось когда-то, особой загадочной, то есть не раскрывала ни сути своей, ни планов своих, а, впрочем, может быть ни того ни другого в настоящем смысле тогда еще не было.

Летом 1923 года он приезжал в приморское местечко Преров, где жили Зайцевы, Бердяевы, Муратов и мы. Шел дождь. Мы играли в шахматы с Муратовым и вели долгие разговоры, потом топили печку, ходили гулять на берег Балтийского моря в плащах, под ветром и дождем, вечером

смотрели в кино „Доктора Мабузе". У Зайцевых, как всегда, было светло, тепло и оживленно, с тяжелой тростью Н. А. Бердяев выходил на свою ежедневную прогулку в дюны. Его жена и теща были обе больны коклюшем.

Потом все вернулись в Берлин и вдруг стремительно быстро оказалось, что все куда-то едут, разъезжаются в разные стороны, кто куда. В предвидении этого близкого разъезда, 8-го сентября мы собрались сниматься в фотографии на Тауенцин штрассе, и Белый пришел тоже, но раздраженный и особенно напряженно улыбающийся. Гершензон еще месяц тому назад сказал Ходасевичу, что когда он ходил в советское консульство за визой в Москву для себя и семьи (он уехал 10-го августа), то встретил в консульстве Белого, который тоже хлопотал о возвращении. Нам об этом своем намерении Белый тогда еще не говорил. Помню грусть Ходасевича по этому поводу — не столько, что Белый что-то важное о себе от него скрыл, сколько по поводу самого факта возвращения его в Россию. Ни минуты Ходасевич не думал отсоветовать Белому ехать в Москву — Ходасевич открыто говорил, что для него совершенно неясно, что именно Белому лучше сделать: остаться или вернуться. Он принял, как неизбежное, и возвращение Гершензона, и возвращение Шкловского (после его покаянного письма во ВЦИК, 21-го сентября), и возвращение в Москву А. Н. Толстого и Б. Пастернака, и долгие колебания Муратова, который в конце концов остался. Но тревога за Бориса Николаевича была совсем иного свойства: как, где и для кого сможет он лучше писать?

8-го сентября утром был сделан групповой снимок (в 1961 году приложенный мною к Собранию стихов Ходасевича, изданному в Мюнхене), а вечером был многолюдный прощальный обед. И на этот обед Белый пришел в состоянии никогда мною не виданной ярости. Он почти ни с кем не поздоровался. Зажав огромные кисти рук между колен, в обвисшем на нем пестро-сером пиджачном костюме, он сидел ни на кого не глядя, а когда в конце обеда встал со стаканом в руке, то, с ненавистью обведя сидящих за столом (их было более двадцати) своими почти белыми глазами, заявил, что скажет речь. Это был тост как бы за самого себя. Образ Христа в эти минуты ожил в этом юродствую-

щем гении: он требовал, чтобы пили за него потому, что он уезжает, чтобы быть распятым. За кого? За всех вас, господа, сидящих в этом русском ресторане на Гентинер-штрассе, за Ходасевича, Муратова, Зайцева, Ремизова, Бердяева, Вышеславцева... Он едет в Россию, чтобы дать себя распять за всю русскую литературу, за которую он прольет свою кровь.

— Только не за меня! — сказал с места Ходасевич тихо, но отчетливо в этом месте его речи. — Я не хочу, чтобы вас, Борис Николаевич, распяли за меня. Я вам никак не могу дать такого поручения.

Белый поставил свой стакан на место и глядя перед собой невидящими глазами заявил, что Ходасевич всегда и всюду всё поливает ядом своего скепсиса и что он, Белый, прерывает с ним отношения. Ходасевич побледнел. Все зашумели, превращая факт распятия в шутку, в метафору, в гиперболу, в образ застольного красноречия. Но Белый остановиться уже не мог: Ходасевич был скептик, разрушал вокруг себя всё, не создавая ничего, Бердяев — тайный враг, Муратов — посторонний, притворяющийся своим; все сидящие вокруг вдруг обернулись в его расшатанной вином фантазии кольцом врагов, ждущих его погибели, не доверяющих его святости, с ироническими улыбками встречающих его обреченность. С каждой минутой он становился всё более невменяем; напрасно, не слушая его грубостей и не оскорбляясь ими, Зайцев и Вышеславцев старались его угомонить. Он несомненно в те минуты увидел себя, если не Христом, то святым Себастьяном, пронзенным стрелами — стены упали, драконы раскрыли свои пасти, и вот он готов умереть — ни за кого! Его повели к дверям. Я в последнюю минуту хотела сжать его руку, на мгновение предать Ходасевича, чтобы только сказать Белому, что он для меня был и будет великим, одним из великих моего времени, что его стихи, и „Петербург", и „Первое свидание" — бессмертны, что встречи с ним были для меня и останутся вечной памятью. Но он, увидев, что я подхожу к нему, весь дернулся, закинул голову, приготовился как пантера к прыжку... и я отошла или, вернее, — меня оттянули за рукав благоразумные доброжелатели. И больше я никогда не видела его. Он уехал из Берлина в Москву

23 октября 1923 года. Ему сначала отказали в визе, но затем советский консул переменил свое решение.

Ходасевич и я были дома, всё в том же пансионе Крампе, когда под вечер, прямо с вокзала Цоо, пришла к нам Вера Лурье, его друг, провожавшая его. В последнюю минуту он вдруг выскочил из поезда, бормоча „не сейчас, не сейчас, не сейчас!" Это напомнило мне сцену в „Бесах", когда Верховенский входит к Кириллову и тот в темном углу повторяет: „сейчас, сейчас, сейчас". Кондуктор втянул Белого в вагон уже находу. Он старался еще что-то крикнуть, но ничего уже слышно не было. Была ли К. Н. Васильева с ним, или она уехала в Москву раньше, я не помню. Но если она была с ним, то она конечно сидела в это время у окна вагона и спокойно читала какую-нибудь толстую книгу.

А когда Вера ушла (с красными от слез глазами), фрейлен Крампе принесла ворох бумаг, найденный ею в столе „герр профессора": он забыл их, уезжая. Вот три письма из этого вороха — остальные сожжены:

„Милый Боря,

до меня от времени до времени доходит слух, что я вторично вышла замуж.

Не знаю, что ты мог думать и говорить о моем поведении, для внешнего мира. Разрешение фрау Вальтер жить на ее квартире запоздало в силу ее отъезда. Благодаря этому я согласилась жить около 10 дней в одном пансионе со знакомым в пустующей комнате. До остального никому никакого дела нет. Быть может это достаточный повод для сплетен, но не для утверждений. Для тебя лично повторяю, что кроме того, что у меня не было желания выходить замуж, я могла бы соединить свою жизнь только с человеком, с которым была бы связана общим делом и общим устремлением.

Я не прошу тебя заботиться о восстановлении моей репутации, но мне кажется для нас обоих лучше, чтобы ты знал мое отношение к существующим слухам. Всего хорошего.

Ася.

Насколько я знаю, этот слух привезла из России Волошина. Во всяком случае те, кто видели меня вместе с К.*) из моего поведения не могли этого вывести".

Второе письмо:

„Дорогой Борис Николаевич,

Много, много думаю о Вас и сколько раз хотела писать. Но не могла. Садилась и передо мной вдруг вставал кто-то далекий, чужой, заслонял милого, родного, который так близок мне. Слова обрывались и ничего, ничего писать не могла, не могла выразить того, что поднималось в душе. Тот другой мешал. Казалось письмо не дойдет, перехватит он его, отбросит.

Помните, Борис Николаевич, мы с Вами говорили о закрытости людей, о гранях их отделяющих. Когда с Вами была, писала Вам, падали для меня эти грани, говорилось от души к душе, свободно. Сейчас что-то воздвиглось, но не верю, чтобы иллюзией было то чувство раскрытости, общения.

Мне нечего писать тому, чужому, далекому. Перед ним чувствую себя глупой, маленькой, Вы и не поймете, посмеетесь надо мной.

А Вам, Борис Николаевич, сказать много, много надо, даже не сказать, а напомнить о себе, что думаю о Вас, люблю. Дорогой, мой милый. Тут вот самые разнообразные слухи о Вас, но как-то кажется, что чувствую, как Вы, потому пишу. Если чуждо прозвучат слова, если пусто — значит ошиблась и действительно никогда не подойдет человек к другому, не поймут. Больше чем когда-либо слова не идут, но не в словах дело. Словами не сделаешь ничего.

Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется,
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.

Вот то время для меня светом стоит. И теперь, когда Вам трудно, когда быть может пусто, хочется навстречу

*) Александр Кусиков, поэт-имажинист.

пойти и многое в Вас закрыто для меня, но чувствую душу Вашу, за Вас молюсь. И второго другого боюсь. Вот пишу и всё-таки двойственно. Хочется договориться до конца, всё свое открыть, а третий мешает. Если не поймете, значит виноват он, потому что я говорю правдиво до конца, потому что я для Вас на всё готова и ничего не требую. Милый, дорогой, приезжайте. Люблю, люблю Вас. Так соскучилась по Вас, так Вас видеть хочется. Тогда кажется всё отпадет, все трудности, все разделенности.

Вот сейчас совсем с Вами, вот сейчас как будто стоите тут передо мной, и так хочется приласкать, так хочется успокоить Вас, бедного, мятущегося, милого.

Не сердитесь на меня, знайте, что от всей души тянусь к Вам, что мучительно страшно переживала это время, когда застывали слова, писать не могла, и только всей силой чувства устремлялась к Вам огромная волна нежности, любви поднималась.

Молчала, чего-то боялась, теперь не боюсь. Не верю, что-бы так вот, ни к чему. А если ненужное, значит обманулась. Ничего, ничего не понимаю, только люблю.

(Подпись)

Мне ясней и ясней путь мой. От каких-то смутных чаяний к осуществлению. Я знаю, что надо пронести через жизнь самое дорогое, самое чистое и святое, что трудно это. Пронести над жизнью и в ней, как чашу. Тогда не страшно. Во мне что-то поднимается надо мной.

Чувствую нити, протянутые к людям. Такая нить к Вам идет. Не обрывайте, не оставляйте ее в пустом пространстве.

Неужели совсем, совсем забыли?"

Третье письмо:

„Дорогой Борис Николаевич, честное слово мне давно надоело сердиться. Отчего Вы не приходите в Клуб писателей? Отчего Вы такой недобрый? Раньше Вы сами говорили, что я хорошая, а как только я немножко раскапризничалась, сразу рассердились, как будто я взрослая — на самом деле право я только

глупый ребенок, искренне к Вам привязанный. Скучаю я о Вас очень и не меньше о всех вещах в Вашей комнате, я так привыкла за время Вашей болезни хозяйничать и чувствовать себя у Вас, как дома. Мне было невыносимо, что кто-нибудь имеет право быть ближе к Вам, за это не надо на меня, Борис Николаевич, сердиться. Мне эти дни особенно без Вас грустно, как раз год с тех пор, как мы познакомились и я всё помню по дням и часам... Милый, хороший, Борис Николаевич, простите, что я пишу Вам такой вздор, но я абсолютно писать не умею, как Ваше здоровье? Надеюсь, совсем хорошо. Раньше хотела просто к Вам забежать, но побоялась.

Вера.

Как хозяйство? Передайте пузатому приятелю-чайнику от меня привет".

Вот три женских письма, от трех разных женщин, они дорисуют картину жизни Белого в Германии в 1921—23 гг. В одной из корреспонденток есть что-то от злого духа, вторая запуталась в собственной диалектике, третья обезоруживает своей невинностью, но при чтении этих писем становится ясней роль тонкогубой монашки в шерстяном платке в судьбе Андрея Белого. И вероятно она-то и была ему всех нужнее — включая и Деву-Зарю-Купину.

Белый уехал. Берлин опустел, русский Берлин, другого я не знала. Немецкий Берлин был только фоном этих лет, чахлая Германия, чахлые деньги, чахлые кусты Тиргартена, где мы гуляли иногда утрами с Муратовым. В противоположность Белому он был человеком тишины, понимавший бури, и человеком внутреннего порядка, понимавший внутренний беспорядок других. Стилизация в литературе была его спасением, „декадентству" он открыл Италию. Он был по-своему символист, с его культом вечной женственности, и вместе с тем — ни на кого не похожий среди современников. Символизм свой он носил как атмосферу, как ауру, в которой легко дышалось и ему, и другим около него. Это был не туманный, но прозрачный символизм, не декадентский, а вечный. В своей тишине он всегда был влюблен, и это чувство тоже было слегка сти-

лизовано — иногда страданием, иногда радостью. Его очарования и разочарования были более интеллектуальны, чем чувственны, но несмотря на это он был человеком чувственным, не только „умным духом". Он был щедр, дарил собеседника мыслями, которые другой на его месте записывал бы в книжечку (по примеру Тригорина и Чехова), а он отпускал их, как голубей на волю — лови, кто хочет. Часть их еще и сейчас живет во мне. Но признания и благодарности он не терпел, и любил в себе самом и в других только свободу. Он был цельный, законченный западник, еще перед первой мировой войной открывший для себя Европу, и я в тот год через него узнавала ее. Впервые от него я услышала имена Жида, Валери, Пруста, Стрэчи, Вирджинии Вульф, Папини, Шпенглера, Манна и многих других, которые были для него своими, питавшими его мысль, всегда живую, не обремененную ни суевериями, ни предрассудками его поколения.

Он бывал частым гостем у нас. Одно время приходил каждый вечер. Любил, когда я шила под лампой (о чем есть в его рассказе „Шехеразада", мне посвященном). В записях Ходасевича идет его имя подряд — то рядом с Б. Пастернаком, то с Н. Оцупом, то с Белым. С ним я пережила два моих наиболее сильных в то время театральных впечатления: „Покрывало Пьеретты", в котором участвовал Чабров, и „Принцессу Турандот"*). Чабров был гениальным актером и мимом, иначе не могу его назвать, магия его и яркий, большой талант были исключительны. С ним вместе играли Федорова-вторая (впоследствии заболевшая душевной болезнью) и Самуил Вермель, игравший Пьеро. Я и сейчас помню каждую подробность этого поразительного спектакля — ничто никогда не врезалось в мою память, как это „Покрывало" — ни Михаил Чехов в „Эрике IV", ни Барро в Мольере, ни Цаккони в Шекспире, ни Павлова в „Умирающем лебеде", ни Люба Велич в „Саломее", Когда Чабров и Федорова-вторая танцевали польку во втором действии, а мертвый Пьеро появился на балкончике (Коломбина его не видит, но Арлекин уже знает, что Пьеро тут), я впервые поняла (и навсегда), что такое настоящий

*) 3-я студия МХТ, постановка Вахтангова.

театр, и у меня еще и сейчас проходит по спине холод, когда я вспоминаю шницлеровскую пантомиму в исполнении этих трех актеров. Такой театр входит в кровь зрителя, не метафорически, а буквально, что-то делает с ним, меняет его, влияет на всю дальнейшую его жизнь и мысль, являясь ему как бы причастием. Второе воспоминание — постановка Вахтангова — менее сильно: там было больше конкретного зрелища и меньше иррационального трепета. Между прочим, с Чабровым мы не раз сидели в трактире Цум Патценхофер — он был другом Белого (как в свое время и Скрябина).

Более светскими местами были те берлинские кафе, где играл струнный оркестр и качались пары, где у входа колебались, окруженные мошкарой, цветные фонарики, под зеленью берлинских улиц. Чахлые деревья, чахлые девицы на углу Мотц штрассе. Все мы — бессонные русские — иногда до утра бродили по этим улицам, где днем чинно ходят в школу чахлые немецкие дети — те, что родились в эпоху газовых атак на западном фронте, и которых перебьют потом под Сталинградом. Иногда в Прагер Диле бывает художник Добужинский, с которым у меня завязываются дружеские отношения на 35 лет. Он относится к новой для меня категории людей, той, к которой я не так-то легко привыкаю: я попадаю под их очарование, но не могу любить то, что они делают. Он не художник для меня, он только человек, собеседник, друг. Картины его я обхожу молчанием.

Гершензон в кафе не ходит. Он раз зашел и так об этом рассказал:

— Ну, устал. Ну, жарко было. Ну, думаю, зайду в это ихнее кафе передохнуть. Зашел. Говорят: обедать надо, тут ресторан. Я им объясняю, что обедаю я в пансионе Крампе, там, где живу с семьей, и никогда в ресторанах не обедаю. Они говорят: нельзя. Смотрю: опять кафе. Зашел. Говорят: только ликеры здесь пьют. Кому нужны ихние ликеры? Дайте стакан воды. Нельзя: здесь вайнштубе. Никогда не был в вайнштубе, не понимаю, кому нужны вайнштубе? Воды не дали. Опять вижу: кафе. Вхожу, спрашиваю: вайнштубе это или не вайнштубе? Не вайнштубе, говорят. Это ресторан? Нет, это, говорят, кафе.

Фу ты черт, роскошь какая! Канделябры, люстры, ковры . . . Лакеи во фраках, женщины, понимаете, такое у них тут всё . . . А воды выпить можно? — спрашиваю. Удивляются. Сесть не предлагают, и вижу: несут мне стакан воды на подносе. Сколько? — говорю. Испугался, что денег не хватит. Ничего, говорят, за воду не возьмем. Пейте, говорят, и уходите. Ауфидерзейн . . . И это вы в таких-то местах каждый вечер сидите?

Нина Петровская появилась у нас однажды днем, в сопровождении сестры Нади. Надя была придурковатая, и я ее боялась. С темным, в бородавках, лицом, коротким и широким телом, грубыми руками, одетая в длинное шумящее платье с вырезом, в огромной черной шляпе со страусовым пером и букетом черных вишен, Нина мне показалась очень старой и старомодной. Рената „Огненного Ангела”, любовь Брюсова, подруга Белого — нет, не такой воображала я ее себе. Мне показалось, что и Ходасевич не ожидал увидеть ее такой. В глубоких, черных ее глазах было что-то неуютное, немного жутковатое, низким голосом она говорила о том, что написала *ему* письмо (она никогда не называла Брюсова по имени) и теперь ждет, что *он* ответит ей и позовет ее в Москву. Вишни на ее шляпе колебались и шуршали, как прошлогодняя листва, она употребляла странные выражения, которые больше напоминали Бальмонта, чем Брюсова: несказанный, двуликий, шел на меня, как черная птица (о ком-то, встреченном на Пассауэр штрассе). Когда она поцеловала меня, я почувствовала идущий от нее запах табака и водки. Однажды Ходасевич вернулся домой в ужасе: он три часа просидел в обществе ее и Белого — они сводили старые счеты: „Это было совершенно, как в 1911 году, — говорил он. — Только оба были такие старые и страшные, что я едва не заплакал”.

Она относилась ко мне с любопытством, словно хотела сказать: и бывают же на свете люди, которые живут себе так, как если бы ничего не было: ни Брюсова, ни 1911 года, ни стрельбы друг в друга, ни средневековых ведьм, ни мартелевского коньяка, в котором *он* когда-то с ней купал свое отчаяние, ни всей их *декадентской саги*. Из этого один только коньяк был сейчас доступен, но я отказывалась пить с ней коньяк, я не умела этого делать. Она

приходила часто, сидела долго, пила и курила и все говорила о нем. Но Брюсов на письмо ей не ответил.

Через несколько лет, в Париже, после смерти сестры, она несколько дней прожила у нас в квартире на улице Ламбларди. С утра она, стараясь чтобы я не заметила, уходила пить вино на угол площади Дюмениль, а потом обходила русских врачей, умоляя их прописать ей кодеин, который действовал на нее особым образом, в слабой степени заменяя ей наркотики, к которым она себя приучила. Жизнь ее была трагической с самого того дня, как она покинула Россию. Чем она жила в Риме во время первой войны — никто ее не спрашивал, вероятно отчасти — подаянием, если не хуже. Ночью она не могла спать, ей нужно было еще и еще ворошить прошлое. Ходасевич сидел с ней в первой, так называемой „моей" комнате. Я укладывалась спать в его комнате, на диване. Измученный разговорами, куреньем, одуревший от ее пьяных слез и кодеинового бреда, он приходил под утро, ложился около меня, замерзший (ночью центрального отопления не было), усталый, сам полубольной. Я старалась иногда заставить ее съесть что-нибудь (она почти ничего не ела), принять ванну, вымыть голову, выстирать свое белье и чулки, но она уже ни на что не была способна. Однажды она ушла и не вернулась. Денег у нее не было (как впрочем и у нас в то время). Через неделю ее нашли мертвой в комнатушке общежития Армии Спасения — она открыла газ. Это было 23 февраля 1928 года.

В кафе Ландграф между тем каждое воскресенье в 1922—23 гг. собирался Русский клуб, — он иногда назывался „Домом Искусств". Там читали: Эренбург, Муратов, Ходасевич, Оцуп, Рафалович, Шкловский, Пастернак, Лидин, проф. Ященко, Белый Вышеславцев, Зайцев, я и многие другие. Просматривая записи Ходасевича 1922—23 годов, я вижу, что целыми днями, а особенно вечерами, мы были на людях. Три издательства были особенно деятельны в это время: „Эпоха" Сумского, „Геликон" А. Вишняка и издательство З. Гржебина. 27-го октября (1922 г.) есть краткая запись о том, что Ходасевич заходил в „Дни" — газету Керенского, которая тогда начинала выходить. 15-го мая (1923 г.) отмечен днем приезда в Берлин М. О. Гершензона. 15-го

июня в Берлине был Лунц, которого его отец немедленно увез в Гамбург, а 6-го августа мы оба были у Гершензона, где я впервые встретилась с Шестовым — и навсегда соединила его образ с образом моего отца: они необыкновенно были похожи. С 14-го по 28 августа (1923 г.) мы жили в Прерове, о чем я уже упоминала, а 9-го сентября, собственно, и начался всеобщий разъезд — отъездом Зайцевых во Флоренцию. 1-го ноября в последний раз был у нас Пастернак, а 4-го мы с Ходасевичем выехали в Прагу.

Моему знакомству с М. Горьким предшествовали две легенды, из которых каждая несла с собой образ человека, но не писателя. Человеком он был для меня, человеком остался. Его жизнь и смерть были и есть для меня жизнь и смерть человека, с которым под одной крышей я прожила три года, которого видела здоровым, больным, веселым, злым, в его слабости и его силе. Как писатель он никогда не занимал моих мыслей: сначала я была погружена в Ибсена, Достоевского, Бодлера, Блока, потом (уже живя у него) — в Гоголя, Флобера, Шекспира, Гете, позже, расставшись с ним, я стала читать и любить Пруста, Лауренса, Кафку, Жида, Валери, наконец — Джойса, англичан и американцев. Как писателю Горькому не было места в моей жизни. Да и сейчас нет.

Но как человек он вошел в мой круг мыслей сквозь две легенды. Первую я услышала еще в детстве: МХТ привез в Петербург „На дне". Я увидела фотографию курносого парня в косоворотке: был босяком, стал писателем. Вышел из народа. Знаменитый. С Львом Толстым на скамейке в саду снимался. В тюрьме сидел. Весь мир его слушает, и читает, и смотрит на него. Пешком всю Россию прошел и теперь книги пишет.

Вторая легенда пришла ко мне через Ходасевича. Фоном ее была огромная квартира Горького на Кронверкском проспекте в Петербурге. Столько народу приходило туда ночевать (собственно — чай пить, но люди почему-то оставались там на многие годы), столько народу там жило, пило, ело, отогревалось (укрывалось?), что сломали стену и из двух квартир сделали одну. В одной комнате жила баронесса Будберг (тогда еще Закревская-Бенкендорф), в другой — случайный гость, зашедший на огонек, в третьей —

племянница Ходасевича с мужем (художница), в четвертой — подруга художника Татлина, конструктивиста, в пятой гостил Герберт Уэллс, когда приезжал в Россию в 1921 году, в шестой, наконец, жил сам Горький. А в девятой или десятой останавливался Ходасевич, когда наезжал из Москвы. Впоследствии „вел. князь" Гавриил Константинович Романов с женой и собакой тоже находился тут же, в бывшей „гостиной", не говоря уже о М. Ф. Андреевой, второй жене Горького, и время от времени появлявшейся Ек. Павл. Пешковой, первой жены его.

Пролом стены особенно поразил меня. И неприятности, которые у Горького были с Зиновьевым. И закрытие „Новой жизни", газеты Горького в 1917—18 годах, и наконец — его отъезд. Больной и сердитый на Зиновьева, на Ленина, на самого себя, он уехал за границу. И в квартире стало просторно и тихо. Меня интересовало: заделали ли пролом?

Теперь Горький жил в Херингсдорфе, на берегу Балтийского моря, и всё еще сердился, особенно же на А. Н. Толстого и газету „Накануне"*), с которой не хотел иметь ничего общего. Но А. Н. Толстой, стучавший в то время на машинке свой роман „Аэлита", считал это блажью и, встретив Ходасевича на Тауенцинштрассе в Берлине, прямо сказал ему, взяв его за лацкан пиджака (на сей раз не переделанного „мишиного фрака", а перелицованного костюма присяжного поверенного Н.):

— Послушайте, ну что это за костюм на вас надет? Вы что, собираетесь в Европе одеваться „идейно"? Идите к моему портному, счет велите послать „Накануне". Я и рубашки заказываю — готовые скверно сидят.

Писатель „земли русской" бедности не любил и умел жить в довольстве. Но Ходасевич к портному не пошел: он в „Накануне" сотрудничать не собирался.

У А. Н. Толстого в доме уже чувствовался скорый отъезд всего семейства в Россию. Поэтесса Н. Крандиевская, его вторая жена, располневшая, беременная третьим сыном (первый, от ее брака с Волкенштейном, жил тут же), во всем согласная с мужем, писала стихи о своем „страстном теле" и каких-то „несытых объятиях", слушая которые я

*) Газета „сменовеховцев".

чувствовала себя неловко. Толстой был хороший рассказчик, чувство юмора его было грубовато и примитивно, как и его писания, но он умел самый факт сделать живым и интересным, хотя слушая его, повествующего о визите к зубному врачу, рассказывающего еврейские или армянские анекдоты, рисующего картину как „два кобеля" (он и Ходасевич) поехали в гости к третьему (Горькому), уже можно было предвидеть до какой вульгарности опустится он в поздних своих романах. „Детство Никиты" он писал еще в других политических настроениях. Между „Детством" и „Аэлитой" лежит пропасть. Я с удивлением смотрела, как он стучит по ремингтону, тут же, в присутствии гостей, в углу гостиной, не переписывает, а сочиняет свой роман, уже запроданный в Госиздат. И по всему чувствовалось, что он не только больше всего на свете любит деньги тратить, но и очень любит их считать, презирает тех, у кого другие интересы и этого не скрывает. Ему надо было пережить бедствия, быть непосредственно вовлеченным во всероссийский катаклизм, чтобы ухитриться написать первый том „Хождения по мукам" — вещь выправленную по старым литературным рецептам. Когда он почувствовал себя невредимым, он покатился по наклонной плоскости. Я теперь сомневаюсь даже в том, был ли у него т а л а н т (соединение многих элементов, или части из них, или всех их в малой степени: „искра", дисциплина, особливость, мера, вкус, ум, глаз, язык и способность к абстрагированию).

Мы приехали в Херингсдорф к Горькому 27-го августа 1922 года (Ходасевич уже был там в начале июля, сейчас же по приезде в Германию). Не разрыв интеллигенции с народом, но разрыв между двумя частями интеллигенции казался мне всегда для русской культуры роковым. Разрыв между интеллигенцией и народом в России был гораздо слабее, чем во многих других странах. Он есть всюду — и в Швеции, и в Италии, и в Кении. Одни смотрят телевизию, другие в это время читают книги, третьи их пишут, четвертые заваливаются спать рано, потому что завтра надо встать „с солнышком". X не пойдет смотреть оперетку, Y не пойдет смотреть драму Стриндберга, Z не пойдет ни на то, ни на другое, а будет дома писать собственную пьесу. А кто-то четвертый не слыхал о том, что в городе есть

театр. Всё это в порядке вещей. Но когда интеллигенция поделена надвое до основания, тогда исчезает самая надежда на что-то похожее на единую, цельную и неразрывную во времени духовную цивилизацию и национальный умственный прогресс, потому что нет ценностей, которые уважались бы всеми. Как бы марксистски ни рассуждал современный француз — для него Валери всегда будет велик. Как бы абстрактно ни писал американский художник Поллок — он будет велик для самого заядлого американского мещанина и прагматика. На дом, где жил Уайльд, пятьдесят лет после его смерти прибивают мраморную доску, одной рукой запрещают, другой рукой издают сочинения Лауренса, двенадцатитонную музыку стараются протащить в государством субсидируемые концертные залы — и кто же? Английские, американские, немецкие чиновники! Так идет постепенно признание того, что коробило и ужасало людей четверть века тому назад, мещан, которые в то же время — опора государства. Это — посильная борьба западной интеллигенции — через власть — со своим национальным мещанством.

У нас интеллигенция, в тот самый день, когда родилось это слово, уже была рассечена надвое: одни любили Бланки, другие — Бальмонта. И если вы любили Бланки, вы не могли ни любить, ни уважать Бальмонта. Вы могли любить Курочкина, или вернее — Беранже в переводах Курочкина, а если вы любили Влад. Соловьева, то значит вы были равнодушны к конституции, и впереди у вас была только одна дорога: мракобесие. Тем самым обе половины русской интеллигенции таили в себе элементы и революции и реакции: левые политики были реакционны в искусстве, авангард искусства был либо политически реакционен, либо индиферентен. На Западе люди имеют одно общее священное „шу" (китайское слово, оно значит то, что каждый, кто бы он ни был, и как бы ни думал, признает и уважает), и все уравновешивают друг друга, и это равновесие есть один из величайших факторов западной культуры и демократии. Но у русской интеллигенции элементы революции и реакции никогда ничего не уравновешивали и не было общего „шу", потому, быть может, что русские не часто способны на компромисс, и само это слово, полное

в западном мире великого творческого и миротворческого значения, на русском языке носит на себе печать мелкой подлости.

В первый вечер у Горького я поняла, что этот человек принадлежит к другой части интеллигенции, чем те люди, которых я знала до сих пор.

Любит ли он Гоголя? М-м-м, да, конечно... но он любит и Елпатьевского — обоих он считает „реалистами" и потому их вполне можно сравнивать и даже одного предпочесть другому. Любит ли он Достоевского? Нет, он ненавидит Достоевского. Так он сказал мне тогда, в первый вечер знакомства, и много раз потом это повторял.

— Читали Огурцова? — спросил он меня тогда же. Нет, я не читала Огурцова. Глаза его увлажнились: в то время на Огурцова он возлагал надежды. Таинственного Огурцова я так никогда и не прочла.

И вот: первые минуты в столовой, пронзительный взгляд голубых глаз, глухой, с покашливанием голос, движения рук — очень гладких, чистых и ровных (кто-то сказал, как у солдата, вышедшего из лазарета), весь его облик — высокого, сутулого человека, с впалой грудью и прямыми ногами. Да, у него была снисходительная, не всегда нравившаяся улыбка, лицо, которое умело становиться злым (когда краснела шея и скулы двигались под кожей), у него была привычка смотреть поверх собеседника, когда бывал ему задан какой-нибудь острый или неприятный вопрос, барабанить пальцами по столу или, не слушая, напевать что-то. Всё это было в нем, но кроме этого было еще и другое: природное очарование умного, непохожего на остальных людей, человека, прожившего большую, трудную и замечательную жизнь. И в тот вечер я, конечно, видела только это очарование, я не знала еще, что многое из того, что говорится Горьким как бы для меня, на самом деле говорится всегда, при всякой новой встрече с незнакомым человеком, которого он хочет расположить к себе, что самый тон его разговора, даже движения, которыми он его сопровождает — от его актерства, а не от непосредственного чувства к собеседнику. Чай сменился обедом, в тишине столовой мы сидели вчетвером: Горький, Ходасевич, художник

И. Н. Ракицкий*), живший в доме, и я. „Как удачно вы приехали, — несколько раз повторил Горький, — сегодня утром все уехали, и Шаляпин, и Максим, и еще кто-то — не помню даже кто, столько было народу все эти дни".

О чем говорилось в тот вечер? Сначала — о Петербурге, потому что Горький хотел новостей. Сам он выехал за границу за девять месяцев до этого, но до сих пор чувствовал себя наполовину там. Большевиков он ругал, жаловался, что нельзя издавать журнала (издавать в Берлине и ввозить в Россию), что книги не выходят в достаточном количестве, что цензура действует нелепо и грубо, запрещая прекрасные вещи. Он говорил о непорядках в Доме литераторов и о безобразиях в Доме ученых, при упоминании о сменовеховстве он пожал плечами, а о „Накануне" отозвался с неприязнью. Несколько раз в разговоре он вспомнил Зиновьева и свои давние на него обиды.

Но к концу обеда с этим было покончено. Разговор перешел на литературу, на современную литературу, на молодежь, на моих петербургских сверстников и, наконец, на меня. Как сотни начинающих, да еще кроме стихов ничего писать не умеющих, я должна была прочесть ему мои стихи.

Он слушал внимательно, он всегда слушал внимательно, что́ бы ему ни читали, что бы ни рассказывали, — и запоминал на всю жизнь, таково было свойство его памяти. Стихи вообще он очень любил, во всяком случае, они трогали его до слез — и хорошие, и даже совсем не хорошие. „Старайтесь, — сказал он, — не торопитесь печататься, учитесь . . ." Он был всегда — и ко мне — доброжелателен: для него человек, решивший посвятить себя литературе, науке, искусству, был свят.

Он любил стихи, но у него были раз и навсегда усвоенные правила касательно „благозвучности" и „красоты" поэзии, которыми он руководствовался, когда судил. В прозе они тоже мешали ему, делали его суждения сухими, но когда он говорил или писал о стихах, это часто бывало нестерпимо. Вот что однажды написал он мне — в этой цитате,

---

*) Иван Николаевич, умер в 1942 году.

очень для него характерной, отразилось всё его отношение к поэтам и поэзии:

> „Мне кажется, что определение: ‚поэт — эхо мировой жизни' самое верное... Разве есть что-нибудь лучше литературы — искусства слова? Ничего нет".

Трудно поверить, что этот человек мог плакать настоящими слезами от стихов Пушкина, Блока... впрочем не только Пушкина и Блока, но и Огурцова, и Бабкина, и многих других.

Горничная, убрав со стола, ушла. За окном стемнело. Теперь Горький рассказывал. Много раз после этого вечера я слышала эти же самые рассказы — о том же самом, рассказанные теми же словами, таким же неопытным слушателям, какой была я тогда. Но, слушая Горького впервые, нельзя было не восхититься его даром. Трудно рассказать об этом людям, его не слышавшим. Сейчас талантливых рассказчиков становится всё меньше, поколение, родившееся в этом столетии, будучи само несколько косноязычным, вообще не очень любит слушать ораторов за чайным столом. У Горького в устных его рассказах было то хорошо, что он говорил не совсем то, что писал, и не совсем так, как писал: без нравоучений, без подчеркиваний, просто так, как было.

Для него всегда был важен ф а к т, случай из действительной жизни. К человеческому воображению он относился враждебно, сказок не понимал.

— Да ведь это действительно так и было! — восклицал он с восторгом, прочтя какой-нибудь рассказ или очерк.

— Это было совершенно не так, — сказал он мрачно о „Бездне" Леонида Андреева. — Он присочинил конец, и я с ним после этого поссорился.

А вместе с тем у него не было последовательности, и в одном из его писем (ноябрь 1925 г.) можно найти такую фразу: „Я не любил фактов и с величайшим удовольствием искажал их". Что это значит? Только то, что он „поступательный ход" революционного будущего любил еще больше фактов и искажал эти последние в пользу революционного будущего.

Часы показывали второй час ночи. Я слушала. Мне казалось, что я хожу с ним вместе по России, сорок лет тому

назад, — с Волги на Дон, из Крыма на Украину. Всё было здесь: и нижегородские анекдоты, и время политических преследований, и знаменитое побоище в одном селе когда он вступился за избиваемую женщину, и начало Художественного театра, и Америка. Руки его лежали на столе, лицо с характерными открытыми ноздрями и висячими усами было поднято, голос, колеблясь, то удалялся от меня, и это значит, что дремота одолевает меня, — то приближался ко мне, — и это значит, что я широко открываю глаза, боясь заснуть. Что делать! Морской воздух, путешествие, молодость делали то, что я с трудом удерживалась от того, чтобы не положить голову на стол.

Ему не надо было ставить вопросов. Подпершись одной рукой, другой шевеля перед собой, он говорил и курил; когда закуривал, то не гасил спичек, а складывал из них в пепельнице костер. Наконец он взглянул на меня пристально.

— Пора спать, — сказал он улыбаясь, — уведите поэтессу.

Художник Ракицкий, исполнявший в доме должность хозяйки за отсутствием таковой, отвел меня наверх. В этой комнате еще накануне ночевал Шаляпин, которого я до того видела всего два раза на сцене, в России, и мне казалось, что в воздухе еще витает его тень. Когда я осталась одна, я долго сидела на постели. Я слышала за стеной кашель Горького, его шаги, перелистывание страниц (он читал перед сном). Всякое суждение о том, что я видела и слышала, я откладывала на потом.

25-го сентября 1922 года Горький переехал в Сааров, в полутора часе езды по железной дороге от Берлина, в сторону Франкфурта на Одере, а в начале ноября он уговорил и нас переехать туда. Мы поселились в двух комнатах в гостинице около вокзала.

„Кронверкская" атмосфера, дух постоялого двора в доме Горького, возобновилась в Саарове, в тихом дачном месте, пустом зимой, на берегу большого озера, по которому однажды Максим уговорил меня пронестись в ветренную погоду под парусом.

„Кронверкская" атмосфера возобновилась, правда, только по воскресеньям: уже с утренним поездом из Берлина на-

чинали приезжать люди — близкие и случайные, но преимущественно, конечно, так называемые „свои", которых было не мало.

Я видела из окна гостиницы „Банхоф отель", как шли они с вокзала по вымершим улицам немецкого местечка, где тишина нарушалась только свистом редких поездов, а чистота была такая, что после долгого осеннего дождя улицы казались вымытыми. Недалеко от дома Горького был лесок, где водились лани. Каждая называлась по имени, а деревья стояли под номерами.

Для Марии Федоровны Андреевой, его второй жены, приезжавшей довольно часто, всё в доме было нехорошо:

— И чем это тебя тут кормят? — говорила она брезгливо разглядывая поданную ему котлету. — И что это на тебе надето? Неужели нельзя было найти виллу получше?

Она, несмотря на годы, всё еще была красива, гордо носила свою рыжую голову, играла кольцами, качала узкой туфелькой. Ее сын от первого брака (киноработник), господин лет сорока на вид, с женой, тоже бывали иногда, но она и к ним, как и ко всем вообще, относилась с презрительным снисхождением. Я никогда не видела в ее лице, никогда не слышала в ее голосе никакой прелести. Вероятно, и без прелести она в свое время была прекрасна.

Мария Федоровна не приезжала в те дни, когда к Горькому приезжала Екатерина Павловна — первая его жена и мать его сына. Она была совсем в другом роде. Приезжала она прямо из Москвы, из кремлевских приемных, заряженная всевозможными новостями. Тогда из кабинета Горького слышалось: „Владимир Ильич сказал... А Феликс Эдмундович на это ответил..." У нее была привычка заглядывать человеку в глаза, и в ней еще жива была старая интеллигентская манера, усвоенная в молодости, говорить как бы „от души".

С Марией Федоровной приезжал П. П. Крючков, доверенное лицо Горького, что-то вроде фактотума; позже Сталин доказал, что он был „врагом народа" и расстрелял его после того, как Крючков во всем покаялся. Он до сих пор официально не реабилитирован. С Екатериной Павловной приезжал некто Мих. Конст. Николаев, заведующий Меж-

дународной книгой. Он говорил мало и больше играл в саду с собакой (он умер в 1947 году).

И вот накрывается стол на двенадцать человек, со всего дома сносятся стулья. М. И. Будберг, секретарша и друг Горького, разливает суп. О ней надо сказать два слова: Мария Игнатьевна, урожденная графиня Закревская (правнучка Пушкинской „медной Венеры”), по первому мужу графиня Бенкендорф, по второму — баронесса Будберг. О ней написана была книга — лет 35 тому назад, и опубликован был дневник Локкарта, первого секретаря английского посольства в Петербурге, во время революции, заменившего в 1918 году уехавшего в Англию посла Бьюкенена, где она названа Марой (на самом деле уменьшительное ее было Мура). По книге был сделан фильм „Британский агент”, в котором играли Лесли Ховард и Кей Франсис. Мария Игнатьевна появилась на Кронверкском в 1919—20 г. после того, как отсидела в Чеке в связи с арестом самого Локкарта. Когда Локкарт был выпущен и выслан в Англию, она стала искать работу, пришла во Всемирную литературу и познакомилась с К. И. Чуковским, который и привел ее к Горькому. Она хорошо знала английский язык и искала работы как переводчица. Она поселилась на Кронверкском и жила там до своего отъезда (нелегального) в Таллин. В Эстонии, где жили ее дети, она вскоре вышла замуж за барона Николая Будберга. Когда Горький в октябре 1921 года приехал в Берлин, она снова соединилась с ним и до 1933 года оставались ближайшим к нему человеком. Три раза в год она уезжала навестить своих детей в Таллин, а также в Лондон, где у нее были друзья, среди которых наиболее близким был Герберт Уэллс. После окончательного переезда Горького в 1933 году в СССР, она переехала в Лондон. После смерти Уэллса, в 1946 году, она открыла в Лондоне литературное агентство. В свое время она много переводила Горького на английский язык, к сожалению ее переводы очень слабы: в сборнике лучших рассказов Горького 1921—25 годов (куда входят такие вещи, как „Рассказ о герое” и „Голубое молчание”) она пропускала целые абзацы и часто не понимала русских выражений. Она продолжала однако переводить в двадцатых и тридцатых годах рекомендованных Горьким авторов (Зозулю, Сергеева-Цен-

ского и др.), а позже, уже в шестидесятых годах, также небрежно — „Воспоминания" Александра Бенуа.

Итак: М. И. Будберг разливает суп. Разговор за столом шумный, каждый словно говорит для себя, никого не слушая. Мария Федоровна говорит, что клецки в супе несъедобны и спрашивает, верю ли я в Бога. Семен Юшкевич, смотря вокруг себя грустными глазами — о том, что всё ни к чему, и скоро будет смерть, и пора о душе подумать. Андрей Белый с напряженной улыбкой сверлящими глазами смотрит себе в тарелку — ему забыли дать ложку и он молча ждет, когда кто-нибудь из домашних это заметит. Он ошеломлен шумом, хохотом на „молодом" конце стола и гробовым молчанием самого хозяина, который смотрит поверх всех, барабанит по столу пальцами и молчит — это значит, что он не в духе. Тут же сидят Ходасевич, Виктор Шкловский, Сумский, (издатель „Эпохи"), Гржебин, Ладыжников (старый друг Горького и его издатель тоже), дирижер и пианист Добровен, другие гости. Только постепенно Горький оттаивает и к концу обеда затевается уже стройный разговор, преимущественно говорит сам Горький, иногда говорит Ходасевич или Белый... Но Белый здесь не такой, как всегда, здесь его церемонная вежливость бывает доведена до крайних пределов, он соглашается со всеми, едва вникая, даже с Марией Федоровной в том, что курица пережарена. И сейчас же до слез смущается.

Но может быть это был самый верный тон, тон Белого в разговорах с Горьким? Спорить с Горьким было трудно. Убедить его в чем-либо нельзя было уже потому, что он имел удивительную способность: не слушать того, что ему не нравилось, не отвечать, когда ему задавался вопрос, на который у него не было ответа. Он „делал глухое ухо", как выражалась М. И. Будберг (любившая, как княгиня Бетси Тверская в „Анне Карениной", переводить на русский язык английские и французские идиоматические выражения буквально); он до такой степени делал это „глухое ухо", что оставалось только замолчать. Иногда впрочем, не „сделав глухого уха", он с злым лицом, красный, вставал и уходил к себе, в дверях напоследок роняя:

— Нет, это не так.

И спор бывал окончен.

Однажды у него в гостях я увидела Рыкова, тогда председателя Совета народных комиссаров, приехавшего в тот год в Германию лечиться от пьянства. Рыков вялым голосом рассказывал о литературной полемике, тогда злободневной, между Сосновским и еще кем-то.

— Чем же всё кончилось? — спросил Ходасевич, его эта литературная полемика очень волновала по существу.

— А мы велели прекратить, — вяло ответил Рыков.

Я взглянула на Горького, и вдруг мне показалось, что есть что-то общее между этим ответом Рыкова и его собственным „нет, это совсем не так", говорящимся в дверях.

Кто только не бывал в те годы у Горького — я говорю о приезжих из Советского Союза. Всех не перечислишь. Список имен, между 1922 и 1928 годом, мог бы начаться с народных комиссаров и послов, пройти через моряков советского флота, через старых и новых писателей, и закончиться сестрой М. И. Цветаевой, Анастасией Ивановной, в 1927 году привезшей с собой в Сорренто к Горькому некоего „поэта-импровизатора", Б. Зубакина, который показал на вилле „Иль Сорито" свое искусство, о чем А. Н. Цветаева рассказала впоследствии в „Новом мире" (в 1930 году).

Горького надо было выслушивать и молчать. Он, может быть, сам не считал свои мнения непогрешимыми, но что-то перерешать, что-то переоценивать он не хотел, да вероятно уже и не мог: тронешь одно, посыплется другое, и всё здание рухнет, а тогда что? Пусть уж всё останется, как было когда-то построено.

Я вхожу в его кабинет перед самым завтраком. Он уже кончил писать (он пишет с девяти часов утра) и сидит теперь за эмигрантскими газетами (берлинскими „Днями", „Рулем", парижскими „Последними новостями"), в пестрой татарской своей тюбитейке. Он знает, что я пришла за книгами, у стены стоят полки. Книги постепенно прибывают из России.

Беру с полки том Достоевского.

— Алексей Максимович, можно взять...

— Берите, что нравится.

Он смотрит на меня из-за очков добрыми глазами, но лучше не говорить, что именно я взяла: за время жизни

с ним я пришла к убеждению, что он плакал над русскими стихами, но русской прозы не любил.

Русские писатели XIX века в большинстве были его личными врагами: Достоевского он ненавидел; Гоголя презирал, как человека больного физически и морально; от имени Чаадаева и Владимира Соловьева его дергало злобой и страстной ревностью; над Тургеневым он смеялся. Лев Толстой возбуждал в нем какое-то смятение, какое-то мучившее его беспокойство. О, конечно, он считал его великим, величайшим, но он очень любил говорить о его слабостях, любил встать на защиту Софьи Андреевны, любил как-то не с той стороны подойти к Толстому. И однажды он сказал:

— Возьмите три книги: „Анну Каренину", „Мадам Бовари" и „Тэсс" Томаса Харди. Насколько западно-европейские писатели это сделали лучше нашего. Насколько там замечательнее написана „такая" женщина!

Но кого же собственно он любил?

Прежде всего — своих учеников и последователей, потом провинциальных самоучек, начинающих, ищущих у него поддержки, над которыми он умилялся и из которых никогда ничего не выходило. И еще он любил встреченных в юности, на жизненном пути, исчезнувших из людской памяти писателей, имена которых сейчас уже ничего никому не говорят, но которые в свое время были им прочтены, как откровение.

— А вот Каронин, — говорил он, — замечательно это у него описано.

— Я, Алексей Максимович, не читала Каронина.

— Не читали? Непременно прочтите.

Или:

— А вот Елеонский...

Но был один случай, который так и остался единственным. Это было в день присылки ему из русского книжного магазина, в Париже, только что вышедшей книги последних рассказов Бунина. Всё было оставлено: работа, письма, чтение газет. Горький заперся у себя в кабинете, к завтраку вышел с опозданием и в такой рассеянности, что забыл вставить зубы. Смущаясь, он встал и пошел за ними к себе и там долго сморкался.

— Чего это Дука (так его звали в семье) так расчувствовался нынче? — спросил Максим, но никто не знал. И только к чаю выяснилось:

— Понимаете... замечательная вещь... замечательная... — больше он ничего не мог сказать, но долго после этого он не притрагивался ни к советским новинкам, ни к присланным неведомыми гениями рукописям.

Бунин был в эти годы его раной: он постоянно помнил о том, что где-то жив Бунин, живет в Париже, ненавидит советскую власть (и Горького вместе с нею), вероятно — бедствует, но пишет прекрасные книги, и тоже постоянно помнит о его, Горького, существовании, не может о нем не помнить. Горький до конца жизни, видимо, любопытствовал о Бунине. Среди писем Горького к А. Н. Толстому можно найти одно, в котором он — из Сорренто — пишет Толстому, чтó именно Бунин „говорил на днях". Ему привезла эти новости М. И. Будберг, которая только что была в Париже. В свете случившегося много позже, сейчас ясно, что в этих сплетнях замешан был некто Рощин, член французской компартии, долгие годы живший в доме Бунина, как друг и почитатель, о чем до 1946 года никто конечно не имел никакого представления.

Читая Бунина, Горький не думал, так ли бывает в действительности или иначе. Правда, сморкаясь и вздыхая у себя над книгой, он не забывал исправлять карандашом (без карандаша в ровных, чистых пальцах я его никогда не видела) опечатки, если таковые были, а на полях против такого например словосочетания, как „сапогов новых" — будь это сам Демьян Бедный — ставил вопросительный знак. Такие словосочетания считались им недопустимыми, это было одно из его правил, пришедших к нему, вероятно, от провинциальных учителей словесности, да так в памяти его и застрявших. К аксиомам относились и такие когда-то воспринятые им „истины", как: смерть есть мерзость, цель науки — продлить человеческую жизнь, все физиологические отправления человека — стыдны и отвратительны, всякое проявление человеческого духа способствует прогрессу. Однажды он вышел из своего кабинета пританцовывая, выделывая руками какие-то движения, напевая и выражая лицом такой восторг, что все остолбенели. Оказы-

вается он прочел очередную газетную заметку о том, что скоро ученые откроют причину заболевания раком.

Он был доверчив. Он доверял и любил доверять. Его обманывали многие: от повара-итальянца, писавшего невероятные счета, до Ленина — всё обещавшего ему какие-то льготы для писателей, ученых и врачей. Для того, чтобы доставить Ленину удовольствие, он когда-то написал „Мать". Но Ленин в ответ никакого удовольствия ему не доставил. Горький верил, что между ним и Роменом Ролланом существует единственное в своем роде понимание, возвышенная дружба двух титанов.

Теперь переписка этих двух людей частично опубликована. Она длилась много лет и была довольно частой. Велась она по-французски. Горький писал через переводчика. Несколько раз таким переводчиком была я.

— Н. Н., будьте добры, переведите-ка мне, что тут Роллан пишет.

Я беру тонкий лист бумаги и читаю напоминающий арабские письмена изящный разборчивый почерк.

„Дорогой Друг и Учитель. Я получил Ваше благоуханное письмо, полное цветами и ароматами, и, читая его, я бродил по роскошному саду, наслаждаясь дивными тенями и световыми пятнами Ваших мыслей".

— О чем это он? Я его спрашивал о деле: мне адрес Панаита Истрати нужен, поищите, нет ли его там.

— ... „пятнами Ваших мыслей, уносивших меня улыбками в голубое небо раздумий".

Вечером он приносит черновик ответа для перевода на французский язык. Там написано, что мир за последние сто лет шагнул к свету, что в этом приближении к свету идут рука об руку все достойные носить имя человека. Среди них, в первых рядах идет Панаит Истрати, „о котором Вы мне писали, дорогой Друг и Учитель, и которого адрес я убедительно прошу Вас мне прислать в следующем письме".

Иногда — раз в год приблизительно — Роллан присылал Горькому свою фотографию. Перевести на русский язык надписи, которые он на них делал, было еще труднее, чем его письма. Мы это делали все вместе, собравшись в ком-

нате Максима. Максим по всегдашней своей привычке в раздумье ел свою нижнюю губу.

Первая „немецкая" зима сменилась второй — хоть и в Чехии протекала она, но в самом немецком ее углу, в мертвом, заколоченном не в сезон Мариенбаде. Мы поехали туда за Горьким из Праги. И тут уже прекратились всякие наезды — своих и чужих — в полном одиночестве, окруженный только семьей или людьми, считавшимися ее членами, Горький погрузился в работу: в то время он писал „Дело Артамоновых".

Он вставал в девятом часу и один, пока все спали, пил утренний кофе и глотал два яйца. До часу мы его не видели.

Зима была снежной, улицы были в сугробах. Гулять выходили в шубах и валенках, все вместе, уже в сумерках (после завтрака Горький обыкновенно писал письма или читал). По снегу шли в сосновый лес, в гору. Где-то в трех километрах происходили лыжные состязания, гремела музыка, туда мчались фотографы, журналисты. Мы ничего этого не видели. С ноября месяца в городе начались приготовления к рождеству, и мы тоже затеяли елку. Развлечений было немного, а Горький их любил, особенно когда усиленно работал и ему хотелось перебить мысли чем-нибудь легким, не скучным. Елка удалась настоящая, с подарками*), шарадами, даже граммофоном, откуда-то добытым. Но главным развлечением той зимы был кинематограф.

Один раз в неделю, по субботам, за ужином, Горький делал хитрое лицо и осведомлялся, не слишком ли на дворе холодно. Это значило, что сегодня мы поедем в кинематограф. Сейчас же посылали за извозчиком — кинематограф был на другом конце города. Никто не любопытствовал, что за фильм идет, хороший ли, стоит ли ехать. Все бежали наверх одеваться, кутались во всё, что было теплого, если была метель; и вот парные, широкие сани стоят у крыльца гостиницы „Максхоф"**), мы садимся — все семеро: М. И.

---

*) У меня до сих пор цела шкатулка кипарисового дерева с инкрустациями.

**) А не Саварин, как сказано в Краткой литературной энциклопедии.

Будберг и Горький на заднее сиденье, Ходасевич и Ракицкий на переднее, Н. А. (по прозванию Тимоша, жена Максима) и я — на колени, Максим — на козлы, рядом с кучером. Это называется „выезд пожарной команды".

Лошади несли нас по пустым улицам, бубенчики звенели, фонари сверкали на оглоблях, холодный ветер резал лицо. Езды было минут двадцать. В кино нас встречали с почетом — кроме нас почти никого и не бывало. Мы, совершенно счастливые и довольные, садились в ряд, и всё равно было, что нынче показывают: „Последний день Помпеи", „Двух сироток" или Макса Линдера — на обратном пути нам было так же весело, как и на пути туда.

В ту зиму (1923—24 гг.) всё постепенно отступило перед работой. „Дело Артамоновых" подвигалось, разрасталось, захватывало Горького всё сильней и постепенно оттесняло всё другое, и даже померк его интерес к собственному журналу („Беседе") — попытке сочетать эмигрантскую и советскую литературу, из которой ничего не вышло. Работа не давала Горькому увидеть, что, в сущности, он остается один на один с самим собой, никого не объединив. Он ждал визу в Италию. Она пришла весной, с точным указанием не поселяться на Капри (где его присутствие могло возбудить какие-то смутные политические страсти, по прежним воспоминаниям), и Горький переехал в Сорренто — последнее место его заграничного житья*). Осенью 1924 года мы последовали за ним.

Последнее место его независимости, его свободной работы над тем, что ему хотелось писать. Ленина больше не было. Его воспоминания об „Ильиче" были первым шагом к примирению с теми, кто был сейчас на верху власти в Москве. „Он поедет туда очень скоро", — сказала я как-то Ходасевичу. — „В сущности, даже непонятно, почему он до сих пор не уехал туда". Но Ходасевич не был согласен со мной: ему казалось, что Горький не сможет „переварить" режима, что его удержит глубокая привязанность к старым принципам свободы и достоинства человека. Он не верил в успех тех, кто в окружении Горького работал на его

*) Отсюда в 1928 г. он поехал в СССР, а 17-го мая 1933 г. переехал туда окончательно.

возвращение, мне же казалось, что это случится скорее, чем они предполагают. Сорренто оказалось последним местом, где он мог писать иногда „несозвучно" и говорить вслух, что думает, и последнее место, куда он приехал относительно здоровым, тут, на берегу моря, в доме, из которого был виден Неаполитанский залив, с Везувием и Искией, я впервые увидела его в болезни — и эта болезнь сильно состарила его.

Доктор был привезен из Неаполя и определил сложную простуду с бронхитом. Боялись воспаления легких — всю жизнь и он сам, и близкие его боялись этой болезни, сведшей Горького в могилу (по первой официальной версии). Прописаны были припарки из горячего овса на грудь и спину. Н. А. Пешкова и я одинаково неопытны были в таком лечении. М. И. Будберг была тогда в отъезде. За ширмами, в огромном своем кабинете, на узкой высокой кровати, Горький лежал и кашлял, красный от жара (и от этого еще более рыжий), молча наблюдая за нами, а мы старались действовать быстро и ловко: чтобы овес не остыл, мы накладывали его суповыми ложками на клеенку и завертывали в эту клеенку худое лихорадившее тело, бинтуя длинным, широким бинтом.

— Очень хорошо. Спасибо, — хрипел он, хотя всё совсем не было хорошо.

В камине потрескивали оливковые ветки, тени бегали по стенам и потолку. Ночами мы дежурили у постели Горького по очереди. На утро опять приезжал доктор. Горький не был мнителен и лечиться не любил.

— Ох, оставьте меня, оставьте, — говорил он, — скажите этому господину, чтобы он убирался домой.

— Что изволит говорить великий писатель? — почтительно спрашивал доктор.

— Переведите ему, что он может убираться ко всем чертям. Я и без него выздоровею, — бормотал Горький.

Он выздоровел скорее, чем мы думали.

С обвязанным горлом, с сильной проседью в чуть поредевшем ежике, опять он налаживал свой день, свою работу.

Здесь не было ни елок, ни кино, зато была Италия, которой он наслаждался каждую минуту своего в ней пребывания. Каприйские воспоминания еще прочно жили в нем:

— Я покажу вам... я свожу вас... — говорил он, но всё меняется, и эти места, как всё, переменились со времени войны: прежних уличных певцов он так и не мог найти, новые же пели модные американские песенки, а тарантеллу на площади городка перед кафе танцевали теперь дети, обходившие потом с тарелкой приезжих туристов.

В январе бывали дни, когда все четыре окна его кабинета были открыты настежь. Он выходил на балкон. Внизу в саду раздавались голоса: Максим в тот год завел мотоциклетку и возился с ней. Выносливая машина с тремя пассажирами (двое в колясочке, третий — на седле) летала через холмы — в Амальфи, в Равелло, в Граньяно. Горький от предложения прокатиться только отмахивался: к быстроте передвижения у него появился страх.

Отвращение, между прочим, было у него и ко всякого рода наркотикам. Он много курил, иногда любил выпить, но заставить его принять пирамидон или выдержать в дупле зуба кокаин было невозможно. Он какие-то мучительные операции проделывал над собой и был необычайно терпелив ко всякой боли.

Он любил рассказывать на прогулках про Чехова, про Андреева, про всё то, что быстро уходило в прошлое. А в прошлое тогда уходила и пора „Летописи", и пора „Новой жизни". Но он не любил говорить о старых своих книгах — в этом он ничем не отличался от большинства авторов — и не любил, когда прежние его вещи вспоминали и хвалили. Упомянуть при нем о „Песне о буревестнике" было бы совершенно бестактно. Даже его рассказ „О безответной любви", написанный под Берлином, отходил в прошлое, — вероятно тому виной были „Артамоновы", которых он дописывал в это время с таким увлечением.

Вечером бывали карты, когда ранней итальянской весной выл ветер и лил дождь. Максим и я занимались нашим „журналом". Не помню, как он возник и почему; мы выпускали его раз в месяц, в единственном экземпляре, роскошном, переписанном от руки и иллюстрированном. Главной заботой Максима было, чтобы Горький давал в „журнал" неизданные вещи. Журнал был юмористический. И

вот Горький смущенно входил в комнату сына, держа в руке лист бумаги.

— Вот я тут принес стишок один. Может подойдет?

— Нигде напечатан не был?

— Да нет, ей-Богу-же, честное слово! Сейчас только сочинил.

— А ну давай!

Горький острить не умел. В стихах особенно. Помню такое четверостишие: „В воде без видимого повода / Плескался язь, / А на плече моем два овода / Вступили в связь". Максим акварелью иллюстрировал текст. В этом „журнале" было помещено мое первое произведение прозой: „Роман в письмах". Письма писались от лица девочки лет двенадцати, которая жила в доме Горького, куда на огонек заходили Тургенев и Пушкин. Все вместе гуляли и обедали, и играли в дурачки с Достоевским...

Часто глядя на Горького, слушая его, я старалась понять, что именно держит его в Европе, чего он не может принять в России? Он ворчал, получая какие-то письма, иногда стучал по столу, сжимая челюсти, говорил:

— О, мерзавцы, мерзавцы!

Или:

— О, дурачье проклятое!

Но на следующий день опять его тянуло в ту сторону и чувствовалось, что и мелкие, и крупные несогласия могут сгладиться.

Слишком многое было ему чуждо, а то и враждебно, в новой (послевоенной) Европе, слишком велика была потребность в целостном мировоззрении, которое еще двадцать пять лет тому назал он получил от социал-демократии (не без помощи Ленина) и без которого не мог представить себе существования. И становилось ясно: только на той стороне существуют люди, в основном схожие с ним, только там он убережет себя от забвения, как писателя, от одиночества, от нужды. Страх именно там потерять читателя всё рос в нем, он с тревогой слушал речи о том, что там теперь начинают писать „под Пильняка", „под Маяковского". Он боялся, что он вдруг окажется никому не нужен.

„Дело Артамоновых" он едва дописал, как сейчас же захотел прочесть его нам — первая часть романа была

окончена, две следующие написаны лишь вчерне (потом он переделал и испортил их). Странным может показаться, что он решил прочесть роман целиком вслух, он читал его три вечера подряд, до хрипоты, до потери голоса, но видимо это было нужно не только для того, чтобы увидеть наше впечатление, но и для того, чтобы он сам мог услышать себя.

В углу за столом сидел он, в золотых очках, делавших его похожим на старого мастерового. Свет падал на рукопись и руки. В довольно большом расстоянии от него, у потухшего камина, на диване, прислонившись друг к другу, крепко спали Максим и его жена, — больше часа они чтения не выдерживали. М. И. Будберг, Ракицкий, Ходасевич и я сидели в креслах. Собака лежала на ковре. Ничем не занавешенные окна блестели чернотой. Огни Кастелламаре переливались на горизонте, огненная лесенка Везувия сверкала в небе. Изредка Горький глотал воду из стакана, закуривал, всё чаще к концу вынимал платок и вытирал взмокшие от слез глаза. Он не стеснялся при нас плакать над собственной вещью.

Вот отрывок стихов, написанных в те дни об этих вечерних чтениях:

... Вчера звезда
В окне сияла надо мной,
И долго под окном вода
Играла в тишине ночной.
Зияла над заливом темь,
А в комнате нас было семь.
. . . .
Перед камином пес лежал,
Горели свечи в колпаках,
Оконных стекол и зеркал
Сверкали плоскости впотьмах,
И отражались здесь и там:
Лицо, рука, и пополам
Разрезанный широкий стол,
И итальянский пестрый пол,
На чем-то одинокий блик,
И скошенная полка книг.

В „Деле Артамоновых" были и есть — несмотря на последующие поправки — очень сильные, замечательные страницы, в целом роман этот закончил собой целый период

Горьковского творчества, но был слабее того, что было Горьким написано в предыдущие годы. Эти годы, между приездом его из России в Германию и „Артамоновыми", были лучшими во всей творческой истории Горького. Это был подъем всех его сил и ослабление его нравоучительного нажима. В Германии, в Чехии, в Италии, между 1921 и 1925 годом, он не поучал, он писал с максимумом свободы, равновесия и вдохновения, с минимумом оглядки на то, какую пользу будущему коммунизму принесут его писания. Он написал семь или восемь больших рассказов как бы для себя самого, это были рассказы-сны, рассказы-видения, рассказы-безумства. „Артамоновы" оказались схождением с этой плоскости вниз, к последнему периоду, который сейчас читать уже очень трудно.

Из советских критиков кажется ни один не понял и не оценил этого периода, но сам Горький чувствовал, что стал писать иначе: в одном письме 1926 года он признался, что „стал писать лучше" (Литер. наследство кн. 70). Весь этот период (двадцатые годы) несомненно содержит вещи, которые будут жить, когда умрут его ранние и поздние писания. Почему эти годы оказались для него такими? Легкий ответ: потому что он жил на Западе и был свободен от российских политических впечатлений, потому что ему не диктовали и он был сам по себе. Но не только в этом дело: был — после революционных лет — отдых в комфорте и покое, была личная жизнь, которая не мучила, а остановилась на счастливой точке, был „момент его судьбы" — без денежных забот, проблем, решений на будущее. Был момент судьбы, когда писатель остается наедине с собой, с пером в руке и настежь открытым сознанием.

ВИЛЛА М. ГОРЬКОГО НА КАПО ДИ СОРРЕНТО, „ИЛЬ СОРИТО"

Верхний этаж

N

S

Балкон с видом на Неаполь и Везувий

Балкон с тем-же видом

Уборная

Общий балкон

Комната Ходасевича

Кабинет и спальня Горького

Столовая

Комната для гостей

Моя комната

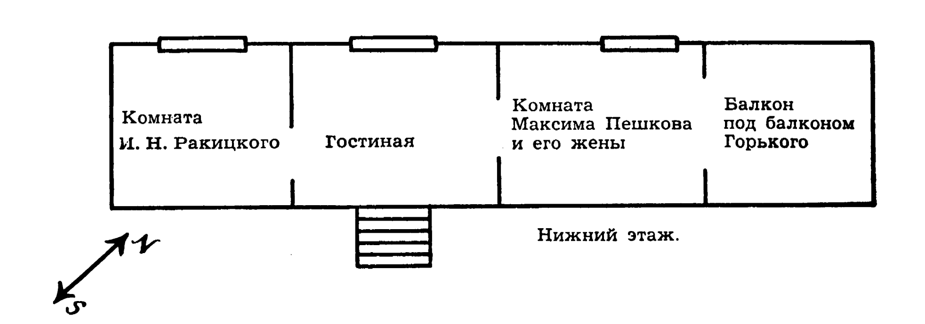
Комната М. И. Будберг

Гостиная

Прихожая

Коридор

Ванная



Он приехал в Европу, как я уже сказала, сердитый на многое, в том числе и на Ленина. И не только сердитый на то, что творилось в России в 1918—21 годах, но и тяжело разрушенный виденным и пережитым. Один разговор его с Ходасевичем остался у меня в памяти: они вспоминали, как оба (но в разное время) в 1920 году побывали в одном детском доме, или может быть изоляторе, для малолетних. Это были исключительно девочки, сифилитички, беспризорные лет двенадцати-пятнадцати, девять из десяти были воровки, половина была беременна. Ходасевич, несмотря на, казалось бы, нервность его природы, с какой-то жалостью, смешанной с отвращением вспоминал, как эти девочки в лохмотьях и во вшах облепили его, собираясь раздеть его тут же на лестнице, и сами поднимали свои рваные юбки выше головы, крича ему непристойности. Он с трудом вырвался от них. Горький прошел через такую же сцену: когда он заговорил о ней, ужас был на его лице, он стиснул челюсти и вдруг замолк. Видно было, что это посещение глубоко потрясло его, больше, может быть, чем многие прежние впечатления „босяка" от ужасов „дна", из которых он делал свои ранние вещи. И что, может быть, теперь в Европе он залечивает некоторые раны, в которых сам себе боится признаться, и иногда (хотя и не следуя ненавистному ему Достоевскому) спрашивает себя — и только себя: с т о и л о л и?

Смерть Ленина, которая вызвала в нем обильные слезы, примирила его с ним. Сентиментальное отношение к Дзержинскому было ему присуще давно. Он стал писать свои воспоминания о Ленине в первый же день, когда была получена телеграмма о его смерти (от Екатерины Павловны). На следующий день (22-го января 1924 года) была в Москву послана телеграмма соболезнования. В ней Горький просил Е. П. Пешкову возложить на гроб Ленина венок с надписью „Прощай, друг!" Воспоминания свои он писал, обливаясь слезами. Что-то вдруг бабье появилось в нем в эти дни, потом пропало. Эта способность слезных желез выделять жидкость по любому поводу (грубовато отмеченная Маяковским) была и осталась для меня загадочной. В детерминированном мире, в котором он жил, слезам, кажется, не должно было быть места.

В апреле 1925 года мы уехали. Накануне вечером я сказала ему, что самым главным в нем для меня была его „божественная электрическая энергия". „У Вячеслава Иванова, — засмеялась я, — она шла от Диониса. А у вас?"

— А у вас? — спросил он меня в ответ, не смеясь.

Я напомнила ему его собственное выражение, кажется, это было в 1884 году, он где-то разгружал баржу и, разгружая баржу, почувствовал „полубезумный восторг делания". Я сказала ему, что это я хорошо понимаю, но, смущаясь, опять засмеялась.

— Я смеюсь, — призналась я, когда он в ответ промолчал, — но я это говорю совершенно серьезно.

— Я это чувствую, — сказал он, тронутый, и заговорил о другом.

Итальянский извозчик лихо подкатил к крыльцу, стегая каурую лошадку. Горький стоял в воротах, в обычном своем одеянии: фланелевые брюки, голубая рубашка, синий галстук, серая вязаная кофта на пуговицах. Ходасевич мне сказал: мы больше никогда его не увидим. И потом, когда коляска покатила вниз, к городу, и фигура на крыльце скрылась за поворотом, добавил с обычной своей точностью и беспощадностью:

— Нобелевской премии ему не дадут, Зиновьева уберут, и он вернется в Россию. — Теперь и у Ходасевича в этом сомнений не оставалось.

Горький вернулся в Россию через три года. Там к его ногам положены были не только главные улицы больших городов, не только театры, научные институты, заводы, колхозы, но и целый город. Он там потерял сына*), может быть искусно убранного Ягодой, а может быть и нет; потерял и самого себя. Существует легенда о том, что в последние месяцы жизни он много плакал, вел дневник, который прятал, просил, чтобы его отпустили в Европу. Что в этой легенде правда, что вымысел, может быть никогда не выйдет наружу или выйдет наружу через сто лет, когда это потеряет интерес. Тайны со временем теряют свой интерес: кто скрывался под именем Железной маски сейчас не имеет значения ни для кого, кроме как для историков.

*) Максим умер 11 мая 1934 г.

Опубликование писем Наталии Герцен к Гервегу (в Англии) прошло почти незамеченным, опубликованный во Франции архив Геккерена до сих пор не переведен и не принят во внимание в России. Всё имеет свое время, и тайны умирают, как и всё остальное. Был ли Горький убит нанятыми Сталиным палачами или умер от воспаления легких — сейчас на этот вопрос ответа нет. Но важнее этого: что делалось в нем, когда он начал осознавать „плановое" уничтожение русской литературы? гибель всего того, что всю жизнь любил и уважал? И был ли около него хоть один человек, кому он мог верить и с кем мог говорить об этом? В нем всегда была двусмысленность. Спасла ли она его от чего-нибудь?

Для него всегда было важнее быть услышанным, чем высказаться. Самый факт высказывания был ему менее нужен, чем чтобы его услышали или прочли. Для пишущего в этом факте нет ничего удивительного, большинство писателей его поколения были бы в этом согласны с ним. Но насколько люди, для которых высказывание является самым важным в жизни, а всё остальное — необязательно, свободнее, сильнее и счастливее тех, которые высказываются не для того, чтобы освободить *себя*, но для того, чтобы вызвать в *других* соответственную реакцию. Эти последние рабы своей аудитории, они без нее не чувствуют себя живыми. Они существуют только во взаимоотношениях с этой аудиторией, в признании себе подобных, и даже не сознают той несвободы, в которой живут.

Я стараюсь подвести итоги тому, что я получила в свое время от этого человека. Тревога о социальном неравенстве — она всегда была (и есть) во мне. Его игра ума была неинтересна, его философия — неоригинальна, его суждения о жизни и людях — в чуждом для меня разрезе. Только „полубезумный восторг делания", на фоне российской косности и бытовой консервативности, нашел во мне отклик. И, пожалуй, минуя его суть, что-то в характере, что делало его в домашней жизни спокойным, широким, иногда теплым, всегда доброжелательным — и не только к Ходасевичу и ко мне. Я бы сказала, что перед Ходасевичем он временами благоговел — закрывая глаза на его литературную далекость, даже чуждость. Он позволял ему говорить

себе правду в глаза, и Ходасевич пользовался этим. Горький глубоко был привязан к нему, любил его как поэта и нуждался в нем как в друге. Таких людей около него не было: одни, завися от него, льстили ему, другие, не завися от него, проходили мимо с глубоким, обидным безразличием.

Было время в двадцатых годах, еще задолго до того, как он был объявлен отцом социалистического реализма, а его роман „Мать" — краеугольным камнем советской литературы, когда не слава, но влияние его пошатнулось в Советском Союзе (а любопытство к нему на Западе стало стремительно бледнеть). Последние символисты, акмеисты, боевые западники, Маяковский и конструктивисты, Пильняк, Эренбург, то новое, что пришло (и ушло) в романе Олеши „Зависть", период „Лефа", расцвет формального метода — всё это работало против него. И молодая советская литература, деятели которой теперь, в шестидесятых годах, со слезой вспоминают, как их благословил в начале их поприща Горький, тогда либо с большой опаской и малым интересом, либо с сильным критическим чувством относились к его скучноватым, нравоучительным „правдивым" писаниям — в авангардной творческой фантазии вышеназванных направлений и групп факту как таковому, в его „революционном развитии" не было места. Но „Леф" был закрыт, символисты умерли, Маяковский застрелился, Пильняк был погублен, формалистам заткнули рот. И вот на первом Съезде писателей, в 1934 году, после того как Горького возили „от белых вод до черных", он был объявлен великим, а „Самгин" и „Булычев" — образцами литературы настоящего и будущего.

Между тем, как ни странно, если не в литературе, то в жизни он понимал легкость, отдыхал на легкости, завидовал легкости. В Италии он любил именно легкость: танцевали ли на площади лавочники или клал кирпичи, горланя песню, каменщик, — он завистливо и нежно смотрел на них, говоря, что всему причиной здесь солнце. Но в литературе он не только не понимал легкости, он боялся ее, как соблазна. Потому что от литературы всегда ожидал урока. Когда однажды П. П. Муратов читал в Сорренто свою пьесу „Дафнис и Хлоя", он был так раздражен этой комедией, что весь покраснел и забарабанил пальцами по

столу, книгам, коленям, молча отошел в угол и оттуда злобно смотрел на всех нас. А между тем в прелестной этой вещи (которая носит на себе сильную печать времени, то есть танцующей на вулкане послевоенной Европы, и которая насквозь символична) было столько юмора и полное отсутствие какой-либо дидактики, и чувствовалось, что автор ничего не принимает всерьез (пользуясь своим на то правом, которое, впрочем, дано каждому из нас): ни себя, ни мира, ни автора „Матери", ни всех нас, ни вот эту самую свою комедию, которую даже не собирается печатать и которую может быть писал шутя (а может быть и нет).

В русской жизни было мало юмора, а теперь его нет совсем. И в русском человеке — говорю только на основании собственного опыта, не по словам других людей или на основании прочтенных книг — юмора тоже маловато. Не потому его нет в людях, что его мало было и есть в жизни, а его мало в жизни потому, что его недостаточно в людях. Особенно же — в той части интеллигенции, к которой принадлежал Горький; всё принималось всерьез, и себя самих люди принимали уж слишком всерьез: Маркса приняли в такой же серьез, как царь — молитву „помазанника божия". И от этого слишком часто густая пелена поучений нависала над ними и над их писаниями.

А между тем иногда, правда редко, стена серьезности рушилась, и в пароксизме освобождающего его смеха Горький вдруг стремительно приближался ко мне. И тотчас же сознание вины появлялось у него в глазах: нельзя смеяться, когда китайские дети голодают! когда не открыта еще бацилла рака! когда в деревнях убивают селькоров! Так бывало при чтении им нашего с Максимом „журнала", „Соррентинской правды", так бывало после посещения Андрэ Жермена, одного из директоров Лионского кредита, литературного агента Горького на Францию. Этот банкир был решительно влюблен во всё советское, сам же не умел самостоятельно вымыть себе рук и подставлял их не то своему лакею, не то секретарю, который всюду за ним следовал. Это был один из первых представителей так называемого „салонного большевизма", фигура комическая и жалкая. Максим и я изображали сцену мытья рук, которую мы случайно подсмотрели, и Горький хохотал до

слез. Так бывало, когда мы ставили пародии на классический балет или итальянскую оперу. Но это были редкие минуты выхода из нравоучительной скорлупы, которую он себе создал. Впрочем, если перечитать его современников и единомышленников, то станет понятно, что он не создал ее себе, а она была коллективной их защитой от другого, соседнего мира, который еще во времена Добролюбова и Чернышевского сделался для подобных им „табу".

У меня долго хранилась одна фотография — это была встреча Нового 1923 года в Саарове. На фоне зажженной елки, за столом, уставленным закусками, стаканами и бутылками, сидят Горький, Ходасевич, Белый, все трое в дыму собственных папирос, чувствуется, что все трое выпили и напустили на себя неподвижность. Слева, сложив руки на груди, очень строгая, в закрытом платье, М. Ф. Андреева, Шкловский, беззубый и лысый, чье остроумие не всегда доходило в этом кругу, актер Миклашевский, снимавший группу при магнии и успевший подсесть под самую елку и оттого полупрозрачный, Максим, его жена, Валентина Ходасевич и я, размалеванные под индейцев. Негатив был на стекле, и Горький, когда увидел фото, велел разбить его: фотография была „стыдной". Единственная уцелевшая карточка была выкрадена из моего архива — она может быть еще и сейчас гуляет по свету.

В эти годы Горький писал мне:

„[Сааров] 22 февраля [19]23.

Нина Николаевна!

Разрешите просить Вас перевести прилагаемую статейку Элленса; ее надо тиснуть в первый №*) и тогда мы будем у Христа за пазухой!

Очень прошу!

Всего доброго.

А. Пешков

[Сааров. Весна 1923 г.]

Нина Николаевна —

Вы извините мне [!], если я укажу Вам на некоторые штрихи стихов Ваших, не очень удачные, на мой

---

*) „Беседы" (Н. Б.)

взгляд? И — примите во внимание, что я рассматриваю стихи, как реалист, как человек, стремящийся к точности. Читая: „птицы, вдруг поверя непогоде, взлетают вверх и ищут облаков" — я говорю себе: это не так, это не точно: перед непогодой птицы, даже морские чайки прячутся и вообще у них нет причины искать облаков; „и ищут" звучит не хорошо.

„Выплюнув табак" — непонятно: зачем бы? Табак жуют преимущественно во время работы.

Прилагательное „лихой" умаляет ураган, явление грандиозное.

„К красоткам" — трудно произносится.

„С восставшей к трубам" — почему к трубам, а не „в небо", к небу?

Вот каковы мои замечания. В общем же стихи Ваши очень нравятся мне.

А. Пешков

[1924 ?]

Многоуважаемая Берберини!

В благодарность за милое письмо Ваше искренне желаю Вам сплясать гопака с Ольденбургом, С. С. и какой нибудь отчаянный фокс-трот с Зиновием Гржебиным.

А стихи Ваши мне очень нравятся. Я бы, пожалуй, решился указать Вам на некоторые по моему мнению профана — неловкости стиха, напр., в „Точильщике", первая строфа, рифмы идут — „клочья — вдвоем, волчьи — днем", а вторая: точильщик — ножи, дружочек — покажи". Не нравится мне и „бродяга — бедняга". Но стихотворение оригинально. Очень внушительно, фонетически правдиво звучит, шипит в нем злость:

„Нынче оба зубы волчьи
Точим ночью, точим днем," —

И „О портном" хорошо, особенно — конец. В нем есть неловкие строки:

„Каждый пусть за угощенье
Мне старинное споет," —

в нем не отчетливы рифмы. И „Дым повис от табака" неловко. И еще кое что.
Но — сие есть техника, и с нею, я уверен, Вы сладите. Только не торопитесь!
Очень прельщает меня широта и разнообразие тем, сюжетов в стихах Ваших. Я считаю это качество признаком добрым, он намекает на обширное поле зрения автора, на его внутреннюю свободу, на отсутствие скованности с тем или иным настроением, той или иной идеи. Мне кажется, что определение: поэт — эхо мировой жизни, самое верное.
Конечно, есть и должны быть души, воспринимающие только басовые крики жизни, души, которые слышат лишь лирику ее, но Андрей Степаныч Пушкин слышал в с ё, чувствовал в с ё и потому не имеет равных. Пока — будем надеяться.
Я думаю, Берберини, что Вы будете очень оригинальной поэтессой и это меня чертовски радует. Да. Разве есть что-нибудь лучше литературы — искусства слова? Ничего нет. Это — самое удивительное, таинственное и прекрасное в мире сем.
Ну, и будьте здоровы! Пишите больше, а печатайте — меньше...
Пока, пока!
Вы еще очень желтый птенец*), но Вы — хорошая птица, не знаю какая, а хорошая! Крепко жму лапу.

А. Пешков

[Сорренто. 5 мая 1925 г.]
3. V. 25.

Сталь, насколько я помню, рыжий. Ходасевич тоже сидел рядом с рыжей дамой. Что значит эта склонность к рыжим? Сталь хочет придти к Вам в гости? Чувство дружбы понуждает меня предупредить Вас: у него страшная жена, у Сталя, если это московский адвокат Сталь.
А „мы священника поймали"! Из Беневента. Розовый, веселый, играет на пианино Грига, ел пельмени и хо-

---

*) Было написано: цыпленок. Не хорошо!

хотал. А у нас была немецкая актриса похожая на белую мышь и немецкая художница, одетая цыганкой, потому что она любит Россию. Ей дали кусок пирога, а в начинке оказался гвоздь, она очень обрадовалась: „Ах, я поняла, это для счастья," — сказала она; она говорит по русски и даже муж у нее „совершенно русский".

Вообще у нас очень интересно и к тому же мобилизовано по случаю 1-го мая и на всякий иной случай. Спросите В. Ф.*) что делать с шестью томами Случевского? Послать ему?

Прилагаю открытку. И вырезку из „Правды". Я не понимаю ее, — ведь белуга-то притихла? Зачем же возить по улицам столицы 41 пуд тухлого рыбьего мяса? Ночь не спал, все думал, но — ничего не понял. Спросите Мережковского: как он смотрит на этот странный факт?

Все, которые дома, кланяются В. Ф. и целуют Вас**). Будьте здоровы, веселы.

А. Пешков

[Сорренто. 20 июля 1925 г.]

О, женщина, соблазненная грешною славой лицедейки американской Мери Пикфорд и тридневно пляшущая еретический фокстрот на улицах французского Вавилона подобно Саломее, родственнице известного изверга Ирода, — о, женщина что же будет дальше? Чью голову пожелаете видеть отделенной от шеи, чью? Исполнив долг моралиста, перехожу к серьезному делу. Сообразно желанию Вашему, влагаю в письмо это фотографию домашнего изготовления, изображающую меня в достойном виде: отдаю честь Татиане Бенкендорф, девице, которая говорит басом и отлично поет эстонский гимн, слова коего таковы:

Макс и Нина, Макс и Нина
Ку-ка-ре-ку, ква-ква-ква!
Ой, самопойс...

---

*) Ходасевич. (Н. Б.)

**) А дома-то один я, Макс — в Неаполе, а Сол. и Тим. ушли в Сорренто. Каково?

Замечательная девочка, равно, как и все другие, перечень которых прилагаю:

Павел Бенкендорф — бас, Кира — сопрано, Илья Вольнов — тенор, Зоя Лодий — тоже сопрано и какое! Профессор Сергей Адрианов — не поет, а только сопровождает, Дейнеке — танцор и рассказчик на все темы. Федор Рамша — гармонист, Исидор Кудрин — баритон. Сара Volnoff — иногда поет, но лучше, если молчит; Павел Муратов — сами знаете, сударыня! — Александр Каун — американский профессор из Сан-Франциско и Черниговской губернии, жена его — совершенно круглая . . . ходит в платьях византийского стиля, лепит людей из глины, но еще хуже чем это делал Бог; не поет, но порывается. О, Господи, Господи . . .

Все прочие в нормальном состоянии, кроме Максима, который ходит на одной ноге, потому что разрезал другую о морское дно. Тимоша — молодец, она мужественно собирается сделать меня дедушкой. Ох, пора! Мария Игнатьевна в „кольце круга" своих детей — изумительна. По вечерам все играют на дворе в различные игры, а я обязан, стоя у ворот, кричать: „Varum den — или der — nicht?" По-русски это будет: Варум ден нихт. Трудно мне, но — кричу. И то-ли еще я делаю! Затем каждый обязан прыгать на одной ноге вокруг клумбы, среди которой торчит известная Вам пальма.

Так и живем. Посещаем близь лежащие острова, как то: Капри, Искию, Прочиду и т. д. В свободное время пишем роман, в пяти частях с „прологом" и „эпилогом". Что будет!

„Пролог" и „эпилог" изобретены т. Денисом Русским из Воронежа, а „кольцо круга" — известным литератором т. Алтаевым, из Москвы.

Как изволите видеть — все обстоит благополучно. Купчиха*) пишет портрет Сары Вольной с растрепанной прической и Татьяну Бенкендорф с бантиками. Потом будет писать меня.

---

*) В. М. Ходасевич, художница, племянница поэта. (Н. Б.)

В Минерву приехало стадо учительниц из Дании, сорок голов. У одной из них — три живота, два — по бокам и один посередине. Даже итальянцы изумляются.

Русские-же виллы Сорито совокупно просят кланяться Вам.

Кланяюсь. Всего доброго. И успеха. Надо, всетаки, стихи писать, милая Н. Н.

20. VII. 25" А. Пешков

А что же сказать об архивах Горького, собранных им за границей в двадцатых годах (точнее: 1921—1933)? Неужели же мы так никогда и не узнаем правду о том, как и когда они были доставлены в Москву? В мае 1933 года был, видимо, ликвидирован дом в Сорренто и тысячи книг были упакованы, как и все вещи, принадлежавшие Горькому, его сыну, его невестке и двум его внучкам, так же, как и вещи, принадлежавшие Ивану Николаевичу Ракицкому, в то время жившему в доме, как член семьи. Всё это ушло в Москву. Но надо полагать, не весь архив, а только часть его. В этом архиве, кроме рукописей, записных книжек, черновиков, копий писем, договоров с издателями и многого другого, должна была находиться вся переписка Горького с советскими писателями, как жившими в СССР, так и приезжавшими за границу; переписка его с эмигрантскими писателями (Ходасевич, Осоргин, Слоним, Вольский, Мирский и др.), обширная переписка с эмигрантскими общественными деятелями, близкими Горькому еще до революции, как, например, Кускова; переписка с иностранцами, побывавшими в России в эти годы или сочувствующими советскому строю, и, наконец, письма крупных советских людей, членов партии и правительства, Бухарина, Пятакова, некоторых советских послов в европейских столицах. Здесь, как всякий понимает, была и критика Сталина, и критика режима, и эти документы Горький вряд ли повез в Россию. Он, если верить одному осведомленному лицу, передал их на хранение человеку, наиболее ему близкому (в Россию с ним не поехавшему), который и увез эту часть архива в Лондон. Была ли она в тридцатых годах привезена или отослана в Москву. как ходят слухи? Или она была достав-

лена позже, как об этом сообщается во втором томе Краткой литературной энциклопедии? Если письма Бухарина, Пятакова и других были в России уже в тридцатых годах, то Сталин не мог с ними не ознакомиться. Через два месяца после смерти Горького (до сих пор не объясненной) начались московские процессы. Сейчас, начиная с 1958 года, эти документы частично печатаются, с примечанием: „Подлинник находится в архиве Горького в Москве". Подробного описания этого архива до сих пор нет. Были ли письма казненных большевиков своевременно уничтожены? Или они сохраняются? И что сталось с сотнями писем П. П. Крючкова, по которым можно проследить, как по календарю, всю жизнь Горького за границей? Крючков был подвергнут пыткам и расстрелян — в этом сомнения нет. Но теплые слова о нем начинают появляться здесь и там в мемуарной литературе.

Шкловский в то время (1923 г.) писал свое покаянное письмо во ВЦИК, за ним гонялись, как за бывшим эсером, жена его сидела в тюрьме заложницей, он убежал из пределов России в феврале 1922 г. и теперь просился домой, мучаясь за жену. Шкловский между Белым и Ходасевичем был человеком другого мира, но для меня в нем всегда ярко горели талант, живость, юмор; он чувствовал, что его жизнь в Германии бессмысленна, но он не мог предвидеть своего будущего, того, что его заморозят в Советском Союзе на тридцать лет (и разморозят в конце пятидесятых годов). Он пережил всех своих друзей, жив и сейчас, но от живости и юмора в нем осталось мало, судя по его писаниям последнего периода. Систематически мыслить и связно писать он никогда не умел, академическая карьера была не по нем, как это оказалось у его соратников, Тынянова, Томашевского, Эйхенбаума и других. Его судьба загубленного человека — одна из самых трагических. На Западе, среди славистов, его знают и ценят больше, чем его знают и ценят сейчас в России.

Шкловский был круглоголовый, небольшого роста, веселый человек. На его лице постоянно была улыбка, и в этой улыбке были видны черные корешки передних зубов и умные, в искрах, глаза. Он умел быть блестящим, он был полон юмора и насмешки, остроумен и подчас дерзок, осо-

бенно когда чувствовал присутствие „важного лица" и „надутой знаменитости" или людей, которые его раздражали своей педантичностью, самоуверенностью и глупостью. Он был талантливый выдумщик, полный энергии, открытий и формулировок. В нем бурлила жизнь, и он любил жизнь. Его „Письма не о любви" и другие книги, написанные о себе в эти годы, были игрой, он забавлял других и сам забавлялся. Он никогда не говорил о будущем — своем и общем, и вероятно подавлял в себе предчувствия, уверенный (во всяком случае снаружи), что „всё образуется" — иначе он бы не уехал обратно: на Западе он один из немногих мог осуществить себя полностью — Р. О. Якобсон, близкий ему человек, конечно, помог бы ему. Но вопрос жены не давал ему покоя.

Выдумки его иногда кончались плохо: однажды он позвал меня на обед к художнику Ивану Пуни и его жене, художнице Ксане Богуславской. Они решили пообедать по-советски, сделать маленький опыт и посмотреть, выйдет ли что-нибудь из этого: на первое была подана селедка — воблы в Берлине не оказалось, — твердая, как дерево, которую сперва отбили. На второе на стол была принесена пшенная каша. В нее влили немного постного масла („маленький компромисс", — объяснил Шкловский). Мы пожевали селедку, а потом, грустно глядя на горшок с кашей, почувствовали, что есть ее не можем. И пришлось нам пойти в пивную на угол, где мы заказали сосиски, квашеную капусту и пиво. „Не вышло, — говорил потом Виктор Борисович, — отвыкли. Подлец человек!"

Иногда в те месяцы в Сааров приезжал Н. А. Оцуп. Этот конечно никогда не думал возвращаться; он остался на Западе и в памяти моей живет, как пример стремительного ущерба всех своих способностей. Его оскудение остается для меня загадкой. Лучшие свои стихи он написал в двадцатых годах, всё, что он написал впоследствии было тронуто каким-то странным тлением, каким-то грустным неумением развиться, всё было слишком вяло, слишком длинно, нравоучительно, как старомодная басня. Исчезла музыкальность, начисто ушли силы воображения, „моралью" был задавлен элемент игры. Это был человек, встречи с которым в течение двадцати лет мне всегда были тягостны, словно он

искусственно хотел быть чем-то, чем быть не мог, и это напряжение чувствовалось в нем постоянно, а с ним и обида на мир, и осуждение этого нашего порочного мира, в котором ему когда-то дышалось так хорошо. Быть может личная судьба помешала ему быть тем, чем он обещал стать еще в Петербурге, когда писал про „рыбачку Эдди" или в Берлине, когда писал свою прелестную поэму „Встреча" (1928 г.), испорченную концом, где было столько очаровательных мелочей, или цикл стихов о любви из второй книги „В дыму", которые, раз прослушав, легко было запомнить на всю жизнь:

> Ты головой встряхнешь, и на ветру блеснет
> Освобожденный лоб, а злой и нежный рот
> Все тени на лице улыбкой передвинет,
> И снова омрачась внимательно застынет.

Какая точность в передаче видимого! Какая свобода! Но он, кажется, позже стыдился их, и девизом его стало „без бога ни до порога". Эти любовные стихи даже не вошли в его посмертную книгу (1961 г.) — отвергнутые кем? Им самим или тем человеком, который распорядился его наследием?

Б. Л. Пастернака я в Саарове не помню, но хорошо помню его в Берлине. Он принадлежал к той группе людей, о которых я сказала, что Горький был начисто вне круга их литературных интересов. В Берлине он довольно часто приходил к нам, когда бывал и Белый. Я тогда мало любила его стихи, которые теперь ценю гораздо выше, чем его неуклюжий, искусственный и недоработанный роман, чем его поздние стихи о Христе, Магдалине и вербной субботе. Ходасевич и Белый слушали его сочувственно и внимательно. Он казался мне не очень интересным, потому что и тогда и после производил впечатление талантливого, но не созревшего человека. Таким остался он до конца своей жизни, но этот грех почти всегда можно простить, если есть что-то другое, за что его можно прощать. Я в то время во многих его стихах (которые сейчас мне кажутся простыми, только перегруженными не до конца продуманными метафорами) не могла добраться до сути. Однажды Белый пожаловался Ходасевичу, что он с трудом добирается до сути, и когда добирается, суть оказывается совсем неинтересной.

Ходасевич согласился с ним и между прочим сказал, что „они" (футуристы и центрофугисты) часто подчеркивают, что живут в динамическом мире, в особом динамическом времени, а тратить время на расшифровку их неинтересных и интеллектуально-элементарных стихов приходится так много, что тут получается противоречие.

— И ничего за это не получаешь! — закричал Белый посреди Виктория-Луиза Платц (мы шли ночью с какого-то литературного собрания, на котором Пастернак читал стихи, еще затемняя их своим очень искусственным чтением), так что голос Белого ударился о темные дома, и эхо берлинской площади гулко ему ответило, что привело его в восторг.

Впрочем, хотел ли Пастернак сам, чтобы люди добирались до сути его стихов? Теперь я думаю, что эти усилия понять до конца строфу за строфой были совсем и не обязательны — в его поэзии строфа, строка, образ или слово действуют внесознательно, это в полном смысле не познавательная, но чисто эмоциональная поэзия — через слух (или глаз) что-то трепещет в нас в ответ на нее и копаться в ней совершенно не нужно. Вот комната — она названа коробкой с красным померанцем, вот весна — пахнущая выпиской из тысячи больниц, вот возлюбленная, как затверженная роль провинциального трагика — разве этого недостаточно? Этого много, слишком много! Здесь есть „гений", и мы благодарны ему. Здесь есть „высокое косноязычье" — и мы принимаем его.

В берлинские месяцы Пастернак был в своем первом периоде. Между первым и третьим (стихи доктора Живаго) был у него второй: характерная смесь Рильке и Северянина, отмеченная некоторой долей графомании, легкостью отклика на „весну", „лето", „осень", „зиму", „листопад", „одиночество", „море" и т. д., словно написаны стихи на заданную тему — чего никогда не было у Есенина и что Маяковский возвел в прием, как результат „социального заказа" и, тем самым, — остранил.

Позже, уже в Париже, я знала ту, которая теперь упоминается во всех биографиях Пастернака и о которой есть строки в „Охранной грамоте": „две сестры Высоцкие", из которых старшая была первой любовью Пастернака, когда ему было четырнадцать лет и которую позже он встретил

в Марбурге, где жил студентом (летом 1912 года). Он сделал ей предложение, и она тогда отказала ему. Он страдал от неразделенной любви и начал писать стихи „день и ночь" (но главным образом о природе).

В Париже она была уже замужем, когда я знала ее. Обе сестры почему-то весьма непочтительно назывались Бебка и Решка. Решка была старшая, тоненькая, рыженькая, в веснушках. Вторая, с которой я была ближе знакома, иногда называлась Бебочка — она была очень хороша собой, с прекрасными глазами, строгим профилем и женственными движениями. Пропасть разделяла меня с ней — она жила в светской, буржуазной среде, выезжала, но почему-то, когда мы встречались, мы всегда были рады друг другу: я чувствовала в ней и прелесть ее, и душевную мягкость. Она тоже была с сестрой в Марбурге, когда случился разрыв Решки с Пастернаком.

„Темно́ты" в его стихах — именно потому, что они в стихах — теперь меня уже давно не беспокоят, но что сказать о его статьях, письмах, ответах на анкеты, его интервью? Теперь кажется, что эти „темно́ты" были созданы им нарочно, чтобы настоящую мысль спрятать подальше, прикрыть, закамуфлировать: в статье „Черный бокал" (1916), в письмах к Горькому (1921—28), в анкете по поводу постановления компартии о литературе (1925), в „Минской" речи (1936) немыслимо добраться до существа дела, всё обрамлено виньетками отвлеченных слов, не имеющих никакого отношения к главной теме, этот стиль соблазнительно назвать „советским рококо" — он, конечно, ни Горькому, ни читателям анкеты не мог быть понятен. А что если это не камуфляж? А что если такими виньетками годами шла мысль Пастернака, пока он не нашел для себя новый способ думать, которым и воспользовался в „Докторе Живаго"? Этот метод „Живаго" выдуман не им: он был в расцвете в русской литературе до эпохи символизма.

Третью сторону его мышления — уже не рококо, но и не стиль восьмидесятых годов прошлого века, отражает его переписка с Ренатой Швейцер.

Каждому, кто любит Пастернака, необходимо прочитать переписку его с племянницей д-ра Альберта Швейцера, вышедшую в 1964 году в оригинале, по-немецки. В этой

небольшой книжке (история знакомства, письма его, отрывки писем Ренаты и история ее поездки к нему в Переделкино) Пастернак отражен полностью — и во всей своей неизменности. Даже его лицо на фотографии осталось почти прежним — лицо подростка (как было замечено иностранными журналистами). После чтения этой переписки несомненно одно: его молодая поэзия, от которой он более или менее отрекся в старости, была в его жизни не более как прекрасной и может быть даже гениальной случайностью. Есть что-то захлебывающееся, идущее от второстепенных немецких романтиков и наших слезливых идеалистов типа Огарева, в тоне писем семидесятилетнего Пастернака (и влюбленной в него шестидесятилетней Ренаты Швейцер, называющей его „мой Боря"), в то же время напоминающее его таким, каким он был сорок лет тому назад: растерянного, восторженного, запутавшегося в себе самом, в „о!" и „ах!" своего эпистолярного стиля, признающегося, что не в силах „перевести дыхания" от радости при получении письма Ренаты. Вот он говорит ей о слиянии их душ, вот — о передаче своих чувств ей на расстоянии, вот о погоде — в связи с ожиданием ее приезда — как отражении собственных эмоций. Вот она описывает его: в пасхальное воскресенье они гуляли по улицам и он христосовался со всеми встречными — знакомыми и незнакомыми; после того, как он познакомил ее с женой, он повел ее к О. Ивинской, сказав: „Я завоевал ее (Зину), добился ее . . . а теперь пришла другая. Зина — идеальная мать, хозяйка, прачка. Но Ольга страдала за меня . . ." Время от времени от избытка чувств (пишет Рената) они смотрели друг на друга и глотали слезы в молчании.

Может быть, дар вечной молодости не дал ему созреть? Еще в Берлине, несмотря на то, что ему было за тридцать, он выглядел юношей. Он тогда то появлялся на горизонте, то исчезал опять (он несколько раз в 1922—23 годах выезжал из Москвы в Берлин и опять возвращался в Москву из Берлина). В 1935 году я опять встретилась с ним в Париже (он приезжал не то один, не то два раза). До этого года он много печатался, его библиография занимает в Мичиганском издании его стихов и прозы 30 страниц. В эти последние наезды он разошелся со своей первой женой,

художницей Женей Лурье, и собирался жениться (или только что женился) на второй — Зинаиде Николаевне Еремеевой-Нейгауз. Цветаева, которая его видала довольно часто (он ездил к ней в Медон), рассказывала, что он ходил по Парижу и всё выбирал, какое бы купить новой жене платье. „Да какое же вы хотите платье?" — спросила его Цветаева.

— Такое, какое носят красавицы, — ответил он. Марина Ивановна смеялась, рассказывая это, и добавляла, что на вопрос: а какая же всё-таки эта новая жена? — Пастернак отвечал:

— Она — красавица.

Если можно облегченно вздохнуть услышав, что Гоголь сжег вторую часть „Мертвых душ" (ее не столь легко было бы предать забвению, как „Выбранные места" — впрочем, и это потребовало более полувека), то несомненной удачей в современной русской литературе является тот факт, что Пастернак не успел закончить свою трилогию в стихах „Слепая красавица". То, что мы знаем о ней, заставляет думать, что это была бы вещь ни в какой мере не достойная его пера. Три поколения должны были быть выведены в ней, и большое место должно было быть отведено спорам об искусстве крепостного человека Агафонова и... Александра Дюма. Изнасилование, кража фамильных драгоценностей, убийства, ослепление крепостной девушки — таковы темы первой части. Но, к счастью, и она осталась не дописанной — если верить рассказам людей, бывавших у Пастернака в последний год его жизни.

Когда мы выехали 4-го ноября 1923 года в Прагу, Марина Ивановна Цветаева уже давно была там. Мы не остались в Берлине, где жить нам было нечем, мы не поехали в Италию, как Зайцевы, потому что у нас не было ни виз, ни денег, и мы не поехали в Париж, как Ремизовы, потому что боялись Парижа, да, мы оба боялись Парижа, боялись эмиграции, боялись безвозвратности, окончательности нашей судьбы и бесповоротного решения остаться в изгнании. Кажется, нам хотелось еще немного продлить неустойчивость. И мы поехали в Прагу. Вот пражский календарь из записей Ходасевича:

9 ноября — Р. Якобсон.
10 ноября — Цветаева.
13 ноября — Р. Якобсон.
14 ноября — к Цветаевой.
16 ноября — Цветаева.
19 ноября — Цветаева.
20 ноября — Р. Якобсон.
23 ноября — Цветаева и Р. Якобсон.
24 ноября — Р. Якобсон.
25 ноября — Р. Якобсон, Цветаева.
27 ноября — Р. Якобсон.
28 ноября — Цветаева.
29 ноября — Р. Якобсон. Цветаева.
1 декабря — Р. Якобсон.
5 декабря — Якобсоны.
6 декабря — отъезд в Мариенбад.

В том неустойчивом мире, в котором мы жили в то время, где ничего не было решено и где мы вторично — за два года — растеряли людей и „атмосферу", которой я уже сильно начинала дорожить, я не смогла по-настоящему оценить Прагу: она показалась мне и благороднее Берлина, и захолустнее его. „Русская Прага" нам не открыла своих объятий: там главенствовали Чириков, Немирович-Данченко, Ляцкий и их жены, и для них я была не более букашки, а Ходасевич — неведомого и отчасти опасного происхождения червяком. Одиночками жили Цветаева, которая там томилась, Слоним и Якобсон, породы более близкой и одного поколения с Ходасевичем. Они не только выжили, но и смогли осуществить себя до конца (Якобсон — как первый в мире славист), может быть потому, что оба были преисполнены энергией, а может быть и „полубезумным восторгом делания". В эти недели в Праге и Ходасевич и я, вероятно, могли бы зацепиться за что-нибудь, с огромным трудом поставить одну ногу — как альпинисты — перебросить веревку, подтянуться . . . поставить другую . . . В такие минуты одна дружеская рука может удержать человека даже на острове Пасхи, но никто не удержал нас. И вероятно хорошо сделал. Цветаева и Слоним долго не

прожили там. Якобсон, когда расправил крылья, вылетел оттуда, как бабочка из кокона.

В то время М. И. Цветаева была в зените своего поэтического таланта. Жизнь ее материально была очень трудна и такой осталась до 1939 года, когда она вернулась в Россию. Одну дочь она потеряла еще в Москве, от голода, другая была с ней. Сын родился в 1925 году и был убит во вторую мировую войну. В Праге она производила впечатление человека, отодвинувшего свои заботы, полного творческих выдумок, но человека, не видящего себя, не знающего своих жизненных (и женских) возможностей, не созревшего для осознания своих настоящих и будущих реакций. Ее отщепенство, о котором она гениально написала в стихотворении „Роландов рог", через много лет выдало ее незрелость: отщепенство не есть, как думали когда-то, черта особенности человека, стоящего н а д другими, отщепенство есть несчастье человека — и психологическое, и онтологическое — человека, недозревшего до умения соединиться с миром, слиться с ним и со своим временем, то есть с историей и людьми. Ее увлечение Белой армией было нелепым, оно в какой-то степени вытекало из ее привязанности к мужу, С. Эфрону, которому она „обещала сына" — она так и сказала мне: у меня будет сын, я поклялась Сереже, что я дам ему сына. Несомненно в Марине Ивановне это отщепенство тем более было трагично, что с годами ей всё более начало хотеться слияния, что ее особенность постепенно стала тяготить ее, она изживала ее, а на ее месте ничто не возникало взамен. Она созревала медленно, как большинство русских поэтов нашего века (противоположность веку прошлому), но так и не созрела, быть может в последние годы своей жизни поняв, что человек не может годами оставаться отверженным — и что если это так, то вина в нем, а не в его окружении. Но ее драма усугублялась тем, что в эмиграции у нее, как у поэта, не было читателей, не было отклика на то, что она делала и, возможно, что не было друзей по ее росту. Поэт со своим даром — как горбун с горбом, поэт — на необитаемом острове или ушедший в катакомбы, поэт в своей башне (из слоновой кости, из кирпича, из чего хотите), поэт — на льдине в океане, всё это соблазнительные образы, которые таят бесплодную

и опасную своей мертвенностью романтическую сущность. Можно вписывать эти образы в бессмертные или просто хорошие стихи, и кто-то несомненно на них внутренне отзовется, но они будут нести в себе один из самых коварных элементов поэзии — эскапизм, который, если и украсит поэму, то разрушит поэта. Пражское одиночество Марины Ивановны, ее парижское отщепенство могли только привести ее к московской немоте и трагедии в Елабуге. В ней самой, в характере ее отношения к людям и миру, уже таился этот конец: он предсказан во всех этих строчках, где она кричит нам, что она — не такая, как все, что она гордится, что она не такая, как мы, что она никогда не хотела быть такой, как мы.

Она поддавалась старому декадентскому соблазну придумывать себя: поэт-урод, непризнанный и непонятый; мать своих детей и жена своего мужа; любовница молодого эфеба; человек сказочного прошлого; бард, обреченного на гибель войска; ученик и друг; страстная подруга. Из этих (и других) „образов личности" она делала стихи — великие стихи нашего времени. Но она не владела собой, не строила себя, даже не знала себя (и культивировала это незнание). Она была беззащитна, беззаботна и несчастна, окружена „гнездом" и одинока, она находила, и теряла, и ошибалась без конца.

Ходасевич однажды сказал мне, что в ранней молодости Марина Ивановна напоминала ему Есенина (и наоборот): цветом волос, цветом лица, даже повадками, даже голосом. Я однажды видела сон, как оба они, совершенно одинаковые, висят в своих петлях и качаются. С тех пор я не могу не видеть этой страшной параллели в смерти обоих — внешней параллели, конечно, совпадения образа их конца, и внутреннюю противоположную его мотивировку. Есенин мог не покончить с собой: он мог погибнуть в ссылке в Сибири (как Клюев), он мог остепениться (как Мариенгоф), или „словчиться" (как Кусиков), он мог умереть случайно (как Поплавский), его могла спасти война, перемена литературной политики в СССР, любовь к женщине, наконец — дружба с тем, кому обращено его стихотворение 1922 года, нежнейшее из всех его стихов:

Возлюбленный мой, дай мне руку...

. . . .

Прощай, прощай! В пожарах лунных
Дождусь ли радостного дня?
Среди прославленных и юных
Ты был всех лучше для меня.

. . . .

Другой в тебе меня заглушит

. . . .

Но всё ж средь трепетных и юных
Ты был всех лучше для меня!

Его конец — иллюзорен. Цветаева, наоборот, к этому шла через всю жизнь, через выдуманную ею любовь к мужу и детям, через воспеваемую Белую армию, через горб, несомый столь гордо, презрение к тем, кто ее не понимает, обиду, претворенную в гордую маску, через все фиаско своих увлечений и эфемерность придуманных ею себе ролей, где роли-то были выдуманы, и шпаги картонные, а кровь-то всё-таки текла настоящая.

Таким же неизбежным было и самоубийство Маяковского. Быть может с этим согласятся те немногие, кто прочел внимательно и полностью последний том его сочинений, где приведены стенограммы литературных дискуссий 1929—1930 года между РАППом (и МАППом) и Маяковским, автором поэмы (неоконченной) „Во весь голос". Сначала „во весь голос" шла ругань, потом „во весь голос" прозвучал на всю Россию его истошный крик. Потом „весь голос" замер. Раздался выстрел, и жизнь, казалось, не имевшая конца, кончилась. Отступать он не привык, не умел и не хотел. „Заранее подготовленных позиций" у него не было и у поэта его судьбы и темперамента быть не могло. Он застрелил не себя только, он застрелил всё свое поколение.

Трудно одолеть эти стенограммы, но не одолев их, невозможно понять неизбежность этого выстрела.

Не в каждом начале уже заложен конец, а главное — не всегда его можно увидеть, иногда он спрятан слишком хорошо. Смотря назад, в XIX век, видишь, что и смерть Пушкина, и смерть Льва Толстого (и Лермонтова), так похожие на самоубийства, тоже были заложены в их судьбе. Если бы Толстой ушел из дому сразу после „Исповеди",

он умер бы свободным человеком, изжив свою морализующую религию. Если бы Пушкин ушел от жены, и двора, и Бенкендорфа, ему не пришлось бы искать смерти. Оба стали жертвами собственной аберрации — Толстой стал жертвой своей дихотомии, Пушкин стал ясен только теперь, после опубликования Геккерновского архива: стало известно, наконец, что Наталья Николаевна не любила его, а любила Дантеса. На „пламени", разделенном „поневоле", Пушкин строил свою жизнь, не подозревая, что такой пламень не есть истинный пламень и что в его время уже не может быть верности только потому, что женщина кому-то „отдана". Пушкин кончил свою жизнь из-за женщины, не понимая, что такое женщина, а уж он ли не знал ее! Татьяна Ларина жестоко отомстила ему.

Понятие женской невинности жило в мире около ста лет. Иллюзия о двух категориях женщин — несколько дольше. Тяжело платили за нее не только Стриндберг и Белый, но и Герцен: сцена с Гервегом на прогулке в Альпах, когда Герцен заставил Гервега поклясться, что тот никогда не будет любовником Наталии, — когда он уже им был, — принадлежит к этой же мечте о женской невинности. Сейчас современным людям трудно понять „красоту", „справедливость" и „пользу" такой мечты. Теперь мы знаем, что всякая затянувшаяся невинность не только противоестественна, но и вызывает чувство брезгливости, как тот кретин, который в шестнадцать лет остался на уровне развития двухлетнего ребенка. Мне мучительно неловко читать про революционерку Марию Павловну, тридцатилетнюю, пышащую здоровьем девицу, в „Воскресении" Толстого. Я с отвращением смотрю на слюдяные глаза девственников, на слишком белые руки монахинь, мне неприятно думать о щитовидной железе старых дев и внутренней секреции аскетов.

Ранний ноябрьский вечер черен за окном. Мы сидим с трех часов при лампе в номере пражского отеля Беранек: Цветаева, Эфрон, Ходасевич и я. Беранек по-чешски значит барашек. Барашки нарисованы по стенам, на дверях, метками вышиты на наволочках, барашки украшают меню в ресторане, барашек улыбается нам со счета отеля. Ходасевич говорит, что мы живем в стаде розовых и голубых

барашков. Иные — с лентами, другие — с золочеными рожками, еще другие — с бубенчиками на шее. Барашек стоит у входа в гостиницу и даже крутит головкой и говорит мэ-э-э.

Мы сидим долгие часы, пьем чай, который я кипячу на маленькой спиртовке, едим ветчину, сыр и булки, разложенные на бумажках. Всё, что говорит Цветаева, мне интересно, в ней для меня сквозит смесь мудрости и каприза, я пью ее речь, но в ней, в этой речи, почти всегда есть чуждый мне, режущий меня больной надлом, восхитительный, любопытный, умный, но какой-то нервный, неуравновешенный, чем-то опасный для наших дальнейших отношений, будто сейчас нам еще весело летать по волнам и порогам, но в следующую минуту мы обе можем столкнуться и ушибиться, и я это чувствую, а она, видимо, нет, она вероятно думает, что со мной можно в будущем либо дружить, либо поссориться. Внезапно в комнате гаснет свет — это она выдернула вилку из штепселя, в темноте на диване она нападает на меня, щекочет, обнимает. Я вскакиваю, не сдержав крика. Свет зажигается. Эти игры мне совсем, совсем не по душе.

Р. О. Якобсон приходит после обеда. По черным улицам он, Ходасевич и я чавкаем по жидкой грязи, тонем в ней, скользим по мостовой — мы идем в старинную пивную. В пивной Ходасевич и Р. О. будут вести длинные разговоры о метафорах и метонимиях. Якобсон предлагает Ходасевичу перевести на русский язык поэму чешского романтика Махи: Может быть „от Махи до Махи вы могли бы закрепиться в Прахи?" — говорит он. Но Ходасевич Махой не очарован и возвращает поэму.

И вот мы в Италии. Сперва — неделя в Венеции, где Ходасевич захвачен воспоминаниями молодости и где я сначала подавлена, а потом вознесена увиденным. Я только частично участвую в его переживаниях, я знаю, что он сейчас смешивает меня с кем-то прежним, и позже такие строчки, как

Пугливо голуби неслись
От ног возлюбленной моей,

мне будет естественно делить с его возлюбленной (Женей Муратовой) 1911 года. У меня тем не менее отчетливое сознание, что „мое" и что „не мое". Его молодость — не моя. Для меня и свое-то прошлое никогда не сто́ит настоящего, он же захвачен всем тем, что было здесь тринадцать лет тому назад (и что отражено в стихах его второго сборника „Счастливый домик"), и ходит искать следы прежних теней, водит и меня искать их. И мне становятся они дороги, потому что они — его, но я не вполне понимаю его: если всё это уже было им „выжато" в стихи, то почему оно еще волнует его, действует на него? Я конечно и вида не подаю, и не спугиваю его видений, я начинаю по-своему боготворить этот волшебный город.

Сама я уже тогда не любила носиться со своим прошлым, теперь, когда я рассказываю о нем, мне хочется быть и увлекательной, и точной, и извлекать больше радости для себя от формулировок, чем от эмоций, с ним связанных. Эмоций, собственно, нет. Я не умею любить прошлое ради его „погибшей прелести" — всякая погибшая прелесть внушает мне сомнения: а что если погибшая она во сто раз лучше, чем была непогибшая? Мертвое никогда не может быть лучше живого. Если для живого человека мертвец лучше живого, то значит в человеке самом есть что-то омертвелое, всякая минута живого есть лучше вечности мертвого. Кому нужны мертвецы? Только мертвецам.

Волочить сквозь всю жизнь какие-то минуты, часы или дни? Любить их ушедшую тяжесть, когда всякое настоящее, уже тем только, что оно живо, лучше всякого прошлого, которое мертво? Нет, единственная непогибшая и непогибающая прелесть есть „свирепейшая имманенция" данного мгновения, состоящего из прошлого, настоящего и будущего. Нет, все воспоминания — даже самые нежные, как и самые величественные — я готова отдать за вот эти минуты ж и з н и, а не отражения ее, когда, как сейчас, мой карандаш бежит по бумаге, тень облака бежит по мне, и все вместе мы бежим по бесконечности — в трех планах: времени, пространства и энергии.

В Венеции Ходасевич был и окрылен, и подавлен: здесь когда-то он был молод и один, мир стоял в своей целости за ним, еще не страшный. Теперь город отбрасывал ему

отражение того, что есть: он не молод, он не один, и никто и ничто не стоит за ним, защиты нет. Голуби на Пьяцце ворковали и носились над нами, пароходик вез нас мимо каменного кружева старых дворцов, „которые так постарели, — говорил Ходасевич, — что сейчас рухнут". Они едва держатся, и мы едва держимся, но ничего, может быть не рухнем, — отвечала я. Мы любили друг друга через эту черту, разделявшую нас: по одну сторону был он со своими утренними предчувствиями вечерних катастроф, по другую — я, с ночными тревогами о дневных радостях.

С тех пор я возвращалась в Венецию три раза. Я люблю этот город больше всех городов мира, он несравним для меня ни с одним. Но каждый раз, когда я жила в Венеции, она была моим сегодняшним днем, словно я попадала в нее впервые. Не было ни груза воспоминаний, ни оживающей меланхолии прошлого, ни сожалений, ни следов смерти. Каждый раз я была там счастлива особенной и единственной полнотой, и счастливее всего я была там, когда в полном одиночестве прожила там восемь дней (в 1965 году) — утром, бродя по церквам и музеям, по знакомым и всегда как будто новым кварталам, днем — купаясь на Лидо и вечером либо слушая в старых двориках Возрождения камерный оркестр, играющий Вивальди, Тартини, Скарлатти, либо работая над рукописью этой вот книги. Каждый день приносил что-то новое: то это была маленькая площадь на той стороне Большого канала, где мне хотелось поселиться хотя бы дня на три, чтобы из окна комнаты по утрам видеть ее, то это был остров Санта-Элена, который я открыла в одну из прогулок и где мне всё — люди, дети, собаки — казались такими красивыми. То это были розы и левкои Торчелло, окружавшие мой столик, когда я там обедала, и дышавшие на меня.

Ночью, на вокзале во Флоренции, мы с Ходасевичем вдруг решили не выходить, а проехать в Рим, который оба не знали. Утром в Риме с вокзала — прямиком в гостиницу Санта-Киара, где жил Н. Оцуп, по телефону звонить Муратову. С ним — кружить по Риму. Денег было ровно на месяц, и Муратов сказал, что это не мало, если быть очень благоразумными с временем и точно знать, куда идти и что смотреть. Сначала я скептически отнеслась к его предло-

жению составить расписание: сама могу, не люблю расписаний, хочу — пойду, не хочу — не пойду, если чего не увижу — увижу в другой раз. „Но ведь другого раза может и не быть, — сказал Муратов. — Да и настать он может через четверть века. А вдруг вы не увидите самого важного?" Он был прав, и благодаря его „плану" я увидела всё, что только мыслимо было увидеть. А „другой раз" наступил ровно через 36 лет.

Быть в Риме. Иметь гидом Муратова. Сейчас это кажется чем-то фантастическим, словно сон, после которого три дня ходишь в дурмане. А это было действительностью, моей действительностью, моей самой обыкновенной судьбой в Риме. Я вижу себя подле Моисея Микеланджело и рядом с собой небольшого роста молчаливую фигуру, и опять с ним — в длинной прогулке по Транстевере, где мы заходим в старинные дворики, которые он все знает так, как будто здесь родился. Мы стоим около какого-то анонимного барельефа и разглядываем его с таким же вниманием, как фрески Рафаэля; мы бродим по Аппиевой дороге, среди могил, вечером сидим в кафе около пьяццы Навона и обедаем в ресторане около Трэви. Наконец — мы едем за город, в Тускулум. И всё это в атмосфере интереса к Италии современной, не только музейной. Он любил новую Италию, и меня научил ее любить. Впрочем, в то время он главным образом интересовался барокко. К барокко с тех пор я уже никогда не вернулась: через 36 лет, когда я опять была там, было так много раскопано древностей, что античный Рим заслонил для меня всё остальное, и было не до барокко. Я уже не пошла в Ватикан и не смотрела Моисея. Термы Веспасиана, вилла Адриана стали моими любимыми местами. Муратова уже не было, чтобы ходить туда со мной, рассматривать каждую колонну, каждый осколок колонны, но тень его и тогда была рядом.

Я спрашиваю людей, какой с ю ж е т эпохи Возрождения они больше всего любят? Муратов любил св. Иеронима, Ходасевич — благовещенье, Н. Оцуп — задумчивого осла в Вифлееме. Сама я сквозь всю жизнь пронесла любовь к Товию, несущему рыб, идущему в ногу с Ангелом. Многое менялось в моих вкусах: я разлюбила поздний Ренессанс (после 1500 года), я разлюбила французский восемнадцатый

век, я прохожу мимо Тинторетто и Карпаччио, но Товий во всех видах неизменно восхищает меня. Я люблю „Товия, несущего рыб" и у Пьеро ди Козимо, и у Ботичини, и у Тициана, и у Чимы да Конельяно, и у Вероккио, и даже у Гварди, у которого и Товий, и Ангел еще не идут, а только собираются уходить и прощаются: Ангел впереди, Товий чуть следом за ним и п о д р у к у, не з а р у к у (это — вторая картина в серии „История Товия" в церкви св. Рафаэля в Венеции). У Ботичини ангельский шаг — широк и воздушен, у Тициана Товий шагает не в ногу, очевидно не может поспеть; чаще всего он, маленький и серьезный, шагает рядом с огромным, спешащим к определенной цели, а не просто так себе гуляющим Ангелом, босым, с мускулистыми ногами и отогнутым, большим пальцем на ноге. Ангел крепко держит в своей „настоящей" руке детскую руку Товия. Собака неопределенной породы тихонько бежит за ними. Но перед тем, как подробнее сказать о них обоих, я напомню апокриф:

Старый слепой Товит (из рода Нафтали) был когда-то пленником в Ниневии. Он оставил десять серебряных талантов у Габаэля, брата Габрина, в Мидии.

Двадцать лет прошло. Расписку разорвали тогда надвое. Товит хранил свою половину.

Он решил послать сына своего, Товия, к Габаэлю за десятью талантами. Надо было найти молодому Товию спутника. Нашли ангела Рафаэля. Ходу до Мидии было два дня.

Рафаэль сказал: Я — Азария, сын Анания Великого. Товит обещал платить ему одну драхму в день на всем готовом, если он поведет Товия к Габаэлю и приведет его обратно. Он обещал награду. Мать спросила: кто пойдет с нашим сыном? Отец ответил: добрый ангел. Он знает дорогу.

Пошли втроем с собакой.

Ночью на берегу Тигра Товию захотелось вымыть ноги. Большая рыба выскочила из реки и хотела откусить ему ногу. Он громко закричал. Ангел сказал: не бойся. Схватил рыбу рукой. И по совету Рафаэля Товий разрезал рыбу, отделил печень и сердце — это были важные лекарства.

Кишки выбросили.

Часть рыбы зажарили, часть засолили. Какие же это были лекарства?

Печень и сердце — от злых духов.

Желчный пузырь — от слепоты.

Прошли через Экбатан. В доме Рагуэля жила Сарра, и Рафаэль посоветовал Товию взять ее в жены.

Но дьявол уморил уже семь женихов Сарры.

Рафаэль велел Товию бросить в огонь первое лекарство.

Дьявол исчез.

Тогда на радостях устроили пир.

Получили в Мидии десять талантов по расписке, составленной из двух половинок. Пошли обратно, втроем с собакой.

Принесли второе лекарство старому Товиту. И он прозрел.

Привезли Сарру. И прожили 117 лет.

Я знаю, почему так люблю этот сюжет Ренессанса: я целиком идентифицируюсь и с Товием, и с Ангелом. Смотря на Товия, я вижу себя, внимательно несущую рыб, доверчиво марширующую вдоль низкого горизонта, раз-два, раз--два, башмачки туго зашнурованы, обруч держит мои волосы, чтобы их не растрепал ветер. И я смотрю на Ангела, и тоже вижу себя: сандалии ловко обхватывают мои ноги, широкие лопасти одежды вьются вокруг моих бедер, лицо обращено вперед, словно у той фигуры, которую ставят, вырезанную из дерева, на бушприт корабля, идущего в далекое странствие, — и которая есть самый яркий и постоянный образ моей личной символики. В лице уверенность, бесстрашие, цель — это лицо Ангела, я сливаюсь с ним в моем воображении, я держу за руку кого-то и веду. И мне не страшно быть Ангелом, потому что я одновременно и маленький человек, вернее — человечек, ведомый этим Ангелом-гигантом вдоль тосканского горизонта; облака в небе клубятся, как мои одежды, и мне начинает казаться, что этот поход маленького и большого — мой собственный поход по жизни, в котором я вдруг так счастливо раздвоилась, зная, что я соединяю обоих: Товий — это всё, что во мне боится и неуверено, не смеет, не знает, всё, что ошибается, сомневается, всё, что надеется, всё, что болеет и тоскует. А Ангел, в полтора раза больше человеческого роста, это всё остальное, куда входит и восторг жизни, и

чувство физического здоровья, и равновесие, и моя несокрушимость, и отрицание усталости, слабости, старости.

Деньги кончились, оставалось в обрез на билеты до Парижа, где мы думали найти заработок. Мы выехали из Рима в теплое апрельское утро и через сутки вышли из поезда на Лионском вокзале. Дул ветер, шел дождь, туманы собирались над огромным городом. Всё было серое: небо, улицы, люди, вместо башни св. Ангела (вынимает ли ангел меч или вкладывает? — я всегда думала, что вкладывает) — вместо башни на фоне римской синевы — приземистая башня с часами Лионского вокзала. Всё было чужое, неуютное, холодное, казалось жестоким, угрожающим: вот я вернулась сюда, я была здесь когда-то, но ничто не отвечает мне, ничто не отзывается. В каменном грохоте таится молчание людей и вещей. Только трамваи бросают искры из-под колес на стрелках, уходя вправо и влево.

Мы поехали прямо к З. И. Гржебину. В это время он еще жил надеждами, что его издания будут допущены в Россию, что книги Горького, Зайцева, Ходасевича, Белого и других будут куплены у него на складе, что ему дадут издавать журнал, переиздавать классиков. Он даже продолжал скупать у авторов рукописи; этот опытный, казалось бы, делец не мог допустить и мысли, что ничто куплено у него не будет, что он через три года разорится до тла, что за неуплату налогов и долгов его будут фотографировать во французском полицейском участке без воротничка, в фас и профиль, как преступника, отмечая его „особые приметы", после чего он умрет от сердечного припадка и холеные белоручки, три обожаемые им дочери, жена, свояченица — вся огромная семья с двумя неподросшими еще сыновьями будут годами биться в тяжелой нужде, в борьбе с бедностью.

Тогда, в 1924 году, он еще жил в большой квартире на Шан де Марс, к дочерям его ходили учителя, французские и русские, на кухне, с папиροской во рту, стояла у плиты бывшая смолянка, а в столовой с утра до поздней ночи ели, пили, спорили и хохотали присяжный поверенный Маргулиес, поэт Черниховский, Семен Юшкевич, эсеры, эсдеки, поэты, нахлебники всякого рода, балетная молодежь студии балерины Преображенской, бывшие великие князья, артисты бывших императорских театров, опереточные пев-

цы, художники с именем, художники без имени, кабаретные певички, приезжие из Одессы безработные журналисты, приезжие из Киева безработные антрепренеры — всевозможные шумные полуголодные бездельники.

В первый же вечер он повез нас в Балль Табарэн, на канкан. Билеты во все театры стопкой лежали в столовой на буфете — кто хотел, тот брал. Поселили нас с Ходасевичем на седьмом этаже, в так называемой комнате для прислуги, под крышей, всю комнату занимала огромная не двухспальная, а трехспальная кровать. В окно была видна Эйфелева башня и сумрачное парижское небо, серо-черное. Внизу шли угрюмые дымные поезда (тогда еще существовала там железная дорога). На следующий вечер был балет в театре Шан-з-Элизэ, потом — ночь на Монмартре. А на третий день я нашла квартиру, вернее — комнату с крошечной кухней, на бульваре Распай, почти наискось от „Ротонды". Там, в этой квартире, мы прожили четыре месяца. Ходасевич целыми днями лежал на кровати, а я сидела в кухне у стола и смотрела в окно. Вечером мы оба шли в „Ротонду". И „Ротонда" была тогда еще чужая, и кухня, где я иногда писала стихи, и всё вообще кругом. Денег не было вовсе. Когда кто-нибудь приходил, я бегала в булочную на угол, покупала два пирожка и разрезала их пополам. Гости из деликатности до них не дотрагивались.

То зеркало в фойе театра Шан-з-Элизэ, в котором я отразилась в антракте, в тот вечер балета, всё еще цело. Я много раз смотрела в него — в вечера спектаклей Дягилева, Анны Павловой, Шаляпина, в вечера „Габимы", в вечера гастролей МХТ'а (1937 г.). Оно висит у лестницы, направо, и в нем долго видишь себя, когда идешь по направлению к нему. Там, в глубине этого зеркала, я вижу себя в тот первый вечер, мое сине-голубое платье, с белыми кружевами, по тогдашней моде, без рукавов и без талии, ноги в лакированных туфлях, узел волос на затылке, худые руки. Рядом со мной — Ходасевич. Сейчас будут три удара. Немчинова и Долин вылетят на сцену. Я увижу „Свадебку", я увижу „Весну священную". Худенький, стройный, всё в том же перелицованном пиджаке (или может быть взятом на прокат смокинге?) Ходасевич берет меня под руку и ведет в зал.

Мы с ним ходим теперь по городу. Лето. Жарко. Деваться некуда. Мы ходим вечерами или даже ночами, когда город медленно остывает, затихает, словно вытягивается, как зверь, перед тем, как положить одно ухо на лапу и полузакрыть громадный огненный глаз. Жадность увидеть этот город в его прошлом и настоящем постепенно обуревает нас. Мы ходим по узким и дурно пахнущим переулкам Монмартра, сидим в кафе Монпарнаса, мы идем в публичный дом на улицу Блондель, в танцульку на улицу де Лапп, мы проводим полночи где-то за путями железной дороги, где китайцы ловят нас за руки и зовут куда-то в подвал, дыша на нас странным незнакомым запахом. Мы ходим в маленькие театрики „варьете", где картонные декорации были бы смешны, если бы не были так грустны, на ярмарки, где показывают гермафродита, сидим в кабачке, где подают голые, жирные женщины и где, опять же за пятак, можно получить чистое полотенце, если клиент решает пойти с одной из них „наверх". „Румяный хахаль в шапокляке" и „тонколягая комета" — всё это было увидено тогда на улице Гетэ.

И музеи, и сады. И набережные. Вдвоем и в одиночку мы бродим.

Кое-кто из берлинских и московских друзей уже вел здесь в это время оседлую жизнь, на которую мы всё еще не смели решиться. Зайцевы раскинули свой добротный быт, бедный, но прочный; Цетлины, еще до войны имевшие в Париже квартиру, обрастали мирным семейным уютом. В редакции „Последних новостей" было тесно и грязно, но уже чувствовалась прочность этого, вначале зыбкого, начинания. На улице Винез, в небольшой комнате с портретом „бабушки" Брешко-Брешковской на стене, обосновалась редакция „Современных записок". Журнал в это время печатал много Гребенщикова и Минцлова, полагая, что это пригодится для будущей России. Постепенно картина „русского Парижа" стала для нас проясняться: „правые" держались больше вокруг православной церкви (где молились), русских ресторанов (где подавали) и завода Рено (где работали рабочими), иначе говоря — доблестное войско Деникина и Врангеля продолжало вести себя доблестно: работало в поте лица, рожало детей, оплакивало прошлое и участво-

вало в военных парадах у могилы Неизвестного солдата. Затем были „левые", одним из центров которых был Эренбург, окруженный всевозможными бездомными фигурами, талантливыми и растерянными, среди которых был Борис Поплавский, поэт Валентин Парнах (брат забытой поэтессы Софии Парнок, умершей в Москве в 1936 году) и будущие модные художники: Терешкович, Челищев, Ланской, и поэт Борис Божнев, один из замечательных поэтов моего поколения, сошедший на нет в тридцатых годах из-за тяжелой душевной болезни. Все были слегка недокормлены, не вполне знали, что будут делать завтра, как и где жить, больше сидели в кафе за чашкой кофе, многие недоучились, иные воевали (на чьей стороне — неизвестно) и теперь наверстывали кто что мог в послевоенной пестроте парижских литературных и художественных течений.

Я не сразу почувствовала и поняла ту умственную роскошь и новизну западной (главным образом в то время — французской) жизни, которые окружили меня. Я некоторое время еще жила впечатлениями трех первых лет моей молодости. Слишком они были сильны: Петербург, август 1921 года, Белый, Горький, Италия, перемена моей личной жизни и разлука с близкими. Слишком сильно надавила на меня внезапная наша бедность, русский Париж, французский Париж, язык, который, хоть я и знала, но оказавшийся вдруг не совсем таким, какому меня учили в детстве: изысканно-трудный, с неожиданными препятствиями, которые то и дело отбрасывали меня от него. Это первое наше пребывание в Париже, в 1924 году, перед тем, как вернуться еще на одну зиму в Сорренто к Горькому, оставило во мне чувство бездомности: нерешительность Ходасевича остаться здесь, поставить обе ноги на почву, которая считается твердой, даже как будто укрепилась. Боязнь решений мучила его. Заработки оказались эфемерными, настоящего дела не предвиделось. Помнятся мне последние дни и ночи перед отъездом в Сорренто. Ходасевич в это время уже знал, что его имя было в числе других в списке высланных в 1922 году из России писателей и профессоров — нескольких сот человек (когда мы уже были в Берлине) и понимал, что не только возврата быть не может, но что скоро нельзя будет даже и печататься в русских изданиях. То,

что он был в списке, только подчеркнуло что-то в его сознании, зачеркнуло возможность возврата домой и начертило первый рисунок будущего. Холодом повеяло от него. Первый сквозняк страха подул над нами и приучил очень скоро ниоткуда не ждать „сладкого кусочка". Помню одну бессонную ночь, может быть это была последняя ночь перед отъездом в Сорренто (этот отъезд был отсрочкой неизбежного): Ходасевич, изможденный бессонницами, не находящий себе места: „Здесь не могу, не могу, не могу жить и писать, там не могу, не могу, не могу жить и писать". Я видела, как он в эти минуты строит свой собственный „личный" или „частный" ад вокруг себя и как тянет меня в этот ад, и я доверчиво шла за ним, как Товий со своими рыбами. Я леденею от мысли, что вот наконец нашлось что-то, что сильней и меня и всех нас. Ходасевич говорит, что не может жить без того, чтобы не писать, что писать может он только в России, что он не может быть без России, что не может ни жить, ни писать в России — и умоляет меня умереть вместе с ним.

М. В. Вишняк, один из редакторов „Современных записок", в своих воспоминаниях о Ходасевиче, напечатанных в „Новом журнале" в сороковых годах, рассказал, как Ходасевич однажды пришел к нему и объявил ему, что решил покончить с собой. Еще в 1921 году, как сам Ходасевич пишет в комментариях к стихотворению „Из дневника" (издание стихов 1961 года), он был готов сделать это. Такие настроения начались у него рано, пожалуй, можно сказать, что они у него были с самых ранних лет. Они кончились только с его смертью, которую он в конце концов принял как давно ожидаемое освобождение.

Окончательно приезжаем мы в Париж в апреле 1925 года (он остается здесь четырнадцать лет и умирает, я остаюсь двадцать пять лет и уезжаю). Теперь он смирился. Он знает, что к Горькому возврата нет, что там скоро всё переменится. Он знает, что у него нет выбора, ехать больше некуда, и значит все задачи сами собой разрешены: надо жить здесь, надо жить, надо. И нет нам другой дороги, как в тесный и грязноватый Притти-отель на улице Амели, не раз с тех пор описанный в мемуарах иностранной богемы — в частности в одной из книг Генри Миллера. Тут мы

начинаем нашу жизнь в Париже. Тут мы получаем документ „апатридов", людей без родины, не имеющих права работать на жалованье, принадлежать к пролетариям и служащим, имеющим постоянное место и постоянный заработок. Мы можем работать только „свободно", как люди „свободных" профессий, то есть сдельно, такое нам ставят клеймо. Тут мы научаемся делить один артишокный листик на двоих, делить пополам каждую заработанную копейку, делить обиды, делить бессонницы.

Артишоков впрочем не было. И совсем не потому, что они „устарели", как когда-то говорила Вирджинчик, а просто потому, что готовить их было не на чем, да Ходасевич и не ел их. В электрической кастрюле можно было вскипятить воду для трех чашек чая и среди ночи, когда не спалось, мы пили чай, сидя на кровати, рядом, и опять не спали, говорили без конца, что-то решали, и всё не могли решить (а жизнь каждое утро принималась решать за нас). Иногда он плакал, ломал руки, и я пугалась настоящего, а о будущем я в те ночи и не думала: какая это роскошь, думать о будущем! Итак: артишокный листик был только метафорой.

Но не „каждая заработанная копейка". Это была не метафора, если под копейкой понимать тогдашний круглый бронзовый французский франк. Франки приходили редко и туго, но зато из самых разнообразных мест: то нам обоим из „Дней" (газеты эсеров, которая теперь выходила в Париже), то ему из „Современных записок", то мне из „Последних новостей". То вдруг из США маленький чек от Общества помощи русским интеллигентным труженикам, оказавшимся не у дел, то вдруг из Англии, от моих родственников (впрочем, от родственников — всегда заимообразно). Однажды появилась жившая в Притти-отеле первая жена Ю. П. Анненкова, танцовщица из „Летучей мыши" (через год уехавшая в Москву) и положила мне на колени какое-то вышиванье, которое непременно надо было окончить к завтрашнему утру. Вышивание было крестиком, длинные полосы, которые мерились на метры и в час выходило сантимов 60 заработку. Помню, как я сидела и вышивала всю ночь, а Ходасевич говорил, что к сожалению всё это уже было когда-то описано, лет примерно сто тому назад, не то

в романе Диккенса, не то у Чернышевского — про бедных и честных тружеников, вышивающих до слепоты в глазах, а потому — совершенно неинтересно. Но я продолжала стегать свои крестики, пока кому-то они были нужны.

Что касается обид, то они были у него, у меня пока обид не было. В Париже это ему говорили: помилуйте, мы не можем платить вам больше чем Лоло (Мунштейну), его так любит публика! Или: вам придется подождать с фельетоном — у нас на этой неделе Тэффи. Милюков сказал ему однажды (когда он краткое время пытался работать в его газете „Последние новости"), что он газете совершенно не нужен. А в это время в России один из столпов журнала „На (литературном) посту" писал о нем так:

> „Один из типичных буржуазных упадочников, Владислав Ходасевич, так описывает свое впечатление от собственного отражения в вагонном стекле:
>
> ... проникая в жизнь чужую
> Вдруг с отвращеньем узнаю,
> Отрубленную, неживую,
> Ночную голову мою.
>
> Не знаю, быть может В. Ходасевич индивидуально совершил ошибку, быть может он, как человек, обладает весьма привлекательной и даже обаятельной внешностью, но социально он оказался безусловно прав. Он верно различил в зеркале черты современной литературы своего класса. Современная буржуазная литература, взглянув в зеркало, действительно может увидеть лишь „отрубленную неживую ночную голову".

[После этого критик переходил к подобной же критике Сологуба, Мандельштама и Пастернака]

Дальше следовало:

> „С культивированием Ходасевичей и прочих нытиков мистицизма и реставрации пора покончить".

В другой раз, „покончив" с Эренбургом, критик переходил к Ходасевичу:

> „Оставим Эренбурга и остановимся на его соседе по журналу [„Красная новь"]. Слушайте:

> Под ногами скользь и хруст... [приводится всё стихотворение]
>
> Разумеется, „никто не объяснит", почему на „склоне лет" Ходасевичу хочется „коченеть" и выкидывать другие чудачества. И точно так же никто не объяснит, каким образом эти стихи попали не на страницы каких-нибудь эмигрантских „Сполохов", а на столбцы „Красной нови".

И дальше:

> „Явно буржуазная литература, начиная с эмигрантских погромных писателей, типа Гиппиус и Буниных, и кончая внутрироссийскими мистиками и индивидуалистами, типа Ахматовых и Ходасевичей, организуют психику читателя в сторону поповско-феодально-буржуазной реставрации..."

В последние годы (пятидесятые и шестидесятые) принято писать в СССР, что эмигранты „боялись" народа, что они „испугались" народа, что они дрожали при мысли о революционном народе. Я не думаю, чтобы Бунин, Зайцев, Цветаева, Ремизов, Ходасевич боялись н а р о д а. Но они конечно боялись литературных ч и н о в н и к о в — и не зря: эти чиновники-критики, завладевшие постепенно „Красной новью", обосновавшиеся в журнале „На посту", способствовали закрытию „Лефа", довели до каторги и смерти Пильняка, уничтожили Воронского, погубили Мандельштама, Клюева, Бабеля и других, но и сами погибли тоже. Их-то уж никто не реабилитирует, надо надеяться. Среди них был тот человек, который первый сказал о необходимости с н и ж е н и я к у л ь т у р ы в массовом масштабе, то есть об уничтожении интеллигенции, и еще другой — грозивший пулей последним символистам и акмеистам. Хочется верить, что они не оставили потомства.

Всё это было тяжело потому, что отрезáло путь в Россию, а слова Милюкова звучали угрозой, потому что надо было платить за комнату в Притти-отеле, а я — ни заметками, ни стихами, ни первыми рассказами, ни крестиками не могла дотянуть до такой суммы.

Потом я низала бусы. Много нас тогда низало бусы. Даже Эльза Триолэ (сестра Л. Ю. Брик, жившая в те годы в отеле

на улице Кампань-Премьер, очень похожем на наш Притти-отель) низала бусы. Это, пожалуй, было несколько выгодней, чем вышивать крестом. Три раза я снималась статисткой на киносъемках. Деньги мне заплатили с трудом и в четвертый раз не пригласили. И подошла осень, и к рождеству я надписала 1000 открыток с изображением Вифлиемской звезды. Я надписала тысячу раз „Oh, mon doux Jesus!" за что получила 10 франков: три обеда, или одна пара туфель, или четыре книжки в издательстве Галлимара.

В „Днях", пока они существовали (до осени 1926 года), Ходасевич вместе с Алдановым был редактором литературного отдела и несколько месяцев у него была регулярная работа. Мы нашли квартиру, далеко от тех мест, где жили в с е: около площади Дюмениль. Мы купили два дивана, то есть два матраса на ножках, хотя к ним полагалось купить и надматрасники, но эти надматрасники были куплены только через три года. В нашем тогдашнем понимании это называлось „рассрочкой платежа". У меня было два платья (с чужого плеча). У нас была кастрюля. В маленькой кухне я стирала и развешивала наши четыре простыни. Смены постельного белья не было.

Вокруг нас шумел, цвел, безумствовал послевоенный Париж, „грохочущие" двадцатые годы, вошедшие в историю западного мира как „морепоколенная" эпоха. Послевоенное поколение буйствовало. Старое доживало. Я видела собственными глазами и Клода Фаррера, и Поля Бурже, и Анри де Ренье, и невероятным может показаться теперь, что они еще существовали, когда во всей своей славе ломились в жизнь Жид, Пруст, Валери, не говоря уже о Бретоне и Тзара.

И на верхах правительства было то же: ушел древний Клемансо, пришел древний Пуанкарэ, и Барту, и Бриан — все были люди начала нашего века, которые вероятно хотели охранить Францию от этого века; и в Академии, и в университетах было то же, и чем прочнее сидели в своих регалиях и мундирах, шитых золотом, бородатые сверстники Деруледа, тем отчаяннее боролись два следующих за ними поколения за восьмичасовый рабочий день, за свободные школы, за кубизм, дадаизм, антиакадемизм, за

Брака и Пикассо, балеты Дягилева, за сюрреалистов, за „исповедь" против „романа", за новый театр и музыку Стравинского.

Париж — не город, Париж — образ, знак, символ Франции, ее сегодня и ее вчера, образ ее истории, ее географии и ее скрытой сути. Этот город насыщен смыслом больше, чем Лондон, Мадрид, Стокгольм и Москва, почти так же, как Петербург, Нью-Йорк и Рим. Он сквозит этими значениями, он многосмыслен, он многозначен, он говорит о будущем, о прошлом, он перегружен обертонами настоящего, тяжелой, богатой, густой аурой сегодняшнего дня. В нем нельзя жить, как будто его нет, законопатиться от него, запереться, — он всё равно войдет в дом, в комнату, в нас самих, станет менять нас, заставит нас вырасти, состарит нас, искалечит или вознесет, может быть — убьет.

Он есть, он постоянен и вечен, он вокруг нас, живущих в нем, и он в нас. Любим мы его или ненавидим, мы его не можем избежать. Он — круг ассоциаций, в котором человек существует, будучи сам — кругом ассоциаций. Раз попав в него и выйдя — мы уже не те, что были: он поглотил нас, мы поглотили его, вопрос был не в том, хотели мы этого или не хотели: мы съели друг друга. Он бежит у нас в крови.

Крошечная улочка, где летом на мостовой играют дети, и ночью, в дешевых отелях (и в нашем тоже), комнаты сдаются по часам, где на одном конце — почтовое отделение, а на другом — турецкие бани, в тесной комнате, жаркой летом, холодной зимой, под звуки гремящего до поздней ночи радио соседей, мы живем, пока не находим наконец квартиру. И от счастья, что у нас есть жилище, что мы можем запереть дверь, спустить шторы и быть одни, мы в первые дни ходим, как шалые. На улице Ламбларди мы находим наш первый „дом". Как муравей, я волочу в него то стол, то книжную полку; надматрасников нет, но есть уже утюг, есть два стула, сковородка и метла. По воскресеньям во двор приходит шарманщик, и я бросаю ему су. У нас есть теперь три вилки, и когда Вейдле приходит, мы втроем обедаем. Ощущения времени нет. Всё — неизменно. Всё кругом существовало и будет существовать. Перемен не предвидится. Здесь мы живем

теперь и во веки веков будем жить. Измениться ничего не может, — как не может измениться клеймо на наших паспортах.

Вокруг город — символ страны, с его домами, дворцами, магазинами, фабриками, театрами, памятниками — что-то огромное, тысячелетнее, богатое шумами, запахами, пульсом и мыслью, мы глотаем его, мы сростаемся с ним, мы празднуем его праздник, тянем его будни, мы прячемся в него и выходим в него в бой с жизнью (и мы будем дрожать, когда в него будут бить бомбы). И под одной из его крыш мы узнаем свою отверженность, свое бессилие, отчаяние и — иногда — надежду.

Я не могу оставить Ходасевича больше чем на час: он может выброситься в окно, может открыть газ. Я не могу пойти учиться — на это прежде всего нет денег. Я думаю о том, что не в Сорбонну мне надо идти, а стать линотиписткой, наборщицей, научиться работать в типографии, но я не могу бросить его одного в квартире. Он встает поздно, если вообще встает, иногда к полудню, иногда к часу. Днем он читает, пишет, иногда выходит ненадолго, иногда ездит в редакцию „Дней". Возвращается униженный и раздавленный. Мы обедаем. Ни зелени, ни рыбы, ни сыра он не ест. Готовить я не умею. Вечерами мы выходим, возвращаемся поздно. Сидим в кафе на Монпарнасе, то здесь, то там, а чаще в Ротонде. Собираются: Б. Поплавский, А. Гингер, А. Ладинский, Мих. Струве, Г. Адамович, через несколько лет — В. Смоленский, Ю. Фельзен, Юрий Мандельштам, Г. Федотов, реже — В. Вейдле, Б. Зайцев, другие... Ночами Ходасевич пишет. Я сплю, прижав к груди его пижаму, чтобы она была теплой, когда он захочет ее надеть. Я просыпаюсь — у него в комнате свет. Бывает, что я утром встаю, а он еще не ложился. Часто ночью он вдруг будит меня: давай кофе пить, давай чай пить, давай разговаривать. Я клюю носом. После кофе или чая он иногда засыпает, иногда нет. Засыпаю и я.

„Быта" не было. И не могло его быть, да мы и не хотели его. Но я помню, что два ощущения были свойственны мне в те годы: чувство свободы и чувство связанности. Первое было в тесной зависимости от моей жизни в западном мире и моей собственной молодости, от книг, которые я читала,

от людей, с которыми встречалась и сближалась, со всем моим внутренним ростом и с тем, что я писала тогда. Чувство связанности (или не-свободы) было соединено со всем, что касалось моей судьбы вне России, Ходасевича, нашего „дома", времени и места моих дней и лет. Это чувство связанности держало меня неделями в каком-то необъяснимом умственном застое, тоске, страхе. За страхом всегда, как сторож каждого моего шага, стояла бедность, тревога (пополам с болью) быть вдвоем, сознание, что мы оба находимся в мучительной зависимости друг от друга. Он не скрывал ее от меня, я не скрывала ее от него. Обыкновенные мерки „мужа" и „жены", „брата" и „сестры" были бы к нам неприложимы. Ткань жизни ткалась днями и ночами, ночи зависели от дней, то, что снилось — переходило в реальность, то, что мелькало при свете — в бессонницу преображалось в раздумья. Четыре стены, два человека. Они открыты друг другу, они поняты друг другом (потому что между нами сверкает не только „духовная", но и „физическая" близость). Как много таинственного „всходит" в этой жизни вдвоем, когда видишь, как ткется самая основа существования — из шума в тишину, из толпы в одиночество, из ночи в день и из дня в ночь. Как много „всходит" потом и как много теряется и пропадает, оставив только легкий след, который вдруг начинает таинственно жить в тебе вторым пластом. Первый — всегда со мной, а этот второй я могу только изредка ухватить, он ускользает от меня. Я прислушиваюсь к нему, но бывают дни, когда его не слышно вовсе.

Теперь, когда я об этом пишу, я хорошо знаю возвращающиеся темы моей жизни, ее символику: колодец и родник, бедный Лазарь, Товий, ведущий Ангела, и Ангел, ведущий Товия, рвущаяся вперед фигура на бушприте и еще другие. Они обнаруживают себя время от времени, перекидывая мосты друг к другу, живя внутри меня между сознанием и подсознанием, производя непрерывную свою работу, немного сходную с перистальтикой, то всасывая, то извергая различные элементы. Эти пласты (их два или больше?) с годами во мне нарастают, крепчают, твердеют, как лед, на который уже можно встать, и от углов их скрещений и пересечений я начинаю чувствовать свой

внутренний „кубизм". Но тогда, сорок лет тому назад, моя персональная символика еще была для меня загадочной. Когда я клала голову на грудь Ходасевича за этим моим „горизонтом" ничего еще не было. Только мысль, что мы оба держимся друг за друга, — но так ли уж крепко держимся мы за этот мир? Он — наверное едва-едва: сквозь этот мир ему сквозит какой-то другой, полный бесконечного смысла, созданный им самим и его современниками, связанный с нашим миром зеркальный мир отражений, значений и реалиоры. Я держусь за жизнь, другой мир не сквозит для меня сквозь этот, я знаю, что в этом единственном мире найду все необходимые координаты. Но я знаю также, что во всякой действительности есть элемент бессмысленности, во всякой цели — абсурд и в каждой цивилизации — жестокость. Но ведь природа-мать пожалуй еще страшнее, жесточе и бессмысленнее? Так уж лучше это, чем то!

(Да, природа-мать уже и тогда, как и теперь, мне казалась страшнее цивилизации; теперь я знаю, что она потому страшнее, что она во-первых детерминирована, а цивилизация — нет. А во-вторых, — мы-же сами часть природы, а что же может быть страшнее и жесточе и бессмысленнее человека? И конечно — важнее, интереснее его? Впрочем, не есть ли и цивилизация часть природы, и весь прогресс, то есть вся наша реальность, не есть ли часть эволюции?)

Как ни грозны законы нашего общежития, нашего политического, социального, индивидуального бытия и нашего имманентного опыта, законы матери-природы еще гораздо более мощны и отвратительны. Когда я начинаю говорить об этом, Ходасевич закрывает мне рукой глаза (жест Ангела к Товию), и во мне возникают спокойные свободные миры. И он засыпает на моем плече (этот его жест — жест Товия к Ангелу), и мне хочется взять на себя все его ночные кошмары, от которых он ночами кричит.

Эти возвращающиеся темы, эта структуральная символика не наложена на меня извне, она не „накрывает" меня, она составляет мою сущность, меня самое — неотделимая, как форма от содержания. Без нее я только кости, мускулы, кожа, или вода и соль, или формула. Эта символика — моя форма, которая есть и мое содержание, она — мое содер-

жание, которое есть и моя форма. В ней я умираю и воскресаю всю жизнь, держась за нее, потому что без нее я — не я, потому что бессмысленность и непрочность мира начинает показывать мне свое лицо. Только в себе можно найти то, на чем можно (и нужно) стоять, да еще, может быть, крепко прихватив другого кого-нибудь, прижав его к себе, помогая ему не соскользнуть, не обещая ему вечности, но обещая возможность последних пределов реальности, которых он ищет. И обещая ему память — хранительницу воображения, — наперекор времени.

— Тебя нельзя разрушить, ты можешь только умереть, — сказал мне как-то Ходасевич.

Мне хотелось писать, я искала все возможные пути индивидуального освобождения, но я никогда не могла жервовать минутой живой жизни ради строчки написанного, равновесием ради рукописи, бурей внутри меня — ради мелодии стихов. Для этого я слишком любила самоё жизнь. Я хотела быть, во-первых, человеком, во-вторых, образованным человеком, в-третьих, современным образованным человеком, в-четвертых, современным образованным человеком в гармонии с собой и в гармонии с дисгармонией страшного мира. И только в-пятых я хотела писать — не для читателя-друга, а для очищения себя, если успею познать себя, перед тем как только умереть.

Он считал, что меня нельзя разрушить, но вместе с тем он не мог не видеть минут моей слабости. В то время я тайно боялась людей, будучи жадной до них, — и тех, кому нравилась, и тех, кому не нравилась, и даже больше первых, чем вторых. Я помню напряжение внутри от желания скрыть этот страх, и нашу бедность, и болезни Ходасевича, и неуверенность в себе. Я бы не могла говорить о себе в те годы, как говорю сейчас. Многое было непобеждено тогда, не укрощено. Да я и не умела говорить, не умела даже думать. Самое важное было — научиться думать. Научиться думать о себе, о нем, о нас. А может быть позже научиться думать и о других. Он говорил: учись писать. Но я знала, что самое важное для меня: сначала научиться думать. Ни писать, ни говорить без этого невозможно, потому что сам язык человека есть отражение его

разума. Я всегда мечтала успеть созреть перед тем, как т о л ь к о умереть.

Страшное, грозное время — двадцатые и тридцатые годы нашего века. На карте Европы: Англия, Франция, Германия и Россия. В одной правят дураки, в другой — живые трупы, в третьей — злодеи, в четвертой — злодеи и чиновники. Англия разоружается, Франция не способна провести в жизнь свои решения, национал-социалисты вооружаются, предварительно заявив на весь мир, что́ именно они собираются делать, но их не слышат и им не верят. Там, у нас, начинается политический и культурный термидор, который будет длиться, с краткими перерывами, четверть века. В одном из перерывов будет война, когда погибнет каждый десятый.

Мы сидим с Ходасевичем в остывшей к ночи комнате, вернее, он, как почти всегда, когда дома, лежит, а я сижу в ногах у него, завернувшись в бумазейный капотик, и мы говорим о России, где начинается стремительный конец всего — и старого, и нового, блеснувшего на миг. Всего того, что он любил. Брюсов умер, о Белом не слышно, люди с которыми он когда-то был связан личной дружбой — Шагинян, Липскеров, А. Эфрос, Чулков, Ю. Верховский — отошли далеко-далеко. Я говорю о том, что для меня он, не имеющий в себе ни капли русской крови, есть олицетворение России, что я не знаю никого более связанного с русским ренессансом первой четверти века, чем он, — он может говорить о смерти Чехова и Толстого, как о событиях личной жизни, он знал Блока, он жал руку Скрябину, он сам есть часть этого ренессанса, один из камней здания, от которого скоро не останется ничего.

Он много кашлял. У него (уже тогда) бывали долгие боли где-то глубоко внутри. Доктор М. К. Голованов (лечивший его даром), щупает его и говорит, что это вероятно печень, но диеты не дает, потому что никакой диеты Ходасевич держать не может: он всю жизнь (кроме голода революционных лет) ест одно и то же: мясо и макароны. Ни салата, ни супа, ни фруктов, ни всего того, что обыкновенно дают больным.

Через год возобновляется фурункулез. Голованов делает уколы, но они не помогают. Он прописывает пилюли —

безрезультатно. Больному надо менять белье через день. И вот я отправляюсь как-то вечером, осенью 1926 года, сначала в „Дни", где ему должны деньги, а потом к моей двоюродной сестре, чтобы занять две чистые простыни.

В „Днях" вышел ко мне Зензинов (эсер, в свое время упустивший Азефа) и пугливо озираясь по сторонам объяснил, что денег нет и не будет, что газета ликвидируется. Я стояла и смотрела на этого очень честного и очень глупого человека и думала о том, что он будет обедать и сегодня, и завтра и во веки веков аминь (а мы — это еще неизвестно) и старалась уверить себя, что гораздо интереснее жить, когда будущее неизвестно, но не могла. Я знала, что Зензинов живет в квартире Фондаминского, тоже террориста-эсера, что у них прислуга, и самовар на столе, и вид из окна на весь Париж, и книги, и что, как выражался Фондаминский, они живут умственной жизнью. Но денег, как сказал мне Зензинов, в газете не было, и я ушла, и поехала на улицу Дарро, в ту сторону, где метро около станции Гласьер вымахивает на поверхность земли и там, в этой узкой и темной улице, на седьмом этаже, я сидела часа два на ступеньке лестницы, дожидаясь, когда придет Ася, чтобы взять у нее чистое постельное белье. Я сидела и чувствовала на этой темной лестнице, что мы пропали, что деваться нам некуда и что я вероятно виновата во всем, что случилось и со мной, и со всеми нами, — и думала, что если Ходасевич умрет, то разумеется умру и я.

Я вернулась поздно. Ходасевич, одетый, едва живой, стоял в передней, готовый идти в полицию, заявить о том, что я пропала. Я села тут же на стул, усталая, голова моя кружилась, ноги не держали меня. Наконец я подняла на него глаза и сказала:

— „A nos yeux les habitants du reste de l'Europe n'étaient que des imbéciles pitoyables."

— Откуда это? — спросил он и положил мне руку на голову, сам едва держась на ногах.

— Стендаль. И он был прав.

Он ничего не ответил. Две слезы побежали у меня из глаз. Я пошла стелить ему постель. Он разделся, лег, целовал мои руки и смеялся от радости, что ему не нужно ехать в морг опознавать меня. Всё это — и его ирония — были

частью нашего многолетнего разговора, который начался еще там, у окна его круглой комнаты (или у дымившей печки, или в воротах дома на Кирочной). Он продолжался долго, он занял огромную часть моей жизни. Этот разговор можно было бы назвать диалогом о символизме — не том, ушедшем в прошлое литературном направлении, которого Ходасевич был частью, но о символизме, как основе жизни и мышления, основе отдельных моментов и общей судьбы человека. Не мировоззрения, но теории познания. О том, что через двадцать лет С. Лангер назвала главным в умственной деятельности человека. Если человек не распознал своих мифов, не раскрыл их — он ничего не объяснил ни себе, ни в самом себе, ни в мире, в котором жил. Уметь найти „структуру" индивидуальной символики и ее связь с символикой мира — вот куда заглядывали мы с ним в этих разговорах.

В роскоши европейской интеллектуальной жизни тех лет было не так просто отличить друга от врага и созидателя от разрушителя. Да по правде говоря в двадцатых годах только еще нарождалось самопознание нашего века, да и то не во Франции. Франция либо охраняла памятники прошлого (никогда ни от чего не отказываясь, не в пример нам), либо взрывала их, с присущей ей непоследовательностью превознося то, что нужно было взорвать, а то, что нужно было сохранить и чему поклониться, осмеивая. В мыслях был сумбур необыкновенный: один и тот же человек мог восхищаться реакционной философией Аллэна и восторгаться „дадá", мог питаться Фрейдом и быть членом компартии, и всё это не от буйства молодости, а просто от переизбытка бутафорской ветоши, вышедшей из-под контроля, и того нового ради нового, что бешенно устремилось навстречу этой ветоши, чтобы смыть ее с лица земли, не разбирая кто-кто. В этой атмосфере Ходасевич чувствовал себя одиноким (только теперь стало ясно, с кем он перекликается в европейском подъеме новой поэзии), считал, что время работает против него (а вышло наоборот). Пленник своей молодости, а иногда и ее раб (декораций Брюсова, выкриков Белого, туманов Блока), он проглядел многое или не разглядел многого, обуянный страшной усталостью и пессимизмом, и чувством трагического смысла

вселенной (последняя стадия перед чувством полной ее бессмысленности), не имея уже сил взглянуть в ту сторону, где стояли его европейские единомышленники (впрочем — только частичные). Или может быть разрушенный российскими событиями, он сознательно закрылся от них, не веря им, отвернулся и замолчал?

В то время во всем западном мире не было ни одного видного писателя, который был бы „за нас", то есть который поднял бы голос против преследований интеллигенции в СССР, против репрессий, против советской цензуры, арестов, процессов, закрытия журналов, против железного закона социалистического реализма, за неповиновение которому шло физическое уничтожение русских писателей. Старшее поколение — Уэллс, Шоу, Роллан, Манн — было целиком за „новую Россию", за „любопытный опыт", ликвидировавший „ужасы царизма", за Сталина против Троцкого, как оно было за Ленина против других лидеров русских политических партий. Старшее поколение — с Драйзером, Синклером Люисом, Эптоном Синклером, Андрэ Жидом (до 1936 г.), Стефаном Цвейгом во всех вопросах было на стороне компартии против оппозиции. Затем шли „средние", как например группа „Блумсберри", с Вирджинией Вульф, или Валери, или Хемингуэй, которые энтузиазма к компартии не высказывали, но которые были безразличны к тому, что совершалось в России в тридцатых годах. Кумир молодежи, Жан Кокто, писал: „Диктаторы способствуют протесту в искусстве, без протеста искусство умирает". (Хотелось спросить: а как насчет пули в затылок?) Главным врагом их была реакция, позже — реакция в Испании и нарождавшийся в Германии национал-социализм. А что сказать о „молодых"? Самый яркий пример их поведения — избиение французскими сюрреалистами Андрея Левинсона, литературного и театрального критика, эмигранта, автора книги об истории балета, когда Левинсон напечатал в 1930 г. свой некролог Маяковского. Уже до этого у него были неприятности, когда он в апреле 1928 года поместил статью в парижской газете „Ле Тан", спрашивая, как относиться к М. Горькому теперь, когда начались в Советском Союзе репрессии против писателей, если он не поднимет свой голос против них? Но здесь я подхожу

к одному событию, которое хочу рассказать более подробно. Оно произошло летом 1927 года.

В этом году в Париж из Советского Союза приезжала Ольга Дмитриевна Форш, которую я знала по Петербургу 1922 года, когда она была одним из ближайших друзей Ходасевича. Приехав в Париж, она сейчас же пришла к нам. Она обрадовалась Ходасевичу, разговорам их не было конца. В 1921—22 годах она жила одновременно с ним в Доме Искусств, они встречались ежедневно, и теперь, в Париже, она продолжала с ним когда-то прерванные беседы. В „Диске" они жили в одном коридоре, Ходасевич знал и сына ее, и дочь (по прозвищу Тапирчик). Форш любила и ценила его как поэта давно. Для обоих эта встреча после пяти лет разлуки была событием.

Форш проводила у нас вечера, говорила о переменах в литературе, о политике партии в отношении литературы, иногда осторожно, иногда искренне, с жаром. Седая, толстая, старая (так мне казалось в то время) она говорила, что у всех них там только одна надежда. Они все ждут.

— На что надежда? — спросил Ходасевич.

— На мировую революцию.

Ходасевич был поражен.

— Но ее не будет.

Форш помолчала с минуту. Лицо ее и без того тяжелое, стало мрачным, углы рта упали, глаза потухли.

— Тогда мы пропали, — сказала она.

— Кто пропал?

— Мы все. Конец нам придет.

Прошло два дня, и она не появлялась, и тогда мы пошли к ней вечером узнать, не больна ли она. Она остановилась на левом берегу, у дочери-художницы, оказавшейся в эмиграции. Был чудный летний вечер и во дворе у „Нади" была зелень и скамеечка, и студия ее открывалась прямо на этот двор. Мы вошли. Форш лежала на кровати, одетая, растрепанная, красная. Она сказала нам, что вчера утром была в „нашем" посольстве и там ей официально запретили видаться с Ходасевичем. С Бердяевым и Ремизовым можно изредка, а с Ходасевичем — нельзя. „Вам надо теперь уйти, — сказала она, — вам здесь нельзя оставаться."

Мы стояли посреди комнаты, как потерянные.

— Владя, простите меня, — выдавила она из себя с усилием.

Мы медленно пошли к дверям. Дворик был весь в солнечных зайчиках. Форш задвигалась на кровати всем своим огромным телом и всхлипнула. Мы молча постояли в подворотне с минуту и побрели домой. Теперь с неопровержимостью нам стало ясно: нас отреза́ли на тридцать, на сорок лет, навеки... Сейчас, в 1966 году, можно сказать: а всё-таки не навеки!

После этого были у Ходасевича еще две-три встречи, когда друзья приезжавшие из Москвы отвернулись от него: они возвращались обратно и не могли позволить себе роскоши ослушания. Потом прекратилась посылка авторских из Союза писателей за перевод Ходасевича „Кареты святых даров" Мериме, шедший если не ошибаюсь в Малом театре. Потом мои родители дали мне знать, чтобы я им писала не письма, но открытки.

К этому же лету (1927 г.) относится теперь забытое анонимное письмо, присланное из Москвы в редакции русских газет за границей, которое называлось „Писателям мира". Видимо, судя по названию, оно было прислано и в иностранную печать, но я не помню, чтобы оно появилось в какой-либо французской газете. В „Последних новостях" оно было напечатано 10 июля 1927 года.

Я привожу его здесь полностью:

„ПИСАТЕЛЯМ МИРА

К вам, писатели мира, обращены наши слова.

Чем объяснить, что вы, прозорливцы, проникающие в глубины души человеческой, в душу эпох и народов, проходите мимо нас, русских, обреченных грызть цепи страшной тюрьмы, воздвигнутой слову? Почему вы, воспитанные на творениях также и наших гениев слова, молчите, когда в великой стране идет удушение великой литературы в ее зрелых плодах и ее зародышах?

Или вы не знаете о нашей тюрьме для слова — о коммунистической цензуре во вторую четверть XX века, о цензуре „социалистического" государства?

Боимся, что это так. Но почему же писатели, посетившие Россию — господа Дюгамель, Дюртен и другие — почему они, вернувшись домой, ничего не сообщили о ней? Или их не интересовало положение печати в России? Или они смотрели и не видели, видели и не поняли? Нам больно от мысли, что звон казенных бокалов с казенным шампанским, которым угощали в России иностранных писателей, заглушил лязг цепей, надетых на нашу литературу и весь русский народ!

Послушайте, узнайте!

Идеализм, огромное течение русской художественной литературы, считается государственным преступлением. Наши классики этого направления изъемлются из всех общедоступных библиотек. Их участь разделяют работы историков и философов, отвергавших материалистические взгляды. Набегами особых инструкторов из общих библиотек и книжных магазинов конфискуется вся дореволюционная детская литература и все произведения народного эпоса. Современные писатели, заподозренные в идеализме, лишены не только возможности, но всякой надежды на возможность издать свои произведения. Сами они, как враги и разрушители современного общественного строя, изгоняются изо всех служб и лишаются всякого заработка.

Это первая стена тюрьмы, за которую засажено свободное слово. За ней идет вторая.

Всякая рукопись, идущая в типографию, должна быть предварительно представлена в двух экземплярах в цензуру. Окончательно отпечатанная она идет туда снова — для второго чтения и проверки. Бывали случаи, когда отдельные фразы, одно слово и даже одна буква в слове (заглавная буква в слове „Бог"), пропущенные цензором, автором, издателем и корректором, вели при второй цензуре к безжалостной конфискации всего издания.

Апробации цензора подлежат все произведения — даже работы по химии, астрономии, математике. Последующая авторская корректура в них может производиться лишь по особому, каждый раз, согласию

цензора. Без него типография не смеет внести в набор ни одной поправки.

Без предварительного разрешения цензора, без специального прошения с гербовыми марками, без долгого ожидания, пока заваленный работой цензор дойдет до клочка бумаги с вашим именем и фамилией, при коммунистической власти нельзя отпечатать даже визитной карточки. Господа Дюгамель, Дюртен могли легко заметить, что даже театральные плакаты с надписью „не курить", „запасной выход" помечены внизу всё той же сакраментальной визой цензуры, разрешающей плакаты к печати.

Есть еще и третья тюремная стена, третья линия проволочных заграждений и волчьих ям.

Для появления частного или общественного издательства требуется специальное разрешение власти. Никому, даже научным издательствам, оно не дается на срок, больший 2-х лет. Разрешения даются с трудом и неказенные издательства редки. Деятельность каждого из них может протекать только в рамках программы, одобренной цензурой. На полгода вперед издательства обязаны представлять в цензуру полный список всех произведений, подготовляемых к печати, с подробными биографиями авторов. Вне этого списка, поскольку он утвержден цензурой, издательство не смеет ничего выпускать.

При таких условиях принимается к печати лишь то, что наверняка придется по душе коммунистической цензуре. Печатается лишь то, что не расходится с обязательным для всех коммунистическим мировоззрением. Всё остальное, даже крупное и талантливое, не только не может быть издано, но должно прятаться в тайниках; найденное при обыске, оно грозит арестом, ссылкой и даже расстрелом. Один из лучших государствоведов России — проф. Лазаревский — был расстрелян единственно за свой проект Российской конституции, найденный у него при обыске.

Знаете ли вы всё это? Чувствуете ли весь ужас положения, на которое осужден наш язык, наше слово, наша литература?

Если знаете, если чувствуете, почему молчите вы? Ваш громкий протест против казни Сакко, Ванцетти и других деятелей слова мы слышали, а преследования вплоть до казни лучших русских людей, даже не пропагандирующих своих идей, за полной невозможностью пропаганды, проходят, по-видимому, мимо вас. В нашем застенке мы, во всяком случае, не слышали ваших голосов возмущения и вашего обращения к нравственному чувству народов. Почему?

Писатели! Ухо, глаз и совесть мира — откликнитесь! Не вам утверждать: „несть власти аще не от Бога". Вы не скажете нам жестких слов: всякий народ управляется достойной его властью. Вы знаете: свойства народа и свойства власти в деспотиях приходят в соответствие лишь на протяжении эпох; в короткие периоды народной жизни они могут находиться в трагическом несходстве. Вспомните годы перед нашей революцией, когда наши общественные организации, органы местного самоуправления, Государственная Дума и даже отдельные министры звали, просили, умоляли власть свернуть с дороги, ведшей в пропасть. Власть осталась глуха и слепа. Вспомните: кому вы сочувствовали тогда — кучке вокруг Распутина или народу? Кого вы тогда осуждали и кого нравственно поддерживали? Где же вы теперь?

Мы знаем: кроме сочувствия, кроме моральной поддержки принципам и деятелям свободы, кроме морального осуждения жесточайшей из деспотий вы ничем не можете помочь ни нам, ни нашему народу. Большего, однако, мы и не ждем. С тем большим напряжением мы хотим от вас возможного: с энергией, всюду, всегда срывайте перед общественным сознанием мира искусную лицемерную маску с того страшного лика, который являет коммунистическая власть в России. Мы сами бессильны сделать это: единственное наше оружие — перо — выбито из наших рук, воздух, которым мы дышим — литература — отнят от нас, мы сами — в тюрьме.

Ваш голос нужен не только нам и России. Подумайте и о самих себе: с дьявольской энергией, во всей

своей величине, видимой только нами, ваши народы толкаются на тот же путь ужасов и крови, на который в роковую минуту своей истории, десять лет назад, был столкнут наш народ, надорванный войной и политикой дореволюционной власти. Мы познали этот путь на Голгофу народов и предупреждаем вас о нем.

Мы лично гибнем. Близкий свет освобождения еще не брезжит перед нами. Многие из нас уже не в состоянии передать пережитый страшный опыт потомкам. Познайте его, изучите, опишите вы, свободные, чтобы глаза поколений, живущих и грядущих были открыты перед ним. Сделайте это — нам легче будет умирать.

Как из тюремного подполья отправляем мы это письмо. С великим риском мы пишем его, с риском для жизни его переправят за границу. Не знаем, достигнет ли оно страниц свободной печати. Но если достигнет, если наш замогильный голос зазвучит среди вас, заклинаем вас: вслушайтесь, вчитайтесь, вдумайтесь. Норма поведения нашего великого покойника — Л. Н. Толстого, — крикнувшего в свое время на весь мир — „не могу молчать", станет тогда и вашей нормой.

Группа русских писателей.

Россия. Май 1927 года."

Таков был крик, раздавшийся из России, адресованный всему миру и услышанный только эмиграцией. В „Правде" от 23 августа (того же 1927 года) появилось опровержение этого письма: „Правда" называла его фальшивкой, сфабрикованной эмигрантами, в доказательство чего газета говорила, что в советской России писатели — самые счастливые в мире, самые свободные, и не найдется среди них ни одного, кто бы посмел пожаловаться на свое положение и тем сыграть в руку „врагам советского народа".

И вот теперь, глядя назад, я скажу, что несмотря на то, что хорошо было бы узнать всю правду о происхождении (и авторстве) этого документа, мне сейчас всё равно, писал ли его кто-нибудь из окружения Иванова-Разумника, Чулкова или Волошина в России, или кто-нибудь в окружении Мережковского, Мельгунова или Петра Струве в Париже. В письме звучат ноты отчаяния, связанные

с самоубийством Есенина и Соболя, с гонениями против А. Воронского, с расцветом журнала „На посту", с железным занавесом, спускающимся над Россией после отмены Нэпа. Но если письмо фальшивка и „Правда" права, то какая пророческая фальшивка! Какая „бутылка в море", если вспомнить, что началось через год-два и продолжалось четверть века!

Ни один „писатель мира" не откликнулся на это письмо, ни одна газета, ни один журнал не комментировали его. „Левая" печать Франции разумеется стояла на позиции „Правды", правая не интересовалась положением русской литературы „на данном этапе". Писатели-эмигранты начали прилагать усилия к тому, чтобы голос из Москвы был услышан. Но их никто не слушал, их нигде не принимали, ответ всегда бывал один: вы потеряли ваши фабрики и заводы, доходные дома, текущие счета. Мы сочувствуем, но дела с вами иметь не хотим. Наконец, Бальмонт и Бунин написали письма-обращения к „совести" французских писателей. Несколько месяцев они старались напечатать их в так называемой „большой" прессе, но это им не удалось. И вот в январе (12-го) 1928 года эти обращения появились наконец в маленьком периодическом издании „Л'Авенир". Их никто не заметил.

За одним исключением: это был Ромэн Роллан. Он прочел письма Бальмонта и Бунина, которые по существу комментировали и пересказывали анонимное московское письмо, прочел и решил дать им урок. Он напечатал свою отповедь в февральском номере ежемесячника „Л'Эроп" (письмо помечено 20 января). „Бальмонт, Бунин, я вас понимаю, — писал Роллан, — ваш мир разрушен, вы — в печальном изгнании. Для вас гудит набат погибшего прошлого. О, люди прозорливые, почему вы ищите себе союзников среди ужасных реакционеров Запада, среди буржуазии и империалистов? О, новобранцы разочарований!... Я иду к новорожденному, я беру его на руки... Секретная полиция всегда была в России, этот ужасный яд, от которого вянут цветы души нации... Что касается материнства и младенчества, то прочтите отчет О. Каменевой о ее деятельности... Кровь ваша и русского народа одна. Но сейчас между вами и вашим народом ров крови... Высокие умы

ездят в Россию и видят, что делается там... Ученые лихорадочно работают на вашей родине... там больше писателей и читателей, чем у нас... Только недавно получил я в подарок новую книгу Пришвина... Меня в моей собственной стране тоже мучила цензура... Выжжем рану каленым железом! Всякая власть дурно пахнет... И всё-таки человечество идет вперед... Оно идет вперед сегодня... По вас, по мне..."

Но на этом дело не кончилось. Этого Роллану показалось мало. Он обратился к Горькому, в Сорренто, с вопросом, правда ли, что писателей в Советском Союзе угнетают? Правда ли, что положение их тяжелое? В мартовском номере „Л'Эроп" (того же года) можно найти ответ Горького на запрос Роллана (он помечен 29 января — 12 февраля 1928 года). Этот ответ окончательно разъяснил Роллану положение вещей и раз навсегда успокоил его.

Горький писал, что не только „Писатели мира" — фальшивка, но что в Советском Союзе писатели куда более счастливы, чем в буржуазных странах: молодых талантов сотни, старые литераторы работают более усиленно и плодотворно, чем до революции. Чтобы не быть голословным, Горький называет многочисленные имена — вслед за известными, знаменитыми даже, именами А. Н. Толстого, Тихонова, Пришвина, Леонова и др., он приводит в своем списке следующие фамилии:

Леонид Борисов
Нина Смирнова
Бабель
Пильняк
Ал. Яковлев
С. Клычков
Казин
Орешин
Зощенко.

Все эти имена принадлежат людям, впоследствии так или иначе репрессированным — в разное время и в разной степени. Л. Борисов прекратил писать романы и рассказы и перешел на биографические очерки о великих людях прошлого (Мопасан, Жюль Верн, Стивенсон). Горький написал предисловие к книге Борисова, но оно ни тогда, ни позже

опубликовано, видимо, не было. Шесть человек, упомянутые Горьким, были ликвидированы в тридцатых годах. Зощенко отстранен от литературы в 1946 году. Может быть по этим причинам это письмо Горького Роллану и не вошло в полное собрание его сочинений и писем?

Но и это не было концом „спора". Через месяц, 22—23 марта, Горький опять написал Роллану — на этот раз он дал характеристику Бальмонта, как алкоголика, и просил Роллана это письмо опубликовать. Этого Роллан однако не сделал, видимо боясь затрагивать „личность", зато это письмо теперь опубликовано в СССР среди других 1200 писем Горького (всех писем по его собственному подсчету им написано было около 20.000).

Тогда же „Л'Авенир" сделал попытку опросить французских писателей, существуют ли еще, по их мнению, преследования писателей в СССР или они давно кончились, как заявил Бернард Шоу? Но журнал этот никем не читался, расходился плохо, и всё дело заглохло очень скоро. В марте 1928 года был отпразднован шестидесятилетний юбилей Горького „всем миром", как писал Роллан в той же „Л'Эроп", и тогда-то А. Я. Левинсон и задал свой вопрос в „Тан", в связи с оплакиванием Горьким Дзержинского. А ровно через два года застрелился Маяковский и началась новая эра в советском государстве, которая продолжалась 23 года.

Грохочущие, буйствующие двадцатые годы. Мятеж в литературе, бунт в живописи, в музыке. Революция в быту — по всему миру. Схождение с ума буржуазии: мы победили, смотрите на нас! (или: нас побили, смотрите на нас!). Гром военной музыки в день перемирия, гром фейерверка в день взятия Бастилии. Гром речей с трибун, гром хохота с подмостков. Если и есть среди всего этого небесный гром, его никто не слышит. А нам-то что до всего этого, нам, Акакиям Акакиевичам вселенной? „Тише воды, ниже травы" . . .

Между тем, я думала: как прожить, чтобы сделать жизнь переносимой для себя и еще хотя бы для одного человека, или может быть для двух или трех? Как пройти, не расталкивая слишком сильно? Как дойти, не ударив больно? Как победить страх? Как научиться относиться к жизни

прежде всего как к благородному спорту, основанному на благородных правилах состязания в игре, подчиненной благородным нормам? Да, уметь быть на высоте того, что на английском языке называется sportsmanship, в самые страшные минуты. Чтобы в конце сказать (не словами в торжественной речи, а так, бормоча себе под нос): меня больше толкали и били, чем толкала и била я. Меня больше предавали, чем предавала я. Я больше облегчала, чем облегчали мне. И я чаще бывала Ангелом, чем Товием, а когда я бывала Товием, то не сознавала ни своей прелести, ни своей невинности (которые, впрочем, обе не ставила ни во что). И в отчаянные, безнадежные годы моей жизни я умела быть одна, умела молчать и быть строгой к самой себе, сначала — с некоторым педантизмом молодости, позже — освободившись от него.

— В общем, тебе никто не нужен, ведь так? — сказал как-то Ходасевич.

— Ты нужен.

— До поры до времени . . . Хотел бы я посмотреть на тебя в безвыходном положении.

— Более безвыходном, чем сейчас с тобой?

— Да. (Сейчас ты еще можешь иногда минусы переделывать в плюсы.)

— Это будет премерзкая картина.

— А у меня всегда есть выход: можно возвратить билет.

— Ни в коем случае. Я хочу его использовать до конца и даже попробовать один перегон проехать зайцем.

(Нравится ли ему мое чугунное нутро? — думала я иногда — или оно коробит его?)

Счастье мое с ним было не совсем того свойства, какое принято определять словами: радость, свет, блаженство, благополучие, удовольствие, покой. Оно состояло в другом: в том, что я сильнее ощущала жизнь рядом с ним, острее чувствовала себя живой, чем до встречи с ним, что я горела жизнью в ее контрастах, что я в страдании, которое узнала тогда, имела в себе больше жизни, чем если бы делила окружающее и окружающих на „да" и „нет" — интенсивность „заряда" была иногда такова, что любое чудо казалось возможным. Я не уверена, что в комфорте, в уверенности в завтрашнем дне живет для совре-

менного человека то же значение, которое было в этих понятиях сто лет тому назад: если судить по современной литературе, оно в значительной мере утеряно. Не я одна „искала жизни" вне соображений удобств и покоя. И уже тогда мне стала являться мысль, что я „была, есть и буду", но может быть не „стану". Это не пугало меня. В „быть" для меня была заложена интенсивность, которой в „стать" я не чувствовала.

Для меня наш диалог, который длился семнадцать лет — не прошлое. Это такое же настоящее, как сегодняшний день. Оно живет во мне, до сих пор действует на меня, растет во мне, как и я расту в нем, хотя сегодня я уже никого никуда не веду и сама уже ни за кого не держусь: я слила в себе Ангела и Товия, и их больше нет. В разные годы я бывала вдвоем. Сейчас я, как в детстве, просыпаюсь одна и засыпаю одна.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Я помню ярко, как они вошли: открылась дверь, распахнулись обе половинки, и они вступили в комнату. За ними внесли два стула, и они сели. Господину с бородкой, маленького роста, было на вид лет шестьдесят, рыжеватой даме — лет сорок пять. Но я не сразу узнала их. Вас. Ал. Маклаков, читавший свои воспоминания о Льве Толстом, остановился на полуфразе, выждал пока закрылись двери, затем продолжал. Все головы повернулись к вошедшим. Винавер (это было в большой гостиной Винаверов) привстал, затем опять сел. По всей гостиной прошло какое-то едва заметное движение. Кто они? — подумала я: на несколько минут какая-то почтительность повисла в воздухе. И вдруг что-то ударило меня ответом, когда я еще раз взглянула на него: прежде чем узнать е е, я узнала е г о, меня ввело в заблуждение то, что она выглядела так молодо, а ведь ей было в то время под шестьдесят! Это были Мережковские.

Положив ногу на ногу и закинув голову, слегка прикрывая веками свои близорукие глаза (ставшие к старости косыми), она играла лорнеткой, слушая Маклакова, который цветисто и уверенно продолжал свой рассказ. Она всегда любила розовый цвет, который „не шел" к ее темно-рыжим волосам, но у нее были свои критерии, и то, что в другой женщине могло бы показаться странным, у нее делалось частью ее самой. Шелковый, полупрозрачный шарф струился вокруг ее шеи, тяжелые волосы были уложены в сложную прическу. Худые маленькие руки с ненакрашенными ногтями были сухи и безличны, ноги, которые она показывала, потому что всегда одевалась коротко, были стройны, как ноги молодой женщины прошлых времен. Бунин смеясь говорил, что у нее в комоде лежит сорок пар розовых шелковых штанов и сорок розовых юбок висит в платяном шкафу. У нее были старые драгоценности, цепочки и подвески, и иногда (но не в тот первый вечер) она

появлялась с длинной изумрудной слезой, висевшей на лбу, на узкой цепочке между бровями. Она несомненно искусственно выработала в себе две внешние черты: спокойствие и женственность. Внутри она не была спокойна. И она не была женщиной.

Он был агрессивен и печален. В этом контрасте была его характерность. Он редко смеялся и даже улыбался не часто, а когда рассказывал смешные истории (например, как однажды в Луге у Карташева болел живот), то рассказывал их вполне серьезно. Что-то было в нем сухое и чистое, в его физическом облике; от него приятно пахло, какая-то телесная аккуратность и физическая легкость были ему свойственны, чувствовалось, что все вещи — от гребешка до карандаша — у него всегда чистые, и не потому, что он за ними следит, а потому, что ни к нему, ни к ним не пристают пылинки.

Гостиная Винаверов была одним из „салонов" русского литературного Парижа в 1925—26 годах (М. М. Винавер умер в 1926 году). Огромная квартира их в лучшей части города напоминала старые петербургские квартиры — с коврами, канделябрами, роялем в гостиной и книгами в кабинете. На доклады приглашалось человек тридцать, и не только „знаменитых", как Маклаков, Милюков, Мережковские, Бунин. Бывали и „подающие надежды", молодежь из монпарнасских кафе, сотрудники понедельничной газеты „Звено", которую издавал и редактировал Винавер (он кроме того издавал и редактировал в то время „Еврейскую трибуну" и был автором книги воспоминаний „Недавнее"). Известный кадет, член партии Народной свободы и бывший думец, он с Милюковым как бы поделил русскую демократическую печать (ежедневную, газетную) — Милюков издавал и редактировал „Последние новости", а Винавер — литературное приложение к газете.

После доклада гости переходили в столовую, где их ждал ужин. Зинаида Николаевна плохо видела и плохо слышала, и ее смех был ее защитой — она играла лорнеткой, и улыбалась, иногда притворяясь более близорукой, чем была на самом деле, более глухой, иногда переспрашивая что-нибудь, прекрасно ею понятое. Между нею и внешним миром происходила постоянная борьба-игра. Она, настоящая она,

укрывалась иронией, капризами, интригами, манерностью от настоящей жизни вокруг и в себе самой.

Они жили в своей довоенной квартире, это значит, что, выехав из советской России в 1919 году и приехав в Париж, они отперли дверь квартиры своим ключом, и нашли всё на месте: книги, посуду, белье. У них не было чувства бездомности, которое так остро было у Бунина и у других. В первые годы, когда я еще их не знала, они бывали во французских литературных кругах, встречались с людьми своего поколения (сходившего во Франции на нет), с Ренье, с Бурже, с Франсом.

— Потом мы им всем надоели, — говорил Дмитрий Сергеевич, — и они нас перестали приглашать.

— Потому что ты так бестактно ругал большевиков, — говорила она своим капризным скрипучим голосом, — а им всегда так хотелось их любить.

— Да, я лез к ним со своими жалобами и пхохочествами (он картавил), а им хотелось совсем другого: они находили, что русская революция ужасно интересный опыт, в экзотической стране, и их не касается. И что, как сказал Ллойд Джордж, торговать можно и с канибалами.

Вечерами она сидела у себя на диване, под лампой, в какой-нибудь старой, но всё еще элегантной кацавейке, куря тонкие папироски или, приблизив работу к глазам, шила что-то (она любила шить), поблескивая наперстком на узком пальце. Запах духов и табаку стоял в комнате.

— Где мои кусочки? — спрашивала она, роясь в лоскутках.

— Где моя булочка? — спрашивала она за чаем, приближая к себе хлебную корзинку.

В. А. Злобин ставил перед ней чашку.

— Где моя чашка? — и она обводила невидящими глазами стены комнаты.

— Дорогая, она перед вами, — терпеливо говорил Злобин своим умиротворяющим, веским тоном. — А вот и ваша булочка. Ее никто не взял. Она ваша.

Это была игра, но игра, которая продолжалась между ними много лет (почти тридцать) и которая обоим была необходима.

Потом открывалась дверь кабинета, и Д. С. входил в сто-

ловую. Я никогда не слышала, чтобы он говорил о чем-нибудь, что было бы неинтересно. З. Н. часто спрашивала, говоря о людях:

— А он интересуется интересным?

Д. С. интересовался интересным, это было ясно с первого произнесенного им слова. Он создал для себя свой мир, там многого недоставало, но то, что ему было необходимо, там всегда было. Его мир был основан на политической непримиримости к Октябрьской революции, всё остальное было несущественно. Вопросы эстетики, вопросы этики, вопросы религии, политики, науки, всё было подчинено одному: чувству утери России, угрозы России миру, горечи изгнания, горечи сознания, что его никто не слышит в его жалобах, проклятиях и предостережениях. Иногда всё это было только подводным течением в его речах, которое в самом конце вечера вырывалось наружу:

— ...и вот потому-то мы тут! — Или:

— ...и вот потому-то они там!

Но чаще вся речь была окрашена одним цветом:

— Зина, что тебе дороже: Россия без свободы или свобода без России?

Она думала минуту.

— Свобода без России, — отвечала она, — и потому я здесь, а не там.

— Я тоже здесь, а не там, потому что Россия без свободы для меня невозможна. Но... — и он задумывался, ни на кого не глядя, — на что мне собственно нужна свобода, если нет России? Что мне без России делать с этой свободой?

И он замолкал, пока она искала, что бы такое сказать, слегка ироническое, чтобы в воздухе не оставалось этой тяжести и печали.

Время от времени она принималась расспрашивать меня о моем петербургском детстве, о прошлом. Я не любила говорить, я больше любила слушать. И тогда говорила она. И какая-то смутная тайна чувствовалась в ней, тайна, дававшая ей всю ее своеобразность и тайна, дававшая ей всё ее страдание.

Она болезненно любила свою мать. Все четыре сестры (братьев не было) болезненно любили свою мать. Она един-

ственная из сестер вышла замуж, три другие остались в девушках, две — в советской России, и за одной из них когда-то ухаживал Карташев и собирался жениться, но вмешался Д. С., и свадьба не состоялась. Эти две женщины оказались во время войны (в 1942 году) в Пскове у немцев, и З. Н. пыталась списаться с ними. Они вероятно погибли при немецком отступлении. Это были те Тата-Ната, о которых Белый писал в своих воспоминаниях. Третья сестра была высохшая, полуумная Анна Николаевна, состоявшая „при соборе" на улице Дарю (автор книги о житии Тихона Задонского), одна из тех, что чистят образа, чинят ризы и бьют поклоны.

Анна иногда забегала к З. Н., сидела на краю стула и беспокойно молчала. Племянника же Д. С. и его жену я никогда у них не видела. Это был сын старшего брата Д. С., Константина Сергеевича, автора книги „Земной рай", утопии 27-го века. Он родился в 1854 году, был профессором Казанского университета, автором нескольких научных книг, но в начале нашего столетия он был судим за совращение малолетней и сослан в Сибирь. Сын его был человек довольно замечательный, изобретатель всевозможных вещей — от усовершенствованной мины до губного карандаша, не пачкающего салфетки. Ни он, ни жена его, видимо, никогда у Мережковских не бывали.

Сколько раз мне, как когда-то Блоку, хотелось поцеловать Д. С. руку, когда я слушала его, говорящего с эстрады, собственно всегда на одну и ту же тему, но трогающего, задевающего десятки вопросов, и как-то особенно тревожно, экзистенциально ищущего ответов, конечно никогда их не находя. Из его писаний за время эмиграции всё умерло — от „Царства Антихриста" до „Паскаля" (и „Лютера", который кажется еще и не издан). Живо только то, что написано им было до 1920 года: „Леонардо", „Юлиан", „Петр и Алексей", „Александр I и декабристы", да еще литературные статьи, если читать их в свете той эпохи, когда они были написаны (на фоне писаний Михайловского и Плеханова). Из стихов его и десятка нельзя отобрать, и всё--таки это был человек, которого забыть невозможно. „Эстетикой" он не интересовался, и „эстетика" отплатила ему:

новое искусство с его сложным мастерством и магией ему оказалось недоступно.

В З. Н. тоже не чувствовалось желания разрешать в поэзии формальные задачи, она была очень далека от понимания роли слова в словесном искусстве, но она по крайней мере имела некоторые критерии, имела вкус, ценила сложность и изысканность в осуществлении формальных целей. Русский символизм жил недолго, всего каких-нибудь тридцать пять лет, а русские символисты и того меньше: Бальмонт был поэтом пятнадцать лет, Брюсов — двадцать, Блок — восемнадцать — люди короткого цветения. В Гиппиус сейчас мне видна всё та же невозможность эволюции, какая видна была в ее современниках, то же окаменение, глухота к динамике своего времени, непрерывный культ собственной молодости, которая становилась зенитом жизни, что и неестественно, и печально, и говорит об омертвении человека.

Я тоже вижу сейчас, что в Гиппиус было многое, что было и в Гертруде Стайн (в которой тоже несомненно был гермафродитизм, но которая сумела освободиться и осуществиться в гораздо более сильной степени): та же склонность ссориться с людьми и затем кое-как мириться с ними, и только прощать другим людям их нормальную любовь, в душе всё нормальное чуть-чуть презирая и конечно вовсе не понимая нормальной любви. Та же черта закрывать глаза на реальность в человеке и под микроскоп класть свои о нем домыслы, или игнорировать плохие книги расположенного к ней (и к Д. С.) человека. Как Стайн игнорировала Джойса и не приглашала к себе людей, говоривших о Джойсе, так и З. Н. не говорила о Набокове и не слушала, когда другие говорили о нем. Стайн принадлежит хлесткое, но несправедливое определение поколения „потерянного" (как бы санкционирующего эту потерянность); З. Н. считала, что мы все (но не она с Д. С.) попали „в щель истории", что было и неверно, и вредно, и давало слабым возможность оправдания в слабости, одновременно свидетельствуя о ее собственной глухоте к своему веку, который не щель, а нечто как раз обратное щели.

Было в ней сильное желание удивлять, сначала — в мо-

лодости — белыми платьями, распущенными волосами, босыми ногами (о чем рассказывал Горький), потом — в эмиграции — такими строчками в стихах, как „Очень нужно!" или „Всё равно!" или такими рассказами, как „Мемуары Мартынова" (которые никто не понял, когда она его прочла за чайным столом, в одно из воскресений, кроме двух слушателей, в том числе — меня. А Ходасевич только недоуменно спросил: венерическая болезнь? — о загадке в самом конце). Удивлять, поражать, то есть в известной степени быть экзибиционисткой: посмотрите на меня, какая я, ни на кого не похожая, особенная, удивительная... И смотришь на нее иногда и думаешь: за это время в мире столько случилось особенного, столько непохожего ни на что и столько действительно удивительного, что — простите, извините, — но нам не до вас!

К ним ходили все или почти все, но лучше всего бывало мне с ней, когда никого не было, когда разливался в воздухе некоторый лиризм, в котором я чувствовала, что мне что-то „перепадает". Я написала однажды стихи на эту тему о „перепадании" и напечатала их, они оба вероятно прочли их, но не догадались, что стихи относятся к ним. Вот эти стихи:

Труд былого человека,
Дедовский, отцовский труд,
Девятнадцатого вéка
Нескудеющий сосуд

Вы проносите пред нами,
Вы идете мимо нас
Мы, грядущими веками,
Шумно обступили вас.

Не давайте сбросить внукам
Этой ноши с ваших плеч,
Не внимайте новым звукам:
Лжет их воровская речь.

Внуки ждут поры урочной,
Вашу влагу стерегут,
Неразумно и порочно
Расплескают ваш сосуд.

Я иду за вами тоже,
Я, с протянутой рукой,
Дай в ладонь мою, о Боже,
Капле пасть хотя об одной!

Полный вещей влаги некой
Предо мной сейчас несут
Девятнадцатого века
Нескудеющий сосуд.

В 1927 году З. Н. посвятила мне стихотворение „Вечная женственность" (рукопись с посвящением хранится у меня, вместо названия поставлены буквы В. Ж.), оно вошло в ее книгу „Сияния" (1938 г.) без года, без посвящения и под названием „Вечноженственное". А когда мы жили летом в Каннэ, в Приморских Альпах, где жили и Мережковские, и виделись ежедневно, то еще одно (я привожу его здесь впервые):

Чуть затянуто голубое
Облачными нитками,
Луг с пестрой козою
Блестит маргаритками.
Ветви по летнему знойно
Сивая олива развесила.
Как в июле всё беспокойно,
Ярко, ясно и весело...
Но длинны паутинные волокна
Меж колокольчиками синими...
Но закрыты высокие окна
На даче с райским именем.
И напрасно себя занять я
Стараюсь этими строчками:
Не мелькнет белое платье
С лиловыми цветочками.

Октябрь, 1927.

А еще через год я прожила у них три дня, в Торран, над Грассом, и она подарила мне листок с тремя стихотворениями, написанными в эти дни. Эти стихи удивили меня, они показали мне неожиданную нежность ее ко мне и тронули меня. Два из них, под названием „Ей в горах", вошли в книгу „Сияния", а третье напечатано не было. На моем листке они называются „Ей в Торран".

1.

Я не безвольно, не бесцельно
Хранил лиловый мой цветок,
Принес его длинностебельный
И положил у милых ног.

А ты не хочешь... Ты не рада...
Напрасно взгляд твой я ловлю.
Но пусть! Не хочешь, и не надо:
Я всё равно тебя люблю.

2.

Новый цветок я найду в лесу,
В твою неответность не верю, не верю.
Новый лиловый я принесу
В дом твой прозрачный, с узкою дверью.

Но стало мне страшно, там у ручья,
Вздымился туман из ущелья, стылый...
Только шипя проползла змея
И я не нашел цветка для милой.

3.

В желтом закате ты — как свеча.
Опять я стою пред тобой бессловно.
Падают светлые складки плаща
К ногам любимой так нежно и ровно.

Детская радость твоя кратка,
Ты и без слов сама угадаешь,
Что приношу я вместо цветка,
И ты угадала, ты принимаешь.

Торран, 1928.

В Торран к Мережковским я поехала из Антиб на автобусе. Ходасевич болел, мы тогда жили с В. В. Вейдле и его будущей женой на даче. Торран — место в горах, высоко, высоко, в Приморских Альпах, и там, в старом замке, Мережковские снимали один этаж. В самой башне была наскоро устроена ванная; кругом замка стояли сосны, черные, прямые, и за ними, на высокой горе, напротив окон столовой, видны были развалины другого замка,

— ... который был построен тогда, когда еще не был написан „Дон Кихот", — возвестил мне Д. С. при встрече.

Спать меня положили в узкой, длинной комнате, в квар-

тире хозяев замка, и там стояли на полках книги XVII и XVIII веков, на палец покрытые пылью.

Днем мы ходили гулять, вдоль ручья, который шумел и прыгал по камням, и Д. С. говорил, глядя, как водяные пауки стараются удержаться изо всех сил, чтобы не быть унесенными, работая ножками:

— Зина! Они против течения! Они совсем как мы с тобой!

Ручей поворачивал, успокаивался, тихонько журчал, убегая, и Д. С. опять говорил, но уже ни к кому не обращаясь:

— Лепечет мне таинственную сагу про чудный край, откуда мчится он, — и внезапно останавливался и начинал вспоминать, как они когда-то жили под Лугой (где у Карташева болел живот), так что не трудно было догадаться, что „чудный край" для него мог быть только один на свете.

Она сказала мне после его смерти, что они не расставались никогда и пятьдесят два года были вместе, и на мой вопрос, есть ли у нее от него письма, ответила: Какие же могут быть письма, если не расставались ни на один день? Помню, как на его отпевании в русской церкви на улице Дарю, она стояла покачиваясь от слабости на стройных ногах, положив руку на руку Злобина, и он, прямой и сильный, и такой внимательный к ней, неподвижный, как скала, стоял, и потом повел ее за гробом. И как года через полтора на деньги французского издательства был на могиле Д. С. поставлен памятник, с надписью: „Да приидет Царствие Твое!" и каждый раз, когда я бывала на его могиле, я слышала его голос, слегка картавящий на обоих „р", восклицающий это заклинание, в которое он вкладывал особый, свой смысл.

И потом пошла на убыль ее умственная сила. В 1944 году она призналась мне, что ничего не понимает в событиях, и чувствовалось, что уже ничего не надо объяснять, всё равно ничего не дойдет до нее. Она много и часто кричала по ночам, звала его, мучилась приближением смерти, вся высохла, стала еще хуже видеть и слышать, и нянчилась со своей полупарализованной рукой. А когда маленькая и сморщенная лежала в гробу, кое-кто из пришедших на панихиду переглядывался и говорил:

— Прости Господи, злая была старушенция.

Ее гроб опустили в могилу на его гроб, и в памяти моей они сливаются вместе, словно одно существо в двух аспектах, словно голос поющий длинную песнь под аккомпанемент, и то она поет, а он аккомпанирует, то (пожалуй чаще) он поет, а она следует за ним. В длинной (еще вероятно российской) бобровой шубе и бобровой шапочке, всё меньше ростом с каждым годом, он берет ее под руку (и кто за кого держится — неизвестно). На ней потертая меховая шуба рыжего меха, красная или розовая шляпа, — как она любила эти тона, от розового до кирпичного, от ярко-красного до темно-рыжего! Она осторожно выступает на своих острых, высоких каблуках. Они идут гулять в Булонский лес. Они возвращаются. В темной квартире здесь и там зажигаются лампы, старенькая мебель, книжные полки, ее шитье, его бумаги — всё на месте. Начинается вечер. Я прихожу и сажусь подле нее на диван. Она любит задавать мне вопросы, чтобы смутить меня, но я не часто смущаюсь. Иногда я чувствую, что всё это только игра, умышленная, чтобы узнать у меня не ответ на загадку, а узнать меня самоё. Допрос. Она часто удивляется мне, моей прямоте, бесстрашию, откровенности, тому, что я так много „принимаю" в жизни, и тому, что совершенно перестала смущаться и ее, и Д. С.

Потом мне кажется, что я всё получила от них, что могла получить, что мне видно их „дно", и я на несколько лет отхожу от них, и во время войны опять возвращаюсь, когда вокруг них в Париже остается так мало людей. Но я уже не вхожу в гостиную и не сажусь с ней на диван. Я поднимаюсь по черной лестнице, вхожу в кухню и долго смотрю, как Злобин моет посуду, скребет кастрюли, вытирает вилки и ножи. И мы с ним тихо разговариваем. Там, в гостиной, очень холодно, и Д. С. лежит, укрывшись пледом, а она сидит с ним, и я боюсь потревожить их. И у меня отчетливое впечатление, что они оба доживают, а не живут, что они оба тают, постепенно уходят. И когда я получаю однажды телеграмму (в утро Пэрл-Харбора): „Merejkovsky décédé . . .", мне кажется, что это плавное завершение чего-то, чему пора было завершиться, что это естественно, а ее четыре года существования без него — неестественно, ненужно, мучительно и для нее, и для других.

В последние месяцы своей жизни она иногда говорила (в 1945 г.) о событиях, но всегда заканчивала одним и тем же:

— Я ничего не понимаю.

В этом „ничего не понимаю" для меня всё больше и больше звучал отказ от жизни, безнадежная пропасть между человеком и миром, смерть, а не жизнь.

— Я стараюсь понять, но не могу понять. Объясните...

В этом „стараюсь" и „объясните" не было содержания: стена всё росла между нею и всем остальным и в конце концов отделила ее навеки.

А как она властвовала над всеми, когда в центре гостиной Винаверов (или Цетлиных) ее чуть скрипучий голос покрывал другие голоса или когда говорил Д. С., и она выжидала момент, чтобы напасть на него, или поддержать его, или вступить в разговор между ним и его оппонентом. Как она властвовала над людьми, и как она любила это, вероятно превыше всего, любила эту „власть над душами", и все ее радости и мученья были, я думаю, связаны именно с этим властвованием: над маленьким, неизвестным поэтом (Штейгер написал ей письмо, и она смеялась над ним), над которым она расправляла свои темные крылья, чтобы ловчее клюнуть его; над редакторами журналов, нарастивших себе толстую кожу, у которых она отыскивала чувствительные места, чтобы до крови царапнуть их.

Бунин бывал с ней настороже, но конечно ему редко удавалось победить ее в споре. Пленительная, старомодная примитивность Бунина забавляла ее и давала ей озорное желание спорить с ним в своем собственном ключе, потому что его — житейский, элементарный, двухмерный, бытовой — ключ был ей смешон, а Д. С-чу скучен. Он так и говорил:

— Мне Бунин скучен.

Но она считала, что скучных людей вообще нет и что Бунин „забавен", забавен для нее, во всяком случае, потому что если его нельзя переубедить или переделать, то его во всяком случае можно удивить.

Как я любила его стиль в разговоре, напоминавший героя „Села Степанчикова", Фому Фомича Опискина: „называйте меня просто ваше превосходительство", и его крепкое руко-

пожатие, разговоры о „дворянских родинках" и „дворянских ушах" и вообще обо всем „дворянском" — я такого конечно не слыхала никогда даже от дедушки Караулова! Здесь было что-то древнее, феодальное, а ему вместе с тем всегда хотелось быть с молодыми, быть самому молодым. Как я любила его рассказы (взятые готовыми из старых повестей) о собаках — муругих, брудастых, которые опсовели, которые заложились, полвопегие, подъуздые; о трактирах на главной орловской улице — поди, проверь их, вероятно половина выдумана вот сейчас, на месте, а всё вместе — чудо как хорошо!

Но конечно орловские вывески и полвопегие, опсовевшие псы ничего не говорили Д. С-чу. И не удивительно, что ему от всего этого бывало скучно.

Бунин стоял внизу у лифта, на лестнице, в доме Цетлиных, когда мы вошли. Ходасевич познакомил нас. Бунин не хотел входить в лифт, на днях где-то лифт едва не раздавил его: он шагнул в пустую клетку, а лифт в это время спускался и кто-то вытащил его, и он теперь боялся лифтов. Мы поднялись пешком. Если Зинаида Николаевна и Дмитрий Сергеевич при первом знакомстве учиняли собеседнику некий экзамен („како веруеши?"), то Бунин делал это совсем по-другому: не „како веруеши?" а какое я на тебя произвожу впечатление? А ну еще? А это как? Он немного тянул слова (по-барски или по-московски? Или как „у нас, в Белевском уезде"?) и всё время, когда говорил, взглядывал на меня, стараясь прочитать в моем лице впечатление, которое он на меня производит.

Бывало у него это с мужчинами, с женщинами, с литераторами и нелитераторами, но особенно ярко было это заметно с женщинами-литераторами. В первый же вечер знакомства со мной он рассказал мне какой случай произошел с ним однажды в молодости. Рассказ начинался, как первый рассказ в „Темных аллеях", только барин был молодой и приехал в избу к молодой бабе. Входит барин в избу, видит — крепкая, грудастая молодайка одна. Он в восторге от предстоящих возможностей. Готов уже взять ее за грудь и замечает, что она на всё согласна. И вдруг с полатей раздается старческий дребезжащий голос: „Тетя

Настя, я усрался". Барин (то есть Бунин) выскочил из избы, вскочил на лошадь и пустил ее галопом.

Рассказывание подобных историй кончилось довольно скоро: после двух-трех раз, когда он произнес вслух и как-то особенно вкусно „непечатные" (впрочем, давно на всех языках, кроме русского, печатные) слова — он любил главным образом так называемые детские непечатные слова на г, на ж, на с и так далее, — после того как он два-три раза произнес их в моем присутствии и я не дрогнула, а приняла их так же просто, как и остальной его словарь, и после того, как я сказала ему, как прекрасны его „Сны Чанга", он совершенно перестал „рисоваться" передо мной, он понял, во-первых, что меня не смутишь таким простым способом и, во-вторых, что я ему не враг, а друг. Впрочем, не совсем друг:

— А стихи мои вам конечно не нравятся?

— Нет... нравятся... но гораздо меньше вашей прозы.

Это было его больное место, я еще тогда не знала этого.

Но уже через год он вернулся в наших разговорах к теме стихов и прозы, наболевшему вопросу всей его жизни. Он сказал мне однажды в Грассе, куда я ездила к нему (есть два превосходных снимка этого лета: на одном Г. Н. Кузнецова и я стоим, как два ангела-хранителя, над ним, и другой, где он сидит голый до пояса, а я держу над ним зонтик):

— Если бы я захотел, я бы мог любой из моих рассказов написать стихами. Вот например „Солнечный удар" — захотел бы, сделал бы из него поэму.

Я почувствовала неловкость, но сказала, что верю. Я была поражена этими словами: он видимо думал, что любой „сюжет" можно одеть в любую „форму", так сказать наложить форму на содержание, которое рождалось самостоятельно, как голый младенец, для которого нужно выбрать платье. Из этого ясно, что он считал, что „Полтаву" допустимо было написать гекзаметром, а „Двенадцать" — триолетами. Впрочем, о его отношении к Блоку я скажу позже.

Характер у него был тяжелый, домашний деспотизм он переносил и в литературу. Он не то что раздражался или сердился, он приходил в бешенство и ярость, когда кто-

-нибудь говорил, что он похож на Толстого или Лермонтова, или еще какую-нибудь глупость. Но сам возражал на это еще большей нелепицей:

— Я — от Гоголя. Никто ничего не понимает. Я из Гоголя вышел.

Окружающие испуганно и неловко молчали. Часто бешенство его переходило внезапно в комизм, в этом была одна из самых милых его черт:

— Убью! Задушу! Молчать! Из Гоголя я!

В такое же бешенство, если не большее, приводили его разговоры о современном искусстве. Для него даже Роден был слишком „модерн".

— Бальзак его — говно, — сказал он однажды. — Его потому-то голуби и обосрали.

И — острый взгляд в мою сторону.

Я ответила, что для меня он такой, обосранный, всё же лучше Гамбетты, который у Лувра, с флагом и нимфами (впрочем, были ли в этом безобразии нимфы, я не была уверена).

— Что ж для вас и Пруст лучше Гюго?

Я даже потерялась от неожиданности: какое же может быть сравнение?

— Пруст, скажете, лучше?

— Ну, Иван Алексеевич, ну конечно же! Он — величайший в нашем столетии.

— А я?

Г. Н. Кузнецова и я смеялись на это. Он любил смех, он любил всякую „освободительную" функцию организма и любил всё то, что вокруг и около этой функции. Однажды в гастрономическом магазине он при мне выбирал балык. Было чудесно видеть, как загорелись его глаза, и одновременно было чуть стыдно приказчика и публики. Когда он много раз потом говорил мне, что любит жизнь, что любит весну, что не может примириться с мыслью, что будут вёсны, а его не будет, что не всё в жизни он испытал, не все запахи перенюхал, не всех женщин перелюбил (он конечно употребил другое слово), что есть еще на тихоокеанских островах одна порода женщин, которую он никогда не видел, я всегда вспоминала этот балык. И пожалуй я могу теперь сказать: насчет женщин это всё были только слова,

не так уж он беспокоился о них, а вот насчет балыка или гладкости и холености собственного тела — это было вполне серьезно.

Будучи абсолютным и закоренелым атеистом (о чем я много раз сама слышала от него) и любя пугать и себя и других (в частности бедного Алданова) тем, что черви поползут у них из глаз и изо рта в уши, когда оба будут лежать в земле, он даже никогда не задавался вопросами религии и совершенно не умел мыслить абстрактно. Я уверена, что он был совершенно земным человеком, конкретным цельным животным, способным создавать прекрасное в примитивных формах, готовых и уже существовавших до него, с удивительным чувством языка и при ограниченном воображении, с полным отсутствием пошлости. Какое количество пошлости было у так называемых русских реалистов начала нашего века! Примером может служить не только Амфитеатров, Арцыбашев, Вересаев, но и Ал. Н. Толстой, ранние рассказы которого сейчас трудно и немножко противно перечитывать. Даже у Горького, позднего русского „викторианца", можно иногда найти пошлое, но не у Бунина. Никогда чувство вкуса не изменяло ему. И если бы он не опоздал родиться на тридцать лет, он был бы одним из наших великих нашего великого прошлого.

Я вижу его между Тургеневым и Чеховым, рожденным в году 1840-ом. Он сам сказал об этом гораздо позже, в 1950 году, в своих „Воспоминаниях":

> „Слишком поздно родился я. Родись я раньше, не таковы были бы мои воспоминания".

Но в 1920-х годах ему нельзя было бы и намекнуть на это. Он не позволил бы не только в печати, но и лично заподозрить его в том, что он человек прошлого века. Однажды он пожаловался мне, что „молодые" его упрекают, что он ничего не пишет о любви. Это было время увлечения Д. Х. Лоуренсом. „Всё, что я писал и пишу — всё о любви", — сказал он.

Когда разговоры заходили о советской литературе, он о ней не имел никакого понятия. А все современные французы были у него, „как Пруст". Сомневаюсь, однако, чтобы

он прочел все двенадцать томов „В поисках утерянного времени".

Ко мне относился он в разные годы по-разному. Сначала — с нежной иронией („Я близ Кавказа рождена, владеть кинжалом я умею" — это про вас, про вас!), потом с удивлением и некоторым недоверием, еще позже — с доброжелательством, мирно принимая то, что сначала казалось ему во мне дерзостью и неуважением к нему, и под конец жизни — откровенно враждебно за мою книгу о Блоке. Как, о Блоке? Почему не о нем?

Всю жизнь Блок был для него раной, и весь символизм, мимо которого он прошел, чем-то противным, идиотским, ничтожным, к которому он был либо глух, либо яростно враждебен. „Больших дураков не было со времени Гостомысла", — говорил он, и в „Воспоминаниях" сказал: „Во всей моей жизни пришлось мне иметь не мало встреч с кретинами. Мне вообще была дана жизнь настолько необыкновенная, что я был современником даже и таких кретинов, имена которых навеки останутся во всемирной истории". Эти кретины для него были: Бальмонт, Сологуб, Вячеслав Иванов; стихи Гиппиус возбуждали в нем злую насмешку, Брюсов был коммунист и его следовало повесить за одно это, Белый (от белой горячки) был опасный сумасшедший. Но главной „мерзостью" во всей этой компании был Блок, рахитик и дегенерат, умерший от сифилиса. Однажды Г. В. Иванов и я, будучи в гостях у Бунина, вынули с полки томик стихов о Прекрасной Даме, он был весь испещрен нецензурными ругательствами, такими словами, которые когда-то назывались „заборными". Это был комментарий Бунина к первому тому Блока. Даже Г. В. Иванов смутился. „Забудем это", — шепнула я ему.

— И совсем он был не красивый, — однажды воскликнул Бунин, говоря о Блоке, — я был красивее его!

При этом Алданов заметил, что вероятно это так и было.

Хотя в „Воспоминаниях" он и сказал, что ему было суждено прожить жизнь среди пьяниц и идиотов, эта судьба его часто беспокоила. Он чувствовал, что что-то здесь не так, не то, и что он, может быть, остался за бортом чего-то, что важнее его книг. Какой-то зверь ел его внутри и всё более и более резкие суждения о современниках, всё более

злобные выкрики к концу жизни — устные и в печати — свидетельствовали о том, что он не мог забыть этих „идиотов и кретинов", что они неотступно мучили его всю жизнь и к старости сделались сильнее его, а он слабел и искал защиты в грубости. В небольшом зале Плейель, в 1948 году, он однажды устроил вечер чтения своих воспоминаний, позже вышедших книгой (в издательстве „Возрождение" и по старой орфографии!). И в тот момент, когда он, с наслаждением произнося каждое слово, доказывал, что Блок — ничтожество, я подумала, что вот наступила минута, когда надо встать и выйти из зала, даже не хлопнув дверью. И какая-то странная слабость нашла на меня: я вдруг заколебалась, сделать это или продолжать слушать эти ревнивые, злые, безобразные страницы. В несколько секунд прошло передо мной и всё литературное величие написанных Буниным книг, и всё личное, что связывало меня с ним за двадцать пять лет нашей дружбы и охлаждение в последние годы, о котором я скажу позже. И в то время, как я колебалась, встать или остаться сидеть, кто-то на другом конце моего же ряда встал, трахнул сиденьем и стуча ногами пошел к выходу. Я сейчас же встала, не трахнув сиденьем, не стуча ногами, пошла к дверям. Осторожно открыв и закрыв их я оказалась перед Ладинским. Мы молча вышли на улицу, он пошел налево, а я направо. После многолетних дружеских отношений мы теперь избегали разговаривать друг с другом: он уже взял тогда советский паспорт, стал „советским патриотом" и собирался в Советский Союз, считая Сталина чем-то вроде Петра Великого.

Не знаю, сколько и кому надо в жизни прощать? Может быть никому ничего не надо прощать? (так казалось в молодости). Во всяком случае я знаю, что всем всего прощать невозможно, и когда Бунин, после чудного дня, проведенного в Лонгшене (место под Парижем, где у меня и Н. В. М. был деревенский дом в 1938—1948 годах, о чем будет рассказано в свое время), когда после разговоров, чтения вслух, долгого лежания в креслах на площадке, между двумя маленькими домами, под миндальным деревом, и ласковых речей, вдруг за обедом он собрался понюхать жареного цыпленка, прежде чем начать его есть, я спокойно остано-

вила его руку: я знала, что он это делает всегда — и за ужином у Цетлиных, и в наилучшем парижском ресторане, и у себя дома.

— Нет, — сказала я, — Иван Алексеевич, у меня вы нюхать цыпленка не будете. — И твердо отвела его руку с куском цыпленка на вилке.

— Ай да женщина! — весело сказал он. — Не боится никого. Недаром „я близ Кавказа рождена" и т. д. Только как же не нюхать? Дворянин тухлятину есть не может.

— Здесь, — сказала я, — вам тухлятины не дадут.

И разговор перешел на другие темы.

Я думаю теперь, что грубость в словах, в поведении, грубость его интеллекта была отчасти прикрытием, камуфляжем и что он боялся мира и людей не менее остальных людей его поколения, и всё его чванство, — а оно было в очень сильной степени, уже до революции, в Москве, — было его самозащитой. Он был груб с женой, бессловесной и очень глупой (не средне-глупой, но исключительно глупой) женщиной, он был груб со знакомыми и незнакомыми, и ему нравилось после грубости вдруг сказать что-нибудь ласковое или отвесить старинный поклон. В последний раз я пришла к нему в 1947 или 1948 году, после моих поездок в Швецию, где я исполнила некоторые его поручения к переводчику и издателю его шведских переводов. Я вошла в переднюю. Посреди передней стоял полный до краев ночной горшок, Бунин видимо выставил его со злости на кого-то, кто его не вынес вó-время. Сидел он за столом в кухне, а с ним сидел некто Клягин, состоятельный человек, владелец огромного отеля около площади Этуаль. Клягин только что был выпущен из тюрьмы, где отбывал наказание за сотрудничество с немцами. Он не то писал, не то уже издал книгу о своем детстве (кажется, он был сибиряк), и теперь они оба сидели и говорили друг другу, как прекрасно они оба пишут. Возможно, что Клягин помогал Бунину в эти годы вновь наставшей для него бедности (Нобелевская премия была давно прожита), возможно, что Клягин добивался от Бунина предисловия к своей книге или рецензии о ней, но когда я увидела грязную кухню, двух слегка подвыпивших старых людей, которые обнимались и со слезами на глазах говорили друг другу: „ты —

гениальный", „ты — наш светоч", „ты — первый", „мне у тебя учиться надо", на меня нашло молчание, которое я никак не могла сломать. Посидев минут десять, я вышла в переднюю. Бунин сказал:

— Это — Клягин, друг мой единственный. Великий писатель земли русской. Всем вам у него учиться надо.

Я прошла через переднюю (горшка уже не было), вышла на лестницу, на улицу Оффенбах, и больше уже никогда не вернулась.

Я не люблю смотреть на распад, любопытствовать о распаде, любоваться распадом, не люблю ни смеяться над ним, ни сожалеть о нем. Я стараюсь избегать распада, а он для Бунина начался в тот день, 12 февраля 1945 г., когда С. К. Маковский заехал за ним, чтобы везти его к советскому послу Богомолову пить за здоровье Сталина. Автомобиль ждал внизу.

Всё это было устроено А. Ф. С., видимо — „оком Москвы" в газете Милюкова (о чем никто никогда не имел никаких подозрений). С. сначала „обработал" Маклакова („будет амнистия эмигрантам, в Советском Союзе всё переменилось"); Маковскому было поручено привезти Бунина и некоторых других. Посол ждал с угощением. Никаких политических последствий это не имело, это было началом распада эмиграции в целом и в отдельных ее представителях.

На Бунина был сделан нажим с двух сторон. С одной стороны — С., с другой — ближайший друг С., некто П. Будучи ближайшим свойственником Алданова, П. имел авторитет в Париже, который вряд ли заслуживал. Вернувшись в Париж после войны, он заявил, что все те, кто не погиб при немцах, — сотрудничали с немцами. Он очернил бесчисленное множество людей, в том числе и меня. Через несколько лет оба они — и С. и П., — будучи людьми сравнительно не старыми, умерли (от сердечных припадков). Одно из самых приятных для меня событий конца сороковых годов было общее собрание Союза писателей и выборы в президиум, на которых их обоих, и С., и П., с грохотом „прокатили" (они считали, что их выберут) — сознаюсь, я действовала энергично и храбро и подготовила заранее этот „прокат".

Первый раз Ходасевич и я были приглашены к Буниным к обеду в зиму 1926—27 года. Его книги, недавно вышедшие, лежали на столе в гостиной. Один экземпляр („Розы Иерихона") он надписал мне и Ходасевичу, другой он тут же сел надписывать Г. Н. Кузнецовой. В тот вечер я впервые увидела ее (она была со своим мужем, Петровым, позже уехавшим в Южную Америку), ее фиалковые глаза (как тогда говорили), ее женственную фигуру, детские руки, и услышала ее речь с небольшим заиканием, придававшим ей еще бóльшую беззащитность и прелесть. Надпись Бунина на книжке была ей непонятна (он назвал ее „Рики-тики-тави"), и она спросила Ходасевича, что это значит. Ходасевич сказал: „Это из Киплинга, такой был прелестный зверек, убивающий змей". Она тогда мне показалась вся фарфоровая (а я, к моему огорчению, считала себя чугунной). Через год она уже жила в доме Бунина. Особенно бывала она мила летом, в легких летних платьях, голубых и белых, на берегу в Канн, или на террасе грасского дома. В 1932 году, когда я жила одна на шестом этаже без лифта в гостинице на бульваре Латур-Мобур, они оба однажды зашли ко мне вечером и он ей сказал:

— Ты бы так не могла. Ты не можешь одна жить. Нет, ты не можешь без меня.

И она ответила тихо: „Да, я бы не могла".

Но что-то в глазах ее говорило иное.

Когда она в конце 1930-ых годов уехала от Буниных, он страшно тосковал по ней. За всю жизнь он, вероятно, по-настоящему любил ее одну. Его мужское самолюбие было уязвлено, его гордость была унижена. Он не мог представить себе, что тó, что случилось с ним, случилось на самом деле, ему всё казалось, что это временно, что она вернется. Но она не вернулась.

Трудно общаться с человеком, когда слишком есть много запретных тем, которых нельзя касаться. С Буниным нельзя было говорить о символистах, о его собственных стихах, о русской политике, о смерти, о современном искусстве, о романах Набокова... всего не перечесть. Символистов он „стирал в порошок"; к собственным стихам относился ревниво и не позволял суждений о них; в русской политике до визита к советскому послу он был реакционных взглядов,

а после того, как пил за здоровье Сталина, вполне примирился с его властью; смерти он боялся, злился, что она есть; искусства и музыки не понимал вовсе; имя Набокова приводило его в ярость. Поэтому очень часто разговор был мелкий, вертелся вокруг общих знакомых, бытовых интересов. Только очень редко, особенно после бутылки вина, Бунин „распускался", его прекрасное лицо одушевлялось лирической мыслью, крупные, сильные руки дополняли облик, и речь его лилась — о себе самом, конечно, но о себе самом не мелком, злобном, ревнивом и чванном человеке, а о большом писателе, не нашедшем себе настоящего места в своем времени. Что-то теплое сквозило тогда в его лице, и это же теплое сквозило иногда в его письмах, и казалось — какая-то нить протягивается между нами, но на следующий день нити никакой не оказывалось, и он вдруг силою вещей отдалялся на бесконечное расстояние. В самом ближайшем его окружении постоянно находились люди, присутствие которых бывало мне тягостно, и среди них (не говоря уже о Вере Николаевне, которая своей невинностью обескураживала не одну меня) был человек, который впоследствии оказался тайным членом французской коммунистической партии. Мы, конечно, узнали об этом значительно позже. В. Н. не чаяла в нем души, и он много лет жил как член семьи в доме Буниных.

Приведу несколько отрывков из писем Бунина ко мне. Всех писем двадцать пять, написанных от 1 октября 1927 года до ноября 1946 года. Оригиналы лежат в моем архиве.

Письмо от октября 1927 г. (первое):

> „Дорогая Нина Николаевна,
> простите меня окаянного, — обманул я Вас с рассказом для „Нового Дома",*) — и поверьте, что постараюсь исправиться. Кто такой Буткевич? Талантливый человек, много, очень много хорошего!
> Целую Ваши ручки, сердечный привет Вл. Фел.
>
> Ваш Ив. Бунин".

Письмо от 18 июня 1933 г. (третье, ответ на мое о „Жизни Арсеньева"):

---

*) Журнал, где я была членом редколлегии (Н. Б.)

„Дорогая Нина Николаевна, очень тронут Вашим письмом, очень благодарю за него и очень рад, что не удержали своей „пылкости", — право, не такое уж плохое это чувство, как теперь многие думают или стараются думать! Позвольте сердечно поцеловать Вас — и простите мою краткость: она проистекает не из моей сухости, а как раз из других, противоположных чувств, которые я гораздо лучше сказал бы Вам устно, чем это делаю сейчас. До свидания, дорогая моя, и еще раз — большое спасибо.

Ваш Ив. Бунин".

Письмо от 2 августа 1935 г. (четвертое):

„Милая моя Нина Николаевна,

Долг платежом красен — плачу с большим удовольствием: похвалили Вы меня когда-то — настал наконец и мой черед похвалить. Был ужасно занят, — прочел половину „Аккомпаниаторши" и бросил на 2 недели, — ни минуты свободной не было. Теперь дочитал — и уж совсем твердо говорю: ах, какой молодец, ах, как выросла, окрепла, расцвела! Дай Бог и еще расти — и, чур, не зазнаваться! Целую Вас, дорогая, даже не прося позволения на то Н. В. (которому поклон).

Ив. Бунин".

Письмо от 18 июля 1938 г. (шестое):

„Дорогая моя, я в четверг вернулся с Ривьеры — 12 дней рыскал от Ментоны до Парижа, всюду искал пристанища на лето — буквально нигде ничего! Плачу, рыдаю — и сижу в Париже. Смотрел кое-что вокруг Парижа — опять тщетно! Кое-что осталось, но жалкое и при том дьявольски дорогое.

За этими милыми делами не перечитал еще „Без Заката". Но хорошо помню по первому чтению, сколько там таланта (хотя не совсем ровно написана эта вещь). Не отрываясь, прочел „Бородина" — чудесно! Смело, свободно, отличными штрихами... м. б., и не такой был — не совсем такой Бородин, да что мне за дело!

Целую Вас сердечно, кланяюсь Н. В.

Ваш Ив. Бунин".

Письмо от 5 октября 1939 г. (восьмое):

„Дорогая Нина, очень тронут и обрадован Вашим письмом. Да, я, увы, засел в Грассе, где у меня ровно ни единой души нет, не только близкой, но просто близко знакомой. Печален я и одинок бесконечно. И это уж давно, и чем дальше, тем больше. — „Мудрость" лет, милый друг! — и уж про теперь и говорить нечего! Целую Вас и Н. В. от всей души. Кланяюсь О. Б. Пишите хоть изредка.

Ваш Ив. Бунин

Пишется что-нибудь? Дай Бог. Я не могу — пока по крайней мере".

Письмо от 25 января 1940 г. (девятое):

„Дорогая Нина... с Праздником и с Новым Годом. Поздравляет Вас и желает Вам всех благ и весь мой дом.

Письмо Ваше, Нина, от 6-го Дек. получил давным давно. Был, конечно, очень рад ему, — я ведь действительно очень люблю Вас, — а не поблагодарил Вас за него сразу прежде всего потому, что уже давным давно чувствую себя прескверно, тупым и отравленным от всяких лекарств против ужасного кашля: холод у нас был собачий, долго лежал снег и наш большой и нелепый дом натопить не было никаких возможностей; все прохворали, я же больше всех. А потом — что напишешь? Газеты, радио, тревога за финнов... чтение старых журналов, что я беру в Ниццкой церковной библиотеке... вот и всё. Пишите ли Вы что-нибудь? Пишите, дорогая, пользуйтесь силами, молодостью..."

Письмо от 2 мая 1940 г. (десятое):

„Очень благодарю Вас, дорогая моя, за письмо, тронут тем более, что думал, что во хмелю слишком много говорил в тот вечер. Пишу кратко — надеюсь быть в Париже через несколько дней и пробыть там недели три. Живу по прежнему, одиноко и грустно. Сердечно целую Вас обоих.

Ваш Ив. Б."

Письмо от 14 апреля 1943 г. (восемнадцатое):

„Дорогая Нина, не сразу отвечаю на Ваше письмо потому, что совсем был никуда, как это часто со мной теперь бывает: ужасно болела правая рука, — ревматизм от зимних холодов в доме и скверное кровообращение от вечного голода, — а главное, недели две страшно болел правый глаз и висок, — всё от того-же, — плюс отравление „Атофаном", которым старался убить эти боли. Плох и туп сейчас и хотя отвечаю, но тоже тупо, плохо и кратко — м. б., напишу как нибудь получше и побольше. Очень благодарю Вас и Н. В. за Ваши чувства ко мне... Как я живу, Вы видите из первых строк этого письма. Кроме того, Вы в общем уже давно знаете, какова моя жизнь: плоха, очень плоха во всех смыслах! З. и Б. всё еще с нами (и нас теперь только четверо — М. и Г. Н. уже год живут в Каннэ...). Одиноко мне до безобразия. „Потребность в людях" у меня, увы, еще есть. Пишу я теперь мало и всё больше только заметки для всяких предполагаемых рассказов. А вот почему Вы пишете „мало, медленно и туго", не понимаю и огорчаюсь — ведь Вы, думается мне, сейчас в полном расцвете всячески... Рад, что Вы так сошлись с Борисом и Верой*) — вот еще по ком я очень скучаю! Последние дни ужасно беспокоились о них, но нынче, слава Богу, письмо от Веры — что они живы и здоровы...

Ваш Ив. Б.

Очень тронут, что послали мне посылку (украденную кем-то в пути), и до сих пор жалею, что ее украли. Жаль даже галстухов, хотя очень не шли бы они к тем лохмотьям штанов, в коих я хожу. Да, да, вспоминаю Одессу 19-го года:

Я остался без подштанников —
И теперь мне всё равно:
Правит ли Одессой Санников
Или генерал Энно!"

---

*) Зайцевы. (Н. В.)

Письмо от 10 мая 1944 г. (двадцатое):

„Дорогие Нина и Н. В., очень тронут Вашим приглашением, очень благодарю. Всё еще не теряю надежды, что нас оставят здесь, но если нет и если придется стеснить Вас, если не найду убежища в Париже, — простите, стесню на некоторый малый срок*). Всё еще — вот уже больше недели — работаю как вол (будучи на него ничуть не похож) над уборкой дома, посему не обессудьте за краткость.

Целую. Ваш Ив. Б.

Письмо от конца ноября 1946 г. (двадцать пятое):

„Дорогая Нина, когда Вы уезжаете? Не будете ли добры позвонить мне завтра или послезавтра от 12 до 2-х, AUT 33-22 и сообщить, когда именно уезжаете? Послезавтра, т. е. в четверг, я надеюсь иметь не позднее часа дня мою новую книгу („Темные аллеи"), которую я очень прошу Вас отвезти в Стокгольм Сергею Анатольевичу Циону. Если Вы уезжаете в четверг в 5 часов дня, могу ли я заскочить [к] Вам на о д н у минуту с этой книгой и в какой час? Целую Вашу руку...

Ваш Ив. Бунин".

---

*) Я еще раньше звала Бунина в Лонгшен, где мы в это время не голодали, хотя и испытывали большие затруднения, и вопросы еды и топлива стояли довольно остро. Копий своих писем к нему я не оставляла, иногда это были открытки; я не помню точно, когда именно я писала, что ему у нас будет спокойно и тепло, — слишком ему тяжело было в Грассе, о чем он непрерывно мне писал, жалуясь на голод, холод, одиночество. Как известно, „свободная" зона Франции очень скоро была уравнена с оккупированной, таким образом с политической стороны разницы где жить — не было. Если бы даже оккупационные власти заинтересовались им, то это всё-таки для него было бы не так страшно, как его пятилетнее сидение в месте, где у него не было близкой души, при отсутствии докторов, а главное — средств к существованию. В Лонгшене ему было бы хорошо, принимая во внимание, что Париж был в часе езды, а в Париже были близкие друзья — среди которых ближайшими были Зайцевы.

В гостиной Винаверов, в гостиной Цетлиных Мережковские и Бунин были главным украшением. Алексей Михайлович Ремизов же там не бывал. Я любила его ранние романы, „Пруд" и „Крестовые сестры", когда встретилась с ним еще в Берлине. Его „Взвихренная Русь" — бессмертная книга, и если не все тридцать томов его, то во всяком случае половина их будет жить и когда-нибудь вернется в Россию, где сейчас его имя, вот уже лет тридцать пять, как почти не упоминается в печати. В Берлине в 1923 году однажды вечером у Ремизова за большим чайным столом оказались Белый, Зайцев, Муратов, Осоргин, Ходасевич и я. Жена Ремизова, Серафима Павловна, стирала на кухне, в конце коридора, и ее, когда она стирала, беспокоить было опасно — так объявил нам сам Алексей Михайлович, и я села тихонько за стол, поджала ноги и пила чай, который он заваривал сам и сам разливал, что-то при этом приговаривая, закутанный в плед, а когда сел, по-бабьи подпирая кулаком щеку, то стал похож на колдуна-карлика.

После чая он объявил гостям, что на углу его улицы имеется пивная — не простая, а необыкновенная пивная, что он каждый день туда ходит вечерами и что они все сейчас туда пойдут пиво пить. Все встали и пошли в переднюю, пошла и я. А. М. подошел ко мне и тихо, но твердо сказал, поднимая и опуская брови и трогая кончик своего носа, что „барышень туда не пускают". То есть как же это так? Кое-кто уже выходил на лестницу. Я взглянула на Ходасевича. Он шепнул мне, чтобы я А. М. не перечила и оставалась здесь, и что он сам вернется через полчаса. Они вышли. Я осталась одна в столовой, смотреть на чертенят, навешенных на лампу, магия которых на меня никогда не действовала: вся эта сторона А. М. с его Обезьяней Палатой была мне непонятна и не любопытна, и даже мешала мне в общении с ним.

В квартире было тихо. Серафиму Павловну было не слыхать и не видать, впрочем ее может быть даже не было дома; я уже знала, что половина того, что говорится А. М., есть вымысел, цели которого собеседнику не всегда ясны. Прошло полчаса. Прошел час, и мне стало очень скучно и очень обидно. Меня очевидно забыли. Я решила уйти домой одна, я была обижена и сердита, в особенности на

А. М., как на хозяина, а за одно и на Ходасевича, бросившего меня. Но когда я подошла к входной двери, она оказалась запертой снаружи — А. М. предвидя мой уход запер меня в своей квартире. Это еще больше обидело меня, я не знала еще тогда, какие шутки мог Ремизов шутить со своими гостями. Так, запертая и сердитая, я просидела еще с полчаса. Когда все вернулись из пивной, я сказала Ходасевичу, что хочу домой. После этого года три я у Ремизова не бывала, но он вряд ли догадался, что я была обижена на него.

Прожив долгую жизнь и встречаясь с людьми, сближаясь с ними, удаляясь от них, играя с ними, я узнала, что есть люди, которых можно исчерпать в один вечер (или в неделю, или в год), и есть другие, которых исчерпать невозможно, потому что внутри них всё время что-то происходит: движется, работает, шевелится, исчезает и вновь появляется. Там крутятся какие-то колесики, работают пружины, бегают туда и сюда стрелки, открываются заставы, мигают светофоры, и даже иногда будто слышишь, как под черепом у них происходит работа: бежит конвейер, свистят трансмиссии, гудят двигатели. С людьми статичными отношения статичны, всецело на уровне взаимной симпатии и иногда привязанности, тут продолжается годами тот „малый разговор", который нечаянно возник и ни к чему не ведет. С людьми динамическими мы готовы к самым поразительным неожиданностям, к самым неожиданным переменам. Мережковский и Гиппиус искали отношений с людьми, которые „интересуются интересным", и других не ценили, Дмитрий Сергеевич называл их „обывателями". Ремизов жил среди „статиков", „динамиков" не искал, хотел главным образом подводного течения человеческой теплоты. Он любил людей, любивших его, помогавших ему, ограждавших его от жизни заботами о нем, тех, которые с благоговением слушали его бредни о чертенятах, обезьяних палатах, все его фантазии (искусно „заделанные", но почти всегда — сексуальные), и среди таких людей он жил, постепенно отрезав себя от тех, которых нужно было *познавать*. Читателей у него было мало, они все помещались у него в квартире за чайным столом, и между читателями-друзьями-гостями этими не было ничего об-

щего, кроме их доброго отношения и расположения к хозяину дома. А у Бунина не было чувства людей, у него в сильной степени было чувство себя самого; и при его почти дикарском эгоцентризме Бунин вовсе не умел ни брать, ни давать в личном общении, а часто бывал и настороже: как бы не задели его дворянского (и литературного) достоинства, и считал, что писателю прежде всего надо быть наблюдательным человеком. „Вот подметить, что края облаков — лиловые".

— Но ведь еще Чехов сказал, что довольно лиловых облаков!

Он сердито менял тему — и оставался в пустоте.

Да, у Мережковских была гордыня: нам не нужны обывательские разговоры. „Зина, что такое быт? У нас с тобой нет быта!" Верно, это слово даже звучит странно в применении к ним, и обыкновенная будничная жизнь как-то не вяжется с ними. Кажется, что из этой квартиры никто никогда не ходит на рынок, не приносит зелень и мясо, не уносит в прачешную грязного белья, не считает денег, не смеется над какой-нибудь глупостью, не ругает самого себя... Алексей Михайлович делает смешное лицо, когда произносит их имена: он хочет сказать этим опущенным ртом, поднятыми бровями, глазами, у которых такое выражение, будто он сейчас заплачет, всей своей горбатой хилой фигурой: где уж нам понимать такое! Мы люди бедные, маленькие, забитые, ушибленные. Мы знаем с детства только пинки и наше место последнее. Самое главное для нас — где бы потеплее укрыться, и может корочка какая-нибудь нам перепадет, а премудрость — дело Шестова и Бердяева.

Он конечно знал и „премудрость", и современную западную мысль, но такова была его позиция — при друзьях-гостях-читателях.

Бунин, преодолевая скуку, брался иногда читать французскую литературу, но о прочитанном говорить не любил, а может быть и не мог. Он говорил о себе, о „лиловых облаках", да о людях, с которыми встречался и жил — воспринимая их в бытовом плане. Читал он больше второстепенных французов (романы), которые иногда хвалил, иногда ругал, хвалил за „наблюдательность", ругал за то,

что героиня вышла замуж не за того, за кого выйти ей следовало. Иногда Алданову удавалось навести его на встречи с „Львом Николаевичем" или на дружбу с „Антоном Павловичем" — тогда он говорил хорошо, чудесным языком, именно так, как писал о них. И писал о них так, как говорил.

И в Мережковском, и в Ремизове чувствовалась скрываемая ими страшной силы тоска по России. Скрывалась она постоянно, но прорывалась время от времени какой-то болью в лице, или в слове, или во взгляде, или еще — в молчании посреди разговора. В Бунине это было прикрыто самолюбием: он уверял и себя и других, что можно создавать великие вещи даже „выехав навсегда из Белевского уезда". Возможно, что он был совершенно прав и сам именно их и создал. Однажды, рассматривая рисунки Ремизова, его бумаги, книги, лежащие на столе, книги, стоящие на полках, я спросила, как он может жить без России, когда Россия так много для него значит? Он тихо сказал, сделав свою страдальческую гримасу:

— Россия — это был сон.

И мне показалось, что в глазах его зашевелились слезы.

Завернутый в плед, кашляющий, горбатый, Алексей Михайлович встречал гостей, вел их в свой кабинет, заваленный книгами, с висящими на ламповом абажуре чертями, зверями, куколками, с абстрактными рисунками на стенах и даже на окнах. Он вел их по коридору мимо закрытых дверей, жалуясь на бедность, на тесноту квартиры, на собственные немощи. И неизвестно было, чему нужно и чему не нужно было верить. Едва дыша, он сидел у стола, положив огромные кисти рук на стол, перед собой, и с плачущим выражением лица теперь уже рассказывал о каких-то бедствиях, случившихся с одним из его чертенят. И хотя жизнь его была очень тяжела, но он этими рассказами делал ее еще тяжелее, он, так сказать, мифологизировал свою собственную бедность, разукрашивал ее, преувеличивал ее, упиваясь ею и питаясь ею. И невольно думалось, что иногда он бежит за автобусом по авеню Мозар и вскакивает в него на ходу, не хуже всех нас, — и всё это немножко мистификация. „Dichtung" и „Wahrheit", понятые по-своему. И все четыре двери в коридоре откры-

ваются в чистые, просторные комнаты, где книги расставлены в порядке, где висят занавески и натоплено, и где царит Серафима Павловна — похожая на огромную куклу.

Когда Муратов говорил, что в бедности должно быть хоть какое-то достоинство — как у Зайцевых, где при бедности была не только гордость и легкость, но даже какая-то веселая сила — я вспоминала Розанова, выносившего все свои бедствия — долги, нищету, женские болезни жены — на широкую русскую улицу, притворяясь смиренным, оскорбленным и униженным, или еще ближе стоящего к Ремизову Леона Блуа, в кликушестве, в ядовито-смиренных речах которого слышится это больное желание быть еще более глубоко втоптанным в грязь всеми этими господами, от Золя до Гюисманса. Ходасевич рассказывал со слов Чулкова, что, когда А. М. работал секретарем в журнале „Вопросы жизни", он как секретарь не присутствовал на заседаниях редколлегии, но пока шло заседание, собирал в соседней комнате калоши заседающих, ставил их в кружок, сам садился в середину и играл с калошами в заседание. Мармеладов, Иволгин, Лебедев, Снегирев — целый рой героев Достоевского приходит на память.

Но на премьере Стравинского Ремизов сидит в первом ряду. „Это всё — Серафима Павловна", — говорит он смущенно.

К концу жизни она едва могла передвигаться от болезненной толщины и тяжести. Мне всегда казалось, что все его выдумки и гримасы идут от нее, что это она навязала ему свои сны и фантазии, синдромы и комплексы, и он принял их и, питаясь ими, построил на них свои мифы, которые иногда заражали, а иногда и раздражали людей. После ее смерти в 1943 году, его окружили живущие по близости сердобольные женщины: они готовили ему, убирали квартиру, давали ему лекарства, а когда он стал слепнуть — читали ему вслух. Если бы не было в нем этих „достоевских" чудачеств, это был бы большой писатель, но он утерял контроль над своими чудачествами. Читатель устает ему их прощать, устает их не замечать и не захвачен его „приватной мифологией".

Да, в бедности Зайцевых было и достоинство и даже какая-то веселость. Здесь тоже, как и в жизни Алексея

Михайловича, царила *она*, не *он*, *она* была ведущей жизненной силой, олицетворением двойной энергии, но, в противоположность Серафиме Павловне, *она* была силой благой, разумной, теплой, живой, неисчерпаемой в своей жадности к людям и жизни, полной женственной мудрости и иронии.

Я спросила ее как-то, почему она не пишет? И она смеясь сказала, что ей „и без того хорошо". Книги интересны, но люди интереснее, говорила она, и я соглашалась с ней, и тогда, и теперь соглашаюсь. А среди людей она сама была одной из самых своеобразных и неожиданных, одной из самых живых среди живых.

Она всегда ему что-то рассказывала занятное, по утрам, еще до кофе, когда — много лет спустя — они оба, Борис и Вера, жили у меня в Лонгшене (летом 1947 года), и я слышала как наверху она, причесываясь и умываясь, делилась с ним — важным и неважным, мелким, глубоким, смешным и серьезным, умолкая на время, чтобы вычистить зубы и выполоскать рот. Всё вокруг возбуждало ее любопытство, до всего ей было дело, на всё она реагировала, весь мир был частью ее собственной жизни. Иногда на нее находила грусть, она тосковала по близким, живым в Москве и мертвым, с которыми ждала свидания. „Что ж тосковать, — говорила я, — если ты знаешь, что будет свидание?" — „Ах, фон Корен (она называла меня именем героя чеховской „Дуэли"), хорошо тебе рубить с плеча. Кто не с нами — тот против нас. Всё это не так просто".

Они любили друг друга долго, нежно, страстно, и хоть „измены" вероятно и бывали (у живых людей как им не быть?), они проходили, а любовь между ними всё жила, и это она делала их обоих живыми. Они непрестанно жили друг другом. И когда в 1957 году Веру разбил паралич (ей тогда было около восьмидесяти), то она еще много лет жила в параличе — просто потому, что он был с ней, неотступно ходил за ней, держал ее своей любовью (а она держала его).

Как писатель он во многих отношениях тоньше Бунина, но ему всю жизнь мешала его инертность, его умственная лень, в которой он много раз мне признавался. Словно раз и навсегда еще в детстве или ранней юности (в восьми-

десятых и девяностых годах, в Калужской губернии) он признал, что русская или даже всякая жизнь стоит, и никак не мог согласиться (понять и принять факт), что жизнь ни одного мгновения не стоит, а движется, меняется, строится и ломается. Мысль о движении, об усилии, о трате энергии была ему не только чужда, но и враждебна, ему неприятно было не только самому куда-то спешить, чего-то искать, добиваться, бороться, но даже слышать о том, что это делают другие. Новый факт — политический, литературный, бытовой, — новая мысль, которую надо было продумать, даже просто — новое слово, либо оставляло его равнодушным, либо как-то мешало ему „поживать". Он любил эти глаголы: попиваю винцо, заседали в ресторане, люблю к вам захаживать, не привык я действовать, зашагаем-ка домой. Все знали, что красное вино не только ему приятно на вкус и веселит его, но и дает ему необходимые силы „действовать" и „шагать". В военные годы, когда в доме не было вина, а хотелось дописать страницу, он шел на кухню и выпивал рюмочку обыкновенного уксусу.

Он сорок лет называл меня Ninon и у меня сохранилось около ста двадцати писем от них обоих. Почти все они начинаются „Дорогая Ninon" и почти в каждом он сам себе удивляется: как это ему удалось написать мне четыре страницы (или две)? Над собой — усмешка („вот всё лежу на боку"), перед другими — восхищение, смешанное с ужасом: в город ездит каждый день! Автомобилем правит! Встает в семь! Восхищение, смешанное с ужасом перед Верой: борщ сварила вóвремя! Перед Наташей (дочерью) — как это она всё успевает (муж, два сына). И Вера, и Наташа приблизили к нему мир: он оказался не стоящим на месте, а текучим и летучим. И всё это было сделано через любовь. Вообще самое главное, что было в доме (в маленькой квартире, где они жили более тридцати лет) — это не вещи, не предметы — здесь не было ни радио, ни пишущей машинки, ни электрических приспособлений, ни музыкальных инструментов, ни картин, ни ковров — самое главное, единственно главное — здесь была любовь.

Я увидела их всех троих впервые еще в Москве, перед нашим отъездом в Берлин в 1922 году. Борис был худ и слаб после сыпняка, а Вера увязывала баулы, чтобы ехать

за границу его подкормить („спасибо Анатолию Васильевичу”). Наташе тогда было лет десять и у нее, как всякий знает, кто читал его романы и рассказы, были белые льняные косички, эта бледная девочка с косичками проходит во многих его книгах. Она знала, где что выдают и сколько что стоит, и не имела цельных чулок и, кроме советского быта первых лет коммунизма, другого не знала. В Берлине мы поселились у фрау Паули в комнатах, которые до того занимали они (до переезда к Крампе), и в Париж мы приехали по их следам. Мы видались часто. Он приходил иногда и на Монпарнас. Несмотря на то, что они были тесно связаны друг с другом в течение шестидесяти лет, они не были одним существом, и я больше любила бывать с каждым из них порознь. Как бы ни были близки два человека, я очень часто игнорирую это единство и готова брать каждого в отдельности. Во время войны, когда всё вокруг них в Биянкуре было разбомблено, мы одно время жили вместе, в чужой квартире, в Париже, недалеко от Шан-де-Марс, и там „вместе дрожали”, как говорила Вера, под бомбами.

И они же были опять около меня на вокзале Сен Лазар, когда я уезжала в С. Ш. А. в 1950 году. Она была взволнована: „Забудешь нас, если тебе будет хорошо в Америке, забудешь нас! Еще замуж там выйдешь. Пусть тебе будет хорошо, только не забудь нас”. Он отвел меня в сторону, мы пошли в конец платформы. „Обещайте мне, — сказал он серьезно глядя на меня, — никогда не обижать Бога”. „Боря, — вскричала я, — да ведь он сам всех обижает!” Он покачал головой печально и осудительно. Он знал, как и я, что здесь начинается наше с ним расхождение, которое не может быть остановлено никаким компромиссом. И сколько я ни уверяла себя, что он требует от меня, чтобы я не обижала Бога ради самого Бога, я не могла отделаться от мысли, что он это требует от меня, боясь, что я поколеблю чью-то веру, а может быть и его собственную.

Потом он перекрестил меня трижды, сказав: „Так у нас, у калуцких, принято”. И Вера тоже перекрестила меня. „Греши в меру”, — шепнула она мне на ухо, со своей всегдашней милой иронией, под которой бежало серьезное и глубокое. А через десять лет я вернулась в Париж. Она,

разбитая параличом, лежала на диване, под образами, где горела лампада, смотрела на меня блестящими радостными глазами и говорила, с трудом ворочая языком, отчего получалось как-то простонародно:

— Бабка... совсем дурой стала... забываю... как город-то называется...?

— Нью-Йорк.

— Живешь... а я вот... ни ног... ни рук... Боря святой, за мной ходит... не отпускает... любовью держит... Бабку свою держишь любовью, говорю, Боря, слышишь? Скажи ей!

Говорить ничего не надо было, всё было понятно без слов: он держал ее подле себя тогда три года, а всего — восемь лет. А она — его.

Я рассказывала про свою жизнь в Америке, вспоминала всякие смешные случаи из нашего прежнего общего житья, как однажды С. В. Яблоновский молился у них за упокой души Ленина и как Вера прогнала его (они потом помирились); как однажды Борис пришел ко мне в гости в первом часу ночи (Ходасевич был в отъезде) и просидел до трех, и мы оба от нее на всякий случай это скрыли, но она узнала об этом (кажется, проговорился Ходасевич) и ругала нас за сокрытие такого интересного факта. Вспоминали о том, как во время оккупации, году в 1943-м, что ли, приходили к Ремизову какие-то личности из немецкой газетки, издававшейся в Париже на русском языке, и совали ему деньги и просили дать что-нибудь для печати, и как он деньги взял, но ничего им не дал и как Вера уговорила его немедленно отослать деньги обратно, что он и сделал. И она с блаженной улыбкой, в белой кофточке, чисто-на-чисто вымытая, надушенная, не спускала с меня сияющих глаз и только говорила:

— Ну, дальше! Говори дальше!

И я говорила пять часов подряд, так что осипла, а потом Борис пошел провожать меня на угол и сказал, что у него грыжа от тасканья ее по квартире, доктор велел, чтобы не отекали у нее ноги, десять минут утром и десять минут вечером, а ему это не под силу. Он сказал, что он вслух ей читает разные старые книги и никогда, никогда уже больше не выходит вечерами.

Но я уговорила его пойти со мной днем есть пельмени в столовую Русской консерватории. И через три дня мы сидели там, за столиком, ели пельмени и пили водку, и сидели часа два друг против друга, пока нам опять не захотелось есть, так что мы заказали еще две порции, и опять сидели и говорили. Он оживился и стал рассказывать о себе, о Вере, о настоящем и прошлом (будущего не было), о безнадежном ее положении и о радости душевной и физической трудности быть вместе с ней. А когда мы вышли, он взял меня под руку, крепко, по-мужски, и повел по улице.

— Идем, идем... Слушайтесь меня. Вот за этот угол завернем, там ваш автобус.

— Боря, да что же это? Да сколько же вам лет? Откуда вдруг такая прыть и хватка?

— Скоро восемьдесят. У кого хватка была, у того она до ста лет... Давно с женщиной под руку не ходил. Хорошо!

Мы смеясь дошли до остановки, поцеловались, простились и умчались в разные стороны.

В последний раз я увидела его еще через пять лет, в 1965 году, когда снова приехала в Париж. Ее уже не было. После восьми лет паралича она умерла, и он, сойдя с лестницы и подойдя ко мне, разрыдался. Потом он говорил мне, сидя у себя в комнате, что ему тоскливо и что жизнь молодых до него больше не доходит, что он стал слаб, плохо слышит и спрашивал, замечаю ли я это и нужен ли ему уже слуховой аппарат? Ему не только было утомительно слушать разговоры в столовой, когда сразу говорили несколько человек, но он сказал мне, что ему даже трудно смотреть, как двигаются энергичные, живые люди. Я простилась с ним в сентябре, теплым парижским вечером, и Наташа (дочь его) пошла меня провожать к метро. Теперь она была матерью двух взрослых сыновей — всей семьей они окружали Бориса заботой и любовью. Когда мы с ней говорили о нем, мы всегда называли его „папенькой":

Я сказала:

— Когда я уезжала пять лет тому назад, я знала, что опять увижу его. А теперь я в этом сомневаюсь.

Она ответила:

— Я тоже.

О его „мягкости" было сказано и написано не мало, об „акварельности" его писаний и о „теплоте" его отношений к современникам. Но это не совсем справедливо: его дружба с Буниным оборвалась после посещения Буниным советского посла, его дружба с Тэффи дала глубокую трещину после какого-то мелкого недоразумения („кого куда посадили") не по его вине, но по ее вине. К Ремизову под конец его жизни он относился холодно. С Шмелевым его развела политика во время немецкой оккупации. Конец многолетних (и драгоценных для него) отношений с Буниным (50 лет?) очень мучил его. Он в конце концов решил забыть и простить Бунину его визит в советское посольство и питье за здоровье Сталина, простить — но не понять! Он сделал шаг к нему (через В. Н. Бунину) на том основании, что „мы люди старые, Иван, осталось нас мало...", но встретил такой жестокий и грубый отпор, что даже растерялся. Борис писал мне мельком об этом еще в 1948 году:

> „Иван был очень болен (воспаление легких). Но выходили. Завтра его именины. Хочу написать Ивану, что желаю ему доброго здравия... — больше ничего не напишется, но на сердце все-же грустно, что так недалека уж вечная разлука и в конце жизни так разошлись".

„Бог с ним", — говорил Борис, но это не значило „ну и забудем его", это значило на его языке „Бог да будет с ним", с его душой, которая к концу жизни так ожесточилась и так отравилась злобой против мира, цветущего своей красотой, против людей, здоровых и далеких от смерти, в то время как он сам, Бунин, уже видит свой конец, отвратительный ему и непонятный, страшный и мерзкий, „венчающий" его „необыкновенную" жизнь.

Ю. Олеша понял Бунина, когда писал: „Он... злой, мрачный писатель. У него... тоска по ушедшей молодости, по поводу угасания чувственности. Его рассуждения о душе... кажутся иногда просто глупыми. Собственный страх смерти, зависть к молодым и богатым, какое-то даже лакейство..." Жестоко, но пожалуй справедливо. В эмиграции никто не посмел написать так о Бунине. Но многие из „молодых" думали о нем именно так.

Когда я говорю „из молодых", то я говорю о поэтах и писателях второго поколения, то есть о тех, что родились в самом начале этого века или в конце предыдущего (моложе не было). И особенно о тех, что пришли в литературу после 1920 года, то есть вне России. К ним относятся как Набоков, так и Ладинский, Присманова и Кнут, Смоленский и Злобин, Поплавский и я сама. Большинства из них уже нет в живых, называть их „молодыми" сейчас невозможно, но тогда, в двадцатых, тридцатых годах, они были молоды и они не прошли незамеченными. Их тоже прикончил Сталин, только не в концлагерях Колымы, — иначе.

Да, за редкими исключениями они все умерли. Поплавский, Кнут, Ладинский, Смоленский были вышиблены из России гражданской войной и в истории России были единственным в своем роде поколением, обездоленных, надломленных, приведенных к молчанию, всего лишенных, бездомных, нищих, бесправных и потому — полу-образованных поэтов, схвативших кто что мог среди гражданской войны, голода, первых репрессий, бегства, поколением талантливых людей, не успевших прочитать нужных книг, продумать себя, организовать себя, людей вышедших из катастрофы голыми, наверстывающих кто как мог всё то, что было ими упущено, но не наверставших потерянных лет.

У Поплавского был нищий отец-эмигрант, у трех других не было никого, на кого можно было бы опереться. У Кнута были сестры и братья моложе него, о которых нужно было заботиться, жена и сын. У Ладинского на ноге тридцать лет не закрывалась рана, полученная в 1919 году. У Смоленского была, видимо, врожденная тяга к алкоголизму.

Гибель Поплавского — именно гибель, не смерть и, вероятно, не самоубийство, — в октябре 1935 года сделала его на один день знаменитым: все французские газеты написали о нем. Русские жители Парижа узнали о нем. „Около-литературные" люди вдруг услышали, что был среди нас талантливый поэт. В редакции „Последних новостей", где я тогда работала машинисткой (а Ладинский — рассыльным, а Смоленский так и не попал туда на работу), узнали об этом и послали репортера на квартиру, где жил Поплавский. Репортер вернулся в редакцию часа в четыре. Выпускаю-

щий (он же — секретарь газеты, он же — душа газеты), А. А. Поляков, по прозванию „рыжий Поляков" (было еще два других Поляковых в газете, не рыжие), покачиваясь на стуле, иронически спросил:

— Ну как? Разложение? Гниение? Монпарнас? Наркотики? Поэзия, мать вашу!

Репортер посмотрел на него и сказал:

— Отец (так называли Полякова сотрудники), если бы вы, как я только что, видели кальсоны, в которых Поплавский умер, вы бы поняли, — и в комнате наступило молчание.

Я впервые увидела глаза Поплавского на фотографии в юбилейном сборнике газеты „Последние новости", изданном в 1930 году (десять лет существования газеты): в жизни он никогда не снимал черных очков, так что взгляда у него не было. В нем была „божественная невнятица", чудесная образность видимого и слышимого, но какая-то необъяснимая жалость всегда вырастала во мне, когда я говорила с ним: человек без взгляда, человек без жеста, человек без голоса. Его видение мира было туманно, его видение себя было расплывчато. В стихах и — позже — в прозе он был свободнее, чем в жизни, хотя всё же не свободен. Главной его чертой было отсутствие языка: он говорил по-русски, когда говорил, как-то бедно и тускло, а иногда и неграмотно. В писаниях его это чувствуется, эта непреодоленная неловкость, неуклюжесть, не нарочитая, но органическая бледность синтаксиса. Он читал французов, они ему были близки, он любил их и учился у них и, я думаю, он кончил бы тем, что осел бы во французской литературе (как это сделал Артур Адамов), уйдя из русского языка совсем, если только не замолчал бы через несколько лет, как замолчали столь многие.

Но он не стал французским поэтом и не стал „бывшим русским поэтом": однажды вечером, в погоне за сильными ощущениями, вместе со своим (вероятно — случайным, к литературе не имеющим отношения) приятелем, он нанюхался чего-то (или наглотался), быть может делая над собой анархический эксперимент. Кое-кто подозревал самоубийство, но тем, кто знал Поплавского, было ясно, что с собой он не покончил, причин для эксперимента было

гораздо больше: слишком тускла, нища, однообразна была жизнь, слишком редки минуты снов, минуты озарений и содроганий. За ними все охотились — в дырявых подошвах, в рваных рубашках и заплатанных штанах. А кругом ревели, гремели, грохотали двадцатые и тридцатые годы.

Один фактор чрезвычайно важен для всего этого поколения („молодым" я уже не могу называть его, я буду называть его „моим" или „младшим"): момент отъезда из России. Те, кто уехал шестнадцати лет, как Поплавский, — почти ничего не вывезли с собой. Те, что уехали двадцати — увезли достаточно, то есть успели прочесть, узнать, а иногда и продумать кое-что русское — Белого и Ключевского, Хлебникова и Шкловского, Мандельштама и Троцкого. Те, кто уехал в семнадцать, восемнадцать, девятнадцать лет по-разному были нагружены русским, всё зависело от обстановки, в которой они росли, от жизни которой жили в последние русские годы: учились в средней школе до последнего дня? воевали в Добровольческой армии? валялись ранеными на этапных пунктах? скрывались от красных? бежали от белых? успели напечатать одно стихотворение в студенческом сборнике в Киеве, Одессе, Ростове?

Кнут не учился и не воевал, а торговал у отца в бакалейной лавке в Кишеневе. Ладинский был белым офицером. Поплавский жил с семьей. Набоков выехал с родителями, издав в Петербурге (в 1917 году) сборник юношеских стихов. Смоленский был эвакуирован с юга России, Злобин, прожив с Мережковскими всю революцию, приехал с ними в Париж, и я сама — явилась на свет „женой Ходасевича", напечатав одно стихотворение в петербургском сборнике „Ушкуйники", в феврале 1922 года. Я не знала, был ли кто-нибудь из них, кроме меня, когда-либо в Москве, возможно, что был. Но в Петербурге ни Кнут, ни Смоленский не были. Бывал ли там Ладинский, я не знаю. Читал ли Кнут когда-либо Ломоносова или Вяч. Иванова, Веселовского или формалистов? Не думаю. Смоленский наверное их не читал, смутно знал эти имена. Ладинский принялся за книги (и французский язык) уже в тридцатых годах, когда перешел от работы маляра к работе рассыльного. Кнут в это время читал, что мог, большей частью случайные книги, Смоленский почти ничего не читал, считая, что это

только может повредить его своеобразию (а своеобразия-то у него было меньше, чем у других). Мы как-то говорили с ним о Тютчеве, но он не хотел его знать, боясь, что Тютчев может нарушить его цельность и не окажется сил бороться против него. Поплавский, вероятно, читал больше других — дадаистов, Верлена, сюрреалистов, Аполинэра, Жида. Злобин, в атмосфере дома Мережковских, знал то, что так или иначе имело отношение к этой атмосфере.

Союз молодых поэтов помещался на улице Данфер-Рошро, № 79. В двадцатых годах там читали стихи не только „мы", но и Ходасевич, и Цветаева, там были чтения Ремизова, Зайцева, Шестова и других. Кнут был инициатором журнала, куда он и я вошли редакторами, но уже после первого номера (1926 г.) „Новый дом" оказался нам не под силу: Мережковские, которых мы позвали туда (был позван, конечно, и Бунин), сейчас же задавили нас сведéнием литературных и политических счетов с Ремизовым и Цветаевой, и журнал очень скоро перешел в их руки под новым названием („Новый корабль").

С Кнутом семь лет меня связывала тесная дружба: многое в его стихах говорит об этих отношениях. (Перечислю эти стихи: „Два глаза — два окна", „Прочь с дикой жизнью своей", „Ты вновь со мной и не было разлуки", „Нужны были годы", „По твоим виновато-веселым глазам"). Мы много бывали вместе, иногда втроем с Ходасевичем. Кнут был небольшого роста, с большим носом, грустными, но живыми глазами. В двадцатых годах он держал дешевый ресторан в Латинском квартале, где его сестры и младший брат подавали. До этого он служил на сахарном заводе, а позже занимался ручной раскраской материй, что было в то время модным, и однажды подарил мне кусок оранжевого шелка на платье, раскрашенного синими цветами, такой же кусок шелка подарил он и Сарочке, своей милой и тихой жене, так что мы с Сарочкой были иногда одинаково одеты.

Он вырос в лавке отца и хотя с самого первого дня и старшие и младшие стали дорожить им и верить в него, он никогда по-настоящему не верил в себя — проблема была та же, что и у Поплавского: русский язык. Сначала была в нем дерзость; Ходасевич говорил ему:

— Так по-русски не говорят.

— Где не говорят?

— В Москве.

— А в Кишеневе говорят.

Но очень скоро он понял, что в Кишеневе говорят по-русски не слишком хорошо, и в нем появилась меланхолия. Стихи его потеряли мужественное своеобразие и стали расплывчаты и однообразны, и вся фигура его приобрела образ постоянной печали. У него родился сын. Потом его личная жизнь осложнилась: он ушел от Сарочки и поселился с новой своей подругой. В этот период жизни я однажды пришла к нему вечером, и она не оставила нас вдвоем, так что вместо того, чтобы читать друг другу стихи, мы должны были вести пустяшный разговор, который всё время обрывался. Когда я уходила, он пошел меня провожать до метро. Я на лестнице начала уговаривать его вернуться. Но он настоял, и мы вышли на улицу. Помню наш разговор:

— Лучше вернуться.

— Почему?

— Потому что ее вы будете иметь около себя не долго, а меня — всю жизнь.

Он усмехнулся, но довел меня до метро и у остановки, под фонарем, прочел свое последнее стихотворение — что-то было утеряно им за последний год, какая-то свежесть и сила. И мне стало тревожно за него: а вдруг из него ничего не выйдет? И из него, в каком-то смысле, действительно „ничего не вышло": лучшее, что он написал, было написано в самый ранний его период. Он сам чувствовал, что надо найти что-то новое, но для прозы, которую он пытался писать, у него не было ни языка, ни способностей, а для критики не было образования. И он, подчиняясь древней традиции пророков и патриархов, стал обрастать семьей: сначала — собственной, затем, через свою вторую жену (Ариадну Скрябину, дочь композитора от Т. Ф. Шлецер) — ее детьми от первого и второго браков. Потеряв ее (она была убита немцами в Тулузе, в 1944 году, перед тем перейдя в еврейство, и в Тулузе ей стоит памятник), он со всеми — ее, своими и общими — детьми уехал в Израиль. Одна из дочерей Ариадны принадлежала к террористиче-

ской организации Иргун Цевай Леуми. В Тель-Авиве, в созданном им Ноевом ковчеге, окруженный всеми этими отпрысками и новой женой и, видимо, счастливый, он умер в 1955 году, пятидесяти пяти лет от роду.

С В. А. Смоленским мы однажды выпили на „ты". Ходасевич любил его не только как человека, но и за его внешность — в нем (как и в Ходасевиче самом) была какая-то прирожденная легкость, изящество, стройность. Худенький, с тонкими руками, высокий, длинноногий, со смуглым лицом, чудесными глазами, он выглядел всю жизнь лет на десять моложе чем на самом деле был. Он не жалел себя: пил много, беспрестанно курил, не спал ночей, ломал собственную жизнь и жизнь других, терял здоровье, и небольшой талант свой не развил, вероятно оттого, что был не умен, был эклектик, и не сознавал этого. Он думал, что русская поэзия на тысячу лет затвердела и в старой своей просодии, и в общедоступном романтизме, изношенном до дыр еще задолго до его рождения. Он влюблялся, страдал, ревновал, грозил самоубийством, делая стихи из драм своей жизни и живя так, как когда-то — по его понятиям — жили Блок и Л. Андреев, а вернее всего — Ап. Григорьев, и думал, что поэту иначе жить и не след.

Ему „посчастливилось": в первый год приезда в Париж он получил стипендию, окончил счетоводные курсы и служил бухгалтером в крупном предприятии. Ночами он, как и Поплавский, как, впрочем, все мы („младшие") в разное время, сидел подолгу в монпарнасских кафе, а иногда и у цыган, в ночном ресторане, куда все ходили по русской поэтической традиции и где красавица Маруся Дмитриевич (рано умершая) всех сводила с ума своими песнями и плясками. Ужинать конечно никому и в голову не приходило, слишком там было дорого, но просидеть полночи над рюмкой коньяка было изредка возможно. Голод выгонял нас из этого райского места, и мы шли есть толстый бутерброд (булка, проложенная лепестком колбасы) в одно из кафе на бульваре, открытом до утра.

Может быть, потому что мы перешли на „ты" мы стали вдруг откровенны друг с другом, говоря друг другу о своих неудачах, иногда встречаясь только для того, чтобы пожаловаться на собственную судьбу. Было между нами до-

верие. Он рассказывал мне до последнего дня свое самое тайное, о котором, вероятно, не говорил никому. Во всех своих бедах он всегда был виноват сам, знал это и не собирался меняться; я называла это его свойство „пьяным фатализмом" и сердилась на него, и уговаривала его „всё бросить", „начать сызнова", „послать всё к черту".

Он качал головой. Отними у него страдание, что у него останется? Из чего будет он делать стихи?

Когда я вернулась летом 1960 года в Париж (после десяти лет отсутствия), у него был рак горла и в середине горла была проделана доктором дырочка и там что-то хрипело, говорить ему было запрещено. Я вспомнила, как он много лет подряд на вопрос „как живешь? „как поживаешь?" неизменно отвечал:

— Медленным смертием.

Теперь перед ним лежала табличка, на которой он писал и стирал написанное.

— Володя? — сказала я, боясь задать вопрос, зная, что ответ для него труден.

Он быстро написал что-то на табличке и протянул ее мне. Там было написано:

— Теперь уже наверное скоро.

Вошла жена. Она ходила за ним день и ночь и понимала по его лицу его мысли и желания.

— Расскажите ему о себе, Н. Н.

И я стала рассказывать. Лицо у него было теперь чужое: красное, немного распухшее, с остановившимися глазами, и всё время слышен был его хрип, когда он вдыхал и выдыхал. Но он всё так же выглядел на десять лет моложе своих лет. В этой маленькой квартире они вдвоем жили в одной комнате, тут же ели, тут же спали, в другой комнате рядом жила мать его жены, а третья комната была складом ненужных вещей, свалкой старого мусора, ванная была грязна и во всей квартире дурно пахло. В воздухе стояло тяжелое, неподвижное уныние. А я говорила про свои десять лет жизни в Америке, про Нью-Йорк, Чикаго и Колорадо, про библиотеки и водопады, про людей, встреченных здесь и там, и когда я умолкала, он писал на своей дощечке:

— ЕЩЕ.

В окне на шестом этаже видны были крыши Парижа. „Не всякий иностранец рождается со страстной любовью к Парижу", — говорил Леон Блуа. И он был прав. Как ненавидел этот город Ладинский! Мы шли с ним однажды ночью по улице Вожирар и лицо его выражало, как обычно, скуку и отвращение ко всему и всем вокруг. Вдруг он остановился и сказал:

— Как я ненавижу всё это: их магазины, их памятники, их женщин, их язык, их историю, их литературу.

У меня с ним был особый тон, особое обращение:

— Всё-таки по самому скромному подсчету около трехсот лет весь мир питался всем этим, худо ли, хорошо ли, мы тоже питались. Могли попасть в Белград или Торонто, или на вольное житье в Караганду, или на остров Тристан-д--Акунья, где скорпионы и землетрясения.

— Не было бы хуже.

Я, прежним тоном, каким говорила только с ним:

— Будет вам преувеличивать. Ведь уехать всё равно некуда.

— Это вам может быть уехать некуда. А мне есть куда. У меня во Владимирской губернии мать и брат.

— Да... Но губерний больше нет.

Но юмора он никогда не понимал. Высокого роста, страшно худой, с длинными руками и маленькой головой, с седыми волосами (он стал седеть рано), он никогда не смеялся и очень редко улыбался, и то как-то криво. Когда я в первый раз услышала его стихи, они поразили меня новизной, зрелостью, звучаниями, оригинальностью образной цепи и ритмов. Ходасевич тотчас же протащил их в журналы и газеты. Ладинского стали печатать, после первого сборника имя его стало известно, но лично его, кажется, никто не любил и в его присутствии всегда чувствовалась какая-то тяжесть: он был озлобленный, ущемленный человек, замученный тоской по родине, всем недовольный, обиженный жизнью, и не только этого не скрывавший, но постоянно об этом говоривший.

— Затерли нас, задавили. На лакейской должности состою. А вы вот — машинисткой. Была бы Россия, были бы у нас виллы в Крыму, да не от дедушки или папаши,

а собственные, благоприобретенные, были бы мы знаменитыми... А теперь мне один хам однажды на чай дал.

Я крепко сдавливала его руку (кости и кожа), чтобы никто не услышал его.

А в редакции Поляков удивлялся: „И что это у вас за дружба с ним? Ненавидит всех, всем завидует".

— Нет, не завидует. Пишет хорошие стихи. Дайте ему другую работу.

Но ему не давали другой работы. И чувствовалось, что развязка его жизни будет еще тяжелее самой жизни.

В тридцатых годах мы виделись с ним часто. Позже, во время войны, не переставали встречаться. Он болезненно переживал совето-японский инцидент на озере Хасан, в 1938 году, когда русские сдавались в плен японцам. Он мрачнел, говоря о советских неудачах в совето-финской войне. Он сделался нелюдим и зол, когда в первые месяцы совето-германской войны сотни тысяч советских бойцов без боя перешли к немцам. Я слышала однажды „скрежет зубовный" — не в переносном, но в буквальном смысле — когда он говорил, что в один и тот же день были сданы Севастополь и Кронштадт. Потом, когда война кончилась, он взял советский паспорт и записался в „советские патриоты".

Однажды С. П. Мельгунов сказал мне:

— У кого закружилась голова в день, когда доблестная красная армия взяла Берлин — тот для меня вычеркнут из числа знакомых. Голова не может кружиться, пока жив Сталин.

Ладинский исчез из моей жизни. Однажды мы встретились на улице, он вопросительно посмотрел на меня. Я сделала шаг к нему.

Он сказал, что уезжает в СССР. Но он не уехал. Через год он пришел ко мне проститься, было около полуночи, и он стоял в дверях, не протягивая руки, боясь, что я не подам ему своей. Я чувствовала, что и теперь он не уедет. „Не сейчас, не сейчас," — вспомнился мне крик Белого на вокзале в Берлине (крик Кириллова из „Бесов").

Мы просидели около часа изредка перебрасываясь словами. Он говорил, что Европа гниет, что всё кругом — обречено.

— Меня топтали здесь. И вас тоже топтали.

Я пыталась объяснить ему, что это „топтание" было не результатом нашей случайной личной неудачи. Это был результат национальной катастрофы, к которой мы причастны.

— Писать вам там не дадут и печататься тоже, — сказала я.

— И не надо.

Мы оба знали, что больше не увидимся, и он ушел.

Но он опять не уехал. И его в конце концов выслала французская полиция, как „советского патриота", в 1948 году. На грузовике их было человек десять или двенадцать (среди них был Лев Любимов, сотрудник газеты „Возрождение", а затем — периодических изданий времен оккупации, автор вышедших впоследствии в Москве воспоминаний об эмиграции, „На чужбине", и очерка „Двенадцать лет спустя", „Новый мир", 1961 г.). Грузовик помчал их на восток, вечером первого дня они уже были в Страсбурге. Их взяли рано утром и кое-кто из взятых был в пижамах. В Дрездене их продержали довольно долго, был слух, что Ладинский был вынужден там прожить два года, был слух, что он в Дрездене покончил с собой. Но всё это было неверно: он добрался до „Владимирской губернии" и там прожил у своего брата до 1959 года — года своей смерти. Несколько раз его имя промелькнуло в советской печати; он переводил книги с французского, затем была краткая заметка о его смерти.

Весной в Париже цветут каштаны. Первые расцветают на бульваре Пастер, где метро вымахивает наружу из-под земли и нагретый воздух волнами поднимается и летит к деревьям. Каждую осень листва на Елисейских полях, прежде чем облететь, делается темно-коричневой, цвета сигары. Летом бывает несколько дней, когда солнце садится прямо в центре Триумфальной арки на Этуали, если смотреть с площади Конкорд. Сады Тюльери — самые красивые сады Парижа, потому что они — часть ансамбля, и тот, кто стоит и смотрит на красное солнце, льющееся в камень арки на Этуаль, тоже становится частью ансамбля, как когда стоишь перед „Аристотелем, созерцающим бюст Гомера" и „созерцаешь" Рембрандта, и чувствуешь живым самого себя. Зимы, собственно, в Париже нет, идет дождь,

шумит, стучит, шепчет за окном и по крышам — и день, и два, и три. В январе вдруг наступает день — к концу месяца — когда всё сияет, и льется тепло, и небо синее, и на террасах кафе люди сидят без пальто, и женщины, легко одетые, преображают город. Это — как обещание. Это — первый намек, что всё опять будет весело, красиво, всё опять засверкает кругом, один только день и, хотя все знают, что еще предстоят два месяца дурной погоды, но об этом молчат. Этот день бывает каждый год, он похож на передвижной праздник, который бывает между 20 января и 5 февраля. Он приходит и уходит, но обещанное им остается в воздухе.

Я долго стою на площади Конкорд, где почти столько же неба, как в русском ржаном поле или в кукурузном поле Канзаса. Я долго сижу за собором Нотр Дам на лавочке, где Сена идет вокруг острова Сен-Луи, с его старыми прекрасными домами. Я останавливаюсь перед окном колбасной на бульваре Распай и не могу оторваться от этой витрины, для меня великолепнее всех парижских витрин. Я всегда голодна. Я всегда в чужих платьях и старых ботинках, у меня нет ни духов, ни шелков, ни мехов, но мне ничего так не хочется, как того вкусного, что выставлено в окне. За стеклом молодая, лоснящаяся жиром приказчица крутит колесо ветчинной резалки. У нее губы, как ломтики ветчины, пальцы — розовые колбаски, глаза черные блестящие маслины, и она за стеклом растворяется среди окороков и свиных котлет, так что, когда входит покупатель, он ищет ее глазами, и вот она воплощается снова, и снова крутится колесо, играет в руке острый нож, листик пергамента слетает под сосиску, качается стрелка весов и извечным звуком — трах-тарарах-трррр — гремит железная касса. О, если бы не она! Как было бы легко жить на свете!

В те годы в квартирах еще были печки, куда мы бросали угли „булэ", двенадцать штук, считанных так, чтобы мешка хватило дней на пять. В те годы уборные часто бывали общие, на лестнице, и там было холодно, и крючек соскакивал с петли, и весь день слышно было, как вода с грохотом срывается из-под потолка, а когда кто-нибудь срывал цепочку, ее заменяли веревкой. Рано утром под окном проезжали тяжелые закрытые фургоны, которые везли

битюги: черные—золотарей и грязно-белые — развозившие лед. По субботам и воскресеньям приходили во двор шарманщики, приводили детей, резкими голосами певших про погубленную любовь, а иногда — ученых собак, которые танцевали на коврике, с полными слез глазами. И валы играли заунывную песню, которую я помнила с 1914 года, под которую уходили на Марну солдаты в сине-красных мундирах, полагая, что домой не вернутся, и они оказались правы. В те годы по улицам Парижа еще ходили пастухи со стадом коз. Они продавали козий сыр, и консьержки выбегали с небольшой посудиной, и козы тут же доились, и хором раздавалось из блеяние, когда обшарпанный пес загонял их с мостовой на тротуар.

О двадцатых и тридцатых годах написаны десятки книг воспоминаний. Хорошо быть в Париже, быть молодым и бедным. Но американский журналист, решивший порвать со своей чикагской газетой, что-бы писать роман, „который никто никогда не издаст", или шведский художник, решивший не потрафлять вкусам публики, а писать „для себя", или музыкант с Карибских островов, играющий на пиле, оборвавший все связи с Карибскими островами и живущий на чердаке в Латинском квартале, не согласный со своим карибским правительством — всё это были люди, с которыми наше положение не могло сравниться: они решили остаться, но могли и уехать, им не снились колбасные витрины, они принадлежали к той молодой артистической прослойке города, у которой было будущее.

Мы были странной кучкой людей, которые — хотя по возрасту и не могли быть ни банкирами, ни губернаторами, ни генералами царской армии — почему-то не принимали того, что делалось у них на родине. Судьба Троцкого отчасти смутила Запад. Московские процессы поразили европейскую интеллигенцию, пакт Молотова с Риббентропом расшатал ее. Но это случилось позже. В 1925—35 годах, несмотря на самоубийства Есенина и Маяковского, на трудности Эренбурга, на исчезновение Пильняка, на слухи о беспокойстве Горького, вера в то, что СССР несет молодому послевоенному миру и в особенности левому искусству обновление, поддержку, необозримые перспективы, была на Западе сильнее всех колебаний и сомнений. Особенно

это было во Франции (и возможно — в США), где люди, когда хотят чего-либо не знать, умеют это делать безнаказанно. Достаточно сказать, что даже в 1960-х годах, то есть после разоблачения „культа личности", член компартии и знаменитый писатель Луи Арагон выпустил свой монументальный труд „История СССР", пользуясь документацией сталинского периода, а Ж. П. Сартр, в своей книге о Женэ, пишет о Н. И. Бухарине, как об изменнике и враге народа, солидаризуясь опять-таки со Сталиным. Оба автора не могли не слышать о переменах в Советской России после XX съезда, но они их игнорируют: так для них проще, у них нет ни времени, ни интереса для пересмотров идеологий и переоценок ценностей.

Мы были сотни раз поставлены перед фактами, образчиком которых может служить письмо-запрос Роллана к Горькому и его ответ, о котором я уже говорила. Когда Горький ответил, что преследований никаких нет, многие из писателей-эмигрантов пытались докричаться до европейской общественности, но перекричать Горького им не удалось и в последующие годы — 25 лет — ни в Европе ни в Америке интеллигенция в преследования писателей компартией не верила. Приведу одно из писем В. Ф. Ходасевича ко мне: ему удалось заинтересовать старого переводчика русских классиков Гальперина-Каминского (знавшего лично Льва Толстого) этим вопросом. Ходасевич хотел возразить Горькому во французской печати, сказать о пропавших бесследно поэтах и писателях в СССР, о самоубийствах, о „политике партии", о цензуре, о страшных годах, которые настают для литераторов в России. Гальперин-Каминский видимо старался помочь ему в этом:

„5 апреля 1928. Версаль.

Вчера утром, в кафе, я прочел письмо Гальперина и не заходя домой отправился в Париж. Постригся, вымыл голову и поехал к Гальперину. Именно его письмо окончательно убедило меня не печатать мой ответ на анкету*). Старика я обольстил и очаровал вдрызг. Теперь-то мы и стали друзьями до гробовой

*) Анкета „L'Avenir". См. стр. 274 (Н. Б.).

доски (надеюсь, всё-таки, она накроет его раньше, чем меня). И вот что порешили:

Г-н напишет Роллану, чтобы тот прислал ему письмо Горького*). Это горьковское письмо Г-н перепечатает не в „L'Avenir", у которого нет ни читателей, ни редактора, ни простора, — а в „Candide". И тут же, рядом — мою большую обстоятельную статью, подвал, которую я напишу специально. „Candide" не „L'Avenir", статья — не ответ на анкету, раздавить Горького по поручению французской редакции — не то, что в ряду других лепетать, отвечая на устарелую анкету. В довершение всего — потребую гонорар плюс в тот же день тисну всё это (и Горького, и себя) в Возрождении.

Вот какой я умный. Но: о 2-ом письме Горького, о моем грядущем ответе и о „Candide" — величайшая тайна. Никому ничего не говори".

Анкету „L'Avenir" видимо затеял Гальперин-Каминский, опрашивая писателей, что они думают о горьковском письме Роллану. Ходасевич старался пройти с этим вопросом в большую французскую еженедельную печать, считая, что „L'Avenir", с которой Гальперин был близок, недостаточно веский журнал для такого серьезного дела.

Нужно ли говорить, что ничего из этого плана не вышло? Великие мира сего, то есть нашего мира, не тоталитарного, в котором мы жили и с которым связывали себя, либо, как Андрэ Жид, годами доказывали достоинства режима великого Сталина, пока вдруг съездив в СССР, не прозрели, либо, как Бернард Шоу, доказывали, ездили и не прозревали. В компании английских аристократических цур, настроенных, как и он сам, симпатично к кремлевскому Камбизу, Шоу в 1931 году съездил к Сталину на поклон. Вернувшись в Англию, он написал (изображая из себя старого шута) книгу о России („The Rationalization of Russia", между прочим, переизданную в 1964 году), где объявил „Риму и миру", что в Советском Союзе „все преследования интеллигенции давно кончились".

---

*) Второе, где были личные оскорбления Бальмонту. (Н. Б.)

Да, чикагский журналист, превратившийся в автора романов, уезжал (третьим классом, конечно) на испанское побережье, а шведский художник, живя в гостинице, снимал для своей работы студию (возможно — без отопления и с уборной на лестнице), питаясь в дешевых ресторанах. Карибский виртуоз на пиле угощал свою подругу устрицами, а затем они ехали на скачки и в складчину ставили на „Генерала Буланже" — вдруг приходившего первым. Ничего этого мы делать не могли. Мы никуда не двигались. У нас была одна крыша. У нас на огне стояла одна кастрюля.

Хемингуэй пишет в своих воспоминаниях о жизни в Париже в эти годы, о бедности, о том, что деньги приходили ему за ранние рассказы нерегулярно, что на 60 франков в день можно было скромно, но сносно жить вдвоем (любя друг друга, не любя стоило гораздо дороже) и даже иногда выезжать куда-нибудь, в Санлис, в Фонтенбло, на Луару. В самые лучшие наши годы, то есть в годы когда Ходасевич регулярно работал в „Возрождении", а я — в „Последних новостях", у нас было около сорока франков в день на двоих, а до этого бывало не больше тридцати. Новая пломба в больном зубе, теплое пальто, два билета на „Весну священную" оставляли провал в домашней арифметике, который ничем нельзя было прикрыть, кроме разве что хождением пешком по городу неделями. И позже, в 1939 году, когда Ходасевич умирал, его повезли не в частную клинику, а в городскую больницу — дьявольская разница в городе-светоче! И там он сказал, когда я пришла к нему:

— Кто со мной здесь не лежал, кто не прошел здесь того, что я прошел, тот мне — никто.

Мы знали лучше всего: хозяев, которые нам сдавали комнаты, домовладельцев, которые сдавали квартиры, угольщика, продававшего уголь и дрова для растопки, булочника, мясника, приказчиков у „Дамуа", у которого покупались сахар, кофе, чай, соль, консьержку, которая острым глазом следила за нами, за нашими гостями, за нашей почтой; от консьержек зависела наша репутация в полицейском участке, кредит в лавке, получение денежного перевода, возобновление квартирного контракта. И мы знали еще лысых и усатых официантов „Ротонды", „Куполя", „Се-

лекта", „Наполи", где мы могли сидеть вечерами над одной единственной чашкой „кафе-крем", часами разговаривая об Анненском, Багрицком, Олеше, Лауренсе, Кафке, Хексли. А Валери, издававшего свои книги в ограниченном количестве экземпляров в роскошном издании или модную тогда Катерин Мансфильд, большую любительницу Чехова, писавшую про английских старых дев, ведущих беседы за изящно накрытым чайным столом, нам не приходилось знать. В эти годы Джеймс Джойс обедал в ресторане на улице Жакоб, разговаривал с женой и детьми по-итальянски, но мы с ним не встречались, и только издали видели несколько раз никому неизвестного тогда Генри Миллера и его жену Джун — чем-то эти двое были немного похожи на нас.

Наша бедность разделялась на организованную и неорганизованную, иначе говоря — плановую и бесплановую. У нас с Ходасевичем она была организованная, у Вейдле она была и организованная, и плановая, у Поплавского, я думаю, она не была ни тем, ни другим, у Ладинского она была плановая, у Смоленского она бывала иногда то тем, то другим.

Но мы были вместе, нас было восемь, или десять, или — в разное время — двенадцать человек, которые были необходимы друг другу в „анти-дружбе". Это не был „сладостный союз" времен Языкова, который „связует" поэтов. Это была весьма критическая, нервная и неровная связь людей, которым в жизни было в течение пятнадцати лет по пути друг с другом. Я несколько раз близко подходила к этим людям, я несколько раз очень далеко отходила от них. Затем началась война и в наших больших, шумных, безобразных кафе на окнах появились черные шторы затемнения. Потом Париж был взят немецкими войсками и выметен военной метлой. А когда всё опять ожило, эти места оказались заполнены жителями соседних кварталов, проститутками Монпарнаса, союзными солдатами, чужой нам городской пестрой толпой. Но ведь и н а с тогда, прежних, уже не было. И стало „на русском Парнасе темно", — как сказал Набоков.

Были у нас и праздники. Наши собственные праздники, не „взятие Бастилии" или „День всех святых", не „русское

рождество" или „русская пасха", когда православный собор на улице Дарю и все сорок сороков русских церквей Парижа и пригородов наполнялись „белыми русскими", как их называли тогда, остатками полков Деникина и Врангеля, молодцеватыми „чинами армии", с их преданными женами, портнихами, вышивальщицами, шляпницами, когда-то бывшими медсестрами Добровольческой армии или просто офицерскими дочками, белоручками и скромницами. Чины армии являлись в собор с детьми: сыном, записанным в мерии Глебом-Жаном и дочерью, Кирой-Жаннеттой. Беленькие, синеглазые дети ползли на четвереньках к причастию, грудных подносили к чаше, хор Афонского гремел на всю церковь, на паперти стояли старушки-губернаторши, в прошлом — величественные дамы петербургского общества „распутинки", мужья которых давным-давно были заколоты или пристрелены. Среди них — нищие, с красными глазами и опухшими лицами, с грязной шляпой в руке:

— Сильвупле, подайте бывшему интеллигенту. В пятнадцатом кровь проливал на полях Галиции . . . Теперь абориген Армии Спасения.

— Подайте безработному, жертве законов прекрасной Франции . . .

— Подайте инвалиду Ледяного похода . . .

— Подайте русскому дворянину кусок горького хлеба изгнания . . .

И так далее . . . У нас были свои собственные праздники: банкеты „Последних новостей" — пятилетие, десятилетие газеты, тысячный номер, пятитысячный; Нобелевская премия Бунина, чествование его в театре Шан-з-Элизэ, прием в редакции „Последних новостей"— 15 ноября (1933 года); двадцатипятилетие литературной деятельности Бориса Зайцева; обеды „Кочевья" (литературной группы, связанной с „Волей России" М. Л. Слонима; в 1932 году я присутствовала на двух из них, и на двух — в 1933 году); собрания газеты „Дни"; вечера в доме М. и М. Цетлиных (где Ходасевич впервые прочел свои „Соррентинские фотографии"); более тесные дружеские завтраки ближайших сотрудников газеты Милюкова и дружеские обеды (Зайцев, Муратов, Алданов, Осоргин, Цетлин, Ходасевич и я) и, наконец, самый многолюдный и самый торжественный из всех празд-

ников — банкет „Современных записок", на который было приглашено несколько сот человек, 30 ноября 1932 года (выход пятидесятой книжки журнала).

Я купила себе для этого банкета белое вечернее платье до полу, первое в жизни платье до полу, с ярко-красной накидкой, и красные шелковые туфли, и сидела рядом с В. Е. Жаботинским, с которым меня связывали многолетние дружеские отношения. Когда я с ним познакомилась, я уже знала его идеи, его прежнюю литературную деятельность, его легендарное прошлое и теперешнюю боевую журналистику. Во время первой мировой войны он создал Еврейский легион, состоял лейтенантом британской армии, впоследствии был организатором Хоганы и Иргуна. Он умер в 1940 году в С. Ш. А., а восемь лет спустя было создано государство, для создания которого он всю жизнь работал. Но только через шестнадцать лет, в июле 1964 года, его прах торжественно перевезли в Израиль, где десятки тысяч людей прошли перед его гробом, чтобы проститься с ним. Я знала наизусть его перевод „Ворона" Эдгара По, который он сделал, когда ему, кажется, еще не было двадцати лет и который мне попался в каком-то Чтеце-декламаторе, когда мне самой было пятнадцать. Этот перевод во много раз лучше брюсовского и лучше перевода Бальмонта, хотя у Бальмонта есть свои достоинства. Впервые мы встретились в редакции „Последних новостей", куда он зашел, и потом вышли вместе; прощаясь, он совершенно серьезно сказал мне:

— Запишите в поклонники.

— Запишите в поклонницы, — смеясь ответила я.

Мы стали с ним видеться изредка. Он был небольшого роста с некрасивым, умным лицом, энергичным и оригинальным, лицом „обожженным" не европейским солнцем. Выправка была военная. Он был одним из умнейших людей, каких я знала, если умным человеком называть такого, который, во-первых, с полуслова понимает собеседника и, во-вторых, сам, в течение любого разговора, живет, меняется, творит, меняет других и „говорит глазами". У него был юмор, внимание, даже жадность к собеседнику и я часто буквально пила его речь, живую, острую, яркую, своеобразную, как и его мысль.

На банкете было много речей, много похвал журналу и оптимистических слов в проэкции будущего, но всё вместе оставило во мне впечатление скорее грустное: впечатление концентрированного безвоздушного пространства, в котором мы все жили, искусственное соединение за этими столами людей, не умевших, по большей части, или не хотевших соединяться и не знавших, нужно ли это и кому, и сомневавшихся: было ли что-либо подлинное и важное и нужное за этой декорацией?

Да, оно было. Но это было не в плоскости политической, это было исключительно в плоскости культурной и литературной. Политика выступавших ораторов — Милюкова, Керенского, Струве, самих редакторов „Современных записок" (членов партии эс-эр) — умерла вместе с ними, оставив едва заметный след в истории русской эмиграции. Литература — единственное, что осталось от этих лет, и искусство, конечно: живопись, театр, музыка. Но живопись, театр, музыка (Челищев, Архипенко, Кандинский, Ларионов, Терешкович, Медтнер, Стравинский, Черепнин, балет, русские драматические актеры, ушедшие на французскую сцену) жили более нормальной жизнью, потому что сливались — так или иначе — с европейским потоком (живопись — больше, музыка — меньше). Литература осталась, останется и — теперь нет сомнений — будет жить и в будущем. Нам надо только умереть, чтобы воскреснуть у себя на родине. Вот и ирония выражения: аще не у́мрет!

Николай Карлович Медтнер жил под Парижем в те годы (1930—31), и я счастлива, что несколько раз была у него, сначала в Антони, потом — в Монморанси. Антони, да и Монморанси были тогда не городами, а огородами, и однажды ночью, возвращаясь с Г. А. Раевским-Оцупом от Медтнера в Париж, мы заблудились в чьей-то капусте и часа два блуждали, ища дорогу на станцию. Сейчас там давно стоят семиэтажные дома. Медтнер играл свои поэмы, и сказки, и другие фортепианные вещи, играл прекрасно, так что когда я слышу теперь эти вещи, я слышу его игру и никакую другую. Бывал у него Сабанеев, тогда еще во всеоружии своих умственных способностей, певица Фрей, чудным сопрано певшая медтнеровские романсы и вокализы под его аккомпанемент. Анна Михайловна, настоящая

наседка, всегда была озабочена самыми будничными делами, она была еще больше „домашняя хозяйка" и „жена своего мужа", чем Анна Карловна Бенуа, жена Александра Николаевича. Эти две Анны как-то слились у меня в памяти, и я вижу перед собой существо, толстое, маленькое, в женской одежде без признаков женственности ни в лице, ни в прическе, ни в жестах, бегающее туда и сюда, и всё время в уме что-то высчитывающее, не то перебирающее что-то, и не имеющее, и сущности, никакого отношения к „гению" дома, где царит вкус, талант, темперамент и вымысел, и где никто не обращает внимания на это кудахтанье.

Александр Николаевич Бенуа приехал в Париж в середине двадцатых годов и сначала, видимо, не знал (как и некоторые другие) останется ли он на Западе или вернется в Ленинград, который он до конца своей жизни называл Петербургом. Он особенно не показывался в эти первые годы людям на глаза и ежедневно (как говорили) ездил в Версаль и там в парке с утра, как изголодавшийся, писал этюды — шесть, восемь этюдов в день. Он сбрил бороду и стал толстеть и уменьшаться в росте, и всё больше с каждым годом „играл", когда говорил с людьми, пританцевывая, шаркая ножками, раскланиваясь, делая ручками всякие приятно-закрученные жесты, хотя на сердце его кошки скребли: в Париже его за художника не признавали, только за театрального декоратора для романтических балетов. В своих воспоминаниях детства, которые он печатал в „Последних новостях" (позже они вышли в Чеховском издательстве, в Нью-Йорке, в двух томах), он много говорит о своем детстве, о своем „тельце", о „ручках и ножках", о красавице-мамаше и красавце-папаше, и над ним часто смеялись, но мне никогда не казалось это ни смешным, ни странным: такова была его сущность, след воспитания, иным он быть не мог, всё прошлое было для него безоблачно и свято, и особенно прошлое Петербурга, Мира Искусств, семейства (клана) Бенуа и всех их родственников, отмеченных, так сказать, богами. У него был круглый животик, и однажды, в гостях у меня, он никак не мог выбраться из глубокого кресла. Он смеялся, делал всякие смешные жесты, но положение его — я это видела краем глаза —

становилось всё труднее: пора было уходить, все кругом уже прощались друг с другом, а он всё не мог найти точки опоры, чтобы выскочить из кресла, где он уютно просидел несколько часов. Я, смеясь вместе с ним, над тем, что с ним случилось, подошла к нему, и незаметно протянула ему мизинец. Он, всё смеясь и „кокетничая" всем своим милым толстым лицом, ухватился за этот мизинец и выпрыгнул из кресла и сейчас же принялся шаркать ножкой направо и налево. Добужинский видел всё это. Он лукаво улыбнулся мне:

— Утопающий за соломинку, — сказал он.

Позже я прочла у Розанова, что на каком-то вечере был „Бенуа — черный жук, завалившийся глубоко в кресло".

Когда я печатала свою биографию Чайковского фельетонами в „Последних новостях", Алекс. Ник. неизменно говорил мне, что чувствует меня своей современницей, „будто вы знали всех — и Боба, и Модеста, и Арго (Аргутинского)", и вдруг, однажды, увлекшись, он внезапно воскликнул:

— А помните на премьере „Пиковой дамы" . . . — и вдруг страшно смутился, потупился и запел тоненьким голосом „Уж вечер, облаков . . ." (премьера была за девять лет до моего рождения).

С Добужинским я познакомилась еще в Берлине. Он был одним из самых обворожительных и красивых людей, которых я когда-либо знала. Его фигура, высокая, стройная, его сильные руки, лицо с умными, серьезными глазами, менявшееся улыбкой (у него был громадный юмор), — всё было природно одухотворено и прекрасно. В старости он остался очень прям и немножко окаменел, но не лицом. Даже голос его — спокойный и музыкальный — был в гармонии со всем его обликом. И как он умел смеяться, как любил смеяться! Между тем, во Франции его ценили еще меньше, чем Бенуа, его даже не признавали как театрального декоратора, не говоря уже о том, что как портретист или пейзажист он просто не существовал. Но всё, чего он касался, всегда оживало, а то, что он писал (его мемуары), то что рассказывал — было и интересно, и умно. Его выдумки, его шутки — как всё это всегда бывало к месту,

как гармонировало со всей его природой, с тем, как он жил, что любил, что чтил и чем наслаждался!

Еще в Берлине он начал составлять — посвященный мне и с моей помощью — каталог русских фамилий. У меня долго хранились узкие полосы бумаги, исписанные его рукой. Сначала всё началось с классификаций: фамилии птичьи: Орлов, Соловьев, Снегирев и т. д. Звериные: Львов, Котов, Котятин, Кошкин, Кошко, Кошатников, Ежов... Предметные: Горшков, Рюмкин, Шкафф, Завесов... Потом мы перешли на фамилии менее традиционные, они назывались „зловредные": Кровопусков, Кошкодавов, Тумбесов, фон Дерябкин, Щов, Твердокрыш... Из литературы брать фамилии запрещалось, надо было лично знать людей, брать из памяти, не выдумывать их. Он знал вывески в Петербурге, Вильне, Пскове, и ему бывало легко, и я помогала, как могла. Сидя за чаем где-нибудь в гостях мы вдруг взглядывали друг на друга и среди общего разговора выпаливали: Мундиров-Трещов, Абесгус, Лихошерстов, Воробиэ (это было моим открытием: в Версале жил человек с такой фамилией, он говорил, что кажется один из его предков был русского происхождения).

И он вынимал свои листы и тут же записывал и потом читал мне, и мы вместе хохотали.

В Париже мы видались часто и всегда было нам весело и свободно друг с другом. У него была коллекция старых фотографий неизвестных людей, которые он когда-то покупал на Александровском рынке, в Петербурге. Мы рассматривали ее. Женщины все были чем-то похожи на Полину Суслову, а мужчины напоминали композитора Балакирева. Добужинский хранил их для тетральных костюмов и причесок. Теперь в Париже он коллекционировал смешные объявления русских эмигрантских газет: „Прихожу на дом, приношу с собой ультра-фиолетовые лучи" или „Имею кроликов. Хочу жениться. Чем неинтеллигентнее, тем лучше". Чтобы позабавить и поразить меня, он, смотря в потолок и важно сложив на столе руки, читал на память вывески Невского проспекта начала нашего столетия от Николаевского вокзала до Литейного, сперва по стороне Николаевской улицы, а потом по стороне Надеждинской. И я чувствовала, что имею высокое счастье гулять

с ним по Невскому моего детства, туда и обратно, моя детская варежка в его большой руке, мои маленькие ноги делают полтора шага, когда его большие делают один.

Потом много лет мы не видались. Я приехала в Нью-Йорк в ноябре 1950 года, и он вечером в тот же день пришел ко мне в гостиницу на 72-й улице, где я тогда остановилась (М. С. Цетлина сняла мне комнату и я девять дней была ее гостьей). Я уже знала, каким страшным ударом был для него провал „Хованщины" в Метрополитэн Опере с его декорациями. Он ненавидел Америку, ненавидел Нью-Йорк, ненавидел новую живопись, новую музыку, всю механику послевоенной жизни, но у него была и радость: он теперь писал свои воспоминания (которые до сих пор не напечатаны целиком). И странно: он был уверен в себе, как художник, и был крайне неуверен в себе, как мемуарист, а между тем он писал замечательно, умел писать, умел говорить о прошлом, всё время колеблясь между автобиографией и мемуарами. Он стал приходить и читать их мне. Он звонил по телефону и просил разрешения „прийти сейчас". Я всегда была ему рада. Чувствовалось, что ему необходимо кому-нибудь прочитать вслух только что написанное. Я была откровенна с ним, когда выражала ему свой восторг, нисколько не преувеличивая силу своего впечатления, но он всё-таки не становился увереннее, ему вдруг начинало казаться, что всё выходит слишком „интимно". Я уговаривала его ничего не вычеркивать. „И кому всё это нужно?" — вдруг спрашивал он, и я отвечала, что *всем* это нужно и чтобы он ничего не менял. „А как насчет стиля? — спрашивал он. — Грамотно ли вот это место? Не слишком ли много „что" и „который"? И я старалась уверить его, что он не смеет даже задавать таких вопросов.

Я знала, что между ним и Тамарой Карсавиной когда-то было то, что в просторечии называется романом. Как осторожно обходил он эту тему! Я не смела просить его писать о ней откровеннее, он был наглухо закрыт от всех людей и в том числе от меня во всём, что касалось интимных сторон его жизни. Но было несколько страниц, прочтенных мне однажды вечером, где я почувствовала вдруг „дыхание тайны": он говорил о молодой женщине в светлом платье,

на крыльце деревенского дома, о женщине, похожей на призрак, ускользающей от него, на призрак не в смысле отвлеченном или метафорическом, но скорее в смысле вполне конкретном, может быть балетном? Может быть здесь было что-то почувствовано мною из второго акта „Жизели", или это был образ черного лебедя? На меня повеяло символом жизненной драмы сдержанного и мучающегося этой сдержанностью человека, символ этот промелькнул в нескольких строках. Эти строки, насколько я знаю, до сих пор нигде напечатаны не были и — кто знает! — быть может были впоследствии уничтожены? Они остались во мне. И голос Добужинского, всегда такой „полноводный", в ту минуту вдруг дрогнул. Он посмотрел на меня. Но я не подняла глаз. Я боялась спугнуть это зыбкое видение несказанной прелести и красоты и дать ему намек, что я поняла его.

Если вся гармония, весь строй и лад „петербургского ансамбля" отразились в фигуре и интеллекте Добужинского, то Ник. Дм. Милиоти был весь — с головы до ног — москвич, гордился этим и любил говорить об этом. По женской линии он был в родстве с Коршами, знал всех, помнил всех, особенно же Москву артистическую и купеческую. Ходасевич не любил его и считал его „сердцеедом", пошлым Дон-Жуаном, и мы даже полу-поссорились с ним. В одном из своих писем Ходасевич писал мне (25 ноября 1930 года):

> „Решительно прошу тебя не мириться с Милиоти. Т. е. конечно нет нужды ссориться. Но я прошу тебя очень настоятельно, чтобы после всего, что говорено о нем, после того двусмысленного и глупого положения, в которое он тебя (и м е н я!) поставил (как ты знаешь, н а р о ч н о!) — после всего этого чтобы ты никогда и нигде в д в о е м с ним не являлась, и чтобы он не являлся ни к н а м, ни к т е б е. В нейтральном месте — да, но в нашей квартире я не подам ему руки, о чем предупреждаю... Допустим — своей репутации ты хозяйка, но и я своей — тоже"...

Детали этой ссоры, (или полуссоры) исчезли из моей памяти, но конечно после этого письма Милиоти у нас больше никогда не бывал.

В эти годы он не был еще стар, но уже не был тем, каким его знали в Москве, когда он был, по его собственным словам, „самым красивым из всех людей, живших на земле", чему не совсем легко было поверить. В эмиграции у него был сын, которого он не признавал, в Москве у него оставались жена и двое детей. До последних дней он искал прибежища у обожавших его женщин. Он был нищ, несмотря на то, что в двадцатых годах побывал в Америке, устроил выставку и, по его рассказам, имел большой успех. В последние годы жизни он, седой, как лунь, в рваном пальто, заколотом английской булавкой, с мешком за плечами и беззубый, выглядел как типичный парижский „клошар" — бездомный бродяга. Что сталось после его смерти с его студией на площади Сорбонны, я не знаю. Она вся была увешана портретами светских красавиц.

В Америке побывал в свое время и Конст. Андр. Сомов, но этот маленький, незаметный и тихий человек не только не растратил свои американские деньги, но устроил себе небольшой пенсион. Он жил один, очень аккуратно и умеренно, увлекался красотой розовощеких, кудрявых молодых мальчиков, которых писал веселыми масляными красками, с открытым воротом и длинными пальцами бледных рук. Когда я бывала у него, он всегда был окружен ими.

У Сомова был старый друг, инженер и общественный деятель Брайкевич, когда-то московский меценат и кадет, живший в тридцатых годах в Лондоне. Этот человек, наезжая иногда в Париж, останавливался у Сомова, он ценил К. А. и как человека и как художника. Пожилой, толстый, говорливый, он во всем был противоположностью Сомову. Pater familias, традиционный „бонвиван" начала нашего века, с брюшком и косматыми бровями — и тишайший, скромнейший в своих одиноких вкусах, хрупкий художник. Когда Сомов умер, Брайкевич приехал из Лондона на похороны. Я хорошо помню эти похороны: Брайкевич, рыдая, распоряжался на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, как повернуть гроб, как опустить его в могилу, кому пойти проститься с гробом. Кому куда сесть, чтобы ехать домой. „Костенька, говорил он, ангел мой, как я любил тебя!" И все кругом плакали.

Лет двадцать тому назад я видела сон: я стою в Ленинграде на вокзале и жду поезда из Парижа. Это поезд — товарный, он везет эмигрантские гробы на родину. Я бегу по платформе, медленно тянется длинный состав. На первом вагоне написано мелом: Милюков, Струве, Рахманинов, Шаляпин, на втором: Мережковский, Бунин, Дягилев, еще кто-то. Я спрашиваю: где Ходасевич? Мне показывают рукой в конец поезда. Мелькает вагон с надписью: Шестов, Ремизов, Бердяев. Я всё бегу: наконец, в последнем вагоне я с бьющимся сердцем вижу его гроб. Почему я так волнуюсь, будто готовлюсь увидеть его самого? С грохотом раздвигаются двери и десяток железнодорожных служащих подкатывают тележки. „Выгружают! Выгружают!" — кричит кто-то за моей спиной. И вдруг я вижу, что рядом с гробом Ходасевича в полутьме товарного вагона стоят еще гроба: Есенина, Цветаевой, Ахматовой... „Почему они здесь? — недоумеваю я. — Это какое-то недоразумение."

Против кафе Клозери де Лила, около Люксембургского сада, в двадцатых годах еще стоял огромный Бал Бюлье, барак, в котором устраивали свои балы парижские художники. Иным из русских художников дано было долголетие, как, например Михаилу Ларионову, задолго до первой мировой войны уже жившему в Париже, вместе с Н. Гончаровой (и умершему в 1964 г.). Сутин и Бакст умерли сравнительно нестарыми. В день бала художников, в большом зале Бюлье — летом — полуголые, загримированные дикарями, индейцами, африканскими неграми, художники ходили сначала по Монпарнасу, из „Ротонды" в „Куполь", с размалеванными всеми цветами радуги лицами, с натурщицами, изящными, раскрашенными, едва прикрытыми какой-нибудь тряпицей, и здесь можно было увидеть всех: и спокойного патриция Дерэна, и Цадкина, и Певзнера, и Брака. Всё кончалось шумным и оргийным пиршеством у кого-нибудь в студии, и один раз было ночное сборище у Терешковича, тогда еще холостого, куда он пригласил и Бунина, и Зайцева, и Алданова. Алданов был, что называется, шокирован всем, что увидел, и довольно скоро ушел. Бунин был сначала подавлен зрелищем, но не без удовольствия „приобщился" к вакханалии, а Зайцев „попивал", и „посиживал", и „посматривал", и „приобщался" усердно и

тоже не без удовольствия: всё это было ему хорошо знакомо по собственной молодости.

Утром, на рассвете, у всех был полинялый вид, растрепанный и несколько непотребный. И домой расходились по пустынным улицам, где громыхали своими бочками золотари, да на высоких телегах огородники везли капусту и морковку на Центральный рынок.

Между художником Михаилом Ларионовым (и Наталией Гончаровой) и молодыми членами „Мира искусств" разницы в возрасте не было, но их разделяла глубокая пропасть: Ларионов до старости сохранил в характере и поведении о з о р с т в о, черту, бывшую традицией футуризма. Озорство было у Шкловского, у Маяковского, у имажинистов, у членов общества „Ослиный хвост", посетителей „Стойла Пегаса" и участников „Засахарекры". Те, кто умерли молодыми, умерли озорниками, те, кто дожили до старости (как Ларионов) никогда не изжили озорства. Это новое явление нашего времени, эта важная черта целого круга художников, поэтов и музыкантов мало была отмечена. Символисты и члены „Мира искусств" ненавидели это озорство, акмеисты брезгливо от него отворачивались. Но всё было вовсе не так просто: была глубокая связь „гения" с „незрелостью" и грубоватая, но в сущности законная и здоровая реакция против „печального вина" Блока, мрачного безумия Врубеля, патетики Скрябина, меланхолии Серова. Как многие из его современников, Ларионов был озорником и таковым прожил свою долгую жизнь. Всегда он что-то придумывал, иногда — с хитрой улыбкой, иногда — захлебываясь от удовольствия, и часто — на зло кому-нибудь. Он никого не признавал, кроме „своих", зато со своими бывал сентиментально-ласков, но главным в нем было — неуважение к почтенным railinam врагов (даже когда седины уже были у него самого) и неустанное поклонение заветам раннего футуризма, которые заставляли его держаться таких же озорников, как он сам, не сдаваться „мелкой буржуазии", а „бить ее по морде" когда и где возможно. Это соединялось у него с в общем безобидными симпатиями к советскому коммунизму и с некоторым сочувствием Германии и надеждами (во время войны) на перемены, которыми она „даст в зубы старой дуре" Европе.

Только бы что-нибудь новое! Только бы что-нибудь неожиданное! Только бы ломать старое и спихивать „с борта современности" отжившее барахло!

В их квартире, где Гончарова и он жили с незапамятных времен и где пол никогда не подметался, под пылью, насевшей на книги, бумаги, рисунки, собранные за сорок лет, можно было найти сокровища, которым сейчас не было бы цены. Но никто, или почти никто, в это логово не впускался. „Да, у меня есть ранние рисунки Пикассо". „Да, у меня есть наброски Сутина и письма Дягилева, и все его программы". Эскизы Бакста завалились куда-то, однажды им здесь забытые, черновик Есенина тоже где-то валяется, и рукой Маяковского записанный экспромт, но где они — разобрать нет времени. Хозяин лежит на боку, или бегает по улицам и кафе, „шумим, братец, шумим", или сидит в углу у окна и пишет желтенькой краской желтенькую женщину с желтенькими волосами и низким тазом — в желтеньком свете парижского дня.

Озорство его было — по отношению ко мне — всегда ласково и никогда не обидно. Оно, как я сказала, не было случайным, оно принадлежало — в том или другом виде — целой группе людей так или иначе затронутых новым искусством, если это слово понимать в самом широком его смысле. Это озорство есть конечно и на Западе, оно существует до сих пор и становится постепенно историей: знаменитый „бато-лавуар" на Монмартре стал музеем, а жившие в нем когда-то, несмотря на то, что одной ногой стоят в гробу, всё продолжают — по мере сил — озорничать. Как художник, Ларионов был талантлив не меньше, если не больше, замечательной художницы Гончаровой, но в то время, как она трудилась и работала, расписывая для заработка даже парижские рестораны, он разменивался, растеривался, распылялся в бесконечных разговорах, спорах, подвохах, шутках, беготне, словно тот шалун, который, если бы хотел, мог бы окончить с медалью, но его почему-то выгнали из гимназий — впрочем, он и в ус себе не дует! И — может быть — правильно делает.

Кое-кто из художников до самой середины тридцатых годов возобновлял свои советские паспорта и доверчиво ждал, когда можно будет вернуться в Москву и занять там

подобающее левому искусству место. Вплоть до 1936 года — до самых московских процессов — у них были надежды, что в стране, сделавшей величайшую в мире революцию, левое искусство наконец будет официально признано главным, если не единственным искусством. Самоубийство Маяковского пошатнуло их надежды, но не убило их. Приезд Замятина в 1931 году опять сильно поколебал их; выходило, что Куприну легче туда вернуться, чем Замятину там жить? Это их смущало.

С Замятиным я провела однажды два часа в кафе „Дантон", на углу Сен-Жерменского бульвара, в двух шагах от русского книжного магазина, где мы случайно встретились. Это было в июле 1932 года. Он ни с кем не знался, не считал себя эмигрантом и жил в надежде при первой возможности вернуться домой. Не думаю, чтобы он верил, что он доживет до такой возможности, но для него слишком страшно было окончательно от этой надежды отказаться. Я знала его в 1922 году, в Петербурге, несколько раз говорила с ним на литературных вечерах Серапионовых братьев и встречала с ним за одним столом новый 1922-й год. Он подошел ко мне в книжной лавке на улице Эперон и протянул руку.

— Узнаёте?

Никого кругом не было. Мы вышли.

В кафе он закурил свою трубку, подпер лицо обеими руками и долго слушал меня. Потом заговорил сам. У него был всегда тон старшего, тон учителя, тон слегка надуманный, и я это чувствовала. Он был наигранно оптимистичен, говорил, что необходимо „переждать", „сидеть тихо", что некоторые животные и насекомые знают эту тактику: не бороться, а притаиться. Чтобы позже жить.

Я была другого мнения. Для меня жизнь не могла стать ожиданием.

Лицо его стало хмуро. Оно-то и вообще у него было не веселым, а теперь стало и неподвижнее, и темнее, чем десять лет тому назад. И наступило молчание, долгое, тягостное, где я понимала, что он знает, что я права, и знает, что я знаю, что он знает, что я права. Но возвращаться к началу разговора (о том, что т а м, и о том, что з д е с ь) не хотелось. Я вдруг поняла, что жить ему нечем, что писать

ему не о чем и не для кого, что тех он ненавидит, а нас... немножко презирает. И я думала: если ты здесь, то скажи об этом громко, не таи, что с тобой случилось, как тебя там мучили, русский писатель, как тебя довели до отчаяния, и сделай открытый выбор. Нет, я этого сказать ему не посмела: мне было жаль его. Доживай, и молчи. Это было теперь его тактикой. Но не могло быть моей.

Он был не один. Вторым человеком до 1936 года, не соединившим свою судьбу с эмиграцией, был Вяч. Ив. Иванов. Но он жил в Италии, и там он мог в более спокойной и мирной обстановке возобновлять свой советский паспорт и переписываться с Горьким о даровании ему пенсии, о субсидии на лечение туберкулезного сына. В 1936 году он наконец стал печататься в „Современных записках". Этому помогли конечно московские процессы и смерть Горького. Замятин, может быть, не успел этого сделать: он умер в 1937 году. Впрочем он вряд ли бы изменил свой взгляд на вещи: когда-то он был большевиком, членом партии еще в царские времена. Шесть лет ему были подарены Сталиным.

На похоронах его было человек десять. М. И. Цветаеву, Ю. П. Анненкова и А. М. Ремизова я помню; остальные улетучились из памяти.

Да, сотрудничество в „Современных записках" было своего рода знаком эмигрантского отличия. Сейчас, глядя на эти толстые тома, вышедшие в Париже за двадцать лет, видишь литературный памятник и не удивляешься, что библиотеки западного мира, замечая, что бумага постепенно превращается в пыль думают о переиздании всех семидесяти томов этого журнала. Это издание, несмотря на его редакторов, которые ничего в литературе не понимали, и может быть благодаря давлению на редакцию самих сотрудников, стало значительным именно в своей литературной части. Оно конечно не было ни „авангардным", ни даже „передовым" и продолжало традицию старых русских „толстых" журналов. Но даже при отсутствии свободы для большинства авторов, придавленных старомодными вкусами и требованиями редакторов — последних представителей русского народничества — это было место, где в течение почти чет-

верти века могли появляться значительные вещи, как „старых", так и „молодых".

Поклонники Чернышевского и Михайловского понимали, что у них смены нет, и пошли на компромиссы — с трудом, но всё же пошли, и даже наиболее способный из трех редакторов, М. В. Вишняк, кое-чему (правда, немногому) научился за эти годы, общаясь с Гиппиус, Ходасевичем, Набоковым, Цветаевой и другими. Материальное положение журнала было трудным, говорили, что в Советский Союз идет не более десяти-пятнадцати экземпляров. Остальное раскупалось во Франции, в Прибалтике, на Дальнем Востоке, в С. Ш. А. — в сущности во всем мире. Вероятно — всего около тысячи экземпляров. Сейчас некоторые из номеров стали библиографической редкостью, комплекта же ни за какие деньги достать невозможно.

Один из редакторов „Современных записок", Илья Исидорович Фондаминский, был в центре легенды, два других редактора легенд не имели*). Но легендой был окружен не только сам И. И., но и его домашние: его жена и В. М. Зензинов, эсер, постоянно живший в его доме.

В свое время Зензинов был тем человеком, который упустил Азефа, но об этом члены партии с.-р. вспоминать не любили, и создалось нечто вроде мифа, в котором Зензинов стоял, как олицетворение честности, благородства и целомудрия. На самом деле, неудачи как политической, так и личной жизни сочетались в нем со склонностью к пересудам и с некоторыми стародевическими странностями, которые его друзья, боясь их расшифровывать, называли „последствиями одиночества". Он сам в своей, начисто лишенной юмора, как и он сам, книге „Пережитое" (1953 г.) рассказал с наивной откровенностью об упущении им Азефа: был партией с.-р. поставлен ночью сторожить его на углу бульвара Распай, но увидев, что окно в квартире Азефа погасло, решил, что Азеф лег спать, и пошел домой. Азеф только этого и ждал, вышел через черный ход и, как говорится, был таков. В тех же воспоминаниях, и опять же

---

*) Слово „легенда" в применении к И. И. Фондаминскому я заимствую у ближайшего друга его, Г. П. Федотова — см. его некролог в № 18 „Нового журнала". (1948).

с наивностью, от которой читателю делается неловко, Зензинов рассказал, как в молодости он был влюблен в А. О. Фондаминскую (до ее замужества), но она полюбила его ближайшего друга, Фондаминского, и вышла за него замуж. Они уже тогда жили все вместе, втроем, и Зензинов ходил по ночам вокруг их спальни. Этот „больной" случай друзья его относили к его невинности и бескорыстию.

Вторая легенда касалась самого Фондаминского. Его окружение считало, что он был в молодости (да и теперь продолжал быть) красивым, блестящим, изящного ума человеком, звездой среди людей своего поколения. На самом деле это был человек довольно толстый, очень черный, не очень чистоплотный, с близко у носа посаженными глазами и постоянной сладкой улыбкой на мясистом, плохо выбритом лице. В улыбке была некоторая фальшь. Он был очень расчетлив и так как у „Современных записок", как впрочем у всех эмигрантских изданий, были большие денежные затруднения, Фондаминский создал нечто вроде „общества друзей Современных записок", членов которого он обложил данью. Он большую часть своего времени (когда не писал свои исторические этюды, которые подписывал „Бунаков") посвящал взыманию этой дани, главным образом среди щедрых и культурных русских евреев (чины Белой армии не имели привычки читать книги, да и каждый франк был у них на счету). Признаюсь, я была поражена, когда узнала от М. С. Цетлиной уже в Нью-Йорке, что Фондаминский из коммерческого предприятия своей жены получал в месяц не менее восьми тысяч франков (Фондаминские, как и Цетлины, имели плантации чая на Цейлоне). Жить вдвоем или даже втроем (с Зензиновым), имея прислугу, принимая гостей, то есть жить „буржуазно", можно было в те годы тысяч на пять-шесть, даже принимая во внимание, что Амалия Осиповна лечилась на курортах и выезжала танцевать с платными танцорами. Фондаминский мог, казалось бы, без посторонней помощи сам лично поддерживать „Современные записки" . . . Но что бы он тогда делал со своим временем? М. С. Цетлина сказала мне, что деньги были „не его", что он еще до первой мировой войны, будучи богатым человеком, отдал все свои деньги партии с.-р. и всю жизнь

ничего не имел: питался плохо, стригся в дешевых парикмахерских, одевался скверно и жил на средства жены.

Третья легенда этой квартиры касалась А. О. Фондаминской, женщины тихой и приветливой. Считалось, что она необыкновенно хороша собой, умна и поэтична. Поэтичного в ней было разве только то, что в то время как жены других редакторов журнала работали швеями, она ничего не делала. Когда она умерла, Фондаминский издал сборник ее памяти, где несколько их знакомых, членов партии с.-р. и другие, написали о ней свои воспоминания. Главная часть книги была написана Зензиновым.

Фондаминский часть своей жизни отдавал взыманию дани, но это было не всё. Он устраивал какие-то кружки, куда приглашал поэтов, священников и философов, издавал религиозный журнал „Новый град", руководил какими-то собраниями, где много и часто выступал. Он также ходил в православную церковь — впрочем эту сторону своей жизни окружая некоей тайной. Легенда развивалась дальше: говорили, что он крестился (или собирается креститься), но хочет, чтобы это оставалось секретом, чтобы не огорчать родственников жены; говорили, что после смерти А. О. в 1935 году он уйдет в монастырь. Конец его был трагичен: когда Париж был оккупирован немцами он одно время считал, что „это не такая уж беда!" (оптимизм его производил несколько ненормальное впечатление). За время эмиграции он собрал большую библиотеку, и я однажды в 1940 году зашла к нему спросить, не хочет ли он часть книг перевезти ко мне в деревню? Но он недоверчиво посмотрел на меня и сказал, что один немец-книголюб, который у него бывает запросто, обещал ему свое покровительство и просил его ни о чем не беспокоиться. Этот немец потом вывез не только книги Фондаминского, но и всю Тургеневскую библиотеку, драгоценное русское книгохранилище в Париже (о чем я в 1961 году рассказала на страницах „Нового журнала"). Фондаминский был арестован в июне 1941 года, он погиб в одном из нацистских лагерей. Легенда продолжалась: говорили, что он не погиб, а ушел в Россию, „пострадать за веру Христову", и т. д.

Великолепное здоровье, энергия, свободное время, обеспеченность, обожание окружающих давали ему возмож-

ность посвящать свои досуги добрым делам; он очень часто и впрямь облегчал людям существование: Набоков в свои приезды в Париж мог останавливаться в его квартире, поэтессе Ч. исправили зубы: собраны были деньги, чтобы спасти ее от комплекса неполноценности. Были изданы сборники „Русские поэты" — серия томиков стихов „младшего" (и не только младшего) поколения. Книжки Смоленского, Кузнецовой, Ладинского и других были выпущены в издательстве „Современных записок" на деньги, собранные Фондаминским, и он сам продавал их налево и направо. Время от времени он также устраивал „бриджи" и „чаи", на которых немолодые дамы, приятельницы его жены, играли в карты, отчисляя деньги в пользу писателей — Мережковского, Ремизова, Ходасевича.

В литературе он старался, как подобает редактору толстого журнала, уловить „что носят", по выражению Ходасевича. Ходасевич говорил:

— Носят ли нынче буфы, пуфы, сборки или наоборот: спосаживают мысиком и сводят на нет аплике и декольте?

Фондаминский старался понять, почему стихотворца-фельетониста Лоло и Сашу Черного нельзя печатать в „Современных записках", хотя всё понятно в их стихах и они очень мило звучат, а Цветаеву и Поплавского печатать надо, хотя как будто не всё понятно и стих не так звучит. Другой редактор, эсер В. В. Руднев, человек милейший, бывший в 1917 году городским головой Москвы, даже не старался понять, „что носят". Однажды, получив какое-то стихотворение от поэта „младшего" поколения, он показал его Ходасевичу и спросил его, что это за размер — какой-то, по мнению Руднева, несерьезный и даже плясовой. Стихотворение было написано трехстопным ямбом. Ходасевич, придя домой, лег носом к стенке и сказал:

— Вот от каких людей мы зависим.

С Рудневым я была знакома давно, еще с конца двадцатых годов, но внезапно эти деловые и в сущности безличные отношения в июне 1940 года приняли совершенно неожиданный оборот. У Руднева была в Париже многолетняя подруга, родственница А. О. Фондаминской, с которой Руднева связывали давние близкие отношения. Накануне всеобщего бегства из Парижа, за день до вступления в город

немцев, Руднев приехал ко мне и попросил меня изредка навещать Л. С. Г. и писать ему о ней. Он предполагал тогда, что останется на юге Франции до конца войны. Он взял с меня слово, что если я увижу, что Л. С. Г. будет угрожать опасность, я напишу ему. Я дала ему слово.

Уже через несколько месяцев мне стало ясно, что Л. С. Г. погибнет, если Руднев не приедет за ней. В 1940—41 годах было довольно легко вернуться в Париж и вывезти человека. Когда я приходила к Л. С. Г., я заставала ее в каком-то ненормально экзальтированном состоянии, затянутую в корсет, густо напудренную, с тряпкой в руке, без остановки полирующую мебель. Для меня не было сомнений, что Руднев должен приехать в Париж и я написала ему об этом. Но Руднев приехать не мог, он был уже болен раком и вскоре умер в По. В трагический день 16-го июля 1942 года Л. С. Г. была взята и увезена в Аушвиц. Когда среди бумаг Руднева его жена нашла мою открытку, она распустила слух, что мне так нравится жить под немцами, что я и других зову в оккупированную зону.

Третьим, и одно время главным, редактором „Современных записок" был М. В. Вишняк. Этот понимал, что мы все понимаем, что они все ничего не понимают. Безудержность его была общеизвестна. Ходасевич говорил, что когда он входит в помещение редакции, на улице де ля Тур, и говорит с Вишняком, у него впечатление, что он вошел в клетку льва: хлыст в руке и острое внимание — как бы лев его не съел!

Вишняк был главным знатоком и распространителем принципа местничества: кого с кем посадить, когда позвать, кого напечатать впереди, а кого в конце номера журнала, и сколько продержать рукопись в портфеле редакции, чтобы автор не зазнался. Но в Вишняке, при всей его узости, непримиримости и пуританстве, по крайней мере не было „лампадного привкуса", который был у Фондаминского и у Руднева. У него было чувство реальности и, несмотря на сильную долю обывательщины (пуританство, местничество, оглядка на сильных мира сего), в нем была способность чему-то научиться и желание узнать больше, чем он знал до сих пор. У него было тоже ясное понимание того, что делается в Советском Союзе, и никаких компромиссов со

Сталиным он не признавал. У него не было никаких иллюзий насчет „политики партии в литературе", тех иллюзий, которым в разное время — по глупости, по легкомыслию, по старости и склерозу мозга, по невинности, по снобизму, по корысти, по стадному чувству— были подвержены некоторые эмигрантские политики.

Он на много лет пережил своих соредакторов, но до глубокой старости продолжал страдать от своего невыносимого характера, поссорившись со всеми своими друзьями и единомышленниками. Р. Б. Гуль однажды публично назвал его „жандармом". Я в одном письме назвала его „судебным следователем". Больше всего в жизни он был занят выяснением, с кем можно рядом сидеть, кому можно подавать руку, а кому невозможно. Много времени уходило у него на то, чтобы выяснять прошлое своих знакомых: такой-то сорок лет тому назад был оказывается членом комсомола! Такой-то ездил в Германию в 1938 году! Такой-то публично еще не покаялся в своих троцкистских симпатиях! Это иногда производило впечатление навязчивой идеи, против которой он был бы и рад бороться, но не в силах.

„Викторианство" левого сектора русской общественности (еще со времен Писарева) в сущности идет не столько от королевы Виктории, сколько от оппозиции ей: Эдуард VII, сын Виктории, будучи викторианцем, отнюдь не был пуританином, а вот фабианцы, основатели английской рабочей партии, первые социалисты, во главе с Бернардом Шоу, несомненно были пуританами. Так что и стыдливые советские нравы пришли в СССР не столько от английской королевы, сколько от ранних социалистов Европы, от Прудона с его бытовым, мелкобуржуазным консерватизмом, от суфражисток, от радикальных кружков XIX века, распространивших свою стыдливость от Атлантического океана до Урала. Ведь единственные французы, которые не употребляют в разговоре так называемых непечатных слов, это члены французской компартии!

С А. Ф. Керенским я познакомилась в 1922 году в Берлине. Сначала эсеры выпускали газету „Голос России" (в Праге), потом начались „Дни" (в Берлине), которые через несколько лет переехали в Париж. В „Днях" Алданов и Ходасевич редактировали литературную страницу, первый — прозу,

второй — стихи, так что мой первый рассказ, „В ночь бегства", был напечатан в газете Алдановым. В Берлине, как потом и в Париже, довольно регулярно происходили собрания редакции и ближайших сотрудников „Дней", где литераторы были в меньшинстве, а эсеры (некоторые, как Минор, весьма древние) в большинстве, и они не были уверены, нужны ли газете статьи о балете (Андрея Левинсона) или стихи (Ходасевича). Керенский диктовал свои передовые громким голосом, на всю редакцию. Они иногда у него выходили стихами.

У него была — и осталась до старости, пока он почти совершенно не ослеп — привычка кричать на человека и тем пугать неподготовленного. Помню такую сцену:

— Фамилия??

— Иванов.

— Имя??

— Георгий.

— А! Что принесли?

— Стихи.

Ходасевич потом говорил, что он ожидал, что Керенский вдруг заорет:

— Казенные вещи имеешь?

При этом близорукими глазами он окидывал стоящего перед ним — мужчину ли, женщину ли — с головы до пят; пока вы не знали, что он от близорукости никаких пуговиц и петель на вас сосчитать не может, вам бывало не по себе.

Когда я впервые познакомилась с Рудневым, Ходасевич мне сказал очень тихо:

— Это Руднев. Он готовил бомбу и ему оторвало палец. Видишь, мизинца не хватает.

Когда я знакомилась с Керенским, Ходасевич меня предупредил:

— Это — Керенский. Он страшно кричит. У него одна почка.

Я вгляделась в него: знакомое по портретам лицо было в 1922 году тем же, что и пять лет тому назад. Позже бобрик на голове и за сорок лет, как я его знала, не поредел, только стал серым, а потом — серебряным. Бобрик и голос остались с ним до конца. Щеки повисли, спина согнулась, почерк из скверного стал вовсе неразборчивым. У меня от

него сохранилось более ста писем, часть напечатана им на машинке, и эти письма, как это ни странно, тоже не вполне разборчивы.

Он всегда казался мне человеком малой воли, но огромного хотения, слабой способности убеждения и безумного упрямства, большой самоуверенности и не большого интеллекта. Я допускаю, что и самоуверенность, и упрямство наросли на нем с годами, что он умышленно культивировал их, защищаясь. Такой человек, как он, то есть в полном смысле убитый 1917-м годом, должен был нарастить себе панцырь, чтобы дальше жить: панцырь, клюв, когти...

Политик почти никогда не кончает с собой. Во Франции, например, бывало, докажут, что X — вор, или в Англии, что Y — растлитель малолетних, или в США, что Z — взяточник. А глядишь через десяток лет все трое выплывают вновь на политическую арену, переждав, когда всё забудется. Помогает короткая память людей, смена их, динамика времени. Вор, взяточник, растлитель начинают жизнь с того места, на котором она остановилась. Но президент республики, министр, дипломат, сделавший политическую ошибку? Что происходит с ним? Очень часто: точь в точь то же самое, что и с политиком, сделавшим моральную ошибку. Даладье возвращается в Национальную Ассамблею, Иден на забытом богом острове пишет свои воспоминания... Но кое-кого и вешают.

Самая тяжелая кара для политика — кара забвения.

— Керенский?

— Он еще жив?

— Не может быть! Только 80?

Советская девочка лет тринадцати однажды спросила свою мать при мне:

— Мама, Керенский был до освобождения крестьян или после?

Соль, потерявшая свою соленость, человек еще живой, физически живой, но внутренне давно мертвый. Одинокий, несмотря на детей и внуков в Англии, похоронивший всех своих современников и сверстников, человек, постепенно прислоняющийся к церкви, к ее обрядности и тем самым теряющий свое достоинство — человеческое и мужское.

— Это кто, Керенский? Перейдем на другую сторону.

— У вас завтра Керенский? Я лучше приду послезавтра.

Он любит говорить о том, сколько километров он может пройти пешком (12, 15); он говорит о том, что любит аэропланы — надеется разбиться когда-нибудь; он признается, что никогда не был в кино — он носит траур по России, вот уже сорок семь лет. Когда его приглашают, он смотрит в книжечку: нет, не могу, занят. Может быть забегу ненадолго. На самом деле он совершенно свободен, ему некуда ходить и к нему мало кто ходит.

Но есть и другая сторона его характера: его несчастная негибкость, его холодность, его непонимание ни себя, ни других, его настойчивое отпугивание от себя расположенных, при постоянном желании подчинения их себе, его недобрый, оловянный взгляд, никуда не проникающий, и какие-то „скверные анекдоты", случающиеся с ним, от которых и ему, и всем вокруг неловко.

Всё это я знаю теперь, в 1965 году, но в тридцатых и пятидесятых годах я многого еще не видела. Историю нашего долгого знакомства можно разделить на три части: во-первых — „светский" и „деловой" его период: А. Ф. — редактор издания, в котором я печатаюсь, оратор на политических собраниях, на которых я бываю, гость в гостиной Цетлиных и Фондаминских, где гостьей и я. Во-вторых — предвоенные годы, когда он женат на Нелль, с которой они вместе приезжают к нам в Лонгшен. Они живут иногда неделю и в последний раз уезжают накануне взятия немцами Парижа. Наконец — третий и последний период, после смерти Нелль: его приезд в Париж и наше свидание в 1949 году, мой приезд в Америку и первые годы в Нью-Йорке. Затем отношения начинают терять плоть и кровь. В шестидесятых годах мы виделись не более двух-трех раз в год, то есть я видела е г о. Меня он уже не видел и никаких моих писем прочесть не мог.

По полутемным комнатам, старомодным покоям дома Симпсонов, где он жил, опекаемый слугами-японцами, служившими в доме с незапамятных времен, он бродил ощупью между своей спальней, библиотекой и столовой, операция катаракты не дала результатов, а первый глаз был потерян давно.

Нелль любила Лонгшен, как и все, кто бывал там, она любила тихие утра, огород, куда она отправлялась перед ранним обедом за свежим салатом, укропом и луком; она садилась на площадке (которую мы называли террасой), где цвели розы, а по вёснам — миндаль, и чистила горошек своими красивыми пальцами с длинными острыми ногтями. Она была красива, спокойна, умна и всегда что-нибудь рассказывала: об Австралии, где она родилась и росла, об Италии, куда она уехала после первой мировой войны, надеясь познакомиться там с русскими, после того как начала бредить Россией, прочтя „Дневник Марии Башкирцевой". В Италии она встретила Надежина (внука автора франко-русского словаря Макарова), певца и покорителя женщин, и вышла за него замуж. Певец, несмотря на связи в Лондоне и на пробу, устроенную ему в Ковен-Гардене, был в оперу забракован, работать не любил, изменял ей с полуумными пожилыми англичанками, богатыми и неприкаянными. Нелль развелась с ним, и он соединил свою судьбу с одной из этих особ, женой известного английского писателя, поселился с ней в ее вилле на Капри, пока они не съели и виллу эту, и всё остальное. Он пытался сочинять романсы, писать стихи, наконец принялся за свои „мемуары" — как пили и ели в старой России . . . Всё это было пошло и бездарно, никому не нужно, и в одном архиве мне однажды пришлось прочесть конец его истории, из которой явствовало, что он ухаживал за цветами, гулял с собачками, готовил русские котлеты, когда собирались гости, и пел свои романсы другим женам английских писателей, к которым его подруга его ревновала. Кончилось всё бедностью, болезнями, вымаливанием скудных средств у загулявшего где-то на шотландских островах мужа (содержавшего целый гарем), отказавшегося содержать свою жену и ее любовника, неудачного певца и, судя по всему, дурака и лентяя.

Таково было первое знакомство Нелль с русскими. Через несколько лет после того, как она рассталась с Надежиным, она встретила А. Ф. Керенского.

Она чистила бобы, резала помидоры и рассказывала занятные истории о странах и людях. У нее были плечи и грудь, как у Анны Карениной, и маленькие кисти рук, как

у Анны, и глаза ее всегда блестели, и какие-то непослушные пряди выбивались из прически около ушей. Я тогда не знала английского языка, разговоры наши шли по-французски, и есть фотография, где она и я лежим в густой траве, в конце сада, в одинаковых ситцевых платьях, и смеемся, глядя друг на друга.

В ночь их отъезда, за два дня до падения Парижа в 1940 году, я стелила им постель, от слез ничего перед собой не видя. Она, разбирая в чемодане какие-то вещи, требовала от меня, чтобы я обещала „если что-нибудь случится" приехать к ней, где бы она ни была, и жить с ней, „под ее крылышком" — она понимала по-русски и любила это выражение. Помню мой синий передник, которым я вытирала глаза, парусиновые туфли, которыми топала по комнате, где жили обычно гости и в которую по утрам, когда двери были открыты, залетали ласточки, пролетали из двери в окно. Иногда в теплые ночи, к ним в открытую дверь забредала наша собака и свернувшись калачом ложилась у кровати на коврике, а кот, тихонько сказав что-то, прыгал через нее и устраивался в ногах постели. Но А. Ф. животных не жаловал, и кот, чувствуя это, норовил устроиться подле Неллиных колен.

Она любила наши вечера, тихие звездные ночи всё на той же площадке, среди роз, под миндальным деревом, тихие разговоры, далекие ночные деревенские звуки, изредка быстрый полет летучей мыши над нашими головами. Она любила ходить за грибами и сидеть под ореховым деревом на лавочке, смотря на лес, на той самой лавочке, на которой мы потом не сидели, дав один зарок, и которая потом сгнила под этим орехом...

Автомобиль их, тяжело нагруженный, двинулся в путь на рассвете 12-го июня. И больше я Нелль не видела: она умерла в апреле 1946 года, в Австралии, куда она уехала с А. Ф. к своим родителям (у отца было мебельное дело), к сестрам и братьям, в свое время не прочитавшим „Дневник Марии Башкирцевой" и мирно жившим в Австралии без забот и тревог. А. Ф. долго не мог выехать из Брисбена, застряв там: все пароходы были заняты репатриированием демобилизованных после окончания войны. Сначала в Париж пришла его телеграмма о ее смерти, потом — письмо,

которое я привожу почти полностью. В некоторых выражениях этого письма Керенский вырастает во весь рост своей человеческой сущности, и я думаю, что у большинства читателей после чтения его останется впечатление, что у писавшего бывали, если и не дни, то во всяком случае часы раскрытия своей подлинной человечности.

„17-го апр. 46 г.

Христос Воскрес!

Не удивляйтесь, милая Нина Николаевна, тому что я пишу Вам, не ожидая Вашего обещанного письма. Каюсь в своей слабости — я не в силах молча нести всё в себе, а здесь я в людской для меня пустыне — близким по плоти, она была чужда по духу . . . Последнее Ваше письмо (янв.) пришло еще не слишком поздно: я мог ей прочесть его, она радовалась вестям от Вас, вспоминала много и мечтала, как мы опять полетим в Париж — „отдохнуть у Нины" . . . С середины января началась ее крестная мука, ибо ей не был дан легкий уход. Нет, она уходила, отчаянно сопротивляясь, ибо воля ее к жизни и сознание были невероятной, удивлявшей врачей силы. Одно время даже приток „воды" остановился и я даже зная приговор еще в Нью-Йорке, молился исступленно о чуде . . . Как то она послала меня к настоятельнице кармелит. монастыря, чтобы для нее служили „новенны" (православн. священник здесь дикий черносот.) и, когда я вернулся, она радостно сказала: как только ты поехал мне стало лучше, теперь я поправлюсь. И, действительно, несколько дней силой верующей воли она не страдала. Потом всё возобновилось с новой силой, но наша внутрен. жизнь до конца шла в каком то другом, не обычном плане, обозначить который словами я не могу, не решаюсь . . . После, в середине ф. (февраля), второго (первый был 5-го в апр. прош. г.) мозгового „шока", общение с внешним миром стало всё труднее для Нелль. Она потеряла ключ к своему земному естеству. Всё чаще ее уста произносили не те слова, которые она ХОТЕЛА. Но не было никакого сомнения для меня, что ее сознание живо и борется с телесными

препятствиями, а НЕ распадается. Надо было только подсказать ей потерянное слово и мысль ее делалась доступной. ТАК БЫЛО ДО САМОГО УХОДА, хотя препятствия к проникновению в наш мир становились для нее всё непреодолимее. Как непостижимо для гениального человека далек был Толстой в отвратительной картине Ив. Ильича от понимания, от ощущения ПРЕОБРАЖЕНИЯ жизни, что мы называем смертью человека. Да, описано беспощадно правильно. Милый друг! Вы ужаснулись бы, увидя обезображенное прекрасное тело Нелл — то страшное, заливаемое „водой", безмерно отяжелевшее, с пролежнями тело! Но Вы преодолели бы Ваш малодушный ужас перед ее силой Духа, перед мужеством, с которым она сама следила за приливающей всё выше волной... За десять дней до ухода после трех сердеч. аттак — она на рассвете в ясном сознании просила меня сказать ей всю ПРАВДУ... Я сказал, что скоро она перестанет страдать, что жизнь будет радостной... Она сказала: молись вместе, не оставляй меня одну (а я долгие недели был около нее и день и ночь). Потом без слов мы простились и она попросила читать Евангелие. Я начал читать Нагорн. Проповедь и она спокойно заснула... После этой ночи началась агония... За два дня до ухода „вода" сдавила гортань и она только изредка могла проглатывать несколько капель воды. В ночь перед концом она позвала меня — „мне страшно, держи меня крепко"... К полдню, в среду 10-го апр. она дышала с великим трудом... В 1 ч. 24 м. она тихо, тихо ушла. И странно — именно в это мгновение я потерял сознание и услышал над собой голос чудесной сестры м. (милосердия) „ай эм сори ши паст". Нас было трое в комнате — Нелл, сестра и я. Сестра пошла сказать матери. А я прочел Нелл русские молитвы, какие помнил. Потом мы с сестрой, вдвоем, обрядили ее и покрыли ее всю, чтобы никто не увидел ее искаженную красоту. Потом пришел прочесть молитвы еписк. священник. Всю ночь я читал ей Евангелие (нечто непонятное австралийцам как и американцам). На другой же день ее останки были сожжены. Когда перед уво-

зом мы (сестра м., двое из бюро и я) полагали ее тело в гроб, случилось разумом необъяснимое: лицо ее коснувшись гр. (гробовой) подушки на мгновение просияло и на нем появилась ясная, счастливая УЛЫБКА. — Сестра, она улыбается, — вскрикнул я. — Это судорога мускулов, ответила она. Но почему эта улыбка ИСЧЕЗЛА без новой „судороги", исчезла, как исчезает радуга?! Милые друзья, посмейтесь надо мной про себя, но не предавайте меня на посмеяние другим, ибо мое видение — соблазн для рассудочного мира, в котором мы живем . . . Но для меня, пережившего вместе с Нелл смерть, как преображение жизни, знамение оттуда не „бред", а такой же факт, как „радио-передача". Только себя я считал и считаю Не достойным такого касания. И я не знаю, чем я заслужил такую милость. Ибо не достаточно понимал ее и служил ей . . . Сегодня прошла первая неделя. Жизнь вне меня вернулась в привычную колею, а мне это невыносимо, а бежать некуда! Пароходов нет и неизвестно, когда будут — в мае или июне. Мне было бы легче совсем одному, но я не могу, не обидев, выехать из дома, а Нелл к тому же просила меня помочь родителям без нее . . . Только здесь, узнав среду и семью, из которой она вышла, я понял до конца несомненную неудачу жизни Нелл, которую в мое время уже нельзя было выправить. Но об этом у меня нет сил сейчас писать . . . Жду Ваших писем. Посылка Вам, милая Нина Николаевна, выслана с большим запозданием, за что не браните меня . . . Я бы с радостью вернулся во Фр., но судя по письмам В. А. (Маклакова) в Нью-Йорк, вы скорее появитесь в С. Ш. чем мы в Париже. Так ли безнадежно, действительно положение? Где же предел распаду не только, ведь, одной Франции?!
Обнимаю Вас крепко, крепко. Память о Нелл будет новой между нами скрепой. А помните последнюю ночь у Вас?! . . .

Ваш всегда

А. К.

Кланяйтесь (одно слово неразборчиво) Зайцев. и Маклак., и тем, кто помнит. А Бунин то!!"

Это последнее восклицание относится к посещению Буниным советского посла. Предположение, что мы все, парижские, скоро окажемся в США, основано на крайне пессимистических письмах В. А. Маклакова, в которых он писал Керенскому в Нью-Йорк, что русскую эмиграцию французское правительство (в которое входили в это время коммунисты) может выслать в Советский Союз.

В октябре 1949 года А. Ф. приехал в Париж. Ночью, на вокзале Инвалид, я встречала его после девяти лет разлуки.

Всё было странным в этой встрече: то, что он прилетел один, то что я встречаю его одна, что ему не к кому поехать в первый вечер, что я сняла ему комнату в отеле в Пасси, где его видимо не знали и где никто не удивился его имени. В Пасси когда-то его знали хорошо, теперь оставалось одно единственное место, где его еще помнили: кафе де Турелль, на углу перекрестка улиц Альбони и бульвара Делессер. Там старые лакеи называли его „господин президент" с 1919 года.

Опять бобрик и голос, но что-то еще больше омертвело в глазах и во всем лице, впечатление, что он не только не видит, но и не смотрит. Он говорит без конца, взволнованный приездом, приходит ко мне на следующий день и читает мне „историю болезни и смерти Нелль", записанную им. В Брисбене была такая жара, что ее должны были сжечь меньше чем через двадцать четыре часа после смерти. Ей было страшно, а когда-то ей ни от чего не было страшно, разве что от идущих немецких войск, когда она однажды расплакалась, повторяя, что А. Ф. немцы немедленно посадят в тюрьму „как Шушнига". Она повторяла „как Шушнига" и плакала. Однажды она спросила меня, есть ли шанс, что он когда-нибудь въедет в Москву на белом коне? Я сказала, что шанса такого нет.

Он больше интересовался „политической ситуацией", чем положением общих друзей, это всегда было его отличительной чертой. Он спрашивал о русской печати в Париже, о том, кто остался, кто еще может что-либо делать, видимо интересуясь всем тем что могло бы послужить в дальнейшем общему политическому делу. Естественно для него было поскорее найти свое место в этом хаосе. Но „атмосферы", которую он искал, — не было, „ситуации" тоже

не было. Ничего не было. Была страшная бедность, запуганность, усталость от пережитого, отмежевание от людей, служивших оккупантам, отмежевание от людей, клевещущих на невинных, раздел между „советскими патриотами" (часто запачканными коллаборацией с немцами) и нами, неуверенность в том, что наш злосчастный „статут" бесподданных нам оставят по-прежнему. А. Ф. поехал в Германию создавать какой-то русско-американский или американо-русский комитет. Из этого для него кажется вышел один конфуз. Он считал себя единственным и последним законным главой российского государства, собирался действовать в соответствии с этим принципом, но в этом своем убеждении сторонников не нашел.

Я никогда не просила его ни о чем — ни тогда, ни позже, когда приехала в С. Ш. А. Я даже совета у него не просила, а совет, между прочим, в С. Ш. А. важнее всего на свете. Но он не любил давать советов, и я это знала, он не любил касаться чужих проблем, чужих трудностей. Возможно, что он боялся риска, потому что в каждом совете есть риск. Выражение „боялся риска" может показаться в применении к нему иронией. Сам он был лишен какого-либо чувства юмора и понимания комических положений как своих, так и чужих. В Америке у нас было с ним около десятка „задушевных" разговоров. Они разумеется касались его дел, не моих.

Один из наиболее важных разговоров я хорошо помню. Этот разговор начала я. Он был мне труден, но я решилась на него. Мне стало известно (году в 1958-ом), что после смерти в Швейцарии Ек. Дм. Кусковой ее архив по ее распоряжению был передан в Парижскую Национальную Библиотеку с тем, чтобы бумаги, относящиеся к 1917 году, были опубликованы в 1987 году. Не знаю, все ли здесь верно. Я узнала также, что в этих бумагах есть ответ на загадку, почему Временное правительство летом 1917 года не заключило сепаратного мира с Германией и настаивало на продолжении войны: ответ этот надо искать в факте приезда в Петербург в июле французского министра Альбера Тома, которому якобы дано было торжественное обещание „не бросать Франции". Эта клятва связывала русских министров с французским министром, как масонов.

Члены Временного правительства Терещенко и Некрасов (первый не был даже членом Думы, второй был членом „прогрессивного блока" Думы), два сотрудника Керенского, оставшиеся с ним до конца, принадлежали к той-же ложе, что и он сам. Даже когда стало ясно, что (в сентябре 1917 года) сепаратный мир мог спасти февральскую революцию, масонская клятва нарушена не была. Кускова, которая сама принадлежала к масонству (редкость для женщины), видимо, многое знала.

Вопрос о причинах почему именно Керенский, Терещенко и Некрасов настаивали на продолжении войны начал меня интересовать еще в начале 1930-ых годов и вплоть до этой минуты беспокоит меня и волнует. Я назову пять человек, с которыми в разные годы я вела на эту тему беседы. Я ничего не услышала от них положительного и фактического, но кое-что, особенно в сопоставлении ими сказанного, приоткрыло мне прошлое, недостаточно чтобы сделать исторический вывод, но достаточно чтобы твердо знать, в каком направлении лежит ответ на вопрос. Эти пять человек: Василий Алексеевич Маклаков, Александр Иванович Коновалов, Александр Иванович Хатисов, Николай Владиславович Вольский и Лидия Осиповна Дан.

С В. А. Маклаковым я говорила об этом в годы нашей дружбы, которые пришли значительно позже, чем годы просто светского знакомства. Я знала его с 1925—26 г. г., познакомилась с ним у М. М. Винавера и виделась затем в течение 15-ти лет не более 3—4 раз в год. Но в начале войны и во время оккупации немцами Парижа (т. е. в 1940—44 г.) и в связи с вывозом Тургеневской библиотеки в Германию, я стала часто заходить к нему и вплоть до его ареста немцами навещала его на его квартире на улице Станислас, где он жил со своей сестрой, Марией Алексеевной, и старой прислугой. И брат, и сестра никогда женаты не были.

Он, как впрочем и некоторые другие бывшие правые кадеты и „прогрессисты", тяжело переживал свою вину и роль в революции. Он говорил, что не только не надо было Милюкову произносить свою знаменитую речь в Думе в ноябре 1916 года „Глупость или измена?", но не надо было и убивать Распутина. Будучи сам крупным масоном он глубоко (и вероятно несправедливо) презирал тех членов

ложи (главным образом, московской), которые „конспирировали еще в 1915 году". Я имею основания думать, что в его бумагах остались его записи об этом, та часть его мемуаров, которая, конечно, до сих пор напечатана быть не могла.

Вторым человеком, с которым я говорила на эти темы, был А. И. Коновалов. Мы подружились в редакции „Последних новостей", где он был председателем правления этого коммерческого предприятия. Я у него не бывала, но он бывал у меня и даже два раза приезжал ко мне в Лонгшен (с женой, француженкой, Анной Фердинандовной). Отношения наши были теплые и простые еще в начале 1930-ых годов, когда я работала регулярно в редакции газеты. В редакционном помещении была так называемая „умывалка", где на плите неизменно стоял чайник, из которого каждый наливал себе чай. Тут же люди мыли руки, машинистки пудрились, сотрудники собирались обсуждать дела — частные и общие. Александр Иванович регулярно приходил со своим стаканом, завидя меня. Мы перекидывались несколькими фразами. Один раз он мне сказал (понимая сам, что разговор этот не может быть серьезным), что он бы хотел видеть меня женой своего сына (профессора Кембриджского университета, Сергея Александровича, с которым я была отдаленно знакома).

Коновалов принадлежал к тому роду русских людей, в которых с годами появляется что-то тяжелое, медленное, неповоротливое, и вместо того, чтобы это преодолевать, они его еще больше подчеркивают. В 50 лет он выглядел на 60, и *делал вид*, что ему 70. Прекрасно расслышав и поняв сказанное, он с каменным лицом смотрел на собеседника, делая вид, что все еще что-то соображает, затем тяжелой походкой выходил из комнаты, затем через минуту возвращался, и медленно и глухо отвечал на поставленный вопрос или смеялся шутке. Я несколько раз обедала с ним вдвоем в большом и почему-то всегда пустом русском ресторане около Этуали, недалеко от дома, где он жил. И так случилось, что постепенно от малых тем, шуток и острот, мы оба перешли к прошлому. Это началось, мне кажется, после моего вопроса — не оригинального, и даже не очень как-будто-бы важного — почему он не пишет во-

споминаний? Все пишут, сказала я, а вот он не пишет. Нет, сказал он, Терещенко вот тоже молчит.

Этот ответ удивил меня. Терещенко — я тогда этого не знала — оказывается тоже был эмигрант, но в нашей жизни не участвовал. Почему? А вот Некрасов, — сказал А. И., — остался т а м... О Некрасове я совсем забыла: этот, как и Коновалов, как и Терещенко, до конца оставался с Временным правительством.

Один разговор с А. И. я записала в общих чертах, он мне показался интересным, хотя его важность я поняла значительно позже. Это было в 1936 году летом, когда „Последние новости" печатали воспоминания А. И. Гучкова, недавно умершего (военный министр Временного правительства, первого состава). Коновалов от Гучкова перешел к масонам — Гучков был масон и это было общеизвестно. Я подозревала тогда, что Коновалов тоже масон, но конечно знала, что спрашивать об этом нельзя. Мы заговорили о двух парижских ложах, основанных в начале эмиграции крупными русскими масонами, при главном участии Маклакова и Авксентьева. А что было в России в последний год перед революцией? — спросила я.

— Искали поддержку радикалов, — сказал А. И.

— Искали поддержку в армии.

От этой темы мы перешли к генералам царской армии, к Алексееву, которому принадлежала первая редакция отречения, когда царь отрекся за себя, в пользу сына. От Алексеева — к Крымову, который застрелился сейчас-же после дела Корнилова. По странной (тогда) и понятной мне (теперь) ассоциации мы перешли к июльским событиям 1917 года, к приезду из Франции министра Альбера Тома. Затем разговор зашел о Горьком и о близости Ек. Павл. Пешковой (первой его жены) к Екатерине Дмитриевне Кусковой. „Да, существует их переписка, и несмотря ни на что, каждый раз, как Пешкова выезжает заграницу, она бывает в Праге у Кусковой." О том, что Кускова — член масонской ложи, я знала: мне когда-то сказала об этом Е. Нагродская, автор „Гнева Диониса", стоявшая во главе женской ложи в Париже и пригласившая меня однажды на полу-открытое собрание (где были и мужчины).

Я попросила А. И. рассказать мне о роли масонства в России, в Государственной Думе, во время великой войны. Он неподвижно и долго смотрел на меня.

— Если вы мне ничего не расскажете, я Василия Алексеевича спрошу. Он мне все расскажет, — сказала я в шутку, но Коновалов не улыбнулся.

— Нет, — сказал он медленно, — и Василий Алексеевич ничего вам не расскажет, и я ничего не скажу.

— Тогда напишите и заройте на сто лет.

— И этого не сделаю.

Теперь, глядя назад в это далекое парижское эмигрантское прошлое, я думаю, что я сделала ошибку не пытаясь поговорить с глазу на глаз о роли русского масонства в годы первой мировой войны, с генералом А. Спиридовичем, с которым я была знакома через д-ра М. К. Голованова, который одно время лечил (даром) Ходасевича. Как бы ни было предвзято его суждение и как бы отрицательно он ни относился к „прогрессивному блоку" и кадетской партии Государственной Думы в свое время, я могла бы может быть узнать у него хотя бы малую долю правды. Но, конечно, в те годы осуществить контакт с таким человеком как Спиридович для меня было невозможно: он был „жандарм", и я с „жандармами" ничего не могла иметь общего. (Тем не менее, должна признаться, что с другим „жандармом", М. Кунцевичем, у меня однажды была встреча и разговор зашел о деле Бейлиса: это было в 1931 году и я спросила чиновника царской полиции, кто был инициатором клеветы на Бейлиса, и думал ли он, Кунцевич, хотя бы минуту, что была в обвинении доля правды? Он ответил мне (с глазу на глаз, конечно), что никогда у него не было сомнения, что все дело было выдумано Щегловитовым, о чем он знал с самого начала).

А. И. Хатисов (женатый на русской) был давним другом моего отца и крупный деятель Армении в 1917 году. Он во время первой войны был городским головой Тифлиса, знал меня с детства, а в Париже был чем-то вроде „главы" русских армян, как Маклаков был „главой" русских „апатридов". Хатисов был крупный масон, перед самой войной (второй, конечно), я встречалась с ним у другого друга нашей семьи, Л. С. Гарганова, имевшего отношение к кино-

компании Лианозова. Хатисов однажды сказал мне. что если бы я хотела войти в женскую ложу русских масонов, то мне стоит только ему об этом сказать. Он также спросил меня, знаю ли я, что такое современное масонство и особенно — масонство русское? Я ответила, что знаю больше, чем он предполагает, назвала ему обе русские ложи в Париже (так называемую „правую" и „левую"), а также около 18-ти фамилий наших общих знакомых, которых он имел возможность видеть каждый четверг в здании Гранд Ориан на улице Кадэ (а по вторникам — в Гранд Лож). Он засмеялся и сказал, что он, как известно, связан клятвой и ничего мне ответить не может, но что он советует мне стать членом женской ложи и затем написать роман о современном русском масонстве.

— А как насчет „не-современного" русского масонства? — спросила я его. — Как насчет 1915, 16, 17 годов, „прогрессивного блока", Государственной Думы, „рабочих групп", генералов Алексеева и Крымова? Думцев Гучкова и Аджемова? Министров французского правительства и их русских друзей?

Он перевел разговор, но я увидела, что попала в точку.

Другой человек, тоже унаследованный мною — только не от отца, а от матери, — была Лидия Осиповна Дан, урожденная Цедербаум, жена Ф. Дана, известного меньшевика, и сестра Юлия Мартова, теоретика и лидера русской социал-демократии. Она в течение многих лет сидела на одной парте в классе с моей матерью, в Мариинской гимназии, в Чернышевом переулке, в Петербурге. Моя мать девочкой бывала в доме Цедербаумов (это было в начале 90-ых г. г.). Разговоры с Л. О. Дан у меня были уже после смерти ее друга, Ек. Дм. Кусковой, в Нью-Йорке, где я встретилась с Л. О. Дан раза три, в 1958 году. Она относилась ко мне всегда тепло, в начале 30-ых г. г., когда я с ней познакомилась (через Ларионова и Гончарову), и в конце 50-ых г. г., незадолго до ее смерти. Несмотря на то, что они вовсе не были похожи, она чем-то напоминала мне Наталию Ивановну Троцкую, которая тоже (по непонятным мне причинам) относилась ко мне с большим вниманием, а к моим писаниям даже с увлечением — в свое время нас свел сын Виктора Сержа, художник. Л. О. Дан

в одну из последних наших встреч сказала мне об архивах Кусковой и назвала человека, который „знает обо всем" — как ни странно, это была Ек. Павл. Пешкова, первая жена Горького. Она умерла в 1965 году, в Москве. В годы до революции она, как я понимаю теперь, тоже состояла в масонской ложе (московской) вместе с Кусковой. Членом Петербургской женской масонской ложи была, как известно, Ариадна Владимировна Тыркова.

Услышав от Л. О. Дан, что архивы Кусковой „заперты" до 1987 года, я поняла, что мне их никогда не увидать, и спросила, почему надо ждать так долго? Л. О. ответила, что Кускова считала, что необходимо дождаться, когда все, кто так или иначе действовал в 1917 г., умрут. „Есть тайны, которые надо открывать как можно позже", — сказала Л. О. и добавила, что „там лежит ответ на вопрос, почему Временное правительство не заключило сепаратного мира с Германией". Я поняла ее так, что „даже в сентябре еще было не поздно. Но они не пошли на это". (Именно в сентябре 1917 года военный министр Верховский — позже написавший свои воспоминания — считал, что необходимо заключить мир, но не Керенский, не Терещенко, и не Некрасов).

Отношения мои с Н. В. Вольским, одно время очень дружеские (как и с его женой, Валентиной Николаевной), были разрушены недоразумением. После откровенных разговоров в конце 40-ых г. г. о настоящем и прошлом, переписки в 50-ых годах, когда я уже была в Нью-Йорке (у меня от него около 80 писем), он напечатал свои воспоминания о Блоке и Белом полные желчи, обиды, злобы и искажений. Боясь, что я разорву с ним отношения, он прекратил мне писать.

Он, конечно, не будучи замешан в дела русских масонов, и не связанный клятвой тайного общества, не стеснялся со мной. Для него не было сомнений, что масонская связь держала правительство Керенского летом и осенью 1917 года в параличе, что еще с 1915 года установилась особая тайная связь между 10-ью или 12-тью членами кадетской партии (правой и левой ее части), а также несколькими трудовиками с одной стороны, и несколькими активно мыслящими генералами высшего командования с другой;

что приблизительно с этого времени был разработан некий политический план, в который были посвящены английские и французские члены дружественных лож, и что клятва была дана торжественная и нерасторжимая. Об этом-то Кускова, по словам Вольского, и оставила неопровержимые доказательства в своих бумагах.

И вот я однажды спросила Керенского об этом.

— Я считал Екатерину Дмитриевну своим другом, — ответил он, — а она...

— Но не в этом дело. Вы что-то должны объяснить, ответить.

Молчание.

— Может быть все это ложь?

Молчание.

— Сколько вы еще хотите ждать? Сейчас уже никого не осталось в живых, недавно и Терещенко умер. Не пора ли ответить...

Он посмотрел куда-то в сторону и вдруг оглушительно громко запел марш из „Аиды".

Я похолодела. Он громко пел, на всю квартиру. Он в эти минуты видимо хотел „извести" меня, как он „изводил" свою подругу ранних лет эмиграции, которая кроме этого пения не могла от него ничего добиться в течение многих дней. Когда А. Ф. допел свой марш, разговор наш был кончен. И он очень скоро ушел.

Были и другие „задушевные" разговоры, когда он объявлял, что ему больше деваться некуда, а я говорила, что пора подумать, как устроить свою жизнь, где жить, с кем и как. Я видела, как он стареет, как слепнет. Но он либо заявлял, что погибнет очень скоро в авиационной катастрофе, либо сердито говорил, что никогда не будет инвалидом, никогда не выживет из ума, „хотя вы кажется думаете, что я уже выжил!" Иногда он оказывался в боевом настроении:

— Вы считаете меня дураком...

Или:

— Вы всегда думали, что я ничего не понимаю...

Однажды я полушутя сказала ему:

— У Сталина, оказывается, на ночном столике лежали сочинения Макиавелли. У Черчилля — тоже. У Рузвельта

— тоже. У Наполеона — тоже. У Бисмарка, у Дизраэли — тоже. А у вас они не лежали.

Он вдруг побледнел, встал, подошел к углу комнаты, где стояла его трость, взял с вешалки шляпу и пошел к дверям. Я не двинулась. Когда он выходил на лестницу, я сказала:

— Александр Федорович, предупреждаю вас, что я не побегу за вами по лестнице, умоляя вас вернуться и прося у вас прощения.

Он вышел, хлопнул дверью так, что дрогнул дом. В час ночи он позвонил мне по телефону и извинился за свой поступок.

И вдруг он перестал скрывать свой возраст, который впрочем всем был известен. (Мне вспоминается В. А. Маклаков, у него я видела брошюру, изданную кажется перед первой мировой войной, это был справочник Государственной Думы. Там были напечатаны данные о членах Думы, их год рождения, и Маклаков на том месте, где был его год, проткнул дырку). Он перестал говорить о том, сколько нынче отмахал километров, перестал намекать, что ведет напряженную умственную и светскую жизнь, что видит только знаменитых и власть имущих людей. Он стал вдруг обыкновенным старым человеком, довольно беспомощным, одиноким, полуслепым и сердитым. Мне вспоминался, когда я смотрела на него, мой собственный дядюшка, который в сороковых годах в Париже умер от полной своей ненужности, перед смертью говоря:

— Женщины, за которыми я когда-то ухаживал (рысаки, шампанское, цыганские романсы) теперь давно бабушки, а их внучкам я совершенно не интересен.

И я навещала его, не приходила к нему, а именно — навещала, раза два в год, и рассказывала ему только приятное и веселое, (его не так-то легко было найти). Его последняя книга, которую он писал в Калифорнии, вышла в 1965 году и теперь стоит на полках американских библиотек. Работать ему было трудно, он говорил, что не может перечитать и исправить того, что секретарша пишет под его диктовку. Людей вокруг него почти не оставалось.

Передо мной моя календарная запись 1932 года:

Октябрь 22 — Набоков, в „Посл. Нов.", с ним в кафе.

„ 23 — Набоков. У Ходасевича, потом у Алданова.
„ 25 — Набоков. На докладе Струве, потом в кафе „Дантон".
„ 30 — Набоков. У Ходасевича.
Ноябрь 1 — Набоков.
„ 15 — Вечер чтения Набокова.
„ 22 — Завтрак с Набоковым в „Медведе" (зашел за мной).
„ 24 — У Фондаминских. Набоков читал новое.

Я вижу его входящим в редакционную комнату „Последних новостей", где я тогда работала ежедневно: печатала рассказы, критические статьи и заметки (главным образом о советских книгах), сотрудничала как кино-критик по пятницам, когда бывала кино-страница, иногда заменяла в суде репортера, или интервьюировала кого-нибудь, помещала в газете стихи и, конечно, печатала на машинке. Он был в то время тонок, высок и прям, с узкими руками, длинными пальцами, носил аккуратные галстуки; походка его была легкой, и в голосе звучало петербургское грассирование, такое знакомое мне с детства: в семье тверской бабушки половина людей грассировала. Мережковский картавил, Толстой в свое время картавил. И бывший царский министр, Коковцев, доживающий свой век в Париже, (ум. в 1942 г.), когда произносит звук „р", как бы полощет горло, говоря „покойный государь император".

Перед входом в метро Арс-э-Метье, в самом здании русской газеты, мы сидели вдвоем на терассе кафе, разговаривали, смеялись. Один из последних дней „терассного сидения" — деревья темнеют, листва коричневеет, дождь, ветер, осень; вечерние огни зажигаются в ранних сумерках оживленного парижского перекрестка. Радио орет в переполненном кафе, люди спешат мимо нас по улице. Мы не столько любопытствуем друг о друге „кто вы такой?" „Кто вы такая?" Мы больше заняты вопросами: „что вы любите? кого вы любите?" (Чем вы сыты?)

В „Последних новостях" он в те годы был гостем. Когда приезжал из Берлина, кругом него были люди восторженно его встречавшие, люди знавшие его с детства, друзья Вла-

димира Дмитриевича, (его отца, одного из лидеров кадетской партии в Думе), русские либералы, Милюков, вдова Винавера, бывшие члены Петербургской масонской ложи, дипломаты старой России, сослуживцы Константина Дмитриевича (дяди Набокова), русского посла в Лондоне, сидевшего там до того дня, когда советская власть прислала в Англию своего представителя. Для всех этих людей он был „Володя", они вспоминали, что он „всегда писал стихи", был „многообещающим ребенком", так что не удивительно, что теперь он пишет и печатает книги, талантливые, но не всегда понятные каждому (странный русский критический критерий!).

Итак, в помещении русской газеты все пришли взглянуть на него, и Милюков несколько торжественно представил его сотрудникам. В 1922 году два фашистских хулигана в Берлине целились в Милюкова на эмигрантском политическом митинге, и тогда Влад. Дмитр. Набоков защитил его своим телом, так что пуля попала в Набокова и убила не того, кому была предназначена. Теперь сын делался сотрудником газеты Милюкова.

Оба раза в квартире Ходасевича (еще недавно и моей, а сейчас уже не моей) в дыму папирос, среди чаепития и игры с котенком, происходили те прозрачные, огненные, волшебные беседы, которые после многих мутаций перешли на страницы „Дара", в воображаемые речи Годунова-Чердынцева и Кончеева. Я присутствовала на них и теперь — одна жива сейчас, свидетельница этого единственного явления: р е а л ь н о г о с о б ы т и я, совершившегося в октябре 1932 года (улица Четырех Труб, Биянкур, Франция), ставшего впоследствии в о о б р а ж а е м ы м ф а к т о м (т. е. наоборот тому, что бывает обычно), никогда до конца не воплощенным, только проектированным фантазией, как бы повисшим мечтой над действительностью, мечтой, освещающей и осмысляющей одинокую бессонницу автора-героя.

О Набокове я услышала еще в Берлине, в 1922 году. О нем говорил Ходасевичу Ю. И. Айхенвальд, критик русской газеты „Руль", как о талантливом молодом поэте. Но Ходасевича его тогдашние стихи не заинтересовали: это было бледное и одновременно бойкое скандирование стиха, как

писали в России культурные любители, звучно и подражательно, напоминая — никого в особенности, а в то же время — всех: Блока —

Конь вороной под сеткой синей,
Метели плеск, метели зов,
Глаза, горящие сквозь иней,
И влажность облачных мехов

(Набоков, 1921)

Псевдонародный стих:

Передо мною, за мною, повсюду ты,
ах, повсюду стоишь, незабвенная,
. . . .
и душа твоя — нива несжатая

(Набоков, 1922)

И — позже — Пушкина, конечно:

Ножи, кастрюли, пиджаки
Из гардеробов безымянных,
Отдельно в положеньях странных
Кривые книжные лотки,
Застыли, ждут, как будто спрятав,
Тьму алхимических трактатов.

(Набоков, 1927)

Через пять лет мелькнула в „Современных записках" его „Университетская поэма". В ней была не только легкость, но и виртуозность, но опять не было „лица". Затем вышла его первая повесть, „Машенька"; ни Ходасевич, ни я ее не прочли тогда. Набоков в „Руле" писал иногда критику о стихах. В одной рецензии он, между прочим, упомянул мою „живость" и очень сочувственно отозвался и обо мне, и о Ладинском, как о „надежде русского литературного Парижа" (Айхенвальд там же, незадолго до этого, написал обо мне большую статью).

Однажды, в 1929 году, среди литературного разговора, один из редакторов „Современных записок" внезапно объявил, что в ближайшем номере журнала будет напечатана замечательная вещь. Помню, как все навострили уши.

Ходасевич отнесся к этим словам скептически: он не слишком доверял вкусу М. В. Вишняка; старшие прозаики с беспокойством приняли эту новость. Я тогда уже печатала прозу в „Современных записках" и вдруг почувствовала жгучее любопытство и сильнейшее волнение: наконец-то! Если бы только это была правда!

— Кто?

— Набоков.

Маленькое разочарование. Недоверие. Нет, этот, пожалуй, не станет „нашим Олешей"*).

Об Олеше (и я этим горжусь) я написала в эмигрантской печати первая. Это было летом 1927 года, когда „Зависть" печаталась в „Красной нови", а я писала для парижской газеты хронику советской литературы. Считалось, что ее пишет Ходасевич, но на самом деле писала ее я, подписывала „Гулливер" (по четвергам, в „Возрождении") и таким образом тайно сотрудничала в обеих газетах, что, разумеется, открыто делать было совершенно невозможно. Я делала это для Ходасевича, который говорил, что неспособен читать советские журналы, следить за новинками. Это оставалось тайной ото всех, вплоть до 1962 года, когда аспирант Харварда, Филипп Радли, писавший диссертацию о Ходасевиче, сказал мне, что он недавно узнал от кого-то, что Ходасевич под псевдонимом Гулливер регулярно давал в газету „Возрождение" отчеты о советской литературе. Мне пришлось признаться ему, что Гулливер была я, но что Ходасевич, конечно, редактировал мою хронику, прежде чем печатать ее, как свою, иногда добавляя что-нибудь и от себя.

Итак, летом 1927 года я прочитала „Зависть" и испытала мое самое сильное литературное впечатление за много лет. Это было и осталось для меня крупнейшим событием в советской литературе, пожалуй даже большим, чем „Волны" Пастернака. Передо мной была повесть молодого, своеобразного, талантливого, а главное — живущего в своем времени писателя, человека, умевшего писать и писать совершенно по-новому, как по-русски до него не писали, обладавшего чувством меры, вкусом, знавшего, как пере-

---

*) Кстати, Олеша и Набоков родились в один год — 1899

плести драму и иронию, боль и радость, и у которого литературные приемы полностью сочетались с его внутренними приемами собственной инверсии, косвенного (окольного) показа действительности. Он изображал людей, не поддаваясь при этом изображении соблазну „реализма", давал их в собственном плане, на фоне собственного видения мира, со всей свежестью своих заповедных законов. Я увидела, что Олеша — один из немногих сейчас в России, который знает, что такое подтекст и его роль в прозаическом произведении, который владеет интонацией, гротеском, гиперболой, музыкальностью и неожиданными поворотами воображения. Сознательность его в осуществлении задач и контроль над этим осуществлением, и превосходный „баланс" романа были поразительны. Осуществлено было нечто, или создано, вне связи с „Матерью" Горького, с „Цементом" Гладкова и вне „Что делать?" Чернышевского, — но непосредственно в связи с „Петербургом" Белого, с „Шинелью", с „Записками из подполья" — величайшими произведениями нашей литературы.

Лето 1927 года, номера „Красной нови", мои строчки в хронике об Олеше — всё это было у меня в памяти. В „Последних новостях", где я регулярно печаталась, только через несколько месяцев появился отклик на „Зависть". Люди спрашивали Ходасевича: „Да правда ли, что это так замечательно?" Он к этому времени уже прочел роман и позже, в 1931 году, за своей подписью написал об Олеше*). Ходасевич отвечал, что роман несомненно превосходный. Мы начали ждать дальнейших книг Олеши — на этом уровне их не оказалось, и в Большой советской энциклопедии (1954 года) даже нет его имени. Но сейчас он возвращен к жизни. Аще не у́мрет!

В те годы неким священным ритуалом было собраться после лекции или вечера в каком нибудь кафе; обычно мы часа два сидели за столиком или на Монпарнасе, или около Порт-де-Сен-Клу, или Порт-д-Отей, поблизости от мест, где большинство жило. И вот в один из таких вечеров произошел — около полуночи — разговор о Льве Толстом между Буниным, Ходасевичем, Алдановым, Набоковым и мною,

*) „Возрождение" № 2854.

разговор, о котором я писала в своей статье о „Лолите" в „Новом журнале" (книга 57). Набоков заявил, что никогда не читал „Севастопольских рассказов" и потому никакого мнения о них не имеет. Увы, сказал он, никогда не пришлось заглянуть в эти „грехи молодости". Алданов с трудом скрыл свое возмущение, Бунин, в минуты бешенства зеленевший, пробормотал сквозь зубы матерное ругательство. Ходасевич засмеялся скептически зная, что в русских гимназиях чтение „Севастопольских рассказов" было обязательным. Что касается меня, то я получила урок на будущее: оказывается, не все надо в жизни читать, не обо всем иметь мнение, можно не стыдиться чего-либо не знать и не все непременно уважать.

Вечера чтений Набоковым своих вещей обычно происходили в старом и мрачном зале Лас-Каз, на улице Лас-Каз. В зале могло поместиться около 160 человек. В задних рядах „младшее поколение" (т. е. поколение самого Набокова), не будучи лично с ним знакомо, но конечно, зная каждую строку его книг, слушало холодно и угрюмо. „Сливки" эмигрантской интеллигенции (средний возраст 45—50 лет) принимали Набокова с гораздо большим восторгом в то время. Позже были жалобы, особенно после „Приглашения на казнь", что он стал писать „непонятно". Это было естественно для тех, кто был совершенно чужд западной литературе нашего столетия, но было ли наше столетие — их столетием? Что касается „младших" то, сознаюсь, дело это далекого прошлого, и пора сказать, что для их холодности (если не сказать — враждебности) было три причины: да, была несомненная зависть — что скрывать? — особенно среди прозаиков и сотрудников журнала „Числа"; был также дурной вкус, все еще живучий у „молодых реалистов" (не называю имен); и, наконец, была печальная неподготовленность к самой возможности возникновения в их среде чего-то крупного, столь отличного от других, благородного, своеобразного, в мировом масштабе — значительного, в среде все-европейских Башмачкиных.

Номер „Современных записок" с первыми главами „Защиты Лужина" вышел в 1929 году. Я села читать эти главы, прочла их два раза. Огромный, зрелый, сложный современный писатель был передо мной, огромный русский

писатель, как Феникс, родился из огня и пепла революции и изгнания. Наше существование отныне получало смысл. Всё мое поколение было оправдано.

Я никогда не сказала ему этих своих о нем мыслей. Я хорошо узнала его в тридцатых годах, когда он стал изредка наезжать из Берлина в Париж и когда, наконец, перед войной он поселился в Париже, вместе с женой и сыном. Я постепенно привыкла к его манере (не приобретенной в С. Ш. А., но бывшей всегда) не узнавать знакомых, обращаться, после многих лет знакомства к Ивану Иванычу, как к Ивану Петровичу, называть Нину Николаевну — Ниной Александровной, книгу стихов „На западе" публично назвать „На заднице", смывать с лица земли презрением когда-то милого ему человека, насмехаться над расположенным к нему человеком печатно (как в рецензии на „Пещеру" Алданова), взять всё, что можно у знаменитого автора и потом сказать, что он никогда не читал его. Я всё это знаю теперь, но я говорю не о нем, я говорю о его книгах. Я стою „на пыльном перекрестке" и смотрю „на его царский поезд" с благодарностью и с сознанием, что мое поколение (а значит и я сама) будет жить в нем, не пропало, не растворилось между Биянкурским кладбищем, Шанхаем, Нью-Йорком, Прагой; мы все, всей нашей тяжестью, удачники (если таковые есть) и неудачники (целая дюжина) висим на нем. Ж и в Н а б о к о в, з н а ч и т ж и в а и я!

Я слышу, как кто-то насмешливо спрашивает:

— Позвольте, но почему вы думаете, что вы здесь при чем-то? Разве вы (и с той окончательностью суждений, которая иногда так раздражала даже людей, любивших вас), разве вы не говорили много раз, что каждый — сам по себе, что Пушкин, Гоголь, Толстоевский и другие — не говоря уже о XX веке — были сами по себе, а вовсе не „гениальный русский народ"? При чем тут вы и ваше поколение? Очень Набоков заботился о своем поколении, если Ивана Иваныча не мог отличить от Ивана Петровича? И не узнавал его не то что на улице, а даже в „салоне" редактора „Современных записок" Фондаминского? Набоков-то жив и будет жить, но еще никем не сказано, что где-то в его тени кто-нибудь уцелеет и среди них — вы сами.

— Да, каждый человек — сам по себе, целый мир, целый ад, целая вселенная, и я совсем не думаю, что Набоков тянет кого-то за собой в бессмертие. Кое-кто его и не заслуживает, кое-кто не заслуживает бессмертия в его тени, кое-кто, и в том числе я сама, слишком любили жизнь, чтобы иметь какое-либо право уцелеть в памяти потомства, любили жизнь больше своего литературного имени, и чувство жизни — больше бессмертия, и „полубезумный восторг делания" больше результатов этого делания, и дорогу к цели больше самой цели. А все-таки в перспективе бывшего и будущего — он ответ на все сомнения изгнанных и гонимых, униженных и оскорбленных, „незамеченных" и „потерянных"!

Набоков — единственный из русских авторов (как в России, так и в эмиграции) принадлежащий всему западному миру (или — миру вообще), не России только. Принадлежность к одной определенной национальности, или к одному определенному языку для таких, как он, в сущности не играет большой роли: уже лет 70 тому назад началось совершенно новое положение в культурном мире — Стриндберг (в „Исповеди"), Уайльд (в „Саломее"), Конрад и Сантаяна иногда, или всегда, писали не на своем языке. Язык для Кафки, Джойса, Ионеско, Беккета, Хорхе Борхеса и Набокова перестал быть тем, чем он был в узко-национальном смысле 80 или 100 лет тому назад. И языковые эфекты, и национальная психология в наше время, как для автора, так и для читателя, не поддержанные ничем другим, перестали быть необходимостью.

За последние 20—30 лет в западной литературе, вернее — на верхах ее, нет больше „французских", „английских" или „американских" романов. То, что выходит в свет лучшего, становится интернациональным. Оно не только тотчас же переводится на другие языки, оно часто издается сразу на двух языках и — больше того — оно нередко пишется не на том языке, на котором оно как-будто должно было писаться. В конце концов становится бесспорным, что в мире существуют по меньшей мере пять языков, на которых можно в наше время высказать то, что хочешь, и быть услышанным. И на каком из них это будет сделано — не столь уж существенно.

Но Набоков не только пишет по-новому, он учит также как читать по-новому. Он создает нового читателя. В современной литературе (прозе, поэзии, драме) мы научились идентифицироваться не с героями, как делали наши предки, но с самим автором, в каком-бы прикрытии он от нас ни прятался, в какой бы маске ни появлялся.

Мы научились идентифицироваться с ним самим, с Набоковым, и его тема (или Тема) экзистенциально стала нашей темой. Эта тема появилась намеком еще в „Машеньке", прошла через „Защиту Лужина", выросла в „Подвиге", где изгнанничество и поиски потерянного рая, иначе говоря — невозможность возвращения рая, дали толчек к возникновению символической Зоорландии, воплощенной позже в „Других берегах", иронически поданной в „Пнине" и музыкально-лирически осмысленной в „Даре". Преображенная, она, эта тема, держала в единстве „Приглашение на казнь" и наконец, пройдя через первые два романа Набокова, написанные по-английски, и „Лолиту", прогремела на страницах „Бледного огня", с расплавленным в этом романе „Тимоном Афинским" Шекспира (из которого взято его название).

„Бледный огонь" вышел сам из неоконченного, еще русского романа Набокова, Solus Rex, первые главы которого были напечатаны по-русски еще в 1940 году. Король, или псевдо-король, лишенный своего царства, уже там возникал как поверженный изгнанник рая, куда возврата ему нет. Это было завершением (или началом завершения) глубоко органической личной символической линии Набокова. И ее-же, эту линию, мы найдем в его стихах: раз возникнув, она уже никогда его не оставила; и может быть точнее было бы назвать ее не линией, но цепью, чтобы иметь право сказать, что в звеньях этой цепи сквозят нам, как личные так и творческие кризисы поэта, хотя бы в следующих цитатах:

Пора, мы уходим, еще молодые,
Со списком еще не приснившихся снов,
С последним, чуть зримым сияньем России
На фосфорных рифмах последних стихов.

(1938)

Тот, кто вольно отчизну покинул,
волен выть на вершинах о ней,

но теперь я спустился в долину
и теперь приближаться не смей.
Навсегда я готов затаиться
и без имени жить. Я готов
чтоб с тобой и во снах не сходиться,
отказаться от всяческих снов;
Обескровить себя, искалечить,
не касаться любимейших книг,
променять на любое наречье
всё, что есть у меня — мой язык.

(1939)

„Твои бедные книги", — сказал он развязно
„Безнадежно растают в изгнаньи. Увы,
Эти триста страниц беллетристики праздной
Разлетятся...

. . . .

...бедные книги твои
Без земли, без тропы, без канав, без порога,
Опадут в пустоте..."

(1942)

„Verlaine had been also a teacher somewhere
in England. And what about Baudelaire,
alone in his Belgian hell?"

(1942)

Вся последняя капля России
уже высохла! Будет, пойдем!
Но еще подписаться мы силимся
кривоклювым почтамтским пером.

(1943)

Бессонница, твой взор уныл и страшен.
Любовь моя, отступника прости.

(1945)

Зимы ли серые смыли
Очерк единственный? Эхо ли
Всё, что осталось от голоса? Мы ли
Поздно приехали? —
Только никто не встречает нас! В доме
Рояль, как могила на полюсе. Вот тебе
Ласточки! Верь тут, что кроме
Пепла есть оттепель!

(1953)

Есть сон. Он повторяется, как томный
Стук замурованного. В этом сне
киркой работаю в дыре огромной
и нахожу обломок в глубине.
И фонарем на нем я освещаю
след надписи и наготу червя.
„Читай, читай", — кричит мне кровь моя
. . . .

(1953)

Тень русской ветки будет колебаться
На мраморе моей руки.

(Без года, не позже 1961)

Сомнений быть не может: все — только об одном, все — связано, слито, спаяно, и как бы Набоков ни уверял нас, что земляничное зернышко в его зубе мешает ему жить (как его тезка уверял, что гвоздь в его сапоге для него кошмарнее, чем фантазия у Гете), мы давно поняли, что именно мешает Набокову жить (или —творчески дает ему жизнь) — и никаких других признаний нам не надо. „О, поклянись, что до конца дороги Ты будешь только вымыслу верна!" — сказал он в „Даре". Как Бодлер в своем бельгийском аду, как Данте в Равенне, он помнит только одно и терзается только одним.

В последний раз я видела его в Париже в начале 1940 г. когда он жил в неуютной, временной квартире (в Пасси), куда я пришла его проведать: у него был грипп, впрочем, он уже вставал. Пустая квартира, т. е. почти без всякой мебели. Он лежал бледный, худой, в кровати и мы посидели сначала в его спальне. Но вдруг он встал и повел меня в детскую, к сыну, которому тогда было лет 6. На полу лежали игрушки и ребенок необыкновенной красоты и изящества ползал среди них. Набоков взял огромную боксерскую перчатку и дал ее мальчику, сказав, чтобы он мне показал свое искусство, и мальчик, надев перчатку, начал изо всей своей детской силы бить Набокова по лицу. Я видела, что Набокову было больно, но он улыбался и терпел. Это была тренировка — его и мальчика. С чувством облегчения я вышла из комнаты, когда это кончилось.

Скоро он уехал в С. Ш. А. Первые годы в Америке были ему не легки, потом он сделал шаг, другой, третий. Вышли два его романа (написанные по-английски), книга о Гоголе,

„Пнин", рассказы, воспоминания детства. „Лолита", видимо, была начата еще в Париже по-русски (см. книгу Эндрю Фильда, стр. 328—330, о русском рассказе Набокова „Волшебник", до сих пор не напечатанном). О ней говорил мне Алданов, рассказывал как Набоков читал несколько глав избранным и о чем были эти главы; „Solus Rex" превратился в „Бледный огонь"; наконец был переведен „Дар", а затем и „Защита Лужина". В 1964 году вышли его комментарии к „Евгению Онегину" (и его перевод), и оказалось, что не с чем их сравнить: похожего в мировой литературе нет и не было, нет стандартов, которые помогли бы судить об этой работе. Набоков сам придумал свой метод и сам осуществил его, и сколько людей во всем мире найдется, которые были бы способны судить о результатах? Пушкин превознесен и... поколеблен. „Слово о полку Игореве" переведено, откомментировано им и... взято под сомнение. И сам себя он „откомментировал", „превознес" и „поколебал" — как видно из приведенных цитат его стихов за двадцать четыре года.

Влажное „эр" петербургского произношения, светлые волосы и загорелое, тонкое лицо, худоба ловкого, сухого тела (иногда облаченного в смокинг, который ему подарил Рахманинов и который был сшит, как говорил Набоков, „в эпоху Прелюда") — таким он был в те годы, перед войной, в последние наши парижские годы. Он ходил словно пьяный самим собой и Парижем. Один раз при нашем разговоре присутствовал Ю. Фельзен, но, боюсь, ему не пришлось вставить ни одного слова — этой возможности мы ему не дали. Другой раз Набоков пригласил меня завтракать в русский ресторан, и мы ели блины и радовались жизни и друг другу, точнее: я радовалась ему, это я знаю, а он может быть радовался мне, хотя зачем было приглашать меня в „Медведь"*), если он мне не радовался? У Фондаминского, где он останавливался, когда бывал в Париже, после его чтения мы однажды долго сидели у него в комнате и он рассказывал, как он пишет (долго обдумывает, медленно накапливает и потом — сразу, работая це-

*) Этот „Медведь" в 1969 году, т. е. через 37 лет, перешел в роман Набокова „Ада", превратившись в ночное кабаре.

лыми днями, выбрасывает из себя, чтобы потом опять медленно править и обдумывать). Разговор шел о „Даре", который он тогда писал.

Он стал полноват и лысоват и старался казаться близоруким, когда я его опять увидела в Нью-Йорке, на последнем его русском вечере. Близоруким он старался казаться, чтобы не отвечать на поклоны и приветствия людей. Он узнал меня и поклонился издали, но я не уверена, что он поклонился именно мне: чем больше я думаю об этом поклоне, тем больше мне кажется, что он относился не ко мне, а к сидевшему рядом со мной незнакомому господину с бородкой, а может быть и к одной из трех толстых дам, сидевших впереди меня.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Два предместья Парижа в юго-западном его углу слились в одно: сначала был Биянкур и была Булонь. Потом стал Булонь-Биянкур, департамент — Сена, тот же, что и Париж, конечно. Слово Булонь звучало нарядно: напоминало Булонский лес, намекало на близость к нему. В Булони был стадион, в Булони были скачки. В Биянкуре был автомобильный завод Рено, кладбище, река и грязные, бедные, запущенные кварталы. В Булонь люди переходили из Парижа по широкой зеленой аллее, в Биянкур — по пыльной некрасивой торговой улице. В Булони улицы назывались, как придется, в Биянкуре каждая улица была отдана деятелю рабочего движения — от Коммуны до наших дней. В Булони были дорогие рестораны, в Биянкуре — трактиры, русские и французские. Шестов и одно время Ремизов жили в Булони, в Биянкуре жили Зайцевы и мы. Пригородов, где жили русские, было очень много: Бердяев жил в Кламаре, Цветаева — в Медоне. В Нуази жили старообрядцы, в Озуар — генерал Скоблин, похитивший генерала Миллера. В Аньере был даже цыганский табор, и цыгане (говорившие между собой по-русски) жили в Аньере в кибитках. Когда люди начали селиться в предместьях, это были предместья, через несколько лет они становились частью города, сливались с Парижем.

Теперь людей город выталкивает. Тогда людей город не принимал. Во всех этих домах, мимо которых мы проходили, выстроенных двести, сто и пятьдесят лет тому назад, нам места не было. Старые квартиры переходили от отца к сыну, от матери к дочери. Там было тесно, в кухнях иногда стояла ванна, прямо у входа с лестницы (ход чаще бывал один), и под ванной бежала газовая трубка с дырочками для пламени, так что вода нагревалась в ванне, как в кастрюле. В других домах были широкие лестницы и высокие потолки, и окна от потолка до полу. Там нам бывать не приходилось. Те дома, что были выстроены

в конце прошлого — в начале этого века, были по-своему роскошны, с каменными балконами, с фонарем у входа, они были серые и какие-то пузатые. Чтобы проникнуть в них и поселиться в них надо было заплатить большие деньги. Теперь, после первой войны, строили совсем по-иному: целые кварталы клеток, в семь этажей, часто без лифтов, где в стенах торчали острия гвоздей, забитых соседом; если гвоздь выпадал, можно было видеть в отверстие жизнь соседа, как в дедушкиной трости — весь Париж. На эти клетки была длинная очередь.

В Биянкуре была улица, где сплошь шли русские вывески и весной, как на юге России, пахло сиренью, пылью и отбросами. Ночью (на „Поперечной" улице) шумел, галдел русский кабак. Он был устроен как отражение кабака монмартрского, где пел цыганский хор, или еще другого, где плясали джигиты с перетянутыми талиями, в барашковых шапках (в те годы входивших в моду у парижанок и называвшихся „шапска рюсс"), или еще третьего, где пелись романсы Вертинского (пока он не уехал в Советский Союз) и Вари Паниной, пелись со слезой и разбивались рюмки — французами, англичанами и американцами, которые научились это делать самоучкой, по-наслышке, узнав (иногда из третьих рук) о поведении Мити Карамазова в Мокром.

В кабаке на „Поперечной" улице всего было понемногу: безработный джигит в отставке шел в присядку во втором часу ночи, пышногрудая, в самодельном платье с блестками, певица с двумя подбородками (днем обрубавшая цветные шарфики), выходила к пианино, у которого сидел старый херувим, видавший лучшие времена. Она пела „Я вам не говорю про тайные страданья" и про уголок, убранный цветами, и „Звезду", текст которой, между прочим, взят у Иннокентия Анненского. Она тоже пела, как романс, стихотворение Блока „Она как прежде захотела", переложенное на музыку вероятно не кем иным, как старым херувимом, и четыре строчки Поплавского, которые вкраплялись в „Очи черные":

Ресторан закрыт, путь зимой блестит
И над далью крыш занялся рассвет.
Ты прошла, как сон, как гитары звон,
Ты прошла, моя ненаглядная!

Потом выходила Прасковья Гавриловна. Ей уже тогда было под шестьдесят. На ее строгом, темном лице еще горели глаза. Истрепанный платок закрывал ее плечи, ситцевая юбка в цветах ложилась вокруг худых колен. Она когда-то пела у Яра, в Стрельне, и ее подруги сейчас допевали на Монмартре, на Монпарнасе, выпестовав свою цыганскую смену. У Прасковьи Гавриловны голоса больше не было, она не годилась туда, где шампанское было обязательно, где у входа стояло ваше превосходительство, с веером расчесанной бородой (не то Пермский не то Иркутский губернатор). Она годилась только здесь... Она больше бормотала, чем пела, она хрипела иногда почти шопотом, сидя между двумя „цыганами" (армянином и евреем), которые наклонялись к ней с гитарами. Да, она была теперь здесь, а Настя Полякова, Нюра Масальская, Дора Строева были там, где румыны со своими смычками, свежая икра и крахмальные салфетки.

Тут же на столиках, с грязными бумажными скатертями, стояли грошевые лампочки с розовыми абажурами, треснутая посуда, лежали кривые вилки, тупые ножи. Пили водку, закусывали огурцом, селедкой. Водка называлась „родимым винцом", селедка называлась „матушкой". Стоял чад и гром, чадили блины, орали голоса, вспоминался Перекоп, отступление, Галлиполи. Подавальщицы, одна другой краше, скользили с бутылками и тарелками между столиками. Это всё были „Марьи Петровны", „Ирочки", „Тани", которых знали все чуть ли не с детства и всё-таки после пятой рюмки они казались полузагадочными и полудоступными, вроде тех, которые дышали духами и туманами в чьих-то стихах (а может быть — романсе?) когда-то... черт его знает когда и где!

На углу была парикмахерская, где меня стригли и не брали на чай: „Читаем вас, премного вам благодарны, не гнушаетесь нашим житьем-бытьем". А за углом воскресная детская школа (рядом с церковью, где еще недавно было „бистро"). В школе по воскресеньям дети поют про каравай („вот такой каравай") поднимая руки, приседая на корточках, беленькие, худенькие. Мальчики ценятся больше девочек: это будущие солдаты Франции и за них родителям дадут французское подданство. Девочки из состояния „апа-

тридов" эмигрантов не выведут. Дети картавят, когда произносят русское „эр", папа — у Рено или шофером такси, или лакеем в „Московских колоколах" (у Елисейских полей); мама — вышивает белье гладью или делает шляпы; старшая сестра — манекеном у Шанель; брат — рассыльным в гастрономическом магазине Пышмана. Летом дети поедут в лагерь, по утрам будут собираться у русского трехцветного флага и петь хором „Отче наш". Учительница жалуется, что они не понимают „Горе от ума", особенно про чай: „Не от болезни, чай, от скуки", — какой такой чай? От какой болезни его принимают? Кто его пил? С чем? Объяснять надо каждое слово. Учительница, тоже беленькая и худенькая, кажется — дочь священника, вернее — дочь одного из священников: в Биянкуре много церквей, одна в бывшем „бистро", другая — во втором дворе, в старом гараже, третья — в брошенной (за отсутствием клиентуры) католической церковушке.

Гудит заводской гудок. Двадцать пять тысяч рабочих текут через широкие железные ворота на площадь. Каждый четвертый — чин белой армии, воинская выправка, исковерканные работой кисти рук... Люди семейные, смирные, налогоплательщики и читатели русских ежедневных газет, члены всевозможных русских военных организаций, хранящие полковые отличия, георгиевские кресты и медали, погоны и кортики на дне еще российских сундуков, вместе с выцветшими фотографиями, главным образом — групповыми. Про них известно, что они а) не зачинщики в стачках, б) редко обращаются в заводскую больничную кассу, потому что у них — здоровье железное, видимо обретенное в результате тренировки в двух войнах — большой и гражданской, и в) исключительно смирны, когда дело касается закона и полиции: преступность среди них минимальна. Поножовщина — исключение. Убийство из ревности — одно в десять лет. Фальшивомонетчиков и совратителей малолетних по статистике — не имеется.

Я видела их „в деле": льющих сталь в мартеновых печах, рядом с арабами, полуголых, оглушенных работой автоматических молотов, маневрирующих этими молотами, завинчивающих болты в бегущем конвейере, под свист трансмиссий, когда всё дрожит вокруг и ходит ходуном, и вы-

сокий потолок гигантского цеха не виден вовсе, так что кажется — всё это ходит ходуном под открытым небом, черным и грозным, и сейчас — глубокая ночь. Но сейчас не ночь, а день, солнце на площади сверкает и под ним, у самых ворот Рено, блестят две металлические тележки — продавцов снеди: одна тележка — кофе и булки, другая — горячее вино. Продавцы переминаются с ноги на ногу и ждут (зимний холодный день). Вот какого-то русского философа провозят мимо них на кладбище. За гробом шагают три женщины, по ветру летят концы их траурных вуалей. Среди десятка мужчин шагает худенький, маленький давно примелькавшийся мне русский призрак: сегодня он с бородкой и без мандолины. Я заприметила его с того дня, как он пришел однажды в тот подвал в кафе на площади Сен-Мишель, где мы читаем стихи. Кто только там не бывал! (Один раз был даже Б. Кохно, сотрудник и друг Дягилева, либреттист и поэт). Там, среди табачного дыма, кофе, пива и коньяка, этот прозрачный, тоненький, словно сделанный из папиросной бумаги, человечек тоже кажется читал — тоненьким голосом, смахивая со лба сероватую прядь волос. Фамилии у него почему-то не оказалось... Вот мимо меня везет детскую колясочку беременная француженка, дочка булочника. В колясочке — два китайчонка. Им тоже холодно. А я всё стою, и собаки обежали за это время вокруг дерева раз восемьдесят.

В гастрономическом магазине Пышмана выставлены консервы Киевского пищетреста: баклажанная икра, фаршированный перец. В магазине — водки и наливки всех сортов, тянучки „Москва", пирожки „филипповские" и в углу, на полке, иконы и деревянные раскрашенные ложки. Мадам Пышман сидит за кассой. Она бывает ежегодно на балах русской прессы, всегда жертвует на буфет либо пирог с капустой, либо заливное из рыбы. Международное положение ее волнует. Она вздыхает и говорит:

— Что делает Сталин? Он убивает, и убивает, и убивает. Что делает Гитлер? Он проходит университет. Он учится убивать. Он скоро получит диплом. И неужели не придет какой-нибудь новый Иисус Христос, чтобы остановить всё это?

Я чувствую, что в ее глазах „старый" Иисус Христос как-то скомпрометирован.

В придачу к покупке мадам Пышман дает мне тянучку: она говорит, что любит меня за то, что я занимаюсь „литературным трудом" и „художественной деятельностью", и что она, когда продает мне продукты, чувствует, что она сама тоже отчасти причастна „литературно-художественной деятельности". Ее муж выходит из заднего помещения. Он улыбается и кивает мне, но сказать ничего не может: он предпочитает улыбаться и молчать, потому что он глух: Петлюра отбил у него слух в погроме.

Есть привычные фигуры: на фоне этих улиц, где-то между почтовым отделением и заводом, они двигаются днем и ночью (или это только так кажется?), словно делают круги, попадаясь мне ежедневно на глаза. Это — нищий, у которого грудь колесом и которого пугаются французские дети, потому что у него низкий бас, какого здесь никто никогда не слышал. Он ходит и поет церковное. Ночует он в Армии Спасения, днем пристанища не имеет. Два раза в год он моется (на рождество и на пасху) и тогда поет в хоре в одной из биянкурских церквей и в „Верую", говорят, дает такое „фа", что дрожит красная лампочка над иконостасом, изображающая лампадку. Потом — мадемуазель Фурро, ее все знают. Она — председательница Общества бывших француженок. Так называется странный „профсоюз", в котором членами состоят бывшие гувернантки, вернувшиеся после русской революции домой в Париж. В Париже они никого не нашли, сбережения их в России из царских рублей они перевели в заем свободы и потеряли их, а главное — Парижа такого, какой они знали, они не нашли, и после того, как две из них покончили с собой в тоске по России и „прелестной жизни, которая была, как один сладкий, незабываемый, прекрасный мираж" (как выразилась однажды при мне мадемуазель Фурро), они решили соединиться в общество и поддерживать друг друга. Их к концу тридцатых годов оставалось не более шести-семи, но мадемуазель Фурро всё еще бегала по Биянкуру на своих коротких толстых ножках, пока в бомбежке 1942 года не окончила свою жизнь.

В госпиталях русские доктора не имели права работать, но старый доктор Серов ходил в Отель Дье ежедневно и даже по воскресеньям дежурил — среди санитаров и санитарок, пускавших граммофоны во всю силу и танцевавших так, что весь госпиталь дрожал. Жил Серов частной практикой (незаконной), а в госпитале работал „по страсти", всё время боясь, что кто-нибудь донесет на него и его засудят. Одно время особенно много ему приходилось иметь дело с прокаженными. К ним ходили и другие „незаконные" русские: один одержимый, раздававший Евангелие прокаженным — русским и нерусским (русских там было 2—3 человека в самый разгар „русского засилья" Парижа) и толковавший им нагорную проповедь, а другой — из монахов, видимо, потому что гулял в старом заплатанном подряснике и потерявшей цвет и форму камилавке; этот ничего не раздавал, и ничего не толковал, он развлекал больных — выздоравливающих и умирающих — и исполнял кое-какие их поручения, а короче — путался под ногами администрации, так что когда его задержали и оштрафовали, он вдруг исчез, и только много позже (может быть отсидев в тюрьме за невозможностью уплатить штраф?) появился — перед самой войной — в тюрьмах, где шнырял до самого 1944 года между французскими и немецкими полицейскими, пока его не прихлопнуло гестапо.

Преступность была, но она была незначительна. Тем не менее были случаи убийства (из ревности) — два, убийства с целью получить наследство — одно, кражи со взломом — одна, обыкновенного воровства — девятнадцать, относительно крупного мошенничества — четыре, двоеженства — четыре, и так далее. Всё это за тридцать лет среди населения в семьдесят пять-восемьдесят тысяч. Эта статистика приблизительна и конечно только среди тех, кто попался. Я знала двух русских (профессиональных, не случайных) сутенеров и несколько уличных женщин, они собственно работали не на улице: пять из них состояли при ночных ресторанах и приблизительно столько же можно было насчитать в публичных домах (которые были закрыты законом во второй половине тридцатых годов). О тех, кто полупроституировал себя, я не говорю, равно как и о тех, кто незаконно торговал валютой, хранил краденое или

продавал наркотики и презервативы (тогда запрещенные).

Здание суда, в самом центре Ситэ, было одно время местом, которое я хорошо знала: залы, где судили мелких преступников, подравшихся консьержек или матроса, запустившего в уличный фонарь бутылкой, и другие, где шли сложные гражданские процессы и наконец — где присяжные судили убийц, которым могла грозить гильотина.

Смесь ужаса и скуки не такая уж редкая смесь. Вот в эту минуту холод бежит по волосам и спинной хребет пронзает от затылка вниз ледяная игла, а в следующую — повисаешь глазами на стрелке часов над головой председателя суда и видишь, какая пыль лежит на весах бронзовой слепой Фемиды. Пыль и неподвижная стрелка часов, и не меняющийся свет за окнами: зимний, как в десять часов утра, так и в четыре часа дня, — всё тот же дождик, всё те же облака бегут над берегом свинцовой Сены, и декорация красных мантий, усов, очков, рук, обручальных колец, галстуков, сапог, револьверов полицейских — всё это „чиновничье", не мое, казенное, вечное, всюдышное, идущее по расписанию, как поезд в плоской местности, по расписанию, хранящемуся в толстой папке, тоже покрытой пылью. Скука. Одурь скуки. И внезапный ужас: что они делают с ним (или с ней)? что мы все здесь делаем? Момент решения человеческой судьбы, и мы присутствуем на скамьях прессы при этом ужасе. Мы содействуем ему! Адвокаты летают туда и сюда, с умными лицами, как бабочки, у каждого на устах — острое словцо, у адвокаток такие умные глаза, такие очаровательные задумчивые улыбки, они как стрекозы над озером. Всё это шутка, всё это сцена, театр — пока нет приговора. Смесь чуть-чуть скучного театра (ничего не меняется, даже пыль не стирается!) и холодной дрожи. Смесь железнодорожной одури и последнего действия „Эдипа".

Да, кажется, что все, и даже преступник, играют роль, что это всё — „не в самом деле". Почему? Может быть потому, что есть правила игры, и ничего не спонтанно, может быть потому, что у входа на места для публики проверяют билеты, а те, кто без билета, стиснуты, как в „райке", перилами. Может быть потому, что всё расчислено заранее, когда заговорить этому, когда загреметь тому, когда

не смочь сдержаться третьему или оборвать, или прервать, перекричать — на всё есть правила. В отдалении, за загородкой, на дубовой скамье, сидит истерик, заколовший свою любовницу ножницами. Он учился в Новочеркасском кадетском корпусе, в кавалерийской школе, документ его в порядке: он шофер-ночник, он теперь ждет, что будет. Он ничего не может — ни мыслить, ни решать, ни встать, ни уйти, ни сказать, ни заорать — он может только ждать приговора, слушая председателя. В другой раз на той же скамье сидит одутловатая в красных пятнах женщина, с желтыми волосами, и смотрит прямо на меня. Она стреляла в своего любовника. Я ее знаю. Когда ей было шестнадцать лет, ее одевали под девочку, у нее были голубые глаза. Как она надоела своему любовнику! Он, должно быть, решил бросить ее... Теперь она сидит неподвижно и всецело принадлежит пьесе, которая разыгрывается перед публикой: она встает, когда надо встать, говорит, когда надо отвечать. А в зале играют слова, умные, остроумные, всякие — каким полагается быть в театре.

И вот я опять сижу на тех же местах в этом зале и слушаю вранье Надежды Плевицкой, жены генерала Скоблина, похитившего председателя Общевоинского союза („рюсс блан") генерала Миллера. Она одета монашкой, она подпирает щеку кулаком и объясняет переводчику, что „охти мне, труднёхонько нонече да заприпомнить, чтой-то говорили об этом деле, только где уж мне, бабе, было понять-то их, образованных грамотеев". На самом деле она вполне сносно говорит по-французски, но она играет роль, и адвокат ее тоже играет роль, когда старается вызволить ее — но ей дают пятнадцать лет тюремного заключения. А где же сам Скоблин? Говорят, он давно расстрелян в России. И от этого ужас и скука, как два камня, ложатся на меня. Через десять лет — после смерти Плевицкой в тюрьме Рокетт — ее адвокат скажет мне, что она вызвала его перед смертью в тюрьму и призналась ему во всем, то есть что она в похищении Миллера была соучастницей мужа. Куда бежать от этих игр, шуток и тайн, от центральной фигуры, не могущей встать и сойти с полотна картины, шагнуть в серое парижское небо, по которому идут трамваи, в вечернюю глубь освобождения и одиночества?

Но театральность ведь не только в судах: она во всех наших церемониях, и я ненавижу их еще сильнее, чем ненавидела в детстве елку, — они на наших свадьбах, где „так нужно", и на похоронах, где „так принято". Их чуть-чуть меньше сейчас, чем пятьдесят лет тому назад, но только чуть-чуть. Смирительная рубашка предрассудков и приличий до сих пор время от времени надевается на человека, в самые казалось бы „собственные" его минуты (или часы, или дни). Смирительная рубашка мертвого обычая, когда свободному человеку свойственно ходить в том, что в данную минуту у него под рукой: подштанники, или бальное платье, или медвежья шуба, которая иногда может укрыть и двоих... В перерыве я бегу вниз, в кафе, где гудят голоса адьокатов и журналистов, в кафе, похожее на вокзальный ресторан — по старой моде он обшит деревом, он неуютен, грязноват, и здесь на ходу говорят только „о деле", не о делах, а о деле, которое слушается наверху. Репортер коммунистической газеты уверяет двух молодых адвокаток, что генерала Миллера вообще никто не похищал, что он просто сбежал от старой жены с молодой любовницей. Старый русский журналист повторяет в десятый раз:

— Во что она превратилась, боже мой! Я помню ее в кокошнике, в сарафане, с бусами... Чаровница!... „Как полосыньку я жала, золоты снопы вязала..."

Знаменитый французский адвокат, стройный, красивый седеющий человек, автор книг, друг министров и послов, сидит один и с отвращением на лице ест пирожное с кремом. Его внезапно окружают: что вы думаете, мэтр, какое ваше мнение?

Он говорит свое мнение, подбирая ложкой крем с тарелки.

— „Ах, утомилась, утомилась, утомилась я!" — напевает про себя русский журналист. Я выхожу. На набережной горят огни, и деревья, сухие и черные, склоняются к воде; закрываются ларьки букинистов, на Эйфелевой башне мигает красный огонь. Его видно далеко. Когда самолеты летят из Лондона и Рима, они видят этот огонь. Но они не видят, например, меня. Никто не знает меня.

Я долго иду пешком, потом еду, потом опять иду. В темных улицах за городской заставой уже ночь — пустынно, тихо. И впереди меня идет та фигура — небольшого роста,

даже совсем маленького, с мандолиной подмышкой. Сначала я думаю: как, уже? неужели так поздно? поручик идет в „Альпийскую розу"? Нет. Это музыкант особенный — он даже в „Альпийской розе" не играет: слишком плох. Он играет по дворам. И потому что у него такой рост, никто не верит, когда он говорит, что он — бывший кирасир его величества. — Помилуйте, да он издевается над нами, разве таких при царе брали в кирасиры? — Да он может быть не при царе, а при Керенском поручика получил? — Позвольте, но какие же кирасиры были при Керенском? Это же карлик! — Он кажется в Троицком театре в фарсах играл... Теперь он ходит по дворам и ловит медяки, которые летят из окон, и поет. Я обгоняю его и замечаю, что он доходит мне до плеча. Мандолину свою он несет в футляре. Теперь я иду впереди, а он — сзади, и начинает идти дождь, так что асфальт блестит то там, то здесь, и я вдруг вспоминаю его фамилию:

— Шелметьев.

Не граф Шереметьев, а просто — Шелметьев.

Пять лестниц, пять поворотов. И вот она — наша дверь.

Худенький, весь прозрачный, Шелметьев сбегает теперь мне навстречу с шестого этажа, прижав к груди балалайку. Я еще увижу его несколько раз — в течение не то пятнадцати, не то двадцати лет. Иногда он будет, в такт ходьбе, размахивать своей гитарой. И всегда это будет вечером, не днем и не ночью. Потом он пропадет, истает, словно вырезанный из папиросной бумаги, завьется на ветру, как стружка, размякнет под дождем... Смешается с парижской осенней мглой, испарится каплей парижского дождя, который идет за окном, — такого нарядного и веселого дождя, который идет только в Париже, элегантного дождя, изящного дождя, модного, в позументах, позвякивающего стеклярусом, помахивающего шелковыми рукавами с бриллиантовыми запонками. Единственного на свете дождя, в котором водятся всякие Шелметьевы, призраки и графы, поэты и музыканты. Некоторые, доходящие мне до плеча.

Десять лет жизни вдвоем, рядом и вместе с другим человеком, „он" и „я", которые думают о себе, как о „мы". Опыт соединения „его" и „меня", где не было многого, что бывает у других, где отсутствуют какие-то элементы, со-

ставляющие семейную жизнь других людей. Я всё время сознаю отсутствие этих элементов, я внутренне констатирую неприложимость нормальных мерок к нашей жизни. И прежде всего я вижу в ней полное отсутствие какой-либо конкуренции между „ею" и „им", что бывает почти всегда и у всех: Ходасевич и я — люди одной профессии, но нет и не может быть моего с ним соперничества, ни на людях, ни когда мы вдвоем, с первой нашей встречи и до последнего его часа не было мысли о возможности хотя бы когда-нибудь для меня сравняться с ним. Он — всегда первый, сомнений в этом нет, нет борьбы за первенство, нет спора, это — непреложный факт нашей жизни. Я иду за ним, как ходят женщины на шаг позади мужчины в японском кино, и я счастлива ходить на шаг позади него. Если мне дается право выразить себя, я пользуюсь им свободно, я голосую, не спрашивая его, за своего кандидата, но я мысленно хожу на шаг позади него.

Затем: решительное отсутствие „женского" соображения, что он — добытчик. Я зарабатываю, что могу, и он зарабатывает, что может, и деньги у нас общие. Ни разу у меня не было мысли, что он — „кормилец", и если он уйдет из „Возрождения", где ему временами так тяжело, то совершенно нормально, чтобы вся тяжесть этого шага легла на меня. Кругом нас, „у людей", дело обстоит иначе, но ведь мы с ним прежде всего два товарища, два друга, попавшие в общую беду. Он ли, я ли — не всё ли равно, кто „добывает"? Иногда мне даже кажется, что собственно главным добытчиком должна была бы быть я: я сильней, здоровей, моложе, выносливей, я могу делать многое, чего он не может, и сносить многое, чего он не в силах сносить. И я умею делать многое, чего он не умеет. И — постоянная мечта моя — я могу научиться быть наборщицей, работать на линотипе. Тут я уже хожу с ним в ногу и даже на полшага впереди него.

И еще: мы никогда друг друга не обижаем. Ни тогда, когда мы вдвоем, ни когда мы среди людей, ни устно, ни печатно. Всё, что он делает, — хорошо; всё, что я делаю, — хорошо. Он говорит, что я буду когда-нибудь писать гораздо лучше, чем пишу сейчас. Мне кажется, что он совершенно серьезно верит в это:

— Через десять-пятнадцать лет, — говорит он.

При этих словах я холодею: так долго ждать! Но ждать-то именно и нельзя, в газете я каждый месяц печатаю два рассказа — они должны быть по мерке, но они иногда „не выходят". Ничего не поделаешь! Надо стараться, иначе мы пропали.

Он зависит от меня. Я от него не завишу. Мы оба это знаем, но об этом не говорим. Он болеет, он падает духом. Он говорит, что высыхает и не может писать стихи. Ему нужен кто-то, кому он может пожаловаться, вслух пожалеть себя, сказать о своих снах и страхах — он раздавлен ими, и он перекладывает их на меня, но ни ему, ни мне и в голову не приходит, что в этом перекладывании есть что-то недолжное и может быть опасное.

Он уходит иногда на весь день (или на всю ночь) в свои раздумья, и эти уходы напоминают мне его „Элегию" — стихи 1921 года о душе:

Моя избранница вступает
В родное древнее жилье,
И страшным братьям заявляет
Равенство гордое свое,
И навсегда уж ей не надо
Того, кто под косым дождем
В аллеях Кронверкского сада
Бредет в ничтожестве своем.
И не понять мне бедным слухом,
И косным не постичь умом,
Каким она там будет духом,
В каком раю, в аду каком, —

с его шестью „у", поющими виолончелью.

Он возвращается „в свое ничтожество", то есть к себе домой, ко мне, к нам. Он видит мое страстное желание — с ним я родилась и с ним умру — расти, меняться, зреть, стареть. Он не любит этой тяги во мне, он любит мою молодость и не хочет перемен, он хочет затормозить меня в моем росте, но не тормозит, ничего не делает для этого — это только его желание, и он знает, что оно неосуществимо, он знает, что не имеет права опустить предо мной шлагбаум. Кроме того, он еще знает, что через все шлагбаумы я всё равно прорвусь, нравится ему это или не нравится.

Мне нельзя давать красный или зеленый огонь, я может быть сама — зеленый огонь.

Все вопросы мы так или иначе разрешаем в нашем разговоре, который продолжается годами. Ничто не разрешается само, ласковым, примирительным словом или минутой молчания. Всё договаривается и разрешается мыслью — его и моей. Мы оба и существуем, и становимся, на глазах друг у друга. Существуем вместе и становимся вместе — по-своему каждый. Но он любит думать и говорить только о нашем существовании. И я начинаю понимать, что наше — его и мое — становление — один из его страхов.

Он боится мира, а я не боюсь. Он боится будущего, а я к нему рвусь. Он боится нищеты — как Бодлер в письмах к своей матери, — и обид — как Джойс в письмах к жене. Он боится грозы, толпы, пожара, землетрясения. Он говорит, что чувствует, когда земля трясется в Австралии, и правда: сегодня в газетах о том, что вчера вечером тряслась земля — на другом конце земного шара, вчера он говорил мне об этом. Мне всё равно, что где-то землетрясение, для меня, по правде сказать, земля трясется всё время, грозы бояться — для меня всё равно, что бояться дождика. Пожар? Ну так возьмем подмышку кое-какие книги и бумаги (он — свои, я — свои) и выйдем на улицу. Что касается толпы, то так как я не ношу ни перьев, ни фруктов на шляпе, ни накрахмаленных юбок, то я не боюсь, что меня сомнут. Почему мне бояться толпы? Я сама — часть толпы. И я не хочу, чтобы меня боялись.

Страх его постепенно переходит в часы ужаса, и я замечаю, что этот ужас по своей силе совершенно непропорционален тому, что его порождает. Все мелочи вдруг начинают приобретать космическое значение. Залихватский мотив в радиоприемнике среди ночи, запущенный кем-то на зло соседям, или запах жареной рыбы, несущийся со двора в открытое окно, приводит его в отчаяние, которому нет ни меры, ни конца. Он его тащит за собой сквозь дни и ночи. И оно растет, и душит его.

Он уходит — на этот раз не к „страшным братьям", а в эмигрантские редакции, или „пить чай к знакомым", или играть в карты в кафе, или на литературное собрание. Он

всё беззащитнее среди „волчьей жизни". „Человек человеку — бревно", сказал Ремизов из своего de profundis'a, Ходасевич сказал бы, вероятно, что это бревно находится еще и в движении, оно катится и вот сейчас раздробит тебе ногу или руку, или скорее всего — череп, если ты не отойдешь от него в сторону (но куда? Отойти некуда). Бревно, так сказать, в действии. Я вижу, что страхи и обиды не всегда реальны, большинство из них — преувеличены. Они только могли бы быть. Но реальное и нереальное уже не диференцируется, и от нереального иногда даже больнее. Он возвращается в единственное место, какое у него есть на свете, где его письменный стол, его бумаги, его книги, его печка, и где я. „Быта" у нас нет, но у нас есть крыша, есть домашность, и он по-своему любит ее. И я люблю домашность, и в разной степени и в разные годы я всегда любила ее. В образе домашности, когда это не „гнездо", не биологическая обязанность, есть что-то теплое, милое и свойственное человеку, что-то свое, свободно им выбранное и устроенное, в плановой бедности, в организованной трудности, что-то, что можно иногда разделить и с другими, когда эти другие приходят в твой едва держащийся мир из своего еще не построенного или уже развалившегося мира.

— Смотрите пожалуйста: петух на чайнике! — воскликнул однажды Бунин, войдя в нашу столовую. — Кто бы мог подумать! Поэты, как известно, живут под забором, а у них оказывается — петух на чайнике.

(Петух был нам прислан в 1928 году из Ленинграда, вышитый „собственными руками" тою, которую позже сослали — может быть за этого самого петуха? — за „сношения с заграницей".)

В 1932 году, когда я навсегда ушла из нашей биянкурской квартиры, один не слишком злой остряк так рассказывал об этом:

— Она ему сварила борщ на три дня и перештопала все носки, а потом уехала.

Это была почти правда.

Медленно начала расшатываться моя крепость.

Однажды я вернулась домой после двух недель отсутствия (это было весной 1930 года, когда я ездила гостить в Ниццу) и вдруг заметила, что моя „чугунная" порода

собирается дать трещину. Не жизнь собирается треснуть, — до этого было еще далеко — но я сама. „Если я распадусь на куски, — подумала я, — я никому, ни себе, ни тем более ему, не буду нужна". И мне вдруг пришло тогда на ум, что человек (то есть я сама) не котел, который чистят кирпичом, а может быть что-то более тонкое, более хрупкое, более „хрустальное". Я вспомнила, как Виржинчик однажды, в минуту своей милой и нежной иронии, сказала мне:

— Ты — моя этрусская ваза, — и как я громким хохотом ответила ей на это.

Мне вспомнилась скребница, которой Селифан чистил дедушкиных лошадей и как я тогда непременно хотела попробовать, не лучше ли будет расчесывать мои длинные косы (которые, приехав в Париж, я срезала) этой лошадиной скребницей, чем частым гребешком, как это полагалось? Мне вспомнилась бархатная подушечка, которой дед причесывал свой цилиндр . . . Я никогда не думала, что может быть мне тоже нужна бархатная подушечка, а не толченый кирпич, не скребница, не борона, на которой я сама столько лет, сколько себя помню, ездила по собственной душе, туда и обратно.

— Итак, бархатной подушечки захотелось, — сказала я себе, пораженная воспоминанием.

Но трещина во мне обозначилась, и я теперь смотрела со смешанным чувством любопытства и недоумения на то, как она разрасталась.

Приведу письмо Ходасевича, написанное мне в Ниццу:

„18 февраля 1930.

. . . Сейчас вторник, утро. Только что получил твое письмишко, рад, что тебе хорошо, обо мне не беспокойся, мои дела тоже не плохи.

В воскр. я весь день сидел дома, а вечером отнес К. 100 франков и пошел в кафе. Вчера был в „Совр. Зап." Там встретил Буниных. Вера Ник. стала чем-то вроде тихой и улыбчивой идиотки. Объявила, что собирается ко мне. Я говорю: „Как, помилуйте, рад бы, да вот Н. Н. в Ницце". — Это, говорит, ничего, я именно к вам хочу прийти. Вы когда дома бываете? — Бунин ее

урезонивает: „Да куда ты пойдешь? Позови его к нам, он же на холостом положении...” — Нет, я именно к нему хочу!

О, Господи, неужели прийдет? Что я с ней буду делать?

Потом пошел в „Табак”. Там Зина скрипом скрипит, о тебе — ни звука. Позвала меня в пятницу обедать. Пойду. Еще звали К. и Вишняки. Но я отказался. Пойду только к Мережк. и в субботу к Жене.

Вчера после обеда (чудного, домашний стол — великая вещь!) я отдыхал, потом брал ванну (или меня брала ванна, что гораздо точнее, живописнее и как-то сладострастнее), потом писал. Всего написал я после твоего отъезда, за два дня, 4 страницы. Это нормально, но сегодня я всё написанное буду переделывать, это уже хуже. Вечером иду на писательский обед. Но весь день буду работать, а потом завтра весь день, послезавтра и т. д. Хронику я отвез еще в субботу, и теперь у меня до будущего понедельника только один обязательный дневной выход — в субботу к Жене. Даже забавно.

Вишняк сказал, что Алданов меня собирается звать к себе на четверг, у них „прием”.

С Кутеповым что-то осложняется, ибо сегодня прочел в газетах, что кабинет Тардье пал. Пал он по второстепенному финансовому вопросу, но накануне запроса о Советах. Коммунисты, социалисты, рад.-соц. и радикалы соединились так, как я предсказывал. Ты надо мной смеялась. Все „поражены неожиданностью”, а я не поражен. Посмотрим, что будет дальше. Вся эта публика оказалась умнее, чем я думал: она свалила кабинет накануне интерпелляций, что, конечно, очень находчиво и тонко.

Я заказал не 3, а 4 бутылки лекарства, вчера получил и начал пить.

Пиши мне всю мелюзгу, я хочу знать, что и как, где кот был, что ел, а что только нюхал. Будь здоров, не уставай. Я по тебе еще совсем не скучаю, время дьявольски заполнено. Работа, хозяйство, то да се... Пасьянсов не раскладываю совсем. За всё время — два

разложил вчера вечером... Целую ручки-ножки и бегу опускать это письмо и менять 100 фр., потому что того и гляди прийдет прачечная девчонка. Открытки пошли обязательно... а также нашей консьержке, из которой бьет фонтан материнской нежности ко мне.

Как ты хорош! Я молю Бога о хорошей погоде в Ницце. У нас второй день мороз, а сегодня ночью был снег, всё белое. Я не простужусь.

Пиши чаще!"

Два следующих письма относятся к тому же году. Ходасевич осенью поехал в русский пансион Арти, работать над „Державиным".

„Арти, 29 окт. 930.

...Я доехал благополучно и поселился в прокопенковской комнате, где, оказывается, теплее. Впрочем, топят на совесть.

В комнате просторно. Два стола (общей длиной больше сажени) сдвинуты у меня рядом. Бумаги и книги на них разложены в упоительном порядке. Перед столами два стула, и я не двигаю книг, а пересаживаюсь сам. Очень удобно. Лампа пристроена и сияет, озаряя всё поле действий. На правом фланге — машинка.

30 октября.

Вот так выспался! С 10 до половины девятого. Видел во сне, будто Гукасов устроил тир из живых детей и подстрелил одного мальчика. Еще видел царевича Алексея. Одним словом — мальчики кровавые в глазах. Должно быть, это потому, что меня немножко тревожит Хроника. Не можешь ли вечером в пятницу послать мне 2 страницы, от руки написанных? Я получу их утром в воскр., перепишу, прибавлю кое-что от себя (у меня есть тема на целую страницу) и пошлю в тот же день. Ах, если бы ты это сделала! Ну — хоть *утром* в субботу пошли!

Напиши, кого и что видела и вообще разное, а то вдруг я заскучаю. Поцелуй себя и кису. Промывай ему уши".

„3 нояб., понедельник.
Перед ужином.

...Вчера кончил Министерство и сегодня послал Маковскому. Нынче день ясный, ходил гулять. Воздух такой прозрачный, что видны домики вдали, которых не видно летом. Потом читал, делал выписки и фишки для дальнейшего. После ужина надеюсь написать переход от службы к Шишкову (конец 8 главы), а завтра засесть за Шишкова.

До сих пор не брился, но завтра приезжает какая-то мамаша с какой-то дочкой — и я решил окрасавиться, чтобы их не пугать. Они — в первый раз: пожалуй, и без моей бороды ужаснутся: мокровато, скучновато, грязновато да как-то и хамовато, С. М. мало сносный мужчина, хотя дружба наша отнюдь не омрачена ничем. Но есть с ним за одним столом скучно. Вот, Державин всё у императрицы обедал (а меня и Цетлины не зовут).

За сим — иду ужинать. Завтра утром еще напишу что-нибудь, если будет что. Впрочем — всегда можно поговорить о моей любви к Вам, Нися, — это тема неиссякаемая. Боже как ты хорош!...

4-го вторник.

Спасибо за деньги. Получил сразу три пакета газет...”

Что-то медленно, едва заметно, начало портиться, изнашиваться, сквозить, сначала во мне, потом, в течение почти двух лет — вокруг меня, между ним и мною. То, что было согласием, осторожно начало оборачиваться привычкой к согласию, то, что было утешением, постепенно стало приобретать свойства автоматичности. То, что было облегчением, поворачивалось механически, включалось и выключалось по желанию. Мера всех вещей вдруг перестала быть, вернее потеряла смысл, и как пар рассеялась. Я портилась и портила всё вокруг себя, и начала опасаться, что испорчу наше с ним общее, не замечая, что этого общего уже нет такого, каким оно было еще недавно. Во мне образовались какие-то узлы, и я стала бояться о них думать, чувствуя, что надо уже не думать, а поступать и действо-

вать. Я стала бояться свободного времени и впервые в жизни мне стало казаться, что время остановилось. Куда ему двигаться и зачем? Но мне хотелось, чтобы оно шло скорее и привело меня к решениям. Вся жизнь вокруг оказалась „не то": не то было утром, когда я слонялась без всякого дела по комнатам (Ходасевич просыпался иногда в одиннадцать, иногда в двенадцать), и днем, когда я не могла ни читать, ни писать, и наконец — вечерами, которые и всегда были немного меланхоличны, а теперь были страшно печальны. Я помню, что я много ходила по городу, по далеким, незнакомым мне до того кварталам, где-то у Пер-Лашез или за Бютт-Шомон. Помню одну прогулку по берегу канала Сен-Мартен, помню хорошо, хотя хотела бы забыть ее.

Я иногда больше не чувствовала себя живой, я чувствовала себя надломленной внутри, всеми этими годами, этой жизнью, всем, что случилось со мной. „Да, я сломалась, — думала я, — и теперь я никому не нужна, а главное — себе не нужна, и, конечно, ему". И мелочи раздражали меня, пустяки, о которых не стоило и думать, которых я раньше не замечала. И кажется, они раздражали и его, но он этого не показывал. Может быть, я и сама раздражала его? Может быть он видел всё то, что происходило со мной, но молчал и ждал. Думал, что всё образуется. Но никогда ничего не образовывается — таков закон жизни. „На что я ему такая, — думала я, — и себе на что? Хорошо было бы приходить к нему раз в неделю в гости и тогда всё опять было бы по-прежнему: я была бы опять не разбитой, цельной, не сломанной. И могла бы, как прежде, быть для него тем, чем он хотел, чтобы я была".

Действительность научила меня, что даже тогда, когда ничего не происходит, ничего не стоит на месте; может ровно ничего не случиться, а человек — не тот, что был. Мир не стоит, мир движется, сегодня не похоже на вчера и зафиксировать что-либо даже в себе самой — невозможно. С утра до вечера человек уходит далеко. Происходят таинственные процессы, ни на мгновение не прекращается возникновение звеньев цепи, мутаций, переходов. И я знаю теперь, чего не знала тогда: что я не могу жить с одним человеком всю жизнь, что я не могу делать его центром

мира навеки, что я не могу принадлежать одному человеку всегда, не калеча себя. Что я не скала, а река, и люди обманываются во мне, думая, что я скала. Или это я сама обманываю людей и притворяюсь, что я скала, когда я река?

В моем непостоянстве, каким я вижу его теперь, в свете собственной жизни и в свете жизни других людей, моих современников, я принадлежу к огромному большинству живых. Не все считают нужным признаться в этом непостоянстве даже себе: одни считают, что они всё равно ничего в себе изменить не могут, и значит — надо это принять и с этим примириться; другие подавлены чувством вины, но бороться не в силах; третьи считают, что до подходящего случая — если таковой представится — они кое-как будут терпеть и надеяться, что всё обойдется; четвертые ждут, что они с годами изменятся, завянут, устанут и примут status quo; и наконец пятые думают, что иначе и быть не может, что это следствие процесса жизни.

Сначала — трещина во мне, затем — трещина в нашей общей жизни. Эта жизнь начинает идти к концу. В те годы мы начали время от времени разлучаться — иногда на три дня, иногда на неделю, иногда на две, и каждая разлука всё явственнее показывала мне, что скоро я начну другую жизнь. Разлуки были случайные, но естественные: он уехал в Версаль дописать главу „Державина", которая не давалась, я уехала на три дня к Мережковским, в Торран, на два дня к Виржинчик, в Пэра-Каву, он уехал на две недели в Арти, под Париж, измученный трудностями в „Возрождении", я вернулась в Париж с Ривьеры (где мы жили с Вейдле и его будущей женой) одна, чтобы подготовить всё к его приезду... И каждый раз я чувствовала всё сильней, когда оставалась одна, тот „полубезумный восторг" быть без него, быть одной, свободной, сильной, с неограниченным временем на руках, с жизнью, бушующей вокруг меня, с новыми людьми, выбранными мною самою.

Когда мы опять возвращались друг к другу, смирения во мне уже не было. Он теперь вечерами раскладывал бесконечные пасьянсы под лампой, и садился работать после полуночи, после того как я ложилась спать. Мое беспокойство, быть может, мешало ему, я сама чувствовала,

как оно распространяется по всему дому. Проработав часов до шести утра, он ложился и просыпался около двух. В это время, большую часть утра убив на домашние дела и позавтракав, я уходила — в библиотеку, в редакцию, бродить, возвращалась часов в пять, готовила обед и после обеда уезжала от пасьянсов и его жалоб и страхов на Монпарнас, в „Селект", в „Наполи", где в тридцатом, тридцать первом, тридцать втором году собиралось иногда до двадцати человек за сдвинутыми столами, и не только „младших", но и „старших" (Федотов. Зайцев). Иногда уходил и он, играть в бридж в кафе Мюрат, у порт Отей, и когда я возвращалась, его часто еще не бывало дома. Засыпая, я слышала поворот его ключа в замке, я вставала, готовила ему чай, сидела с ним, пока он не уходил к себе и не садился за письменный стол.

Теперь я знала, что уйду от него, и я знала, что мне надо это сделать как можно скорее, не ждать слишком долго, потому что я хотела уйти ни к кому, а если эта жизнь будет продолжаться, то наступит день, когда я уйду к кому-нибудь и это будет ему во много раз тяжелее. Этой тяжести я не смела наложить на него. Я должна была уйти ни к кому, чтобы не нанести ему слишком большой обиды. Я не обманулась, когда обдумывала всё это. Первым его вопросом было:

— К кому?

И в ту минуту, как никогда, я почувствовала огромное, легкое счастье чистой совести:

— Ни к кому.

Но через несколько дней он спросил еще раз:

— К кому? к К.? к С.? к А.?

Мне стало чуть-чуть смешно, и я сказала:

— На чем мне поклясться? На Пушкине?

В последние недели нашей общей жизни его стали заботить мои денежные дела: как я собираюсь сводить концы с концами? Рассчет моей плановой бедности был следующий: комната в гостинице — 300 франков в месяц, еда — 10 франков в день. Итого — 600. Эти 600 франков в месяц я могла заработать в „Последних новостях" — два обязательных фельетона, иногда — литературная заметка, кино-критика, по воскресеньям — работа машинистки в редак-

ции. Ну, а починка туфель? Прачка? Книжка? Одежда? — Как-нибудь. Что-нибудь придумаю. Набежит из „Современных записок". Он не мог помочь мне, но обещал оставить мне литературную хронику Гулливера. Я за это была благодарна ему.

Я оставила в квартире всё, как было. Я взяла два ящика своих книг и книжную полку, два чемодана с платьями и бельем и картон с бумагами. Всё кругом продолжало стоять, как если бы ничего не случилось: петух на чайнике, мебель и мелочи, лампа и диван, гравюры старого Петербурга, которые я когда-то купила в Латинском квартале на его карточный выигрыш. Он стоял у открытого окна и смотрел вниз, как я уезжаю. Я вспомнила, как, когда я снимала эту квартиру, я подумала, что нам опасно жить на четвертом этаже, что я никогда не буду за него спокойна. Но его внимание было в последние дни обращено в другую сторону: нынче днем он сказал мне, зайдя на кухню (где я варила ему борщ на три дня):

— Не открыть ли газик?

Теперь, в открытом настежь окне, он стоял, держась за раму обеими руками, в позе распятого, в своей полосатой пижаме.

Был конец апреля 1932 года.

Я нашла комнату в Отель де Министэр, на бульваре Латур-Мобур, между Сеной и Эколь Милитэр, в квартале, который всегда любила — его широкие улицы, обсаженные деревьями, были тогда еще тихи и пустынны. Дворец Инвалидов был виден из моего окна, а по другую сторону мигала огнями по ночам Эйфелева башня. Комната была на шестом этаже, подниматься надо было по узкой, крутой лестнице; окно было в скошенной крыше; за ширмами, где был умывальник, стояла спиртовка, на которой я могла вскипятить себе чай, так что не всегда я обедала всухомятку. В тот первый вечер я расставила книги и повесила платья в шкаф, разложила бумаги на маленьком, шатком столе, и повалилась в постель, как только стало темно. От усталости я ничего не понимала, в голове не было ни одной мысли, в теле вовсе не было сил. Я спала до четырех часов следующего дня, когда он пришел посмотреть, как я устрои-

лась, и повел меня обедать, а вернувшись я опять повалилась, едва успев раздеться, и опять спала до следующего вечера. И так продолжалось трое суток, пока на четвертый день я не проснулась в обычное время, часу в девятом, и взглянув на потолок моей мансарды поняла — в одну единственную, закругленно-обнявшую всю меня, сияющую радугой минуту, всё, что я сделала.

Я ходила в тот день по каким-то садам, сидела под зеленевшими деревьями, слушала, как идет под мостами река, с тем же, сквозь всю меня, движением, с каким идет городская толпа. Я, кажется, перед самым закрытием, забрела в Лувр и там бродила в Египетском отделе, где раньше не бывала. А услышав звонок, бросилась к выходу и опять сидела под деревьями, и опять стояла на мосту. И потом одним махом взбежала к себе, все шесть этажей, и открыла какую-то книжку, взятую с полки, потом другую. Всё было моим, и сама я была ничьей. Это казалось таким невероятным, невозможным, непомерным счастьем. Что я буду делать с ним? Куда его дену? Как спрячу?

Все месяцы этого жаркого лета в пустом городе, с долгими знойными днями и короткими грозовыми ночами, я читала. Я с утра, еще лежа в постели, открывала книгу и так продолжалось до ночи. Я уходила на Шан-де-Марс и там продолжала читать или садилась в кафе и за чашкой кофе продолжала чтение. В комнате моей под крышей было невыносимо жарко и невозможно было спать, и я продолжала читать ночью. Из всего, что было прочтено тогда, самым драгоценным были великие нашего века: Лауренс, Хексли, Вирджиния Вульф, Джойс (в переводах, конечно), Валери, Клодель, Жид, Кафка и перечитанный той осенью Пруст. Книга для меня — всегда двуострое оружие: она беспокоит меня и организует меня, переворачивает меня и ставит на место, строит. Она накладывает мне на глаза собственный свой рисунок и снимает с моих глаз пелену. С этого (1932 года) я редко стала возвращаться к старой литературе и начала остро любить всё „наше". О старой литературе Шатобриан когда-то выразил замечательную мысль, только его XVIII век я заменяю XIX-ым. Он сказал (в „Замогильных записках"):

„Когда я перечитываю большинство писателей XVIII века, я смущен и тем шумом, который они произвели, и моим прошлым восхищением ими. То ли язык пошел вперед, то ли он отстал, то ли мы шагнули в сторону цивилизации, то ли отступили от нее в варварство, но только мне совершенно ясно, что я нахожу что-то поношенное, что-то вылинявшее, что-то тусклое, едва живое и холодное в авторах, которые составляли упоение моей юности. Даже в самых великих я нахожу недостаток чувства, бедность мысли и стиля".

Я поняла в тот год, что все новые, современные нам политические, экономические, психологические и любовные отношения лучше всего выражаются интеллектуальной инверсией и иронией художественного слова, когда снимаешь инверсией и иронией тысячелетний покров и обнажаешь жизненные отношения между людьми, чтобы через инверсию и иронию, в косвенном подходе, приблизиться к ним и ухватиться за них. В мире остался только человек — описания природы, в которой он живет, прогулки в его семейные дела, производственные отношения имеют второстепенный интерес. Только он сам важен в своей современности, а всё остальное есть двухмерное прошлое, в котором действовали слабые в функциональном смысле законы. Для всей великой старой литературы — кроме нескольких исключений, к которым принадлежат греческие трагики, Шекспир и Сервантес, — я должна делать усилие исторического воображения, и это усилие затем удерживать; и только новая литература, как воздух, входит в меня. Новый человек, живущий в условиях новой технологии, есть прежде всего — новая идея о человеке, но новой идеи не бывает без обновления стиля, и потому в обновленном стиле всё наслаждение, идущее на меня от нового искусства. Нашим несчастьем, трагедией нашей, „младших" в эмиграции, было именно отсутствие стиля, невозможность обновить его. Стиля не могло быть ни у меня, ни у моих сверстников. Один Набоков своим гением принес с собой обновление стиля. Не вопрос тем, не вопрос языка был для эмигрантской литературы роковым. Роковым был для нее вопрос стиля. „Старшие" откровенно признавались, что ни-

какого обновления стиля им не нужно, были старые, готовые формы, которыми они так или иначе продолжали пользоваться, стараясь не замечать их изношенности. Те из „младших", которые были талантливы, только могли модулировать эти формы. „Не может быть обновления идей без обновленного стиля", — говорит Шатобриан. Ни в структуре фразы, ни в словаре мы не принесли в литературу ничего нового.

Наше новое тогда могло быть только в мутациях содержания. Этих мутаций ждал от нас наш малый круг читателей, критиков, „сочувствующих". Но мутации содержания без обновления стиля — ничего не стоили, не могли оживить того, что по существу мертвело. „Безвоздушное пространство" (отсутствие страны, языка, традиций, и — бунта против них, как организованного, так и индивидуального) было вокруг нас не потому, что не о чем было писать, а потому, что при наличии тем — общеевропейских, российских, личных, исторических и всяких других — не мог быть создан стиль, который бы соответствовал этим темам. Эта драма литературы в изгнании есть еще одно доказательство (если оно кому-нибудь нужно), что „содержание" произведения есть его „форма", а „форма" есть „содержание". Кое-что в нашем эклектизме иногда как будто бы обещало настоящее искусство или указывало направление, откуда оно могло прийти, но в итоге осуществлено было слишком мало. Здесь я сужу не только мое поколение, но и себя самоё, конечно вполне допуская, что через пятьдесят лет будет вынесен нашему периоду русской литературы иной, более мягкий приговор.

Было также усиленное давление со стороны тех, кто ждал от нас продолжения Бунинско—Шмелевско—Купринской традиции реализма (их термин, не мой). Попытки выйти из него никем не понимались, не ценились. Проза Цветаевой — едва ли не лучшее, что было в эти годы — не была понята. Поплавский был прочтен после его смерти, Ремизова никто не любил. Я сама слышала, как Милюков говорил: „Окончил гимназию, окончил университет, а Цветаеву не понимаю". Если человек не понимает чего-то, значит он не годится для того места, на котором он сидит,

но на это дерзкое замечание, сделанное за его спиной вполголоса, ответ был один:

— Газета, прежде всего, политическое (и коммерческое) дело, литературу мы только терпим.

И вдруг перед самой войной раздались голоса: а что если от всей четверти века изгнания останется только литература? Пусть даже плохонькая, пусть едва живая, едва самостоятельная, но всё-таки что-то сказавшая, а вся политика (непримиримости, соглашательства, „засыпание рва" и „углубление рва") есть нуль, который рассеется дымом, не оставив и следа? А что как „стишки" и „рассказики" (требование редактора газеты было всегда одно и то же: „с сюжетцем") будут жить дольше, чем передовые самого Павла Николаевича, чем исторические рассуждения (не без симпатии к российским монархам) Фондаминского или „белая идеология" правых, самые имена которых исчезнут без следа? Откуда впервые раздались эти голоса, я не помню. Может быть это сказал Ходасевич, может быть — Федотов, может быть кто-нибудь из „молодых" что-то „ляпнул", или случайный оратор какого-нибудь литературного или политического собрания изрек это с эстрады? Или вопрос этот был сформулирован в гостиной Цетлиных как парадокс, над которым посмеялись?

Эстетических идей не было почти ни у кого, словно из века символизма мы шагнули назад, когда считалось, что для писания стихов нужны известные правила, а проза пишется самотёком. Их не было в „Современных записках", потому что ни Фондаминский, ни Руднев, ни Вишняк не имели ничего общего с литературой. Их не было и в „Числах", где были сделаны некоторые попытки, однако не была найдена терминология, чтобы сказать о насущной беде: редактор „Чисел" жил верой в чудо, что было естественно, так как к этому времени он впал в религиозный фанатизм и сравнивал свою подругу с Христом, потеряв всякое чувство меры. Но чуда не произошло. Русский бог отказывался помогать нам.

Я пришла к прозе в середине двадцатых годов. Первые мои рассказы были напечатаны в „Днях" и в „Новом доме". В этих рассказах видна полная неопытность слова, но где-то между строками можно найти что-то похожее на живое

воображение и попытку символизации. Затем, когда я пришла в „Последние новости", я начала свой цикл „Биянкурские праздники", которые продолжала несколько лет. Это была лирико-юмористическая, иронико-символическая серия рассказов о жизни русских в Биянкуре — русских нищих, пьяниц, отцов семейств, рабочих Рено, певцов, поющих во дворах, деклассированных чудаков. Был рассказ о двенадцатилетней девочке, подобравшей чужого ребенка; о бывшей графине, стоящей в воскресенье на паперти православного собора, с „памятником" Николаю Второму у левого клироса; о генералах, подающих в ресторанах и полковниках с выпяченной грудью, которые ночью — шоферы такси, а днем пишут мемуары об ошибках врангелевского отступления. Рассказы были неровные, некоторые написаны наспех, с невысокого уровня эффектами, но по крайней мере половина из них любопытна; есть в них следы Гоголя, Зощенки, „Скверного анекдота" и Алеши Чехонте, и следы меня самой — ищущей „бытового слова", сюжета с лирико-комической стороной жестокого романса, и со слезой, напоминающей не человеческую, но сырную слезу.

Рассказы эти имели большой успех. „Последние новости" в это время выходили тиражом в тридцать-тридцать пять тысяч экземпляров ежедневно, их читали буквально все, и не только в Париже. Все меня знали. Мадам Пышман норовила положить мне в мешок банку консервов, русский сапожник однажды набил мне подметки даром, перевозчики, когда мы переезжали в Лонгшен (русские), отказались взять на чай. На русских вечерах меня узнавали, и однажды, в вагоне метро, ночью, все головы повернулись ко мне: с какого-то русского праздника человек тридцать русских ехало домой (в Биянкур, конечно) и я услышала шепотом произнесенную мою фамилию.

В „Современных записках" я печатала повести. Они были сначала подражательны, каким был и мой первый роман „Последние и первые", о котором было довольно много сочувственных отзывов. Достоевский в эти годы подавил меня сверх всякой меры. И я вышла из него только для того, чтобы пуститься в более легкую литературу — как бы на зло ему. Второй роман, а отчасти и третий были реакцией на это подавление, но уже в середине тридцатых

годов я начала понимать, что самая подходящая для меня форма есть повесть (длинный рассказ). В моей книге „Облегчение участи. Шесть повестей", вышедшей в Париже (издание УМСА) в 1948 году, собраны мои лучшие вещи того периода. О „Роканвале" с большой похвалой писал Савельев-Шерман в „Современных записках". Рассказ „Облегчение участи", „Воскрешение Моцарта" и „Плач" я считаю до сих пор отличными рассказами. О рассказе „Лакей и девка" Бунин говорил мне, что сделал большое количество замечаний на полях своего номера „Современных записок" (он был напечатан в первый раз в журнале, в книге 64), и обещал мне когда-нибудь показать их. Где этот экземпляр? В каком архиве? В каком подвале антикварной книжной лавки?

Книги тогда издавались в количестве восемьсот-тысяча пятьсот экземпляров. Бунин издавался в 1.500 экземпляров, мои книги печатались в 1.000 экземпляров. Пьеса в русском театре шла самое большее десять-двенадцать раз (пьесы Тэффи и Алданова), моя комедия „Мадам" в 1938 году прошла четыре раза. Один раз — значило провал, два раза — небольшой успех. Публика хотела театра реалистического, она мечтала видеть на сцене, как пили чай из самовара, а Набоков давал ей „Событие" и „Изобретение Вальса", где Вальс оказывался не танцем, а человеком, и где одна из женских ролей была написана стихами, и бывшая актриса МХТ не знала, как их читать. Когда в конце моей пьесы одна часть действующих лиц усомнилась в существовании другой части, никто ничего не понял, а М. Н. Германова (это было незадолго до ее смерти) даже нашла, что тут „не без Леонида Андреева". Кстати: не забыть мне спектакля, где она играла Грушеньку, а Рощина-Инсарова — Катерину Ивановну: обе выглядели на сцене, будто были бабушками этих героинь Достоевского или как будто это были т е с а м ы е Грушенька и Катя, которые были молоды в семидесятых годах прошлого века и сейчас всё еще живут на свете.

Старый театральный критик „Последних новостей" довольно добродушно отнесся к моей пьесе. Я вышла на сцену, когда меня вызвали, и даже получила цветы. Зато критик „Возрождения", Сургучев (с которым я уже много лет не

кланялась), автор в свое время нашумевших у Станиславского „Осенних скрипок", отчитал меня за то, что в последнем акте, по ходу действия, у героя пьесы не было достаточно времени, чтобы сходить в баню.

Так писал критик „правого" „Возрождения", но ведь и „левые" в эмиграции, обладавшие полнотой власти в литературном журнале, были не менее невежественны, когда дело касалось искусства: Милюков не понимал Цветаеву, Руднев — Набокова, Н. В. Вольский (он же Валентинов, он же Юрьевский) напечатал свои воспоминания о Белом и Блоке, где обозвал их полоумными шутами. Впрочем, Вольский поражал меня не только своими мнениями о литературе, но и признаниями совершенно другого характера: однажды будучи у него уже в 1960 году, я сказала, что негритянский вопрос в С. Ш. А. в конце концов будет разрешен, и черные и белые через сто лет сольются. Старый социал-демократ с ужасом посмотрел на меня:

— Какие же у них будут дети?

— Вероятно, серые, — сказала я, — лет через тысячу — серые, с легким коричневатым оттенком.

Он покачал головой:

— Нет, не согласен. Всё, что хотите, но как же Венера Милосская? Она тоже будет серая?

Что он хотел сказать словами „всё, что хотите"? Он тогда же признался мне в разговоре, что ямба от хорея не отличает и думает, что Эдуард Манэ — последнее слово в живописи.

Две интеллигенции делали русский ренессанс XX века: одна была более или менее безграмотна в политике (во всяком случае — Ленина не читала), к ней принадлежали большие поэты и прозаики, художники, композиторы, театральные деятели. Другая жила целеустремленно в том или другом активном революционном действии. Вторая отчасти накладывала на первую критерий, которым судилась русская история и действительность. Первая своего эстетического критерия на вторую наложить не сумела. Цели их были различны и различен был „дух" — первая, несмотря на все свои уклонения, зависела от Европы и Запада, вторая — несмотря на зависимость свою от Энгельса и Маркса, была теснейшим образом связана с исконно-рус-

скими народными чертами. Такой видится мне сейчас первая четверть нашего века.

В моих стихах, как и в прозе, была в то время та „полуформа", которую можно найти в стихах почти всех моих сверстников тех лет. Я так и не издала сборника стихов и думаю — хорошо сделала. В поэзии нашей даже Набоков ничего не мог поделать со старой нашей просодией, которая должна, наконец, быть сломана, иначе у русской поэзии нет будущего. Впрочем, одно мое стихотворение тех лет почти все знали наизусть:

Гитара

В передвечерний час,
В тумане улиц старых,
Порой плывет на нас
Забытый звон гитары.
Или открыли дверь
Оттуда, где танцуют?
Или в окне теперь
Красавицу целуют?

Над этой мостовой
Та песнь звучит, как прежде,
Старинною тоской
По счастью и надежде.
Ее поет другой
Теперь, в часы заката,
Она осталась той,
Какой была когда-то.

А ты? Прошли года
Речной волны быстрее,
Ты любишь, как тогда,
Ты стал еще нежнее,
Ты стал еще верней,
Чем в первые свиданья,
Твой жар мучительней,
Мучительней признанья.

Это „А ты?" появляющееся неожиданно и это „мучительней", которой хочется произнести с ударением на последнем слоге, дают ключ всему стихотворению, как к пародии жестокого романса. Тогда осмысляется и „речная волна" и

„туман улиц" и „звон гитары", как осмеянные банальности, и выходит наружу параллель „ее поет другой" и „она осталась той", поддержанная обращением-вопросом, где человек, конретный, сегодняшний, противоположен не только тому, прежнему, но и песне, звучащей в „вечерний час".

Много позже, после перерыва в двадцать лет, я вернулась к стихам, но уже белым.

Связь с прошлым России в те годы значила для меня меньше, чем связь с Россией сегодняшней. Постепенно революционное лицо ее менялось: Троцкий был отстранен, затем изгнан. Горький вернулся и жил там, умиленный всем виденным, лишенный дара предвидеть ближайшее будущее — свое и русской литературы или, по своей привычке, закрывший на будущее глаза. Он умер, и за тридцать лет тайна его смерти только сгустилась — о ней ни слова нигде, только о болезни и о похоронах! Затем начали исчезать люди — в журналах Москвы и Ленинграда пропали десятки имен, зато на каждой странице появилось имя того, кто стал в центре так называемого „культа личности". Для меня всегда было и есть что-то глубоко омерзительное во всяком „культе", в фанатизме в любой форме, фанатизм мне кажется самой страшной, безобразной, унизительной и опасной чертой человека. Как это ни покажется странным, но он вызывает во мне прежде всего физиологическую реакцию: я чувствую всю его противоестественность, то есть противность моему естеству, сама моя природа ему противится, и весь мой организм реагирует на него легким, отдаленным позывом к тошноте. Меня начинает мутить, и тогда я знаю, что это не только отвратительно, но и противоестественно: этот пробный камень физиологической реакции еще никогда не подвел меня.

Кое-кто вернулся в СССР в те годы: Билибин, Н. В. Серова, Е. А. Софроницкая, С. Прокофьев, позже — А. И. Куприн, еще позже — Цветаева. Почти все эти люди рассчитывали там на лучшую жизнь — не материальную, а личную и, может быть, творческую. Билибина французы художником не считали, и он уехал кляня французских издателей за то, что они лишь изредка приглашали его иллюстрировать детские книги (переводы русских сказок). Наташа Серова, дочь художника, после смерти брата-актера

стала заниматься фотографией. Дела ее не шли. Маленькую, толстенькую, ее никто не принимал всерьез, как женщину, между тем молодость уходила. Помню, однажды она вернулась из советского консульства, куда ходила за визой, и рассказывала, что там все двери автоматически запираются на замок и все называют друг друга на „ты", что произвело на Алданова большое впечатление: он в это время печатал свой роман „Пещера", где изображал советских, вполне пряничных послов, атташе и машинисток. Елена Софроницкая, дочь Скрябина и жена пианиста (дочь Скрябина от первого брака с Верой Ивановной и сводная сестра Ариадны, позже жены Д. Кнута), приехав в Париж с мужем, обратно в Москву с ним не вернулась, она несколько лет колебалась и наконец уехала в Советский Союз, говоря, что ей обещали место в музее Скрябина. Отъезд С. С. Прокофьева прошел для меня незаметно. Софроницкая говорила мне, что он посадил жену и двух детей в автомобиль, прицепил прицепку с багажом и покатил на родину. Сомневаюсь, чтобы это было так, но, будучи в Америке, он не раз говорил: „Мне здесь места нет, пока жив Рахманинов, а он проживет еще может быть лет десять или пятнадцать. Европы мне недостаточно, а вторым в Америке я быть не желаю". Тогда-то он и принял свое решение.

Самое любопытное в отъезде Куприна (и что я узнала много позже) было то, что его уговорила поехать в СССР дочь, красавица Киса, но в последний момент Киса осталась в Париже, а старики уехали. Они очень бедствовали во Франции. Елизавета Маврикиевна держала маленькую библиотеку в 15-ом округе Парижа, где жило много русских. Писать Куприн уже не мог. Главным членом семьи был кот Юю, который был так ленив, что когда он лежал на радиаторе и ему делалось слишком жарко, он орал на всю квартиру, чтобы пришли и сняли его — сам спрыгнуть не желал. Киса позже вернулась в Москву. А Юю давно

> ...в тех садах за огненной рекой,
> Где с воробьем Катулл и с ласточкой Державин,

и где находится, очевидно, и Мурр, вдохновивший Ходасевича на эти замечательные стихи, которых сам он не ценил по достоинству.

М. И. Цветаеву я видела в последний раз на похоронах (или это была панихида?) кн. С. М. Волконского, 31 октября 1937 г. После службы в церкви на улице Франсуа Жерар (Волконский был католик восточного обряда), я вышла на улицу. Цветаева стояла на троттуаре одна, и смотрела на нас полными слез глазами, постаревшая, почти седая, простоволосая, сложив руки у груди. Это было вскоре после убийства Игнатия Рейсса, в котором был замешан ее муж, С. Я. Эфрон. Она стояла, как зачумленная, никто к ней не подошел. И я, как все, прошла мимо нее.

В эти годы, в связи с отъездом в СССР некоторых политических эмигрантов, многие из нас, в том числе и я, задавали себе вопрос: что именно мешает нам принять советский режим? Литераторам прежде всего мешала политика компартии в делах литературы. Сейчас, через тридцать лет, после открытой „реабилитации незаконно репрессированных", каждому ясно, что угрожало тем, кто вернувшись пытались бы писать „полным голосом". Об этом никогда не могло быть и речи. Но другая мысль приходила нам в голову: что если отказаться от литературы и вернуться, чтобы стать мелким служащим в провинции, или культурным работником в Сибири, или, проработав на лесоповале несколько лет, затем попытаться устроиться на интеллигентную работу? Ответ был один: Сталин. Лично я могу сказать, что в течение двадцати пяти лет не было дня, когда бы я не чувствовала его присутствия в мире, не чувствовала бы негодования, отвращения, унижения, страха перед этим именем. В марте 1953 года если не во всем, то во всяком случае в огромной его части мое отношение к советскому режиму изменилось. Я вижу конец обожествления тирана — и в этом факте, как мне думается, заложена возможность эволюции коммунистического мышления. Окаменению идеологии и жестокости практики — часто бессмысленной — пришел конец. Начался ход истории, который был остановлен — духовной истории (вернее — интеллектуальной) жизни целой страны. Так, по крайней мере, мне думается сейчас, когда я пишу эти страницы, в эпоху „оттепели". Но конечно, все возможно. И если не будут пересмотрены основы, на которых возник в свое время

„культ личности", окаменение мысли, заледенение идеологии может вернуться в любой день.

Нет ничего страшнее, чем окаменение мысли, как у отдельного человека, так и у многомиллионного народа. Если это происходит от естественных причин старческого склероза, то это хоть и тяжелое зрелище, но мы принимаем его как неизбежное, как начало слишком медленно идущего конца. Но когда это происходит по деспотической воле одного человека и мы наблюдаем окостенение разума целой нации, скованной страхом „ревизионизма", тогда тирану нет оправдания, потому что мысль есть энергия, которая не может быть остановлена или заморожена, и не может быть народ отрезан от общей эволюции цивилизации.

Связь разумеется есть явление двухстороннее, и потому связи с советской литературой у меня не было и быть не могло, но было одностороннее (с моей стороны) знание о ней, постоянное вникание в нее, интерес к ней, к стихам, к прозе, к литературной полемике, к съезду 1934 года, к малым, ползущим по лестнице вверх, и к большим, вытолкнутым в забвение. Оттуда всё мало-мальски ценное доходило до нас. С Запада же на Восток ничего не доходило, если не считать „образцов эмигрантской печати" для пополнения мало кому доступных советских „секретных фондов".

Между СССР и уходящими постепенно крупными людьми старой России, между собственными немощами и каменным лицом новой Франции, мы жили два десятилетия. Я говорю „мы" потому что, несмотря на то, что никакой действительной связи, никакого общего делания, действия, работы, идей у нас не было, я не могу себя оторвать от моего поколения, я не настолько самоуверенна, чтобы раз и навсегда отъединить себя от всех, и, с другой стороны, я — не тот обыватель, который дрожит за собственными четырьмя стенами, заперев дверь на ключ — не только от воров, но и от соседей. Я не чувствовала и не чувствую потребности в коллективных переживаниях, но я также знаю, что такое ésprit de corps. Коллективность во всех видах мне чужда, я лучше соглашусь делать тяжелую работу одна, чем более легкую коллективно, но я в то же время помню, что связана законами пространства и времени с людьми моей судьбы. Коллективные поиски культуры —

такое характерное русское явление — коллективные поиски ответов на „проклятые" вопросы, меня не соблазняют. Я как могла разрешила эти вопросы сама для себя и только скажу, что эти ответы ни от кого не скрываю.

Каменное лицо послевоенной Франции, обращенное к нам, были дадаисты, сюрреалисты, начинающие абстракционисты и заканчивающие свою карьеру кубисты, поэты, давно пишущие вольным (и конечно белым) стихом, всё еще смотрящие на Москву, как на покровительницу конструктивизма, жадно хватающиеся за переводы на французский Маяковского, производственных романов, пьес Сейфуллиной, за кино Эйзенштейна, за „перманентную революцию" Троцкого, впрочем не совсем понимая, почему Стравинский не там, а здесь, почему Дягилев умер в долгах в Венеции, когда ему наверное дали бы место директора советских театров, почему Эренбург не переиздает своих старых книг. Старое поколение эмиграции было ими понято следующим образом: люди потеряли текущий счет в банке, именье, теплое местечко — потому они тут. Мережковский может быть был губернатором (французские писатели в большинстве имеют по две профессии), Бунин — банкиром, Бальмонт командовал гвардейским полком. Всё понятно. Но откуда взялись эти, которым в год революции было пятнадцать, а то и десять лет? Вероятно, отцы их были великими князьями? В таком случае тем хуже для них!

Тридцатые годы — эпоха американской депрессии, мирового экономического кризиса, восхождения Гитлера, абиссинской войны, испанской войны, „культа личности" в Советском Союзе, разоружения одних и вооружения — других. Страшное время в Европе, в мире, отчаянное время, подлое время. Кричи — не кричи, никто не ответит, не отзовется, что-то покатилось и катится. Не теперь, но уже тогда было ясно, что эпоха не только грозная, но и безумная, что люди не только осуждены, но и обречены. Но, как я сказала в другой части этого рассказа: что было миру до нас, Акакиев Акакиевичей вселенной? Тише воды, ниже травы... Мы затурканы, мы забиты, подданства нам не дают, в будущей войне пошлют в окопы. Мы чувствуем себя так, будто во всем виноваты и несем ответственность за то, что творится: за восхождение Гитлера, за „культ

личности", за то, что убит французский президент. Кем? Да русским, русским же, конечно, эмигрантом, который сидел в клинике для умалишенных и пожелал привлечь внимание мира к своему бедственному положению (еще нам говорят, что он писал стихи). И вот теперь мы все виноваты в этом. Кто же как не мы? И нас выгонят отовсюду, нас выпорют... Русский репортер приходит бледный в редакцию газеты:

— Отец, всё пропало, всё что мы делали десять лет здесь, всё пошло к чертовой матери.

А на следующий день безыменный казак, un cosaque russe, эмигрант и доблестный сын Добровольческой армии, выбрасывается в окно: ему стыдно соседей, хотя президента убил и не он.

На похоронах вдова, француженка, рыдает, дети плачут, церковь полна народу. Эта смерть, эти похороны — карикатура, ироническое отражение реальности в эмигрантской деформированной страхом, унижениями, нищетой и отверженностью психике. Коллективное переживание коллективной вины — столь любезное русскому сердцу.

— Как мы им все на-до-е-ли, — говорит Ладинский, — Боже, как они устали нас терпеть! Да я бы на их месте давно выгнал бы всех эмигрантов на Сандвичевы острова, со всеми нашими претензиями на безработное пособие, на бесплатное обучение детей, на стариковскую пенсию. Вот будет война...

Это теперь у него присказка.

— Вот будет война, — говорит и Ходасевич, с которым я теперь встречаюсь раза два в неделю: он приходит ко мне, мы обедаем у меня и потом до ночи играем в угловом „бистро" на биллиарде; или я еду к нему, и мы завтракаем у него; или встречаемся недалеко от редакции „Возрождения", в подвале кафе „George V". Потом я провожаю его, или мы долго гуляем по улицам. Он по-прежнему ложится под утро.

Приведу отрывки из двух его писем ко мне этого времени:

„26 августа 932.

...я приехал сюда вчера. Комната у меня на деревне, но близко от пансиона, лучше той, где мы жили с тобой

в Арти. Есть даже зеркальный шкаф, а кровать — с балдахином, чуть чуть съехавшим набекрень. Чисто. Парк оказался садом. После Арти — сущий Довиль. Есть даже роскошные женщины в демонических пижамах — и собой вполне ничего!... Публика чище артийской на 90 проц. и моложе — на 95. Это утешительно. О „Возрождении" никто не слышал, о „Посл. Нов." многие слышали, но получают одни К. Прочие либо ничего не читают, либо Matin и Journal. Сегодня одна дама (без пижамы) предложила другой (в пижаме) книжку. Та ответила: „Я еще не старуха, — чего мне книжки читать?" Одна барышня читала русскую книжку недавно — года три тому назад. Очень хорошая книжка, большевицкое сочинение, но смешное, — про какую-то дюжину стульев. Всё это тебе сообщаю потому, что прикоснулся к „читающей массе" и делюсь сведениями.

Напиши мне о Париже и о себе. В эти наши свидания очень ты был мил и утешен. Напиши также о котике — как ты его нашла и что он? Мне здесь очень отдохновенно. Боже мой, что за счастье — ничего не писать и не думать о ближайшем фельетоне!"...

Весна. 1933.

„...Я получил твое письмо только сейчас, 2 числа, ночью. Спасибо за откровенный голос — он действительно дружеский. Отвечу тебе с той же прямотой... Что я знаю о тебе, я знаю от тебя и только от тебя. Неужели ты думаешь, что я могу сплетничать о тебе с фёклами?... Допустим, завтра в газетах будет напечатано, что ты делаешь то-то и то-то. Какое право я имею предписывать тебе то или иное поведение? Или его контролировать? Я не недоволен твоим *поведением*. Я говорил Асе, что меня огорчает твое безумное легковерие, твое увлечение людьми, того нестоющими (*обоего пола, без всяких любвей*), и такое же твое стремительное швыряние людьми. Это было в тебе всегда, я всегда это тебе говорил, а сейчас, очутившись одна, ты просто до экстаза какого-то, то взлетая, то ныряя, купаешься в людской гуще. Это,

на мой взгляд, должно тебя разменивать — дай Бог, чтобы я ошибся. Это и только это я ставлю тебе в упрек. Согласись, что тут дело не в поведении и вообще лежит не в той области...

Милый мой, ничто и никак не может изменить того большого и важного, что есть у меня в отношении тебя. Как было, так и будет: ты слишком хорошо знаешь, как я поступал с людьми, которые дурно к тебе относились или пытались загнать клин между нами. Так это и остается, и все люди, которые хотят быть хороши со мной, должны быть хороши и доброжелательны в отношении тебя. На сей счет нет и не было у меня недоговоренностей ни с кем.

Пожалуйста, не сердись за то, что я написал о твоем разменивании. Я упомянул об этом только ради того, чтобы разъяснить тему моего разговора с Асей (о твоем таком отношении к людям тысячу раз я с ней говорил на 4 Cheminées — иногда при тебе, и оба мы тебя бранили в глаза и за глаза: что ж мне с Асей стесняться?)...

Словом, надеюсь, что наша размолвка (или как это назвать?) залечится. В субботу в 3 с половиной приду в 3 Obus. Тогда расскажу и о своих планах на зиму. Предвидения мои сносны, но пока что — заели и замучили меня кредиторы. Хуже всех — фининспектор (было 2000, 1000 выплатил — стало опять 2!) и Гукасов, у кот. я взял осенью 1000. Он мне вычитает по 250 в каждые две недели. Выплатив, беру сызнова — и всё начинается сначала! Ну, это вздор. Будь здорова. Ложусь — уже скоро четыре часа. Целую ручку."

Однажды утром Ходасевич постучал ко мне. Он пришел спросить меня в последний раз, не вернусь ли я. Если не вернусь, он решил жениться, он больше не в силах быть один.

Я бегаю по комнате, пряча от него свое счастливое лицо: он не будет больше один, он спасен! И я спасена тоже.

Я тормошу его, и шучу, и играю с ним, называю его „женихом", но он серьезен: это — важная минута в его

жизни (и в моей!). Теперь и я могу подумать о своем будущем, он примет это спокойно.

Я целую его милое, худенькое лицо, его руки. Он целует меня, и от волнения не может сказать ни одного слова. „Вот подожди, говорю я ему, я тоже выйду замуж, и мы заживем... Ты и не представляешь себе, как мы заживем все четверо!"

Он наконец смеется сквозь слезы, он догадывается за кого я собираюсь замуж, а я и не спрашивая прекрасно знаю, на ком он женится.

— Когда?

— Сегодня днем.

Я гоню его, говоря ему, что „она убежит". Он уходит.

Оля Марголина появилась в нашей жизни еще зимой 1931—32 года. Она жила с сестрой. Ей было тогда около сорока лет, но она выглядела гораздо моложе. У нее были большие серо-голубые глаза и чудесные ровные белые зубы, которые делали ее улыбку необычайно привлекательной. Позже, когда она жила у нас в Лонгшене во время войны, я дразнила ее:

— Что-то у нашей Оленьки какой дантист нехороший! Вставляет ей зубы, сразу видно, что фарфоровые. Сказать бы ему...

Оля была небольшого роста, ходила тихо и говорила тихо. Она однажды рассказала мне, как, будучи девочкой лет четырнадцати, как-то вечером зашла случайно в какую-то церковь. Это было между Мойкой и Екатерининским каналом, она жила и училась в Петербурге. В церкви жарко горели свечи, шла какая-то служба и люди молились. Она в этой церкви пережила какое-то особенное чувство смирения и подъема, и несколько незабвенных минут, которые навсегда изменили ее: она стала совсем другой, непохожей на двух старших сестер, не похожей на братьев, не похожей ни на кого кругом. Она затихла.

— И вот видишь: в свое время замуж не вышла, и вообще, всё не как у всех.

„У всех" — это значило у людей ее круга: одинаковых, буржуазных, семейных.

Семья была богатая, отец был ювелиром. Жили в собственном доме, и что меня всегда поражало: у них была

в Петербурге своя корова. Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь в Петербурге имел собственную корову. Олю отвозили в гимназию на собственных лошадях, запряженных парой под сеткой. Потом они жили в Швейцарии, так просто, — жили и ничего не делали. Играли в теннис и танцевали. Но она в теннис играла плохо и танцевать не любила.

Теперь она вязала шапочки и этим зарабатывала на жизнь. Когда я ушла от Ходасевича, она стала иногда заходить к нему и помогать ему.

Я вспоминаю, что когда я бывала с ней, у меня было такое чувство, будто я слон, который вдвинулся в посудную лавку и сейчас всё раздавит кругом, а за одно и самоё хозяйку лавки. Надо было быть осторожной, потому что она была не совсем такой, каким было большинство людей вокруг. Она верила в Бога. Она постепенно пришла к убеждению, что ей надо креститься. Она говорила, что в еврейской религии женщине как-то нечего делать, ей нет там места. Еврейская вера — мужская вера. Впрочем — Бог конечно один, не может же быть двух богов, или пяти, или десяти? Я помнила про слона и молчала: неосторожным движением я могла что-то помять тут, испортить, нарушить.

Ходасевич и Оля прожили шесть лет вместе и в последний год, когда он тяжело болел, в год „Мюнхена" и аннексии Чехословакии, они оба подолгу гостили в Лонгшене. В последний раз он уже почти не выходил в сад, оставался весь день в кресле на площадке. Н. В. М. делал всё, чтобы им было хорошо у нас. Он очень любил Олю.

Последние письма Ходасевича показывают его душевное настроение в конце жизни. Вот два из них:

„21 июня 937.

... Действительно, своего предельного разочарования в эмиграции (в ее „духовных вождях", за ничтожными исключениями) я уже не скрываю; действительно, о предстоящем отъезде Куприна я знал приблизительно недели за три. Из этого „представители элиты" сделали мой скорый отъезд.*) Увы, никакой реальной почвы

*) Был слух, что Ходасевич собирается в Советский Союз. (Н. Б.)

под этой болтовней не имеется. Никаких решительных шагов я не делал — не знаю даже, в чем они должны заключаться. Главное же — не знаю, как отнеслись бы к этим шагам в Москве (хотя уверен „в душе", что если примут во внимание многие важные обстоятельства, то должны отнестись положительно). Впрочем, тихонько, как Куприн (правда, впавший в детство), я бы не поехал, я непременно и крепко, и много нахлопал бы дверями, так что ты бы услышала.

Я сижу дома — либо играю в карты. Литература мне омерзела вдребезги, теперь уже и старшая, и младшая. Сохраняю остатки нежности к Смоленскому и к Сирину. Из новостей — две: Ф., кажется, начинает менять ориентацию, возвращаясь на духовную родину, т. е. отступая из литературы на заранее подготовленные позиции — к бирже. А. вчера женился на богатой и некрасивой музыкантше. Квартира отделана — молодые поехали в горы. Словом, всё эволюционирует в естественном порядке.

О песике слышал. Жалею, что не могу представиться ему, ибо на поездку надо выложить полсотни. Если будешь в Париже — дай знать, чтобы свидеться.

Я видел П-ую — это напомнило мне о молодости (моей) и о старости (ее). Она ходит под ручку с Мишей Струве и говорит об Ахматовой, как старые генералы при Николае I говорили о Екатерине.

Зюзя вышла замуж за англичанина*). Жить она будет под Бирмингамом, в тамошнем Холивуде. Боюсь будет ей холивудно, но пока она довольна. В конце концов ты устроила ее судьбу, это забавно.

Какие ужасы пишет Бунин о Толстом!...

Н., действительно, не блещет. Ты однако не брыкай ее очень. Уверяю тебя, что ум надо спрашивать только с профессионалов этого дела и что все люди — лучше писателей.

Батюшки! Чуть не забыл! Прилагаю письмо, мною полученное через „Возрождение" и вскрытое потому, что только начав читать увидел я на конверте „M-lle

---

*) Племянница Оли, Мелита Торнело, рожденная Лившиц. (Н. Б.)

N. Berberoff". Прости, пожалуйста. Еще прости, что темы в этом письме (т. е. в моем) перетасованы как-то идиотски. Но я сегодня дописывал фельетон, ездил в город, прочел 3 французских газеты (по случаю Блюма) — а сейчас уже 2 часа ночи, и я устал, и пора спать.

Будь здорова. Оля тебя целует. Поклонись Н. В. Песика благословляю. Внушайте ему хорошие правила с детства."

„21 мая 938.

Посылаю тебе, душенька, вчерашний мой фельетон*). Завтра надо садиться за следующий. Вероятно, напишу о Бор. Ник.**), но еще не решил. Взял книгу у Фондаминского, но читаю по странице в час — сил моих нет, какое вранье ужасное, горестное. Так что может и не стану писать: махну рукой.

Обедали у Н. Гроб. Одна польза — какой-то шофер сказал, что нельзя сажать хрен с другими овощами. Надо — отдельно и вдалеке. Потому что он, хрен, плодлив, корни пускает под землей и вылезает наружу, где его не ждали, так что вскоре всё убивает вокруг, и весь огород превращается (страшно подумать!) в хреновник. Это безумно для тебя важно.

Только вернувшись в город, мы по настоящему оценили, как хорошо было у вас. Только побывав у Н., поняли, как хорошо дома. Только побывав в тот же вечер на Монпарнасе, пожалели, что не остались у Н. Вот ты и посуди, каково тут всё.

Будьте здоровы, пожалуйста.

На днях тебе позвоню."

Приведу мою запись, сделанную 13—23 июня 1939 года о болезни и смерти Ходасевича:

„Он заболел в конце января 1939 г. Его тогда лечил доктор З. Диагноз его был отчасти верен (закупорка желчных путей), но лечение было жестоко и грубо. В конце февраля он был в Лонгшене. Ему было хорошо. „Если бы я остался

---

*) О моей новой книге. (Н. Б.)

**) О трех томах воспоминаний Андрея Белого. (Н. Б.)

(здесь) с тобой, — сказал он потом, — я бы выздоровел". Он говорил, что деревня его вылечит, и я стала присматривать ему комнату на лето — где-нибудь поблизости.

К концу марта ему стало значительно хуже. Начались боли. Он менял докторов. Перед пасхой (9 апреля) ему бывало очень скверно: он исхудал, страдал ужасно. Были боли в кишечнике и в спине. Наконец, на пасхальной неделе, он поехал к Левену*) — показаться. Левен начал лечить кишечник. Мы опасались, что это рак кишек.

Весь апрель он жестоко страдал и худел (потерял кило 9). Волосы у него отросли — полуседые; он брился редко, борода была совсем седая. Зубов уже вовсе не надевал. Кишечные боли мучили его и днем и ночью; иногда живший по соседству врач приходил ночью, впрыскивать морфий. После морфия он бредил — три темы бреда: Андрей Белый (встреча с ним), большевики (за ним гонятся) и я (беспокойство, что со мной). Однажды ночью страшно кричал и плакал: видел во сне, будто в автомобильной катастрофе я ослепла**). До утра не мог успокоиться, а когда я днем пришла — то опять разрыдался.

Я приходила два раза в неделю. Медленно и постепенно Левен старался привести кишечник в порядок после многолетнего катарра. Боли делались слабее и реже, но нервное состояние оставалось страшно подавленным. Бывали дни постоянных слез (от умиления, от жалости к себе, от волнения). Обои в комнате были оливковые, выгоревшие, одеяло — зеленое. Бедные, грубые простыни, узкая постель (тахта). На ней он — исхудалый, длинноволосый, всё еще курящий по многу. В мае у него разлилась желчь.

Я была у Левена. Он сказал, что теперь, когда сделаны просвечивания, анализы (которые ничего не дали), ему кажется, что дело не в кишках (которые он отчасти подправил), а в поджелудочной железе. „Возможно, что это закупорка желчных путей, — сказал он, — но возможен и рак этой железы. Подождем — увидим". В нем уже было 49 кило с небольшим; теперь он был страшного цвета,

---

*) Известный французский врач.

**) В тот год я училась водить автомобиль.

из желтого делался коричнево-зеленым (что было дурным признаком), худеть стал меньше, но аппетит всё еще был (это как раз было признаком хорошим).

Даже зрачки глаз его отливали желто-зеленым, не говоря уже о волосах. Ноги его были худы, как щепки. В лице была тоска, мука, ужас. Он совершенно не спал. Он не знал, что это может быть рак и вообще не предполагал, что болен так серьезно. Но какая-то потерянность была во всем — ни в чем он не видел облегчения; боли начались теперь менее сильные, но гораздо выше, „под ложечкой"; ему впрыскивали что-то для поджелудочной железы, но он продолжал темнеть.

В конце мая было решено созвать консилиум из Левена и д-ра Абрами. Абрами сказал, что это вероятно закупорка желчных путей и что надо лечь на 2 недели в госпиталь для всевозможных опытов, которые должны помочь поставить диагноз. Его перевезли в городской госпиталь Бруссэ. Там было ужасно: нельзя себе представить, что может существовать такой ад на земле.

Посетителей пускали с 1 до 2 дня. Мы стояли с узелками (передачами, как перед тюрьмой) у ворот. Ровно в час ворота распахнулись, все побежали, кто — куда, чтобы не упустить драгоценного времени. Он лежал в стеклянной клетке, завешанной от других палат — соседних — простынями. В клетку светило яркое, жаркое солнце; негде было повернуться. Голодный до дрожи, он накидывался на то, что ему приносили (в госпитале кормили дурно, и он там почти ничего не ел), острил над собой и потом сразу потухал, ложился, стонал, иногда плакал.

Ванны (которые ему облегчали чесотку при желтухе) ему не давали, т. к. „он был недостаточно грязен", грелку ночью не приносили. Сестры были шумливы, равнодушны и грубы. Абрами являлся в сопровождении пятнадцати студентов. Когда ему брали кровь для исследования, то обрызгали кровью всю комнату, и ему было до вечера больно.

Снотворное давали то в 11 часов утра, то в 3 часа дня, но денег не было, чтобы лечь в частную клинику, и он лежал там и терпел, расчесывая до крови свое желтое, худое тело, иногда теряя сознание от слабости и боли. Две недели исследовали его: снимали рентгеном, делали все-

возможные анализы, заставляли пить то молоко, то холодную воду — отчего опять усилились его боли — и нельзя было понять, где именно у него болит, потому что он показывал то „под ложечку”, то на левый бок, то на живот.

Жесткая койка; с трудом выпрошенная вторая подушка; госпитальное белье и суровое „тюремное” одеяло; а на дворе — жаркие июньские дни, которые так и ломятся в комнату. Он говорил:

— Сегодня ночью я ненавидел всех. Все мне были чужие. Кто здесь, на этой койке, не пролежал, как я, эти ночи, как я не спал, мучился, пережил эти часы, тот мне никто, тот мне чужой. Только тот мне брат, кто, как я, прошел эту каторгу.

Ему было уже всё равно, что делалось на свете. Интерес ко всему начал в нем угасать. Оставалась только ирония, меткое слово, но вид его был так печален и страшен, что невозможно было улыбаться его шуткам. Желчь всё не проходила, силы слабели с ужасающей быстротой. Он еще иногда вставал, даже ходил самостоятельно, но уставал от движений.

К концу второй недели выяснилось, что нет ни опухоли, ни камней в печени. Поэтому надо было отбросить мысль о закупорке желчных путей. Рак поджелудочной железы не просвечивается и не прощупывается (как сказали доктора), поэтому и Абрами (как и Левен) склонился к раку. Было решено его оперировать. Для чего? Чтобы убедиться и вероятно ускорить его конец. В случае, если бы это всё же оказалась закупорка, операция, как говорили, спасла бы его.

Измученный пыткой освидетельствования и госпитальной жизни, он в четверг 8-го июня вернулся к себе домой, еще более темный, еще более худой, обросший полуседыми космами; под глазами его было черно; живот его был обожжен грелками; на ногах и руках были царапины (от чесотки) и синяки (неизвестного происхождения). Он не лежал и не сидел. Он метался в страшной тоске, не имея возможности заснуть; то страдая болями, то страдая от мысли, что они могут возобновиться. Он обрадовался моему приходу, сказал, что операция назначена на вторник и что уже лучше скорее. Он не думал, что это будет смерть, он не верил

в выздоровление — он сам не знал, что думать, от него оставалась теперь одна тень.

Минутами он ложился навзничь и молча смотрел перед собой темно-желтыми, зеленоватыми глазами. Внутри что-то мучило его, и он был на краю слез. Н. В. М. и Оля вышли в столовую. Я осталась с ним. Это было в пятницу, 9-го июня, в 2 часа дня. Я знала (и он знал), что до операции его уже не увижу.

— Быть где-то, — сказал он, заливаясь слезами, — и ничего не знать о тебе!

Я что-то хотела сказать ему, утешить его, но он продолжал:

— Я знаю, я только помеха в твоей жизни... Но быть где-то, в таком месте, где я ничего никогда не буду уже знать о тебе... Только о тебе... Только о тебе... только тебя люблю... Всё время о тебе, днем и ночью об одной тебе... Ты же знаешь сама... Как я буду без тебя?... Где я буду?... Ну всё равно. Только ты будь счастлива и здорова, езди медленно (на автомобиле). Теперь прощай.

Я подошла к нему. Он стал крестить мое лицо и руки, я целовала его сморщенный желтый лоб, он целовал мои руки, заливая их слезами. Я обнимала его. У него были такие худые, острые плечи.

— Прощай, прощай, — говорил он, — будь счастлива. Господь тебя сохранит.

Я вышла в столовую. Потом я опять вошла к нему. Он сидел на постели, уронив голову в руки.

В воскресенье, 11-го июня, Н. В. М. навестил его и узнал, что его будут оперировать не в городском госпитале Бруссэ, а в частной клинике на улице Юниверситэ. Это устроила его сестра. В понедельник его перевезли туда, и в 3 часа во вторник, 13-го, оперировали.

Мне вспоминается, как последние сутки еще в госпитале он лежал уже не в стеклянной клетке, а в комнате, рассчитанной на двоих. С ним лежал молодой еврей, торговец подтяжками на Монпарнасе, с трудом говоривший по-русски.

Он чувствовал к соседу огромную жалость, всё плакал над тем, что ему будут резать желудок (у того была язва). Ночью они поговорили друг с другом и вдруг Ходасевичу

стало нехорошо. Он отвернулся и затих. И вдруг слышит, как кто-то в ухо ему шепчет:

— Керенский в аду?

Он решил, что это галлюцинация. Однако, шепот повторился.

— Керенский в аду?

Ходасевич обернулся с усилием и увидел своего соседа, нагнувшегося к нему. Он спрашивал:

— Кельнской воду́?

Он так называл одеколон.

Галлюцинации у него бывали, главным образом от не во́время впрыснутого морфия. В ногах долго однажды сидел у него священник (приходивший в госпиталь „утешать одиноких"). Вообще же „навещатели" ужасно бесили его, он умолял их уйти, говорил, что он не одинок, что ему не нужны чужие люди. Но некоторые из них всё-таки не уходили, заводили литературные разговоры, утомляли его.

Ему денежно помогали многие из его добрых друзей; некоторые пересылали деньги через так называемый „комитет" для него, некоторые приходили к нему и просто ему давали. Больше всех сделала для него его сестра. К сожалению, всё было уже поздно.

— Если операция не удастся, — сказал он в последнюю пятницу, — то э т о будет тоже отдых.

А в воскресенье он говорил Н. В. М. о том, что не перенесет ее, и они благословили друг друга.

В понедельник утром его перевезли в клинику. Прошли ужасные, мучительные сутки. „Скорее бы!" — говорил он. Начались подготовления к операции. В 3 часа пришел хирург (Боссэ). Его понесли, с трудом захлороформировали.

Операция продолжалась полтора часа. Боссэ, вышедший после нее, дрожащий и потный, сказал, что для него несомненно, что был рак, но что он не успел до него добраться: чистил от гноя, крови и камней желчные проходы. Он сказал, что жить ему осталось не более двадцати четырех часов и что страдать он больше не будет. Тут же он дал Оле два извлеченных камня (которых рентген не показал!). Н. В. М. вызвал меня в Париж, и в 7 часов вечера я вошла в палату, где он лежал.

Он был тепло укрыт. Глаза его не были плотно сомкнуты. Пульс был очень слаб. Ему сделали переливание крови, отчего пульс стал на полчаса лучше. Медсестра не отходила от его кровати. Совершенно обезумевшая Оля стояла тут же.

Раза два он повел бровями. Медсестра сказала: надо чтобы он не страдал. В девятом часу мы ушли. Какое-то равнодушие нашло на меня. Мы ночевали в отеле.

В 7.30 утра мы были уже в клинике (14-го июня). Он умер в 6 часов утра, не придя в сознание. Перед смертью он всё протягивал правую руку куда-то („и затрепещет в ней цветок"), стонал, и было ясно, что у него видения. Внезапно Оля окликнула его. Он открыл глаза и слегка улыбнулся ей. Через несколько минут всё было кончено.

Когда я вошла, он был еще теплый. Лицо его странно и сразу изменилось. Нос заострился. Челюсть была подвязана. Мы пробыли часа два. Приехал В. В. Вейдле с католическим священником восточного обряда. Потом, после панихиды, я ушла: в похоронное бюро, в полицейский участок, в „Последние новости" дать объявление.

Он лежал весь следующий день уже внизу, в часовне клиники, очень худой, с крошечным лицом, ледяной, с запавшими глазами. В 5 часов была панихида. Было человек пятнадцать — только самых близких (сестра его не была, она вообще не видела его мертвым). Вечером Оля и я отстригли по пряди его волос. От них пахло одеколоном.

Были цветы и свечи, всё, чему полагается быть. Но для него мне хотелось одного: покоя. Он так долго страдал, что я только мечтала, когда он „отойдет в землю", чтобы его уже больше не мучили. Госпиталь Бруссэ его доконал. Хирург говорил после, что его надо было оперировать десять лет тому назад, но его всю жизнь лечили от кишечника, и никто никогда не говорил о печени.

Вечером 15-го его положили в гроб. Ему в руки Оля дала мою крестильную иконку Казанской Божьей матери, которая последние годы висела над его постелью. На лбу его был бумажный венчик. Утром 16-го фургон вывез его из подвала клиники и к 1 ч. 45. мин. доставил в русскую католическую церковь на улице Франсуа-Жерар (№ 39), где было несколько сот человек и где его час отпевали.

В 2 ч. 45 м. отпевание было закончено. Мы ждали чтобы выйти следом за гробом. Служащие бюро вынесли букеты и венки (Н. В. М. привез огромный букет полевых цветов из Лонгшена), а затем взялись за гроб. Мы пошли за ним. Я вела Олю под руку. На улице было много народу. В наш автомобиль сели Евг. Фел. (его сестра), ее муж, Н. В. М. и Оля. Я почему-то пошла со знакомым (Никулиным)*), и он повез меня. Следом за фургоном, где везли гроб (и впереди сидел священник), увешанным венками, неслись автомобили. У моста Мирабо (был ослепительный летний день) мне показалось, что было что-то даже „облегчительное" в этой поездке семи или восьми автомобилей, мчавшихся куда-то. У кладбищенских ворот было уже довольно много народу.

Самое тягостное было идти за гробом. Священник шел чуть сбоку. Евг. Фел. шла за колесницей, по бокам — мы с Олей. Мне показался путь от ворот к могиле бесконечным.

Могила была узкой и сухой. Мандельштам (Юра), Вейдле, Н. В. М., Нидермиллер (муж сестры), Смоленский, Раевский и другие несли гроб с колесницы до могилы. Его легко и быстро опустили в яму, священник прочел что-то и первый бросил землю. Оле подали лопаточку с песком, потом мне. Я почувствовала странное облегчение.

После похорон Оле захотелось чего-нибудь выпить, и мы пошли (человек десять) в кафе, что напротив кладбища. Присманова плакала."

Н. В. М. настоял на том, чтобы Оля провела у нас лето, и когда в сентябре началась война она не уехала обратно в Булонь-Биянкур, а осталась с нами. Новый 1940 год мы встречали в Лонгшене вместе, и новый 1941-й. Еще в 1939 году, осенью, Н. В. М. стал ее крестным отцом, она перешла в православие.

Как мрачна и пустынна была церковь Сергиевского подворья в тот ноябрьский вечер, на улице Кримэ! Они оба были у алтаря, где стояла купель; Оля — совершенно синяя от холода: церковь в военное время не отапливалась. У меня зуб на зуб не попадал, я сидела в одном из приделов на

---

*) Брат советского писателя Льва Никулина.

скамейке и ждала. Потом я настояла, чтобы немедленно пойти куда-нибудь в тепло и выпить по грогу — с ромом или коньяком, — что мы и сделали. В тот вечер Оля была счастлива, поскольку она вообще могла быть счастлива после его смерти.

Она теперь опять жила с сестрой (когда не жила у нас). Когда я бывала в Париже, я всегда заходила к ней. Она всё больше проводила время в городе, говорила, что сестре без нее „скучно", что она ей нужна. Иногда я настаивала, чтобы захватить Олю с собой: я знала, что она любит Лонгшен, и нас, и собак, и кота, любит сидеть и вязать на скамейке под орехом, ходить в лес за грибами, но она считала, что не имеет права жить „как в раю" и даже, когда вышел немецкий декрет о евреях, пошла на регистрацию и стала носить на груди желтую звезду.

В июле, в страшный день 16-го числа 1942 года, их обеих взяли. Я случайно приехала в Париж накануне вечером и ночевала в одной пустой квартире, от которой у меня был ключ. Оля это знала. Утром в 8 часов телефон разбудил меня. Она звонила от соседей.

— Рядом со мной, — сказала она по-французски, — стоит полицейский. Я не могу долго говорить. Нас берут. Постарайся найти меня.

Через полчаса я уже была в булонской мерии. Подходя к этому огромному зданию „модерн", я увидела, как со всех сторон, как к некоему центру, к нему шли женщины, волоча узлы и чемоданы, некоторые с детьми. Французские полицейские вели их. Со всех углов Булони-Биянкура их вели к одному месту — это был подвал мерии, откуда слышались взволнованные голоса. Немцев не было видно.

Мужчины были взяты еще осенью. Женщин не трогали до этого дня. Оля часто говорила: во-первых, женщин не возьмут, во-вторых — старых женщин не тронут. Взяли всех — молодых и старых, всех, кто не успел выехать, носящих звезду и не носящих ее.

Сунув в руку толстому полицейскому коробку папирос, я упросила его передать Оле записку. Она ответила на клочке бумаги, прося меня купить ей лекарства, привезти кое-какие вещи (потеряв голову, она почти ничего не захватила с собой) и быть в 4 часа у выхода мерии, когда их

должны будут увезти в лагерь Дранси (на северо-восток от Парижа). Я бросилась по аптекам, к ней на квартиру за бельем. Было лето, и я не могла решить, взять ли ее зимнее пальто и одеяло, или нет, и в конце концов взяла. Всё это я повезла в мерию. Опять папиросы, опять полицейский. Потом обратно, к площади Этуаль, на тихую, широкую авеню Булонского леса. Там, в аристократических особняках, помещалось гестапо. Отряд немецких солдат маршировал посреди пустынной улицы, прекраснейшей в мире. Раздавалась команда офицера. На домах висели флаги с черным зазубренным крестом. Стража стояла у подъездов.

Мне трудно вспомнить, в скольких канцеляриях я была в тот день, целью моей было узнать, нельзя ли что-нибудь сделать при наличии свидетельства о крещении. Я ходила из дома в дом и не могла остановиться, словно с восьми утра, когда раздался телефон, я была какой-то силой пущена в движение. Смутно помню, что в одном из домов я видела, как двое военных волокли человека с желтой звездой, с окровавленным лицом, и я в страхе побежала дальше. Меня гоняли из подъезда в подъезд, кажется где-то кто-то дал мне стакан воды, но я опрокинула его на себя и, помню, ходила теперь растрепанная, мокрая, немытая со вчерашнего дня, почему-то с оторванным рукавом грязного летнего платья (кто-то потянул за него, толкая меня к дверям, и потом ударил меня по лицу). Я задавала всё один и тот же вопрос: о крещении, о копии свидетельства, пока наконец я не пришла в нужное место. За одним из столов в одной из канцелярий какой-то высокий, нестарый военный пожелал ответить на мои вопросы. Разговор был приблизительно таков:

— Она замужем?

— Вдова.

— Муж был еврей?

— Нет, ариец.

— Есть бумаги?

— Да, это легко доказать.

— Но она еврейка?

— Она стала христианкой.

— Дело не в религии. Дело в расе.

— Это что же значит?

— Это значит, что она может выйти замуж вторично и опять вернуться в лоно еврейства.

— Ей пятьдесят лет.

Тут он задумался.

— Нет, — сказал он, — ничего сделать нельзя. Вот если бы муж ее был жив, ну тогда другое дело.

Я посмотрела на него. Мысль, что Ходасевич мог дожить до сегодняшнего дня, показалась мне такой чудовищной, что я стала громко плакать, и меня двое потащили под руки на улицу. Плача я пошла по самой прекрасной улице мира. Никто не обратил на меня никакого внимания.

Зайдя в кафе Прессбур на Этуали, связанное в моих воспоминаниях с П. П. Муратовым, с которым мы иногда сидели там вечерами и где теперь сидели немецкие генералы с красными лампасами, я прошла в уборную, умыла лицо и руки, причесалась и решила идти искать Н. В. М. Было время завтрака, и я знала, где он мог быть. Я нашла его, сидевшего с Асей, и узнала, что он успел побывать на Сергиевском подворье, достать копию свидетельства о крещении Оли и свидетельство — по всем правилам заверенное — что ее законный муж, умерший три года тому назад, был ариец и католик со дня своего рождения. С этими бумагами Н. В. М. успел побывать у адвоката и поручить ему Олино дело. Н. В. М. успел даже взять денег в долг, чтобы внести их адвокату (Рабиновичу, ходившему с желтой звездой). Кроме того, он сказал мне, что адвокат сообщил ему, что на днях откроются два учреждения, которые упорядочат все эти „еврейские дела" и через которые можно будет хлопотать. (Действительно, на улице Бьенфезанс и на Монмартре открылись какие-то странные канцелярии, в одной из них сидел между прочим П. А. Берлин, но чем они занимались мне неизвестно.) Олю, во всяком случае, можно будет задержать в Дранси, если ей будет грозить высылка.

Да, ее задержали в Дранси, благодаря этим бумагам, ровно на два месяца. Все арестованные 16-го июля, были высланы видимо в Аушвиц, 17-го. Она оставалась в лагере, и всё это время мы даже переписывались и посылали ей посылки. Но свидания Н. В. М. с ней не получил, и в последней своей открытке (написанной в середине сентября, разумеется по-

-французски) она прощалась с нами накануне отправки. говорила, что не боится. И что ее обрили.

В последний раз я видела ее, когда в 4 часа дня в день ареста, 16-го июля, ее сажали, с узлом вещей, в открытый грузовик, четвертый в очереди, оцепленный полицией. Ася успела подбежать к ней, когда ее вели из подвала мерии, и обнять ее, я же стояла на ступеньках широкой лестницы и не могла двинуться от дрожи. Какая-то чужая женщина закрыла меня собой, чтобы на меня не смотрели. Вероятно это было похоже на пляску св. Вита: у меня громко стучали зубы и сумка вывалилась из рук, и я не могла остановиться, как будто это и в самом деле был какой-то припадок или танец, в котором участвовало всё тело, от колен, которые стучали друг о друга, до головы, которая тряслась так, что жужжало в ушах. Одна моя рука была голая, рукав был потерян. А жужжание головы сливалось со странным свистом, который начался еще утром, когда немец дал мне кулаком по уху.

Внезапно я услышала тихий голос:

— Мадам Берберова!

Незнакомая женщина звала меня из грузовика. И вдруг дрожь моя остановилась, я сбежала со ступенек и через цепь полицейских побежала к грузовику. Женщина шептала:

— Вы меня не знаете. Пойдите (она сказала адрес, это было совсем близко) и скажите моему мужу, что меня взяли на улице. Запомните адрес?

Я тупо смотрела на нее. Нет, я не могла запомнить номера дома, что-то случилось в мозгу и там ничего не действовало. Но улица удержалась в памяти. Я молча протянула ей карандаш, полицейский уже тащил меня обратно. И вдруг в эту минуту, через усилие моей воли, мой мозг опять стал живым, там отпечатался и запрыгал номер дома. Я крикнула по-русски „шестнадцать!" Грузовики начали отъезжать.

Женщина слабо улыбнулась мне и поцеловала мой карандаш и, зажав его в руке, так и не отнимала его от губ, пока не исчезла из вида. Потом отошел второй, потом третий грузовик. Кое-кто сидел, кое-кто стоял в нем. Я не помню, плакали ли дети, кричали ли они, я совершенно не помню

звуков в эти минуты, но дети несомненно были. В четвертом грузовике стояла Оля, сестра ее примостилась на каком-то мешке. Оля стояла, смотря на меня и Асю своими светлыми глазами, и, пока грузовик не повернул за угол, крестила меня, Асю, всех стоящих вокруг, мерию, небо, и Биянкур, и Булонь... Затем в полной тишине (так мне казалось тогда, потому что я видимо нервно оглохла) поданы были еще грузовики. Они отходили, как мы потом узнали, один за другим с женщинами до поздней ночи.

Зайцевых в эти дни в Париже не было. Вот письмо Веры в ответ на мое об аресте Оли:

„21 июля (1942).

Моя Нина! Получили от тебя 2 письма — что же тебе сказать? Страшно подумать, что случилось! Тебе все мы низко кланяемся и Николаше за энергию, которую вы развили. Бедная Олечка и Марианна. Всё жутко, вместе-ли уедут — разлучат ли их. Конечно, страстно хочу, чтобы Оля осталась. ...Дорогая моя! Очень просим нам писать. Ты спрашиваешь, как живем? Стыдно нам, как живем! Кругом такие несчастья, а мы окопались и точно ничего не происходит, такая тишина... Мне стало страшно, что лишь 5 проц. надежды есть. Пишу тебе на городской адрес — думаю, что вы в Париже всё время. Когда получили первое письмо — ночью у меня был сердечный припадок. Если мы издалека волнуемся и мучимся за них, — воображаю, как вы переживаете.

О нас не беспокойся — нам хорошо.

Объясни свои слова, хотя приблизительно: „...второе дело, о кот. хотела поговорить, это о нашей с вами дальнейшей судьбе, но это кажется еще терпит. Во всяком случае до сентября, думаю, ничего не изменится"... Объясни. Одно боюсь, что всех нас разлучат, это было бы самое страшное. А что же сделали с квартирой Оли? Опечатали? Можно ли взять рукописи Влади и книги? Еще ты пишешь: „Надо вам сказать, что я сама сейчас не совсем в порядке, поэтому не удивляйтесь, что буду перескакивать в письме..." Что это значит? Ты больна, моя дорогая Нинуся? На-

писала ты всё обстоятельно и отлично. Перечитывала письмо много раз. Обнимаю тебя, Николашу, Асю. Боря тоже вас обнимает..."

Забота о бумагах и книгах была постоянной в эти годы. Люди бросали квартиры, и архивы и библиотеки их вывозились в неизвестном направлении, или люди бывали арестованы, и всё бывало вывезено начисто через неделю или две. После вывоза Тургеневской библиотеки выяснилось, что в подвале здания, где она помещалась (отель Кольбер, улица Бюшеллери), лежит архив Бунина. Еще летом 1941 года город Париж потребовал, чтобы всё, что осталось от Тургеневки, было вывезено. Борис Зайцев по этому поводу писал мне из департамента Ионн, где он гостил у знакомых в деревне:

„24. VIII. 41.

Chere Ninon, получил из Парижа известие, что остаткам Тург. библ. предложено до октября очистить помещение.

Там кое-что осталось — для меня самое важное, что остался архив Ивана. Библиотекарша, думая, что я в Париже, просит содействовать в подыскании какого-нибудь „хоть бы сарая". Меня полки, шкафы и даже 300 (их) случайных книг мало интересуют. Сентябрь, вероятно, мы проведем здесь. Но 9 ивановых чемоданов? Там рукописи его, письма!

Мы с Верой надумали так: нельзя ли эти 9 чемоданов поместить у Вас? Будь у меня в Париже сколько нибудь подходящее помещение, разумеется, взял бы сам. Но у нас даже подвал завален всякой рухлядью — и притом сырой, там чуть не погибли мои некоторые книги и письма.

Знаю, что у вас тоже загружено всё чрезвычайно, но всё-таки — м. б. и найдется угол? (Но как с передвижением?) Сколько стоило бы доставить? Всё вопросы существенные. Вы Ивана любите, я знаю, и дело серьезное. Денег на перевозку мы так или иначе раздобыли бы.

Или же другой вариант: м. б. в Париже Вы указали бы верное место? (Я пока такого не вижу).

Одним словом, милая Нина, отзовитесь! Напишите мне тотчас, что обо всем этом думаете, что можете посоветовать: В Париже из членов Правления сейчас Кнорринг — 123 улица дю Шато, Париж (14). Видимо он, главным образом, и занят этим. Ведь очень уж будет горестно, если архив пропадет. Имейте в виду, что если понадобится мое непосредственное участие, то мы вернемся в Париж раньше конца сентября.

Получил Вашу дружескую открытку — спасибо великое за Наташу. Она в восторге от пребывания у Вас, писала нам отдельно.

Мы тут живем хорошо. Вера отлично отдыхает и поправляется. Мне, собственно, отдыхать нечего, ибо и в Париже живу котом, как всю жизнь им прожил.

Ходим по грибы, поедаем много слив — чудесных, из своего сада. Пишу и читаю довольно много.

Целую Вашу ручку. Вера вас обнимает. Привет дружеский Н. В. Всего доброго!

Ваш Бор. Зайцев."

Я ответила, что согласна архив Ивана Алексеевича взять в Лонгшен, но для этого, думаю, надо получить его согласие. Он совершенно не представлял себе положение в Париже, судя по его открытке, написанной мне по-французски в ответ на мой вопрос об архиве. Привожу ее в русском переводе (в то время можно было переписываться из одной зоны в другую только по-французски):

„23. IX. 41.

...Я написал Кноррингу 21 сентября: „Если возможно я бы предпочел, чтобы мои чемоданы (количеством девять) были перевезены на мою парижскую квартиру. В этом случае, сообщите мне, сколько будет стоить перевозка, чтобы я мог почтой Вам возместить эти расходы. Если же это слишком трудно сделать, сохраните мои чемоданы с Вашими". От всего сердца благодарю Вас за Ваши заботы, Нина. Я Вам писал в августе. Вашу посылку не получил. Что Вы делаете?

Я — ничего. Только читаю — и всё. Купанье кончилось. И ничего нового в моей грустной жизни. Ваш старик, который от глубины души целует Вас.

И. Бунин."

Разумеется, чемоданы было слишком рисковано перевозить на парижскую квартиру Бунина; с другой стороны, что́ он хотел сказать, когда писал Кноррингу, чтобы он его архив сохранил „вместе со своими чемоданами"? Зайцев вернулся из деревни, и после многих размышлений и переписки мы решили перевезти архив Бунина на улицу Лурмель, где было русское общежитие и столовая. Место было неверное, там через год произошли аресты, но мне кажется, что по возвращении Бунина в Париж, после войны, он получил свои чемоданы. Часть архива впоследствии была отослана в Москву.

Приведу еще два письма (одно Бориса, другое — Веры) этих лет:

„11. XI. 41.

Chere Ninon, спасибо за письмо... Насчет Лурмель тоже верно, и я всячески предпочитаю, чтобы архив хранился у Вас. Окончательно выяснится это когда мы вернемся в Париж (собираемся числа 17-го), но я в Правлении*) довольно одинок, они меня не любят — я не уверен, что сделают так, как я хочу. К сожалению, Ивана запросить очень трудно — разве только случай выйдет, „оказия"?

Во всяком случае, возвратившись в Париж, хочу с Вами повидаться. А пока могу только дружески поблагодарить за отзывчивость — в чем, впрочем я и был уверен.

...Ваш Бор. Зайцев."

„22 нояб. 1942.

Дорогая Нина! Прости, что к тебе пристаю — но немного стали мы слабеть. Если можешь, то каши мне достань... и фасоли сухой. Я бы очень хотела тебя

---

*) Тургеневской библиотеки. (Н. Б.)

повидать и порассказать о разных вещах. Боря тебя и Николашу обнимает, и я тоже. Была на могиле Влади. Всё в порядке, хоть гравия нет еще. Но аккуратно всё и чисто. Нина! Очень хочется, чтобы Вы пришли...

Твоя Вера.

Сейчас пришла домой — 7 час. 45 мин. вечера — лежали на полу лунные полотна и вдруг что-то меня пронзило — страшно печальное... В ту среду сестра Зинаиды Гиппиус, Анна Ник., упала на рынке мертвая. Разрыв сердца. Сейчас села тебе писать, загудела сирена."

На той скамейке, что стояла под ореховым деревом в Лонгшене, мы больше уже не сидели: мы решили не садиться на нее, пока не вернется Оля. Ко дню, когда был продан Лонгшен (в 1948 году) скамейка эта развалилась. А ореховое дерево, говорят, разрослось теперь и дает с годами всё больше орехов. Мы их тогда собирали в старых перчатках — свежие грецкие орехи пачкают руки так, что потом и не отмыть.

Лонгшен был куплен Н. В. М. весной 1938 года. Первые пять лет нашей жизни мы прожили с ним в Париже, но в 1938 году мы решили бросить квартиру и переехать в деревню. Мы давно уже искали место, где можно было бы жить постоянно, „дикий" дом, и „дикий" сад и вообще „дикое" место, где стоило бы поселиться. Когда, после длительных поисков и многих поездок на запад и на юго-запад от Парижа, мы наконец нашли Лонгшен, нам обоим он показался с первой минуты именно таким местом, где можно было бы прожить весь остаток жизни, потому что лучшего на всем свете быть не могло.

Дом стоял не в деревне — потому что деревня во Франции предполагает место, где есть школа, церковь и почтовое отделение. В Лонгшене не было ни того, ни другого, ни третьего. Было четыре больших фермы и десяток домов, в которых жили старые люди, вышедшие на пенсию. По утрам не то пять, не то шесть детей шли под горку, в ближайшее село, в школу. А днем приходил почтальон — из

этого села; настоящая дорога проходила в двух километрах, а к нам вела только проселочная. Во всем местечке жило не более пятидесяти человек.

Я помню первую ночевку в доме, тогда куда больше похожем на сарай, чем на жилой дом, каким он стал через год. Это была маленькая старая ферма. Мы вернулись от нотариуса, поужинали и легли в верхней комнате, собственно на чердаке, с отверстием в стене, под потолком, для подачи с возов сена — она стала позже моим кабинетом. Сосед принес нам только что скошеного сена, мебели не было, занавесей не было. Мы легли прямо на полу, в сено, глядя в открытое окно, где мерцали звезды. Я точно знала потом, в течение многих лет, в каком именно месте и когда выходил из-за леса Марс, откуда вылезал Сириус и куда уходила Венера, загораясь на закате. Было свежо, был май месяц, у дома цвела сирень. Окон закрыть было нельзя, слишком сильно пахло сено. В этом доме мы решили устроить кухню, ванную, нечто вроде столовой, а надо всем этим — кабинет и спальню. Надо было расчистить площадку перед домом, на которую выходил и второй дом — в одну комнату. Там на чердаке мы нашли надпись дегтем на одном из стропил — 1861. Этот второй дом предназначался для Н. В. М. — в этой комнате он устроил свою студию художника, в ней ночевали приезжавшие друзья.

Нелль говорила, когда мы сажали фруктовые деревья, устанавливали ульи, копали огород, что всё это ей напоминает китайский роман, где хозяйство началось от одной персиковой косточки, которую герой зарыл в землю. В годы войны, когда я возвращалась из Парижа домой на велосипеде, по полевой дороге, я издали видела две старые черепичные крыши в сизой дымке Иль-де-Франса, маленькую и большую, потонувшие в зелени старых яблонь и груш, а молодые яблони и груши были в это время на выше меня самой. И я думала: у меня есть мой дом. И так будет всегда, не может быть иначе. Мир стоит. Он остановился. И в нем остановилась и стою я, неподвижно и неизменно. Не может быть, чтобы я когда-нибудь проехала мимо этих мест и не принадлежала им. Но в 1960 году я проехала мимо, и я не узнала ни сада, ни дома. Всё было перестроено, груши и яблони разрослись и закрыли все, новые ворота

вели куда-то совсем в незнакомое место, ульев не было, смородина была выкорчевана. А миндальное дерево, стоявшее тонкой, двузубой вилкой у дома и когда-то цветшее бледно-розовым цветом, теперь зеленью своей было неотличимо от ясеня и березы.

И вот я теперь не сажаю деревьев, не вожусь с пчелами, не окапываю клубнику. Я пишу сагу о своей жизни, о себе самой, в которой я вольна делать, что хочу, открывать тайны и хранить их для себя, говорить о себе, говорить о других, не говорить ни о чем, остановиться на любой точке, закрыть эту тетрадь, забыть о ней, спрятать ее подальше. Или — уничтожив ее — написать другую рукопись, другие шестьсот страниц, о другом, хотя тоже о себе самой, но как бы второй том к несуществующему первому. Русские автобиографии писались часто, и всегда по-разному. Бердяев начав с детских лет перешел на описание борьбы идей в предреволюционной России и кончил мучительным сомнением в благе Советского Союза и „доброте" Бога; Степун рассказал, как он обрел, перед первой мировой войной, свою настоящую профессию: ездить по русской провинции и читать лекции на тему „как жить?"; Белый, начав свой рассказ о Блоке, затем переписал его заново, доказывая, что он был марксистом, когда Блок еще был барчуком и маменькиным сынком; Набоков рассказал с присущим ему талантом, какие у него были гувернантки. Боборыкин писал о том, как удобны были за границей поезда и как хороши рестораны. Фрейлина царицы — о том, как она помогала Распутину сменять министров; социалист — как убивал этих же министров. Эмигранты писали, как жили в русском имении с липовой аллеей и портретами предков в двухсветном зале. А сподвижники Ленина — о том, как он щурился: в Симбирске, в Лондоне, в Швейцарии, на Финляндском вокзале . . .

Выбор велик. Кого выбрать примером? У кого мне учиться? И вот я отвожу всех, прежде меня писавших, никого не помню, никого не приглашаю стоять за моим плечом и водить моим пером. Я беру на себя одну всю ответственность за шестьсот написанных страниц и за шестьсот ненаписанных, за все признания, за все умолчания. За речь и за паузы. Всё, что здесь пишется, пишется по двум за-

конам, которые я признала и которым следую: первый: раскрой себя до конца, и второй: утаи свою жизнь для себя одной. Автор первого закона — мой современник, автор второго — Эпикур.

Н. В. М. я знала давно, еще со времен „Дней", газеты эсеров. Для меня он был и остался одним из тех русских людей, которые, как некий герой народной сказки, решительно всё умеют делать и решительно ко всему способны. Но почему-то так выходит, что в конце концов ничего не остается от этих способностей, вода льется у них между пальцев, слова уносит ветер, дело разваливается. И вот уже никто ничего от них не ждет. И чем меньше верят им, тем больше они теряют веру в себя, чем меньше ждут от них, тем бессмысленнее тратят они себя, и остаются в конце концов тем, с чего начали: с возможностями, которые не осуществились, и с очарованием личным, которое дано им было со дня рождения, как благодать.

Он мог построить дом, насадить сад, писать картины и импровизировать на рояле. Он умел смеяться и смешить других, был всегда здоров, любил хорошую погоду, прогулки, поездки, Лонгшен, людей — которых любила и я, и книги — которые и я любила. Таких людей всё меньше в мире, в современной жизни им нет места. Легкомыслие, как мировоззрение, умирает, если еще не умерло. После войн и революций, и бедствий нашего столетия, как было ему сохраниться?

Он был одним из самых младших делегатов в Учредительное Собрание в 1917 году, членом партии с.-р., журналистом, автором книги о России (Лондон, 1919 г.), считался сотрудником „Дней", „Современных записок", выставлял картины в Салоне в тридцатых годах, и не было человека, который бы не чувствовал к нему немедленной приязни. Гостеприимный, веселый, всегда добрый и широкий и вместе с тем взбалмошный, энергичный и способный, он вдруг заметил меня, будучи знаком со мной лет семь, и, раз заметив, уже не отпустил. Мы оказались с ним людьми одной системы символов: сад для нас обоих значил одно и то же, и дом в его и моей символике экзистенциально совпадал в своем смысле. Такие слова, как „настоящее" и „будущее", „дерево" и „река", „ты" и „я" несли с собой одну и ту же

ауру подтекста. Он хорошо знал, что значит быть бедным Лазарем, и у него был свой колодец. Он знал все Эвересты и Мертвые моря моей географии. И он между Ангелом и Товием тоже не всегда хотел делать выбор.

Дорогам, которые мы с ним исходили и изъездили — на автомобиле, на автобусе, на велосипедах — нет числа. Всюду из-за дымки голубоватого воздуха с вечно-вьющимся небом, встречали нас платанами и тополями обсаженные дороги Писарро, холмы Монэ, мостики и заводи Сислея. Мы перечитывали Шекспира и Сервантеса, слушали в радио Бетховена и Моцарта. И как мы оба были счастливы, вплоть до сентября 1939 года, когда началась война, — как мы были молоды, какие веселые были у нас заботы!

Смысл нашей встречи и нашего сближения, смысл нашей общей жизни (десять лет), всего вместе пережитого с ч а с т ь я, значение этой любви для нас обоих в том, что он для меня и я для него были олицетворением всего того, что было для обоих — на данном этапе жизни — самым главным, самым нужным и драгоценным. Нужным и драгоценным для меня было тогда (а может быть и всегда?) делаться из суховатой, деловитой, холодноватой, спокойной, независимой и разумной — теплой, влажной, потрясенной, зависимой и безумной. В нем для меня и во мне для него собралось в фокус всё, чего нам не хватало до этого в других сближениях. Здесь, как в двух строчках поэмы, как в поэтическом образе, как в живописном намеке-намерении, как в музыкальной фразе, собралось то, что невозможно определить словами, не убив, не разрушив этими словами внутренний, сокровенный смысл данного. Были ли мы друг для друга символом России? Символом молодости, силы и здоровья? Силы, для которой весь мир был точкой приложения? Может быть, но еще и многого другого, о чем мы не задумывались тогда и что невозможно назвать, не повредив его. „Содержание" и „форма" здесь опять — одно, ни расцепить, ни разъять их невозможно, потому что тогда не останется даже ф а к т а, о котором стоило бы говорить или думать, вспоминать или писать. И этот смысл мог бы жить очень долго (а не только десять лет), если бы не случилось того, что случилось: внезапного поединка между нами, схватки между мной и им за третьего человека, кото-

рый встал в центре этой борьбы — намеренно и целеустремленно.

Мы оказались соперниками (врагами?) за этого третьего человека и в борьбе за него погибло то, что было между нами — союз. Я оказалась победившей, он оказался побежденным, но могло бы быть и наоборот. И оба мы вышли из этого поединка потерпевшими, потерявшими друг друга. Соперничество оказалось для нас роковым, из него и возник поединок, где моя победа была такой же „не дóлжной", как было „не дóлжно" и его поражение. Ни для утешенного самолюбия, ни для жалости к побежденному другу-врагу не может быть места в любви. Товий, бросивший рыб на песок, уходит, Ангел поднимается к своему небу. И на картине остается пустота: волшебство пропало. Уже становится непонятным, зачем художнику понадобилось написать этот тосканский горизонт, облака, холмы, кусты, и даже повернувшуюся к нам фасом собаку, когда художник думал о Мидии и Иудее? Только — символически — ходить на шаг позади друг друга и есть один артишокный листик вдвоем есть любовь. Всё остальное — только конкуренция между двумя людьми, торгующими различными товарами или даже — рукопашная, где куда больше, чем дозволенных — недозволенных, то есть штрафных ударов. Но так случилось, что мы не уступили друг другу — были оба из неуступающих — и один унес добычу. Это была я. Я дорого заплатила за свою победу, я может быть заплатила бы меньше за свое поражение. Добыча через несколько лет превратилась в груз, который нести не было ни сил, ни желания. И я бросила эту тяжесть, и осталась одна: без него, то есть с тем же, с чем остался он: без меня.

За время 1938—1944 г. г., когда жизнь в Лонгшене начала распадаться, у нас, кажется, перебывали все, кто когда-либо бывал у нас в Париже. Нелль и А. Ф. Керенский живали часто, Ходасевич и Оля тоже. Бунин, Зайцевы, Вейдле, Злобин, Ладинский — по несколько раз. Приезжали Ю. П. Анненков, Е. Н. Рощина-Инсарова, Руднев, Фондаминский, мои друзья из „Последних новостей", — и как все любили это место, каким оно казалось счастливым, уютным, прелестным, с куском нерасчищенного леса в конце сада, с лужай-

ками по обе стороны забора, так что соседей было и не видать, и не слыхать.

День объявления войны мы в изнеможении просидели на лавочке под орехом; день взятия Парижа пролежали ничком в канаве, в конце сада. В утро, когда немецкий парашютист упал в наш лесок и Мари-Луиза, мывшая в доме полы, понесла ему кувшин воды: дать выпить, омыть рану, плеснуть остатком в лицо, прежде чем его забрали как пленного (обе ноги его были сломаны), — мы закрылись от всех и просидели весь день дома. В день прихода американского отряда мы были со всеми вместе на площади. Посреди этой площади стоял каштан. Он, как мне однажды сказала Мари-Луиза, когда-то назывался „деревом свободы" — его посадили здесь в дни Коммуны. Мы были на площади и смотрели на джипы, едущие с грохотом мимо нас, а старуха Вилье, которой исполнилось на днях девяносто лет, говорила:

— Тогда они шли той дорогой, что от скирдов Монье к нашим овсам идет, а потом они шли с другого конца, от хлевов Бонье к прудам Тюлье. А вот теперь, поди ж ты, с третьей стороны заходят: наперекосок, от леса к клеверам, по старой дороге. Ох-ти, жизнь какая у меня длинная!

Тогда — это был 1870 год, потом — был июнь 1940 года, теперь — это было сегодня, и она принимала американцев за немцев, пришедших в третий раз.

Как мы жили эти пять лет? Как дожили до этого дня? Как пережили два обыска, регистрацию для отсылки на работу в Германию? Олину гибель? Лишения, ночные страхи, бомбардировки, смерти, аресты, высылки? . . . Сначала — пустой Париж и двойное отчаяние: не только никого нет, не с кем перемолвиться словом, но и нет желания кого бы то ни было видеть, найти кого-либо, хочется от всех укрыться, спрятаться и молчать. Потом — возвращение к организованным лишениям: на этот раз они идут параллельно и так сказать планово с распадом всей жизни кругом. Не хочется читать новые книги, но не хочется перечитывать и старые. Я не только не могу писать что-либо, мне страшно сесть за письменный стол, страшно и противно, я даже стараюсь не смотреть на него, когда прохожу по

комнате. Когда позже я пишу „Воскрешение Моцарта" и „Плач", я пишу их не у себя, а где придется. Я чувствую странную сонливость, которая происходит от двух причин: плохого питания и физической работы (огород разросся, мы сажаем картошку). Сонливость такая, что я не могу совладать с ней: весь день жду семи часов, когда в радиоприемнике дают основную, за день, информацию, но без четверти семь засыпаю — на диване, в кресле, на стуле, — и просыпаюсь, когда всё кончено, а добудиться меня невозможно. Я умоляю не дать мне заснуть, но Н. В. М. тоже клонит ко сну. Он пилит и рубит дрова, мы сидим у печки, похожей на ту, двадцать лет тому назад, какая была у нас в Петербурге; вечерами мы пьем чай и ровно в одиннадцать начинают летать над нами самолеты оттуда — сюда и отсюда — туда, и Рекс слышит их мерный полет на двадцать секунд раньше нас, он ползет под стол, весь дрожа, с вздыбленной шерстью, и туда же уходит кот и ложится Рексу под живот, а мы, когда падают бомбы, становимся в дверях, где толстая стена, выложенная восемьдесят лет тому назад, как нам сказали, даст нам уцелеть.

Еще зима, и еще одна. И третья, и четвертая. И, наконец, последняя, пятая. Мы теряем им счет. После „Плача" я уже ничего не пишу — три года. Но я еще в начале войны купила толстую тетрадь, в клеенчатом переплете, с красным обрезом. Я иногда записываю в нее какие-то факты и мысли, события и размышления о них; разве я всю жизнь не считала, что всё мое существование состоит в том, чтобы жить и думать о жизни? Жизнь и смысл жизни. Но теперь я вижу, что смысл ее — в ней самой, и во мне — живой, еще живой. А другого смысла нет. И цели нет, и потому-то средства и не оправдываются целью, что цели нет. Цели нет.

Парижу не идет „быть пусту". Париж должен пульсировать, мигать огнями, греметь, дышать. В Петербурге на Васильевском острове на Среднем проспекте в 1921 году паслась коза. Но здесь коз нет а есть только широкие жилы улиц, одинокий полицейский на перекрестке, закрытые лавки, молчание. Я проезжаю на велосипеде „мимо зданий, где мы когда-то танцевали, пили вино". И читали друг другу стихи, и говорили о стихах. Юрий Мандельштам арестован,

Фельзен арестован, Раиса Блох и Михаил Горлин исчезли, погибли; Мочульский болен туберкулезом; Адамович, Софиев (потерявший жену) на фронте; Кнут и Оцуп ушли в сопротивление; Ладинский, Раевский прячутся; Галя Кузнецова на юге, бедствует в „свободной зоне", Божнев в больнице для нервнобольных; о Штейгере давно никто не слыхал. Присманова и Гингер живут и надеются на чудо.

Здесь жил такой-то, там жили такие-то. А тут вот жила я сама: улица Четырех Труб, в Биянкуре, теперь разбитом бомбами. Где вы, деникинские вояки, врангелевская шпана благородного происхождения, пролетариат православного вероисповедания, по контракту приехавшие стоять у мартенов господина Рено? Один посажен немцами на хлеб и на воду за колючую проволоку за то, что русского происхождения: кто их знает, что они могут выкинуть, в дни, когда германская армия стоит под Ленинградом и Сталинградом! Другие надели немецкую форму и сражаются против „совдепов", третьи затихли, их не видно, может быть торгуют на черном рынке квасом, может быть моют полы в немецких казармах? Тут я жила, на бульваре Латур-Мобур, теперь это — военный район; через два квартала от него — Притти-отель, где я вышивала когда-то крестиком. Эти улицы так же безлюдны, как и далекие улицы рабочих районов, как и улица Кримэ, где было так холодно, когда крестили Олю, и стояла оловянная купель, похожая на детскую ванночку. „Вот тебя сейчас выкупают в ней", — пугала я Олю, и она делала испуганные глаза. И я тихо прохожу мимо последней квартиры Ходасевича, откуда его увезли в больницу, откуда, через три года, взяли Олю. Я была тут два раза после этого, консьержка впустила меня, мы поднялись на цыпочках, говорили шепотом. Я взяла чемодан с его бумагами, его (отцовские, с ключиком) золотые часы, его портсигар и одну из литографий, когда-то купленных мною: вид угла Мойки и Невского, где изображен дом Елисеева, то есть Дом Искусств, где он жил, с окном его комнаты, в которое он смотрел, когда ждал меня. В первой комнате была просыпана пудра, цветы засохли в вазе и дурно пахли, кровати были в беспорядке: когда пришли за ней она, вероятно, еще спала. На кухне на тарелке лежали

три вареных картофелины в бело-зеленом мху. Консьержка торопила меня, стоя на страже в дверях.

Во второй раз я пришла, когда всё было вывезено — книги, мебель, посуда... „Они были вчера и сказали, что придут сегодня вечером и наложат печати", — сказала консьержка. Я стояла в пустой комнате, где в самой середине, на полу, была подметена кем-то небольшая кучка мусора. Кучка мусора. А то еще бывает кучка пепла. Это то, что находишь в карманах героев Бекетта. Или в урне, которую замуровывают в стене колумбария. Горсть праха, которую уносит ветер в пространства, пыль, летящая в омуты человечества, в беззаконие его судьбы.

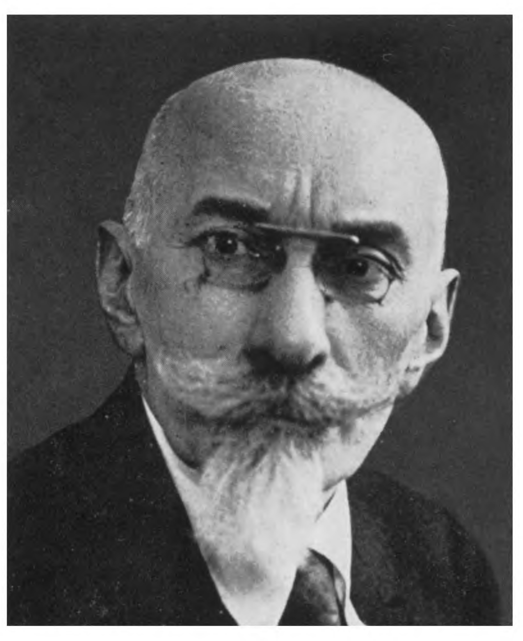
Вокруг меня были выцветшие обои и просто — грязные, там, где стояла книжная полка с Пушкиным и Державиным.

Я иду на Монпарнас, где нет никого, словно я приехала в Лион или Дижон и там гуляю одна, от поезда до поезда. И я иду на улицу Бетховена, которая называется в Париже „рю Бетовэн", где мы жили с Н. В. М. до покупки Лонгшена. Одним концом она упирается в Сену, где сейчас вспухла вода и боятся наводнения, другим концом — в лестницу, которая ведет к Пасси, к кафе Турелль, к Трокадеро, но и там тоже нет никого, ничего, только марширующие солдаты и жмущиеся к домам прохожие, чужие мне и друг другу.

И здесь начинается моя Черная тетрадь, от которой до сих пор пахнет землей: она одно время была закопана в подвале и зацвела темно-зелеными пятнами плесени.



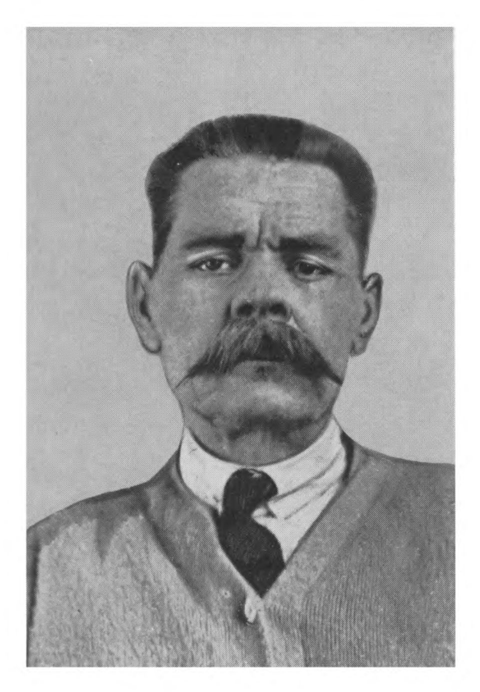
Н. Б. тринадцати лет.



Николай Иванович Берберов. 1935.



Н. Б. двадцати трех лет.



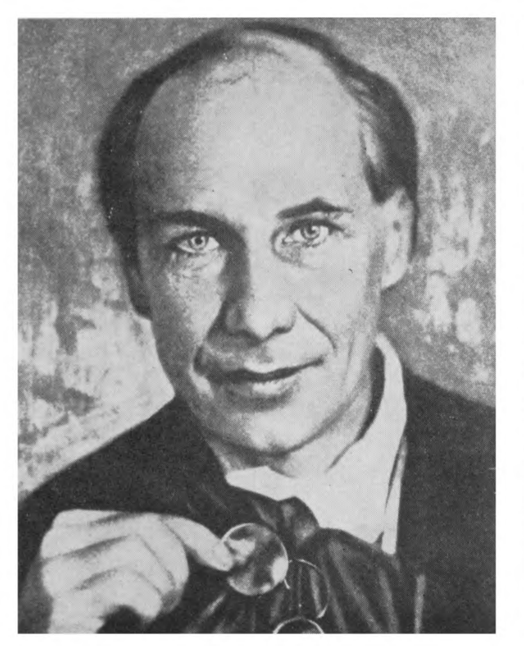
М. Горький. Сорренто. 1925.



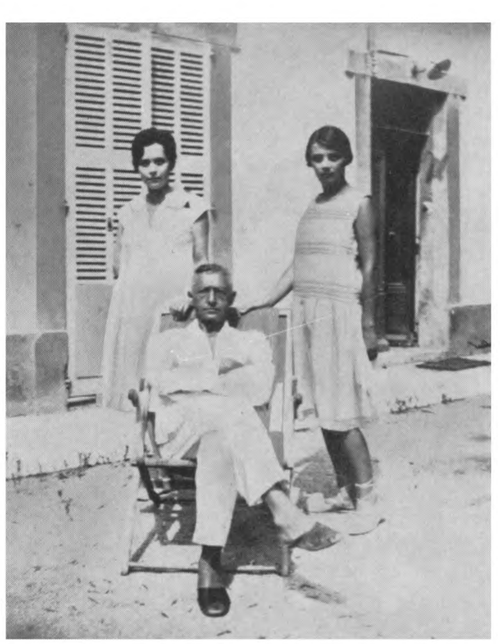
Владислав Ходасевич и Н. Б. Сорренто, дом М. Горького. 1925.



Н. Б. Париж. 1927.



Андрей Белый. 1918.



И. А. Бунин, Г. Н. Кузнецова и Н. Б. Грасс. 1928.

Берлин. Сентябрь, 1923. Слева направо стоят: Б. К. Зайцев, В. Ф. Ходасевич, М. А. Осоргин, А. В. Бахрах и А. М. Ремизов. Сидят: Н. Н. Берберова, П. П. Муратов и Андрей Белый.



В. Ф. Ходасевич и кот Мурр. Арти. 1931.



Н. Б. Париж. 1937.



Н. Б. Принстон. 1964.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Черная тетрадь

1939.

Август

Сегодня подписан пакт Молотова—Риббентропа. Это значит: война. Сталин и Гитлер скрепили дружбу подписями и печатями. Есть и другая сторона этого соглашения: компартии всего мира расколются на „за" и „против", таким образом кончится их единство, монолитность, единогласие. Мировому коммунизму нанесен удар тем же топором, что и буржуазной Европе.

Сентябрь

Я лежала в траве и не двигалась (в конце сада). Был первый день войны. Я лежала час, и два часа, и уже не помню, сколько часов я пролежала так. Трава проросла сквозь меня, запуталась в моих жилах, полевые цветы распустились у меня в пальцах рук и ног. Какой-тс вьюн начал душить меня, завиваясь из одного уха в другое. А больше ничего не помню, что было.

Октябрь

Русский ренессанс конца XIX начала XX века отличается от „обыкновенных ренессансов" тем, что он сознавал свою обреченность. Это был ренессанс в предчувствии собственной гибели. Возрождение и смерть. Начало и конец в один и тот же период русской культурной истории. Одно из оригинальных русских явлений.

Ноябрь

Перебирала старые фотографии и нашла одну, снятую, когда мне было лет одиннадцать, в имении деда Караулова.

Я сижу на подоконнике, свесив ноги в сандалиях; две косы; серьезное лицо. Я сказала Ладинскому:

— Сейчас я вам покажу уродливого ребенка. Просто невероятно до чего я была некрасива.

Он рассмотрел фотографию и сказал:

— Не понимаю, почему вы находите эту девочку таким уродом. Изящные ножки, косы, милое лицо.

И я вторично посмотрела на себя как бы чужими глазами и вдруг мне показалось, что и вправду может быть я не была так непривлекательна, как мне тогда говорили. И что стихи Плещеева (которые мама написала мне в альбом) „Бедный ребенок, она некрасива", ко мне не относятся.

Н о я б р ь

У меня такое зрение, что я легко читаю последнюю строчку на доске у глазного доктора. На том листе, что висит на стене. И последнюю строчку на картоне, который он дает в руки пациентам.

— Зачем вы пришли? — спросил доктор Лерис сердито. — У меня в приемной восемь человек ждут!

— Пардон, — сказала я.

— Можете не платить, — сказал он. Но я заплатила, конечно.

Н о я б р ь

— Зачем встречаться т а м? Ведь даже з д е с ь через несколько лет не хочется встречаться. Проходят годы, и людям не о чем говорить друг с другом. Д о р о г и р а з о ш л и с ь. А уж т а м наверное они еще больше разойдутся со здешними. Ты своего Алешу даже не узнаешь. И тем лучше.

Вера З. только вздохнула на это.

Д е к а б р ь

Жил-был русский писатель Д. Крачковский. О нем лет сорок тому назад Чехов сказал, что он — надежда русской литературы. Это его погубило. Писал он плохо, никто не хотел его читать. Жил он в нищете в Монте-Карло и часов по четырнадцать в день играл в рулетку: пять фран-

ков туда, пять франков сюда, глядишь, и набежит что-то. Так и кормился. Ходил обтрепанный, обросший, немытый. И всё играл.

Однажды он заболел, и доктор сказал, что ему нужно вырезать грыжу. Он написал в „Последние новости", объяснив, кто он, и просил собрать для него 300 франков. С большим трудом и неохотой собрали деньги — никто не хотел давать: его не знали, нигде не печатали. Послали ему 300 франков, и он их все проиграл в один час.

И вот он в совершенном отчаянии пошел в дирекцию казино. К директору его не пустили, но какой-то крупный служащий вышел к нему. Крачковский сказал:

— Я — русский писатель. Жил, как нищий. Болел грыжей. Мне в Париже собрали денег, чтобы эту грыжу вырезать. Я получил деньги и вот — всё проиграл. Верните мне мои 300 франков.

И случилось то, чего кажется не было с тех пор, как существует рулетка: дирекция вернула ему его 300 франков. И ему вырезали грыжу.

Декабрь

Я слушала по радио квартеты Бетховена, передачу из Кельна. Потом объявили, что всем музыкантам к рождеству выдадут 3/4 фунта риса.

Декабрь

Студент Калифорнийского университета (русский по происхождению), защищающий диссертацию „Андрей Белый, его жизнь и творчество",спрашивает меня в письме, кто была та „девушка" из-за которой произошла ссора между Блоком и Белым и чуть не случилось дуэли („Щ." воспоминаний). Итак, прошло восемнадцать лет со смерти Блока, и люди уже не знают, что это была Л. Д. Блок, а мы-то думали, что это будут знать все и всегда! Уплывает жизнь — малая и великая — и от драгоценных имен и эпох остается прах. „Там человек сгорел".

Декабрь

Я много думаю всё это время о символизме. Он был нужен России. Он доказал (в который раз?), что Россия — часть

Европы. После символизма невозможно никакое „славянофильство" — ни старое, ни обновленное.

Декабрь

Бунин озабочен вопросом: всё ли он совершил, что мог совершить? Несколько раз говорил, что Рахманинова тоже это мучит: всё совершить и всё познать. То есть в полную меру таланта высказать себя в своих книгах. И кроме того — насладиться „вот этим, вот женским розово-белым таинственным мясом, перед которым всё — ничто". „Вся жизнь прошла, как съеденный обед. Глуп был, глуп! Теперь хочу молодости, прелести мира!"

Декабрь

Жестокость и сентиментальность всегда вместе. Черты нашего века. Быть может, раньше это соединение казалось парадоксальным, сейчас оно кажется естественным. Это всё от слезного сознания своей покинутости и от требований „железной" эпохи. Саможалость и незащищенность человека, и обида его на мир.

Декабрь

„Одиночество мое начинается в двух шагах от тебя", — говорит одна из героинь Жироду своему возлюбленному.

А можно сказать и так: одиночество мое начинается в твоих объятиях.

Декабрь

Из всех страстей (к власти, к славе, к наркотикам, к женщине) страсть к женщине всё-таки — самая слабая.

Декабрь

Я прочитала книгу Паскаля о Христе. Особенно меня поразило то место, где Паскаль говорит с большой симпатией о наивности Христа.

Декабрь

Невозможно конечно поверить, чтобы Евангелие было сочинено коллективом, как невозможно поверить, что оно

было написано кем-нибудь одним. В нем четыре авторских личности, друг на друга совершенно непохожие: Матфей — мудрый, Марк — скромный, Лука — властный и таинственный, Иоанн — сложный фантазер.

Декабрь

Из одного моего письма на юг:

„...Была у нас скверная, бедная, жалкая (эмигрантская) Россия: русские газеты, журналы, русские слухи, русские приезжие оттуда, иногда — отталкивание от России, но всегда мнение о том, что там творится. Не осталось ничего. Нас отрезали. Газет и журналов нет, приезжих нет, и мнения тоже нет, ибо неизвестно, мне по крайней мере, хорошо ли то, что Сталин укрепляется на Балтике или плохо? Была у нас паршивая, несчастная, уездная эмиграция: русские книги, русские бордели, русские темы — ничего не осталось. Мое поколение перебьют, старые вымрут в ускоренном порядке.

Вся мировая история взята мною сейчас под подозрение. В истории этой не было ни справедливости, ни добра, ни красоты. Еще меньше, чем в природе — справедливости и добра, во всяком случае. Я ничего не пишу, и не могу, и не хочу писать. Для чего? Для кого? Я всегда любила людей, но сейчас я лишена людей, мне милых. Эти „милые" (вовсе сами по себе может быть и не милые) недосягаемо далеки. Кто умер, кто уехал, кто озабочен своей судьбой. Но самое страшное, что даже и их мне не очень-то хочется видеть.

Ходасевич когда-то говорил, что настанет день, всё пропадет, и тогда соберутся несколько человек и устроят общество... всё равно чего. Например: „Общество когда-то гулявших в Летнем саду" или „Общество предпочитающих »Анну Каренину« — »Войне и миру«", или просто: „Общество отличающих ямб от хорея". Такой день теперь наступил.

За кого мы? За наших гениев или за наших дураков, несущих с собой в восточную Польшу портреты Сталина и стишки Кумача?

Я думала написать часть того, что написала Вам, Бунину. Но я боюсь еще больше его огорчить, ему и так тяжело.

Я кое-что сказала Зайцеву, и он сразу во всем согласился со мной".

Д е к а б р ь

Из второго письма:

„Спасибо за Ваши слова утешения. Если бы я была героиней „Скучной истории" Чехова, они может быть обрадовали бы меня. „Жизнь прекрасна"? Я не спрашивала Вас, „зачем жить" и „как жить". Ваше „жизнь прекрасна" может показаться одной из тех иллюзий, которые Вы так хотите изжить.

Читая Ваши последние фельетоны я вижу, что Вы становитесь человеком, которому интересы западной цивилизации-культуры дороже всего остального, и я вижу пропасть между Вами и мной, для которой мысль о возвращении в Россию — после смерти, в книгах — есть единственная постоянная неизменная мысль. И конечно то, что творится сейчас в Карелии, занимает меня более всего другого. Мое „западничество" не отрывает меня от России, скорее — наоборот. Ваше западничество Вам и развлечение, и утешение на всю жизнь. Это — ваше к р о в н о е. Мое к р о в н о е покрыто сейчас уже не трехцветным, но пятиконечным позором — пактом с Гитлером и нападением на Финляндию."

Д е к а б р ь

Застряли ночью в Париже, поздно было ехать домой. Поехали к Бунину ночевать, на улицу Оффенбах. Он один в квартире. Вера Ник. в отъезде. Он выпил, и Н. В. М. выпил и, кажется, я тоже слегка выпила. Он уложил нас в комнате Галины Ник. Кузнецовой, где стояли две узкие одинаковые кровати, но мы довольно долго (часов до трех) еще бродили все трое по квартире и разговаривали. В комнате В. Н., на ее письменном столе, лежал ее знаменитый дневник (Алданов мне однажды сказал: Бойтесь, Н. Н.! Она и вас туда запишет!). Страница была открыта. На ней круглым детским почерком было выведено: В т о р н и к. Целый день шел дождик. У Яна болел живот. Заходил Михайлов.

Мне это напомнило дневник, который вел отец Чехова в Мелехове: „Пиона в саду распустилась. Приехала Марья Петровна. Пиона завяла. Марья Петровна уехала".

Мы сидели у Бунина в кабинете, и он рассказал всё сначала (и до конца) про свою любовь, которой он до сих пор мучается. К концу (они оба продолжали пить) он совсем расстроился, слезы текли у него из глаз, и он всё повторял: „Я ничего не понимаю. Я — писатель, старый человек, и ничего не понимаю. Разве такое бывает? Нет, вы мне скажите, разве такое бывает?"

Н. В. М. обнимал его и целовал, я гладила его по голове и лицу, и тоже была расстроена, и мы все трое ужасно раскисли. В конце концов улеглись. Утром уехали, он еще спал.

1940.

Январь

Собрание, устроенное Фондаминским и младороссами. Зачем? Неизвестно. Вышли в 12 часов ночи — такая вдруг сделалась гололедица, что ехать в Лонгшен нельзя было и думать. Фондаминский повез нас к себе ночевать, на авеню де Версай. Отпирая дверь, он сказал, что слева спит Зензинов, а справа — бывшая сиделка Ам. Ос., жилица, и что надо быть очень тихими, а то они „страшно рассердятся" и могут среди ночи „устроить скандал". Н. В. М. улегся в столовой на диване, а я — в бывшей комнате Ам. Ос. Ни простынь, ни одеял — всё под ключом у Зензинова. За дверью было очень тихо, там спал Зензинов. Фондаминский ушел к себе. Мне не спалось, в квартире был какой-то напряженный, тяжелый воздух. И вдруг часу во втором Зензинов у себя в комнате начал печатать на машинке. Машинка стояла у самой моей двери и, конечно, спать я не могла. Он вероятно слышал, что Фондаминский вернулся не один, мы нашумели в столовой и в ванной, думали пить чай, но оказалось, что (по словам Фондаминского) „Володя всё запер" (от кого? от жилицы? от прислуги? или от самого Фондаминского?). Я полежала около часу без сна, пошла в столовую пожаловаться Н. В. М. на грохот машинки, ища его сочувствия, но добудиться его не могла.

И вдруг за дверью столовой, ведущей в комнату сиделки, тоже раздалось печатание на машинке. Так они оба печатали на своих машинках до пяти утра, когда всё затихло, а я слушала этот треск и до сих пор не понимаю: какой был в нем смысл? Делалось ли это на зло кому-нибудь? или это — нормальное времяпрепровождение живущих в этой квартире людей? Сам Фондаминский живет отдельно, в другом конце коридора. Наконец, в половине шестого, я стянула Н. В. М. с дивана и мы уехали. Он не мог поверить моему рассказу и долго уверял меня, что мне это всё приснилось.

Январь

Нищая, глупая, вонючая, ничтожная, несчастная, подлая, всё растерявшая, измученная, голодная русская эмиграция (к которой принадлежу и я)! В прошлом году на продавленном матрасе, на рваных простынях, худой, обросший, без денег на доктора и лекарство, умирал Ходасевич. В этом году — прихожу к Набокову: он лежит точно такой же. В будущем году еще кого-нибудь свезут в больницу, собрав деньги у богатых, щедрых и добрых евреев. (Принесла Наб. курицу, и В. сейчас же пошла ее варить.)

Биянкур — пьяный мастеровой; пятнадцатый округ Парижа — скопище всех слез, всей пошлости, всех „белых мечтаний". Шестнадцатый: крахмальный воротничок на сморщенной шее всесветного жулика, меховое манто, женские болезни, долги, сплетни и карты. Медон, Аньер и все пригороды с их сорока сороками, где нас только терпят, где на кладбищах скоро от нас не будет места!

Февраль

Ладинский под большим секретом сказал мне, что, когда был инцидент с японцами на о. Хасан, русские сдавались японцам в плен, просто переходили к ним. Сейчас в Финляндии это происходит на глазах всего мира.

Март

Сегодня, в день заключения мира СССР с Финляндией, я сказала Керенскому:

— Однажды, в какой-то знаменитый день, один из приближенных сказал Наполеону: Сир, мы присутствуем сегодня при повороте истории.

Но Керенский иронии не понял.

М а й

Началось немецкое наступление.

Страшные радиовещания. Жду их. От усталости и нервности засыпаю за полчаса до главной передачи. Там говорит голос:

сюр тэр,
сюр мэр,
э дан
лэ-з-эр, —

и на мое (варварское) ухо здесь слышится что-то похожее на рифму.

И ю н ь

Записываю всё, что произошло в июньские дни (взятие Парижа):

П я т н и ц а, 7 июня. Вечером — приезд Барановых (Наташа, дочь Л. И. Шестова, с мужем). Они ночуют.

С у б б о т а, 8 июня. Нат. Баранова уезжает. Вечером возвращается с Асей.

В о с к р е с е н ь е, 9 июня. Далекая пушечная пальба. Вечером — Д. Одинец, его дочь и молодой француз. Мужчины спят в палатке в саду, дочь — на диване в столовой.

П о н е д е л ь н и к, 10 июня. Упал вблизи немецкий аэроплан. Всё утро с Одинцами искали им комнату. Нашли в Борд. Они переехали. Нат. Баранова и Ася уехали. В 5 час. приехали Керенские. Ночевали.

В т о р н и к, 11 июня. В 5 час. утра уехали Керенские (в Португалию?). Барановы в Париже весь день. В 2 часа дня пришла Оля пешком из Сен-Реми. Вечером — Барановы вернулись с Норой.

Конец газет.

С р е д а, 12 июня. Утром ходили с Норой в Бюльон. По дороге встретили разбитый автомобиль. Познакомились с м-м

Каффэн и ее сыном. Она от усталости и бессонной ночи наехала на дерево. Сын слегка повредил ногу. Пригласили их к себе. Весь день Барановы укладывались. Отъезд Амио (в конце деревни). Страшный исход из Парижа мимо нас. Вечером Каффэн. Поместились напротив в кафе.

Четверг, 13 июня. С утра тревожно. Барановы увязывают вещи. Каффэн. Кое-кто из деревни уезжает. Отъезд хозяйки кафе, м-м Парро. Собаки остались. Вечером пусто и жутко.

Пятница, 14 июня. В ночь на пятницу в 4 часа утра Барановы, Нора и двое Каффэн уезжают. Париж взят. Отъезд Деборов. Приезд из Парижа Перро. Сидят с женой у нас, замученные, до 12 час. дня и ждут хлеба. В деревне стоят алжирские войска и красный крест. Погром в пустых домах. Вечером нет электричества. Старуха Амио приходит полупьяная. Валлэ уезжают в ночь с ней. Дом разграблен. Пулеметная стрельба. Ложимся на землю, строим убежище в канаве около леса.

Суббота, 15 июня. На рассвете уезжают красный крест и алжирцы. Ужасное зрелище в тумане и мраке. И чем громче стрельба, тем сильнее поют соловьи, и так каждую ночь. Стрельба и соловьи. Стрельба близко и с двух сторон. Все уехали. Моттэ отослал лошадей, сам остался. Мариус исчез. В 11 ч. сбегаемся в укрытие. Семнадцать человек — это вся деревня. Лежим полтора часа. Канонада очень сильная, с двух сторон. Проходит с севера на юг и затихает. Дети непрерывно дрожат. Клонит ко сну, после трех бессонных ночей. Ни французов, ни немцев.

Клубника поспела и вся черная: напущена была, очевидно, колоссальная дымовая завеса и хлопья черной ваты почему-то осели на клубнику. Не отмывается, и есть ее нельзя. Появляются беженцы.

Воскресенье, 16 июня. Говорят, немцы взяли Шартр, пройдя через нас. У всех приподнятое настроение: опасность миновала! Едем с Моттэ в Бонелль. Там чувствуется что-то праздничное. Несколько немцев на мотоциклетках. Лонгшен наш ими не замечен. Поутру где-то проходили моторизованные колонны, было глухо слышно за лесом. Ели и спали. Была сильная гроза. Лошади Моттэ вернулись. Многих ждут обратно. Ни пройти, ни проехать: дороги забиты.

Понедельник, 17 июня. Выспались, вымылись. Все работают; хлеба нет. Слухов нет. Тишина. Стрельба очень далеко. Собаки бродят, беженцы возвращаются. Говорят, кто-то из немцев был уже в Бюльоне и дал распоряжение беженцам возвращаться в Париж. Вечером зажглось электричество. Пустили радио. Китайский марш из „Щелкунчика". Французский кабинет пал. Маршал Петэн просит мира.

Вторник, 18 июня. Всё налаживается. Стали выпекать хлеб ручного размола. Немецкое радио. Немцы уже под Лионом. В деревне ждут мира.

Среда, 19 июня. Вернулись галичане-рабочие. Были обстреляны из пулемета под Шартром.

Четверг, 20 июня. Страшный зной и ветер. Собаки воют. Лонгшен в стороне и пока постоев нет.

Июнь

В нашей деревне стояли: французские войска, красный крест, алжирцы, мароканцы, немцы. Жили прохожие беженцы, был наконец вечер, когда во всей деревне не осталось и десяти человек. Остались три собаки мадам Парро, и было стыдно взглянуть им в глаза: она их бросила. Дик лежал среди дороги и плакал. И за три дня страшно постарел, стал совсем седой и едва ходит.

Июль

Ездила в Париж на велосипеде.

Когда-то казалось: хорошо быть Петербургу пусту (это когда на Васильевском острове коза паслась). Петербургу, но не Парижу. Парижу идет быть муравейником или ульем. И вот он стал пуст, как когда-то Петербург.

И в этой новой тишине на Елисейских полях раздается голос: это спикер в кино на немецком языке комментирует „вохеншау". Вхожу. В темном зале почти полно. На экране показывают, как прорвали линию Мажино, как взяли полмиллиона пленных, как бились на Луаре, как в Компьене подписывали мир и как в Страсбурге и Кольмаре население встречало немцев цветами. Потом Гитлер приезжает на Трокадеро и оттуда смотрит на Эйфелеву башню. И внезапно он делает жест... Жест такой неописуемой вульгар-

ности, такой пошлости, что едва веришь, что кто-либо при таких обстоятельствах вообще мог его сделать: от полноты удовольствия он ударяет себя по заднице и в то же время делает поворот на одном каблуке.

Сначала мне хотелось громко вскрикнуть от стыда и ужаса, потом стало смешно от колокольного звона Страсбургского собора и духовой музыки... Рядом хихикали парочки, обнимались и целовались в полумраке.

Август

Читала книгу ген. де Голля (История французской армии).

Сентябрь

Победивший враг гуляет по деревне, побежденный смотрит на него и для собственного успокоения ищет и находит в нем всевозможные приятные черты: он чист, вежлив, платит за всё наличными деньгами (которые день и ночь печатает у себя в Франкфурте). И начинается разговор: они ни в чем не виноваты, они делают то, что им приказано.

Сентябрь

Бывают минуты народных потрясений, когда всё меняется вокруг и люди меняются, одно рушится, другое вырастает, колеблются ценности, которые казались неколебимыми. И слезы, и страх перед идущим роком объединяют всех. Потом всё проходит, и даже вспоминается с некоторой неловкостью. Все возвращаются к своим прежним трудам и стяжаниям. Люди спускаются в свою бытовую лужу. Они ничего не принесли с собой с высот страданий, на которых с неудобствами просидели несколько дней.

Октябрь

8 месяцев (сентябрь—апрель) приезжали с фронта люди и рассказывали о войне. Одни — интересное, другие — скучное, третьи — страшное, четвертые — смешное, пятые — патриотическое, шестые — безнадежное. Я слушала всех и не знала, что единственный, кто был прав, был Геня А., который сказал, что „погонят в конце концов нас немцы до

Пиренеев". Впрочем, сказал он, патриотизм — устарелое понятие, и лучше быть живым трусом, чем мертвым героем.

Октябрь

В прошлом году, когда началась война, французские женщины спрашивали печать и правительство: что нам делать? Мужья и сыновья наши на войне, мы одни, заботиться нам не о ком. У нас много свободного времени, как нам убить его с пользой? И печать, и власти (министры, писатели), и церковь, и вообще все имеющие у женщин авторитет говорили им:

— Трикоте.

И вот прошел год, и женщины опять спрашивают, что им делать: мужья и сыновья наши в плену, в квартире и так все краны блестят, в кино ходить надоело. Что бы нам выдумать? Как убить время? И вот любимица всех, Колетт, отвечает им на страницах „Пти Паризьен":

— Дорме.

Мы унижены, кушать нечего, топить нечем, радоваться нечему, а главное — „наши дорогие" далеко. Не на ком виснуть. Потому дорме как можно больше, каждый час досуга. Всё воскресенье. С семи вечера в будни.

Октябрь

Что-то основное, что целиком идет из мышления, постигается поэтически через пронзительный поэтический образ. Так, Радищеву все его „публицистические" рассуждения пришли на ум через поэтическое переживание: едучи из Петербурга в Москву, он прислушался ночью к ямщицкой песне и был потрясен ее печалью и красотой. И это стало потом „публицистикой".

Ноябрь

Этот год, 1940-й, начался для меня мыслью о Блоке. Потом я перечитала его стихи, потом написала о нем („60 лет"). Потом читала три тома воспоминаний Белого, дневник Блока, переписку его и записные книжки. Без конца перебирала в памяти всё, с ним связанное.

В 1922—23 г. г. в Берлине Белый говорил о Л. Д. Б. боль-

ше, чем писал о ней впоследствии. Вот что он говорил в пьяном бреду:

В ночь смерти Д. И. Менделеева (январь 1907 г.) Чулков, влюбленный в Л. Д. Б., стал ее любовником. В это время Белый был в Париже. Она якобы обещала Белому быть его женой. Это она попросила Белого уехать из Петербурга и сказала, что будет писать ему ежедневно. Она, по словам Белого, хотела, „чтобы я добивался ее, чтобы боролся за нее". Вскоре переписка однако прекратилась (эта переписка теперь находится, видимо, в ЦГАЛИ). Л. Д. сошлась с Чулковым, и Белый „был забыт". У него на нервной почве сделалось воспаление лимфатических желез и его оперировали, о чем он годами всем рассказывал. Чулков написал стихи о своей любви к Л. Д. и напечатал их в альманахе „Белые ночи" (1907 г.), где они мерзко похожи на тогдашние стихи Блока. У Белого до 1909 года оставались следы болезни. „Три женщины исказили мою жизнь, — говорил он, — Нина Петровская, Л. Д. и А. Т."

Мне кажется, что в центре его „частной мифологии" всю его жизнь стоял миф „прекрасного Иосифа".

А. Т. осталась в Дорнахе, когда Белый уехал в 1916 году в Россию (было призвано ополчение). Не осталось ли в Дорнахе его бумаг, черновиков, рукописей? Его отъезд был разрывом с А. Т., но он тогда этого не предвидел, не понял. Когда в 1921 году он увидел ее в Берлине и узнал об ее отношениях с К., он очень тяжело переживал ее „измену".

„Прекрасный Иосиф", как это ни странно, был неравнодушен к горничным. У него всегда в Москве (когда он жил с матерью) были хорошенькие горничные. Он говорил, что „мамочка" после его несчастной любви к Л. Д. Б. так была озабочена его здоровьем, что „старалась брать подходящих горничных". Э. К. Медтнер даже советовал ему жениться на горничной. „Может быть, сказал при этом Белый, это было бы хорошо". „Мамочка" сводила „Бореньку" с кем попало, например с М. Н. Кистяковской (об одном вечере, когда Белый провожал ее домой, написано в его воспоминаниях).

„Первое свидание" Белого описывает его увлечение М. К. Морозовой. Он переписывался с ней в 1901—02 г. г. в 1905 году они столкнулись по-настоящему. „Она была большая

и истинно-человеческая женщина". Но тут он опять оказался Иосифом Прекрасным, и она отошла от него. В 1912 году, вместе с А. Т., Белый гостил у Морозовых в имении, в Калужской губернии. Дочери М. К. (старшей) было семнадцать лет. Ее звали Леночка. „Она была очаровательна и обольстительна своею женственностью. Я любил ее чувственной любовью". Однако мысль, 1) что он женат и 2) что он когда-то был влюблен в мать, заставила его „подавить страсть" к дочери.

— Я кончу, как самоубийца или как святой, — говорил он, — собственно, я уже был святым.

Возвращаясь без конца и без связи к своей любви к Л. Д., Белый говорил (пишу по старым записям):

Была одна ночь, когда Белый и Л. Д., обнявшись, вошли в кабинет к Блоку. „Ну вот и хорошо", — сказал Блок. Л. Д. говорила перед этим: „Увезите меня. Саша — тюк, который завалил меня". Л. Д. казалось ему в те минуты соединенной с ним навеки. Он считал, что может хоть сейчас взять ее себе. Но „чтобы не унизить Блока", чтобы не воспользоваться своей победой, он отложил „увоз" до другого раза. Выйдя от Блоков, зашел в пивную и напился. „Блок замучил ее своею святостью".

Одно из самых неожиданных признаний Белого: горничная, служившая у Э. К. Медтнера была незаконной дочерью Менделеева, то есть сводной сестрой Л. Д. Б.

О том, как Белый тосковал по А. Т. в 1917—1921 г. г. свидетельствует письмо его к ней, написанное после переезда границы, в Литве. Это письмо отослано не было. Оно было передано мне хозяйкой пансиона в Берлине, где он жил, когда он уехал в Москву — он его забыл среди других бумаг! Ходасевич напечатал его в „Современных записках". Уже в 1920 году, в самый разгар военного коммунизма и голода, Белый каким-то образом получил от А. Т. письмо, где она писала ему, что лучше им не жить вместе (в будущем). В „Путевых заметках" (Берлин, 1921) он называет А. Т. „Нелли" и „жена". Она почему-то оскорбилась этим.

Белый говорил, что его мать знала о его отношениях с Ниной П. и сочувствовала им. В Берлине он иногда кричал: „Долой порядочных женщин!" Он проводил твердую

грань между понятиями „порядочные" и „непорядочные". С „порядочными" его сводила судорога бессилия.

Он говорил:

— Проклинаю вас, женщины моей молодости, интеллигентки, декадентки, истерички! Вы чужды естественности и природе.

— Вы говорили мне когда-то, что у меня небесные глаза, что я — Логос.

— Но для Андрея Белого не оказалось в мире женщины!

Он говорил еще:

— Я — Микельанджело.

— Я — апостол Иоанн.

— Я — князь мира.

— Меня зарыли живым при закладке Иоганнесбау.

— Судьбы Европы зависят от меня.

— Штейнер ищет меня.

— Штейнер боится меня.

Первая встреча со Штейнером произошла у Андрея Белого, кажется в Брюсселе.

Штейнер читал там свою очередную лекцию. Белый и А. Т. слушали его. Написали ему письмо. Отнесли. Всё это есть в письмах Белого к Блоку. Сначала они познакомились с женой Штейнера, балтийской немкой, Марией Яковлевной Сиверс.

Семь месяцев провел Белый в Дорнахе.

Он иногда мечтал иметь взрослого сына, и тогда в глазах его стояли слезы.

Мне (наедине) он однажды сказал, сидя на полу, у печки, в Саарове:

— Для меня иной мир — всё равно, что осетрина. А все другие мужчины в ином мире — гости и обозреватели. Любите меня! Целуйте меня! Вы — мадонна Рафаэля. Я поведу вас туда, куда никто никогда вас не поведет.

(Я страшно тогда испугалась, что этот бред поведет к различным осложнениям его отношений с Ходасевичем.)

— Будете писать мою биографию, запомните: у Андрея Белого не было ни одной женщины, достойной его. Он получал от всех одни пощечины.

Между прочим, в 1923 году он говорил, что проживет еще лет десять. Он умер через одиннадцать лет.

Уезжая из Дорнаха в 1916 году Белый целовал Штейнеру руки. Драматическая встреча их после русской революции в 1921 году описана в „Некрополе" Ходасевича.

Он несомненно оставил в Дорнахе свои бумаги и рукописи. А. Т. умерла осенью 1966 г. Что она сделала с ними? Сохранила или сожгла?

Однажды, в 1923 году, в Саарове, Белый, Ходасевич и я сочинили следующее шуточное стихотворение:

ПОЛЬКА

Н. Б. Открыта страница
Дней и ночей.
А. Б. Смотри веселей
В глупые лица
Сытых детей,
Н. Б. В умные лица
Старых людей.
В. Х. Вчера были танцы
У гробовщика.
Н. Б. Короче дистанция,
Ближе река.
В. Х. У кладбища после
Всю ночь карусели
Тяжко гремели.
Н. Б. (А мы были возле!)
А. Б. Сидел лауреат
Верхом на баране:
Н. Б. Кричал — Этот сад
Не видел я ранее!
А. Б. Сидела красавица
Верхом на корове:
Н. Б. А мне это нравится,
А мне это внове!
В. Х. (Скажите пожалуйста!)
Н. Б. Я слушала бред
Тяжело больного,
Ловила секрет
Страданья чужого,
В. Х. А он не сдавался
И что было сил
Хрипло твердил:
А. Б. — Рад стараться!

В 1922—23 г. г. мы встречались с ним в пивной Цум Патценхофер, на Аугсбургер штрассе. Там подавала фрейлейн Марихен (воспетая Ходасевичем). Место было „дюре-

ровское". Марихен было лет двадцать. Сколько просидели мы там втроем!... В 1937 году ночью я пошла бродить (будучи в Берлине). Пришла на это место. Я заглянула в дверь. За кассой сидела толстая женщина лет сорока, чем-то похожая на Марихен. Может быть, это была она?

Ноябрь

Умер С. Г. Каплун-Сумский, когда-то издатель „Эпохи", где выходила „Беседа" (1922—1925 г. г.). Он ничем особенным не отличался и странно, что ему пришлось прожить довольно бурно, будто его жизнь была уготована энергичному, умному и замечательному человеку. За гробом шла кассирша его отеля, где он жил. Кассирша эта увезла его с собой в июне, когда немцы подходили к Парижу. У нее был дом (и мать) в Бретани. Сумский увез туда свой (и издательский) архив (и недавно говорил мне, что там его и оставил). Это были: письма Белого и может быть даже Блока, Горького и др., а также рукописи многих и в том числе (несомненно) неизданные рукописи Белого. Где-то на чердаке в Плугонване он их и оставил. Кассирша была бескорыстная, скромная, и привязалась к нему. Он жил у нее три месяца в этом самом Плугонване. Когда она пошла за его гробом, выяснилось, что она хроменькая. Он умер у нее на руках. Боюсь, что когда историк литературы доберется до Плугонвана, то там он уже ничего не найдет, кроме мышиного помета.

Ноябрь

19-го ноября умер В. В. Руднев в По, от рака. Он был одним из редакторов „Современных записок" и когда-то в 1917 году — городским головой Москвы.

В 1936 году, когда я выходила замуж за Н. В. М., он был свидетелем на нашей свадьбе (вторым был Керенский). Мэр, нас венчавший, сказал, что Руднев похож на Пуанкарэ. Он тоже был похож на Ленина.

Вот кто был на панихиде по Рудневу (24 ноября) на улице Лурмель, в церкви, устроенной при столовой монахини Марии:

Маклаков, В. А.
Демидов, И. П.
Одинец, Д. М.
Переверзев, П. Н.
Церетели, И. Г.
Газданов, Г. И.
Ставров, П. С.
Вейдле, В. В.
Мочульский, К. В.
Раевский, Г. А.
Мандельштам, Ю. В.
Фондаминский, И. И
Калишевич, Н. В.
Федоров, М. М.
Зеелер, В. Ф.
Кнорринг, Н. Н.
Н. В. М.
я и еще человек двадцать.

Ноябрь

Год назад я перечитала „Дон Кихота" и нашла там место, которое напомнило мне один абзац в „Мертвых душах". Оба автора заглядывают куда-то в ту область, о которой Шопенгауэр однажды сказал, что она всегда близко от нас, но ее нельзя определить словами.

Ноябрь

Перечитала „Дьявола" Л. Толстого.

Как мы теперь это понимаем, он был безусловно одержим сексуальной манией. Музыка — пол, толстые бабьи ноги — пол, красивое платье — опять пол, Венера Милосская — пол. После его смерти жизнь сама начала подсказывать выходы из его „безвыходных" положений.

Герой „Дьявола" — человек, умеющий бешено желать, месяца не может прожить без женщины. Такой человек должен был жениться на страстной женщине — „веселой и твердой", а он женился на бледной немочи. Если бы у героя была „веселая и твердая" жена, он бы равнодушно смотрел на ноги Степаниды (и не было бы рассказа). Здесь сыграл роль толстовский дуализм: Степанида — „для тела", бледная немочь — „для души". Сколько красок в чувстве к Степаниде и какое отсутствие их в „любви" к жене!

Толстой видимо не понимал, что брак Иртеньева и брак Стивы Облонского — вообще не брак, ибо женщина в нем не участвует. Это скорее можно назвать искусственным оплодотворением женщины, чем браком.

Ноябрь

Не могу читать — могу только перечитывать. Перечитала „Войну и мир". Мне всегда казалось, и теперь я в этом уверена: эта книга не имеет равных себе в отношении величия осуществленной задачи.

Вот несколько замечаний о ней:

1. Человечество на протяжении романа сравнивается с 1) муравьями, 2) пчелами и 3) баранами. Может быть это недосмотр? Или результат подсознательного презрения Толстого к человечеству?

2. „Солдаты шли с запада на восток, чтобы убивать друг друга". Что это значит?

3. Цели всякой войны: идти вперед, удержать территорию, уничтожить врага. Из этих целей первая была Наполеоном достигнута.

4. Когда Наташа пляшет у дядюшки, я опять проверила себя: любовница дядюшки не может любоваться ею, я этому не верю. Тут должен быть момент „классового сознания".

Декабрь

Вспомнились некоторые даты:

1926 год, 12 декабря: юбилей Бориса Зайцева в зале около авеню Рапп: двадцать пять лет литературной деятельности. Народу было много. Обедали, а потом танцевали. Я, между прочим, сидела рядом с Н. Оцупом, а по другую сторону от него сидела Г. Н. Кузнецова, и нам было весело. В речи Бунин превознес Бориса, и Борис ответил, что многим Бунину обязан. Оба прослезились, обнимались и целовались.

1927 год, 5 февраля. Первое заседание Зеленой лампы, литературных собраний, которые создали Мережковские. На этих собраниях она появлялась с изумрудом, висевшим на лбу, между бровей, на цепочке, а он говорил что-нибудь вроде:

— Нам надо наконец решить, с кем мы: с Христом или с Адамовичем?

или:

— От Толстого до Фельзена...

или:

— Как бы Достоевский ответил Злобину? Мы можем только догадываться.

1927 год, 3 июня. У Зайцевых П. П. Муратов читал свою новую пьесу „Мавритания".

1928 год, 13 января. В день ежегодного благотворительного бала русской прессы был представлен фарс Тэффи, нарочно для этого ею написанный. Каждый год в день „старого нового года" в отеле Лютеция бывал бал, на котором собирали деньги для неимущих писателей, поэтов и журналистов. Бал бывал нарядный, многолюдный, и деньги собирались порядочные, так что неимущему иногда перепадало по 250—400 франков, в зависимости от его заслуг перед русской литературой. Собирал деньги и устраивал бал дамский комитет, а распределяла деньги комиссия, назначенная Союзом писателей.

Каждый год надо было придумывать что-нибудь особенное, чтобы привлечь богатых людей (щедрых и добрых евреев, главным образом — русские эмигранты не интересовались русской литературой, они либо были слишком бедны, либо те, что имели средства, презирали всех этих Белых и Черных, Горьких и Сладких, и говорили, что „воспитаны на Пушкине"). В 1928 году Тэффи написала смешной фарс в стихах, где какого-то царского отпрыска крадут, затем подменяют, девочка оказывается мальчиком, брат и сестра — вовсе не брат и сестра и так далее. Ладинский и я играли этих подмененных и украденных отпрысков (которых все путали), и в конце концов его и меня вносили на руках на сцену (он был громадного роста, и его как-то складывали пополам).

Кажется, в следующем году кто-то придумал достать для бала изящный, легкий шарабан, и чтобы писатели впрягались в него и возили богатых меценатов по залу. Я помню, как я, в паре с М. А. Осоргиным (я — в вечернем платье, он — в смокинге), встали в оглобли и помчались по залу, а в шарабане сидел московский присяжный поверенный М.

Гольдштейн (позже покончивший с собой), но не один: он посадил с собой рядом Рафаэля с его маленьким аккордеоном. Рафаэль был толстый румын, имевший свой оркестр и игравший в одном из русских ресторанов. Рафаэль сидел и играл на аккордеоне, рядом с Гольдштейном, который от смеха буквально выпадал из шарабана. Когда мы примчали его на место, к его столику, где стояло шампанское и сидели какие-то дамы, он слез, вынул бумажник и подал мне сто франков с поклоном. Это тогда было очень много. Осоргин сказал: „А за музыку?" И он дал еще сто. Мы поспешили куда-то в распорядительскую. Куда пошли эти деньги? Может быть Крачковскому? Или Б. Лазаревскому, когда-то популярному автору романа „Душа женщины"? Или Ф. Благову, бывшему редактору-издателю „Русского слова"? Или безработному журналисту Бурышкину, бывшему московскому миллионеру?

А в 1933 году на балу прессы был поставлен один акт „Женитьбы". Я играла Агафью Тихоновну, а Подколесина — художник Верещагин (племянник известного), который относился очень серьезно к этому спектаклю и готовился к нему, и старательно гримировался: он в душе был актер. Мне взяли на прокат золотистый парик с локонами и стильное платье. Это был первый и последний раз в жизни, что я играла на сцене.

1929 год, 17 апреля. Вечер Бунина у Цетлиных. Это было сделано, конечно, с благотворительной целью.

1930 год, 4 апреля. Юбилей Ходасевича — двадцать пять лет литературной деятельности. Он был отпразднован в ресторане, наискосок от знаменитого кафе Клозери де Лила. Было человек сорок, и весь обед носил довольно неофициальный характер. Самое трудное было объединить „левый" сектор эмигрантской печати с „правым", то есть „Современные записки" и „Последние новости" с „Возрождением", в котором Ходасевич работал. Кое-как я достигла какого-то равновесия. Не понимаю, каким образом удалось мне всё это устроить, цель юбилея была, конечно, „поднять престиж" Ходасевича — и это мне, в общем, удалось. Помню, проф. Н. К. Кульман (представитель „правого" сектора) в витиеватой речи объявил, что лучшее создание юбиляра — Пигмалиона — это его Галатея. Галатея же

сидела ни жива, ни мертва от волнения, чтобы всё было — если и не так, как на юбилее Зайцева, — то по крайней мере, как у людей.

1931 год, 10 марта. Мой единственный „писательский обед". Группа была довольно тесная, дружеская, ее составляли: Зайцев, Муратов, Ходасевич, Осоргин, Алданов, Цетлин. Меня пригласили в группу, но после обеда 10-го марта группа распалась: между Ходасевичем и Осоргиным произошло что-то вроде разрыва на почве отношения к событиям в России. Осоргин возобновлял свой советский паспорт ежегодно, получал гонорары из Москвы за перевод „Принцессы Турандот", повторял на всех углах свою казуистику о том, что он не эмигрант, хотя и пишет в эмигрантской печати, и т. д. С другой стороны, Алданов и Цетлин считали, что Муратов стал реакционером, перешел в антидемократический лагерь, особенно после его статьи „Бабушки и дедушки русской революции", где он объявил хищными зверями „лучших людей" русского радикализма, как например — Ек. Брешко-Брешковскую.

И писательские обеды прекратились сами собой.

Осенью 1937 года Н. В. М. сломал себе ногу в колене. Когда он получил страховку, мы купили Лонгшен — в мае 1938 года. Весной 1939 года, когда все работы по перестройке дома были кончены, мы оставили парижскую квартиру и переехали в деревню. Это было за пять месяцев до войны.

Декабрь

Достоевский говорит (в „Записках из подполья"), что цивилизация не приносит ничего нового, она только всё усложняет. Цивилизация есть усложнение жизни, из одноэтажной жизнь делается многоэтажной. Потом начинают на этом здании нарастать всякие башенки и балкончики, потом флигельки обрастают мезанинчиками. И эта ложная готика-рококо вдруг делается помехой жизни.

Декабрь

В реакционном государстве государство говорит личности: „Не делай того-то". Цензура требует: „Не пиши этого". В тоталитарном государстве тебе говорят: „Делай то-то. Пиши то-то и так-то". В этом вся разница.

Д е к а б р ь

Женщины во Франции (в деревнях) рожают в присутствии мужа. Вчера у Лизетт родился ребенок в присутствии двух соседок-подруг, мужа и доктора. Мужа она держала за руку, когда были схватки. Вот картина: подставлен таз, муж и подруги заглядывают, не показалась ли головка? „Ура! Он брюнет!" — кричит одна из подруг. „Ну-ка, поддай еще! Сейчас вылезет". На следующий день роженица рассказывала мне о своих ощущениях, как проходили плечи ребенка, как сходили воды (муж выносил ведра). Подруга сказала: „Я, когда первого рожала, то как только головка вылезла, так сейчас же пришла в себя и потом уже легко было, только надо было сильно жилиться над тазом, обхватив колени вот так". (Она показала как именно.)

Д е к а б р ь

Хуже всего — девственность. Что-то уродливое, внушающее брезгливость, гадливость, отвращение. Никогда никому не раскрыться — предел противоестественного.

Д е к а б р

В сложной системе лабораторного опыта химик следит, как по ретортам и колбам, по стеклянным трубочкам бежит его химическая смесь. Самое главное — чувствовать, что в тебе переливается, что ты не разделен на „верх" и „низ", что посередине нет „китайской стены", разрезающей тебя на две части. Вот это я любила. Это не сразу пришло ко мне, только тогда, когда я сделалась женщиной. От мозга к коленям и от колен к мозгу я стала „одно", я стала „системой опыта". Это были мои соки, которые бегали по моей „системе".

Д е к а б р ь

Я вижу теперь, что самое страшное, что может со мной случиться, это — что я могу в ы с о х н у т ь. Высохнут глаза, высохнет рот, высохнет мозг. Не будет никаких с о к о в, а я буду всё еще жить и жить — может быть сорок лет. Жить без соков — это самое страшное для человека, который знал в себе с о к и и любил свои с о к и (дорожил ими); был жив этими своими с о к а м и.

Декабрь

С осени 1938 года (эпоха „Мюнхена") умерли:

Е. Ю. Пети — покончил с собой (боясь, что будет война и он потеряет свои сбережения)

Шестов — от сердца

Сомов — от сердца

Ходасевич — от рака

Германова — от рака

Коровин — от сердца

Кульман — от сердца

Жаботинский — от сердца

Сумский — от сердца

Руднев — от рака.

Декабрь

Снился Ходасевич. Было много людей, никто его не замечал. Он был с длинными волосами, тонкий, полупрозрачный, „дух" легкий, изящный и молодой. Наконец, мы остались одни. Я села очень близко, взяла его тонкую руку, легкую, как перышко, и сказала:

— Ну, скажи мне, если можешь, как тебе там?

Он сделал смешную гримасу, и я поняла по ней, что ему не плохо, поежился и ответил, затянувшись папиросой:

— Да знаешь, как тебе сказать? Иногда бывает трудновато...

Декабрь

Одна комната, одна кровать, одно одеяло. Кто этого не понимает, ничего не понимает в браке. А если этого опасаешься, то и брака не надо. За день жизнь иногда разведет, охладит, пошатнет, надорвет что-то. Ночью опять всё соединяется. Тело держит тело своим теплом (если не жаром).

Наполеон сказал: „Отведите императрице отдельную опочивальню. Я хочу сохранить свою свободу, хотя бы ночью. Если муж спит в одной комнате с женой, он ничего не может скрыть от нее". Это совершенно верно.

Декабрь

Снег и солнце.

Я бежала по лесу, мне хотелось кинуться в снег, умыться им. Я бежала одна с собаками и громко смеялась.

Декабрь

Богатые китайцы, когда строят себе дом, то в конце сада, в дальнем углу, оставляют „ворота мира" — маленькую дверь, через которую они бегут от революций и катастроф. Этот потайной ход есть у каждого богача. Он носит при себе ключ. Он спасается через него в последний момент, унося с собой свои сокровища.

У меня нет „ворот мира", у меня нет ключа. Всегда было желание „быть там, где все" или во всяком случае — где многие *наши*.

Декабрь

Сколько я себя помню, во мне в детстве было что-то трусливое, слегка дрянное, способность на мелкую подлость, на компромисс. Потом это постепенно прошло. Это не „от века", это было еще до всякого соприкосновения с веком (Белинский сказал: я не сын века, я просто сукин сын). С годами эта потенциальная подлость стала уменьшаться. Я вполне представляю себе, что лет десяти-двенадцати я могла пожертвовать весьма многим, чтобы только спасти свою шкуру.

Декабрь

У каждого человека есть свои тайные, чудесные воспоминания — детства или молодости, или даже зрелости, какие-то особенно драгоценные клочья прошлого. Какой-то летний день, берег моря, чьи-то слова, или чье-то молчание, или разговор. Мы знаем, что от этого воспоминания в реальной жизни не осталось ничего: молодые и старые его участники либо умерли, либо неузнаваемо изменились, самый дом сгорел, сад вырублен, местность трижды переменила название, может быть на том месте разросся дремучий лес или наоборот — сделали новое море. Мы с этим своим воспоминанием совершенно одни на свете, с ним наедине

(точно сон, когда мы тоже со сном наедине), мы с ним с глазу на глаз.

И когда мы умираем, то эти прелестные, тонкие, тайные, только в нас существующие видения тоже умирают. Их никто никогда не восстановит. Каждый человек есть сосуд, в котором живут эти мгновения. Аквариум, в котором они плавают.

Декабрь

Да: гусеница, кокон, бабочка. Больше всего похоже на воскресение во плоти. Только жаль, что бабочка живет так недолго и что в ней всё-таки слишком много от самого обыкновенного червяка.

Декабрь

Ненавижу пошлость женской городской буржуазной жизни. Лучше стирать, готовить, ходить за садом. Люблю прогулки на велосипеде, беготню с собаками, вечернюю тишину деревенского дома.

Декабрь

Со мной живет человек крепкий духом, здоровый телом и душой, ровный, ясный, добрый. Трудолюбивый и нежный. За что ни возьмется — всё спорится в руках. Ко всем расположен. Никогда не злобствует, не завидует, не клевещет. Молится каждый вечер и видит детские сны. Может починить электричество, нарисовать пейзаж и сыграть на рояле кусок из „Карнавала" Шумана.

Декабрь

У меня есть одно воспоминание. Я в нем как бы перекликаюсь сама с собой, шестнадцатилетней.

Это воспоминание о прогулке в Павловск, в счастливый день моей жизни, весной 1918 года, после окончания гимназии. Нас было девять—десять девочек и два учителя. Сердце было так полно чувством жизни, что когда я ехала обратно в поезде, в майский вечер, вместе со всеми, мысли мои летели вперед, я думала, что когда-нибудь вспомню этот день, вспомню себя в нем, и это воспоминание, если и не спасет меня от чего-то страшного, то может быть огра-

дит. Я *тогда* думала о *теперь*. Я себе подготовляла как бы будущее воспоминание. И вот я теперь лечу назад, навстречу этой весне и обволакиваюсь душой в это воспоминание, и вижу, что оно стоит на страже, что ли, всей моей жизни. Это был день, когда мы поехали на пикник в Павловск.

Декабрь

Три моих первых года за границей — какое-то переходное время к настоящей жизни последующих лет. Эти три года — от июня 1922 года до апреля 1925 года — связаны с жизнью у Горького, с памятью о нем, с его семьей, отчасти — переездами из одного места в другое: Берлин, Сааров, Прага, Мариенбад, Венеция, Рим, Париж, Лондон, Бельфаст, Сорренто. Литературный Берлин, кафе на Ноллендорф платц, Цветаева — сначала в Берлине, потом в Праге. Муратов, первые парижские знакомства. Как много было встреч! С 1925 года началось наше парижское существование.

В 1926 году мы сняли квартиру. Это были годы расцвета парижской литературной жизни. Сама я в этом году начала писать прозу. Было три газеты, был наш журнал „Новый дом", салоны Цетлиных и Винаверов, дом Мережковских, Зеленая лампа, Союз поэтов (где я много раз выступала). В 1930 году словно какое-то несчастье обрушилось на всех нас, это было вероятно следствием мирового экономического кризиса, всеобщее обеднение, оскудение книжного рынка, постарение старых и упадок молодых. Начали много пить, мрачнеть, болеть. И в СССР началось плановое уничтожение двух поколений.

Декабрь

В 1918—1920 годах, когда случилось то, что случилось, я говорила себе: это меня не касается, это касается аристократов, буржуев, контрреволюционеров, банкиров и губернаторов. А мне шестнадцать лет, и я — никто. В 1940 году опять „стряслось", и я опять за старое: „Это меня не касается, это касается Европы. А я что? Я — русский эмигрант. Полуазиат, что ли? Вообще — ничтожество".

— Это тебе даром не пройдет! — сказала я сама себе в зеркало.

Декабрь

Европейские художники удивительно высокомерны. Они не снисходят до отчаяния. Они самоуверены: англичанин — потому что есть великая империя; немец — потому что есть Гитлер; француз — потому что буржуазный склад его мысли идеально совпадает с буржуазным укладом его государства. У нас мучились сознанием, что есть безграмотные, есть вшивые. И до сих пор жива отрыжка этих графско-княжеских мучений.

Декабрь

Я люблю трудную жизнь. Пришло несомненно в юности из Ницше. Засело. На всю жизнь. Это значит, что я люблю задачи, которые нужно разрешать и препятствия, которые нужно брать, и всю вообще „спортивную" сложность судьбы человеческой.

Декабрь

„Добытое рассуждением всегда остается с нами. Продуманная идея нас никогда не покидает, каково бы ни было душевное настроение, между тем как идея только почувствованная, неустойчива и изменчива: зависит от силы, с какой бьется наше сердце. А сверх того, сердца не даются по выбору: какое в себе нашел, с тем и приходится мириться. Разум же свой мы сами постоянно создаем".

П. Чаадаев. Филос. письмо III.

Декабрь

„Честь дороже жизни".

Никогда не понимала, что это значит. Как может быть что-нибудь дороже жизни? Если нет жизни, то ничего нет. Всё равно, как если бы дырка была дороже бублика. Если нет жизни, то нет и чести. Нет бублика — нет и дырки. Сравнивать жизнь с чем-нибудь всё равно что множить яблоки на груши.

И вдруг у Шопенгауэра нашла мысль о том, что честь условная вещь, существующая только во мнении посторонних людей о нас (и в разные времена — разная), но не в нас самих:

„Честь есть мнение других о нашем достоинстве (объективно). Честь есть наш страх перед этим мнением (субъективно)".

1941.

Февраль

Когда настают такие времена — голодные и холодные — то спички понемногу перестают зажигаться. Это я заметила еще в 1920 году. Первый признак большой беды.

Февраль

Куда девались все глиняные горшки, которые сейчас так нужны? Их больше нет. Старуха-соседка, помнящая нашествие немцев в 1870 году, подарила мне горшок. Я ставлю в нем хлебы. Уверяет меня, что горшок — дедовский. А дед ее в Россию ходил, в 1812 году, с Наполеоном. Может быть горшок — русский? Н. В. М. рассмотрел его и заявил, что горшок несомненно Владимирский (значит — его земляк)!

Февраль

Леонид Андреев за несколько недель до смерти (1918 год) слушал у себя в Финляндии налеты вражеских самолетов и мечтал об отъезде в Америку. Мне начинает казаться, что перерыва не было — между его ночами и моими.

Март

Недавно читала на литературном вечере, на улице Лурмель, в помещении столовой матери Марии, „Воскрешение Моцарта". Было человек сто, полный зал. Многие плакали. Были: Зайцев, Вейдле, Присманова, Ладинский . . .

Март

Итак, самые важные вещи на свете суть: каша в горшке, хлеб в печи, шерсть и сало.

Апрель

Всю жизнь любила победителей больше побежденных и сильных более слабых. Теперь не люблю ни тех, ни других.

Апрель

Меня больше волнует, что Бабель сидит в тюрьме, чем что потоплен крейсер со всем экипажем.

Апрель

Год тому назад мы стояли перед событиями: падение Голландии и Бельгии, падение Парижа, вступление Италии в войну. Сейчас мы опять стоим перед громадными событиями, может быть еще большими, которые вероятно начнутся в мае. А пока что каждый вечер над нами летят десятки самолетов — в Англию. И Лондон зажжен со всех сторон.

Апрель

В Нахичевани, на рождестве 1919 года (или в январе 1920 года), у нас стоял во дворе броневой дивизион и мы каждый вечер поднимались на чердак и смотрели оттуда, как за городом, в степи, красные шли развернутой атакой на Батайск, падали и теряли коней и людей. Из Батайска белые стреляли по ним. Потом красные возвращались (к нам во двор), нескольких не хватало. А теперь каждый вечер сотни самолетов летят над нами на Англию, громить города и мирное население. И я не могу уснуть. И всё думаю: это кончится только с моей жизнью.

Май

Чужая любовь ко мне, мною не разделяемая, делает меня злой: мне кажется, что кто-то накладывает на меня руку, и мне хочется ударить эту руку. Мгновение ненависти. Сдерживаюсь. Эта чужая непрошенная ласка может вызвать во мне ужасную злобу.

Считаю это с моей стороны мерзостью. Отделаться же от этого не могу.

Июнь

Мосье Дюплан (80 лет, изобрел искусственный шелк, миллионер) рассказал о себе: он остался в своем замке, все его слуги разбежались (июнь 1940 года). Дюплан жил неделю совершенно один, читал вечерами Толстого, то место в „Войне и мире", где старый Болконский ждал французов.

И вот однажды он видит: по аллее (еще дедовской) идут немцы, небольшой отряд. Он встал на пороге, руки в карманах, а в ноги положил только что им зарезанного барана. „Пожалуйте. Будем ужинать".

Июнь. 22-е. Воскресенье.

Утреннее радио.

Немцы вошли в Россию.

Июнь

Атилла сказал: Я — топор мира.

Июнь

Г. и его жена живут рядом (дочь путается с немецкими солдатами). За нашим забором, на их земле, растет молодое дерево — мирабель. Оно целиком наклонено над нашей землей, и теперь его плоды (фунтов сто на взгляд) падают к нам — спелые и сладкие. К ним не падает ничего. Я встретила его жену и сказала ей, чтобы она пришла, когда хочет, и собрала бы плоды. Мы собираем ежедневно, и так как варенье варить невозможно из-за отсутствия сахара, то я делаю компоты на зиму. Но жена Г. не пришла, а утром, когда я встала и вышла в сад, я увидела, что Г. срубил это чудное деревцо и оно, со всеми своими фруктами, лежит у него, за нашим забором, на земле, растерзанное и мертвое. „На зло", — сказала Мари-Луиза. Они не обобрали плоды, и это тоже было сделано „на зло". Так и лежало это дерево, пока птицы не съели всю мирабель и ветки не высохли. Мы каждый день подолгу стояли и смотрели на ссохшиеся листья, на сломанный тонкий и сильный ствол, и сколько ни думали, ничего не могли придумать кроме того, что этот человек, Г., одержим какой-то дикой звериной злобой ко мне и к Н. В. М.

Июнь. 24-го.

В день 22-го июня в Париже немцами были арестованы русские эмигранты, около ста пятидесяти человек. Главным образом „видные", но есть и „не видные". Они арестованы „как русские": „правые" и „левые"; среди них — Фонда-

минский, адвокат Филоненко, Зеелер и др. Прис. поверенный Н. рыдал и говорил, что никогда ничего не имел против немцев и что

— Майн фатер из ин Берлин беграбен.

Июнь. 25-го.

Выглядит так, что арестовали главным образом масонов — членов Гранд Лож (правых) и членов Гранд Ориан (левых).

Июнь

28-го июня в 8 часов утра я пришла на кладбище к могиле Ходасевича. Земля уже была раскопана и яма закрыта досками. Шесть рабочих пришли с веревками, подняли доски и стали тянуть гроб. Гроб (дубовый) за три года потемнел, был легок. По углам было немного плесени. Служащий бюро сказал мне: тут сухая почва, да и покойник, видно, не разложился, а ссохся, как мумия, так как верно был худ. Гроб повезли на тележке к новому, постоянному, месту. Опять веревки, яма, доски. Опустили легко и тихо. Стали засыпать.

И я пошла к Зайцевым, которые живут за углом.

Июнь

22-го июня 1812 года, в своей главной квартире в Вильковишках, Наполеон объявил войну России.

23-го июня Бонапарт ночью увидел перед собой Неман.

(Из „Замогильных записок" Шатобриана, том III)

Июль

Львов, Рига, Кишинев, Минск, Смоленск.

Август

Бетховен часто связывается у меня с ритмом идущего поезда. Первая часть Патетической сонаты — с поездом, который раздавил Анну Каренину. В кинохронике видела войну на русском фронте, и там шли немецкие танки (сотни) по болотам, дорогам, по спелой ржи, по молодому лесу, вброд по рекам — и всё это под Девятую симфонию.

Август

Новгород. Война идет „кольцами". Окружается город, изничтожается армия, берется город. Режут большими кусками. Война „кольцевая".

Август

Были в комендатуре у немцев, в Рамбуйе. Были вызваны русские зарегистрироваться. Немцы хотели узнать, все ли „белые", нет ли „красных", которых следует посадить в лагерь? Пришло человек пятнадцать. Высокий старик, похожий на кн. С. М. Волконского, скрипач из русской консерватории, две аристократки в огромных старинных шляпах, бледный, одутловатый человек с курносым мальчиком и еще личности — все скверно одетые, очень замученные нуждой и страхом, с большими черными руками.

Немец допросил. Оказались все „белые", то есть эмигранты, живущие по „нансеновским" паспортам. Немец удивился. Я начала объяснять, что значит „нансеновский паспорт" и что мы никому не нужны и весь их вызов ни к чему. Немец не понимал, как можно по документам советского отличить от несоветского. Я делала ошибки и очень спешила. Всё хотелось сказать: посмотрите на этих, совершенно вам не нужных людей, отпустите их, ведь они же двадцать лет ...

... двадцать лет страдали, искали работы самой тяжелой, — говорила я ночью, во сне, этому самому немецкому офицеру, — отовсюду их гнали, не давали права работать ... Мы стояли с ним в солнечном луче у окна, в комнате комендатуры.

— Двадцать лет они жили в чужих людях, а ведь когда-то были такими же, как вы — здоровыми, молодыми. Дети их тоже запуганные и тихие. Жены их замучены заботами и работой. О, какие они все смирные! Они платят налоги и ходят в церковь. Преступность среди них ничтожна. Паспорта у них нансеновские, а лица такие грустные ... Пожалейте их! Это же русские эмигранты ...

И я проснулась, плача.

А в г у с т

Еще о „Войне и мире".

Фамусовская Москва, с Ростовым-Фамусовым, и Тугоуховские, и Репетиловы — все на лицо. Толстой как бы благословил то, что Грибоедов бичевал.

А в г у с т

Перечитывая письма Достоевского: письма 1877 года и „Дневник писателя" — параллельные места. Я поняла как бы наново движение поколений, то, что верящие в прогресс люди считают прямой восходящей линией, а мне представляется более похожим на очень медленное и очень неровное (со вздрогами) качание маятника.

Письмо Ковнера Достоевскому и письмо Достоевского Ковнеру — это столкновение двух разных эпох. Достоевский внимательно слушает, что говорит ему этот новый человек, немножко циник, немножко атеист, немножко аферист, немножко интернационалист. Достоевский пожимает плечами, изумляется, прислушивается. Чувствуется, что Ковнер ему чужой. Затем — проходит мимо, забывает его. А между тем Ковнер — явление громадное. Это — новый человек, с новыми взглядами решительно на всё: на бессмертие, на деньги, на любовь.

Ковнеры появились в последней четверти прошлого века, и мое поколение еще застало их. В них еще был остаток вульгарного идеализма. Но для Ковнеров были бы совершенно непонятны и чужды сегодняшние люди, пореволюционные, и всё мышление нашего времени, где Ковнеры кажутся сентиментальными.

Пушкин сошел бы с ума, если бы знал н а с. Нет, Пушкин сошел бы с ума, прочитав у Достоевского о ночном горшке (в „Вечном муже"); Достоевский сошел бы с ума от Чехова, а Чехов — от нас. Все вместе они зажали бы нос и закрыли бы глаза от нашего „безобразия".

А в г у с т

Двадцать лет со дня смерти Блока. Кто еще помнит этот день? Я думаю о нем каждый год в этот день, думаю о нем много. Хотелось бы написать о нем книгу.

Сентябрь

Как я и думала, ребенок Л. Д. Б., умерший в 1911 году, и которого и сама Л. Д. Б., и Блок так оплакивали, был не от Блока. Вера Зайцева передала мне свой разговор с Блоком в Москве, уже после революции. Они шли по улице, у Веры только что расстреляли сына. Она говорила с Блоком о нем.

— А у вас, А. А., никогда не было детей?

— Никогда, — ответил Блок.

Сентябрь

Взят Шлиссельбург.

20-го взят Киев.

Октябрь

Взят Киев. Взята Одесса. Взяты Тверь и Калуга. Таганрог. (А я читаю „Нашествие Наполеона на Россию" Тарле.)

Ноябрь

В эту жизнь, трудную, безуханную, тоскливую, голодную, вдруг ворвался какой-то странный, необъяснимый луч и всё преобразил: испанская девочка (8 лет), нищая, которой я дала ленту, дочь дровосека, по имени Рамона. Поговорить с ней не могла, говорит только по-испански. Но как она взглянула на меня, как улыбнулась мне! Это был толчок мне в душу — детское лицо, грустное и прекрасное. И всё во мне засверкало и заискрилось. Среди нашей смерти — вдруг красота.

Отец ее, видимо, „красный испанец", интернирован во Франции. Теперь рубит дрова в лесу, рядом с нами. У него больная жена и пять детей. Старший сын пропал год назад без вести. Живут всей семьей в шалаше.

Ноябрь

13-го были в одно и то же время зажжены со всех концов и обстреляны Кронштадт и Севастополь.

Миллион немцев прошелся по России — до Тихвина, Малоярославца, Тулы, Керчи.

Ноябрь

Знаменитый путешественник Свен Гедин написал статью против России и Сталина. Сообщает, что настоящая фамилия Сталина Иван Иванович Виссарионович.

Декабрь

Война США с Японией. Перл-Харбор и потопление судов.

Очень странно, но я чувствую иногда как бы запах крови в воздухе. От этого запаха мне делается нехорошо. И кажется, что кругом ужасное количество мертвых тел. Некоторых почти уже закрыла земля, других заметает снег, третьих — песок пустыни, за четвертыми в глубине морской гоняются рыбы.

Декабрь

Японцами взят Гонконг.

Декабрь

7-го декабря в 9 часов утра умер Мережковский. В последнее время он был очень худ, очень стар. Он бегал маленькими шажками по улице Пасси под руку с З. Н. Г. Когда я пришла к ним три недели тому назад, он был безразличен ко всему (и ко мне). Злобин кутал ему ноги в плед. Ему всё было холодно.

На З. Н. в церкви на отпевании было страшно смотреть: белая, мертвая, с подгибающимися ногами. Рядом с ней стоял Злобин, широкий, сильный. Он поддерживал ее.

На отпевании было довольно много народу. Весть о его смерти распространилась быстро, хоть газеты русской нет. Оля прислала мне телеграмму. Были: Маклаков, Тесленко, Зайцевы, Любимов, Ставров, Ладинский, проф. Михайлов, Кнорринг, Карташев, Лифарь, Мамченко, свящ. Булгаков, всего человек восемьдесят. Служил Евлогий, четыре попа и два дьякона. З. Н. стояла передо мной. Гроб показался мне совсем маленьким.

Мережковский был последним из живых символистов. Теперь остались: Бальмонт (живой труп) и Вяч. Иванов (в Италии).

Декабрь

Не могу вынести чьего-то давления на себе, удушающей липкости, нежности, на которую не отвечаю, требования ответной откровености, страшного деспотизма бабьей дружбы. Слишком большое чувство в маленькой душе возбуждает во мне враждебность. Люблю от всех быть на некотором расстоянии, не выношу „объяснений", „выяснения отношений".

Декабрь

Если бы я только могла не дрожать, смотря на карту России. Но я дрожу.

Декабрь

Испанские дети, дети дровосека из лесного шалаша, пришли к нам на рождество: Анита — трех лет, Хуанито — шести лет, Хозе-Мариа — восьми лет, Рамона — девяти лет. С ними был Диэго — шестнадцати лет. Все были чисто одеты. Они низкорослые с плоскими носами. Пришли с барабаном и трубой. Это было целое шествие. Им дали печенья, конфет и яблок. Хозе-Мариа страшный, видно, весельчак и хохотун пел испанские песни. Рамона ему подтягивала. Я не могла слушать ее без слез и ушла в темную кухню. Рамона была причесана на две косы, положенные вокруг головы. Я повязала ей ленточку. В ней для меня сошлись вся жалость, печаль и красота мира.

Месяц тому назад встреча с ней вывела меня — через восхищение, жалость и смирение — из состояния сухости и заледенения, одного из самых тяжелых моих состояний; человеку по природе его (так я думаю) свойственно быть теплым, живым, зрячим, вибрирующим и больше напоминать своею сущностью животное или птицу, или даже растение, чем кусок льда, песок пустыни или скалу.

Вся красота и драма мира, вся нежность, прелесть и теплота мирного мира взяты мною под сомнение в последний год. И вот недавно, идя вечером по лужам, под дождем, по темной деревенской улице, за бутылкой молока на ферму, я увидела Рамону в одном платье, вернее — в лохмотьях, видно было голое тело. Ее ноги были обуты в большие,

видимо материнские, башмаки, дырявые, спадавшие с ног; волосы, черные и гладкие, были заплетены в две тоненькие косички и заложены вокруг головы, и над лбом, там, где они сходились, были перевязаны красной шерстинкой. Она шла, спотыкаясь, в темноте, на ту же ферму, что и я, и держала в руках пустую жестяную банку.

Когда мы вместе вошли в кухню, где в ведре стояло только что отдоенное молоко, которое толстая фермерша мерила оловяной кружкой, я разглядела ее. Она точно сошла со страниц Андерсена и с рисунка Гойи. Она смотрела на меня большими, темными глазами, смотрела долго, с любопытством, но тихим и смиренным. Ее пальцы, державшие ржавую жестянку, были тонкие и смуглые. И внезапно она улыбнулась мне, молча и доверчиво, не зная, кто я, глядя мне в глаза своими кроткими глазами. Что-то с силой раскрылось во мне. Восторг и жалость пронзили меня. „Приходи ко мне, сказала я, и я дам тебе настоящую ленточку для твоих кос". На самом деле я хотела дать ей какую-нибудь теплую кофточку. Но она не понимала по-французски!

Вся она, с ее улыбкой и жестянкой в руке, с ее непониманием языка людей, среди которых она жила, с дикостью вдруг мелькнувшей в ее испуге, явилась, чтобы разбудить меня, перевернуть мертвые пласты во мне, снять с души кровь и плесень.

1942.

Январь

Подслушала в парижском кафе русский разговор. Русская бабушка (в старом котиковом пальто) и русская внучка (лет двадцати).

Бабушка (рассматривая карточку меню):

— Смотри, у них шукрута*) есть за шестнадцать франков.

Внучка:

— Так вы закажите, бабушка. У нас есть на одну шукруту.

— А как же ты без шукруты?

— Я в другой раз.

---

*) Choucroute — кислая капуста.

— Да вкусная ли у них шукрута-то?
— А вы закажите, денег хватит.
— А две нельзя?
— На две у нас нету.
— Давно не ела шукруты. Нет, не закажу, денег жалко.
— Я сосчитаю, сколько у нас есть (внучка считает деньги).

А в другом углу — два француза. Первый:

— Ничего не понимаю: какие-то карточки, купоны, талоны, пункты. Всё у меня пропадает, всюду я опаздываю, не прикрепился никуда. Где-то на что-то надо было записаться. Моя очередь прошла. Иду в хвост стоять, говорят — не мой день. Ничего не понимаю. Никак не могу управиться. Всё время голоден.

Второй:

— Вы бы кому-нибудь поручили.
— Да некому. Так вот и хожу не евши целый день. Половину карточек растерял.

Январь

В „Нашем слове" (русская газетка) прочла корреспонденцию Саволайнена о том, что делается в Петербурге. Как хоронят в общей яме умерших от голода и холода людей, или как не хоронят, ждут, когда земля отмерзнет, и трупы лежат во дворах, сложенные, как дрова. Ясно представила себе обоих: старые, прозрачные, полузамерзшие, едва ходят, почти скелеты, падающие от слабости, старости и недоедания. И почему-то во сне видела телеграмму: мама скончалась раньше папы. Никак не могу этому поверить*).

Январь

Мари-Луиза положила мою руку на свой живот и я услышала, как там брыкается, и ворочается, и прыгает человек двадцать первого века.

Январь

„По дорогим могилам". Ходила по монпарнасским кафе, где десять или пятнадцать лет тому назад (и пять лет) можно было видеть людей от Эренбурга и Савича до Бунина

---

*) В 1961 г. от С. А. Риттенберга узнала, что это была правда.

и Федотова. Теперь — ни одного знакомого лица, ни одной тени. Словно гуляю по Парижу в 2000 году.

И вдруг — у стойки в полутемном „бистро" — Георгий Раевский. Мы кинулись друг к другу. Он ничего не боится, потому что у него всё в порядке (видимо — фальшивые бумаги). Похудел страшно. Читал мне стихи.

Январь

Я видела на своем веку таланты. Я видела на своем веку почти что гениев. Это были несчастные, нездоровые, тяжелые люди, с разбитой жизнью и жертвами вокруг себя. Счастья они не знали, дружбы не понимали. Ко всему примешивалось „нас не читают", „нас не слушают", „нас не понимают", „нет денег", „нет аудитории", грозит тюрьма, ссылка, заедает цензура. Ничего несчастнее, тоскливее, печальнее нельзя себе представить.

Февраль

С юга (Фавьер) приехала Е. К. и рассказала, что весь Фавьер (русское место) повторяет мою фразу о том, что я люблю трудную жизнь. Они считают это очень смешным парадоксом.

Февраль

Мое ремесло (и обусловленная им жизнь) поставило меня среди пьяниц, педерастов, наркоманов, неврастеников, самоубийц, неудачников, среди которых многие считали добро скучнее зла и разврат необходимой принадлежностью литератора. И все почти имели в себе какой-то излом. Но было во мне что-то, что предпочитало „свет" — „тьме". И я иногда чувствовала себя не в своей тарелке.

Февраль

Весь мир слушает коммюнике генерального штаба. Посторонитесь, звезды, земля слушает немецкое коммюнике! Проснитесь, жители Тасмании, не гремите посудой в Капштадте, — судьба мира на несколько десятилетий зависит от этого коммюнике! Присоединены Смоленск и Коста-Рика,

Рекийявик и Бангкок. Не волны Индийского океана стучат вам в окна, а Герцевы волны. Не кашляйте, самоеды... Говорит „топор мира".

Февраль

Читаю процесс 193-х (1887 год). Эти люди — прямые предки Ленина и Дзержинского. Муратов в свое время говорил, что „бабушка" Брешковская — это зверь.

Первоприсутствующий на суде тогда был Петерс. У нас тоже был Петерс.

И один за другого мстил.

Приговор был смехотворный по своей мягкости.

Февраль

Слух прошел, что Цветаева повесилась в Москве 11-го августа. „Наше слово" (или „Новое слово"?) дало об этом пошлую безграмотную заметку. Перечитывая недавно ее прозу, я прочла, как она пишет, что однажды ее кто-то со спины принял за Есенина. И вот я вижу их перед собой: висят и качаются, оба светлоголовые, в петлях. Слева он, справа она, на одинаковых крюках и веревках, и оба с льняными волосами, остриженными в скобку.

Говорят, что Эфрон расстрелян. Сын — партийный и, вероятно, на войне. Как тут не повеситься, если любимая Германия бьет бомбами по любимой Москве, старые друзья боятся встречаться, в журналах травят и жрать нечего?

Март

З. Н. Г. сидит у себя, на двери надпись: „ключ под ковриком". Она ничего не слышит. Злобин в бегах (за маслом, сахаром). Она сидит и пишет или что-то штопает. Ночами кричит и бегает по комнате.

Март

3-го марта в 9 часов 15 минут вечера началась бомбардировка Биянкура. Около тысячи убитых, двести разрушенных домов. Кладбище заперли на четыре дня: упало несколько бомб и много могил разрушено, гробы из них вылетели, кости и черепа летали по воздуху. У Зайцевых выбиты стекла.

В эту ночь мы ночевали в Париже в квартире Зум., от которой нам оставлен ключ. Всё было слышно и видно с балкона. Огромные, розовые, огненные шары стояли над Парижем и освещали улицы. Англичане бросали световые шары, и они плыли по воздуху. Два с половиной часа продолжалась канонада и дрожала земля.

Неделю откапывали людей, засыпанных в убежищах. Из одного подвала раздавался детский голос, кричавший по-русски: Я здесь! Мама, я здесь!

Март

Советский полпред Майский наградил английского короля орденом Ленина.

Март

Канцлер Мюллер записывает слова Гете (кажется, 3-го февраля 1823 года):

„Всё, что мы в себе культивируем, всё развивается. Это — вечный закон природы. В нас существует орган злой воли, недовольства, как существует орган сомнения и сопротивления. Чем больше мы даем ему пищи и упражняем его, тем сильнее он становится и в конце концов превращается в патологическую язву, разъедающую и уничтожающую всё вокруг себя, губящую все полезные соки. Чем более к этому примешиваются такие вещи, как раскаяние, угрызения совести и прочие глупости, тем более мы становимся несправедливы по отношению к себе и по отношению к другим. Радость, которая дается собственным совершенством и совершенством окружающих — потеряна".

Замечательная мысль, но скучно сказано о „полезных соках". „Собственное совершенство" — замечательно.

Март

На улице Тольбиак есть приют для рожениц. Туда поступают беременные за шесть недель до родов. Преимущественно проститутки, или жены пленных, рожающие от немцев, или четырнадцатилетние девочки, которым деваться некуда. Они живут в тепле, ничего не делают, и сыты. Им даже выдают орехи. Девять десятых женщин отдают мла-

денцев в воспитательный дом, половина мечтает, чтобы ребенок „сдох". Вечерами беременные иногда танцуют друг с другом под граммофон.

Март

Русские много плачут. Галичане, рабочие у Дебора, тоже, — по сравнению с французами, которые никогда не плачут. Когда у Ивана умер брат (галичанин), он так убивался, что вся французская деревня пришла на него смотреть: они никогда ничего подобного не видали. Когда Биянкур был бомбардирован в воскресенье, толпы народу пошли туда гулять, из подвалов раздавались стоны откапываемых, а на улицах смеялись, целовались и ели бутерброды.

Жена художника Т. (француженка) сказала мне, что июньская катастрофа была „ни к чему" (взятие Парижа немцами).

Их поэты, кажется, никогда не пророчили „о, если б знали, дети, вы" или „исчезни в пространствах, исчезни!"

Апрель

Рассказ о матери и дочери.

Бежали в июне от немцев. Мать — барыня, аристократка, дочь ей покорна во всем. Засели в какой-то брошенной ферме, доят коров, которые подходят к ним и мычат, чтобы их доили. Находят в погребе сенегальца, раненого. Лечат его. Пригревают. Он выздоравливает и служит им. Преданный, чудный человек, полуинтеллигентный, нежный, тонкий, вроде черного князя Мышкина. Обе женщины (уже немолодые) находят вдруг смысл и даже утешение в происходящем. Они возвращаются в Париж, все трое. Но на границе „оккупированной зоны" немецкий солдат убивает негра.

Апрель

Ночью, 3-го марта, когда англичане и американцы бомбардировали Биянкур, несколько бомб упало на Биянкурское кладбище. Луна была в облаках. От взрывов разлетелись могилы. Кости, черепа, тела носились по воздуху, и носились плиты, гремя друг о друга. Еще теперь видны зияющие дыры, сломанные кресты, треснувшие памятники,

мраморные ангелы с отбитыми крыльями. Кости убраны, их убрали в первые четыре дня, когда кладбище было заперто.

Могила Ходасевича не пострадала, но теперь он оказался окружен могилами убитых во время мартовской бомбардировки — около тридцати могил окружили его, целые семьи так и идут кругами: отец и мать Робер, пятеро детей Робер, бабушка Куафар, дети и внуки Куафар и т. д. Среди всего этого его серый крест.

Июнь

21-го была в Париже. Этот день может оказаться памятником нашего времени— снижения нашей культуры, убожества и пошлости нашей жизни. Так всё сошлось, что и не выдумаешь. Побывала в трех захолустьях и под конец я поняла: что-то случилось с нами со всеми, непоправимое.

Началось с панихиды в армянской церкви по Р. После панихиды были речи. Прославлялся человек, который после себя не оставил ничего: ни поэмы, ни начатого дела, ни просто мысли, только потому что он в конце прошлого века лично знал таких-то и таких-то армянских общественных деятелей. Он знал Патканяна и Туманяна, когда ему было двадцать пять лет, а теперь ему было под семьдесят, и он всю жизнь был банкиром, и стриг купоны со своей юности.

Затем в 4 часа, в зале Русской консерватории, было чтение Шмелева. Было много народу, все почти — старше шестидесяти лет и несколько детей. Из литераторов — Тэффи, Зайцев, Карташев, Сургучев . . .

Читал Шмелев, как читали в провинции до Чехова: с выкриками и бормотаньем, по актерски. Читал захолустное, елейное, о крестных ходах и севрюжине. Публика была в восторге и хлопала. Да будет тебе земля пухом, великая держава!

Вечером мы пошли на „Дон Карлоса" в Одеон. Предприимчивый французский переводчик „спрятал" политику и „подчеркнул" любовь.

Суррогат наш насущный даждь нам днесь!

Июль

Олю взяли и увезли в 8 часов 30 минут, в четверг 16-го.

И ю л ь

Я как-то спросила Мари-Луизу, бывает ли у них, что идут под венец не будучи любовниками? Она сказала, что это бывает только в браках по расчету, когда понятно, что он не живет с невестой, потому что ее не любит, и у него есть другие, до последнего дня или даже сохраняются дольше. В браках по любви „не жить" вместе до свадьбы было бы подозрительно.

И ю л ь

Была на квартире Оли и взяла там два чемодана книг, бумаг и несколько вещей Ходасевича.

Всё было в ужасном хаосе: чулки, рукописи, лоскутки материй, клубки шерсти, книги, еда. Пойду еще, чтобы разобраться. Не могла найти многого (например — п и с е м С о л о г у б а). Среди комнаты валялись какие-то документы, между ними — ее аттестат из петербургской гимназии.

И ю л ь

Старик А. А. Плещеев 85 лет (?) почти слепой, ходит с белой палкой, рассказывает о Некрасове и Достоевском, которые его когда-то по головке гладили. Когда ему нужно перейти улицу, он обращается к прохожим: т р а в е р с е м у а. Однажды ему подали милостыню.

А в г у с т

Нашла в бумагах Ходасевича стихи „Нет, не шотландской королевой". Он не хотел их печатать при жизни. В 1935—36 годах шел в Париже фильм с Катрин Хэпбэрн. Она была на меня похожа (в „Последних новостях" меня этим дразнили). Помню, однажды Ходасевич сказал мне: „Вчера мы были на ‚Марии Стюарт' и видели твоего двойника. Очень было приятно".

А в г у с т

По настоянию Веры З. была в гостях у архимандрита Киприана. На стене висят Лев Толстой, Блок и Бердяев. Это мне не понравилось. Книги, лампада, узкое ложе.

Я сказала ему:

— Я не о грехах своих сетую. Я не чуда хочу. Догма меня не трогает. Я не хочу ни Ефрема Сирина, ни Иринея Елеонского. Я говорю о том, кто сказал „блаженны плачущие". Я — плачущая, но я не утешусь. Всё это ложь.

Он сказал:

— Церковь — хранительница полноты истины. То, что вы говорите — ересь.

Я спросила его, почему, если церковь обладает полнотой истины, а он — сын церкви, он так мрачен? Почему не радуется?

Он ответил, что он всю жизнь был отчаянным пессимистом и что это вероятно оттого, что он физически больной человек.

С больным человеком говорить мне стало неинтересно, и я ушла.

Август

Я никогда не любила Некрасова. В его патетике есть что-то комическое. Он рассчитывал не на те эффекты, которые получались. Метафоры его уже в его время были штампами. Время от времени я перечитывала его, чтобы себя проверить. И всё больше не любила его. „И пошли они солнцем палимые", — точно дело в Африке происходит, а не в Москве! Символика его примитивна: дурная погода — дурное правительство, хорошая погода — будущие реформы. Демагогия его в вечном возвращении к образу матери: а ведь это только был прием, чтобы вызвать в читателе слезу!

Август

Немецкая армия под Тихорецкой и под Сталинградом.

Август

По Парижу ходят рассказы приехавших из Крыма и с Украины:

1. Как один грузин в Крым мирро привез. И как жители думали, что его надо на хлеб мазать.

2. Про то, как под Полтавой один город три недели питался одним казеином.

3. Про мальчика, который вместо салазок катался с горы на мертвом немце.

4. О том, что детвора считает, что без сапог жить лучше: легче от милиционера убежишь.

Сентябрь

А как начиналась любовь?

Через внешнее. В лице, за минуту до того чужом, играла улыбка, шутка в перемежку с умом, и глаза говорили, и была прелесть облика: линии волос, теплоты рук, аромата — или запаха — тела и дыхания. Голос. Да, голос всегда играл большую роль, и интенсивность жизни в лице. И только позже, через силу любви, познавалось мной нутро человека. И через эту любовь, как-то чудесно и мгновенно окрепшую, я приноравливалась к этому нутру, уже считая это счастьем. А до „черт характера" и „вкусов" мне никогда не было дела.

Но это внешнее ощущение „начала" не имело никакого отношения к красоте или даже привлекательности человека. И ничего не было головного во мне — ни в первом впечатлении, ни в „приспособлении" меня к другому человеку. Да, приспособление было всегда одной из женственных радостей. И я жалею тех женщин, которые ее не знают. „Приладиться" — не только не унизительно (кто выдумал эту глупость?), но необходимое условие блаженства.

Ноябрь

Жила на свете мадам Шассен. Весила 112 кило, была косая и похожая на свинью. Звали ее Жизель (66 лет).

Откормили они с мужем свинью, зарезали и съели. А ночью мадам тихо умерла — перекушавши. И никто не удивился, потому что это была совершенно естественная смерть для нее. И только я громко смеялась, когда мне это рассказали.

Ноябрь

Читаю „Историю государства Российского".

Со времени Симеона Гордого (чем гордого, собственно?), если считать 75 лет, то в России непрерывно „свирепство-

вали различные моры". Они „опустошали целые города". От этих 75-ти лет ничего не осталось — ни памятника зодчества, ни рукописи, ни иконы, ни идеи — только постоянные сражения с монголами и Литвой, междуусобия князей. А ведь 75 лет — это значит два поколения! Были же среди этих поколений люди с душой, талантливые, предприимчивые? Или их не было?

Ноябрь

Достаточно прочесть два номера берлинской газеты „Новое слово", чтобы понять всю ничтожность, лакейство, продажность, всю подлость русской души, когда она хочет выслужиться, отличиться.

Ноябрь

Никогда не забуду радиопередачу из Нотр-Дам в воскресенье утром:

— Вы любите деньги? Но Господь наш Иисус Христос никогда не запрещал любить деньги.

— Вы любите спорт? Но Господь наш Иисус Христос сам любил спорт.

— Вы любите дансинги и флирт? Но Господь наш Иисус Христос ничего не имел против такого вида развлечений.

И т. д.

Ноябрь

Сухой, худой, в черном, приходит в фешенебельный ресторан около Елисейских полей и кладет обедающим на столики книгу — Библия. Говорит:

— Вы хотите быть умными и преуспевать в жизни? Читайте эту книгу.

Подходит к барману в баре:

— Вы хотите, чтобы торговля шла? Читайте эту книгу.

Никто не покупает. Барман говорит:

— Если насчет торговли, то обратитесь к хозяину.

Ноябрь

Я сказала мосье П.:

— В Биянкуре была бомбардировка. Много убитых. Я

видела, как женщины тащили из горящих домов обожженных детей.

Он ответил:

— А мне плевать: я живу на Монмартре!

Ноябрь

Во всем этом четыре „светлых яления": книги, бескорыстные чувства, собственные творческие мысли и природа. Первое и четвертое сводятся к стендалевскому: лектюр э агрикюльтюр. Третье замерло. Второго всё меньше.

Ноябрь

Читаю Леона Блуа.

Он есть удивительное и печальное соединение Розанова, Мережковского, Ремизова и Ходасевича. Он — самый „русский" из всех французов!

Розанов — стиль, неуёмность его церковно-религиозных чувств, его реакционность, интерес к евреям, ненависть к радикалам, нужда и несчастья, вынесенные на площадь.

Мережковский — парадоксальность и натянутость, любовь к фразе, эгоцентризм и то, что около важного ходит, не будучи сам большим писателем.

Ремизов — его жалобы, его безденежье, — и эксплоатация своих бед.

Ходасевич — несчастья, сами себя питающие, закабаленность работой, невозможность писать „для себя". Так и вспоминается Ходасевич в случае с выходом книги Блуа в день убийства президента Карно: все занялись убийством, и книга его канула в небытие, о ней забыли. Это так похоже на то, что могло бы случиться с Ходасевичем!

Ноябрь

Получила вызов в русский отдел гестапо, где-то около музея Галлиэра. Н. В. М. получил вызов в Версаль — это для отправки на работы в Германию. Еду одна. Вхожу. Подхожу к одному из чиновников, сидящих за столами в большой комнате. Быстро оглядываю всех сидящих — ни одного знакомого лица, но я сразу чувствую, кто эти люди: у меня на русских в Париже глаз намётан. Это — крайне

правые, старые, забытые люди, настоящее эмигрантское „незамеченное поколение" — хамы из бывших чиновников „двора его императорского величества", министерства внутренних дел, тайные члены союза русского народа, спасшиеся от расстрелов губернаторы, аппаратчики политотделов „дикой дивизии" и отрядов Мамонтова и других банд. Настал, значит, теперь их день, не наш день. На их улице — праздник.

— Вы — масонка?

— Нет, я не масонка.

— Тут сказано, что вы масонка.

Дает мне брошюру адвоката Печорина „Масоны в эмиграции". Там перечислены десятки фамилий. Между ними — Р. И. Берберов.

— Я — не Р. И. Берберов.

— А кто же Р. И. Берберов?

— Брат моего отца.

— Где он?

— Он умер несколько месяцев тому назад на юге Франции.

Молчание.

— Вы — не еврейка?

— Нет, я не еврейка.

— Как вы можете это доказать?

— Я не могу доказать, что я не еврейка. Докажите вы, что я еврейка.

Молчание.

— У вас депортировали *родственницу*, как еврейку.

Это — про Олю. Я молчу. Он:

— Я вас спрашиваю.

— Я не понимаю, о ком вы говорите.

Потом он приносит из какого-то шкафа толстую папку. Это — мое „дело". Он долго роется в нем. Там, как видно, дюжины две доносов.

— Почему вы не печатаетесь в наших газетах?

— Я ничего не пишу.

— Почему?

— Стара стала. Талант пропал.

В таком духе мы говорили еще минут пять, и он меня с неохотой отпускает.

У выхода я сталкиваюсь с человеком, лицо которого я знаю, но фамилии вспомнить не могу. У него подбит глаз, и этим подбитым глазом он пытается меня просверлить в одну секунду.

Ноябрь

Состояние такое, будто живем на большой дороге — укрыться некуда. В любое мгновение в дом могут войти, взять меня, выбросить мои книги. От долгого смотрения на карту Европы зарябило в глазах (или от слез?). Над крышей летят самолеты. Это летят на Лондон. Или летят из Лондона. Или летят на Гамбург. Или еще куда-то.

Ноябрь

Давно не смотрела на звезды. Было не до них. И очень холодно. Сегодня смотрела долго. Мигали и падали, мигали и падали. Потом пошла на кухню: котелок кипел на огне, это был суп. Он был в данный момент страшно важен.

Декабрь

Отец и мать дали мне *только* имя. Это не я выдумала, это они придумали. Всё же остальное, что есть во мне, я „сделала": выдумала, вырастила, выменяла, украла, подобрала, одолжила, взяла и нашла.

Декабрь

Герой нашего времени.

Я знала С. еще в России. С тринадцати лет он жил с горничными (в доме родителей). Два раза выгнали из гимназии. В восемнадцать лет пошел к Шкуро и кого-то резал. Затем — Берлин. Посадили в тюрьму за подделку чека. А потом случилось вот что: в Берлине было совершено политическое убийство, был убит турецкий министр, виновный в резне армян, Талаат-паша; жена убитого, среди тридцати двух представленных ей фотографий „студентов", опознала С. как убийцу мужа. Его посадили. Он же в этот вечер привел проститутку с угла Курфюрстендамма в квартиру, где жил с папашей и мамашей, которые в этот вечер были в опере. Таким образом, у него было алиби, и все вместе свидетельствовали: папа, мама, уличная девица (в которой

было всё его спасение), привратник дома, любовник девицы, который ждал ее на углу. С. выпустили. Он женился на девочке, которой было девятнадцать лет. В ночь свадьбы он исчез и три дня пропадал — где-то кутил с женщинами. А она сидела одна и плакала. Шесть лет он жил на ее средства и наконец, после того как он едва не изнасиловал ее сестру (пятнадцати лет), она ушла от него. Он шатался где-то, потом поступил в Иностранный легион и уехал в Африку (была война французов с Аб-дель-Кримом).

В Африке он опять кого-то резал, вернулся через пять лет. Когда я встретила его в Париже и спросила, где его медали и кресты и в каком он чине, он сказал, что не смог пройти в офицеры, не способен был выдержать экзамен. Тут подвернулось ему место: стюардом на пароходе, возившем из Германии в Аргентину евреев, уезжавших от Гитлера. Из Аргентины в Германию он возил контрабанду. Сделал много рейсов, сам был „маленьким Гитлером" (по его словам) на этом пароходе. Затем он куда-то исчез.

С. умел скрывать свое прошлое, говорил на четырех языках, когда-то провел год или два в Кембридже, в университете (из которого, кажется, тоже был выгнан). У него были светские манеры, и он был довольно хорош собой. Умел обращаться с женщинами, которые сходили по нем с ума.

И вот теперь он в немецкой форме, сражается на восточном фронте, вернее — служит переводчиком у немцев в России.

Сейчас вернулся в отпуск из-под Смоленска. Говорит, что все бежали из Смоленска, и, когда они вошли, оставался только школьный учитель с женой и дочерью. С женой видимо он жил, а самого учителя они заставили быть чем-то вроде промежуточной инстанции между немецкой комендатурой и русским населением.

Приехав в отпуск, он добился встречи со мной, вынул из кармана небольшой пакет. „Это — подарок с дорогой родины", — сказал он. Там было два предмета: от руки переписанная порнографическая поэма, безграмотная и грубая, и медная икона.

1943.

Январь

— Я вижу, вам никогда не бывает скучно, — сказала завистливо старуха Гарро (87 лет), — а я, знаете, иногда прямо плачу от скуки.

Январь

Рене увозят в Германию на работы, Жанет остается одна. Все их жалеют и говорят, что они не переживут разлуки: он не может прожить двух дней без женщины, а она — без мужчины.

Январь

Один из самых прекрасных музеев, какие я когда-либо видела — Маурициусхус в Гааге. И я вспоминаю, как я стояла там перед Вермеером, каждый день в течение недели. А потом мы поехали с Н. В. М. в Амстердам и долго гуляли вдвоем по набережным каналов и зашли в дом Рембрандта.

И у меня такое чувство, что ни Маурициусхуса, ни Рембрандта просто больше нет. Были да сплыли.

Февраль

Леон Блуа пишет своему другу, который при смерти: заклинаю вас, явитесь мне, когда умрете, подайте мне знак, на правильном ли я пути, доволен ли мною Господь Иисус Христос?

Февраль

В армянской церкви, на панихиде по П. Б. Богданьяну. Когда-то — папин друг, дядя Л. Ш. В детстве я только и слышала: „Пал Богданыч" да „Пал Богданыч". Теперь его нет больше. На панихиде вдруг вижу — лет сорока пяти, со следами былой красоты, но с сильно трясущейся головой. Это была Маруся Р. Вспомнилась их золоченая квартира, она, хорошенькая, легкомысленная, с золотистыми волосами и карими глазами. Эртелев переулок, ее подруга Оля К., игра в „глазки". И я сама — дурочка какая-то среди них, неловкая, не к лицу одетая и наивная.

А п р е л ь

Нашумевший роман Фаллады „Волк среди волков" чем-то напоминает мне мой первый роман „Последние и первые". Тот же „документальный интерес", та же теза, выпирающая отовсюду, тот же неприятный стиль, претензия на модерн, те же неживые люди, необходимые автору. Тот же „достоевский". Фаллада, конечно, искуснее, он, так сказать, создал некий памятник эпохи 1923—24 годов.

А п р е л ь

В Биянкуре после бомбардировки насчитали пятьсот убитых. Всеобщий исход. У Зайцевых опять вылетели все стекла, и теперь Б. и Вера у нас (в квартире Зум.).

И ю н ь

Эта темная тень, о. Киприан, сказал Вере Зайцевой, что православие считает добрые дела м е н ь ш е молитвы. „К Богу вы придете с молитвой, а добрые дела останутся здесь". Даже Веру покоробило слегка.

И ю н ь

Черненькая Т. рассказала:

В 1940 году они, как все, уехали из Парижа. Бежали на юг. За Пуатье от обстрела легли в канаву. Он был убит рядом с ней. Она его втащила в автомобиль и довезла, мертвого, до Тулузы. Там не помнит, что было. Очутилась в больнице. Потом с его кузеном ходила на могилу (почему-то без надписи). Потом шесть месяцев в Париже сидела в санатории. Когда вышла, ей сказали, что он перевезен в Монпелье. Встретила однажды его приятеля, тот спросил: давно не имели известий? Она сказала: перевезли в Монпелье. Он смутился и замял разговор. И вот она начинает сомневаться: может быть он жив? Может быть она в своем безумии всё смешала в памяти? Либо он изуродован и не хочет вернуться к ней, либо он просто решил ее бросить. Или он ушел в „сопротивление"? Или сидит в лагере, арестованный? Она не может больше так жить и едет искать могилу в Монпелье. Ничего не находит (надписи не было). А кузен исчез и не у кого спросить.

И ю л ь

За Маргаритой, которая приходит стирать, стоит записывать:

— Детям скоро сократят рацион молока.

— Ничего, мадам, я ведь не пью.

— Вы знаете, что мадам Дюпор очень больна?

— Неужели? Я тоже в прошлом году была очень больна.

— Хоть бы война скорее кончилась!

— Как кончится война, так я сейчас же отсюда уеду. Здесь нет никаких развлечений.

— Сколько лет вы прожили с вашим покойным мужем?

— Шестнадцать, мадам, из них восемь он болел, и мы совсем не могли развлекаться. И денег было мало.

— У вас процесс с наследниками?

— Да, мадам. Но я подала нотариусу счет его похорон. Если они с меня стребуют, я взыщу с них за похороны.

— Печально быть одной.

— Еще печальнее мужчине быть одному: он даже не может утешаться вязанием на спицах.

И ю л ь

Высадка в Сицилии. Взятие Палермо. Бомбардировка Рима. Шестьсот дивизий стоят с двух сторон под Орлом.

И ю л ь

Пасечник пришел осмотреть ульи. Мари-Луиза рассказала о нем:

Ему было тридцать лет, а отцу — шестьдесят. Наняли работницу (сто ульев). Вечером она поужинала с ними. Потом спросила: а куда мне лечь? Отец сказал: выбери, куда сама хочешь: к нему или ко мне. Она выбрала сына. И так осталась навсегда. Старик умер. Сейчас им по семьдесят лет. А до этого она жила в Париже и „делала тротуар" на бульваре Монмартр. Место у нее было на откупу, и она его выгодно продала, когда поехала в деревню.

И ю л ь

Рассказ о том, как г. Вальми-Бэсс (из Комеди Франсэз) открывал памятник в Бордо Шарлю Морису, поэту, другу Верлена. В 1903 году муниципалитет Бордо (времена

Пеллетана) был слишком правый и не захотел открывать памятника поэту. Поставили статую, но никакого торжественного открытия не устроили. В 1942 году наконец решили его „открыть". Пошли с венками и пальмовыми ветвями. Но за полчаса до этого немцы памятники увезли — комиссия по использованию предметов из бронзы его реквизировала. Смотрят: стоит пустой пьедестал. Так же торжественно вернулись они в Отель де Вилль и выпили с горя.

А в г у с т

Мадам Шоссад и ее муж (видимо — бывший человек) поселились в пустом доме стрелочника — железная дорога давно не действует. И она взяла трех еврейских девочек, кормит и поит их, и скрывает от всех. За них платит еврейский комитет: родители их давно увезены в Аушвиц.

Мадам Шоссад их иногда приводит к нам. Две двойняшки — пятнадцати лет и Режина — одиннадцати лет. Они живут без прописки и без карточек, и мадам Шоссад развела большой огород и даже купила несколько кур. Всё было бы ничего, но сам Шоссад видимо не вполне нормален. Он воспылал любовью к одной из двойняшек, сажает ее к себе на колени, и мадам Шоссад боится за нее, не спит ночами, ходит по дому и сторожит детей. Наконец пришлось забаррикадироваться, и тогда Шоссад передушил всех кур, повесил на огород замок, ничего им не дает, сам ест, и грозит, что донесет в гестапо, что его жена поселила в доме еврейских детей.

Я поехала в Париж, в комитет, где между прочим работает П. А. Берлин, и там мне обещали перевести детей в другое место.

А в г у с т

Вчера на станции Данфер-Рошро натерпелась страху. Стою у шоколадного автомата и пытаюсь ковырять щелку: может быть выпадет шоколадный „горбик" Менье. Вдруг голос: Здравствуйте, Н. Н.

Георгий М. Не сразу узнала его, и даже не помню, была ли когда знакома с ним. Пропустила два поезда. Он держал меня и не отпускал. Его монолог приблизительно сводился к следующему:

— Мы создали наш новый Союз писателей. Председателем — наш дорогой Илья Григорьевич (Сургучев, с которым я уже лет пятнадцать не кланяюсь). Я — секретарь. Записались в члены... (тут следуют фамилии). Ремизов обещал (это, я знаю, ложь). Когда же вы вступите? Непременно пришлите мне прошение о принятии вас в члены. У нас будут собрания, чтения, выступления... Знаете, Н. Н., лучше записаться пораньше: кто не запишется, того мы в Россию не пустим. Я вот и Бор. Констант. вчера это сказал. Поехал нарочно к нему, объяснил ему: кто не член, тому не дадут разрешения вернуться. А инициаторы поедут в первую голову. Хотим издавать газету в Минске. Вы за городом, кажется, живете? Хорошо, что вас встретил. Так что присылайте скорее прошение.

Я говорю:

— Я не за городом живу, а в деревне, очень далеко, и нет никаких средств сообщения. Я не смогу приезжать на чтения.

— Как хотите. Как хотите. Подумайте о будущем.

Подходит второй поезд.

— Кстати, — говорю я, — год тому назад, кажется, Н. В. М. обратился в какой-то ваш комитет, чтобы вы помогли спасти библиотеку Ходасевича. Вы тогда ничего не сделали, и все книги вывезли неизвестно куда.

Он:

— Мы были очень заняты. Панихидами. Служили панихиды, и не было решительно времени этим заняться.

Я не ослышалась. Подходит третий поезд, и я наконец вскакиваю в него.

— „И от судеб защиты нет", — говорю я себе.

Борис Зайцев дает мне знать, что лучше мне в город пока не ездить: меня ищет Левицкий, чтобы пригласить в „Парижский вестник".

Сентябрь

5-го — открытие памятника на могиле Д. С. Мережковского в Сент-Женевьев-де-Буа. Старики и старухи из Русского дома, страшно старая, хрупкая, совсем прозрачная З. Н. Гиппиус, Зайцев и еще двое-трое знакомых. Памятник поставлен на подаяние французских издателей. Говорили:

Миллиоти (по-французски), Шюзевиль (тоже и очень хорошо). З. Н. благодарила французов. Зайцев — по-русски два слова. Стало очень грустно. Я повторяла про себя строки моего стихотворения, посвященного когда-то Д. С. М.

Октябрь

П. Я. Рысс, старый журналист, почему-то водивший со мной дружбу с 1925 года, приходит и говорит, что принужден был уехать от жены из Аньера (француженка, на которой он женился после смерти Марии Абрамовны): она грозила, что донесет на него, что он не регистрировался как еврей. Он ушел в чем был и поселился в районе Сен-Жермен, в комнате на шестом этаже. Боится, что без зимнего пальто ему зиму не пережить. Н. В. М. дает ему свое старое (очень теплое, но довольно поношенное) пальто, и он уходит. Говорит, что целыми днями решает кроссворды и учит испанский язык, чтобы убить время.

Октябрь

У Зин. Ник. вчера: Лорис-Меликов, Тэффи, еще несколько человек. Сидим за чайным столом. Я взглянула на часы: без четверти восемь. Пора уходить. И вдруг — летят самолеты, сирена ревет. Мы со Злобиным бросились на кухню. Там, в окне, выходящем на юг, летели треугольниками, как гуси, американские истребители и разбрасывали бомбы — один треугольник, за ним второй, за вторым — третий. Сирена ревет, бомбы взрываются, весь город начинает дрожать, и мы дрожим. Возвращаемся в столовую и решаем спуститься в подвал. Я беру З. Н. Г. под руку, Злобин берет под руку Тэффи, за нами — Лорис. В страшном грохоте вокруг мы начинаем спускаться по лестнице (третий этаж), и вдруг я вижу, что мраморная лестница под моими ногами движется. З. Н. ничего не слышит и не видит. Мы сходим вниз и там, у входа, стоим довольно долго. Когда дают отбой, я ухожу.

Выйдя на авеню Мозар, я вижу, что всё — в дыму, и все бегут куда-то, едут пожарные, мчится скорая помощь — вниз по улице, к Биянкуру, к Булони. Первая мысль:

Зайцевы. Бегу и бегу, через весь Отэй, к порт-де-Сен-Клу, и там понимаю, что был разгромлен Биянкур и теперь горит. Всё оцеплено, и туда не пускают.

Октябрь

Премьера в русском драматическом театре „Замужняя невеста" Грибоедова в постановке Ю. П. Анненкова. Тэффи, Гиппиус, Рощина-Инсарова, Церетели и другие.

Октябрь

В приемной управляющего домом (квартира Зум.) под стеклом в рамке висит сонет. Перевожу дословно:

„Кушать сладко, пить умеренно, иметь небольшой дом, окруженный фруктовыми деревьями, иметь много досуга, мало детей, спокойную привязанность; не иметь судебных процессов с родственниками, не вести никаких политических споров, не мучиться никакими сомнениями и не знать никаких любовных драм, которые всегда причиняют беспокойство, не подпускать к себе слишком близко ни благожелателей, ни просто соседей, и дожить так до смерти — вот удел, лучше которого нет на свете".

Ноябрь

Русская армия стоит под Херсоном, под Киевом, под Кривым Рогом, под Гомелем, под Керчью.

Ноябрь

Рассказ Марии Ефимовны, которая скрывается во французской деревне: она с первого дня выдавала себя за армянку. Ее полюбили, приглашали. Наконец, стали наперебой просить крестить новорожденных детей. И она крестила.

Декабрь

С. приехал во второй раз в отпуск из-под Смоленска. Он выглядит скверно: постарел, похудел, нервен, весь дергается. Сказал, что никого в Смоленске не нашел: учителя и его жену немцы повесили, куда девалась девочка — неизвестно.

Потом сказал, что „ни одного интеллигентного человека не видел за тысячу километров" и что на Украине немцы открывают театры и церкви. В Одессе открыт „румынский университет". Для кого?

Я сказала ему про Олю. Он ответил:

— Они никогда не вернутся.

Я ему не верю.

1944.

Февраль

В половине двенадцатого ночи (я уже хотела ложиться спать) — осторожный стук в дверь. Открываю: А. Гингер (поэт, муж Присмановой). Впускаю.

Он рассказывает, что живет у себя, выходит раз в неделю для моциона и главным образом когда стемнеет. В доме — в этом он уверен — никто его не выдаст. Присманова сходит за „арийку", как и их сыновья. Он сидит дома и ждет, когда всё кончится. Мне делается ужасно беспокойно за него, но сам он очень спокоен и повторяет, что ничего не боится.

— Меня святая Тереза охраняет.

Я страшно рассердилась:

— Ни святая Тереза, ни святая Матрена еще никого ни от чего не охранили. Может быть облава на улице, и тогда вы пропали.

Но он совершенно уверен, что уцелеет. Мы обнимаем друг друга на прощание.

Март

Очередное воскресенье у З. Н. Г. Она, по старой привычке, „принимает" от 5-ти до 8-ми. Злобин готовит чай. Постоянные посетители: Лорис-Меликов (из Русского дома в Сент-Женевьев-де-Буа), Тэффи, какие-то дамы, иногда Мамченко, реже — я. Лорису, племяннику министра Александра II, лет восемьдесят. Он говорит на восьми языках, служил до 1917 года в министерстве иностранных дел, знает наизусть „Фауста" и добрую половину „Божественной комедии".

Пришел Н. Давиденков, власовец*), друг Л. Н. Г., с ним учился в Ленинграде, в университете. Долго рассказывал про Ахматову и читал ее, никому из нас неизвестные, стихи:

Муж в могиле, сын в тюрьме.
Помолитесь обо мне.

Я не могла сдержать слез и вышла в другую комнату. В столовой наступило молчание. Давиденков видимо ждал, когда я вернусь. Когда я села на свое место, он прочел про иву:

Я лопухи любила и крапиву,
Но больше всех — серебряную иву,
И странно — я ее пережила!

Это был голос Анны Андреевны, который донесся через двадцать лет — и каких лет! Мне захотелось записать эти стихи, но было неловко это сделать, почему-то мешало присутствие З. Н. и Тэффи. Я не решилась. Он прочитал также „Годовщину последнюю праздную" и, наконец:

Один идет прямым путем,
Другой идет по кругу...
. . . .
А я иду — за мной беда, —
Не прямо и не косо,
Я в никуда и в никогда,
Как поезда с откоса.

Тут я опять встала и ушла в гостиную, но не для того, чтобы плакать, а чтобы на блокноте Гиппиус записать все восемь строк — они были у меня в памяти, я не расплескала их, пока добралась до карандаша. Когда я опять вернулась, Давиденков сказал: Не знал, простите, что это вас так взволнует. Больше он не читал.

Апрель

Мы оказались в маленькой гостинице, около улицы Конвансьон, в ночь сильной бомбардировки северных кварталов

---

*) Позже был повешен в Москве, вместе с ген. Власовым и Красновым.

Парижа (Шапелль). Мы спустились к выходу. Всё кругом было сиреневое, и казалось, что бомбы падают прямо за углом, и всё горит. Небо было оранжево-красное, потом лиловое, и грохот был неописуемый, оглушающий и непрерывный. Это был самый сильный обстрел, который мне пришлось испытать. Я стояла и смотрела на улицу через входную стеклянную дверь, а рядом стояла М., и я вдруг увидела, как у нее поднялись волосы на голове. Может быть мне это только показалось? Но я ясно видела, как над самым лбом вертикально встали ее волосы. Я закрыла ей лицо рукой, и они постепенно опустились.

Апрель

Рассказ Ш. Э. о поездке в Руан — она была „реквизирована" немцами, чтобы там петь в военном госпитале в концерте. О вечере и ужине с немцами, от которых она бежала без шубы в три часа ночи. В отеле не открыли, и проходящий капитан подобрал ее и повел к себе. Комната в портретах Гитлера, ружья, пахнет сапогами. Он, громко хохоча (рыжий и толстый), сварил кофе. Огромная собака, которой Шарлотта боялась еще больше, чем его самого. Потом, не дотронувшись до нее, капитан уложил ее в постель, а сам лег рядом, на коврике, на полу, с собакой.

Июнь

Пошли купаться в маленькую речку, бегущую в трех километрах от Лонгшена, под плакучими ивами. Вода — до колен, но было так жарко, что и это освежило. Вода прозрачная, дно каменистое. Н. В. М. и Мари-Луиза старались плавать, а мы с М. помирали со смеху, глядя на них. Вышли, обсушились, оделись, и пошли домой. И вдруг — жужжанье самолетов над головой: два истребителя (видимо — американцы) заметили нас, пикировали и начали жарить пулеметами по ивняку. Н. В. М., Мари-Луиза и М. легли на землю, в кусты, а я, как была, одетая, плюхнулась в воду. Через несколько минут они улетели. Мы еще полежали немного (я — в воде) и пошли домой, грустные, перепуганные и грязные.

И ю н ь

Бомбардировки ночью, от которых дрожит дом. А соловей заливается. И чем сильнее бомбардировки, тем звонче и страстнее соловей.

И ю н ь

На 3 июня в ночь страшно дрожал дом и грохотало в трубе, бились ставни, всё ходуном ходило. И я дрожала, как всё кругом. А соловью было ни по чем.

И ю н ь

6-ое. Сегодня они высадились в Нормандии.

И ю л ь

Я встретила сестру С. Она сказала, что получила официальное извещение из штаба его армии: „Убит в бою под Черновицами, геройски защищая своего командира". Мы молча постояли с ней, посмотрели друг на друга и разошлись.

А в г у с т

Г-н, тот, который срубил мирабель, объявил в деревне, что теперь, когда немцы ушли и идут союзники, во Франции будет коммунизм. Он будет мэром и нас повесит, как „белых" русских. Немцы ушли в воскресенье 20 августа. 21-го Г-н, пьяный, пришел за нами с веревкой, и объявил, что повесит всех „богатых" на „дереве свободы", которое стоит посреди деревни. Арестованы были, кроме нас, фермеры, среди них — Дебор. Я лежала, связанная толстой веревкой в каком-то сарае Г-на, около часу, а Н. В. М. не дался ему. Меня беспокоило, что Мари-Луиза, М. и Рамона могут увидеть, как я буду висеть. И это произведет на них некоторое впечатление.

Мари-Луиза, однако, дала знать в полицию (хотя телефоны не действовали), и нас всех освободили. Жандармы арестовали Г. и повезли его в Рамбуйе, в тюрьму. У него были заготовлены револьверы (три), и он то один, то другой, то третий приставлял к моему левому уху, тому самому, по которому однажды меня ударили кулаком.

В сарае я лежала и готовилась к смерти — нелепой, но отчасти естественной, то есть такой, какую можно было предвидеть, если бы мы все не забыли про мирабель. Но нельзя же всё помнить! Это тот кулак отшиб у меня память. Странно, думала я, не слух, а память. Но, конечно, не навеки. Этого не может быть. И если я останусь жива, то уж теперь никогда не забуду про мирабель. Скорее забуду про этот сарай...

Потом жена Г-на бросилась ко мне с поцелуями. Она ужасно боится, что мы подадим на него в суд. Дебор настаивает, чтобы Н. В. М. с ним вместе начал дело. Жандармы велели нам на всякий случай дома не ночевать и сказали фермерам, чтобы они были осторожны.

Мы отправились вчетвером в Рошфор (восемь километров). Ехали на велосипедах, по лесу, и во тьме что-то шуршало и двигалось за деревьями. В Рошфоре мы сняли две комнаты в гостинице.

22-го вошли американцы,

23-го — первые французские войска,

25-го был взят Париж,

27-го мы вернулись в Лонгшен.

Дом пограбили в наше отсутствие. Но, в общем, взять было нечего.

24-го августа, утром, мы сидели и завтракали у окна, в гостинице, в Рошфоре. По главной улице, улюлюкая, бежала толпа и гнала перед собой девочку, полуголую, босую, только что обритую, с нарисованным на голом теле хакенкрейцом. Она была небольшого роста, толстенькая, груди ее тряслись, лицо было опухшее (ее вероятно били, когда брили). Человек шестьдесят бежало за ней. В окнах стояли люди. (Это за то, что она жила с немцем.)

Мари-Луиза хотела выбежать и „остановить толпу" — у нее видимо ум за разум зашел в эту минуту! Она сильная, рослая, и думает, что всё может. Мы едва удержали ее. За ней есть „грешки", как мне однажды сказали: она поила водой раненого немецкого летчика, и этого ей не забыли.

Октябрь

Собрание поэтов в кафе „Грийон", в подвале. Когда-то собирались здесь. Пять лет не собирались. Все постарели,

и я в том числе. Мамченко далеко не мальчик, Ставров — почти седой. Пиотровский. Появление Раевского и Гингера, — который уцелел.

Почтили вставанием Юру Мандельштама, Воинова, Кнорринг и Дикого. Домой через Тюльери. Когда-то в Тюльери, пятнадцать лет тому назад, мы гуляли: Юра Мандельштам, Смоленский, Кнут, Ходасевич и я. Все были немножко влюблены в меня, и я была немножко влюблена во всех.

Октябрь

М-м Лефор сказала мне, захлебываясь от радости, что в августе она дожила до светлого дня: ей удалось плюнуть в лицо пленному немецкому генералу, когда его вели по бульвару Батиньоль.

Ноябрь

Балаган на ярмарке (площадь Насьон). Бедность, грязь, отрепья и блестки. Надпись: только для взрослых. Зашли. В небольшом зале нет сидячих мест, толпа стоит, пол сильно покатый, так что стоящим сзади видно хорошо. На крошечной сцене танцевали три девицы, в рыжих париках, полуодетые, в какой-то лоснящейся от грязи рвани. Скрипач и пианист с надсадом терзали залихватский фокстротт. Что-то показалось мне странным в движениях и в выражении лиц танцующих. Постепенно девицы стали снимать с себя сначала пелеринки, потом прозрачные верхи платьев, и наконец — лифчики. Это были мужчины. Оказывается, недавно был издан закон, запрещающий показывать в мюзик-холлях оголенных женщин. Мы вышли с чувством разочарования и отвращения.

1945.

Январь

27-го были мои именины. С трудом достала полфунта чайной колбасы. В столовой накрыла на стол, нарезала двенадцать кусков серого хлеба и положила на них двенадцать ломтиков колбасы. Гости пришли в 8 часов и сначала посидели, как полагается, в моей комнате. Чайник вскипел, я заварила чай, подала сахар, молоко и бутылку

красного вина и решила, что именинный стол выглядит вполне прилично. Пока я разливала чай, гости перешли в столовую. Бунин вошел первым, оглядел бутерброды и, даже не слишком торопясь, съел один за другим все двенадцать кусков колбасы. Так что когда остальные подошли к столу и сели (в том числе С. К. Маковский, Смоленский, Ася и др.) им достался только хлеб. Эти куски хлеба, разложенные на двух тарелках, выглядели несколько странно и стыдно.

Ноябрь

Однажды мы с Н. В. М. ехали из Парижа в Цюрих (лет девять тому назад). И поезд раздавил человека. Когда я выглянула в окно я увидела окровавленный труп, лежащий у самой насыпи. Отдельно лежала окровавленная нога.

Декабрь

„Наш мозг — не самое мудрое, что у нас есть. В значительные минуты жизни, когда человек решается на важный шаг, его действия направляются не столько ясным сознанием, что нужно делать, сколько внутренним импульсом, который исходит из глубочайших основ его естества. Быть может, этот внутренний импульс, или инстинкт, есть бессознательное следствие какого-то пророческого сна, который забыт нами при пробуждении, но который дает нашей жизни стройность и гармонию, и драматическое единство, которое не может быть результатом колеблющегося сознания, когда так легко впасть в ошибку или дать прозвучать фальшивой ноте. Именно благодаря таким пророческим снам человек чувствует себя способным на великие дела и с юности идет в нужном направлении, движимый тайным внутренним чувством, что это и есть его истинная дорога, — словно та пчела, которая по такому же инстинкту строит свои соты. Это тот импульс, который Бальтазар Грасиан*) называет la gran sindéresis — великая сила нравственной проницательности: человек инстинктивно чувствует, что здесь — всё его спасение, без этого он пропал... Каждый человек

*) 1601—1658.

имеет ‚конкретные внутренние принципы' — они в его крови, они текут в его жилах, как результат всех его мыслей, чувств и хотений. Обычно он и не подозревает об их отвлеченном существовании. Только когда он смотрит в свое прошедшее и видит, как формировалась его жизнь, он понимает, что всегда им следовал, как будто они подавали ему знаки, за которыми он бессознательно шел".

(Шопенгауэр. Афоризмы)

1946.

М а р т

Во сне: муж, жена и любовник. Я — в гостях. Муж умирает. Остаются жена и любовник. Но я вхожу в столовую и вижу: они опять втроем. Я удивляюсь: да ведь его же похоронили сегодня утром! Оказывается всё о ч е н ь п р о с т о: они „назад" живут, то есть не в будущее, а в прошлое, как бы обратно из настоящего, в уже пережитое (из субботы в пятницу, из пятницы в четверг). И это считается вполне естественным.

А в г у с т

Два месяца в Каннэ у Злобина. Он снял дачу и пригласил меня. Мы делили расходы.

Из Швеции приехала Грета Герелль. Сказала, что моего „Чайковского" там переиздали, и он имеет большой успех. Заставила написать издателю.

Если будет ответ — поеду в Швецию.

Н о я б р ь. С т о к г о л ь м.

Когда, в 1930-х годах, была опубликована переписка Чайковского с фон Мекк, я решила написать о нем книгу. Я была тогда у Рахманинова, у Глазунова, у Конюса, у Климентовой-Муромцевой, у потомков фон-Мекк и еще у многих других, лично знавших Чайковского. Наконец, добралась до Прасковьи Владимировны, вдовы Анатолия Ильича (бывшая московская красавица). Она мне сказала, что не обо всем, о чем она будет рассказывать, можно писать. Например, у нее есть дневник Чайковского (она показала на запертый сундук). Какой дневник? — едва не

вскрикнула я, пораженная. Оказывается — один из экземпляров, изданного в 1923 году „Дневника". Думала ли она, что он издан в одном экземпляре? Или она считала, что он до Парижа дошел в одном экземпляре? Этого выяснить мне не удалось. Когда я сказала, что он есть в библиотеках, она очень удивилась и, кажется, мне не поверила.

Декабрь. Стокгольм.

Анатолий Ильич Ч. был сенатором и губернатором. Прасковья Владимировна, когда я бывала у нее, жила в Русском доме, под Парижем. В ее маленькой комнате было много старых семейных портретов. Антон Рубинштейн когда-то был влюблен в нее.

Я рассказала ей, как однажды Ал. Ник. Бенуа спросил меня, была ли я на премьере „Пиковой дамы", и страшно смутился, когда сообразил, что „сморозил", и стал извиняться.

Она была живая, накрашенная старушка, с кудельками. У нее был внук (Веневитинов) и две внучки (Унгерн).

Декабрь. Стокгольм.

В Стокгольме — знакомство с актрисой Гарриэт Боссэ, третьей женой Августа Стриндберга. „Исповедь глупца" (которую она говорит, что не читала, так как дала ему слово ее не читать) — вопль Стриндберга о себе самом. Вся книга, как исповедь, принадлежит уже двадцатому веку. Кажется, кроме Руссо, никто до Стриндберга так откровенно о себе не писал. Мужчина — социально, материально и сексуально побеждаемый женщиной. А ведь это было как раз время „Крейцеровой сонаты"! (1893 год).

Декабрь. Стокгольм.

Всё купила, запаковала и отнесла на почту. Посылка придет в Париж до моего приезда. Я не положила в нее ничего съестного, только теплые вещи: два свитера неописуемой красоты; шесть пар теплых носков; шерстяные перчатки — и порошок чтобы их стирать; сапожки — и крем, чтобы их чистить. Пальто легче пуха и шапку, какую носят эскимосы. Это — чтобы все прохожие оглядывались. Это доставляет особое удовольствие сейчас. Кто-то потеряет

голову от радости и (без головы, но в шапке) придет меня встречать на вокзал.

Декабрь. Стокгольм.

В двадцатом веке люди раскрыли себя, как никогда до того не раскрывали. Всё — о себе, все книги. Обнажение того, что раньше было тайной. Одним из первых сделал это Стриндберг (если не считать Руссо) в 1893 году. Он рассказал в „Исповеди глупца", как первая его жена (это была Сири фон Эссен, она родилась в Финляндии и говорила по-русски) ушла от него и почему ушла. Вся его глубоко личная драма отражена в этой книге. Потом он женился на второй жене и взял с нее слово, что она никогда не прочтет его „Исповедь". Она не сдержала слово, прочла книгу и, забрав с собой двух детей, уехала от него. Когда он женился на Гарриэт Боссэ, то опять заставил и ее поклясться, что она этой книги не прочтет. Всё это рассказала мне Гарриэт Боссэ и сказала, что она сдержала данное слово. Но через шесть лет жизни с Стриндбергом она, хоть и не прочитав его „Исповеди", тоже ушла от него (забрав детей). Она была актрисой и играла в его пьесах главные роли, будучи совсем молоденькой. Она показала мне фотографии. Как она была прелестна в „Дамаске" и в „Пасхе"! Она подарила мне одну фотографию, где ей лет сорок пять, а те не дала. Сейчас ей около семидесяти.

„Исповедь глупца" предваряет все автобиографии нашего времени и в том числе — книгу Андре Жида. Он не был первым, как тогда говорили, который писал о вещах до тех пор запретных. Стриндберг первый говорил языком правды о себе и открыл себя напоказ миру. Может быть потому-то и поставлен ему памятник в Стокгольме без одежды: около Ратуши стоит голый Стриндберг.

Мы продолжаем в известной мере идти по этому пути (Стриндберга-Жида) и говорим о себе то, о чем молчали наши отцы и деды. Мы лучше знаем себя (и их), и потом — что же нам скрывать себя? „Загадок", в сущности, осталось очень немного. Отгадки на них даны. Они, если сказать правду, превратили загадки в уравнения: если даны А, Б, Г, Ж и т. д., то о В, Д и Е, а также о М и Щ каждый может сам узнать, если научился думать. Еще лет 20—30 тому

назад раскрытие себя было бравадой, знаменем, с которым шли на борьбу с лицемерием. Сейчас оно естественно, им пользуется всякий. И всякое уравнение получает разрешение, и не за чем выходить на улицу с барабанным боем. Тайны — другое дело. Они — часть моего внутреннего устройства, и у них есть с о к и.

Первая черта современных автобиографий — раскрытие себя. Вторая — очень часто — писать обратное тому, что было, в борьбе с самим собой, если еще продолжается борьба. И третья — умышленное усложнение авторами писаний о себе. Вильям Блейк сказал: то, что может быть понято дураком, меня не интересует.

Все это надо принять во внимание, если я когда-нибудь буду писать книгу о самой себе. Знаю твердо: не обладая старым чувством „женской стыдливости", я однако не в силах буду открыть о себе в с ё. Если бы я жила и писала пятьдесят лет тому назад, то в этом был бы смысл. Сейчас смысла в этом я не вижу: бацилла открыта, что же ее заново открывать? Великие наши освободители (и в первую очередь — Д. Х. Лауренс) потрудились на этом поприще. А кроме того, я всегда считала и считаю скромность (не стыдливость!) некоторой добродетелью, наряду со смелостью и правдивостью. И еще я знаю, что к тому времени, когда я решу писать о себе, всякая борьба с самой собой должна быть окончена, и таким образом мне не надо будет ни лгать, ни притворяться лучше или хуже, чем я есть на самом деле. Что касается усложненной (умышленно) техники письма, то пускай меня понимают и дураки. Я может быть не очень к ней способна.

Мне придется — если я буду когда-нибудь писать о себе — сказать, что я никогда не страдала от того, что родилась женщиной. Я как-то компенсировала этот „недостаток", который недостатком никогда не ощущала ни когда зарабатывала хлеб насущный, ни когда строила (или разрушала) свою жизнь с мужчиной, ни когда сходилась в дружбе с женщинами и мужчинами. Ни когда писала. Я даже не всегда помнила, что я — женщина, а вместе с тем женственность была моим украшением, это я знаю. Может быть одним из немногих моих украшений. Вместе с тем, у меня было очень многое, что есть у мужчин — но я не культи-

вировала этого, может быть подсознательно боясь утери женственности. Была выносливость физическая и эмоциональная, была профессия, денежная независимость, был успех, инициатива и свобода в любви и дружбе, умение выбирать. Но было также и подчинение мужчине — с радостью. Особенно же когда я видела помощь мне со стороны мужчины, что бывало нередко. Я любила это подчинение, оно давало мне счастье. И было: ожидание совета от мужчины, и благодарность за помощь, поддержку и совет.

И я скажу тоже о том, что любила и люблю человеческое тело, гладкость и крепость плеч и колен, запах человека, кожу человека, его дыхание и все шумы внутри него.

1947.

Январь

Когда я была в Швеции в ноябре—декабре прошлого года, фру Асплунд пригласила меня приехать к ней летом гостить на остров в шхеры, в шести часах от Стокгольма, где нет ни дорог, ни электричества, ни телефонов, и где у нее дом, в котором она и Грета Герелль проводят лето. Фру Асплунд 62 года, она высокая, прямая, ни на каком языке, кроме шведского, не говорит (мы с ней объясняемся либо через Грету, либо на плохом немецком). Она когда-то преподавала шведскую гимнастику, была чемпионом парусного спорта, фехтует. Довольно замечательная женщина. Я решила, что поеду в июне на месяц. Но как могу я ее отблагодарить? У нее всё есть, решительно всё, а денег у меня мало. Духов она не любит, так что Герлэн ей ни к чему. И вот я решила — вместо подарка — научиться шведскому языку. По крайней мере это-то уж наверное доставит ей удовольствие и облегчит нам общение друг с другом.

Вспомнила, что Лорис-Меликов был царским консулом в Норвегии. Написала ему. Теперь он приезжает два раза в неделю, мы пьем чай и закусываем (он страшно похудел за эти два-три года), и я ему всучаю бутерброд, когда он уходит. Он — осколок прошлого (таким был Б. Э. Нольде, тоже царский дипломат и тоже с большим очарованием ума и обхождения). На Лорисе костюм, которому по крайней мере двадцать лет. Я спросила Н. В. М., нет ли у него ста-

рых вещей (они более или менее одного роста). Он принес мне пиджачную пару, совсем хорошую, только молью траченую. Лорис очень обрадовался и смутился, и пока я увязывала пакет, что-то читал мне на память из Шиллера о благодарности.

Теперь твержу шведские вокабулы.

Январь

1946 год у меня был счастливым годом: я опять начала работать. Потом были две поездки: одна на юг, к Злобину, другая в Швецию. И я написала книгу о Блоке.

Февраль

Бертран Рессел говорит:

1. Христианская религия умерла, и о ней сейчас пишут, как о религии инков. Лауренс хотел возродить религию инков, потому что умерло христианство.

2. XIX век был построен на ложных предпосылках.

3. Люди променяли стоиков (Марка Аврелия) на апостола Павла. Променяли волю и мысль на сознание греха и надежду на его прощение.

Февраль

Освобождение? От чего именно?

От интеллектуальной анархии.

От оценок, подверженных капризам настроения.

От дуализма (все синтезировано).

От чувства вины (сполна уплачено).

От беспричинной тревоги.

От страха чужого мнения.

От всяческой нервности и телесных беспорядков.

От педантизма молодости.

От бесформенного переполнения души противоречивыми эмоциями.

От страха смерти.

От соблазнов эскапизма.

От притворства, которое — очень редко — было почему-то нужно, но сейчас окончательно выброшено вон за ненадобностью.

И когда настал этот „покой", и когда „вопросы пришли к ответам", пришла мысль о том, что я еще способна бунтовать; пришло предчувствие, что так это не кончится (под парижской крышей). И предвкушение каких-то туманных событий. „Энергия — мое вечное упоение".

Июнь. Хеммарё.

Небольшое недоразумение:

Когда я приехала к фру Асплунд на Хеммарё, то оказалось, что Лорис научил меня не шведскому языку, а норвежскому. Так что говорить я с ней не могу. Но могу читать Ибсена.

Июль. Хеммарё.

Фру Асплунд и Грета по утрам, до кофе, едва встав с постели, идут в купальню и там плавают. Днем, на моторной лодке, они летают за почтой и провизией на соседний остров. Вечером, на паруснике, фру Асплунд выходит в море и часа два носится по шхерам, одна. Иногда Грета берет лодку и весла и переезжает на какой-нибудь необитаемый островок и там пишет облака. Вся жизнь здесь — на воде. А места называются Руслаген, и отсюда — как говорят — произошел Рюрик и может быть даже слово Русь.

Я не купаюсь и не катаюсь на лодках. Я боюсь воды. И с годами эта боязнь во мне всё сильней. Стараюсь вблизи даже не смотреть на воду: тоскливо и страшно.

В последние годы я всё явственнее чувствовала, что от водобоязни мне следует отделаться, что это в сущности ведь даже не мой страх, а чужой, мне навязанный, что в старости я буду бессильна против маний, которые приведут за собой различные другие фобии. Что эта страшная слабость лишает меня не только огромного числа удовольствий, но, что важнее, той внутренней гармонии, которая есть в основе цель всякой жизни. Развязаться с „пунктиками" необходимо до пятидесяти лет, так как потом эти чудовища — страхи, сомнения, миражи, предрассудки — делаются навязчивыми идеями, слабостями, от которых нет спасения, от которых личность начинает осыпаться, как штукатурка старой стены, а потом и сама стена начинает

рушиться, и это есть уродливое, противное и стыдное зрелище. Фру Асплунд сказала мне однажды утром:

— Смотрю я на тебя и не понимаю: du bist ja so harmonisch! Если ты не перестанешь бояться воды, которая есть элемент, стихия, которая есть и в тебе, то вся твоя „гармония" нарушится, потому что она неустойчива; водобоязнь с годами, как всякая фобия, перерастет самоё себя, и ты волей-неволей откормишь в себе дракона, который пожрет тебя и всё твое равновесие. Не понимаю, как ты, которая не боишься жизни, боишься воды. Ты сама — только вода и соль. Чего же ты боишься? Перестанешь бояться воды и всё в тебе станет на место. Это надо успеть сделать.

— Вода и соль? — сказала я. — Кажется, это сейчас устарело?

— Не слыхала об этом. Если ты в себе отрицаешь воду, то ты превращаешься постепенно в соляной столп.

Стояли белые ночи, и я вечерами стала брать лодку и на веслах уплывать к дальним островам. Огромный бледный месяц плыл над лесом, а солнце долгими часами неподвижно стояло над горизонтом. Было смутно в душе, страшно, немножко смешно, потому что я знала, что с балкона дачи они обе смотрят на то, как я неумело гребу и едва попадаю в ворота лодочного сарая, хотя в него свободно могли бы вплыть четыре лодки. Они следят за мной, посмеиваются надо мной, но никогда не дают советов и вообще делают вид, что не замечают, чем я занимаюсь ночами. Я ухожу далеко, стараюсь мерно работать веслами, пахнет дивной северной хвоей, блестит вода и шевелится вокруг меня, изредка всплескивает рыба. В этом молчании бесконечного вечера, переходящего в конце концов в утро, я совершенно одна с водой в этих шхерах, я знаю, что меня уже не видно с балкона, я одна с водой, как никогда в жизни, я укрощаю свой многолетний ужас, я опускаю руку в волну . . . и волна отвечает мне, точно пантера трется у ног укротителя. И шелест воды, и прозрачность воздуха, и запах береговой земли, всё сливается для меня в одно неразделимое ощущение жизни, и освобождения, и силы, моей собственной силы, моего душевного и телесного здоровья. И уже в точности не зная, где запад и где восток, я плыву дальше, всё дальше, в сторону солнца, которое висит в небе, не то

садится, не то встает, и льет свой нежный огонь на меня и мою лодку, и на весь этот божественный покой севера.

Этот остров, до которого я дохожу, необитаем уже пятьсот лет — здесь когда-то была чума, и все умерли, и никто с тех пор не хочет здесь жить. Сосны стоят густо и пахнет смолой, и птицы щебечут там, внутри, день и ночь, такие неуёмные птицы, которые ничего не боятся.

Теперь я бегу первая в купальню, по утрам. Холодная вода постепенно тоже становится ручной. Фру Асплунд и Грета делают вид, что не замечают и этого. Главное: не спугнуть меня. И вот через два месяца всё проходит: моя тяжелая многолетняя слабость, отцовское наследие — водобоязнь, и я чувствую, как внутри меня устанавливается то, что уже не может быть нарушено: цельное в своем объеме ощущение, что вся, какая еще была во мне эмоциональная анархия, весь мой неизжитый интеллектуальный беспорядок, весь трепет „дрожащей твари" — позади.

Днем теперь я лечу на почту, по синей-синей воде, мимо чумного острова, мимо дворца какого-то адмирала в отставке, о котором известно, что он завещал этот свой дворец морякам под сумасшедший дом. Лечу в деревушку, где есть телефон и аптека, и даже школа, куда зимой прибегают дети на лыжах с соседних островов. Забираю газеты и письма, пестрые шведские журналы, и опять лечу обратно, по ветру и воде, в жужжаньи мотора. В лодочном сарае фру Асплунд ждет меня, мы пьем кофе в саду и потом она берет меня с собой на парусник — словно ничего не случилось, словно с первого дня это было так. Она молчит, сидя на носу и держа в руке канаты, она когда-то была чемпионом парусного спорта, шведской гимнастики и фехтования. Но она не любит разговаривать, когда она на воде. У нее свои привычки.

Очень скоро я с удивлением начинаю замечать, что от меня отходят другие, более мелкие, фобии, и одна из них, между прочим — отвращение к запаху жидкого асфальта, который с детства был для меня невыносим. Теперь, когда чинят городскую мостовую, я даже не замечаю этого. Вообще вдруг ничего не оказывается на свете такого, чего бы я не могла вынести: нет запахов, от которых меня бы

тошнило, нет еды, которой я бы не могла принять в себя, нет зрелища, от которого бы я отвернулась. Я могу взять в руки любую каракатицу и рассмотреть любую гадость.

Август

Вернулась из Швеции и поехала на месяц в Лонгшен, захватив с собой Бориса и Веру Зайцевых. С утра Вера начинает рассказывать Борису и мне всякие смешные и грустные или просто любопытные истории. Хохот стоит в доме. Они любят Лонгшен: мы сидим втроем, уютно и тихо. Гуляем. Готовим обед. Иногда Борис уходит гулять один. Вера тогда говорит: Батюшка думает. Наверное скоро начнет сочинять.

Август

Рамона стала толстозадой, коротконогой и сделала себе „перманент". Ей исполнилось пятнадцать лет. Учится очень плохо и бегает с мальчишками.

Август

Пчелы не нападают, когда их обкуривают (обкур для них, как для нас землетрясение). Они пережидают. Они замирают. Они складывают крылышки, подбирают лапки и не двигаются: знают, что „это пройдет". И это проходит.

Август

Гоголь — это Вторник в романе Честертона „Человек, который был Четвергом".

Маяковский — это Киплинг.

Пушкин — это Кольридж, Поп и Байрон в одном лице.

Что было бы, если бы во Франции вся ее историко-литературная критическая мысль вертелась вокруг ФЛОБЗАКА, как у нас вокруг Толстоевского?

Красота, которая „вовек не смеется и не плачет" (Брюсов).

Ницше о радости.

Август

История двух скорпиончиков:

1. Драка соперников.

2. Любовь.
3. Смерть самца (таков закон, после любви).
4. Она рожает двенадцать детенышей.
5. И, как высохший лист, уносится ветром, рассыпаясь пылью.
6. Драка соперников . . . и т. д.

С е н т я б р ь

Человек, с которым я продолжаю жить (кончаю жить):
не веселый,
не добрый,
не милый.

У него ничего не спорится в руках. Он всё забыл, что знал. Он никого не любит, и его постепенно перестают любить.

1948.

А п р е л ь

Всё прошлое со мной, существует одновременно с настоящим. Как одновременно существует амеба и человек.

А п р е л ь

Генри Джеймс и его современники сокрушались иногда о положении рабочего класса, о положении крестьян и даже сетовали на дурное устройство жизни. Но им в голову не приходило, что четырнадцатичасовой рабочий день может стать семичасовым и что образование может стать всеобщим, бесплатным и обязательным. П. И. Чайковский увидев демонстрацию рабочих в Нью-Йорке не понял: что это такое? чего требуют эти люди и у кого?

И ю л ь

Лонгшен продан. Его купила актриса Комеди Франсэз, Мони Дальмес. (Видела ее, когда она играла драму Монтерлана.)

Она хочет „заделать вот эту дверь" и „прорубить туда окно". Рубите, что хотите, и заделывайте себе на здоровье всё, что хотите.

Июль

Снова в Швеции. (В третий раз.)

Господин Лондстром и его правая нога.

После автомобильной катастрофы ему отрезали ногу. Он похоронил ее в фамильном склепе и раз в год ходит к ней на могилу с цветами.

Июль. Стокгольм.

Швеция входит в душу каким-то соблазном. Вчера Э. К. спросил меня:

— Хотите здесь остаться?

— Разве это возможно?

— Трудно, но возможно.

И я вдруг почувствовала, что надо на что-то решиться. Но может быть всё-таки не на Швецию.

Надо с чем-то слиться, но с Швецией я слиться не могу. Надо ли? Да, надо. Не поздно ли? Нет, не поздно.

А на Скансен был праздник. Солнце село, но темней не стало. Огни зажглись. Вода чистая, небо чистое. Пароходик шел куда-то. Ссыпки иллюминированы. Какой-то воин простирает бронзовую руку. Бакалавры в белом. Оркестры. Пляшут люди в костюмах.

Белые медведи и тюлени.

Далекий вид.

Еда. Подают девицы в веселых платьях. Свежо.

Внизу: Тиволи, Альгамбра, всё полно. Карусели, тиры.

А ночи всё нет.

Облетает черемуха.

Цветет сирень, которая здесь тоже называется сирень.

Июль

„На панихиде по Николаю II обращал на себя внимание роскошный венок с лентами „От новой эмиграции".

Август

Мужен. На полдороге между Каннами и Грассом. Вид кругом — неописуемый. Далеко видно море. Живем в доме, перед которым стоит старая смоква, утром я подбираю на земле два десятка фиг, упавших с дерева за ночь, лопнувших от спелости и сока, и за ночь засахарившихся. Рядом

— старинная часовня. Она принадлежит тому же человеку, которому принадлежит и дом. Он позволил нам жить даром с условием, что по воскресеньям мы будем открывать двери часовни и пускать людей ее осматривать. Так я и делаю. Шесть дней в неделю езжу в Канн купаться, а по воскресеньям отпираю тяжелые, окованные железом двери и сажусь на табурет около них. Плата не взимается. Вход даровой. Но надо следить одним глазом, чтобы что-нибудь не сломали, не украли — имеется пять „крэш" восемнадцатого века — целая коллекция. Она-то и привлекает туристов.

Ноябрь

„Если мне суждено жить, я бы представил в своих мемуарах принципы, идеи, события, катастрофы, всю эпопею моего времени именно потому, что я видел, как кончилась одна эпоха и началась другая, и характеры противостоящие друг другу в этом конце и в этом начале смешаны в моей оценке. Я явился между двумя столетиями, как если бы между двумя сливающимися реками".

(Шатобриан. Замогильные записки, т. 1)

Ноябрь

Вечер Бунина. Читал свои воспоминания, в которых издевается над символистами, изображал (копировал) Бальмонта, Гиппиус, Блока, называл Белого паяцом и пр. Адамович в просоветских „Русских новостях" написал отчет, где оправдал его на том основании, что всё это были „бездны", над которыми в свое время смеялся Лев Толстой (а Толстой, конечно, ошибаться не мог). И тоже потому, что „если бы Пушкин читал Блока, он тоже ничего бы не понял".

Декабрь

Митинг в зале Плейель. Говорил Камю. Напомнил мне Блока — внешностью, манерой и тем, о чем говорил: грустным голосом о свободе поэта. Сартр выступал, утверждая, что нельзя больше описывать любовь и ревность без того, чтобы не сказать о своем отношении к Сталинграду и „резистансу". Бретон лепетал о Троцком.

Декабрь

Когда мы жили на улице Бетховен, над нами жила Мура Р. (двоюродная сестра адвоката Р., который работал в Евр. комитете во время оккупации, на улице Бьенфезанс). К ней ходили странные люди, и она сама была странная.

Она была русская, замужем когда-то за американцем, и у нее был американский паспорт, и немцы арестовали ее как американку, интернировали вместе с другими американками, и всю войну она провела в Вителе. Году в 1945-м я встретила ее на улице и стала расспрашивать, как и что. Она улыбалась и говорила, что всё было прекрасно, и даже бывало очень весело. Затем она позвала Н. В. М. и меня завтракать, звонила три раза и настаивала и напоминала, чтобы мы пришли. Н. В. М. пошел, а я не могла заставить себя пойти и без всякой причины осталась дома. Когда Н. В. М. вернулся, он сказал, что был еще один гость — секретарь советского посольства. Я была поражена.

Теперь я узнала, что она покончила с собой. Ночью выбросилась из окна своей квартиры на четвертом этаже. Утром ее нашли на тротуаре в одной рубашке. В газетах ничего об этом не было.

1949.

Январь

В Париже в соборе на улице Дарю сначала построили „памятник" Николаю Второму. Перед памятником несусветного безобразия горели свечи.

Затем в 1947—48 годах, когда из Москвы приехал „митрополит" (советский чиновник) Николай Крутицкий переводить эмигрантскую церковь в Московскую юрисдикцию, готовы были с радостью согласиться перейти. Не перешли только потому, что „правые" (не те ли, которые так чтили Николая Второго?) оказались в большинстве на один голос. Глава церкви принимал Крутицкого со слезами умиления на глазах.

А Крутицкий в это время жил с Ильей Эренбургом в одном номере гостиницы (в разных комнатах, но с одной общей приемной) и ездил с ним на одном автомобиле в советское посольство.

Февраль

Прочла в советской печати:

„Сталин осеняет незримо".

Февраль

„Лишь ненавидящий прогресс
Вопит о гибели вселенной,
Блюдя при этом свой презренный
Материальный интерес".

(Из советской поэзии)

Март

Б. И. Николаевский был в Париже. Сидел у меня долго. На следующий день мы с ним встретились в кафе на Данфер-Рошро. Пришла Маргарита Бубер-Нейман. Она одиннадцать лет просидела в лагерях: сначала на Колыме, а потом была Сталиным выдана Гитлеру. Она написала об этом книгу.

Март

Жило-было на свете дикое племя, и оно знало только одну единственную ноту. И вдруг появился человек, который открыл вторую ноту и теперь пел две ноты. Его немедленно четвертовали.

Август

Одни хотели мир изменить. Другие хотели мир поправить. Между этими двумя племенами не могло быть смешанных браков.

Август

Каждый человек — целая вселенная и потому больше, чем планета, на которой живет.

Ноябрь

„Мы — в противоположность нашим отцам — получили возможность видеть вещи такими, какие они в действительности, и вот почему основы жизни трещат у нас под ногами".

Карл Ясперс

Ноябрь

„Человек западного мира (завоевавший землю, установивший контакт между людьми самых различных стран и давший им понять их общее человечество) развился в силу трех принципов: рационализма, сознания своей субъективности и понятия о мире, как об ощутимой реальности, существующей во времени".

„Во второй раз в истории человечества человек отошел от природы (в первый раз, когда сделал первый топор), чтобы сделать ту работу, которую природа сама никогда бы не сделала и которая соперничает с делом природы по своей творческой силе (машины)".

Карл Ясперс

1950.

Февраль

Бориса Зайцева и меня пригласили в Брюссель дать литературный вечер. Не то „Общество любителей русской культуры", не то „Союз русских интеллигентов в Бельгии", не то еще что-то. Для Бориса это была большая радость (развлечение), и я тоже обрадовалась путешествию. Поехали. Он говорил, что „застоялся", как лошадь. Остановились в Брюсселе в доме д-ра Орлова. Гостеприимные люди очень были милы. Перед обедом жена Орлова, волнуясь, предупредила нас, чтобы мы не удивлялись: ее младший сын женат на слепой. Старший сын — как сын. Работает в Антверпене. А младший сын всё не знал, идти ему в монахи или нет, и вдруг женился на слепой, дочери какого-то бельгийского профессора.

Сели обедать. Молодой человек, здоровый и красивый блондин, а с ним — худенькая, высокая, безглазая женщина. Он ей на тарелке нарезал жаркое. И она ела, а он смотрел на нее и только на нее. На второй день пригласил нас к обеду О. из Общевоинского союза и после обеда повез нас в какой-то клуб. Зал (небольшой) был переполнен, более ста человек. Мы читали, получили немного денег и на следующий день поехали обратно. И теперь Борис вспоминает об этой поездке, как о чем-то удивительно интересном, чуть-чуть авантюрном. „Это было, когда мы с Ни-

ной в Бельгию ездили", — говорит он и куда-то мечтательно смотрит в сторону. И я стараюсь тоже думать о том, что в моей жизни был маленький праздник.

Февраль

Я была уверена, что Зак не придет на наш литературный вечер в Брюсселе: столько лет я о нем ничего не слышала. Он может быть погиб, может быть давно в Америке. Но я всё-таки в антракте, после чтения Бориса, посмотрела кругом — а вдруг? Но его не было.

В 1929—1931 годах он стал мне писать, сначала на „Последние новости", потом домой. Писал каждый день. Я отвечала раза два в месяц. Он был интересный человек и писал интересно. Когда я поехала в Брюссель дать литературный вечер (это было в 1934 году) он пришел. Он был не один, но с невестой, как он мне сказал. Мы поговорили немножко, она по-русски не понимала, это нас стесняло. И в антракте они оба ушли. Я была поражена: он столько времени ждал этого дня и ушел даже не простившись. Мне показалось всё это несколько загадочным.

И вдруг — от нее письмо. Она писала по-французски и спрашивала, „кто он для меня?" и собираюсь ли я „разрушить ее счастье?" Письмо было вежливое, но очень тревожное. Она писала, что она долго мучилась и наконец решила мне написать и меня спросить, и верит мне, и надеется, что я отвечу ей „всю правду". Я тут же написала ей несколько слов, что он для меня никто, что я больше никогда не буду отвечать на его письма, что прошу ее верить мне и сказать ему, чтобы он больше мне не писал. Так кончилась эта дружба в письмах.

В связи с этим вспоминаю другой случай: в 1926 году некто Борис Буткевич прислал из Шанхая рассказ в „Новый дом", который я немедленно напечатала — он был талантливый и все потом (даже Бунин) говорили, что автор „обещает". Мы стали переписываться. Буткевич с Дальнего Востока переехал в Марсель. В 1928 году, когда я ехала из Канн в Париж, я дала ему знать, чтобы он пришел на вокзал, я хотела ему помочь устроиться хотя бы марсельским корреспондентом „Последних новостей" (он очень тяжело работал). Выхожу в Марселе на платформу. Стоит

перед вагоном маленький человек, скромно одетый, курносый, с глупым лицом и повадками провинциала. Я подошла. Стали разговаривать. Я старалась не замечать его внешности и сразу перешла к делу. Вдруг человек говорит: „Я — не Буткевич. Извините, только Буткевич не пришел, я за него". — „А где же он?" — спросила я, сердце мое упало. Я почувствовала, что сейчас ужасно рассержусь.

— Они не пришли, — сказал человек, — потому что у них нет нового костюма, а в старом они стыдятся.

Я онемела. Мысль, что кто-то не пришел из-за дырявого пиджака и с т е с н я е т с я МЕНЯ! б о и т с я МЕНЯ! мне показалась совершенно абсурдной. Соображение, что прислан был какой-то идиот, чтобы мне об этом сказать, привело меня в бешенство. Но я сдержалась и сказала:

— Очень жалею.

И пошла в свой вагон. Человек с глупой улыбкой смотрел мне вслед.

Позже Буткевич извинился передо мной, написав мне, что он был болен и к поезду прийти не мог. Я своих чувств к нему не изменила: писала ему, устроила две его корреспонденции в газету, и когда он умер на больничной койке, написала о нем некролог.

А п р е л ь

Perhaps the whole pilgrimage of spirit was the only goal of spirit, the only home of truth.

Santayana

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

Летом 1947 года я осталась одна. Лонгшен был объявлен к продаже, и в Париже у меня не было места, где я могла бы жить. Не было ни квартиры, ни комнаты, и денег не было, чтобы снять что-либо. В это время Катя купила квартиру на одной из центральных улиц Парижа, в пяти минутах от президентского дворца и Елисейских полей. Она вернулась в это время из Персии и решила опять поселиться в Париже. О Кате я скажу несколько слов.

Мы когда-то учились вместе, впрочем, один только год. Она по паспорту была персианкой, но по происхождению армянкой, только происходила она не от тех „благодарных армян", от которых произошла я, а от персидских, и дед ее в середине прошлого века имел осла. На этом осле он решил привезти в Россию из Тегерана мешок сушеных фруктов, так как он слышал, что в России люди не умеют сушить фрукты и их не едят. Он отправился в путь, дошел до Владикавказа и там продал свои фрукты. Вернувшись в Тегеран он купил второго осла и опять ушел. Через несколько лет он переселился в Россию, женился и открыл магазин сушеных фруктов, а потом и фабрику. Его сын, Катин отец (и друг моего отца) от сушеных фруктов перешел на разные другие дела, в частности — на масло, постное и смазочное. Ко времени революции он был сказочно богат. Катина мать умерла молодой, оставив ему трех дочерей, которых воспитывала бабушка.

Катя в тот год, когда мы учились в одном классе, приходила в гимназию с огромной, размером с грецкий орех, жемчужиной, окруженной бриллиантами, висевшей на цепочке у нее под подбородком. Выяснилось, что отец задаривает своих дочерей (им было тогда пятнадцать, тринадцать и пять лет) драгоценностями, жалея бедных сироток, оставшихся без матери, и девочки носили на себе жемчуг, изумруды и бриллианты, как мы носили воротнички и

рукавчики. После революции драгоценности проели. Потом Катя вышла замуж, и так как муж ее ровно ничего не делал, то она открыла мастерскую дамских платьев, содержала мужа, сестру и племянницу. Мужа она бросила лет через шесть, работать продолжала всю жизнь, а когда в сентябре 1939 года ей пришлость уехать в Персию, то она и там работала, обшивая королевский двор, принцесс, всю женскую половину семьи персидского шаха. Теперь она решила на всякий случай купить в Париже квартиру, большую, двухэтажную, с внутренней лесенкой и балконом, в старом доме (где, говорят, бывал Шатобриан). Но квартиру эту надо было перестроить, перекрыть крышу, устроить ванную, и жить пока в ней было нельзя. Катя жила в гостинице поблизости, а рабочие работали с утра до вечера. Она предложила мне, пока не кончится ремонт, кое-как приютиться в одной из комнат. Она всегда была доброй, а также веселой, трудолюбивой и хорошенькой — четыре основных женских достоинства.

Сквозь проломанный потолок я ночью видела звезды. Рядом, в столовой, крыша была снята. В семь часов утра приходили каменщики и начинали ломать стены вокруг меня. Я лежала и ждала, когда можно будет проскочить в ванную, где водопроводчики распиливали и паяли трубы. Однажды ночью, придя домой, я увидела, что дверь мою сняли и на ее месте зияет дыра в нижний этаж. Когда мне нужно было пройти в кухню, я шла по доскам, положенным вдоль наружной стены дома, где качались на своих подвесных балкончиках громко поющие маляры. Подо мной бежали автомобили, маленькие люди шныряли туда и сюда. Вечерами огня не было, и я под звездами лежала и думала, лежала и думала. Какая-то балка легла поперек коридора, и меня попросили пока не мыться. На всех моих вещах был слой белой пыли, и волосы от пыли казались седыми.

Однажды, это было в июне, пошел дождик и замочил мой диван. Консьержка сказала, что я совершенно незаконно живу в этой квартире, в сущности без стен, без потолка, с дырявым полом, и что если я провалюсь в нижний этаж или выпаду на улицу, то никакое страховое общество мне ничего не заплатит. Я старалась не попадаться ей на

глаза. Рабочие молча поглядывали на меня, а я пыталась сделаться совсем маленькой, чтобы они не замечали меня.

Ночью я висела в воздухе над Парижем, над самым центром его, между фонарями и облаками, в полной тьме, где-то вблизи редких самолетов, которые (так мне казалось) могут задеть меня крылом. На рассвете в мансарде напротив кто-то долго и щедро поливал цветы на подоконнике, я не видела его, но он конечно видел меня. Потом начиналось сверление стен, струганье паркета в будущей гостиной. И я выходила — в дверь, или в пролом стены, или в окошко, и уже оттуда спускалась на улицу по „черной" лестнице — шесть этажей.

Потом это кончилось. Всё было выстругано, пригнано и выкрашено, и я выехала из этого дома. У меня теперь была квартира около Трокадеро, крошечная квартира, с водой, лифтом, маленькой электрической плитой, книжными полками. Книги свои я начала постепенно продавать. Ушел Фет, ушел Баратынский, ушли „Мелкий бес" и собрание сочинений Льва Толстого, и старый Ларусс, и „Весь Петербург 1908 года", однажды мне подаренный В. А. Маклаковым (посольское имущество царского времени). Покупателей было двое: старый моряк, почтенный знаток русской книги, и разбойничьего вида фамильярный болтун. Оба торговали с университетами в С. Ш. А. Теперь и Фет мой, и Сологуб стоят на полках университетских библиотек Америки. Я видела их, я их трогала. Но „Весь Петербург 1908 года" я не нашла нигде. Это было очень интересное чтение, особенно — отдел Императорских театров, где под рубрикой „Балет" шел перечень всех Кшесинских и Карсавиных, словно это были Ивановы и Петровы.

Я продавала книги и писала в „Русской мысли". Остроумнее названия для еженедельной русской газеты в Париже основатели ее не смогли выдумать. Начали ее в апреле 1947 года, когда было преобразовано французское министерство и французские коммунисты были из него исключены: пока в правительстве были министры-коммунисты, разрешение на газету эмигрантам не давали. Была в газете и литературная страница, я считалась ее редактором. У меня завязались отношения с пишущими „новыми" эмигрантами, жившими тогда в Германии, не вернувшимися после второй

войны в Советский Союз. С января 1949 года, когда в парижском суде слушалось дело В. А. Кравченко, автора книги „Я выбрал свободу", газета, благодаря моему репортажу из зала суда, стала выходить два раза в неделю.

Я опять, как десять лет тому назад, сидела в суде на скамье прессы, в одном ряду с корреспондентами „Таймса", „Известий", канадских и французских газет. Дело было шумное, в то время — важное, и личность самого Кравченко, вчинившего иск французской коммунистической газете за дифамацию, довольно красочная. В публике иногда появлялись Андрэ Жид, Мориак, Арагон. И вечером на тротуаре собиралась толпа любопытных взглянуть на самого Кравченко. Я спешила домой, зная, что после того, как в „Лэттр Франсэз" была на меня карикатура, за мной посматривают и, стараясь миновать темные улицы, приезжала домой. До поздней ночи работала я над отчетом. В семь часов утра из редакции за ним являлся посыльный. Позже газета выпустила весь репортаж отдельной книгой — на газетной же бумаге, и книга давно рассыпалась в пыль.

Вкратце это дело, теперь забытое, сводилось к тому, что один из членов советской закупочной комиссии, посланный из СССР в США в 1943 году, решил не возвращаться обратно и остаться в Америке. В апреле 1944 года он порвал с Москвой и затем написал и издал книгу, где рассказывал о причинах этого разрыва, о жизни в Советском Союзе и о том, как Сталин проводит свою политику по отношению к крестьянству, технической интеллигенции и старым большевикам. Судьба книги Кравченко была необычна: ее перевели на двадцать два языка, и она читалась повсюду. Французский литературный еженедельник, который можно назвать „неофициально коммунистическим", начал кампанию против него, понося его имя, оскорбляя его, доказывая, что книга написана не им и что сам автор — фашист, игравший в руку Гитлера. Но для многих, и в том числе для меня, корень всего дела находился в том факте, что советская система концлагерей получила наконец широкую огласку. О ней говорил и Кравченко в своей книге, и свидетели, вызванные им, бывшие заключенные в Колыме и Караганде. Вопрос о лагерях внезапно встал во Франции во весь

свой рост. „Лэттр Франсэз" конечно отрицала существование лагерей, и свидетели, ею вызванные, утверждали, что всё это выдумки. Видеть собственными глазами, как бывший министр, или всемирно известный ученый, лауреат Нобелевской премии, или профессор Сорбонны с Почетным легионом в петличке, или известный писатель приносили присягу на суде и под присягой утверждали, что концлагерей в СССР никогда не было и нет, было одним из сильнейших впечатлений всей моей жизни. Публика, настроенная в пользу Кравченко, встречала эти утверждения враждебными выкриками. Когда в 1962 году я прочла рассказ Солженицына про советский концлагерь и узнала, что рассказ этот вышел во французском переводе, я ждала, что хоть один человек из присягавших и лгавших суду в 1949 году откликнется на это произведение. Но этого не случилось.

Я любила бродить между Трокадеро и Этуалью, рассматривать витрины, еще в то время очень бедные. Среди них была витрина одного фотографа на углу улицы Лористон. Это был старомодный фотограф, снимавший по старинке причастниц, новобрачных, дедушек и бабушек в день их золотой свадьбы, новобранцев. На левой стороне витрины шли ряды солдат 1914 года, справа висели военные последней войны. Те и другие рассматривали друг друга, а я рассматривала их всех. Усатые глядели на безусых, вытаращив глаза, а безусые — на усатых, и одетые в форму „хаки" — на одетых в сине-красные долгополые мундиры. Сине-красные иногда держали в руках длинные, неуклюжие винтовки, а одетые в „хаки" были при револьверах и казались сыновьями долгополых, каковыми, в сущности, они и были — сыновьями потускневших и забытых героев. „А я вот вижу и тех, и других! — думалось мне. — Да, я вижу и тех и других. И вот уже скоро полвека, как живу на свете".

Не звуковой, не музыкальный, но „картинный" или может быть „зрительный" контрапункт делался мне всё более знакомым, даже привычным в то время. Он, кажется, начался тогда перед витриной фотографа, и продолжается всё усиливаясь до сегодняшнего дня: я как бы в нем обосновалась, „осела", он стал атмосферой, в которой действует

моя память. В одну единицу времени могут не только звучать, то есть возникать различные уровни в музыкальной сфере, но и появляться, сосуществовать в памяти различные картины, одна в другую входящие, одна из другой выходящие, в панорамической перспективе стоящие в неподдающейся анализу координации друг с другом. Десять или даже больше „картин", „снимков", „диапозитивов", „рисунков", видений могут в один и тот же отрезок времени (мгновение, секунду, минуту) составить контрапункт не слышимый, а видимый воображением, зависящий от своих частей, зависимый от предыдущих видений в цепи. Части его составляющие, то есть структуральная организация этого контрапункта образов, не зависит от давности, от отдаленности их от данной минуты. Иначе говоря, схематически, в 1970 году контрапункт образов в определенное мгновение может состоять из бывшего в 1928, 1912, 1906, 1949 годах. Причем эти части контрапункта статичны, в них ничего не происходит, они *являются* и сосуществуют, не во времени (как в музыке), но в перспективе (панораме): вот две огромные собаки бросаются на меня из тёмного чужого двора; вот пестрая курица с отрубленной головой в последний раз вздрагивает на залитом кровью пне; вот я кладу лицо в чьи-то худые, теплые руки и вытираю мокрые глаза его сухими тонкими пальцами; вот у окна поезда мелькает растерянное лицо, и я шепчу этому лицу: так тебе и надо! И всё это не горизонтально или вертикально возникает в памяти, не разматывается катушкой, не рассыпается колодой карт, а одновременно слоями стоит в ней, не как музыкальный текст для отдельного голоса, а скорее как оркестровая партитура дирижерского экземпляра симфонической пьесы. Может быть в этом зрительном контрапункте есть некоторая мутация? Может быть. Но я не могу поймать того мига, когда контрапункт переходит в мутацию.

Но как же всё это видится? Как представляется? Вообразим себе человека, лежащего на песке, на морском берегу. Он лежит на животе, лицом в песок, вернее — одной щекой и одним глазом в песок, другой глаз он то закрывает, то открывает. Он насквозь прогрет солнцем, он чувствует, как вся кровь его за это время изменилась в своем составе,

словно она кипит у него в жилах. Кожа его горяча на спине и плечах, и какая-то мировая, „космическая" томность пронзает его. Всё его тело обновлено зноем, каждый орган будто вновь рожден и каждый ощущается так, как будто именно он — центр жизни. Интенсивность этого чувства почти непереносима. И вот он открывает один — свободный — глаз и видит излуку берега, сотню купальщиков и купальщиц, рыбачий городок, синее море залива. И сейчас же закрывает этот ослепленный глаз и в мозгу в ту же секунду возникает когда-то виденный берег другого моря, другие дети играют в мяч и белые нарядные здания изломанной блестящей чертой уходят вдаль, обрамляя берег, вдоль которого бегут синие и белые паруса. И он опять открывает глаз и вбирает в себя настоящее панорамически входящее в прошлое, и снова закрывает его, и вот уже серебряная река огибает заросший ельником остров, и два мальчика и девочка, стоя в воде, ловят стрекоз. И снова мгновение, и опять — настоящее; и опять движение век и — новая картина: берег Бретани, целую школу вывели на берег в трусиках; берег Крыма — зады и лифчики, широкие затылки, веснушки на детских носах; а то еще плоские ступени над водой, уходящие в небо; и всё теперь слито и сосуществует, всё взаимно зависит одно от другого: и рыбачий поселок (настоящее) не перевешивает, а только уравновешивает прошлогодний отпуск в Палермо, или когда-то виденный сон, или чей-то рассказ о детском приюте, или вчерашний фильм „Отпускники в Ялте", или картину Чурляниса „Рай", или мой собственный рассказ „Памяти Шлимана". Оркестровая партитура памяти делает всё бывшее живым и существующим, и настоящее — яркое и волшебное, жалкое и великое — делается частью всей картины.

Хорошо было побывать в те годы в Швеции, три раза, причем в третий раз (в 1948 году) жить целое лето на острове в шхерах; хорошо было побывать в Провансе, над Канн, съездить с Б. К. Зайцевым на три дня в Бельгию. И хорошо было бродить вокруг Трокадеро вечерами, в садах, спускавшихся к набережной Сены, сознавая — после пяти лет войны, — что наш конец, раз начавшись, продолжается, что начался он 14-го июня 1940 года, в день взятия Парижа немцами, и теперь, несмотря на „освобождение" идет пол-

ным ходом. Сознавать что-либо всегда хорошо, а на этот раз в сознании родилась для меня важная истина: я осознала, что не принадлежу к идущим к концу, что я — ни по своему возрасту, ни по внутренним силам, ни по физической энергии еще не могу идти к концу. Что я еще жива. И что я остаюсь почти совершенно одна, живая.

Я медленно проходила этими шумящими темными садами Трокадеро. Они спускались широкими пустынными аллеями к реке. Ночью здесь бывало темно и тихо, редкие фонари освещали круг возле себя: кусок дорожки, широкую низкую ветку платана, с которой падали с легким шорохом хрупкие уже сухие листья, край лужайки, вытоптанный детьми. И в ту минуту, когда я проходила через этот освещенный круг туманного белого света, центр которого был похож на лунный камень, я вдруг на минуту забывала, кто я, что со мной, что будет завтра, что было вчера, с кем я осталась и как я буду жить дальше.

Иногда мне казалось, что я играла здесь ребенком, вытаптывала этот газон, сочиняла (и не могла сочинить) стихи про комету, бегала с умным и капризным мальчиком вниз, по каменным ступеням, ведущим с террасы на террасу, запускала красный мяч в синее небо; или это я, сама я, а вовсе не та старуха, сижу теперь здесь ловя последнее солнце, грея старые кости, тихонько шевеля губами, бормоча слова на непонятном прохожим языке. Что-нибудь вроде „Восемнадцать и три — двадцать один, сегодня только четвертое, если удастся сберечь четыре, останется двадцать семь", — или тому подобную чепуху, сильно тряся головой, чепуху, какую обычно бормочут такие сидящие в городских садах старухи, когда багровое солнце уходит за дома; тучи начинают клубиться над крышами; тучи с пурпуровым исподом, лиловые, цветом похожие на кардинальские одежды, и даже кардинальские кружевные пелерины я вижу в небе. Из них под утро часто вырастает гроза.

Городские сады и облака над ними — я разгадала тогда их смысл. Они, как слова: есть слова, которые ведут к чему-то — дайте тарелку, возьмите карандаш, я хочу пить. Это — слова-улицы. По ним можно и нужно ходить: с вокзала в магазин и из дому в контору. Но есть слова, которые ни к чему не ведут, самый смысл которых — в них самих:

из края мрачного изгнанья ты в край иной меня звала; а ты всё та ж, моя страна, в красе заплаканной и древней... Это слова-сады, они не ведут никуда, они т о л ь к о существуют и значат.

В темном воздухе уже чувствовалась осень, с тем щемящим обещанием весны, которое все в Париже знают. Иногда рядом шли люди, и я старалась попасть в ногу с ними, отсчитывая раз-два, раз-два. Это тоже ни к чему не вело, как кардинальские одежды в небе, как платаны, вдруг шепчущие над моей головой и потом стихающие. Существуют и значат, но ни к чему не ведут. И мои шаги в ногу с прохожими тоже меня ни к чему не ведут, только существуют и значат. Я живу одна: без обедов и завтраков, без праздников и будней и почти уже без книг. Я живу не так, как вы, живые, ожившие, освобожденные, вернувшиеся обратно. У меня нет никакого „обратно".

Деревья, как огромные цветы, некоторые уже трех цветов: зеленые, желтые, бурые. Как анютины глазки. И вдруг открывается пространство пустой улицы, и я останавливаюсь: она ведет куда-то, а я не знаю, нужно ли мне куда-нибудь? Я лучше побуду с деревьями, с кардинальскими пелеринами, лучше поживу, сколько могу, в бесцельности.

Обратно иду черной ночью; террасы белеют, в прекрасном бесцельном саду — никого. Обломок луны неуверенно скользит над рекой. В этот предрассветный час Париж на короткое время — но редко-редко — становится чуть-чуть призрачным, как та наша легендарная столица, с ее гранитной мифологией. Особенно когда уже не листья шуршат над головой, а голые сучья ломает ветер, и серый дождь — днем и ночью одного и того же сизоватого оттенка — тихонько бежит по глазам и губам. Он бежит долго, он тоже обещает весну, и весна приходит: клумба розовых тюльпанов, отороченная незабудками, сверкает одинаковым великолепием для рвачей, для нищих, для самоварников и художников, ну, да, и для меня, конечно. И соловей поет. Один — здесь, другой — напротив, по ту сторону фонтанов (бьющих по большим праздникам), третий — за мостом, у левой задней ноги Эйфелевой башни (что было замечено мною еще четверть века тому назад).

Там, за мостом, тоже сад. Там есть статуи, которые смотрят в широкое зеленое пространство; там много детей в хорошую погоду, а еще их больше — в парке Монсо, где мраморные мужчины в сюртуках и высоких воротничках бесстыдно позволяют обнимать себе колени полуголым женщинам, одновременно играющим на свирели. Там много железных стульев, на которых я еще и теперь люблю сидеть, бормоча свои старые стихи о том, что если наша встреча состоится (с кем? помилуй Бог, я забыла, с кем именно!) в дыму, и смраде, и грохоте улиц, я всё равно скажу, что это — сад, по которому мы с тобой гуляем. Мысль не слишком оригинальная и трехстопный ямб звучит монотонно.

Иногда из этих садов я выходила в улицы, на набережную. Покупать было в те годы нечего и не на что, но были библиотеки, места, которые я хорошо знала по прежним годам, и туда можно было ходить. Библиотеки Тургеневской давно не было: она была вывезена немцами еще в 1940 году, но подобием крепости или арсенала стояла недалеко от Центрального рынка Национальная библиотека, куда доступ „апатридам" (то есть бесподданным) был всегда затруднен тем, что необходимо было предъявить для получения карточки свидетельство своего посольства о благонадежности. Позже это как-то урегулировали, но появился другой бич — теснота. Перед входом в читальный зал с утра стояла очередь не попавших — все места были заполнены — и приходилось ждать, когда кто-нибудь из девяностолетних стариков, клюющих носом над фолиантами, заснет, и тогда его выведут (спать в этом месте запрещено), а когда его выведут — освободится место. Были залы, куда нас не пускали, и были часы, когда вдруг библиотека закрывалась. Я еще помню время, когда в главном зале не было электрического освещения (как впрочем и в Лувре) и старых и малых выгоняли зимой в три часа дня, когда темнело, а в женской уборной было нацарапано на стене: это место — позор Франции (что было вполне справедливо).

Теперь библиотека закрывалась в пять часов, и если утром еще можно было найти место, то лучше было не выходить из зала до пяти — ни за какой надобностью:

место могли тотчас занять. По воскресеньям всё было закрыто. Впрочем, в этот зал я всю жизнь ходила читать только „странные" книги, которые никто не читает. „Обыкновенные" книги там всегда либо бывали взяты кем-нибудь, либо бывали затеряны, или почему-то в данный день не могли быть выданы. Инвалиды первой войны в мундирах с медными пуговицами, скрипя сапогами и переговариваясь друг с другом, медленно гуляли по залу, между столами, заглядывая, не рисует ли кто-нибудь чего-нибудь в книгах, не вырезает ли листов, не делает ли корабликов, а время от времени в самый центр зала приносился аппарат, похожий на огромную эсмархову кружку, и пускалась под потолок густая струя какой-то дезинфекции, чтобы очистить воздух. Легкий дождь падал нам на голову.

Библиотека школы Восточных языков была куда более уютным местом. Там не надо было объяснять, зачем я пришла, извиняться за то, что сижу слишком долго, показывать свидетельство о благонадежности. Там стояли русские классики, получались советские журналы. Сидели там французы, студенты школы, ученики проф. Паскаля и престарелые русские бродяги с университетским образованием, члены политических партий, всевозможных общественных организаций, имеющие привычку читать книги, но сейчас безработные и полуголодные. Этим людям уже поздно было менять профессию, как постепенно меняли профессию „молодые" (те, кому было сейчас пятьдесят и больше), когда вдруг неожиданно выяснялось, что поэт где-то служит на заводе, а прозаик ездит шофером-ночником на такси. Через год-два эти люди внезапно обнаруживали себя заводским рабочим, пишущим стихи в часы досуга, и шофером-ночником, время от времени успевающим написать рассказ. Этого старые посетители библиотеки сделать уже не могли и кое-как доживали *свой* век, который постепенно всё больше и больше отходил от века всеобщего.

Помню день, когда я тоже решила, если не переменить профессию, то по крайней мере перейти в первую стадию: заняться чем-нибудь дополнительно, что дало бы мне возможность дотягивать месяц — дольше, чем от 1-го до 20-го,

я жить на то, что платила мне русская газета, не могла. Десять последних дней месяца оказывались как бы роскошью, на которую не оставалось денег, между тем судьба давала мне эту роскошь и как-то нужно было ею воспользоваться. Нельзя было месяцу приказать сократиться на треть, году — на четыре месяца. Я пошла к Кате, у которой в это время уже была мастерская, и села за швейную машинку. Я всегда любила машины: моторы, подъемные краны, цементные мешалки, молотилки и линотипы. В конце дня я получила заработанные деньги. От радости и возбуждения, гордости и надежд, я по дороге домой потеряла их. На следующий день я пришла опять и в то же утро нечаянно сломала шпульку. Когда ломаешь что-либо, никогда не знаешь, как именно это случилось. Сломать стальную шпульку Зингера не так-то просто, но я сломала ее.

Шпульки в 1947—48 годах были, конечно, невозместимы. Но выхода у меня не было: ничего никому не сказав, я в час завтрака поехала в центральную контору Зингера. Скажу правду: мысль о самоубийстве только минут пять продержалась в моей голове. Выражение: „Она умерла от шпульки" вдруг показалось мне таким смешным, что я эту возможность (броситься в Сену с моста или выскочить из окна на улицу) отбросила почти сейчас же. В состоянии отчаяния, слегка покачиваясь (видимо от голода), улыбаясь (при мысли о самоубийстве от шпульки) и несомненно имея довольно ненормальный вид (положение свое я то и дело сравнивала с положением героев греческих и шекспировых трагедий), я явилась в контору Зингера на авеню де л'Опера. Миловидная, но тоже видимо недоедающая служащая, взглянув на меня внимательно и выслушав мою совершенно фантастическую просьбу продать мне новую шпульку, попросила меня присесть и вышла. Я стала соображать, сколько может стоить такая безделица? Сколько денег? Или мне скажут: хотим пять фунтов мыла. Или: есть ли у вас настоящее кофе? Или может быть скажут: дайте нам с т а р у ю машину, а мы вам дадим н о в у ю шпульку?... Вдруг отворилась дверь и вышел плотный, гладкий, серьезный человек. Он показался мне очень важным, в ту минуту я подумала, что это сам директор, директор всех машинок Зингера — в Мельбурне, в Занзибаре, на Аляске и в Чите.

Так сказать, сам генерал Зингер. Он держал в пальцах новую шпульку. Он тоже внимательно посмотрел на меня и, ничего не сказав, вложил шпульку в мою машинально протянутую руку, поклонился и вышел. Сходя с лестницы вниз, я к своему удивлению заметила в каком-то зеркале, что мое лицо было совершенно зеленым. Я даже остановилась, чтобы проверить: не было ли зеркало зеленым? Нет, зеркало было самым нормальным, но я сама была зеленая.

А люди? Где были они? Двадцать пять лет, как я сама, они жили на одном месте, не может быть, чтобы они вдруг все исчезли? Они исчезли, но все по-разному, и самое это разнообразное их исчезание настолько любопытно, что о нем стоит сказать несколько слов.

Одни были замешаны в работе с немцами, и о них никто больше не слышал, среди них были активные — которых судили, и пассивные — которых отстранили и предали забвению. Потом были те, кто, как Ладинский, Гингер, Присманова, взяли советские паспорта, признав, с некоторыми оговорками, Сталина — отцом всех народов. С ними встречаться приходилось, но на совершенно новых основаниях. Затем были те, что по разным причинам (иногда по легкомыслию, иногда по недомыслию) искали примирения с режимом Сталина и старались доказать себе и другим, что так как политическая роль эмиграции, в сущности, кончена, то нечего выпячивать свое антикоммунистическое прошлое, лучше смотреть в будущее, где маячат перемены: перерождение коммунизма, заря свободы, амнистия эмигрантам. К этой группе принадлежали В. А. Маклаков, И. А. Бунин, С. К. Маковский, Г. В. Адамович*) и многие другие. С каждым из названных у меня был на эту тему разговор с глазу на глаз.

Параллельно с этими людьми, выпавшими постепенно из моего круга зрения, исчезли те, кто уехал в Америку и теперь лишь иногда наезжал в Париж (М. О. Цетлина, А. Ф. Керенский, Б. И. Николаевский), исчезли те, кто, как Д.

---

*) Рукопись его книги „L'autre patrie" (Paris, 1947.) в первой редакции содержала страницы о Сталине, которые впоследствии были изменены. Эта рукопись была дана мне Г. В. для прочтения в 1946 году.

Кнут и Г. Н. Кузнецова, не вернулись больше во Францию из Швейцарии и Германии. Завязавшаяся было переписка с „новыми" людьми из Советского Союза, жившими в то время в Германии, обрывалась — люди уезжали из Европы в Африку, Австралию, Северную и Южную Америку. И наконец многие умерли: одни от старости, как Бальмонт, Коровин, Бердяев, Плещеев, другие — от болезни, как Мочульский и Штейгер, третьи были депортированы немцами в лагеря и погибли, как Р. Блох и М. Горлин, или попались немцам случайно, как Ю. Фельзен. И оставались среди всех этих, так или иначе ушедших, — затихшие, — Ремизов и Зайцев, — подорванные войной, тяжестью существования и одиночеством, и Г. В. Иванов, который в эти годы писал свои лучшие стихи, сделав из личной судьбы (нищеты, болезней, алкоголя) нечто вроде мифа саморазрушения, где, перешагнув через наши обычные границы добра и зла, дозволенного (кем?) и недозволенного (кому?), он далеко оставил за собой всех действительно живших „проклятых поэтов" и всех вымышленных литературных „пропащих людей": от Аполлона Григорьева до Мармеладова и от Тинякова до старшего Бабичева.

Я знала его с 1921 года, со времен тетради Гумилева, но никогда не имела с ним никаких личных дружеских отношений. Еще в 1920-ых годах Ходасевич, он и я несколько раз втроем проблуждали ночью на Монмартре, который Иванову был тогда ближе литературного Монпарнаса. Тогда же, в одну из ночей, когда мы сидели где-то за столиком, вполне трезвые, и он всё теребил свои перчатки (он в то время носил желтые перчатки, трость с набалдашником, монокль, котелок), он объявил мне, что в его „Петербургских зимах" семьдесят пять процентов выдумки и двадцать пять — правды. И по своей привычке заморгал глазами. Я тогда нисколько этому не удивилась, не удивился и Ходасевич, между тем, до сих пор эту книгу считают „мемуарами" и даже „документом". Потом много лет мы не виделись. После войны он был как-то неофициально и незаметно осужден за свое германофильство. Но он был не германофилом, а потерявшим всякое моральное чувство человеком, на всех углах кричавшим о том, что он предпочитает быть полицмейстером взятого немцами Смо-

ленска, чем в Смоленске редактировать литературный журнал. Теперь, в своей предпоследней стадии, он производил впечатление почти безумца. Последняя стадия его наступила через несколько лет, в приюте для стариков, в Иэре, или, как еще называют эти места, — в старческом доме, а постарому сказать — в богадельне, в том самом Иэре, где сто лет тому назад Герцен в одну ночь потерял свою мать, своего сына и своего друга... Теперь, в 1948—49 годах, Иванов производил впечатление почти безумца, потому что, разговаривая с ним, собеседник всё время чувствовал, что в нем что-то неладно, что ему что-то нужно — кусок хлеба, затяжку папиросы, стакан вина, укол иглы (лекарственной или иной) и что, значит, всё, что говорится — говорится зря, потому что если что-то человеку до зарезу нужно, то он не может вас слышать и вам разумно отвечать.

Им был утерян в то время живой человеческий облик и он напоминал картонный силуэт господина из „Балаганчика". Когда в 1949 году он попросил меня читать на его вечере его же стихи, я это сделала и потом встречалась с ним изредка, но связного разговора у нас не получалось, он всё тянул какую-то ноту — не то на „а", не то на „е", подыскивая слова. В его присутствии многим делалось не по себе, когда, изгибаясь в талии — котелок, перчатки, палка, платочек в боковом кармане, монокль, узкий галстучек, легкий запах аптеки, пробор до затылка — изгибаясь, едва касаясь губами женских рук, он появлялся, тягуче произносил слова, шепелявя теперь уже не от природы (у него был прирожденный дефект речи), а от отсутствия зубов.

Таким — без возраста, без пола, без третьего измерения (но с кое-каким четвертым) приходил он на те редкие литературные или „поэтические" собрания, какие еще бывали. Помню однажды за длинным столом у кого-то в квартире я сидела между ним и Ладинским. Иванов, глядя перед собой и моргая, повторял одну и ту же фразу, стуча ложкой по столу:

— Терпеть не могу жидов.

Ладинский шепнул мне на ухо: я сейчас ему дам в морду. Я вынула карандаш из сумки и на бумажной салфетке на-

царапала: прекратите, рядом с вами — Гингер. Он взял мою записку, передал ее Гингеру и сказал:

— Она думает, что ты на меня можешь рассердиться. Как будто ты не знаешь, что я не люблю жидов. Ну разве ты можешь на меня обидеться?

Гингер что-то ответил ему, этот человек на меня всегда производил впечатление блаженного, если не сказать юродивого. Я встала, двинула стулом и пересела на другой конец стола. Ладинский последовал за мной.

Перед моим отъездом в Америку у меня была с Ивановым встреча, которую я не забуду. В „Возрождении" (уже не в газете, а журнале) был устроен библиотекаршей, милейшей С. А. Милевской, в мою честь прощальный прием. Отношения к журналу я не имела, но личные связи со служащими книжного магазина и библиотеки, а также с редактором (тогдашним) С. П. Мельгуновым не разорвала. В большой комнате был накрыт стол, на нем стоял испеченный С. А. яблочный пирог, бутылки четыре белого вина и стаканы. Пришло человек пятнадцать, между ними Б. К. Зайцев и С. П. Мельгунов. Когда дело шло к концу, вошел Г. Иванов. Я испуганно взглянула на остатки угощения: вина оставалось на донышке в двух бутылках, от пирога на блюде — один треугольный кусочек. Пока Иванов раскланивался со всеми, я нашла чистый стакан, слила в него остатки сотерна и, подавая Иванову стакан, просила его съесть последний кусок пирога. Я подвинула к нему тарелку и вилку, но он, выпив залпом вино, вдруг сказал тихо, но твердо:

— Позвольте, я возьму домой.

Мне стало не по себе. Я завернула пирог в бумажную салфетку, он положил пакет в наружный карман пиджака и, стараясь быть незамеченным тотчас же вышел. Я хочу здесь сказать, что сила этой сцены была не совсем там, где ее видит простодушный читатель: фокус этого поступка не в том, что бедному поэту нечего есть, а дома сидит кто-то голодный, кому он принесет корочку из гостей. Фокус этого поступка в том, что я сомневаюсь, что он понес пирог домой: всё это было сделано для того, чтобы произвести известное впечатление (чего он достиг), а пирог он, очень может быть, выбросил у дверей в мусорный ящик.

Дней через десять, часов около пяти, в дверь моей комнаты-квартиры постучали. Я в этот день задумала стирать, а это было всегда сложно по причине тесноты, и надо было делать некоторые перемещения в так называемой „кухне". Горячая вода нагревалась на электрической плитке, веревки протягивались над ванной (которая занимала буквально всю кухню и в которой, вот уже лет десять, то есть задолго до того, как я поселилась здесь, не было ни холодной, ни горячей воды). Повязав передник, засучив рукава, я принялась за дело, и когда раздался стук, решила не открывать. Я никогда этого не делаю, но в тот день я решила, что не могу принимать гостей, когда только что наконец согрелась вода. Но кто-то стоял за дверью и не уходил. Притаилась и я, сдерживая импульс сделать шаг и открыть дверь. Внезапно голос Иванова сказал за дверью:

— Н. Н., откройте, я знаю, что вы дома.

— Кто это? — спросила я, чтобы выиграть время.

— Это стрелок пришел. Знаете, что такое стрелок? Хочу вас подстрелить на десять франков.

Я попросила его подождать несколько минут, привела в порядок „кухню", сняла передник, причесалась. Когда он вошел, шаркая и кланяясь, я сказала ему, что у меня всего десять франков, и я не могу дать ему больше пяти. „А вино есть?" — спросил он. Да, у меня был литр красного. Он сел к столу. Двое двигаться в комнате не могли, было слишком тесно, но когда один сидел, другой мог делать пять-шесть шагов туда и сюда. Я поставила бутылку на стол, подала стакан. Он начал медленно пить. Пить и говорить. Это был монолог — ему необходимо было выговориться. Продолжался этот монолог часа три. Потом он ушел. Я помню, как после его ухода я долго лежала на диване и смотрела в окно, в почти уже темное небо, и на освещенный холм Монмартра, с собором Сакре-кёр на его вершине — окно мое на восьмом этаже выходило на север, на парижские крыши, на далекую городскую даль.

Забыть или запомнить? Или дать тому, что было сказано, жить как придется, как растет трава? Отнестись к тому, что было сказано, как к пьяному бреду человека в стадии разложения? Или как к преходящему настроению невротика и поэта? Или как к исповеди? Или как к легкой бол-

товне когда-то светского человека, решившего поразить собеседника? Разницы, собственно, нет никакой, как бы ни относиться к его речи — мое, и ваше, и всех будущих поколений отношение к ней ничего не изменит в ней самой. Это — если сказать о ней одним словом — была жалоба, но жалоба не на обстоятельства и не на людей, не на Ивана Ивановича, Ленина, Сталина, Николая Второго и Первого, не на разрушенное здоровье, безденежье, одиночество, себя самого, каким его сделали мама, папа, женщины... Это была жалоба ни на кого. Виновника он в своей судьбе не искал, виновник ему был ни к чему, у виновника (как он сам сказал) он прежде всего попробовал бы занять десять франков и потом выпил бы с ним на брудершафт. Но в этой жалобе ни на кого возникал и всё углублялся мотив смертельного страха перед всеми и всем, перед червяком, пауком, машиной, женщиной, властями, холодным ветром, свистком полицейского — перед цивилизацией и перед первобытностью — и стремление (уже животное) потонуть в этом страхе и грязи. „Только грязи мне собственно не страшно", — повторил он несколько раз.

Больше мы не видались. Накануне отъезда в Нью-Йорк я получила от него письмо, на которое, насколько мне помнится, я не ответила. Вот оно:

(Почтовый штемпель: Париж. 31 октября 1950)

„Дорогая Нина Николаевна,

„Увидя почерк мой, Вы верно удивитесь"... Видите ли — мне хочется написать Вам несколько слов теперь, когда Вы уезжаете в Америку — т. е. — может быть, мы с Вами, вообще, никогда не увидимся или, во всяком случае, нас разделит надолго не только океан, но два разных мира. Короче говоря — всё житейское тут наше прекращается навсегда или очень надолго и вот именно поэтому, мне хочется Вам сказать несколько слов, воспользовавшись „свободой": ни Вы мне, ни я Вам на какой то „отрезок вечности" в практической жизни не реальны. Туманно пишу. Но всё равно. Разберите как нибудь вместе с неразборчивым почерком.

Так вот пользуясь этой „свободой" я хочу сказать Вам откровенно то, чему мешали, если не встречи, то

возможность встретиться живя в одном городе. Я хочу, прежде всего, пожелать от всего сердца — счастья и удачи. И прибавить, что считаю, что Вы — один из немногих — заслуживающих и удачи и счастья. Мы давно, конечно, знакомы. И наше знакомство было главным образом, цепью всяких недоразумений. Вина не Ваша, а моя, я это прекрасно знаю. О, задолго [до] Ходасевича — до всего [одно слово неразборчиво]. Тем более я ценю Ваше беспристрастие к моим стихам, потому что человечески я Вам „законно неприятен", говоря мягко. И вот, прощаясь с Вами я пользуюсь случаем сказать, что я очень давно со стороны, как бы это сказать... любуюсь Вами. Вы умны, талантливы, и еще — может быть самое важное — в Вас есть врожденное „чувство ответственности", какое то мужское. В то же время Вы очень женственны. Если бы Вы оставались в Париже, конечно, я не мог бы сказать, а вот теперь говорю. Когда на Вашем „приеме" в Возрождении, куда я случайно залез мы болтали с Вами полминуты, я оценил прелесть и молодость Вашей внешности от платья до коричневой (?) шапочки, до улыбки, до блеска глаз. Извините за беззастенчивость выражений, но чего там притворяться, всегда всякому приятно услышать, что впечатление его облика прелестно-молодое, как тогда. Желаю Вам счастья и удачи еще раз. Вы имеете все „права" на них. А я говорю Вам это тоже „по праву" — того отношения к Вам, которое „силою обстоятельств" никогда не могло проявиться. Объяснять мне Вам разумеется нечего, но не поймите превратно мой „акт", т. е. это письмо. Чего там ломаться, Вы, любя мои стихи (что мне очень дорого) считали меня большой сволочью. Как все в жизни — Вы правы и неправы. Дело в том, что „про себя" — я не совсем то, даже совсем, не то, каким „реализуюсь" в своих поступках. Но это уже „Достоевщина" ...

До свиданья. Не поминайте лихом. Плюньте на Н. Р. Слово и эмигрантское болото. Раз Вы добрались до Америки, то так просто при Ваших „качествах" и твердости добиться успеха там. Желаю Вам этого и

уверен, что именно Вы добьетесь там многого. Не думаю, как не бессвязно это письмо, чтоб Вы поняли его превратно.

Целую Ваши прелестные руки.

Ваш Георгий Иванов.

(К этому письму было приложено переписанное рукой Иванова его стихотворение „Мелодия становится цветком" и к нему — приписка:)

Это — Вам вместо цветов. Мне этот стишок самому нравится. Я после Портрета написал уже штук сорок, и по моему хороших.

Г. И."

Из Нью-Йорка я послала ему посылку. В ответ он прислал мне следующее письмо, которое я, как и первое, печатаю без исправления описок и только меняя старую орфографию на новую:

(Монморанси, конец декабря 1951 г.)

„Дорогая Нина Николаевна,

Благодарю Вас с непростительным запозданием. Если не извинение, то объяснение этого, отчасти в том, что Ваша посылка пришла в дни когда я только что стал кое-как поправляться — была со мной как говорится, легкая „кондрашка" вроде кровоизлияния в мозг. Но, конечно, я двадцать раз должен был и мог написать Вам и не раз приступал — но то нет бумаги, то денег на марки, то начну и не допишу по лени или усталости. Простите, пожалуйста, дорогая Нина Николаевна, все эти „неуважительные основания" (была кажется такая эстетская книга Аксенова — Центрофуги?). Во всяком случае верьте, что элемента неблагодарности во всем этом не было — напротив я был — и продолжаю быть — о ч е н ь очень тронутым. Вещи присланные Вами сами по себе — и прекрасные и весьма мне кстати пришлись, но на старости лет я особенно стал чувствителен к вниманию, ласке, улыбке дружбы. Фраза эта звучит литературно, т. е. не так как хотел бы сказать. Но, правда, верьте моей искренности. Я не заслуживаю,

вероятно, ни внимания, ни дружбы — но от этого не уменьшается, может быть увеличивается напротив потребность в них. Ну, не буду размазывать. Еще раз очень и очень благодарю Вас.

Вечность прошла, как Вы уехали. Я очень жалел, что с Вами не простился, — кажется я послал Вам тогда письмо и стихи о Лермонтове? Или только стихи? Не помню теперь. Не подумайте, что „ударчик" приключившийся этим летом со мной — отшиб мне память. Это тогда, когда Вы уезжали [я] жил как в тумане и не запомнил собирался ли только послать при стихах несколько слов или приписал их. Или возможно, написал не то, что хотел. Но помню очень точно „зигзаги", „точку", где-то на дне сознания — вот Вы уезжаете и должно быть „навсегда" во всех смыслах и уже не поправить, то что мне хотелось бы поправить или исправить, чтобы Вы думали обо мне и о моем отношении к Вам, не „лучше", Бог с этим, но иначе, потому что жизнь моя так сложилась и сам я так путал, что ничего, что я на самом деле думаю и чувствую завалено всякой всячиной, не только скверной, но сложной случайной и чуждой мне. Коша, т. е. Смоленский сказал недавно, что Вы ему писали, что Вам нравятся мои стихи в „Нов. Ж.". Если Вы мне напишете что именно нравится, буду очень признателен: видите ли — можете „навести справки" — я не раз повторял — Ваша рецензия о „Портрете без сходства" мне крайне ценна. Дело не в похвалах, а в удовольствии, которое я испытал от нее за правильное и дающее поэтому удовлетворение — определение знания [зачеркнуто: смысла] и места моей поэзии. Хвалили меня, множество раз, сами знаете, и всё это сплошь, вплоть до — может быть читали — Зинаиды Гиппиус „не то" не по существу: более умный или более глупый Мочульский. Ваша рецензия в этом смысле единственная, а как никак — тоже на старости лет — когда [одно слово неразборчиво] и игра становится скучна и критика, и за сорок лет начитался вдоволь преувеличений и выдумок — и сам их только и писал — дорого ответственный и „разумный" отклик на как никак на

дело всей жизни. Жаль только что заметка Ваша только схема — в сорок или пятьдесят строк. Вот если бы как нибудь написали обо мне подробнее. Говорят, что только что напечатана Ваша статья о Ходасевиче — но не знаю даже, где.

Ну, статья это дело сложное и может быть совсем Вам неподходящее сейчас, но несколько слов „по существу" может быть мне напишете. И что не нравится, тоже очень хочу знать. Пожалуйста, по откровенней. Мне и интересно и п о л е з н о. Я Вам верю. И рецензия о „Портрете без сходства" и еще что Вы долго мои стихи не любили — и потом оценили так высоко — делает для меня Ваше мнение и Ваши советы важными и нужными. Коша еще сказал, что Вы писали ему, что то вроде „старшим нравится, новые не понимают". Мне любопытно бы знать конкретным образом — в двух словах — что слышали Вы от „новых". Только любопытно — потому что, как правило, „новые" городят критикуя, чушь, независимо от того, хвалят или ругают то или другое. По моему они сплошь и рядом даровиты, часто изумительно „полны сил", но талантливость эта неотделимо слита с серостью почище латышской литературы или эпохи до символизма. Они наивны и первобытно самоуверенны, и как будто не поддаются органически культуре. Я к ним, т. е. к этим ди-пи — питаю больше, чем симпатию, я чувствую к ним влечение кожное и кровное. Но считаю, что они тоже „жертвы" большевизма, как и мы, только по иному. Нашу духовную культуру опозорили, заплевали и уничтожили, нас выбросили в пустоту, где, в сущности, кроме как заканчивать и „подводить итоги" — „хоронить своих мертвецов" — вроде моей поэзии — ничего не остается. Их вырастили в обезяннике пролетариата — с чучелой Пушкина вместо Пушкина, какого знаем мы, с чучелой России, с гнусной имитацией, суррогатом всего, что было истреблено до тла и с корнем вырвано. И получилась — бешенная одаренность рвущаяся к жизни — как если бы раззорена оранжерея — весной сквозь выбитые стекла покрывая всё и мусор раззоренья и то что в почве еще уцелело от редкостных клеток, всё

глуша, ничего не соображая, торжествуют наливаясь соками на солнышке лопухи. Извините за лирический пассаж — пришлось к слову, хотя и не полагается столь „образно" выражаться. Но, действительно, я так ощущаю это наше „молодое незнакомое племя". Я думаю, что они и вообще Россия, пусть и освобожденная, в этом смысле „непоправимы", по крайней мере очень надолго. А — но возможно и навсегда. Почему бы и нет? „Не такие царства погибали", сказал о России не кто-нибудь, а Победоносцев. И в наши дни звучит это убедительней и более „пророчески" — чем „признанные пророчества" вроде Достоевского. Кстати — всю жизнь я считал Достоевского выше всего что написано людьми, гениальнее и проникновеннее всего. И вот, признаюсь, засомневался. Возможно что я теперь ошибаюсь, но лежа после своей кондрашки перечел всего Достоевского. О, гениально, если угодно. Но — повторяю — может быть поглупел или очерствел с годами, — но фальш так и прет для меня и из вершин и из срывов. Более того, за всеобъемлемостью, всё пониманием, всё проницанием — „страшно вымолвить" — проступает нечто вроде кривлянья и душевного ничтожества. Ах, весьма возможно, что говорю чушь. Тем более, что совпадаю с пошлой стороной человечества, вроде Мельгунова. Мне лично кажется, что не совпадаю, потому что иначе, сквозь как никак душевный опыт пришел к этому. Но возможно, что и

Жил был поэт всем нам знаком,
На старость лет стал дураком.

Ну, пора и честь знать, — целую Ваши милые руки, еще раз сердечно благодарю и желаю Вам от души и веселых праздников и вообще удачи и счастья. Если Вы мне ответите, обещаю также отвечать — sauf contre ordre — если не начну опять подыхать. Возможно и это — живется мне тяжко и здоровье расшатано прежним пьянством и пр. но может быть и не подохну. Как не странно, мне очень не хочется, несмотря на усталость и скуку моего существования играть в ящик по, представьте, наивно-литературным соображениям, вер-

нее инстинкту: я, когда здоровье и время позволяют, пишу, уже больше года некую книгу. „Свожу счеты", только не так как естественно ждать от меня как я со стороны, естественно и законно рисуюсь. Словом, не как Белый, в его предсмертном блистательно злобном пасквиле. Я „свожу счеты" с людьми и с собой без блеска и без злобы, без даже наблюдательности, яркости и т. д. Я пишу, вернее записываю „по памяти" свое подлинное отношение к людям и событиям, которое всегда „на дне" было совсем иным чем на поверхности и если отражалось разве только в стихах, тоже очень не всегда. А так как память у меня слаба, то я мне кажется нашел приход к этому самому дну легче чем если бы я, как в Пушкинском — как называется, тоже не помню — ну „я трепещу и проклинаю" — если бы меня преследовали воспоминания. Не берусь судить — как не знаю допишу ли — но по моему мне удается сказать самое важное, то чего не удается в стихах и поэтому мне „надо" — книгу мою дописать. Впрочем, мало ли что надо. Но писать для меня впервые в жизни утешение и „освобождение". Нелепо и выспрянно выражаюсь потому что, как всегда, устал и начинает болеть голова. Но лучше всё таки хоть не книгу, так письмо Вам, какое ни есть, дописать и отправить. „Жизнь которая мне снилась" — это предполагаемое название.

Как ни стараюсь писать разборчиво вижу что [одно слово неразборчиво]. Так же нелепая страсть брать слова в кавычки. Делаю это машинально — сам понимая, что должно раздражать. Целую руки, кончаю. Будьте милой, перешлите, если можно, прилагаемые записки — откровенно сознаюсь — по экономии — одно толстое письмо par avion стоит дешевле чем такое же письмо плюс две марки по 48 франков.

Переписываю на свободном месте совсем недавний стишок. Не то чтобы особенно важный, больше в доказательство что не впал в разжижение мозгов как Тютчев после пролога „Британского леопарда" . . . Обязательно расскажите мне о своей жизни — как Вы устроились, что пишете. Ничего не знаю.

Вам преданный
Георгий Иванов".

(К письму приложены стихи: „Просил, но никто не помог").

Я думаю, что комментировать это письмо — лишнее. Я ответила на него открыткой и послала еще одну небольшую посылку с одеждой. После нескольких месяцев молчания, пришло последнее, короткое письмо:

(Без числа. 1952 год)

„Дорогая Нина Николаевна,
Как видите, я хотя и свинья, но не такая, как Вы естественно решили... Адрес был мне дан Кошей, т. е. Смоленским, т. к. Вашу открытку я сразу же потерял. Заведующая конторой София Александровна подтвердила, что адрес правильный...
Целую Ваши руки и еще раз очень благодарю.

Ваш всегда
Г. И."

После этого письма он прислал мне книгу своих стихов „Портрет без сходства". На ней была надпись, сделанная красным карандашом: „Дорогой Нине Николаевне Берберовой от сосем погебошго Г. Иванова." Книга и сейчас у меня.

Последняя стадия его началась в Иэре, как я уже сказала. В этом старческом доме, где он умер, до сих пор живут люди, бывшие при его смерти — если не в той же комнате, то рядом. Руки и ноги Иванова были сплошь исколоты иглой, по одеялу и подушке бегали тараканы, комната неделями не убиралась (не по вине администрации), от вида посторонних с больным делались приступы то бешенства, то депрессии. Впрочем, депрессия его почти не оставляла, она была с ним все последние годы, не только месяцы — свидетельством тому его стихи этого последнего периода. Когда ему говорили, что надо умыться, что комнату надо прибрать, сменить на постели белье, он только повторял, что „не боится никакой грязи". Он, видимо, этой фразе приписывал не только моральный смысл, который я в свое время в ней

угадала, — но и физический. Смерти он всегда боялся до ужаса, до отчаяния. Она оказалась для него спасением, пришедшим слишком поздно.

Да, таков был один из тех людей, среди которых в конце 1940-х годов я жила, из эпохи войны перейдя в мою последнюю парижскую эпоху. В истории со шпулькой не то было страшно, что она сломалась, а то, какой катастрофой явился мне этот факт. Теперь с людьми было в этом же роде: вопрос был не в том, что никого кругом не было, а в том, что в конечном счете никого и не хотелось из тех, кого можно было бы найти.

— Но ведь ты же уцелела! — закричала мне с неожиданной силой молодая женщина, приехавшая из Лондона в Париж, племянница погибшей Оли, одна живая из всей огромной семьи. — Для чего-нибудь же ты уцелела?

(В одну десятую доли секунды не мелькнула ли во мне тогда мысль написать эту книгу? Не знаю. Может быть.)

Я молча смотрела на нее: все эти последние дни после ее телеграммы я волновалась, как встречу ее, что скажу ей о всех ее погибших близких, и вот она тут, радуется встрече со мной, показывает фотографии сына, говорит о настоящем, о будущем.

— То — всё прошлое. Теперь надо жить. У меня сын. Будет и дочка, непременно. Ты сделала так, что я спаслась (действительно, перед войной я ее случайно познакомила с ее будущим тестем). И теперь ты должна жить так, будто одна на всем свете уцелела. Никого нет, все погибли. У тебя — как у меня. А мы с тобой живы.

В 1937 году случилось так, что она, благодаря замужеству и отъезду в Англию, не вернулась из Парижа в Варшаву, где погибла вся ее семья. Сейчас она мне протягивает руку помощи.

— А что *там*? — спрашиваю я. — Уцелеет *там* хоть один?

— Непременно уцелеет, чтобы рассказать. Увидишь. Может быть — Пастернак, может быть — Эренбург.

Это что-то напомнило мне. Я нашла на полке один из томов „Замогильных записок" Шатобриана и показала ей место про Нерона, буйствующего в Риме, *когда Тацит уже родился*.

— Вот видишь, — сказала она, пряча фотографии сына и мужа в сумочку, — всегда так было, и так будет и теперь.

В тот год (1948) вышла моя книга повестей. Меня всю жизнь издавали издатели, а тут при всеобщем развале мне пришлось издать книгу в „организации", да еще с привкусом воскресно-церковной школы: в так называемом „Христианском Союзе молодых людей" (YMCA). Это было единственное место, которое в те годы могло издать русскую книгу: у них были средства и была типография. Необходима была поддержка двух членов Совета. Н. А. Бердяев немедленно помог мне, как и Б. К. Зайцев, и книгу взяли, не читая. Когда она вышла, другие члены Совета (те, которые держались вкусов воскресно-церковной школы) прочитали ее и с ужасом увидели, что там есть „любрические сцены" (как это называлось сто лет тому назад), которые совершенно не вяжутся с духом „организации". И действительно, такой мой рассказ, как „Лакей и девка", YMCA, да еще его русский отдел, переварить не могли. Они приостановили продажу книги, и она до сих пор лежит в подвале „Христианского Союза".

А в книге было шесть повестей и очень даже недурных. А „Воскрешение Моцарта" и „Плач", и само „Облегчение участи", по которому названа книга, я и сейчас считаю превосходными рассказами. Они не на много хуже (а может быть и лучше) „Мыслящего тростника" и „Черной болезни", которые были мною написаны последними — в 1958 и 1959 годах. Сама я имею слабость к „Памяти Шлимана", может быть потому, что когда я его писала, я всё время чувствовала, что я — птица, и кладу яйцо в гнездо, а гнездо — мой век.

Стравинский говорит в одном из своих интервью о творчестве, как о физиологическом процессе: он чувствует себя, когда пишет, то свиньей, ищущей трюфелей, то устрицей, делающей жемчуг. Он признается, что у него иногда слюна течет — от звуков и гармоний, которые он кладет на бумагу, и что всякое творчество для него есть работа органов внутренней секреции, с ее результатом — выделением. Всё, что глотается нами, переваривается, усваивается и выделяется, и творчество есть несомненный физиологический акт. Ничего вернее этого не было сказано! Творчество таким обра-

зом есть функция организма в данной биологической и социальной ситуации, которую мы можем посредством этой функции принять, изменить или трансцендировать.

Внутри всякой биологической и социальной ситуации я свободна принимать решения. Тут нас всех многому научил комфортабельный ужас экзистенциалистов, для нас куда менее комфортабельный, чем для самых экзистенциалистов. И всё-таки не всякий акт был мною осуществлен после сознательного и свободного решения: отъезд из России не был для меня следствием собственного решения, но выбор профессии (в десять лет) и невозвращение в Россию — несомненно им были. Следствием сознательного решения был мой неотъезд из Лонгшена в июне 1940 года, но никакое сознательное решение не привело меня к существованию в Париже в послевоенные годы — это была инерция. Я вижу на протяжении всей моей долгой жизни моменты свободного выбора и периоды инерции. И вся цепь пассивных следований за обстоятельствами и активных шагов, менявших ткань жизни, закончилась для меня самым важным, самым осмысленным и самым трудным сознательным выбором, который я когда-либо делала в жизни: уехать в С. Ш. А.

— А где же ваш багаж? — спросил меня Р. Б. Гуль, встречавший меня на пристани в Нью-Йорке.

Мне стало стыдно — не бедности своей, а легкомыслия, и я указала ему на два небольших чемодана, в которые таможенный чиновник не захотел и заглянуть. Но до этой минуты, когда нью-йоркский носильщик погрузил чемоданы на свою тележку и Гуль повез меня на 72-ую улицу, произошло несколько не крупных, но всё же любопытных событий.

Прежде всего, — плывя памятью обратно из нью-йоркского порта в Европу, — я слышу рассказанную мне сказку про двух лягушек, где-то неподалеку от Азорских островов. И (продолжая этот мысленный обратный путь), в американском консульстве в Париже от меня потребовали принести медицинское свидетельство.

Доктор попался с иронией:

— От чего умерли ваши родители?

— Мать, видимо, от истощения, холода и всяческих ли-

шений, связанных с осадой Ленинграда немцами в 1941—42 году. А отец, я полагаю, от тоски.

— Чем болели?

— Они? Не помню, чтобы они вообще болели.

— Не они, а вы.

— Я... За последние двадцать лет главным образом не болела. Простите, бывали, кажется, иногда простуды. Такой, знаете, сильный насморк...

— Когда вы были в последний раз у доктора?

— Недавно. Пять лет тому назад. Это была серьезная болезнь: воспалилось самое среднее ухо. Даже барабанную перепонку пришлось проколоть — в день взятия Берлина!

— Какое ухо?

— Левое. Оно у меня когда-то пострадало: мне дали оплеу...

— Вы им слышите?

В голосе моем звучит робость:

— Почему-то лучше, чем прежде.

Доктор стучит своей палочкой по мне, где ему заблагорассудится.

— Как насчет женских органов?

— Они на месте.

— Менструации?

— Пока они были, очень мне облегчали жизнь. Прямо возрождалась после них. Когда они кончились — опять хорошо: забот меньше.

— Я попросил бы вас прокомментировать это ваше последнее утверждение.

— Нет доктор, никаких комментариев. Это займет у нас слишком много времени.

— А если я попрошу вас на эту тему сделать маленький докладец перед одной ученой комиссией?

— Рада бы помочь ученой комиссии, но как-то совершенно мне сейчас не до докладов.

— Доклад сделаю я. А вас продемонстрирую.

Я смотрю в окно, поверх его седой стриженной ежиком головы, и говорю, что скоро пойдет дождик. Он — добряк, дай ему бог здоровья, и не настаивает. Он ставит меня перед аппаратом рентгена и фотографирует мои легкие. Этот негатив в натуральную величину позже будет держать

в обеих руках американский чиновник, разглядывая огромную клетку моих ребер, клетку похожую на те, в которых сажают попугаев, и там в середине будет сидеть попугай, мое сердце, с темной аортой, похожей на гребень тропической птицы. Он будет и так и сяк любоваться этой фотографией, а я буду стоять и молчать, всё время повторяя про себя: не узнаете? Странно! Ведь я та самая девочка, которой вы когда-то посылали посылки АРА. Был у вас такой президент, который этим заведовал, его тогда называли Герберт Гувер, а теперь — по декрету Академии наук — зовут Херберт Хувер... Чиновник наконец кладет все мои документы на стол и трахает по ним печатью. За невозможностью произнести мою фамилию он решил воспользоваться одним именем, чтобы поздравить меня с приездом в США:

— Enjoy it, Nina! — сказал он, и я прошла сквозь дверь; была ли она открыта, полуоткрыта или плотно закрыта, я не помню. Я прошла сквозь нее.

Но до всего этого, до моего знакомства с таможенниками, консулами, докторами, пресс-атташе, крупными и мелкими чиновниками иммиграционного департамента, человеком, принимавшим мою клятву, и барышней, требовавшей подпись на всех четырех копиях какого-то документа, произошло еще очень многое. И прежде всего — произошел факт решения, факт выбора, и в те дни, когда я решала и выбирала, я чувствовала, что не просто бросаю в воздух монету — орел или решетка? — но пользуюсь свободой делать или строить свою жизнь, которую мне, в мире, где я живу, даровало мое время. Я пользуюсь своим правом, как воздухом — оно мое, не завоевываю, не вымаливаю, не оплачиваю, но беру, как мне принадлежащее. Ответственность несу перед самой собой, не полагаясь на слепой случай, и в полном сознании делаю тот шаг, от которого зависит не то и не это во мне, а я сама. И не две, а целых три силы влияли на меня тогда в зеленых садах Трокадеро летом 1950 года, и может быть третья-то и была среди них — главной.

О двух первых я уже сказала. Да, невозможность дожить до конца месяца, неумение переменить профессию, как говорится, материально свести концы с концами в Париже после

войны, была одной из причин моего отъезда. Я за двадцать пять лет жизни в Европе привыкла к тому, что гвозди забиваются серебряными ложками — по мудрому народному изречению. Я много лет была на это согласна и в конце концов это стало казаться мне даже естественным. И теперь я нисколько не бунтовала против такого положения вещей, но это положение вещей, которое всегда было, выражаясь суконным языком, „неудовлетворительно", сейчас становилось совершенно угрожающим. Но вряд ли одна материальная безнадежность привела бы меня к решению моей судьбы. Была вторая причина: я оставалась одна или почти одна в том городе, где я четверть века прожила в дружбе, во вражде, в дружбе-вражде, в атмосфере, созданной (как я уже сказала однажды) десятком или двумя десятками людей, имевших дело с мыслью и музыкой русской поэзии, — со словом, с „нотой", с идеями и ритмами, которые культивировались — худо ли, хорошо ли — в духе некоего оркестра, где, если не во всех нас, то в некоторых из нас (и во мне самой, конечно), силен был тот ésprit de corps, который объединял нас, отъединяя от других групп русского рассеяния. Как в оркестре, мы были лет пятнадцать все налицо. А сейчас не оставалось никого или почти никого, и впереди было небытие — личное и общее.

Много лет тому назад в каком-то русском дачном месте всё лето в саду, в круглом киоске похожем на раковину — или не очень похожем — играл духовой оркестр, и капельмейстер, носивший желтоголубой мундир, ежедневно заканчивал свой концерт весело-грустным военным маршем. Меня водили вокруг киоска, и я старалась рассмотреть, как музыканты, похожие, как мне казалось, на пожарных (которых я боялась), дуют в трубы, свистят в флейты, выводят душераздирающие мелодии и потом вытряхивают из волторн слюну. Но больше всего я интересовалась барабанщиком, который бил в большой барабан, странно на него самого похожий, барабанщика пузатого, коротконогого, с бабьим лицом и необыкновенно короткими руками. Капельмейстер в желтоголубом мундире с седыми усами и осанкой героя русско-японской войны, с дочерью которого я играла в мячик на дорожках сада, был человек с фантазией, и в последний день дачного сезона придумал трюк, который

моему детскому воображению показался гениальным: постепенно с эстрады киоска, во время бравурно-печального марша, уходили музыканты, унося свои инструменты. Так что под конец остались на эстраде только машущий палочкой капельмейстер и барабанщик, который бил свою дробь. Затем капельмейстер с палочкой в руке спустился с лесенки и пошел домой (так мне сказали), а барабанщик остался еще минуты на две и всё барабанил в такт испарявшегося в воздухе марша. Потом, взвалив барабан на спину, ушел наконец и он. В памяти остался дождик, вдруг пошедший из ясного неба, сторож, засвистевший в свисток и, может быть для полноты картины, — первые облетающие листья. Кто-то маленький заплакал. Кто-то большой сказал, что завтра приедут подводы и повезут вещи и кухарку в город. Какая-то грусть, ранний вечер, дома попытка нарисовать цветными карандашами паровоз, который повезет меня в Петербург. И всё. Но образ последнего барабанщика в этом похожем — или не очень похожем — на раковину киоске остался в памяти на всю жизнь.

Остается один барабанщик.
Сад закрыт...

Так несколько раз в жизни я начинала стихотворение и бросала его, главным образом потому, что ведь и он, в конце концов, не остался, а тоже ушел домой, и всё кончилось.

Но была кроме этих двух причин еще и третья, и она-то, как мне кажется сейчас, и была решающей. Большинство из нас, во всяком случае большинство „молодых" — и в том числе я — с благодарностью и благоговением брали от Франции, что могли. Все мы брали разное, но с одинаковой жадностью: одни брали Валери и Жида, другие — Франса и Дюамеля, третьи — Маритэна, четвертые — Мориака и Грина, пятые — Бодлера и Верлена. Между двумя войнами нам было из чего выбирать: Алданову и Ремизову, Бердяеву и Ходасевичу, Поплавскому и Набокову было что „клевать", и не только клевать, но и кормить своих детенышей. Начиная с 1945 года всё изменилось: там, где еще недавно добывалась „интеллектуальная пища", ее больше не было, и ее отсутствие прямым путем вело меня к духовному голоду и обывательщине.

Я употребляю слова „пища" и „голод" с тайной целью возвратить этим штампам их первоначальный смысл, в котором они были произнесены Платоном и Данте. Первый в VII Послании говорил о том, что в процессе передачи истинного знания одним человеком другому есть нечто неуловимое:

„Это знание не может быть выражено словами... но в общих усилиях учителя и ученика оно внезапно рождается в душе и тотчас же начинает питаться самим собой, как огонь, который вспыхивает после того, как его раздули".

Вторично Платон говорит об этом в „Федре", 247:

„Божественный разум, когда его питает знание и чистая наука... наслаждается, видя сущность вещей, которую он до того не знал. И когда он... напитался всем этим, он возвращается... домой".

Второй, в „Божественной комедии" („Рай", песня Десятая) обращается к читателю, требуя от него, чтобы он питался тем, что перед ним поставлено поэтом:

„Я подал тебе. Теперь питайся этим, корми себя сам".

Я далека от мысли вынести какое-либо суждение о французской литературе послевоенных лет. В центре ее тогда стояли Сартр, Камю, Арагон и Элюар. Первый олицетворял собою двусмысленность современного французского интеллекта, второй с самого начала своей недолгой жизни был жертвой какого-то артистического недовоплощения: не столько писатель, сколько явление, не столько поэт — сколько памятник эпохе*). Я была на многолюдном митинге в большом зале Плейэль, в декабре 1948 года, когда Камю говорил на тему, такую близкую когда-то Блоку: о поэте и черни. Он был в тот вечер похож на Блока, на нем был такой же белый свитер с высоким воротником, какой, по рассказам старых петербуржцев, Блок носил в 1920—21 годах. И речь его на этом митинге была речью одиночки: он выступил между Руссэ, „потрясавшим сердца" своим красноречием, и дадаистом Андре Бретоном, ставшим троцкистом, чье выступление носило характер шутовства. Где-то

---

*) Он цитирует две мои книги и упоминает меня в „Carnets", 1948 года.

среди них Камю говорил — сжав челюсти, глухим голосом, держа руки в карманах и глядя поверх аудитории. Об этом поразительном сходстве с „митингующим" Блоком в феврале 1921 года (в Доме Литераторов, в Петербурге) я написала Камю. Он ответил мне.

Эти годы были годами роста поэта Пьера Эммануэля, любимого мной. Но он не вышел в первый ряд имен, который занимали Арагон и Элюар, виднейшие члены французской компартии.

Характерными для французской литературы этого времени были книги Марселя Эйме: иронические, легкие, меланхолические, они всем своим характером говорили об анти-всемирности, о локальности современной французской литературы, о ее „малой траэктории" и „частном горизонте". И в эти же годы поднималось, как некое черное светило, имя Жана Женэ, возведенного вскоре Сартром в гении и святые, Женэ, две книги которого (одна — откровенно, другая — скрыто автобиографическая) затмили на целое десятилетие все остальные, несмотря на то, что в предисловии к одной из них Женэ писал об „ангелах — немецких оккупантах", летающих в небесах и бросающих бомбы на Францию, а посвящена была книга некоему Пильоржу, убившему своего любовника Эскудеро, и известному Вейдеману, зарезавшему шесть человек и казненному в 1939 году. Сартр встал на защиту и этого предисловия, и его автора, и обеих книг, отчасти даже любуясь двусмысленностью собственного выбора: где с одной стороны он требовал engagement, целенаправленности всякого искусства, политической ответственности интеллигенции, априорного признания правоты всех требований рабочего класса, а с другой, повинуясь какой-то темной порочности своей женственной природы, влекся к тому, что ему казалось (и не ему одному) мужественной силой антибуржуазной расы „избранных" — будь они рослые пролетарии, делающие социальную революцию, или светловолосые воины в фельд-грау, или просто волосатые преступники, судимые по закону.

Да, живя в абсурдном мире, признаем, что правды нет, но ведь есть направления правды, и если этого не учитывать, то всякая философия станет двусмысленной. Теперь из первого тома автобиографии самого Сартра (на-

званной им „Слова") мы видим, что он любил с младенчества одни напечатанные слова, с их обозначением в словарях и энциклопедиях, но был совершенно чужд смыслу Логоса, и потому его книги, за исключением первой, где он изрыгнул свое нутро (книга называется „Тошнота"), вся его „беллетристика", построена на словах, как средстве обозначения*). Он не может этого не видеть, будучи одним из умнейших людей современности, но он также знает, что никогда не напишет своей последней книги, где бы он наконец объяснил, почему, требуя от других ответственного действия, он сам тридцать лет пребывал au-dessus de la melée ... За всё, что было получено раньше, живет во мне вечная благодарность, но мой рост, мое изменение, мое самопознание не могли остановиться, и они для меня продолжали быть важнее, чем вся локальная или даже мировая философия сегодняшнего дня.

Есть время тайн и умолчаний, и есть время признаний. И здесь я скажу в нескольких строках еще об одной причине моего отъезда из Парижа (из Франции, из Европы). Она не стоит четвертой в том ряду, о котором я сейчас говорила. Она как бы пронзает три первых и дает им экзистенциальность, то есть живет в них, связывается с ними и делает их еще важнее и жизненнее, чем они на самом деле есть. Кроме невозможности материального существования, распада того, к чему я чувствовала свою принадлежность в течение четверти века, и отсутствия интеллектуальной пищи, была моя победа-поражение в личной жизни, от которой хотелось бежать. На этом участке — если принять это условное определение, в корне неверное, потому что это скорее горизонт, чем участок, — всё было проиграно, имея

---

*) Что касается „небеллетристики", то напомню, что „История СССР", написанная Арагоном в 1965 году, основана на сталинской интерпретации сорока трех лет русской истории с некоторыми поправками к ней Хрущева. А Сартр до сих пор считает Н. И. Бухарина не жертвой Сталина, а изменником революции, который понес справедливую кару после своего покаяния: в книге Сартра „Сен Женэ" („Святой Женэ") мы читаем: „Бухарин — конспиратор и изменник, который униженно признался в своей измене революции, гнилой член революционного коллектива"... (Изд. Галлимара 1952 г., стр. 544—546).

вид выигрыша, всё было завоевано тяжелой ценой и всё оказалось ненужным грузом, всё было приобретено в мучениях, и всё я готова была отдать даром кому придется — иначе говоря, отступить, уйти, уплыть куда глаза глядят И бедность и разрушение, и бессмысленность всего были бы преодолены, вероятно, если бы не случилось этого. Но эта четвертая причина окрасила в жестокий и грозный цвет три первых. И под деревьями Трокадеро, на бегущих вниз аллеях, где я ходила, читая про себя стихи, свои и чужие, где сидела, обдумывая свою судьбу (а иногда, как это бывает, не обдумывая, а только слушая ее, рассматривая ее, ощупывая ее), в этих садах пришло ко мне решение. Я воспользовалась свободой выбора: остаться или уехать, и я уехала навсегда.

— Ну, это только полдела, — сказал мне на палубе океанского парохода человек, прослуживший экспертом фальшивых денег в американском банке в Париже тридцать лет и теперь возвращающийся в Америку, любитель иностранных языков и страшный спорщик. Сначала, за завтраком, он говорил о том, что в Соединенных Штатах лучше нет места, чем Южная Каролина. Это вызвало бурю возмущения остальных американцев, но он остался к ним глух. Потом он объявил, что французский художник Клод Лоррэн изобрел слоеное тесто, и так как никто ничего об этом не знал и потому не возражал, он почувствовал себя обиженным. Он хотел спорить. За обедом он утверждал, что вокруг парохода можно увидеть сколько угодно дельфинов, надо только уметь смотреть. Он непременно хотел держать пари со всеми нами, вместе и в отдельности, утверждавших, что дельфинов в этих местах нет.

— Скажите мне какое-нибудь русское идиоматическое выражение, — сказал он, подкравшись ко мне на палубе так, что я вздрогнула.

— Идти по шпалам.

— Объясните его.

Он выслушал, подумал. Что-то записал себе в книжечку.

— Значит можно и в Америку пойти по шпалам?

— Нет, это не выйдет.

— Но можно жить по шпалам?

— Да, — ответила я, подумав, — жить по шпалам можно, и я сама жила по шпалам. Впрочем, можно и в Америку отправиться по шпалам. Не будем педантами.

— А вот и дельфин! — крикнул он.

Но никто кроме него дельфина не видел.

Он тогда, всё косясь на океан и выискивая дельфинов, рассказал мне историю двух лягушек:

— Однажды обе упали в крынку с молоком. „Я пропала", сказала первая лягушка, пошла ко дну и потонула. Другая же стала изо всей силы работать лапками и к утру оказалась сидящей на сбитом ею масле.

— Дельфин! — закричала я. И пришлось нам всем признать, что он был прав.

— Я всегда прав, — хмуро сказал охотник за фальшивомонетчиками, пожимая плечами, и больше уже ни с кем не разговаривал.

Но это тоже случилось не сразу. Я делаю шаг вперед и сейчас же отступаю назад — так, впрочем, я и ехала в Америку, несмотря на решение. И темп моего рассказа соответствует темпу моих сборов.

Я уезжала не только из Парижа, я уезжала из Петербурга—Ленинграда, из Венеции, из Рима, из Ниццы, из Прованса, из навсегда для меня драгоценного пейзажа лучистой, дымчатой деревенской Франции, которая теперь, когда я закрываю глаза, видится мне прежде, чем видится Париж, с ее дорогами, усаженными шумящими деревьями, с хлебными полями и покатыми лугами, с черепичными крышами, мирно дремлющими за холмом, и острой колокольней церкви, забытой, пустой, ненужной, и всё-таки прелестной, выстроенной тысячу лет тому назад, до Монтэня, и до Сервантеса, как сказал бы Мережковский. Я уезжала навсегда из мест, где я училась искать не счастья, а интенсивности, не радостей и благополучия, а *больше жизни*, концентрированного чувства жизни, усиленного ощущения бытия, полноты и концентрации *пульса*, энергии, роста, цветения, вне зависимости от счастливого или несчастливого его образа. Здесь жизнь моя становилась всё более и более не цепью вопросов, но цепью разрешения вопросов, где иррациональное, и сны, и вдохновение, и импульсы имели свое место и были координированы со

всем имманентным и ощутимым, знакомым моим пяти чувствам. В любом образе я искала его силу и непрерывность, сгущенное чувство быть, жить, познавать, переживать, помнить и меняться. Я училась этому в Европе и теперь эту Европу оставляла, унося с собой всё, что сумела взять от нее — малое и большое, важное и не очень важное, — и прежде всего убеждение, что уметь думать и в протяженности времени жить сознательной жизнью, узнавать себя и „делать" себя, есть необходимое состояние человека, при котором его консервативным, ограниченным, косным инстинктам отводится второе место, а радикальной мыслительной способности, неограниченной и свободной, — первое из первых.

Эта свобода роста связана со всеми остальными свободами, которых хочет человек. Он хочет сам сажать свои деревья и сам же их рубить; он хочет, чтобы сын не отвечал за отца; он хочет громко крикнуть свой протест, он хочет сам сделать свой выбор и, когда ему нужно, быть „не как все", что доказывает не только его собственное здоровье, но и здоровье народа, из которого он вышел. Но свобода роста несет с собой еще и другое: освобождение от путаницы в мыслях и импульсивности мнений, несет интерпретацию мира и, наконец, умение познавать, судить и выражать себя. Огромную школу, где я научилась столь многому, я теперь оставляла, я переходила в новый, другой, неизвестный мир. Но страха не было.

Нет, страха не было. Было любопытство, известный азарт касательно будущего и желание по возможности разумно обставить самый отъезд. Между тем, с бытовой стороны дело обстояло довольно скверно: языка английского я не знала, денег у меня, по приезде в Нью-Йорк, оказалось 75 долларов, из которых 25 я тотчас же отдала (это был долг), и постоянную визу мне не дали: русская квота была заполнена, и визу надо было ждать около пяти лет. Пять лет я ждать не могла, это я знала твердо. Я получила временную визу, и только через четыре года мое незаконное положение в С. Ш. А. было урегулировано моим третьим замужеством. Ходасевич был прав, когда говорил (глядя, как я в 1925 году в Париже вышиваю крестиком), что это всё уже когда-то было описано не то Чернышевским, не то кем-то другим,

а потому совершенно неинтересно. По этой же причине для моей истории получения постоянного права жительства в С. Ш. А. я отсылаю читателя к „Процессу" Кафки, к „Консулу" Менотти и еще к целому ряду произведений подобного рода — моя история тоже была описана кем-то другим, и повторять ее здесь нет никакого смысла.

— Бросаешь всех петухов на всех чайниках, — сказала мне Вера Зайцева, прижимая меня к себе на вокзале, а я в это время видела всё вокруг себя с такой ясностью, как князь Мышкин перед припадком: всё оставляемое и всё уже оставленное, и то, что впереди через три часа, и то, что впереди через неделю, через год и через два. И данную минуту — которая всегда важней всего — четырнадцать дорогих мне лиц на вокзальной платформе, и с каждым — длинная история отношений. Одному успеть шепнуть: не болей, не грусти (две заповеди дружбы), другого обнять, у третьего повиснуть на шее, четвертому и пятому сжать руки, и всем ответить на нежность и тепло. Вода понесет меня из одного полушария в другое, и ее я тоже больше не боюсь. Закат Европы — во мне самой, не в Европе, и во мне самой в этот миг — тысяча вещей: прошлое, настоящее, и такая ясность видимости — где не „всё позволено", но „всё возможно".

В эти минуты (или секунды) „мышкинской ясности" было ощущение шва всех противоположностей: мое одиночество и принадлежность стоящим под окном драгоценным людям, молодым и старым; моя собственная страна, и та, в которой я прожила двадцать пять лет, и третья — куда я ехала. Рок, который нес меня, и мой сознательный выбор. И я сама перед лицом этого шва, такая, какую я знала, и какую знали те, что стояли перед окном вагона, знали тридцать, двадцать, десять лет. И потом — редкий случай, и тем самым мне милый — слезы, которые я не могла остановить до самого Гавра, так что русский господин, сидевший в купе напротив меня, участливо спросил (он узнал меня, и Б. К. Зайцева, и некоторых других из провожающих):

— Может быть вам дать выпить стакан самой обыкновенной водички?

Эта самая обыкновенная водичка не имела на меня никакого действия, и я прекратила плач только тогда, когда

увидела громадный белый пароход, густо синий залив, лебедки в небе и величественную даль гигантского порта.

А потом были дельфины, сказка о двух лягушках и два великана — женского и мужского рода — за моим столиком, которые весь обед с тихой радостью и восторгом, и сиянием глаз, говорили, что наконец-то они опять у себя увидят т а к с и. „Неужели в Европе они не видели такси?" — думала я. Но оказалось, что они говорили о Техасе, и это был мой первый урок английского языка.

И вот на шестой день, на заре, передо мной возник город. Он был узок и высок, как готический храм, и вокруг него была вода, и в легком тумане ноябрьского утра, или даже — конца ночи, он возник вдруг, незаметным толчком отделившись из невидимого в видимое.

Я уже час как стояла на палубе и смотрела, как по плоскому берегу, открывшемуся около пяти часов утра справа, бегут туда и сюда огни сотен автомобилей, словно была не ночь, а белый день. Плоский берег появился рано, усеянный огнями — белыми и красными, — затем стало медленно, туго светать, обнаружились тяжелые тучи, шедшие нам навстречу, обнаружилась, направо же, линия чуть волнистого, низкого горизонта. И тогда появился впереди город. Два-три пассажира, и я с ними, вышли на нос парохода. Мы входили теперь в пролив, и по берегу слева тоже побежали огни, только берег был выше. Навстречу шли паромы, буксиры, теплоходы и даже острова, еще темные здания нью-йоркского порта, а готический храм впереди всё приближался, всё яснел, и терял постепенно свой готический облик, переходя из готики в огромный современный город с сотнями небоскребов, в которых кое-где горели огни. Они постепенно погасали, по мере того, как светлел воздух сизо-зеленого осеннего утра.

В этом городе, как я его увидела тогда и как видела потом, много лет подряд, есть тоже что-то у м ы ш л е н н о е, и та единственная смесь функционального и символического, которая есть и в нашей бывшей столице. Здесь тоже, может быть, кто-то стоял „дум великих полн" и р е ш а л, что именно на этом месте „будет город заложен" и кусок земли куплен у индейцев. Там — болота и туманы, здесь — черные скалы, на которых надо было строить жилища, там — вьюги

и метели, здесь — субтропическая температура иногда три месяца в году. Это не стало помехой. Водные пространства и особый свет, идущий от них, придают всему тот же характер призрачности и временности, или вневременности, или безвременности. Москва, Лондон, Рим, Париж стоят на месте. Ленинград и Нью-Йорк плывут, расставив все свои паруса, разрезая бушпритом пространство, и могут исчезнуть — если не в действительности, то в видении поэта, создающего миф, создающего мифическую традицию на основе почувствованного.

М. С. Цетлина, мой давний друг (как и муж ее, Михаил Осипович, умерший в 1946 году), написала мне за месяц до этого, чтобы я остановилась у нее. Она тогда жила в гостинице, где занимала небольшую квартиру, там же она сняла комнату и мне. Р. Б. Гуль привез меня с парохода прямо к ней. С первого же вечера я оказалась среди людей, пришедших посмотреть на меня — старых знакомых, новых знакомых, русских американцев, американских американцев и, как я сама, недавно приехавших из Европы — старых эмигрантов, новых эмигрантов и „перемещенных лиц" — жителей Польши, Чехословакии, Шанхая, Прибалтики — русского происхождения. Мария Самойловна по старой (московско-парижской) привычке и тут устраивала вечера, то есть сборища, где бывала перемешана публика литературная с вовсе не литературной. Здесь я познакомилась с пианистами Вс. Л. Пастуховым, Н. Орловым, Г. Кочевицким, с поэтами Иваном Елагиным и О. Анстей, с прозаиком С. Максимовым, с художником Н. Николенко и его женой, с другим Елагиным, Юрием, автором „Укрощения искусств", с Б. А. Филипповым. Я встретилась вновь с парижанами: А. Ф. Керенским, Р. Б. Гринбергом, Г. Н. Кузнецовой, М. В. Добужинским, Ю. П. Денике, Г. Ф. Федотовым, Е. А. Извольской и другими. На второй день моего приезда Я. пришел ко мне.

— Зачем вы приехали? — спросил он и сел. — Я здесь вот уже десять лет. Здесь ужасно. Жить невозможно. Такая бедность кругом! И груши совершенно не пахнут.

Я растерялась.

— Груши? Не пахнут? Это действительно ужасно!

— Я не знаю, что они с ними делают. Срывают зелеными, вероятно, и они дозревают в холодильниках. Здесь жить нельзя. У клубники нет вкуса, то есть никакого вкуса! У вас есть деньги на обратный билет? Смотрите, держите их, не тратьте. Они вам понадобятся.

Я ответила, что денег нет и испугалась, что он предложит взаймы, но он не предложил.

— Бедность страшная. Не верьте газетам. Они все врут. Благополучие только на поверхности. Внутри, в глубине, страна нищая. Негритянский вопрос. Алкоголизм. Вот увидите.

Он говорил долго. Он рассказал, что недавно видел, ночью, когда возвращался из одной своей квартиры в другую (у него по семейным обстоятельствам было две квартиры), человека, спящего на тротуаре. Полицейские не подобрали его: в участках, сказал Я., нет больше места от толпы бездомных, которые там ночуют.

— А в Европу вы не возвращались ни разу?

— Денет нет, не могу себе позволить.

— Там, знаете, тоже сейчас груши не пахнут.

— Ну, этому я не верю!

— Груши не пахнут, потому что их нет. Не знаю, где они, но я видела их только раз и то за окном одного роскошного гастрономического магазина: они лежали на вате, в шелковой бумаге . . . Впрочем, это неважно.

Он говорил, наслаждаясь тем, что с моей стороны больше не было возражений. Но когда он вышел на лестницу, я побежала за ним:

— Послушайте, но тогда почему же окурки?

— Какие окурки?

— Вчера вечером у обочины тротуара, перед входом в нашу гостиницу лежало двадцать окурков и по крайней мере пять цельных папирос, и сегодня утром они опять там лежали, может быть и сейчас еще лежат. Обратите внимание. Почему же никто их не подбирает?

Он пожал плечами:

— Вы всегда были остроумная, — сказал он, как обычно, сквозь зубы, — это очень смешно, что вы сказали.

Я накинула пальто и пошла с ним вниз. Действительно,

у обочины тротуара лежали окурки, несколько цельных папирос, мусор.

— Город грязный, — сказал Я., — тут не подметают.

Подъехал такси, и он сел в него.

Я прожила у М. С. десять дней, а затем нашла себе комнату в гостинице, по объявлению в „Нью-Йорк Таймсе", и переехала. И вот я оказалась в неизвестной для меня точке чужого города (это оказалась 94-ая улица, почти на углу Вест-Энд авеню), одна, с моими двумя чемоданами, 27-мью долларами в кармане (после уплаты за комнату за неделю), в гостинице, где меня, несмотря на мои протесты, считали француженкой (видимо, у меня был тогда французский акцент в моей едва начавшейся американской речи). Справа от меня жил сыщик, или, вернее, детектив, о чем мне сказал коридорный, может быть желая меня предостеречь. Слева от меня жил человек, который спал от восьми вечера до восьми утра, а в субботу и в воскресенье вообще не просыпался — это я знала по его храпу. Храп был слышен еще у лифта, в котором висели всякие наставления, которые я разбирала по складам, пока поднималась на восемнадцатый этаж.

Ночью меня обступали стены соседних небоскребов, а далеко внизу слышался городской шум, ночью, как днем, и днем, как ночью. Чтение объявлений „Нью-Йорк Таймса" занимало мои вечера. Я ничего не знаю интереснее, чем читать объявления о предложении труда в новой стране, в новом городе. „Ищут 150 инженеров-электриков", „Ищут 220 биохимиков", — читала я и видела, как их ищут, и всё не находят. „Ищут библиотекарей для городских библиотек в 23 штата" (видимо в неограниченном количестве). „Агентство по найму прислуги ищет 12 кухарок (дипломированных), 17 горничных (умеющих подавать к столу), 5 шоферов живущих, 11 — приходящих, 8 садовников (семейных), 38 нянек для новорожденных". „Ищут 45 докторов в 9 новых больниц". „Четырех кларнетистов в оркестр (в отъезд)". „Ищут трех опытных журналистов, специалистов по иностранной политике Индонезии". „Бюро по найму конторских служащих ищет 198 секретарш-стенографисток".

Хотелось быть сразу и биохимиком, и кухаркой, и кларнетистом — всё было страшно интересно.

Потом шли столбцы, где призывались подметальщики улиц, истопники, швеи, судомойки, лица, согласные прогуливать собачек в Центральном парке и сторожить детей вечерами, делая легкую стирку. Это было полезное чтение; впрочем, всякое чтение шло мне на пользу. Я так сразу и начала с модного тогда романа, не поняв в нем самого главного: куда именно поворотил герой на последней странице — к тому, кто его звал (на видимую гибель) или от него, прочь от всех искушений? Но это обстоятельство не могло меня остановить в те первые месяцы или даже годы моей жизни в С. Ш. А.

Семь лет — семь профессий. Некоторые из них были странными, другие очень банальными, третьи заставляли меня стараться изо всех сил, так что к вечеру было уже не до чтения объявлений и романов; с одной меня попросили уйти по причине моей неспособности. Одно время я была русским диктором на радио, обнаружилось вдруг совершенно случайно, что в передаче мой голос звучит контральто, и это пригодилось. В другой раз я работала вечерами на адресографе. Тут не было шпулек, и было совсем не страшно. Машину я, как все машины, уважала и любила. Она шла с грохотом, металл по металлу, по конвертам, которые ей сыпались в зубы, и я управляла ею к великой моей радости не в поте лица, а мурлыча какие-то мелодии, которые старалась координировать с ее треском, размышляя о пользе машин вообще и адресографов в частности. Возвращалась я домой около полуночи, спала мало, днем ходила по городу, но уже по-новому, не так, как в юности, когда тоскливо смотрела в московские и парижские окна, а пожирая глазами всё, что можно было пожрать, не углубляя своего „сиротства", а, наоборот, ощущая всё время цель: борьбу и будущие завоевания — людей, друзей, гóрода, страны, континента, который с первого часа приезда показался мне целым миром в своей громадности, в своем разнообразии.

В первый год — но только в первый год — у меня были дни, не уныния, не слабости, а скорее некоей упадочной игры воображения, которая чаще бывает в детстве, и в зрелости необычна: признаюсь, меня иногда тянуло стать бродягой. Я говорила себе, что это только игра (в детстве не

бывает такого корректива, и в десять лет можно воображать себя пожарным или почтальоном довольно долго, не зная, что на всякую фантазию бывает корректив). Сознавая почти всегда, что это игра, я тем не менее предавалась ей довольно серьезно: я несколько раз ходила в те места, откуда можно было начать эту новую „карьеру". Эти места, унылые, грязные, шумные и печальные, были мне в Париже хорошо знакомы: в свое время там проживали деклассированные герои моих ранних рассказов, а сейчас я соображала, как бы мне здесь поселиться самой.

Первым человеком, которого мне хотелось увидеть и узнать, была А. Л. Толстая. Она тогда стояла во главе учреждения, перевозившего за американский счет „перемещенных лиц" из Германии и других стран в С. Ш. А., устраивавшего их на работу — грамотных и неграмотных, академиков, грузчиков, изобретателей и судомоев. В этом учреждении за конторскими столами сидели служащие, и одна из них, записав мою фамилию, попросила меня подождать. Зная, как А. Л. занята, я намекнула, что могу уйти и прийти завтра, что мне не к спеху, но я ждала всего минут двадцать, не больше, когда открылась дверь кабинета и на меня строго посмотрела сквозь толстые очки очень полная, но какая-то ладная, мускулистая, подтянутая особа, с широким лицом, гладко причесанная, со следами „породы" и особой тщательностью в одежде: ясно было при первом взгляде на нее, что всё на ней добротное, чистое, даже хрустящее, выутюженное, как и она сама, с блестящим от хорошего мыла лицом, с лакированными бесцветным лаком ногтями и черепаховыми гребнями в старомодной прическе.

— Войдите, — сказала она, словно женщина-врач открывая дверь в приемную и впуская пациентку. — Садитесь, — сказала она опять, садясь к письменному столу и серьезно рассматривая меня с головы до ног. — Вы кто? Дочь? Племянница?

Я обомлела. „Переврали фамилию, — была моя первая мысль. — За кого она меня принимает?"

— Кого? — тихо спросила я, придумывая, как бы ее не поставить в неловкое положение.

— Писательницы.

У меня отлегло от сердца.

— Это я и есть.

Надбровные дуги поднялись — бровей было мало, — широкое лицо раздвинулось улыбкой еще шире. Открылись объятия двух сильных рук.

— Это вы? Это я вас полчаса ждать заставила?

Мы обнялись. Сорок лет тому назад я впервые увидела ее фотографию: вот в Астапове она идет за гробом, вот сидит в Крыму на скамейке под олеандрами, в канотье, а вот она за чайным столом в Ясной, корсет высоко подпирает ей грудь, галстучек повязан под подбородком, часики на цепочке заткнуты за пояс. Теперь она была передо мной.

Ходасевич когда-то рассказывал, что в московском Литературно-художественном кружке он играл в карты: налево от него сидел Достоевский, направо — Толстой, то есть Федор Федорович, известный знаток беговых лошадей и Сергей Львович — музыкант-композитор. Мне вспомнился этот рассказ в те минуты. Что-то еще оставалось в ней от той, в пенсне на цепочке, толстоносой, перетянутой широким поясом с огромной пряжкой. В тот день она повела меня завтракать в китайский ресторан, где мы засиделись часов до четырех, а в пятницу она повезла меня за город, к себе на ферму, где жила, и показала мне фотографии, среди которых я узнала и те, что видела когда-то. Да, втроем, с высокой, одетой в черное Софьей Андреевной, и с ним, уже в картузе, кое-как запахнувшим пальто от ветра, и другую, на скамейке над Черным морем; она смотрит на него, а он — в пространство, и наконец — ту, которую я никогда не видела, и почему-то мне кажется, что ее никто не видел, слишком она много в себе заключает, слишком много открывает: он в кресле, за год или за два до смерти, она — подле него; он обеими руками держит ее широкие, сильные руки, сжимает их, кажется, изо всех сил, а лицо его поднято и он смотрит ей в глаза, в близорукие, светлые девичьи глаза, своими колючими, страстными глазами, смотрит и не может оторваться, смотрит, и наглядеться не может, и рук не может разнять. На ней — корсет, галстучек, часики, ей замуж пора. А он вцепился и не пускает.

Я гостила у нее несколько раз. Вечерами, на закате, она выезжала на лодке на озеро, ловить рыбу. Я сидела на вес-

лах и смотрела на ее могучий, не женский силуэт, устойчивый, в плаще с капюшоном, когда она, стоя на носу, спиной ко мне, закидывала удочку, удивляясь, почему я не умею ловить рыбу, не умею играть в карты, не умею петь на два голоса, играть в четыре руки, танцевать вальс, как его танцевала когда-то молодежь в Хамовническом доме (пока он не запретил). Она всему этому бралась меня учить. Более всего неспособной я оказалась к картам. После рыбной ловли мы садились в гостиной, в большом доме (она жила в маленьком, и там же останавливалась и я), выходили две древние старушки, жившие на ферме на покое и вчетвером мы садились за „канасту". Я никак не могла уловить, что от меня требовалось, а так как игра шла с партнером, а партнером моим была обычно А. Л., то она сердилась на меня, называла „африканской бестолочью" и говорила, что мне нужно в нос продеть кольцо (это же говорил и Горький когда-то). Но А. Л. сама играла так хорошо, что мы почти всегда были с ней в выигрыше.

— Вот видите! — говорила я ей. — А вы говорите!

— Африканская бестолочь, — отвечала она. — Серьгу вам в нос. Варвар.

У нее были две собаки, он и она, черные красавцы-лабрадоры, которых она очень любила и которые любили ее. Однажды, когда я приехала, она призналась мне, что была так занята, что сегодня не успела расчесать им шерсть. Мы разложили собак на полу, сели тут же, и щеткой и гребнем стали их расчесывать. Это продолжалось долго. Но когда мы кончили и встали, собаки не захотели нас отпустить: им это понравилось, и они требовали, чтобы это продолжалось без конца. Они толкали нас, ложились нам под ноги, со вздохом лезли к нам на колени, клали лапы нам на плечи, заглядывали в глаза, тыкали головы нам в руки, махали хвостами по лицу. И мы снова и снова чесали их, чистили щеткой их мохнатые твердые животы, их шелковые хвосты и умные крутые головы. Соскучившись по животным, я наслаждалась в тот вечер не меньше их. „Как бы он наслаждался вместе с нами, — сказала она вдруг, распутывая какой-то клок, свалявшийся под одним из хвостов, — это было одним из любимых его занятий!"

Он был с ней повсюду. Ей было 27 лет, когда он умер, и 40 лет она прожила без него —целую жизнь. Но он был в ней жив, она не собиралась переоценивать свои чувства к нему, или пересматривать их взаимные отношения, или стараться со стороны взглянуть на него „трезво", — эти возможности она просто игнорировала. Все люди рано или поздно начинают судить своих отцов и матерей — одни в 15, другие в 25, третьи в 50 лет, но А. Л., судившей и осудившей свою мать (а позже снова внутренне примирившейся с ней) и в голову не могло прийти взглянуть на него иными глазами, чем теми, какими она смотрела в годы молодости. Я спросила ее как-то, кто был тот американец, который приезжал к Льву Толстому в начале нашего столетия и говорил ему об аграрной технике Америки, сказав, что стране вовсе не нужно, чтобы каждый сеял свой хлеб — и есть чья-то запись о том, что Толстой был взволнован этой новостью, узнав, что в С. Ш. А. 10 процентов населения легко кормит остальные 90. Он был взволнован и говорил, что об этом стоит подумать, но потом как-то забыл и не успел перерешить уже решенную им раз и навсегда проблему. А. Л. ничего не знала об этом. „Да ведь если бы он подумал над этим, он бы всё свое учение переделал!" — сказала я. Она ничего не ответила. Она не понимала, что меня это так беспокоит. „Ну а дневник его? Скажите, что вы думаете об этой ранней записи (1855 год), когда он двадцатисемилетний говорит, что хотел бы стать провозвестником новой религии?" Она ничего не думала. Напомнить ей о его записи 1851 года*) я не посмела. Я понимала, что и на этот вопрос мне ответа не будет.

В доме появился первый телевизор, и после карт мы с ней садились в кресла и смотрели какой-нибудь фильм, иногда не плохой, иногда глупый. Ее отрывали по делу заведующая хозяйством, управляющий домом, ее звали к телефону. Она крупными шагами спешила обратно, бросала свое тяжелое холеное тело в кресло. „Кто убил? Еще неизвестно? А злючку разоблачили? А красавец не женился еще?" Заложив ногу на ногу, закуривала папиросу. Когда на экране появлялись собаки, ее лабрадоры, лежавшие на ковре

*) Первая запись: 4 марта 1855 г. Вторая — 29 ноября 1851 года.

между нами, начинали рычать, и она говорила: „Вот дураки! На болонку зубы скалят. Того и гляди всех старушек перебудят". И лабрадоры били хвостами по нашим ногам.

И в самом деле: почему я не умею ловить рыбу, думала я, вспоминая, как в Швеции, в шхерах, я присутствовала на вечерней заре, переходившей в утреннюю, при священнодействии Греты Герель и фру Асплунд (у которой гостила), когда закидывалась леска в абсолютно неподвижную серебряную воду и поплавок не колебался в ней, пока внезапно не исчезал в своем серебряном круге и через секунду — один взмах руки — и щука, как птица, взлетает на воздух. Изредка продолжая читать объявления в „Нью-Йорк Таймсе", я нашла там одно, совершенно мне непонятное. Вот его загадочный текст: „Елена III. Уходит в 8. Обратно в 6. Приносить свой завтрак. Цена 3.50 включая инструмент". Елена, да еще третья, и инструмент сбили меня с толку. Может быть это был парусник или рыбачья шхуна, или бригантин? Я ходила с этим объявлением ко всем, но никто не мог мне объяснить, что оно значит. Наконец объяснил живший рядом со мной сыщик. Он сказал мне (на идиш, но я поняла), что это одно из многих рыбачьих судов, которые выходят в конце 23-ей улицы и Ист-Ривер в Атлантический океан. Они берут пассажиров, страстных рыболовов, снабжают их вполне приличными удочками и потом делят пойманную рыбу: меч-рыбу, камбалу — но тут уж я перестала понимать его, так как в названиях рыб на идиш я не сильна. Но расставляя руки то так, то эдак, сыщик дал мне понять, что рыбы бывают не маленькие, размером с молодого козленка, например, и если я привезу такую рыбу даме, сидящей за кассой в нашей гостинице, то это мне зачтется, потому что она не кто иная, как сама хозяйка отеля.

Может быть сделаться рыболовом? . . . День был жаркий, Фаренгейт показывал 93°, но когда на узкой, старой шхуне мы вышли в океан, мы попали в тяжелый, холодный туман, от которого сразу всё намокло. Общество на Елене было совершенно бесклассовым: кроме капитана, красивого, старого человека, с обветренным лицом — как и полагается капитану — и трех-четырех человек команды, нас было не более пятнадцати. Был изящный седой господин в велико-

лепном рыболовном одеянии и две его молодые дочери, все трое с роскошными собственными удочками. Из их разговора с пассажирами я поняла, что вчера они тоже ходили на рыбную ловлю (но на Маргарите) и завтра опять собираются в море. Было ясно, что они ничего другого в жизни не делают ни по праздникам, ни по будням. Было два негра, из которых один был старый, с большими желтыми зубами и белыми кудрями. Затем были три старушки в шляпках, им особенно везло на камбал, отчасти похожих на них, и еще несколько человек — профессиональных рыболовов. Они страстно обсуждали качества Елены Третьей, критиковали капитана, скептически относились к рейсу, который мы делали, уплывая всё дальше и дальше за Лонг-Айланд.

Старый негр начал страдать морской болезнью еще до меня и вскоре нас обоих уложили на канатах в трюме, капитан послал нам порошки, от которых мы оба заснули рядом, а когда проснулись, то помощник капитана не захотел взять с нас денег за путешествие и наградил нас за наши страдания двумя огромными рыбами. Рыболовное судно теперь возвращалось в Нью-Йорк. Я опять увидела городское (готическое, кубистическое, конструктивистское) марево, выйдя из ледяного тумана в дрожащий, сверкающий зной июльского дня. И я еще раз увидела его сверху, когда небольшой шестиместный аэроплан закружил меня над ним, после полета к канадской границе. За рулем его сидел собственник самолета, летчик и герой двух войн, а теперь испытатель вертолетов, понесший меня сперва на север, потом обратно, вдоль пролива между Лонг-Айлендом и берегом Новой Англии и теперь круживший над огромным городом, в центре которого лежало зеленое пятно парка, а по бокам, как жилы, шли воды Гудзона и Ист-Ривера. И еще я увидела его снизу, когда на небольшом пароходике объехала его, под всеми его мостами — железнодорожными, автомобильными, пешеходными и теми, по которым бежит выходящая наружу подземная дорога. С тех пор я подъезжала к нему не раз со всех его шести или восьми сторон, по дорогам, где идут в обе стороны по пяти автомобилей в ряд.

Прошел месяц со дня моего приезда. Я едва успела осмотреться, как М. М. Карпович позвал меня в Бостон. Он жил тогда в предместье Бостона, в Кембридже, на набережной реки Чарльз, в доме, сданном ему Харвардским университетом, где он читал русскую историю. Я несколько раз видела его в Париже, где он бывал с женой до войны, а один раз он даже прожил полгода под Парижем с Т. Н. и четырьмя детьми. От этого времени у меня остался в памяти один вечер: мы с Ходасевичем приехали к ним в Кламар и сидели внизу в большой комнате. Т. Н. спросила меня, не хочу ли я посмотреть детей. Я ответила, что хочу, думая, что она поведет меня наверх, в детские. Но она ушла одна, и стала сносить на руках по очереди всех четырех, и уносить их, — сначала двух мальчиков, из которых один был уже довольно большой и вероятно тяжелый, затем — девочек. Все они крепко спали и снесенные вниз и вновь унесенные так и не проснулись. Старшую девочку звали Наташа, ей было тогда года четыре, а теперь ей было 24, и она и ее приятель, харвардский студент, заехали за мной поздно ночью и мы помчались на автомобиле в Бостон, куда приехали в шестом часу утра.

Дом был старый, просторный, с разбитым роялем в гостиной, на котором Михаил Михайлович вечером играл старинные венские вальсы, напевая их тихонько самому себе под нос. Говорят, он был в молодости франтом, любил танцевать и ухаживать, но сейчас это был лысоватый, рыжеватый, с круглым животом пожилой человек, которого дома перегружали заботы домашние, а в университете — административные. Будучи в 1950-х годах редактором эмигрантского „Нового журнала", он тонул в чужих рукописях, в ворохе неотвеченных писем, в счетах. Кабинетик его находился где-то под лестницей, и там всё было в большом беспорядке, главным образом из-за тесноты. Он не оставил после себя исторического труда, как полагается историку, — у него было слишком много работы, забот, слишком много интересов — к новому искусству, к литературе, к людям всевозможных профессий, возрастов и состояний, — и какая-то еще была печаль внутри, которой он не давал ходу и которая только изредка угадывалась в его тонком юморе, в его игре на рояле, под мурлыканье сладких

штраусовских вальсов. И всегда мне казалось, что у него нет времени не только писать „труды", но и поговорить с человеком спокойно, так, чтобы не смотреть на часы или, например — уехать куда-нибудь, где можно было бы посидеть сложа руки, а надо всё время держать в уме какие-то неотложные и всегда запутанные журнальные и факультетские дела, непременно ответить сегодня же на письмо такого-то, лежащее на столе (но где?) уже недели три, или ехать в Нью-Йорк, чтобы повидать такого-то, пока он не уехал в Европу обратно, позвонить по телефону профессору X, чтобы помирить его с профессором Y, иначе весь Харвардский университет даст крен, и так далее, и так далее. К концу жизни он стал глохнуть, жена его постепенно начала проявлять признаки тяжелой душевной болезни и, долго проболев, видимо — раком желез, к которому прибавился туберкулез, этот драгоценный человек умер. Он любил смех, молодость, всё новое, что приносилось жизнью, но оно больше проносилось мимо него, и в последние годы, может быть благодаря глухоте, он стал мурлыкать всё больше, словно была в нем музыка, которая рвалась наружу, но не было ни времени, ни сил, ни способа ее передать. Его смерть была ударом для „Нового журнала" и для всех, кто группировался вокруг него.

Мы приехали в Кембридж утром, выпили кофе, и М. М. повел меня в университет показать библиотеку и благородные, старые здания Харварда. Впервые я увидела американский университетский „кампус". Стояла зима, предрождественское время, лекций не было, и студенты были в разъезде. Роскошь библиотеки, кабинетов, лабораторий, аудиторий, доступность всего, удобство, комфорт, тишина, свободные пространства поразили меня. „Для королей, не для простых смертных", — сказала я, вспомнив очередь в Национальной библиотеке в Париже. „Для американских студентов, — сказал М. М., — и, знаете, я пришел к одному заключению: какая категория людей по вашему самая счастливая на нашей планете?"

Я не знала. „Во всяком случае — не российские писатели и не китайские кули", — ответила я.

Он засмеялся:

— Это — американские студенты. Вот узнаете ближе американскую жизнь и вспомните мои слова.

Мы пили кофе в студенческом кафе, он напевал, по обыкновению; было пустынно и тихо, как во время каникул бывает на американских „кампусах". Когда мы пришли домой, там уже был Роман Осипович Якобсон. Я была тронута его приходом: мы не видались с Праги, с 1923 года, то есть 28 лет. За это время он успел занять первое место среди мировых ученых-славистов, пропала его розовость, но голубые глаза остались те же, памятные мне по тому ужину у Шкловского в Берлине, когда Якобсон закрывал один глаз и требовал, чтобы я смотрела только в другой. Сейчас это была радостная для меня встреча, мы оба старались не говорить о том, что могло нас разделить, что могло вызвать спор или горькие слова: я знала, как знают все, кто читал его книгу о Маяковском, что он ненавидит Ходасевича за его статью „Декольтированная лошадь" (о поэзии Маяковского). Только в 1962 году (то есть еще через одиннадцать лет), встретив Якобсона на одном обеде и сидя рядом с ним, я спросила его: ну, как, всё по-прежнему его терпеть не можете? И он ответил мне мягко: всё это так давно было. Ничего от этого не осталось. И так как он был когда-то „формалист", а все формалисты по своему характеру неисправимые романтики, то я заметила, как его — уже не такие ярко-голубые, а чуть сине-серые глаза — подернулись легким, мгновенным туманом.

Ей было четыре года, а теперь стало двадцать четыре. Наташа, увидев, как я живу в Нью-Йорке, предложила мне снять пополам с ней квартиру по близости от Колумбус авеню. Самым серьезным доводом ее было: удобно будет стирать. Действительно, стирка занимала в нашем хозяйстве довольно большое место: каждое воскресенье в ванной на веревке висело семь пар ее штанишек, семь пар чулок (за неделю) и время от времени — лифчик или два. По понедельникам мы клали в коробку на камине одинаковое количество денег и тратили их сообща. Когда в субботу бывал остаток, мы на эти деньги шли с ней в кино. За моими гостями убирала она, за ее гостями — я. В тот год я делала кое-какую работу для А. Л. Толстой.

В квартире было три комнаты: „моя", „твоя" и „общая". Вечерами я уходила к себе и читала, и ложилась рано. У Наташи сидела молодежь: они слушали пластинки Бартока, курили, разговаривали, иногда они будили меня, стаскивали с кровати и уговаривали посидеть с ними. В час ночи все бывали голодны, но по американскому обычаю, когда гости голодны, они сами идут на кухню, открывают холодильник и ищут подходящую себе пищу, а потом убирают всё за собой, моют посуду и возвращаются к хозяевам. „Ты бы сыру им дала с красным вином, — предлагала я Наташе, — или колбасы".

— Они молока выпьют, — беззаботно отвечала она. И в самом деле, молодые харвардцы пили молоко и ели печенье, а потом опять слушали Шенберга и Бартока.

К одному из них мы поехали летом на берег моря, им и его женой была снята дача. Там тоже стояла коробка на полке и кому бывало нужно — брали и тратили, а раз в неделю мы всем домом отправлялись на машине за хозяйственными покупками. В тех местах сейчас — один модный пляж за другим, но тогда там было дико и пустынно, был только песок, и океан, и рыбаки, выходцы из Португалии, и можно было ночью разводить костер на берегу громко ревущего океана, и жарить на огне сосиски, а потом спать на песке под звездами.

В этот второй год моей жизни в С. Ш. А. у меня было два кризиса: первый в связи с каким-то сном, который снился несколько раз подряд. Кто-то приходил — и я радостно вставала ему навстречу, но он (или она) говорил: не сейчас. И исчезал. Или говорил: не сейчас, но через десять лет. Или ничего не говорил, поднимал руку и уходил. Второй кризис был пятиминутным: это был страх, охвативший меня где-то на Бродвее, недалеко от Чемберс стрит, в незнакомом месте, где я оказалась впервые — шла держать корректуры в русскую типографию. Небоскребы скрылись, небо в тучах сделало улицы темно-серыми, какой-то странный купол был виден из-за железной крашеной в зеленый цвет крыши. На углу желтое здание было подперто белыми облупленными колоннами, и я увидела себя стоящей посреди Садовой, где-то за Гороховой. И в ту минуту, когда я хотела уже в полном сознании подчиниться кошмару на яву и повер-

нуть к Екатерининскому каналу, чтобы выйти на Казанскую, я поняла, что это вовсе была не Садовая, а угол улицы Рокетт и бульвара Пармантье. Впрочем, оба эти кризиса были связаны несомненно с тем, что я в это время давала кровь и поллитра крови, выцеженные из меня, оба раза довели меня до несвойственных мне галлюцинаций.

В этот же год я дружила с Джессикой. Она позвонила мне однажды по телефону. Она знала, что я едва говорю по-английски, назвала свою фамилию по буквам и потом закричала в телефон: „Шекспира, Шекспира вспомните! Не Офелия, не Корделия! Не Дездемона! Из Венецианского купца! Вспомнили купца?" Она сказала мне, чтобы я пришла к ней обедать; ей обо мне звонила по телефону ее сестра, живущая в Филадельфии, а той сказала обо мне ее подруга, которая видела меня где-то в гостях. „Но вы же меня не знаете? — забормотала я, как умела. — Как же я приду обедать?" „Вы совсем одна и только что приехали, и вам практика английского языка нужна". „Я — ничего, не пропадаю, мне здесь даже нравится", — я тоже кричала, я всегда заражаюсь криком, когда кричат в телефон. Но Джессика настояла на том, чтобы я пришла и именно обедать, и последними ее словами было: „Не забудьте про купца!"

У нее оказалось длинное, правильное лицо, вся она была плоская, стройная, носила большие шляпы, из-под которых выбивались пышные золотые волосы, и возраст ее был неясен: где-то между тридцатью пятью и сорока пятью. Она говорила громко, ругала со вкусом всех политиков, Эйзенхауэра и Трумана называла по именам, а в ночь, когда Стивенсон был забаллотирован в президенты, с горя выпила лишнее и разбила прелестную штучку венецианского стекла, которая стояла у нее на столе. „Она к вам перешла от купца", — сказала я о штучке.

Доброта и терпение ее были удивительны. Она была женщиной светской, любившей общество интересных и даже знаменитых людей — особенно политических: дипломатов, депутатов конгресса, сенаторов и тех, что вьются вокруг них. Она умела принять десяток людей в небольшой своей квартире (обедали у нее без стола, на подносах, на которых кроме тарелки с едой, стояли и стакан для вина, и

миниатюрная солонка и перечница — как два наперстка). Она приглашала меня к себе часто, водила в театр, в рестораны, и с ней я начала говорить по-английски всерьез — до сих пор я старалась избегать этого. Вечерами я теперь ходила в школу, где были классы, одни — для начинающих и другие — для тех, которые, зная язык, хотели бы обогатить свой словарь. Я записалась именно в этот класс, чтобы „обогатить свой словарь". Но когда через два месяца групповых уроков начались практические занятия, энергичная, суровая молоденькая учительница не могла поверить своим ушам, услышав мое чтение восьмой главы „Потерянного рая".

— Позвольте? Откуда вы? Как вы сюда попали? Вам надо в комнату рядом, там начинающие. Вы не можете здесь . . . Кто вам позволил?

Но после урока я объяснила ей, что получаю необыкновенное, ни с чем не сравнимое удовольствие от Мильтона, которого она объясняет, и попросила оставить меня в покое, разрешив присутствовать в ее классе. Она недоверчиво посмотрела на меня, пожала плечами и решила видимо про меня забыть.

Джессика сказала: „С вами всегда что-то происходит. С европейцами всегда что-то происходит". Но и с ней произошло нечто, что в корне изменило ее судьбу: она, от нечего делать, написала рассказ, взятый, конечно, из собственной жизни. Написала она его в два вечера и послала в один из тех американских журналов, которые расходятся в миллионах экземпляров. Рассказ был принят, ей была заплачена крупная сумма, сюжет по телефону был продан в Холивуд для кино, и она была приглашена говорить по телевидению на программе „Наши знаменитости". Когда я к ней пришла она мне показала несколько сот читательских писем, где ее умоляли продолжать. Но самым главным было письмо от редактора журнала, напечатавшего рассказ, который требовал теперь либо серии, либо целого романа.

Джессика решила скрыться на время из Нью-Йорка. Я пыталась дать ей несколько советов, как Флобер Мопассану, но из этого ничего не вышло, так как я сама в советы не верю. Она уехала и скоро вышла замуж.

В то время я уже ходила по утрам к миссис Тум, а вечерами читала книги из библиотеки: романы, критику, историю, философию. антропологию, психологию... Успех в новом языке, как известно, бывает ступенчатым: неделю — ничего, и вдруг — толчок, и тебя выталкивает из тупости и рассеянности в понимание и овладение новыми формами. Так было и со мной.

Миссис Тум искала секретаршу, но не совсем обычную Она искала секретаршу для своей личной корреспонденции. Переписку она вела на четырех языках и среди людей, которым она писала, были Альберт Швейцер, Гарри Купер, два сенатора, Фуртвенглер, нобелевский лауреат по ядерной физике, вдова известного французского философа и какой--то русский изобретатель, живший в Лондоне. Она спросила меня, могу ли я печатать на французской машинке? Могу, — ответила я. — А на русской? — Тоже могу. Она удивилась и обрадовалась, потому что до этого не знала никого, кто бы мог печатать на русской машинке. Машинка была немедленно куплена. „А как насчет немецкой машинки?" Подумав немного, я сказала, что и это возможно, если она мне сначала продиктует письмо. Об английской она не спросила, решив, что я не могу же не знать таких простых вещей. В первый же день мне попалось, среди других бумаг, письмо Швейцера, где он благодарил миссис Тум за присылку крупной денежной суммы на перекрытие одного из бараков для прокаженных. Это был барак, которым, как я поняла, миссис Тум специально занималась. Теперь вместо соломы положили железо. Миссис Тум только что вернулась из Африки и не могла примириться с тем, что этот барак крыт соломой.

На второй неделе пришел фотограф, который принес ей три катушки проявленных снимков, снятых ею в Ламбарене. Я помогла установить экран, окна занавесили, и мы сели с ней смотреть фильм — она беспокоилась, всё ли в порядке. Но оказалось, что фотограф нечаянно вклеил в ее ленту какого-то чужого слона.

— Откуда вы взяли этого слона? Из чужой катушки? Львы — мои, бизоны — мои, а слона у меня не было. Уберите слона. Отдайте его тому, кому он принадлежит. Мне чужие слоны не нужны.

Прокаженные. Швейцер. Она с прокаженными. Она со Швейцером. Я спросила, как она доехала до них. Был ли у нее автомобиль или самолет?

— Прилетела в Африку, взяла такси и доехала, — сказала она.

На третьей неделе в гости к ней пришли ее внуки. Курносенькие, бледные, они сказали: „Здравствуйте, бабушка" и остановились в дверях, копая в носу.

— А! — сказала она. — Вы завтракали?

— Да, но мы голодные, — ответили внуки.

— Раз вы завтракали, вы не голодные, — сказала бабушка. — Мы поедем сейчас смотреть Эмпайр Стэт Билдинг. — Она пояснила мне, что полтора года тому назад она обещала их сводить туда, но всё не было времени.

— Мы голодные, — повторили внуки.

Я отложила письмо, которое печатала (Фуртвенглеру, подтверждавшее обещание какой-то стипендии молодому флейтисту) и спросила, не могла ли бы я дать им по стакану молока и по булочке?

— Никаких булочек. Они всё врут. Я поведу их теперь на Эмпайр Стэт Билдинг.

И они ушли. А когда они вернулись и я спросила мальчиков, получили ли они удовольствие (сама я туда ходила раза три и глаз не могла оторвать от нью-йоркского горизонта), они ответили:

— Нет, не получили, потому что мы были голодные.

Миссисс Тум мною была довольна. Русскому изобретателю я сочиняла письма сама, на новеньком Гермесе:

„Уважаемый Семен Петрович!

Сумма, которую Вы с меня требуете для Ваших опытов по очищению морской воды от соли, слишком велика. Я посылаю Вам сегодня (через банк) ровно половину. Что касается залежей марганца на Северном полюсе, то для этой экспедиции необходимо заручиться согласием канадского правительства: я в конце месяца буду в Оттаве и там постараюсь переговорить с премьер-министром о Вашем проекте . . ."

— А он не жулик?

— Он — мой старый друг, — возмущенно ответила она.

— Не премьер-министр, а Семен Петрович.

— Не думаю. — Наступило молчание.

— Какие красивые имена у вас, у русских, — сказала она мечтательно, — Семен Петрович! Прелестно!

Семен Петрович писал ей письма от руки, писарским почерком, называя ее „высокочтимой мадам". Я однажды намекнула, что было бы хорошо, если б он прислал свою карточку — по фотографии мы могли бы наверное составить себе мнение об этом человеке, который начинал меня беспокоить.

— Как вы самоуверенны! — сказала миссисс Тум. — Уж не считаете ли вы себя физиономисткой? Думаете по фотографии узнать характер человека?

Я стала выражаться осторожнее, когда дело касалось Семена Петровича. Но постепенно я начала замечать, что миссисс Тум беспокоит что-то. Наконец, состоялся следующий разговор:

— А по-итальянски вы можете?

Я думала несколько секунд и решила ответить правду:

— Данте могу читать только со словарем.

— Данте Алигиери, 1265—1321, — безучастно сказала она. — Четыре раза в год я посылаю одной сиротской школе в Калабрии продукты и вещи . . . А по-шведски?

— По-шведски чуть-чуть. Вышло так, что это оказалось по-норвежски.

— По-норвежски? Кому нужен норвежский язык кроме норвежцев?

На это я не знала, что ответить.

Ей был нужен шведский язык, потому что у нее был свой кандидат на Нобелевскую премию, и она время от времени напоминала о нем секретарю Королевской академии. „Кто?" — и я начала в уме перебирать имена.

— Не писатель. Химик!

И вдруг замечательная мысль осенила меня:

— Но, миссисс Тум, — сказала я, — по-шведски надо совсем другую машинку, там а и о с такими кружочками, вроде дырочек. Без них ничего напечатать нельзя. Должны быть кружочки.

— Соедините меня с Гермесом, — сказала она, указывая на телефон. Они завтра же пришлют шведскую машинку.

„В ней есть частица мирового абсурда, — думала я, — как и во мне самой. Значит, мы чем-то похожи. То, что я здесь — тоже есть абсурд, и значит — часть мирового абсурда. И я должна со своим собственным абсурдом как-то ужиться с чужим абсурдом. Уместиться в нем".

Это уже было когда-то, когда мне необходимо было „улечься в чей-то абсурд", „уместиться в нем" и со всем мировым абсурдом попасть в ногу. Когда? Когда мне в московском гастрономическом магазине дали бутерброд? Или когда в день взятия Берлина я смотрела как д-р Серов вынимает из моего уха щипчиками кусочки серого вещества?

Иногда после завтрака миссисс Тум не отпускала меня. Бывали дни, когда она держала меня до вечера. Изредка приходили ее знакомые старушки и пили коктейли, и тогда в ее голосе появлялись угрожающие нотки.

— Прелестная квартира! Прелестные коктейли! Прелестная секретарша! — ворковали старушки.

— Я вашего мнения не спрашиваю. Пейте и закусывайте. Для этого вас позвали.

После месяца моей работы у нее, миссисс Тум пригласила меня в японский театр Кабуки. И когда я при выходе из театра поблагодарила ее, она удивленно подняла брови:

— Но ведь это кончилось, прошло, что же об этом говорить?

Весной она предложила мне план: всё бросить, ликвидировать квартиру и ехать с ней в Нью Хемпшайр, где у нее имение. Там мы будем разводить розы.

Нет, на это я не была согласна.

— Ну, не розы, — сказала она. — Тюльпаны.

Но я отказалась и от тюльпанов.

Она всхлипнула раза два, но размякла только на минуту. В следующую она уже говорила со мной тоном вахмистра с рядовым:

— Тогда убирайтесь.

И я убралась. А на следующее утро в семь часов она позвонила мне и сказала, что она находится в ужасном состоянии, так как она накануне потеряла книжку, которую читала, полицейский роман; она дочитала его до половины и теперь не знает, кто убил? Она забыла название

книжки и теперь осуждена до конца жизни не знать: к т о у б и л?

— Я старая дура, — сказала она твердо в телефон. — Найдите книжку, умоляю вас, найдите старой дуре книжку.

Но найти книжку я конечно не могла, и мы расстались с ней на этой щемящей ноте.

Я дружила тогда с В. Л. Пастуховым, пианистом, педагогом и отчасти поэтом, проживавшим между двумя войнами в Риге, имевшим там музыкальную школу. В десятых годах он жил в Петербурге, хорошо знал М. Кузмина, Г. Иванова и других, бывавших, как и он, в Бродячей собаке, в Привале комедиантов. Он внес в мою жизнь какую-то забытую патербургскую ноту, которую лично я знать не могла, но которая прозвучала мне в 1921 году, когда она растаяла в воздухе революционного Петербурга. В свете пережитого Россией вся эта часть „петербургского периода" нашей поэзии кажется сейчас тронутой каким-то тлением, кажется бескровной, обреченной с первого дня существования. Но причина этой обреченности была не в ее теоретической слабости, то есть не в анемичности ее принципов (впрочем, неосуществленных), а исключительно в слабости, анемичности, легкомыслии и „мимозности" ее представителей. Теории ведь были не чужды в свое время и единичным крупным поэтам-акмеистам (Ахматовой, Мандельштаму и Гумилеву), но сделав только один шаг от центра к периферии мы попадаем в какое-то всеобщее расслабление, размягчение и даже в какую-то антисилу, антитвердость, нетерпимость к ясному рисунку, точному слову (а именно за точность слова было когда-то поднято их оружие), нетерпимость к сильному голосу, считавшемуся акмеистами до конца их жизни чем-то даже не вполне пристойным. Потому-го, в сущности, любя Гумилева как человека и „отца" движения, они не любили его стихов, которые для них „слишком громко гремели". Недаром при последнем нашем свидании в Париже, в 1965 году, Г. В. Адамович с раздражением сказал мне, говоря о Набокове: „не люблю бойкости". Это же не раз он говорил и о Цветаевой. Но разве бойкости не было в Пушкине? — спросила я. Он признался, что и от пушкинской бойкости его иногда коробит. Расхлябанно и коряво написанный роман, „в котором что-то есть" (любимое его

выражение), для него всегда был дороже, сказал он, чем отшлифованные, уверенные в себе вещи.

Пастухов бойкости тоже не любил, в том смысле, в каком это слово понимается Адамовичем. Не любил уверенных в себе виртуозов и слишком громко читающих свои стихи поэтов, любил говорить, что в своих суждениях никого ни в чем не хочет убедить и за справедливостью не гонится. Он был частым гостем в нью-йоркском „салоне" М. С. Цетлиной. Если в Париже люди, приглашавшиеся ею, были друг с другом в давних, часто еще московских отношениях, то теперь все были — случайно собранные, по признаку . . . впрочем, признак не всегда бывал ясен. Вспоминалось острое словцо Ходасевича, что настанет для эмиграции день, когда литераторы будут сходиться друг с другом по тому признаку, что еще способны распознавать ямб от хорея. Однако, не все гости М. С. обладали этой способностью. Они, сказать правду, теперь не столько сходились, сколько отличались друг от друга весьма существенно. И разделялись по совершенно другим линиям, чем это когда-то было в Париже.

Там прежде всего был раздел поколений, затем был раздел политический: правый и левый, то есть монархический (с которым общения не было) и так называемый социалистический (довольно, впрочем, приблизительно). Там можно было почувствовать москвича и петербуржца или бывшего столичного жителя и провинциала, человека, прошедшего гражданскую войну, и человека, прошедшего университет. Здесь эти категории не существовали. Здесь дело шло о том: когда ушел из России? В 1920 году? В 1943-ем? Когда оказался в Америке? В 1925 году? В 1939-ом? В 1950-ом?

Но было еще одно деление, которое для меня было важнее, чем все остальные: независимо от того, сколько лет человек жил в западном мире, у одних была потребность брать всё, что можно от этого мира, в других же была стена, отделявшая их от него. Они привезли сюда свой собственный, лично-семейный, складной и портативный нержавеющий железный занавес и повесили его между собой и западным миром. Они иногда скрывали его, иногда выставляли напоказ, но чаще всего просто жили за ним, не любо-

пытствуя, что находится вокруг, по принципу „у нас в Пензе лучше".

Во Франции таких было немного, а какие были, в основу жизни на Западе часто клали компромисс: в Пензе было лучше, а теперь волей-неволей приходится менять свои интересы и вкусы, и меняться самим — увы! Франция сильнее требовала подчинения себе, часто насильно меняла людей, перерождала их — хочешь-не хочешь — так, что они порой и не замечали этого процесса. Много для этого было причин: была традиция русских европейцев, живших в Париже когда-то; была французская литература, так или иначе вошедшая в сознание даже полуинтеллигента еще в школьные годы; эмигрантские дети, растущие во Франции и приносящие в семью навыки новой страны; и даже у некоторых, у немногих — какие-то воспоминания об отцах и дедах, ездивших сюда, привозивших отсюда в Россию что-то, чего в Пензе почему-то не было. В Америке дело обстояло совершенно иначе: традиции ездить сюда никогда не было; напора, какой был у Франции — подчинять своей культуре обосновавшихся в ней русских у Америки быть не могло; литература (живопись и музыка) были приезжим почти незнакомы; эмигрантские дети не только не несли в семью новые навыки, но, благодаря принципам американской школы, уходили в своем протесте против первого поколения всё дальше, туда, где всё, что им дается с такой щедростью, встречает дома либо насмешку, либо протест. Круг русских в Нью-Йорке, и „старый", и „новый", состоял в большинстве из провинциалов (в Париже было наоборот) и сохранение „пензенской психологии" было среди них в большой силе. Те, что спешили войти в американскую жизнь, конечно, даже не оглядывались назад на этот круг. Они, так сказать, торопились перепрыгнуть из первого поколения во второе или даже в третье, и на этом кончалась их искусственная „русскость".

Но слишком многие жили за своим железным занавесом или, лучше сказать, — за бабушкиными ширмами (а все знают, что там наставлено и чем там пахнет), куда вовсе не проникал свет огромной, сильной, современной молодой страны, поражающей своей щедростью и энергией, которой — именно за ее способность расти, как Гвидон, — они не

доверяли и даже побаивались ее: она могла — страшно сказать! — подавить их национальную гордость. Потому что — и пора это сказать — С. Ш. А., шагнувшие за пятнадцать лет так, как в истории принято было шагать за пятьдесят, одним своим существованием подавляют гордость других стран, из которых, вероятно, ни одна не может на равных началах с ними тягаться. За пятнадцать лет они полным ходом проделали путь от центра внешней неподвижности к центру глубоких внутренних перемен, а это для мещанского сознания и обывательского глаза и невероятно, и жутко. Много за эти годы было достигнуто, и самосознание народа стало залогом его жизнеспособности. Многие его потребности еще не удовлетворены. Самая основа государственных учреждений подвергается натиску и самые фундаментальные принципы их — пересмотру. Эта латентная Революция волнующа и опасна, она пришла неожиданно и застала многих неподготовленными. Моих соотечественников, которые этого не понимают, я, в первый же месяц по приезде в С. Ш. А., не колеблясь сбросила за борт моего корабля. Их основные признаки для меня: невозможность одолеть язык, неумение сойтись с американцами (или отсутствие интереса к ним), судорожное цепляние за остатки „русской общественности" (термин, потерявший всякое смысловое наполнение), религия, отзывающая семнадцатым веком, и поиски „себе подобных". Вся эта бытовая, родовая и племенная труха была ими привезена с собой и теперь развешивается внутри и вокруг себя.

На старом месте, в 1950 году, мне не хватало друзей, работы, книг и личного счастья. Теперь я стала жить на новом месте. И так как всё меняется, и я сама менялась, и мои цели и поиски менялись, то вышло так, что и эти четыре элемента тоже изменились, и я нашла их, я получила их, но совсем не такими, какими они мне представлялись в Париже.

Мы меняемся, и желания наши меняются, и странно было бы стремиться всю жизнь к чему-то одному, словно это неподвижный горный пик, к которому направляется альпинист. Есть живая многоярусная перспектива и мутации идеала, когда то одно, что было когда-то, уже не одно, не то же самое. Оно было одним, когда мне было

двадцать лет, и другим, когда было сорок, и наконец теперь приобрело совсем новые черты. Ведь оно не существует, его нигде нет, я не шагаю к нему бодрым шагом, и оно не ждет меня, каменное и неподвижное, где-то вверху, — оно во мне самой. В движении моей жизни, которая во мне, я двигаюсь, и оно движется тоже. Сегодня это колодец, куда я заглядываю, завтра это что-то, что должно упасть в мою ладонь, послезавтра — я лягушка, сбившая масло в молочной крынке. То я была Товием, то Ангелом, то Галатеей, то — может быть — самим Пигмалионом. Эти образы не каменели передо мной, вынуждая меня ловить их, воплощаться в них, они вибрировали вместе со мной, в моей сложной и вместе с тем очень скромной судьбе. Четыре элемента, которых мне не хватало в послевоенной Европе, здесь, в Америке, переродились, как и я сама. Я никогда не хотела их незыблемости, их монументальности, я хотела их такими же текучими, как текуча была я, когда менялась — каждый год, или пятилетие, или каждый день новая и другая.

И прежде всего — люди. Да, их в первые годы было здесь немногим больше, чем в Париже в мой последний день. Но в мутациях идеала доступность людей вокруг стала для меня чертой первостепенной, их открытость, их готовность меня принять; это обернулось чем-то особенно драгоценным и необходимым на данном этапе жизни. Как когда-то в России, здесь было возвращено чувство контакта и возможности контакта со всеми, особенно когда их язык стал моим. Я не только абстрактно, но вполне конкретно почувствовала возможность „принадлежать" всем и „обладать" всеми. И друзья нашлись, потому что эти контакты мои так бесконечно расширились, сначала от семи различных профессий, а потом и от последней, восьмой, ставшей уже основной и постоянной. И это приводит меня ко второй причине моего отъезда — к работе, к тому новому делу, о котором я раньше не думала, которого не было даже в моем детском списке. Ремесло мое тоже не оказалось незыблемым, как каменная скала. Впрочем, эта несчастная каменная скала ведь тоже зыблема, как нам недавно сказали ученые.

И вот я не переменила профессию, но на основе одной начала другую, благодаря старой — вышла в новую. После трех рассказов, пьесы, стихов, написанных в Америке в первые годы, я постепенно передвинула мой основной интерес в новое направление, туда, где лежит всё та же русская литература, в тесном единении с которой я прожила сорок пять лет, но где теперь для меня важны иные ее стороны: „художественное творчество" вот уже тридцать пять или сорок лет находится в России на ущербе, но за последние годы начала возрождаться к жизни, во всей ее новизне и сложности критическая и аналитическая мысль. Что-то отсюда получить и передать другим мне кажется не только возможным, но и захватывающе-важным.

И всё это связано самым тесным образом с третьим элементом, о котором я говорила выше: с книгами, в которых живет дух времени, с книгами, с которыми я продолжаю жить и которые продолжают учить меня думать, может быть еще интенсивнее, чем в молодости, потому что я лучше научилась читать их. Они кормят меня — в том смысле, который придавали этому слову Платон и Данте; свою пищу я получаю от великих мыслителей м о е г о века — иногда поэтов и романистов, но чаще критиков-мыслителей, критиков-интерпретаторов, социологов, историков... Через новый для меня язык я пришла к ним и нашла в них тот н а с у щ н ы й хлеб, которого сейчас нет ни в какой другой стране мира. И этим заполнился тот печальный, сушивший и обеднявший меня пробел, который я так остро ощущала в сороковых годах. Здесь в невероятной, почти сказочной, роскоши лежат вокруг меня сокровища, только малую часть которых я успею использовать. С ними ничего не страшно, ничего не скучно, с ними всегда приходит та радость, которой больше всего завидуют люди, которые ее не имеют. И здесь, значит, тоже произошла мутация идеала и каменная скала сдвинута с места, как ей и полагается.

Но что сказать о личном счастье? Эта сторона моей жизни больше всех других претерпела изменения с годами, потому что она глубже всех остальных была связана с переменами во мне самой.

Н е д в и ж и м о г о имущества, как известно, не бывает: сирень вытягивается и ложится на крышу дома, глуша

березы; крыша проваливается; в кухне, где пеклись пироги, свивает гнездо птица; летучие мыши повисают на дедушкином портрете. И мы сами сегодня не те, что были вчера, то, что оживает в нас утром, иное чем то, что уснуло вечером. И меняются не только наши требования, но и наши возможности — когда они в гармонии — и наши силы. Фантазии меняют не только свои очертания, но и самые свои темы. И цели сдвигаются, и — если они есть — страсти и потребности, честолюбие и самоутверждение перерождаются тоже, и та точка в центре, к которой стремится весь механизм, словно созвездие, перемещается незаметно для простого глаза; важное становится уже не совсем важным и главное — не совсем главным. Всё сдвинуто и находится не там, где стояло еще десять или пять лет тому назад. И странно было бы тянуть это созвездие к его прежнему центру, странно и противоестественно было бы водворять его в геометрическом рисунке данного часа в тот „угол А", из которого на нас еще недавно шли его лучи, потому что „угла А" тоже уже нет, и весь чертеж изменился со вторника на среду.

Эти мутации идеала, в которых отражается вся безграничная пластичность человека, не пугают, а радуют меня. Форма и содержание мои слиты в одно и меняются вместе: первая помогает второму, когда второе не помогает первой. То, что я нахожу теперь в личной жизни, в книгах, в людях, в своей работе больше не может быть тем, чем оно было раньше: все четыре плоскости остались, но их пересечения, их вхождения друг в друга уже совсем другие.

Счастье мое по-прежнему в их интенсивности, в их координации друг с другом и, когда я нахожусь на одном из уровней, у меня всегда есть ощущение трех других. Книги тесным образом связаны с моей работой, работа — с людьми, которых я встречаю и „культивирую". Из них пять-шесть человек как бы „квартируют на самом верхнем этаже" и делают мое бытие интенсивней, чем это было бы без них. И так как они тоже относятся к „пище", которую я беру из окружающего, то круг замыкается: я и одна и не одна в мире, выбранном мною 20 лет тому назад.

По этому миру я не мало ездила, чтобы узнать его города и горы, его реки и дороги, его небо и горизонт.

Я уже сказала, что с Наташей Карпович мы поехали на берег Атлантического океана летом 1952 года, где меня впервые поразила огромность и пустынность пространств. Даль была видна не между спинами, головами и плечами других людей, она свободно ложилась пред глазами, порой — без единого живого силуэта на широком берегу той косы, которая между Нью-Лондоном и Бостоном уходит в море в форме раковой клешни. На карте она кажется совсем маленькой, эдаким крючком; на самом деле на ней стоят города, растут сосновые леса, идут дороги — железные и автомобильные, построены аэродромы. Дюны отделяют населенные места от широкого берега, откуда видны только небо и океан, да кое-где мелькает на столбе шутливая надпись: отсюда до Португалии столько-то тысяч миль. С высоких дюн, за которые уходило на всех парах августовское солнце, мы скатывались вниз и оказывались у воды, где гремели волны. Бледная, одутловатая, сначала едва заметная всходила на небо луна, темнело; после купанья в воде, которая бывала часто теплее воздуха, раскладывался костер, и я ложилась возле него. Разговоры, которые доносились до меня, пока я лежала и смотрела вверх, были о новой живописи, о новой музыке и новых книгах, о политике в Азии, о местном архитекторе, ученике знаменитого Райта, который строил дом за домом в сосновом лесу, на холме, и споры о том, что в новой архитектуре — хорошо, а что — плохо; о черепице, которой покрыли гараж у впадения штатной дороги в федеральную, слишком яркой в темной зелени елок, и о стихах Уоллеса Стивенса, который поэзией занимается в часы досуга, а на самом деле — директор страхового общества. Потом я уходила от них, гуляла вдоль бьющих всё выше волн, не встречая никого, не находя даже следа человеческой ноги на песке, и, когда я возвращалась, разговор шел о государственном планировании, и почему у одних оно удается, а у других — нет.

Потом делалось свежо, и, аккуратно заглушив костер, засыпав его песком и убрав за собой все бумажки и объедки, мы карабкались вверх, к автомобилю, босыми ногами ступая сначала в прохладный песок, а потом в теплую, прошлогоднюю хвою, нежную и сухую.

Как очень часто бывает в Америке, домашнее хозяйство наше было несложно, и в нем участвовали все мы, четверо обитателей старого португальского дома. Португалия была, как было объявлено, в стольких-то тысячах миль от нас, но она была и здесь, с нами, среди потомков мореходов, осевших здесь двести лет тому назад. Тихая, смуглая женщина принесла нам показать только что рожденного ею ребенка, высокая старуха в черном платке с блестящими глазами пела песни, похожие на цыганские, какие когда-то пела Прасковья Гавриловна в ночном трактире в рабочем квартале Биянкура. Смуглый мальчик в воскресенье являлся к нам показаться в национальном костюме с потемневшим золотым позументом, а портрет дедушки с черно-седыми бакенами в морском мундире висел прямо против входной двери, так что не увидеть его даже не входя в дом было невозможно. Мужчины все были „рыбаки дальнего плавания" и уходили в море не на час и даже не на ночь, но на пять-шесть суток. Рыбачьи селения перемежались с дачными поселками и на полуострове, и на островах вблизи него. И на одном из островов, совсем маленьком, до которого не так-то легко было добраться, всё было маленькое, особенно — жилые дома, увитые розами, и только берег был для великанов, широкий и длинный, и океан — без конца и края, занимавший, как казалось когда из него выходило солнце, всю поверхность земли, не оставляя места для Португалии.

Пространства и пустынность я увидела во всей их мощи, когда по прямой черте,словно проведенной линейкой, я выехала из Вашингтона в Колорадо, перемахнув через зеленые холмы Мэриланда, через хлебные поля Канзаса. „Канзас скучен, — предупреждали меня, — шесть часов вы катите по прямой, и всё одно и то же". Шесть с половиной часов надо мной в Канзасе было небо, какого я никогда в жизни не видела: оно занимало всё видимое пространство, а земля была только корочкой, слабой поддержкой его, совершенно двухмерной плоскостью, не имевшей никакой толщины. По четырем углам этого огромного неба стояли гигантские облачные обезьяньи Лаокооны, упираясь в землю, встречаясь головами в центре небесного купола (а там, между ними, кувыркались толстенькие купи-

доны Буше); так стояли Тициановские приматы-великаны, и змеи, обвившие их в облачной борьбе. 6 с половиной часов они не шелохнулись, словно ни ветер, ни солнце их не касались, и я все четыреста миль смотрела на них, как будто тоже стояла на одном месте. Я вспомнила тогда, как однажды при мне был разговор; один человек сказал другому: „Вы понимаете, что значит жить в Оклахоме? Это — дыра. Это — провинция. Там живому человеку — смерть от скуки". И другой ответил на это: „Я однажды, знаете, в Оклахоме видел такой закат, какой нигде никогда не видел". И теперь в Канзасе я поняла, что в этих местах можно увидеть вещи, которых нигде в другом месте не увидишь.

На границе Канзаса и Колорадо, там где кончаются пшеничные и кукурузные поля и начинается песок и камень, и пейзаж (и небо) меняется, навстречу мне с запада пришла гроза, вернее три грозы сразу, которые лучами расходились из одной точки, прямо передо мной, то подбегая ко мне молниями, то убегая от меня. В дрожавшую от громов землю втыкались один за другим огненные столбы, искаженные дрожью, и автомобиль двигаясь на тормозе среди этого грохота, и проливного дождя, и внезапного мрака, прорезанного голубым светом мельканий, как бы плыл по воде, качаясь туда и сюда, пока не остановился.

Названия городов в Колорадо собьют с толку любого этнографа: индейские, немецкие, испанские, английские, они следуют один за другим, пока я подымаюсь всё выше в горы, города современные и города заброшенные, и города из заброшенных ставшие вдруг современными, где провели дороги, отстроили гостиницы, открыли магазины, и есть даже ресторанчик, где обедают бородатые художники со своими подругами. Здесь Скалистые горы подступают вплотную, и я начинаю подниматься туда, где уже не будет ни мощеных дорог, ни телефонных столбов, ни стрельчатых антенн телевизоров, потому что не будет ни электричества, ни телефона. Одни форели.

Поздно вечером машина наконец подходит к водному резервуару, к истокам Рио-Гранде. Здесь на карте — белое пятно. Ни почты, ни аптеки, ни бензинозаправочной станции. У шумящей реки — бревенчатые избы и в них — ска-

мейки, стол, кое-какие кровати, керосиновая лампа и печь. Мы будем целый месяц есть форели из речки — утром, днем и вечером — и будем ночами топить печку. И однажды на рассвете я увижу снег (в начале июля).

Форели розовые, форели сиреневые здесь у нас в речке, под домом; форели радужные — в том озере, что лежит в форме сердца еще выше нас, а мы живем на высоте десяти тысяч футов. Там, на самом верху Скалистых гор, живет человек, у которого сорок пять лошадей и три жены (мексиканочки, мал-мала меньше). Он никогда не был даже в Чикаго, и Нью-Йорк его не интересует, как не интересует ни Пекин, ни Капштадт.

Мы приехали, вечером, и я бросилась в постель, под перину. Уже засыпая я почувствовала, что под подушкой у меня кто-то есть живой, кто скребется у меня под самым ухом, но не было сил снова зажигать свечу и выпускать на волю неизвестного зверя. Он был — это я чувствовала щекой и ухом — маленький и веселый, и по тому, как шебаршил, мне казалось, что это не был мышонок, в котором всегда бывает что-то уныло-упрямое: прогрызу или помру! — что-то упорное, однообразное, в самом звуке его „грыза". Здесь кто-то играл под моей подушкой, стараясь обследовать пространство вокруг моей головы. И я заснула в изнеможении, решив, что съесть он всё равно меня не может.

Утром я проснулась оттого, что кто-то ласково кусал меня за пальцы правой ноги. Это был б у р у н д у к, игравший под моим ухом накануне. Маленькие, веселые, с пышными хвостами, они бегают по всей Америке, становясь, когда видят человека, на задние лапки и махая ему передними в знак приветствия. Этот мой в то же утро предпочел переселиться в кухню, а потом он ушел и только изредка заглядывал в избу, уже в компании полдюжины других.

Олень приходил вечерами, когда жарились форели. Раздавались тихие шаги и сухой стук рога о косяк двери. Огромный глаз сверкал на замшевой морде и, повернувшись ко мне сначала профилем, потом фасом, голова исчезала. Он приходил и заглядывал, он ничего не просил и гордо отходил, делая несколько тихих шагов и, только уже

отойдя, вдруг гулко скакал по тропинке с силой ударяя своим топотом вечернюю тишину.

Медведи были низкорослы, но коренасты и держались от людей подальше. Босоногие дети хозяев (бегали босые и по июльскому снегу) видели однажды медведицу с медвежатами, но никто никого не обижал, точно по уговору. Кругом жили приезжие рыболовы, охотники, наездники, нанимавшие лошадей у человека, никогда не бывавшего даже в Денвере. В озере-сердце отражались золотые облака (на закате), синее небо, осины Скалистых гор (populus grandidentata), которые растут в этих местах, делая все контуры кудрявыми. А под осинами, в холодной тени, цветут цветы, которые не принято рвать — они символ штата Колорадо, голубые колумбины.

Снег не лежал и часа. Осины и ели только умылись им. Холодный воздух колол лицо, озеро отразило вставшее солнце. И каждый сучок стал виден на горе, поднимавшейся отвесно, с серебристой полосой осин, с черно-зеленой полосой елей, и наконец — с полосой серых, суровых скал, от которых к нам, в нашу высокую и тихую долину, иногда скатывались оторвавшиеся камни.

Весь этот чудный, пустынный край лежит на северо-запад от Новой Мексики, от Санта-Фе и индейских поселений, от колонии художников и поэтов Таоса. Когда я приехала туда, я уже не застала в живых Фриду Лауренс, вдову Д. Х. Лауренса, жившую в горной пустыне над Таосом, рядом с местом, где похоронен он сам (тело было перевезено в свое время с юга Франции). Теперь дом перестроен, но дали вокруг так же величественны и прекрасны: городов там не строят, заводов не ставят. В вечной тишине лежит его прах величественно и одиноко, и если в желании его жить и умереть высоко и одиноко в свое время была некоторая поза, то ведь в сущности не бывает позы случайной, всякая поза, как всякий жест, дает ключ ко всей личности в целом. Да, он любил жить высоко и одиноко (в окружении „учеников”) и сумел найти место, где это можно было осуществить (с учениками ему повезло меньше). А в Таосе по улицам ходят люди — старые, знавшие его, и молодые — только слышавшие о нем и читавшие его.

Эти молодые ставят в местном театре пьесы Гертруды Стайн, сидят за мольбертами на углах узких улиц или перед „мезой", где живут индейцы. Городок состоит из рядов розовых глинобитных домов с закругленными углами, похожих на старинного фасона ульи. Индеец в колоритном пончо, стоящей весь день на углу центральной площади Таоса, давно затвердил наизусть свой рассказ о Д. Х. Л. (его так здесь называют) и повторяет его всем, кто хочет слушать. Он, конечно, помнит имена всех участников знаменитой драмы, Фриду называет Фридой и Мабель Стерн-Додж-Люхан называет Мабель, — она в том году, когда я была в Таосе, еще была жива, но ее не было видно: она с мужем-индейцем жила на своей вилле, в стороне от города.

Ее никто не видит, но целый день все видят Бретт, английскую аристократку, в свое время последовавшую за Лауренсом в Новую Мексику. Она — одна из „верных" и увешенная мексиканскими украшениями (на лбу, на шее, на поясе, на руках и ногах), в белой мексиканской одежде, с белой собачкой в руках, ходит по городку и издали слышно, как дребезжат ее браслеты, подвески и бусы. Иногда появляется поэт Виттер Биннер — другой свидетель мексиканских безумств Лауренса, он тоже звенит серебром, тоже в посконной рубахе, с длинными седыми кудрями, босой, в сандалиях и с посохом. Оба они, и Биннер, и Бретт давно написали свои книги о Лауренсе и в обоих до сих пор осталось что-то от эпохи 1920-ых годов: манерность походки, бутафория, на себя надетая, декламация в разговоре.

В одной из глинобитных изб, где очень чисто, где лежат на полу домотканные половички, индеец по моей просьбе вырезает мне из мягкого сплава (серебро, олово, железо) кольцо, выбивает на нем рисунок и вставляет в него огромный кусок стекла чудесного синего цвета. „Сапфиры не бьются, — говорит он с поклоном, и надевает кольцо мне на палец своими длинными темными пальцами, — рубины не прочные, а изумруды у меня все вышли".

Потом я иду в „мезу" — в деревню, где живут не по горизонтали, а по вертикали. Я уже знаю, что этого всего скоро не будет: старые женщины еще сидят у своих порогов и ткут, старики выбивают в серебре и свинце тяжелые

украшения, но молодые уже подают в ресторанах, или в гаражах заправляют бензином автомобили туристов, или получают стипендии и уезжают учиться. Между двумя „мезами" отстроена школа. В классе висит портрет Линкольна, молодая учительница родом из Вермонта. Мы сидим с ней на горячем камне и разговариваем. Потом обедаем вместе. На громадных плоских тарелках приносят нам мексиканские острые блюда, мексиканский хлеб, напоминающий кавказский лаваш, текилу в крошечных дымчатых стаканчиках, и я пишу вечером письмо в Париж о том, что до сего дня в Америке еще не встретила ни одного миллионера, ни одного гангстера, ни одного бэзболиста, ни одного саксофониста . . . и только двух холивудских актеров. Знаю: будет разочарование, особенно у одного моего корреспондента: что ему до учительницы в индейской школе? Он ждет от меня писем о самих индейцах!

Учительница говорит, что мне надо непременно поехать в Вермонт. Я уже знаю Вермонт; у Карповича там был дом, и я у него гостила несколько раз, перед тем как жизнь его пошла к концу, сначала — с болезнью жены, потом и с его собственными несчастными операциями. Вермонт для меня слишком тих своими традициями, своим консерватизмом. В нем лет пятьдесят тому назад остановилось время, и люди, сидящие у себя на балконах, в плетеных качалках, напоминают мне короля из „Ночной фиалки" Блока, смотрящего тысячу лет в одну и ту же точку горизонта. Если выбирать, то я люблю из штатов Новой Англии Мейн, где опять вижу берег Атлантического океана и где моторные лодки вылетают из маленькой гавани в соленый простор. Здесь снова всё слито: местное, рыбачье, будничное и всё праздничное, туристическое — лодки летят под углом в сорок пять градусов к темно-синей воде и что есть духу мчатся мимо сотни островов, без всякой видимой цели, только для того чтобы мы любовались ими.

Вода холодна, и купаться можно не часто, в августе самый воздух — острый, колкий, ледяной, щиплет тело и холодит концы пальцев, румянит лицо, обжигает губы. В порту маленького городка зажглись фонари, кто-то моет лодку, кто-то чинит сеть, кто-то предлагает купить целую семейку наползающих друг на друга огромных омаров, а

на молу — рыбный ряд, и всё живет и серебрится в медленных сумерках, в плеске тяжелой воды, гулко отдающейся в сваях.

Спускаюсь всё ниже по карте, по берегу, где, говорят, скоро между Бостоном и Вашингтоном будет один сплошной город. Пока это совсем не так. И до, и после Нью-Йорка, с его необозримой индустриальной цивилизованностью, всё зелено, всё дышит цветами и морем. И так — до самой оконечности, до Флориды, где сто лет тому назад еще были девственные леса (о чем мы читали в наших детских книгах), а сейчас на водных лыжах летят за моторной лодкой полурусалки, полушкольницы, и потом, лохматые и босые, выжимают апельсины в толстый ледяной стакан там, где играет музыка и качаются пальмы, шелестя особым звуком, металлическим, похожим на человеческий шепот.

Потом я иду в „черные" кварталы Миами, на окраину этого большого приморского города. Люди там бедны, не умеют не только вертеть гайки на заводе, но не умеют и вставить стекло в окне, починить забор, прополоть грядку. Некоторые дома полны детей, преимущественно голых, и в кухне и в спальне чувствуется матриархат — она носит, рожает, кормит, стирает, работает поденно, она добытчица и власть в доме, он — весит вдвое меньше ее и весь день сидит на завалинке, курит самокрутки и очень часто соскучившись и обалдев от ее крика и подзатыльников, уходит куда глаза глядят. Подрастает старшая дочь, появляется другой. Начинается, вернее, продолжается та же история, пока в доме не проваливается пол, и тогда семейство переезжает в пустой дом рядом, стоящий брошенным не то с прошлого года, не то с незапамятных времен.

Брошенных домов много на окраинах больших и малых городов и деревень, есть брошенные лавки, брошенные церкви, гаражи, мастерские, с выломанной дверью, с разбитым окном, с балконом, висящим над пропастью. Дешевле построить новое, чем починить старое. Тысячи брошенных автомобилей лежат брюхом вверх, в братской могиле друг на друге, и брошены дома стрелочников — устарела система, они больше никому не нужны. И однажды, в одном из южных штатов, я забрела на брошенный аэродром. Это было одно из сильных впечатлений от меняющейся жизни, от

мертвого „вчера", от разложения совсем еще молодого прошлого.

Аэродром был небольшой, провинциальный, с двумя настежь раскрытыми пустыми ангарами, в провалившуюся крышу одного из них полз солнечный луч и утыкался в кучу нечистот, лежащую у самого входа. По бокам было брошено два огромных грузовика и старый трактор, на слабом ветру скрипела и качалась какая-то металлическая ветошь над дверью в помещение, когда-то бывшее конторой, а посреди поля стоял старенький, кривой, облупившийся самолет, мест на двенадцать, с оборванным крылом. Я поднялась в него. Четыре голубя вылетели с шумом не от меня, а прямо на меня. Обивка сидений была срезана.

Кругом стояла тишина. На горизонте — голубые горы, солнечный туман и жаворонки в нем, как дрожащие точки. Колыхание сахарного тростника под расчесом ленивого, знойного ветра. Труп собаки в кустах рано поспевшей, но мелкой, твердой, одичавшей малины.

От этого впечатления тянутся другие: брошенные карусели (ушли балаганы в другое место), заколоченные гостиницы (вышло место из моды, никто сюда больше не ездит), провалившаяся шахта — дедушка рыл землю, нашел серебро, отец плюнул на серебро: вилки-ложки некому чистить, — ушел из этих мест, теперь из нержавеющей стали вилки-ложки делает, сын на золоте, говорят, ест. Не заглянуть ли в колодец серебряной шахты? В него можно спуститься, если придет желание, бадья до сих пор висит над черной ямой.

На автострадах стоят знаки: максимальная скорость — 60 миль в час. Но на автостраде, режущей континент по диагонали, в этот ранний час нет никого. И я нажимаю педаль газа и делаю 80 миль, и так — в течение трех часов к ряду, пока мне не становится ясным, что уже не восемь часов утра, а одиннадцать, и я не одна на свете. Я замедляю ход на шестьдесят, на сорок, беру боковую дорогу, раз петля, два петля, и я у стеклянного стэнда, откуда на подносе мне выносят стакан ледяного молока и горячий блин, облитый сиропом. Поднос на крючках висит на автомобильном окне пока я ем и пью, из стэнда доносится песенка, она же звучала где-то вчера вечером, ее можно

поймать в автомобильном радио, стоит только нажать кнопку.

Автомобиль был куплен в зеленой, пахнущей цветами Индиане, и когда я купила его, я села и поехала домой, в штат Конектикут — тысячу миль — забыв спросить впопыхах, где собственно зажигаются фары. Рассмотреть было некогда, и когда я вечером, проехав пятьсот миль за день, стала тыкать в какие-то кнопки, то сначала заиграла музыка, потом стал на меня дуть горячий воздух, потом холодный, потом открылась пепельница и наконец на ноги стало что-то капать. Но всё обошлось, огни в конце концов зажглись, и было давно пора, потому что пока я играла с кнопками стало совсем темно.

По режущей континент диагональной автостраде я теперь ехала в Чикаго. Громадный город начинает чувствоваться за пятьдесят миль: какие-то знаки машут навстречу красными и черными буквами, какие-то столбы, точно Эйфелевы башни, бегут здесь и там по полям и лугам Охайо и Иллинойса. Вдруг пропадают леса. Вдруг веет каким-то беспокойством на широкой автостраде: там, там далеко за горизонтом, за тем поворотом и еще тем, что-то окажется, что-то прервет зеленую чистую, ясную монотонность дороги. На каком-то сплетении двух или трех автострад еще можно будет мгновенно решить: обойти, избежать или ринуться в самую гущу, но сплетение мелькнуло и я не воспользовалась им, пронеслась, и теперь мне выхода нет: сейчас мне откроется чугунно-стальное, многовольтажное, химикалиями пропитанное пространство. А можно было обойти с левого фланга, только издали почувствовать биение, удары, дрожание великана на горизонте. По режущей параболе я въезжаю в грохочущий массив Чикаго.

В первый раз я приехала в Чикаго поездом, во второй — спустилась в него с самолета, — с маленького скрипучего самолета местного назначения, чтобы потом пересесть в огромный джет, и ночью на Чикагском аэродроме — который сам по себе целый город — долго ждала пересадки. В третий раз я въехала в него на машине, сквозь его туннели, по воздушным мостам, прямо на берег Мичиганского озера. О Чикаго я написала в моем рассказе „Черная болезнь". Чикаго для меня — потому что я не жила в нем, а только

была проездом — остался городом фантастических перспектив, роскоши и нищеты, элегантности и грязи, удушающей вони и нежного запаха цветов в парке, у набережной. О Чикаго много было сказано в плане реальном. Чикаго, как Палермо, как Неаполь, нужно увидеть, увидеть чудовищную смесь красоты и мерзости, но не тогда, когда пелена снега сглаживает в нем его безобразие и величие, и не тогда, когда дождик прикрывает их своей вуалью, а тогда, когда в невыносимой жаре и влажности террариума, в дрожащем и звенящем зное, висящем над городом и в городе две или три недели, город весь дрожит, и звенит, и стучит в температуре выше температуры человеческого тела.

Я могла бы начертить дугу, спираль, круг, вписанный в круг треугольник или прямоугольник, чертя рисунок на карте, где я мчалась ранними утрами по дорогам Миссури, Кентукки, Вирджинии, из картофельных полей впадая в сеть рек, несясь мимо озер, прошивая туннели Аппалачии. Я хотела бы долго смотреть на скалы Дакоты, где высечены ставшие мифическими фигуры (а когда-то ходили в пиджаках, и парикмахер их стриг, и дантист им рвал зубы); я хотела бы стоять на краю Большого каньона, когда он черно-розовый, и может быть оказаться-таки в Оклахоме, в час заката солнца, а в полнолуние — под чугунными ангелами решеток Нового Орлеана; взглянуть на Южную Каролину хотя бы одним глазом, чтобы узнать, правда ли, что это лучшее в мире место, как утверждал пассажир океанского парохода, удивляясь, что я отправляюсь в Америку по шпалам, и наконец увидеть Тихий океан. И это конечно будет, потому что от меня зависит: быть ему или не быть. У меня только *свои* капризы, нет чужих, и нет ни детей, ни внуков, ни правнуков — то есть нет свидетелей моей старости, а потому нет ни старческой болтливости, ни заедания века других.

Насчет болтливости, впрочем, я не уверена: не слишком ли много сказала я здесь о природе, о которой еще Чехов сказал: довольно, господа, довольно! (касательно каких-то лиловых облаков, но это не помогло, и до сих пор эти сиреневые тучки всё еще треплются в небе, заполняя, когда нужно, строку, как пакля, шпаклюющая стену). Довольно о пейзаже с форелевыми реками и птицами колибри, ле-

тающими стоя в воздухе Вермонта, довольно о городах, больших и малых, гигантских, многомиллионных, состоящих собственно из десяти городов, и о маленьких с одной только улицей, потонувших в догвуде и форситии — в одном из которых я теперь живу. Если я не увижу всего, кто-нибудь увидит это моими глазами, когда мои глаза достанут из глазного банка щипцами и вставят в глазницы слепой девочки (или мальчика). Впрочем, пусть остается на этой странице и колибри, и догвуд. Я достаточно вещей утаила от читателя. Ведь как я уже сказала однажды: наряду с шестьюстами страницами текста есть в этой книге шестьсот страниц умолчаний, наряду с семью главами рассказа о „настоящей минуте прошедшего времени"*) есть семь глав немоты, тишины и тайны.

Семь глав, не шесть, потому что эта последняя глава тоже имеет свою изнанку. Здесь, в Америке, были мною встречены люди, о которых говорить еще не время, они — мое настоящее. Здесь мне были даны некоторые уроки, но так как я не пишу руководства для приезжающих в эту страну, то о них ничего не скажу, кроме как об одном. Он сводится к простой истине: умные люди здесь слишком всерьез себя не принимают.

Я могу припомнить только одно русское литературное имя из прошлого, человека, не хотевшего принимать себя всерьез: это был Чехов. Вместо: „вы — богиня моя" сказать „трум-трум-трум" и в ответ Льву Толстому на его похвалы „Душечке" сказать не „да, вы правы, это у меня хорошо получилось",а (протирая пенсне): „там кажется опечатки". У людей восемнадцатого века были такие моменты, в частности — у Пушкина („с мосье Онегиным стоит") и у Державина („Един есть Бог, един Державин / Я в глупой дерзости мечтал"), но потом наступил девятнадцатый век, человек нарастил себе живот, стал важен и утерял чувство смешного. И Гоголь, сжигающий второй том „Мертвых душ", и Герцен в шестом томе „Былого и дум" (не события, которые он описывает, но он сам), и Достоевский в речи о Пушкине страшно серьезно относились к себе самим. В наше время только два имени приходят на ум: во-первых — чело-

*) „Present moment of the past". T. S. Eliot.

века, который всю свою жизнь притворялся глупее, смешнее, безумнее, чем был на самом деле (Андрей Белый) — от „дурака в колпаке" через „а жизнь прожить не сумел" до „а ты не эпилептик?" И во-вторых — автора диалога между Александром Скерцевичем и Александром Сердцевичем, в котором он сказал в сто раз больше, чем писавшие кровью самоубийцы (О. Мандельштам). Не ирония, не всеобщая мрачная, тронутая тлением целого поколения коллективная ирония, о которой писал Блок, а „юмор по секрету с самим собой", вот чего так мало было и в России, и в Европе. Меня спросят: но почему же не принимать себя всерьез человеку, написавшему „Мадам Бовари", „Хозяина и работника" или „Дуинские элегии"? Раз все мы принимаем его всерьез, почему он не смеет этого делать?

Нет, пусть другие „уважают" и „почитают" меня, но я-то сама про себя знаю, что при наличии во мне даже самой маленькой крошки мирового абсурда я не могу вести себя, как памятник самой себе. Греки смеялись над своими священными местами, а сефардиты любили бога, который умеет шутить. Пусть люди думают обо мне серьезно, но важно не это, а как я сама ношу себя: выпятив грудь, подавая два пальца, улыбаясь по воскресеньям? Боясь уронить свое достоинство, наступая на ноги друзьям и врагам? Только разрушение моей собственной серьезности дает мне возможность вырастить неожиданные аспекты самой себя, в быстром пробеге жизни, дает свободу ее метаморфозам и модуляциям.

А как же быть с трагическим ощущением жизни, на котором мы воспитались? Как с трагическим периодом нашей истории? И как быть с судьбой моей родины, с судьбой моего поколения, наконец — с моей собственной судьбой? Ответ мне кажется на это есть: трагедия была мне дана как почва, как основа жизни: мы, рожденные между тысяча девятисотым и тысяча девятьсот десятым годом выросли на трагедии, она в свое время вошла в нас, мы ее так сказать — выпили, съели и усвоили. Но теперь, *когда трагедия кончилась и начался эпос*, я имею право, прожив жизнь, не принимать себя слишком всерьез. Трагедия не может длиться вечно. Она кончилась в 1953 году — и последнего акта ее мы не знаем. В 1953 году начался

эпос, и эпос начался и в нас, то есть в тех, кто уцелел сквозь трагедию. „Входит Фортинбрас" — он всё еще входит, он всё еще в дверях... И в эпосе юмор — имеет право быть.

Это не вопрос поведения, а вопрос направленности мышления, разума, который обладает способностью не только познавать и судить, но и смотреть в самого себя. И когда я смотрю в себя, я теперь умею улыбаться, я научилась „секрету", я выросла из трагической моей колыбели в не-серьезную зрелость. Прусско-русский марш всё еще гремит на плац-параде, — но не для меня. Галльский петух кричит — но я его не слышу. Я перешла на ту сторону, где некоторые слова не произносятся вслух, потому что они звучат слишком пышно и красиво. Это они стали для меня с некоторых пор непечатными, когда печатными стали другие.

Мы, несерьезные, составляем тайный орден и подаем друг другу знаки. Мы умеем снижать себя в юморе и связаны одной привычкой. Пусть другие называют это мировоззрением — звучное, жужжащее, дребезжащее слово! Оно может вытолкнуть человека на мраморный пьедестал... И будет смешно и стыдно... Бывали примеры...

У Шатобриана есть мысль, которую соблазнительно было бы поставить вторым эпиграфом к этой книге. Но я этого не сделала, хоть и понимаю его оптимизм. Вот она:

„Перемены в литературе, которыми хвастает девятнадцатый век, пришли к нему от эмиграции и изгнания".

Я понимаю его оптимизм не в смысле „содержания" и не в смысле „формы", но в смысле преемственности традиции свободы. Но я не ставлю этого эпиграфа, потому что знаю, как мы малы. Кто я? Я так и не издала „полного собрания сочинений" и не научилась ремеслу наборщика, я едва не умерла от шпульки и близко знала последних великих людей России; я любила минуту жизни больше славы и сделала из этого для себя выводы; и вот теперь я смотрю „на царский поезд" русской литературы, уходящий всё дальше.

Я люблю себя в меру и никогда не была обуреваема мыслью переделать мир. „Вот я — такая, какая есть, вот мир — его надо переделать", — эта установка была мне

незнакома. „Вот мир, такой, какой есть, вот — я, и я должна узнать себя и, узнав, поправить" — было мне ближе. Один раз в четверть века я вылуплялась из яйца — сперва когда родилась, затем в 1925 году, затем в 1950-ом. Много это или мало — я не знаю, но сила этих рождений была настолько большой, что количество их по сравнению с качеством мне кажется неважным.

Я знаю, что могу вернуться из моей третьей стадии во вторую: взять билет и на время уплыть туда, откуда приехала. И я это сделала два раза. Возвращение в первую стадию для меня невозможно: в Россию я могу вернуться только по следам этой книги. Но у меня был один сон, он был о моем будущем возвращении: я еду в ленинградском метро, еду час, еду два, вдруг вспоминаю, что еду уже месяц, целый год или больше. Но выхода наверх нет. На остановках я выхожу, ищу надписи, знака, спрашиваю спешащих куда-то людей: где выход? где лестница? где улица? Люди отвечают наскоро и невнятно. Я не слышу их, и опять бегу. Снова сажусь в поезд, мелькают станции, вот пересадка. Я под городом, я не могу быть в самом городе, он наверху, надо мной, но доступа к нему нет. Мне в нем нет места.

Может быть это и есть основной образ всей моей жизни, тот „фундаментальный личный символ", который критик ищет в творчестве поэта? Который у самого человека к концу жизни проясняется как „рисунок", „чертеж", „выкройка" его судьбы, и он видит вдруг, что он не Прометей, не Орфей, а — скажем — обыкновенный слесарь, который не может подобрать ключа в собственный дом? Может быть. Но во сне какое-то спокойствие в конце концов нисходит на меня, какая-то уверенность, что через пятьдесят, через сто лет меня кто-то вытащит, за руки и за ноги, вытянет по нужному эскалатору на Сенатскую площадь, или к Лиговке — может быть названия тогда будут другие, но это нисколько не беспокоит меня.

Во вторую стадию, европейскую, я возвращаюсь, и не только в снах. Десять лет прошло со дня моего отъезда в С. Ш. А., когда я вернулась туда в первый раз, и еще пять лет — во второй.*) В метаболизме западного мира (выра-

*) Третья моя поездка была в 1969 году.

жение Орвелла) и десять, и пять лет много значат. Русское кладбище в Сент-Женевьев теперь стало одной из достопримечательностей Парижа: пять автокаров гуськом стояли у его входа, туристы щелкали фотоаппаратами. Их повели на „старое" место, где могилам двадцать, тридцать лет, и на „новое" место, где им пять и десять. Тут лежат чернорабочие завода Рено и Нобелевские лауреаты, гренадеры „его величества" и нищие с паперти собора на улице Дарю (говорят собор этот теперь тоже стал атракционом для туристов). Тут лежат Бунин и Мережковский, Милюков и Коровин, генералы Добрармии и поэты, портнихи и балерины, здесь лежат неразоблаченные агенты Сталина и бежавшие от Сталина авторы разоблачений о нем; люди, ждавшие, как события, книг Олеши, Багрицкого, Тынянова, и люди, ставившие свечки перед иконой „царя-мученика". Здесь — свежие цветы на могилах героев сопротивления военных лет и зарастающие чертополохом могилы предателей, доносивших в гестапо. Здесь лежит история русской эмиграции в ее славе, убожестве и юродстве. Здесь, как и подобает кладбищу, заканчивается всё. Через сто лет, по французской традиции, это огромное пространство перепашут и сдадут под огород.

А живые? Их нет. Есть полуживые. На дворе, как сказал когда-то Пастернак,

милые, у нас

1965 год и живых быть не может. В 2000 году всё это будет интересной беллетристикой с политическими обертонами. Вот тут вдруг окажется, что и качество и количество сыграют свою роль.

Полуживые еще ходят. Кто с палкой, кто с двумя. У кого — три зуба своих, у кого — тридцать фарфоровых. Кто-то лежит в больнице, кого-то отправили в провинцию в параличе. Одни откровенно говорят, что предпочитают „от сердца", чем „от рака", другие еще держатся, красят волосы и стараются не произносить некоторых слов, в которых особенно заметно их шамканье. В 1917 году им было лет на десять или двадцать больше века, сейчас идет к концу их восьмой и девятый десяток.

А Париж тот же и уже не совсем тот. В садах Трокадеро толпы детей качаются на качелях, роются в песке, толпы

взрослых сидят на скамейках, читают газеты; женщины вяжут, колясочки, по пять, по шесть, составлены звездами и там кричат, мочатся, сопят, сосут соску младенцы. Здесь в тишине и пустынности этих садов, я ходила, думала, ни о чем не думала, принимала решения. Здесь тогда было очень тихо. Как изменились с тех пор интонации: человеческий голос стал за эти годы другим, голосовая мелодия изменилась. Весь напев речи — иной: может быть люди стали лаять, чтобы их не заподозрели в чувствительности, мужчин — в мягкости, женщин — в кротости, детей — в покорности?

На Монпарнасе — ни одного знакомого лица. И „Ротонда" опять стала маленькой. До 1914 года она была маленькой (когда в нее иногда заглядывал Ленин), — в те годы „все" сидели на бульваре Сен-Мишель, в темноватых кафе, обшитых деревом: студенты, поэты, философы, художники, проститутки, паразиты, натурщицы, профессора, политические деятели, — так мне рассказывали. Потом, в 1920-ых годах, Сен-Мишель пришел в упадок, „все" перекочевали на Монпарнас, и „Ротонда" стала огромным, шумным кафе (а вокруг еще была дюжина мест, где мы собирались). После второй мировой войны и это кончилось — „все" перешли на Сен-Жермен. И вот теперь — круг замыкается: снова Сен Мишель гремит народом, интернациональная молодая толпа переполняет кафе и тротуары. Но ни одного знакомого лица я здесь не вижу. Ни одного.

Я еду на старые места. Я хожу по улицам „мимо зданий, где мы когда-то танцевали, пили вино". Я возвращаюсь переулками снова и снова на тот бульвар, что ведет от Обсерватории к вокзалу Монпарнаса. В одном из переулков я вхожу в ресторан — весь в клетчатых скатертях и салфетках. Час обеда. Я сажусь за столик. Пахнет смесью розмарина и лаврового листа, в которых где-то тушится мясо. Я заказываю еду и сижу, и смотрю, и слушаю, что происходит вокруг. И как глаза иногда, приглядевшись к темноте, начинают узнавать предметы, так моя память, медленно, ощупью, кружа вокруг сидящей в углу женщины, вдруг узнает ее. Это — Симонн де Бовуар.

Я увидела ее в первый раз в 1943—44 годах — веселую, оживленную, молодую. Она шла по улице, качая широкими

бедрами, гладко причесанная, с глазами, светящимися жизнью и мыслью. И вот прошло двадцать два года, и я не сразу узнала ее. Толстыми неловкими пальцами она играла сломанным замком своей старой сумки, наклоненное лицо казалось упавшим, оно было как бы без глаз — заплывшее, мрачное, с тяжелыми щеками и опухшими веками. В третьем томе своих воспоминаний она писала о своей внешности. Как жестоко говорила она о себе! Вся книга полна больницами, операциями, ужасом перед старостью и смертью; она пишет о давлении крови (своем и Сартра), о близком сердечном припадке. Сартр — как автомат — занят „Критикой диалектического разума", в последние годы он так перегружен работой, что у него нет времени даже перечитать то, что он написал. Он глохнет от снотворного. Друзей не осталось... Теперь я вижу ее перед собой, она сидит вдвоем с другой женщиной, еще не старой, но раздраженной и усталой, как и она сама. Обе молчат. Толстые пальцы шевелятся, всё пытаясь защелкнуть замок, темное закрытое платье плотно обтягивает ее большое тяжелое тело. Я долго смотрю на нее; она не поднимает глаз, и видны только веки и щеки. Что-то должно быть неладно с почками или с печенью, что-то у нее внутри — как она сама писала — не работает, с трудом продолжает ей служить, с перебоями, с замедлениями и угрожающими перерождениями. На мгновение я отчетливо представляю себе, как у нее всё обстоит внутри: расширенные вены, перебои сердца, раздутые органы, ленивые железы... Обо всем этом она сказала сама. И я представляю себе ее наружное окружение: ее студию, где она теперь проводит дни и ночи и где она возненавидела даже музыку. Там развешены ее гаванские и пекинские сувениры — да, она и о них писала подробно.

Ее книги всегда были моим чтением, и третий том ее мемуаров только что окончен мною. Она писала там о головных болях, об опухании ног. Она жаловалась, что Сартр, всю жизнь требовавший engagement и без engagement не признававший литературы*), вот уже четверть века не может решить, на какую сторону ему стать? как ему быть?

*) По-русски этот термин теперь (1965 г.) переводится „литература обязательств".

кем ему быть? И время от времени мрачно спрашивает: что нам делать? куда нам идти? с кем нам быть?

Я смотрела на нее и думала: вот так, как я ее вижу сейчас, она однажды видела Эльзу Триоле, на обеде в советском посольстве, и удивлялась, какое у нее угрюмое выражение лица. Обе они тогда занимали советского посла разговорами, как сохранить молодость. Арагон тоже был обеспокоен этим, угнетен и подавлен наступающей старостью . . .

Она теперь крутит ложечку в своих мужских пальцах. Всю жизнь она старалась отделаться от буржуазных предрассудков, ей это не удалось: она боится смерти. Чтобы заглушить в себе сознание — запóем читает полицейские романы.

Сартр хотел быть коммунистом. Потом он хотел быть алжирцем*). Одно время он признавался: без коммунистов мы ничего не можем. С коммунистами Сартр и она ходили на уличную демонстрацию против де Голля. В тот день один из их коммунистических друзей признался им, что никогда не ездил в метро, сегодня едет впервые — всю жизнь пользовался только такси. Дела в Венгрии в 1956 году они оба осудили. Потом поехали в Москву, решив там встречаться только „с привилегированным классом". Сейчас она стала равнодушна к путешествиям, признается, что иногда н е н а в и д и т к р а с о т у. „Всё равно я скоро буду лежать в могиле" . . . „Смерть стоит между мной и миром". „Смерть уже собственно началась". „. . . Вихрь несет меня к могиле, и я стараюсь не думать". „Может быть покончить с собой, чтобы только не ждать?" . . .

А где же молодые? „Молодые отнимают от меня мир", — признается она. Затем перечисляет, чего не будет: nevermore относится к лыжам, ночевкам на сене, любовникам.

Когда я пришла, они кончали обедать. Когда я уходила, они всё еще сидели. Может быть они ждали Годо?**) Свежий вечер, огни, гудки автомобилей, неоновые миганья, притаившийся под зеленью деревьев Бальзак Родена. Куда,

---

*) Некто Иведон, умирая за Алжир, воскликнул: Я — алжирец!

**) „Ожидая Годо", пьеса Беккета, в которой Годо так никогда и не приходит.

куда я иду? Не всё ли равно: раз у меня есть в мире место, не всё ли равно, каким путем я дойду, или доеду, или долечу до него? Так или иначе я доберусь до него. Оно меня ждет.

И глядя вперед, и глядя назад, я представила себе то, что меня ждет через две недели: огромный стол у широкого окна, заваленный бумагами, полки книг, отточенные карандаши и тишина. Окно, выходящее на четыре березы, танцующие посреди лужайки, на кусты по краю дороги (скоро они будут золотые, багровые, желтые, пурпурные, алые); пение птиц по утрам. Вечером — молчание... И вдруг — шаги и колокольчик. И милые мне, молодые, умные лица. Красивые, потому что молодые и умные — всегда красивые. Какое мне дело, что я старею? Лишь бы они оставались молодыми — и они останутся: я не увижу их старыми. Друзья. Книги. Бумаги. Письма с марками Калифорнии, Австралии, Швеции... Моя жизнь ждет меня там, в университетском городке, спазма счастья перехватывает мне горло. В сумке моей лежит три ключа, я таскаю их с собой по Европе: от дома, где я живу, от кабинета в здании университета, где я работаю, от клетки в библиотеке, где я храню нужные книги. Была такая сказка про колодец. Там какую-то роль играл один ключ. А у меня их целых три. В тот колодец однажды упали две лягушки... Впрочем, я что-то путаю. Но три нужные двери ждут меня. Это несомненно.

Я снова буду там, в уютном маленьком доме: работать, думать, жить и радоваться приходу гостей, когда на стол, где горят свечи, плывет из печки жаркое, калифорнийское вино (для меня оно — одно из лучших в мире) льется в стаканы, а пластинка, после тихого шуршанья, начинает Концерт для скрипки, гобоя и струнных или Концерт для флейты, скрипки, клавесина и струнных...

Я иду, иду. Спазма счастья не покидает меня, пока я обхожу Люксембургский сад. Вот здесь когда-то П. П. Муратов уговаривал меня бросить писать по-русски и скорее научиться писать на любом другом языке, потому что... не помню сейчас его доводов, впрочем о них нетрудно догадаться. Вот здесь я жадно ждала кого-то, с кем потом целовалась под темными деревьями. Жадно ждала. Жадно

думала. И теперь жадно собираюсь домой. Это всё та же самая моя жадность, какая была во мне тридцать, сорок, пятьдесят лет тому назад. Она не изменилась, не износилась. Она не истрепалась. Она еще в целости, как и я.

Итак ни одного знакомого лица — ни в Closerie des Lilas, ни в Deux Magots. Скоро я буду чувствовать себя здесь так же, как чувствую себя в Вене или в Афинах. С маленькой, впрочем, разницей: тут, в Париже, есть друзья, приехавшие из Англии, Швеции, Финляндии, чтобы встретиться со мной. Я их вижу среди тысяч незнакомых лиц.

Берет — под мышкой, в руке — букет душистого горошка. Это — С. А. Риттенберг, мой милый, близкий, далекий друг, приехавший из Стокгольма, и вот мы идем с ним по Парижу, завтракаем, гуляем по набережной, сидим на скамейке в Тюльери. Потом он уезжает. Запомним дату: 21 июня 1965 года. Накануне я обещаю ему приехать утром, на такси, отвезти его на Северный вокзал, там позавтракать с ним и потом, в 2.10, проводить его и помахать ему, когда отойдет его поезд.

Я знаю уже, что этим поездом, но в вагоне Париж—Москва, возвращается в Советский Союз А. А. Ахматова. Она приехала из Оксфорда накануне, и ее сейчас привезут на вокзал. Риттенберг ее хорошо знает, он бывал у нее в Комарове. Я стою у бетонной колонны, на платформе, перед ее вагоном. На мне темные очки.

Жарко. Я снимаю перчатки. На мне открытое платье без рукавов, тяжелую сумку я перекладываю из руки в руку. Риттенберг впереди, в вагоне „Париж—Стокгольм". Потом идет „Париж—Копенгаген", потом — „Париж—Варшава". Я всё стою. И вот я вижу, как ее ведут, как ее сажают в вагон. На ней длинный темно-синий макинтош, бархатные сандалии. Она без шляпы. Неподвижное лицо сосредоточено. Я снимаю очки и встречаюсь с ней глазами.

Потом я иду в вагон. Она сидит в купе неподвижно. Я знаю, что у нее было три инфаркта, два из них на вокзалах. Верхняя полка уже поднята, там ляжет Аничка, которая побежала за минеральной водой. Я вхожу в купе, опять снимаю очки и говорю быстро:

— Анна Андреевна, я — Берберова.

И вдруг что-то проходит по ее лицу, от глаз к губам, и в этот миг я узнаю ее, беру ее руку и целую ее. Она обнимает меня.

— Почему раньше не пришли?

— Я не знала, можно ли.

— Полвека?

— Нет, всего сорок три года, — отвечаю я.

Под моими руками, обнимая ее, я чувствую воду, ее страшное, огромное тело полно не жира, но воды. Она с трудом управляет им, пальцы ее не гнутся, колени расставлены, она вытирает вспотевшее лицо, я помогаю ей снять макинтош. Мы говорим о сборнике Ходасевича, который я издала и послала ей. Да, он дошел до нее, она любит его стихи, она благодарит меня. На мой вопрос, как она себя чувствует, она отвечает:

— Еще жива.

Может быть, напрасно она уезжает, может быть она могла бы еще несколько дней прожить среди нас, в Париже? Нет, это невозможно, она и так ослушалась приказа, она должна была лететь прямо из Оксфорда в Москву. Я успела купить ей духи Карона, но дала их Риттенбергу, он передаст их ей (он передал их ей в Комарове спустя два месяца). Я говорю ей, что Риттенберг придет к ней в вагон и, если нужно, принесет ей еду из вагона-ресторана — о том, чтобы ей пойти туда нет и речи.

Наконец, я вспоминаю, что в коридоре ждут другие, когда я выйду, чтобы войти.

Позже я долго стою с тремя друзьями-петербуржцами (художниками) на платформе, а она стоит в окне и то поочередно смотрит на нас, то смотрит на всех вместе, пока поезд не трогается. Она поднимает руку и слабая тень улыбки скользит по ее лицу.

Вагон оказался немедленно заперт — внутри и снаружи, никого не выпустили, никого не впустили. И в Кельне он был отцеплен.

Итак — в вечерних кафе — ни одного знакомого лица. Впрочем, здесь, в Париже, есть некое „второе поколение", и там несколько близких и дорогих людей, и „поколение третье", среди которых — несколько знакомых лиц. На

Акрополе их нет, на Пьяцце Сан-Марко — одни голуби, те же, что были. Впрочем, это сейчас тоже второе или десятое голубиное поколение, после тех, о которых было сказано:

Пугливо голуби неслись
От ног возлюбленной моей.

В то время, когда писались эти строчки, я думала, что „стану", но я не „стала", я только „была". Вообще я много думала. В сущности, я больше всего в жизни думала. Это звучит странно: „я больше всего в жизни путешествовал", „лечил людей", „учил детей грамоте" — это звучит разумно. Я больше всего в жизни думала звучит на мое ухо — дико.

И тем не менее — это так. Колесики работали, шестерни кружились, там, под черепом. Я наклоняюсь над книгой — очередной раскрытой книгой — она лежит под лампой, я ухожу в нее. Я читаю ее, строку за строкой, и замечаю, что в ней тоже столько страниц текста, сколько и умолчаний. Шесть томов текста и шесть томов умолчаний. Но эта книга не похожа на ту, которую я пишу сейчас.

В ней старый писатель, которого я когда-то знала, рассказывает о себе, о людях, о годах, и я рассказываю о себе, о людях и годах. Он тоже любит думать, и тоже, как и я, научился думать поздно. Но какой страшной была его жизнь! И как связан он в своих умолчаниях, и как я свободна в своих! Вот именно: свободна не только в том, что я могу сказать, но свободна в том, о чем хочу молчать. Но я не могу оторваться от его страниц, для меня его книга значит больше, чем все остальные, за сорок лет. Я знаю, что большинство его читателей судит его. Но я не сужу его. Я благодарна ему. Я благодарю его за каждое его слово.

Он строит силлогизм. Помните, в юности мы учили:

Человек смертен,
Кай — человек.

Он строит силлогизм, но не дает третьей строчки. Но он дает две первых и от нас зависит проснуться и крикнуть, наконец, вывод. Его осуждают, что он остановился перед выводом:

Кай — смертен.

Но разве вывод не заключен в предпосылках? К чему все наше думанье, если мы не слышим вывода в предпосылках?

Проблема страдания невинных — старая проблема. Она не разрешена, не может быть разрешена, никогда разрешена не будет. Мы все согласны, что через страдание одного невинного мы не построим всеобщего счастья. Но я хочу говорить не о страдании, я хочу говорить о сознании. Страдание невинных может быть оправдано, осмыслено только одним: если оно приведет к сознанию.

Эренбург говорит о казни миллионов невинных (из которых сотни были казнены Сталиным из личной мести). Огромная часть их, умирая, славословила палача, славословила его режим и в последнюю минуту „желала здравствовать" и ему, и режиму. Гибель этих людей может быть оправдана и осмыслена только если пробудится сознание. В противном случае — ей нет даже определения на нашем языке: она была зря.

Он не ставит вопросов, он не делает выводов. Нам самим остается сделать их, поставить третью строку силлогизма на место, нарушить молчание, выйти из страдания в сознание. Пока замученный тираном кричит тирану „ура!", и зритель, окружающий виселицу, вторит ему, и историк превозносит содеянное — нет спасения. Только в пробуждении сознания — ответ на всё, что было, и только один из всех — Эренбург — невнятно мыча и кивая в ту сторону, указывает нам (и будущим поколениям) дорогу, где это сознание лежит. Как смеем мы требовать от него бо́льшего? Упрекать его за то, что он уцелел? Вычитывать между строк его книги его особое мнение? Или отвергать его за то, что он дает нам полуправду? Наше дело осознать правду целиком, сделать вывод. Достроить его силлогизм. Иначе — все жертвы бессмысленны.

Задача почти невозможная, потому что сознание спит давно. Оно уснуло сорок лет тому назад, в первые годы власти полубога, который позже стал богом, над мертвым телом которого половина населения страны и какой-то процент населения мира — плакали. Эренбург сам долго скры-

вал факт страдания: скрывал 1937 год в 1946-ом, и 1946 год — в 1953-ем, и сейчас только частично открывает его. Но не будем говорить о страдании — о нем достаточно было сказано другими, хотя далеко не всё. И не будем спрашивать друг друга: когда люди перестанут славить государство, которое раздавило их? Будем говорить о сознании. Нет цены страданий слишком высокой для обретения сознания.

Миллионы невинных будут воскрешены, если проснется сознание: и Мандельштам в отрепьях, на куче отбросов, и Мирский, которого столкнули под лед Охотского моря, и Тухачевский, смерть которого дала возможность Германии ворваться в Россию. Их страдания страшны, но гораздо страшнее, если эти страдания не приведут к сознанию. Отсутствие сознания еще страшнее, чем страдание. Если проснется сознание, то со страданием мы управимся сами!

„Страдать? Страдают все. Страдает темный зверь,"*) — но сознавать умеют не все. Эренбург, в сетях своих умолчаний, полупризнаний, отходов, колебаний, построил две строки своего силлогизма. Третьей нет и не будет — не ждите ее от него. Она должна быть в нас. Но он ведет нас нужной дорогой: от повести о страданиях к моменту сознания.

Я читаю его книгу, и смущение находит на меня: жалость к этому знаменитому человеку, другу глав государств, мировых ученых, писателей, гениальных художников нашего столетия. Жалость к старому человеку, состарившемуся у меня на глазах — от первого тома к шестому, пока я читала его книгу. Жалость и благодарность. Он повернул нас всех в ту сторону, где лежит третья строка силлогизма.

Это — одна из сторон его книги, для меня самая важная: он делает читателя одновременно и героем ее (то есть автором), и свидетелем бывшего, расщепляет его надвое и опять собирает воедино. Может быть и я смогла отчасти сделать то же самое? Теория относительности ведь касается и литературы: в мире нет больше места привилегированному наблюдателю, как нет места наблюдателю над вселенной — мы все внутри. И читатель смотрит в себя, читая меня. Боже упаси что-либо доказать на этих страницах: только намекнуть, только направить взгляд смотрящего.

---

*) Фет.

И вот я пишу последнюю страницу повести о том, как я не ждала Годо. Эта книга вместе с ее названием появилась в моих мыслях не то где-то около Азорских островов, не то между Критом и Делосом. Это я привезла с собой после первой поездки в Европу, то есть замысел этой книги. И вот все мои преступления, слитые с наказаниями, бывшие достояниями меня одной, принадлежат теперь всем тем, кто захочет коснуться их, заглянуть в эти страницы. Я больше не храню их в себе, я донесла их до реальности высказанного, произнесенного, записанного. В автобиографию вросли воспоминания о целой эпохе и людях, в ней живших, и врос мой дневник — словно тело с руками, ногами и головой. Я вдруг чувствую, что мое „внутреннее сгорание" на время окончено, что я в четвертый раз в жизни вылупляюсь из яйца. В этом последнем рождении мне предстоит жить в ожидании тайн, потому что все явное использовано, и не осталось неизжитых сторон жизни. Тайны же лежат сейчас в еще закрытой сфере сознания. Они имеют отношение не к чему-то внешнему, но к тому, что есть часть меня самой и моего бытия, и всегда было. Ожидание тайн будет приготовлением к последнему, незнакомому опыту, на который я давно дала свое согласие, и который не страшен уже по одному тому, что он неминуем.

1960—1966.

НЬЮ-ХЕВЕН.
КОЛОРАДО. ИАДДО.
ТАОРМИНА. ВЕНЕЦИЯ.
ПРИНСТОН.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К КНИГЕ „КУРСИВ МОЙ"

Эта книга была мною закончена несколько лет тому назад и выпущена в мае 1969 г. в С. Ш. А. и осенью того-же года — в Англии, в английском переводе Филиппа Радли. В переводе текст ее был слегка сокращен: во-первых, были вынуты имена людей ничего не говорящие иностранному читателю. Во-вторых, были устранены некоторые стихотворные цитаты, которые требовали большого труда переводчика и могли быть, без особого ущерба для книги, опущены. В-третьих, были исключены шесть писем М. Горького ко мне и десять отрывков (из имеющихся 25-ти писем ко мне) И. А. Бунина: издатели моей книги считали, что эти документы не придают особого интереса и замедляют течение автобиографического рассказа, который они считали главным в книге. В-четвертых, здесь и там были вынуты некоторые мелочи, которые требовали подробных примечаний, будучи сами по себе неважными.

В книгу, над которой я работала более пяти лет, попало несколько ошибочных дат и сведений, которые теперь в русском издании исправлены. Две ошибки наиболее важные: одна касается даты смерти Игоря Северянина. Как многие знают, Краткая литературная энциклопедия, начавшая выходить в 1960 году, приостановлена на буквах „Пр". В иностранных энциклопедиях Северянина я не нашла. Мне пришлось взять дату его смерти из книги Г. Струве „Русская литература в изгнании" (изд. им. Чехова. Нью Йорк. 1956). Она оказалась неверной. Указал мне на эту ошибку эстонский поэт и эссеист, Алексис Раннит, за что я ему благодарна. Северянин умер в 1941 г. (У Струве был 1942 г.).

Вторая ошибка — ошибка моей памяти. М. И. Цветаева не могла быть на похоронах В. Ф. Ходасевича в середине июня 1939 г. т. к. после опубликования ее писем к А. Тесковой не оставалось сомнений, что она выехала из Парижа в Гавр в начале июня месяца этого года. Но я твердо помнила, что видела ее у выхода из церкви (католической, русского обряда) на улице Франсуа Жерар, в Париже, заплаканную, стоявшую в стороне от всех, проходивших мимо нее не здороваясь. Следовательно, надо было искать в памяти не *когда* и *где* я могла ее видеть около *одной* *из* русских церквей Парижа, но *кого* хоронили (или отпевали) в католической церкви на Франсуа Жерар, когда обе мы могли быть там, между августом 1937 г. (дело Рейсса) и 12 июня 1939 г. — отъезд Цветаевой из Парижа. Этим путем ответ был найден: 31 октября 1937 г. и Цветаева, и я, и еще около 50 человек присутствовали на заупокойной службе по умершему кн. С. М. Волконскому, внуку декабриста и католика русского обряда.

Остальные ошибки (тоже теперь исправленные) гораздо менее значительны. Они были неизбежны при отсутствии необходимой всякому „историку", даже пишущему историю своей собственной

жизни, документации. Даже в Советском Союзе такой опытный литературовед, как А. Саакянц, недавно спутала А. Аксенова с Иннокентием Оксеновым (см. „Новый мир" 1969, кн. 4, стр. 191). А двухтомные воспоминания актера Ю. М. Юрьева снабжены 100 страницами ценнейших примечаний, из которых можно составить по крайней мере десять страниц поправок к ошибкам его памяти. Это, впрочем, нисколько не уменьшает интереса его книги: мемуары и автобиографии ценятся ведь не только за календарную или энциклопедическую точность, но и за другие качества.

На англо-американское издание „Курсива" было (насколько я знаю) три рецензии, подписанные русскими именами — две в американских журналах, посвященных славистике (М. Слонима и Г. Струве) и — одна на русском языке, в № 99 „Нового журнала", подписанная именем редактора этого издания, Р. Гулем. М. Слоним ценит меня, как писателя, за что я благодарна ему. Он осуждает меня, как человека, за полное отсутствие кротости. Г. Струве строго судит меня за то, что я иду против принципов Ходасевича в моих поисках новой просодии, но с другой стороны он не заметил, что в моей оценке В. Н. Буниной я как раз следую за Ходасевичем: см. его письмо ко мне от 18 февраля 1930 г., помещенное в пятой части „Курсива".

Р. Гуль по его словам читал мою книгу в русской рукописи. Русской рукописи я никогда ему не давала. Если он действительно прочел ее, перехватив ее где-нибудь у кого-нибудь без моего ведома, то я горжусь тем, что он на 760 страницах нашел одну погрешность против русского языка: описку (после 43 лет пребывания вне России), в которой я, вместо онучи написала опорки.

Еще в 1965 году Гуль писал мне из Нью Йорка в Принстон:

> „Вот я о чем думаю. Если бы Вы не возражали, я мог бы давать в каждой книге Н. Ж. — по большому куску (стр. 50, скажем) из Вашей книги. В декабрьской такой большой кусок мне дать несколько труднее, ибо у меня уже много набрано. Но стр. 30 — можно бы было, я думаю. Только это надо решать быстро."

Письмо это датировано 4 декабря. И за год, и за два до этого Гуль обращался ко мне не раз, прося материал для „Нового журнала". В 1964 г., например, он писал (9 января):

> „Пришлите ч. н. для Н. Ж. — в особенности ценится проза Берберовой — художественная и статейная, и стихи тоже очень ждутся".

Но конкретно о напечатании книги целиком на страницах журнала он до 1965 г. не говорил. Я отказалась от этого предложения, т. к. не хотела печатать книгу кусками и ждала возможности выпустить ее целиком. Когда в 1967 г. должен был выйти юбилейный номер журнала, (87-ой, 20 лет существования), Гуль начал настаивать, чтобы я дала для него хотя бы один отрывок. После нескольких телефонных разговоров, я согласилась на это и послала ему два отрывка, каждый около 30 страниц, давая ему, как редактору, возможность выбора. Первый отрывок из части первой был о детстве, второй (часть третья) был о Горьком. Гуль выбрал второй отрывок, и он был напечатан. Первый был мне возвращен.

Все без исключения русские цитаты, которые Гуль приводит в своем отзыве о „Курсиве", взяты им из первого отрывка, прочи-

танного им в 1967 г. в оригинале. Поэтому утверждение Гуля, что он читал русскую рукопись (которую, как я сказала, я никогда не давала ему), приходится всерьез не принимать. И не только потому, что все цитаты он приводит из бывшего у него в руках куска, но и потому, что он посвящает значительное место в своей рецензии моей якобы ошибке касательно выезда Замятина из Советского Союза. На самом деле в русском тексте никогда никакой ошибки не было: в английском переводе выпала запятая и вся фраза получила двусмысленный оттенок. Гуль даже пытается в одном месте угадать, как бы вся фраза звучала по-русски и собственный свой перевод ставит в кавычки так, как-будто бы беря их из моего русского текста: Замятина „попросили" выехать. Ничего даже похожего в русском тексте у меня нет. О том, что в фразе о выезде Замятина появилась двусмысленность, которая была принята американским критиком за ошибку, я написала в „Нью Йорк Таймс" и мое разъяснение было напечатано в номере от 29 июня 1969 г. Когда мне приписывают никогда мной не произнесенные слова, я называю это подлогом. Но интереснее сейчас другое: читал ли Гуль английский текст „Курсива", и если читал, то что из него понял?

Он поправляет мои ошибки, которые находит „в великом множестве". У меня в тексте: Н. Н. Евреинов стал эмигрантом в 20-х г. г. Гуль читает: Евреинов выехал из России в 1920 г. (и поправляет меня). У меня Петрункевич был одним из редакторов „Речи". Гуль читает: Петрункевич был издателем „Речи" (и поправляет меня). У меня: я родилась в 1901 году. Гуль говорит: эта автобиография (вышедшая в 1969 г.) приурочена к семидесятилетию автора (в 1899 году родился В. В. Набоков, но не я). У меня в части четвертой объяснено, почему в 1940 г. я звала В. Руднева, а позже — И. А. Бунина приехать с юга Франции в Париж — у меня для этого были уважительные причины, разъясненные раз и навсегда в моей книге. Гуль, игнорируя мои объяснения, делает предположение, что я звала обоих потому, что мне хорошо жилось.

В конце книги стоит дата ее окончания: 1965 г. Гуль считает, что я в своей книге подражаю автобиографии Сартра — которая вышла... в конце 1964 г., и удивляется, что я не приняла во внимание в своей книге одной из статей Г. Струве... 1969 года!

Вслед за этими „поправками" Гуля, идут „поправки" другого рода: у меня сказано, что Фондаминский одно время состоял членом боевой организации эс-эров, о чем и он сам, и его близкие не раз рассказывали. Гуль поправляет меня и говорит, что Фондаминский не участвовал в терроре — я ничего про его участие в терроре не говорила. У меня сказано, что роман О. Савича вышел в Москве. Гуль учит меня: он вышел в Берлине. Действительно, в 1929 г. „Воображаемый собеседник" Савича вышел в Берлине. Но зачем было ждать до 1929 г.? В Советском Союзе, в издательстве „Прибой", он вышел в 1928 г. У меня сказано: сборники Мельгунова в Париже (сразу после окончания войны) выходили до того, как начала выходить газета „Русская мысль", в которой, кстати, я работала со дня ее основания. Гуль говорит, что „Русская мысль" уже выходила, когда выходили сборники Мельгунова. Это не так. Газета началась в 1947 году, а первые сборники Мельгунова вышли в 1946 г. — „Русский Демократ" и другие.

К этому отношению редактора „Нового журнала" к литературной истории эмиграции нужно добавить еще и следующее: напечатав в 1967 г. мой отрывок о Горьком (о котором я говорила выше), Гуль в своей рецензии пишет, что, ничего нового не сказав, я взяла все из статьи Ходасевича о Горьком. Между тем, в главу третью „Курсива" вошли почти без изменения мои три больших фельетона „Три года с Горьким", напечатанные в „Последних новостях" в июне 1936 г., сейчас же после смерти Горького — см. №№ 5567, 5570 и 5574 этой газеты. Когда Ходасевич начал писать свою статью о Горьком, он, спросив у меня разрешения, не только использовал эти три фельетона, но и мои записи 20-ых г. г., которые я была счастлива ему предоставить.

Гуль сообщает своим читателям, что Г. В. Адамович, которого он запросил, отрицает, что давал мне читать в 1945—46 г. рукопись своей французской книги. Когда я видела Адамовича (6-го июля, 1965 г., в кафе Мариньян, на Елисейских полях), он жаловался мне на полную потерю памяти. Возможно, что и этот наш разговор им теперь забыт. Странным кажется то, что Адамович отрицает факт передачи мне для чтения рукописи, которую он мне лично принес на улицу Миромениль дом 21, где я тогда жила, но не отрицает того, что в первой ее редакции там были страницы о Сталине, позже им вынутые.

Что касается самого Гуля, то он отрицает, что был корреспондентом советских газет в 20-х г. г., говоря, что надо было состоять для этого в компартии. Это неверно. Ни О. Савич, ни И. Эренбург в те времена партийными не были. Если Гуль не работал, как корреспондент советских газет, то позволено будет спросить: за что же ему платили деньги? Ему их переводили из Советского Союза в Берлин вплоть до 1927 г. (Об этом см. Переписку М. Горького с И. Груздевым. Изд. „Наука". Москва. 1966. Стр. 136).

Но довольно о мелочах. Перейду к более важному. Гуль приводит в своей рецензии эпиграмму Бунина на меня, искажая ее. Эта эпиграмма включена в русское издание „Курсива": я слышала ее от самого Бунина. Я тогда была удивлена оригинальностью рифмы и спросила И. А. почему в его стихах он никогда не пользуется такими смелыми, „маяковскими" рифмами? Он, я помню, очень рассердился на такую мою реакцию (или притворился, что сердится). Предполагать, что Бунин скрыл от меня свою эпиграмму, значит вовсе не понимать тона наших отношений, где в разговорах Бунин никогда ничего не „подавлял". Из англо-американского издания моей книги эта эпиграмма была вынута по той простой причине, что я не смогла перевести на английский язык именно ее рифму, а без рифмы двустишие превращалось в обыкновенную брань. Если читатель удивится такой откровенности Бунина со мной, то пусть прочтет письмо Горького к Е. П. Пешковой, где Горький писал: „Бунин на публичных собраниях выражается по-матерному" (Переписка, том второй, стр. 242). Впрочем, не следует всерьез принимать эти его грубости: это была только — хорошо известная по литературе — поза русского барина.

Что касается русского масонства XX в., то В. А. Маклаков знал, как позже знал и Г. Я. Аронсон, что я веду записи наших с ним разговоров, а также тот факт, что я составляю каталог русских масонов XX века, собираю их портреты, биографии, библиографии

— как людей замечательных, знаменитых и крупных, так и людей давно забытых. У меня составилась картотека в которой 237 имен (1908—1950). Я — не историк, и работаю не для себя, а для историка. Маклаков считал, что несмотря на то, что „третье поколение” русских масонов еще существует, русское масонство ушло далеко от той дороги, которую ему когда-то начертал М. М. Ковалевский. На западе общество больше не имеет „тайны” (особенно, добавлю от себя, после выхода книги Гишара, в 1969 году). В России общество уничтожено. Маклаков просил меня не печатать того, что он мне говорил, по крайней мере четверть века. Если считать, что последние наши разговоры были в 1944—45 г. г. (после его визита к советскому послу Богомолову мы уже не встречались), то волю его я выполнила и теперь считаю себя свободной. Но когда Гуль заявляет, что А. И. Гучков никогда масоном не был, я ему не возражаю: я положила себе за правило никогда не спорить о том, кто был и кто не был масоном, и ни в какие дискуссии на эти темы не вступать.

И теперь я подхожу к самой серьезной части рецензии Гуля: он, как это ни невероятно, думает, что у Шекспира были одни положительные герои. Трудно представить себе, чтобы память настолько изменила ему. Он возмущен, что я, в одном своем стихотворении, сравнила Гитлера с одним из шекспировских героев! Действительно, в моем стихотворении „Шекспиру” (1942 г.), где Гитлер конечно не назван по имени, есть параллель между ним и Макбетом, так же, как в этой моей книге есть параллель между Сталиным и персидским царем Камбизом. Это мое стихотворение в трех версиях ходило по рукам в 1942—44 г. г. в Париже. И Гуль жалеет, что оно до сих пор не напечатано: он намекает, что я скрываю его, т. к. Гитлер в нем мною „воспет”. И вот тут-то я и принуждена осторожно спустить Гуля в юдоль нашей земной действительности, с которой он, видимо, потерял контакт: стихи мои под названием „Шекспиру” были напечатаны в те времена, когда покойный М. М. Карпович и сам Гуль печатали меня в своем журнале. Эти стихи можно прочесть в Антологии, вышедшей в изд. им. Чехова, в Нью Йорке, в 1953 году, под редакцией Ю. П. Иваска, на стр. 99.

Не полезно было бы Гулю иногда освежать свою ослабевшую память чтением переписки Горького с Груздевым, копий собственных писем к сотрудникам его журнала, антологий русской поэзии, а также одного, теперь забытого романа из жизни русской эмиграции, „Жизнь на фукса” (автор — Роман Гуль, Госиздат. Москва. 1927), — не говоря уже о трагедиях Шекспира, — прежде чем пускаться на инсинуации, доносы и подлоги?

В заключение — два слова о приговоре Гуля моему названию „Курсив мой”. Оказывается, оно уже было использовано когда-то Ильфом и Петровым. Типично для передергивания Гуля: название их рассказа „Отдайте ему курсив!”, но Гуль сообщает своим читателям, что оно идентично с моим. Этим шулерским приемом он пользуется несколько раз, например, когда цитирует меня: „Я любила победителей больше побежденных”, и опускает конец фразы: „*Теперь не люблю ни тех, ни других*” (1941 г. — sic!). Но почему, если у нас есть три „Войны и мира” и два „Василия Теркина”, не может быть двух „Курсивов”? Особенно, если принять во внимание, что фраза в рассказе Ильфа и Петрова говорится *не писателю*, а *дураку-критику*, которого как всякого кри-

тика, по словам авторов рассказа, „хорошо вешать на цветущих акациях". Ходовое выражение „курсив мой" применено мною иносказательно, точно так, как уже упомянутый мною актер Ю. М. Юрьев (1872—1948) применил его в своих „Записках", вспоминая о постановке Мейерхольдом „Дон Жуана" Мольера, в Александринском театре, в 1910 г. На стр. 188 второго тома, Юрьев пишет:

> „Все внимание было устремлено на смены темпа и быстрое смелое переключение с одного ритма на другой, на четкость дикции и разнообразие шрифта — то курсив, то петит, то нонпарель, и только в отдельных случаях более крупный шрифт, — окрашивая их то одной, то другой краской, добиваясь мастерства."

На этой цитате большого актера ушедшего времени, виденного мною в Чацком (в 12 лет) и в Арбенине (в 15 лет), и не забытого мною за мою долгую жизнь, я и закончу это послесловие.

Н. Б.

6 февраля 1971 г.
Принстон, США

БИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

АДАМОВ, Артур. (1908, Кисловодск—1970). Французский драматург, армянин по происхождению. Печатался с 1947 г. Принадлежит к группе Арто, Бекетта и Ионеско, так наз. „Театра Абсурда".

АДАМОВИЧ, Георгий Викторович. (1894 —). Печ. с 1915 г. Эмигрант с 1923 г. Поэт-акмеист. Литературный критик, предпочитающий „несовершенное, незаконченное, диллетантское произведение — слишком совершенному, отполированному", „исповедь и дневник" — „литературе", но в этом не всегда последовательный. О нем см. „Благонамеренный" № 2 (1926), статья М. Цветаевой, и „Дар" В. Набокова (Сирина) — Христофор Мортус. В 1947 г. А-ч опубликовал на французском языке свою „исповедь": „Вторая родина", где признал величие Сталина, как главнокомандующего советскими армиями во Второй Мировой войне. Сборники стихов: „Облака" (1916), „Чистилище" (1922), „На Западе" (1939), „Единство" (1967). В этом последнем сборнике (52 стр.) собраны стихи „разных лет", но к сожалению под стихами нет дат. Некоторые написаны более 50-ти лет тому назад.

АДАМОВИЧ, Татьяна Викторовна. (1892—1970). Сестра предыдущего. В 1914—17 г. г. друг Гумилева и Ахматовой. Между двумя войнами имела балетную школу в Варшаве. Замужняя фамилия — Высоцкая. Автор воспоминаний: Tacjanna Wysocka, Wspomnienia. „Czytelnik", 1962.

АДЖЕМОВ, Моисей Сергеевич. (1878—1950?). Член кадетской партии, член Гос. Думы от Донской Области. Эмигрант.

АЗЕФ, Евно Фишелевич. (1869—1918). Провокатор, член эс-эровской партии и ее боевой организации, одновременно служил в Охранке. Вместе с Савинковым руководил убийством вел. кн. Сергея Александровича и др. Член Ц. К. эс-эровской партии с 1905 г. В 1908 г. был разоблачен В. Л. Бурцевым, судим партией, осужден, но затем упущен теми, кто должен был следить за ним. Он бежал, женился на немке, имел корсетную мастерскую, и спокойно умер.

АЙХЕНВАЛЬД, Юлий Исаевич. (1872—1928). Критик-импрессионист, автор популярных „Силуэтов русских писателей". Погиб в Берлине под автомобилем.

АКВИНАТ, Фома. (1225—1274). Католический святой, философ.

АКМЕИЗМ. Литературное течение, началось около 1912 г., вокруг Гумилева и отчасти С. Городецкого. Другие участники: М. Куз-

мин, О. Мандельштам, А. Ахматова, В. Нарбут, М. Зенкевич, Н. Недоброво. В начале 1920-ых г. г. советской властью течение было объявлено контрреволюционным. Об акмезиме см. Лидия Гинзбург: „О лирике" (1964), стр. 330—371.

АКСЕНОВ, Иван Александрович. (1884—1935?). Театральный критик, переводчик (английских поэтов эпохи Елизаветы Первой), драматург и поэт.

АЛДАНОВ, Марк Александрович. (1886—1957). Эмигрант с 1919 г. Писал о судьбе эмигрантской литературы в „Современных записках" № 61. Срв. его подход с подходом В. Ходасевича: см. „Литература в изгнании", „Подвиг" и „Кровавая пища" в „Литературных статьях и воспоминаниях" (изд. имени Чехова, Нью-Йорк).

АЛЕКСЕЕВ, Михаил Васильевич. (1857—1918). Генерал Первой войны и гражданской войны, главнокомандующий армиями в 1917 г. март—май, начштаба Керенского в сентябре 1917 г. Один из основателей и инициаторов Добровольческой армии.

АЛКОНОСТ, одно из последних частных издательств в Петербурге после революции. Издавало Вяч. Иванова, Блока, Белого, Ремизова и др. В первые три года более 30 названий было выпущено, не считая перепечаток. Издательство выпускало журнал, „Записки мечтателей" (1918—1923), (вышло шесть номеров), где появилась первая редакция „Воспоминаний о Блоке" Андрея Белого (№ 6). См. „Блоковский сборник", Труды Гос. Университета, Тарту, 1964, стр. 530. История издательства описана в „Нов. Русской Книге" 1921, № 7—8.

АЛЬТЕНБЕРГ, Петер. (1859—1919). Австрийский поэт-символист, известен главным образом сборником стихотворений в прозе „Как я это вижу".

АЛЯНСКИЙ, Самуил Миронович, издатель Алконоста, друг Блока и Белого. Его имя исчезло со страниц сов. печати на 35 лет и теперь возвращено: его воспоминания напечатаны в „Новом мире" 1967, кн. 6. В этих воспоминаниях он говорит о том, что когда Блок в один из своих последних приездов в Москву читал публично свои стихи, в зале раздался возглас: „Ваши стихи мертвы, и вы сами давно мертвец!" А. говорит, что не помнит, кто это крикнул. Ходасевич был в зале и много раз говорил о том, что выкрик этот принадлежал Сергею Боброву.

АМФИТЕАТРОВ, Александр Валентинович. (1862—1938). Писатель, популярный в России до революции, эмигрант с 1920 г., жил и умер в Италии.

АНДРЕЕВ, Вадим Леонидович. (1902 —). Сын писателя Леонида Николаевича. Не эмигрант, хотя и жил и продолжает жить вне России. Советский гражданин с 1940-х г. г., работал в секретариате Объединенных Наций, печатает свои произведения в советских журналах.

АНДРЕЕВА, Мария Федоровна. (1868—1953). По первому браку — Желябужская, вторая жена М. Горького и мать кино-режиссера Ю. А. Желябужского. Одно время занимала высокий пост по администрации советских театров и кино. Член компартии, личный друг Ленина.

АННЕНКОВ, Юрий Павлович (1889 —). Художник-портретист, автор мемуаров, декоратор, работник кино. Известен своими портретами видных большевиков после революции, а также писателей, актеров и др. Он присутствовал на вокзале в Париже, летом 1965 года, когда я провожала А. А. Ахматову в Москву. Он писал позже: „Среди провожающих я встретил на платформе вокзала... приехавшую из Америки Нину Берберову, с которой я не виделся уже многие годы. Она сказала, что очень хотела бы повидать Ахматову, но боится войти в вагон, т. к. ей говорили, что Ахматова не хочет никого видеть. Я сказал, что по-моему это не так, и что Ахматова наверное будет очень рада увидаться с Берберовой. Берберова поднялась в вагон и встреча была действительно очень дружеской." („Русская мысль" № 2438, 1966). Человек, который сказал мне (и другим), что Ахматову провожать на вокзале ни в коем случае нельзя, был Г. В. Адамович.

АННЕНКОВА, Елена. Первая жена предыдущего. Балерина и актриса театра Балиева „Летучая мышь". (Урожденная Гальперн). Вернулась из Парижа в Советский Союз в конце 1920-ых г. г.

АННЕНСКИЙ, Иннокентий Федорович. (1856—1909). Один из больших поэтов эпохи символизма. В Большой Библиотеке Поэта в 1959 г. был выпущен том его стихов. См. его статьи в „Аполлоне" и два сборника „Книги отражений".

АННЕНСКИЙ-КРИВИЧ, Валентин Иннокентьевич. Сын предыдущего. Автор воспоминаний о своем отце в „Литературной мысли", № 3, 1925. Поэт. (См.: Борис Филиппов „Советская потаенная муза". 1959).

АНСТЕЙ, Ольга Николаевна. (1912 —). Выехала из Сов. Союза в 1943 г. Поэт. Живет в Нью-Йорке.

„АПОЛЛОН", Ежемесячный журнал, издавался в Петербурге, в 1909—1917 г. г. Редактор — С. К. Маковский. Крупное литературное явление в пред-революционной России. В журнале принимали ближайшее участие: Анненский, Вяч. Иванов, Гумилев и мн. др.

АПУХТИН, Алексей Николаевич. (1841—1893). Поэт, школьный друг Чайковского. Заслужено забыт в наше время. Из его юмористического стихотворения Б. Пастернак взял строчку для своего „Гамлета": „Жизнь прожить — не поле перейти" (Апухтин смеялся над собой, потому что был очень толст и говорил, что ему легче прожить жизнь, чем перейти поле).

АРАГОН, Луи. (1897 —). Поэт, писатель, член французской компартии (Центр. Комитета), был социалистическим реалистом до своего романа „Казнь" (1965), и другом Советского Союза, пока он не

опубликовал своего протеста против приговора по делу Синявского и Даниеля. Он до сих пор видимо считает, что Горького убили доктора, агенты Германии (или Японии). Женат на Эльзе (Юрьевне) Триоле, писательнице, сестре Л. Ю. Брик.

АРИСТОТЕЛЬ, греческий философ (384—322 до н. эры). Автор Этики, Поэтики, Политики и др. книг. Учитель Александра Великого и ученик Платона.

АРИСТОФАН, (445?—386 до н. эры). Знаменитый комический поэт Греции, автор 40 комедий (11 только известны).

АРЦЫБАШЕВ, Михаил Петрович. (1878—1927). Писатель, автор „Санина". Эмигрант, жил и умер в Варшаве.

АСЯ — моя двоюродная сестра, жившая одно время в Берлине, затем в Париже. Однажды в Берлине, в 1922 году, я говорила с ней по телефону, в присутствии Андрея Белого, и заметила, что он прислушивается к моему разговору: он настолько был подавлен разрывом с А. А. Тургеневой-Бугаевой, своей первой женой, что когда я сказала „Прощай, Асинька", и повесила трубку, он подошел ко мне с напряженным, улыбающимся лицом и спросил: „Асинька? Какая Асинька? Разве есть еще Асиньки?" Я успокоила его, сказав, что это моя родственница, с которой он сам недавно у нас познакомился.

АХМАТОВА, Анна Андреевна. (1888—1966). Русский поэт, член группы акмеистов, первый муж — Н. С. Гумилев, второй — проф. Шилейко, третий — Н. Н. Пунин. После 47 лет она выехала в Европу, сначала в Палермо, затем в Оксфорд, для получения литературных премий от европейских литературных организаций. Н. Н. Пунин и сын ее от первого брака, Л. Н. Гумилев, в 1930-х г. г. были оба арестованы. По словам бывшего при нем и теперь находящегося на воле другого заключенного (назвать которого я не могу), Пунин умер в ссылке накануне того дня, когда он должен был быть выпущен на волю. В первые годы после Октябрьской революции Пунин играл довольно видную роль, он был историком и теоретиком искусства, и частью принадлежал к группе футуристов, был близок к „Лефу" и Маяковскому, сотрудничал с ним в „Искусстве Коммуны", где в 1920 году напечатал статью о футуризме, как направлении „нового государственного режима", положив футуризм к ногам большевистской власти. Он также напечатал вместе с Е. Полетаевым „Против цивилизации", где обосновывал свои идеи (1918). О Пунине есть интересные данные в „Литературном наследстве", кн. 65.

БАБЕЛЬ, Исаак Эммануилович. (1894—1941). Печатался с 1916 г. В 1937 г. был „незаконно репрессирован", сейчас „реабилитирован посмертно". Очень рано такие критики как Д. Мирский и В. Шкловский оценили его талант. Мирский писал о нем в „Современных записках" в кн. 26. Шкловский в „Лефе" (1923, №4) говорил о героях Бабеля „нам неинтересных, но нам интересны

рассказы его о них" и считал, что у Бабеля „идеология — конструктивный прием". В 1964 г. („Москва" № 7) Л. Никулин так вспоминал о гибели этого замечательного писателя, убитого во время Сталинского террора: „Он исчез, как исчезли другие наши товарищи, но все-же он оставил неизгладимый след в нашей литературе, не по своей вине он не допел свою песню" (Трудно представить себе нечто более пошлое, чем эта фраза).

БАКСТ, Леонид Самойлович. (1866—1924). Член „Мира Искусств", художник и декоратор, работал у Дягилева, жил с 1909 г. в Париже.

БАЛИЕВ, Никита Федорович (умер в 1936). Директор и хозяин театра „Летучая мышь". В 20-ых г. г. имел в Европе и Америке большой успех, затем утратил его, когда мода на театр-миниатюр и варьетэ стала проходить. Умер в больших финансовых трудностях в Нью-Йорке.

БАЛЬМОНТ, Константин Дмитриевич. (1867—1942). Поэт-символист, в начале столетия крайне популярный в России. С 1921 г. эмигрант. Умер в нищете и забвении, в полном отчуждении от реальности своего времени и от читателя, которого он еще потерял в России. Когда-то о нем ходили легенды, И. Анненский писал о нем в „Книге отражений". Но уже с 1914 года началось его творческое падение. Когда я говорю о нем в связи с Огюстом Бланки, я хочу сказать, что русская интеллигенция была враждебна всякому компромиссу и не умела, не хотела, не могла связать „чистое искусство" (термин, конечно, совершенно условный) и революционные поучения теоретиков марксизма. В этом смысле интересно вспомнить об испанской гробнице, где вместе похоронены „левые" и „правые" жертвы гражданской войны, или например, уважение, которое поляки оказывают теперь, при коммунистическом режиме, гробнице Пилсудского, или чехи — образу Масарика. Эти три примера „западного компромисса" трудно себе представить в России, и символически имена Бальмонта и Бланки вероятно не могли бы соединиться в сознании русского интеллигента.

БАНГ, Герман. (1857—1912). Датский писатель.

БАРК, Петр Львович. (1869—1937). Последний министр финансов царского правительства (1914—1917), сменивший Коковцева. Его мемуары напечатаны в „Возрождении" (Париж), в г. г. 1955, 1959, 1965, 1966, 1967.

БАРРО, Жан-Луи. (1910 —). Французский актер, ученик Дюллена, затем играл в Комеди Франсэз; в 1946—1956 имел свой театр в Париже. Также играл и в кино, где в 1930-ых г. г. он выдвинулся в небольшой роли молодого Бонапарта, а затем прославился в роли балаганного мима во французском фильме „Дети райка" (сделанном в последние годы оккупации).

БАРТУ, Луи. (1862—1934). Французский министр, сенатор. Убит вместе с сербским королем Александром в Марселе хорватскими террористами.

БАРЯТИНСКИЙ, Владимир Владимирович. (1874—1941). Драматург, до революции муж актрисы Яворской, имел свой театр. Позже эмигрант, сотрудник „Последних новостей".

БАХ, Иоганн-Себастиан. (1685—1750).

БАШКИРЦЕВА, Мария Константиновна. (1860—1884). С 1870 г. жила во Франции. Художница, оставила дневник, изданный в 1887 г. по французски и в 1893 г. по-русски.

БЕДНЫЙ, Демьян. (1883—1945). Любимый поэт Ленина. В Краткой Лит. Энциклопедии сказано, что он „развивал традиции Курочкина".

БЕЙЛИС, Мендель. (1873—1934). Жертва „кровавого навета", был судим за якобы совершенное им убийство А. Ющинского в Киеве, в 1911—1913 г. г. Был оправдан, уехал в Америку. Умер в Чикаго.

БЕЛЫЙ, Андрей (псевдоним Бориса Николаевича Бугаева). (1880—1934). Поэт, прозаик, мемуарист, теоретик литературы, критик, друг Вяч. Иванова и Блока, последователь антропософа Рудольфа Штейнера. В 1916—21 г. г. оставался в России, частично приняв Октябрьскую революцию, затем выехал в Германию. Вернулся в октябре 1923 г. В годы военного коммунизма принимал близкое участие в литературной жизни Петербурга, читал лекции в Пролеткульте, выступал в Доме Искусств (между прочим, 1 марта 1920 г. читал там отрывки из „Записок чудака"). Его портреты в „Литер. Наследстве" кн. 27—28, в „Автобиографиях писателей" под ред. В. Лидина, в книге С. К. Маковского „На Парнасе серебряного века" (1962). В США сейчас готовится академическое собрание его сочинений.

БЕНУА, Александр Николаевич. (1870—1960). Член „Мира искусств", художник, декоратор, автор книг по искусству, мемуарист. Эмигрант с конца 20-ых г. г.

БЕРАНЖЕ, Жан-Пьер. (1780—1857). Сочинитель песенок, которые имели необычайную популярность благодаря злободневности и легкости. Сентиментальный, либеральный по духу, особенно был успешен во время Реставрации.

БЕРБЕРОВА, Н. Н. — автор этой книги. Произведения, упомянутые здесь: „Аккомпаниаторша" (1935), „Чайковский" (1936), „Биянкурские праздники" (1929—1938), „Без заката" (1938), „Бородин" (1938), „Облегчение участи" (1948), „Блок и его время" (по-французски, 1948), „Процесс Кравченко" (1949), „Большой город" (1953), „Мыс бурь" (1951), „Памяти Шлимана" (1958), „Мыслящий тростник" (1958), „Черная болезнь" (1959), и др.

БЕРБЕРОВЫ, семья моего отца. Дед — Иван Минаевич, отец — Николай Иванович. Брат отца — Минас Иванович (Ованесович), министр нар. просвещения Армении в 1917 году. В 1912 г. был

судим за участие в организации Дашнакцутюн, Армянская национальная партия. Двоюродный брат — Александр Мосесович, генерал сов. авиации (род. 1902 г.). Моя мать — Наталия Ивановна, урожденная Караулова.

БЕРДЯЕВ, Николай Александрович. (1874—1948). Философ, историк, литературный критик. Интересны некоторые ранние писания, опережающие свое время: „О Пикассо" („София", 1914, № 3), „Кризис искусства" (о „Петербурге" Белого, Москва, изд. Леман, 1918). В 1890 г. г. — марксист, затем анти-конформист, позже православный христианин. При царском режиме был выслан и судился. В 1917 г. — профессор Московского университета. 2 раза был арестован большевиками и наконец летом 1922 г. выслан в Европу. Жил и умер в Кламаре, под Парижем. Один из русских экзистенциалистов.

БЕРЛИН, Павел Абрамович. (ум. 1962). Русско-еврейский журналист, писал по политическим и экономическим вопросам.

БЕРНШТЕЙН, Сергей Игнатьевич. (1892 —). Профессор филолог, работал в области фонологии, фонетики и орфоэпии. Записывал чтение поэтами своих стихов еще в начале 20-х г. г. По слухам, все ленты были позже уничтожены. Его имя не попадалось в печати около 30 лет, теперь он возвращен к жизни, и работает в области звучащей художественной речи.

„БЕСЕДА", журнал под ред. Горького, Белого, Ходасевича, Брауна и др. Выходил в Берлине 1923—1925 (всего семь книг). Был задуман как издание, которое могло бы ввозиться в Россию, но разрешения на это не было получено и журнал закрылся. Среди интересного материала там напечатаны были статьи Ходасевича о Пушкине, стихи Софьи Парнок, рассказы Горького и очерки Белого.

БИЛИБИН, Иван Яковлевич. (1876—1942). Художник, иллюстратор, член „Мира искусств". Эмигрант. Вернулся в СССР в 1930-х г. г.

БЛАГОВ, Федор Иванович. (1866 —?). Московский промышленник, сотрудник И. Д. Сытина по „Русскому слову". Умер в Париже, в большой бедности, перед Второй войной.

БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН. (354—430). Католический святой и философ.

БЛАНКИ, Огюст. (1805—1881). Теоретик социализма.

БЛОК, Александр Александрович. (1880—1921). Жил и умер на Офицерской улице (теперь — Декабристов), дом 57, кв. 23. Среди многих воспоминаний о нем, отмечу воспоминания актрисы Веригиной, подруги Н. Н. Волоховой, напечатанные в Ученых записках Тартуского Гос. Университета (1961, кн. 4), а также воспоминания (и дневниковые записи) Евг. Иванова в „Блоковском сборнике" (1964). Последнее выступление Блока в Петербурге — 11 февраля 1921 г., в Доме Литераторов, доклад „О назначении поэта".

БЛОК, Александра Андреевна. (1860—1923). Мать поэта. Во втором замужестве — Кублицкая—Пиоттух.

БЛОК, Любовь Дмитриевна. (1881—1939). Жена поэта, дочь Д. И. Менделеева. „Люба" и „Щ." воспоминаний Белого. Ее неопубликованные воспоминания в рукописи находятся в США, в них она откровенно говорит о своей замужней жизни с Блоком и о любви к ней Белого, а также о других своих увлечениях. Актриса театра Мейерхольда, автор корреспонденций с фронта „Из писем сестры милосердия", напечатанных в „Отечестве" 1914 г. № 4, стр. 78—79.

БЛОХ, Раиса Ноевна. (1899—1943). Поэт и литературовед, сестра издателя Петрополиса, Я. Н. Блоха. Депортирована в лагерь немцами. О ней см. Institut d'Etudes Slaves. Vol. 30.

БЛУА, Леон. (1846—1917). Французский писатель, автор книги „Неблагодарный нищий".

БЛЮМКИН, Яков. (?—1929). Левый эс-эр, убийца немецкого посла Мирбаха (лето 1918); был прощен и назначен на ответственное место в Чека. Был расстрелян после того, как во время своей поездки в Турцию, он виделся с Троцким. О нем см. Исаак Дейчер, третий том „Жизни Троцкого" („The Prophet Outcast", 1963).

БОВУАР, Симонн де. (1908 —). Французская писательница, жена Ж.-П. Сартра. Автор романов, пьес, философских сочинений, путешествий, автобиографии в трех томах, литературной критики.

БОДЛЕР, Шарль. (1821—1867). Великий французский поэт, автор „Цветов зла".

БОЖНЕВ, Борис. (1900—1940?). Талантливый поэт, эмигрант, из группы Кнута и Гингера. Лучшая книга его „Борьба за несуществование", Париж, 1925 (см. мою рецензию о ней в „Современных записках" кн. 24).

БОРИСОВ, Леонид. (1897 —), советский писатель. Вместе с ним Горький в письме к Роллану упоминает Нину Смирнову (1899—1931), — умерла до чисток; Александра Яковлева, — исчез в 1930-х г. г.; Сергея Клычкова (1889—1940), — „незаконно репрессирован, реабилитирован посмертно"; Василия Казина (1898 —) — с 1937 до 1964 не печатался; и П. Орешина — видимо сейчас „реабилитированного". Сам Борисов около 1938 г. почти исключительно перешел на очерки и повести о жизни различных писателей (Жюль Верна, Стивенсона и т. д.).

БОССЕ, Харриэт. (1878—1961). Третья жена Августа Стриндберга, актриса. Ее переписка с великим драматургом опубликована.

БРАК, Жорж. (1882—1963). Французский художник, фовист, кубист. Работал для Дягилева.

БРЕТОН, Андре. (1896—1966). Французский поэт, сюрреалист и „дадá", автор манифеста сюрреалистов, одно время член французской

компартии, в 1935 г. порвал с ней, объявив себя троцкистом. В 1938 был гостем Троцкого в Мексике.

БРЕШКОВСКАЯ, Екатерина Константиновна. (1844—1934). Эс-эрка, так называемая „бабушка русской революции", участница процесса 193-х, народница, четыре раза арестованная при царе; эмигрантка после революции, жила и умерла в Праге.

БРИАН, Аристид. (1862—1932). Французский государственный деятель. Активно работал в Лиге Наций по разоружению, несколько раз премьер-министр Франции.

БРИК, Осип Максимович и Лиля Юрьевна. Он (1888—1945) — видный участник группы „формалистов", автор классических сейчас „Звуковых повторов", друг Маяковского, организатор Опояза (1916—1919). Она — много лет подруга Маяковского, к ней обращены его ранние стихи (любовные) и поэма „Про это". Брики жили в Петербурге на улице Жуковского 7 (1915—1918). Мы жили на ул. Жуковского 6 кв. 1 (1914—1918). Переписка Маяковского с Л. Ю. Брик опубликована в „Литературном наследстве" кн. 65. Интересная подробность: кн. 65 и 66 должны были содержать материалы о Маяковском, но после выхода первого тома, опубликование их было запрещено, и книга 66 „Лит. Насл." никогда не вышла — за 65-ой следует 67-ая.

БРИЛЛИАНТ, Дора Владимировна. (1880?—1905). Революционерка, террористка, член боевой организации, принимала участие в убийстве вел. кн. Сергея Александровича.

БРОДЯЧАЯ СОБАКА, ночной клуб писателей и художников в Петербурге на Караванной улице (закрылся в 1915 г.), где происходили экспромтные выступления. После „Собаки" открылся „Привал комедиантов" на Мойке д. 7 (закрыт был в 1919 г.).

БУГАЕВ, Николай Васильевич. (1837—1903). Отец Андрея Белого, профессор математики и декан Московск. университета. О нем см. Л. Лопатин, „Философское мировоззрение Н. В. Бугаева", „Вопросы философии и психологии", 1904, часть 1, стр. 172—195.

БУДБЕРГ, Мария Игнатьевна. (1892? —). Урожденная графиня Закревская, по первому браку графиня Бенкендорф. Лев Никулин пишет о ней в своих воспоминаниях („Москва" 1966, № 2): „Когда нас спрашивают, кому посвящен „Клим Самгин", кто такая Мария Игнатьевна Закревская, мы думаем о том, что портрет ее до его последних дней стоял на столе у Горького. Она прилетела из далекой страны и была при нем в последние часы его жизни"... В 1936 году она, видимо, не „прилетела", а „приехала" (воспоминания Никулина называются „Незабываемое, недосказанное" (!)), кстати привезя с собой из Лондона, где она живет с 1933 года постоянно, те архивы Горького, которые она хранила. В 1930-х и 1940-х г. г. она была близка Герберту Уэллсу. В 1967 году она, после 31 года, ездила в СССР, где ей был оказан торжественный прием. Трое детей ее (одна дочь — приемная, дочь ее сестры, г-жи Мулэн) живут в Англии: сын Павел, дочери

Татьяна и Кира. О Б. см. воспоминания Брюса Локарта (1933) и биографию Уэллса, изданную Л. Диксоном в 1969 г.

БУЛГАКОВ, Сергей Николаевич. (1871—1944). Религиозный философ, друг Бердяева, в молодости — социалист, с 1918 г. — священник. Выслан из России в 1922 г. Был членом Гос. Думы, участвовал в 1917 г. в церковном Соборе.

БУНИН, Иван Алексеевич. (1870—1953). Эмигрант с 1920 г. Получил Нобелевскую премию в 1933 г. В Советском Союзе со времени „оттепели" считается „критическим реалистом". После моей французской книги о Блоке, он сочинил на меня эпиграмму: „В ‚Русской мысли' слышен стервы вой / Это критика Берберовой." Его проза — безупречна, несмотря на ее „старомодность"; его поэзия имеет много общего с циклом Я. Полонского „Сазандар" (о Грузии) — где оба поэта пользуются одними и теми-же приемами, ритмами, и даже одним и тем-же словарем. „Сазандар" был написан в 1846—1851 г. г. и до сих пор никогда, насколько мне известно, не был оценен по достоинству.

БУРЫШКИН, А. А. (1880?—1954?). Московский промышленник, представитель в 1917 г. торговли и промышленности при Временном правительстве. Его воспоминания о купеческой Москве вышли в Нью-Йорке в изд-ве имени Чехова, в 1954 г.

БУХАРИН, Николай Иванович. (1887—1938). Теоретик марксизма, друг Ленина, погиб в сталинском терроре, после 3-го Московского процесса (вместе с П. П. Крючковым и др.).

БЬЮКЕНАН, сэр Джордж Вильям. (1854—1924). Посол Англии в Петербурге. Выехал из России после Октябрьской революции. Автор книги о России.

ВАГИНОВ, Константин Константинович. (1900—1943). Поэт, член Звучащей Раковины. Выпустил три книги стихов и роман „Козлиная песнь" (Л. „Прибой", 1930), предварительно печатал его отрывки в „Звезде", 1927, № 10. Был женат на Шуре Федоровой, тоже участнице Звучащей Раковины. У Ходасевича есть незаконченный отрывок стихов (1926? года), где он вспоминает Петербург и говорит, что ему пишут, что Костя Вагинов, по слухам, пишет хорошие стихи (конец отрывка „Великая вокруг меня пустыня").

ВАЛЕРИ, Поль. (1871—1945). Французский поэт XX века, автор „Мосье Тэста", „Морского кладбища", „Молодой Парки" и др. И. Бабель писал И. Л. Лившицу 26 января 1928 года: „Из снобизма книги Валери печатаются в 50-ти или 100 экземплярах, делают это для того, чтобы „чернь" не читала." („Знамя", 1964, кн. 8).

ВАСИЛЬЕВА, Клавдия Николаевна. (1890?—1970). С 1924 года — жена Андрея Белого (Бугаева). Познакомилась с Белым около 1918 года. Автор (неизданных) воспоминаний о Белом. Жила под Москвой, с 1952—53 года без движения, в параличе.

ВАХТАНГОВ, Евгений Багратионович. (1883—1922). Режиссер театра Габима и Студии МХТ.

ВЕЙДЛЕ, Владимир Васильевич. (1895 —). Эмигрант с 1924 года, в 1932—1952 г. г. — профессор Богословского Института в Париже. Историк искусства, критик, эссеист. Приезжал в США два раза, был моим гостем в Принстоне в 1969 и 1970 г. г.

ВЕЛИЧ, Люба. (1913 —). Оперная певица, сопрано, бессмертная „Саломея" Рихарда Штрауса. С 1946 г. — в Вене; болгарка по происхождению.

ВЕНГЕРОВА, Зинаида Афанасьевна. (1867—1941). Переводчица, критик, жена Н. М. Минского, сестра проф. С. А. Венгерова. В 1890-ых г. г. она прислала первую корреспонденцию (в „Вестник Европы") о новой французской поэзии — символистов и „декадентов". Через 25 лет она была первой, которая сообщила из Лондона о возникновении „имажизма", новой группы, куда вошли Т. С. Элиот, Эзра Паунд и др. англо-американские поэты.

ВЕРБИЦКАЯ, Анастасия Алексеевна. (1861—1928). Автор „Вавочки", „Ключей счастья" и др. романов.

ВЕРЛЕН, Поль. (1844—1896). Французский поэт-символист.

ВЕРМЕЛЬ, Самуил Матвеевич. Талантливый русский режиссер в авангардных театрах 20-ых г. г. Автор мемуаров о Мейерхольде. С конца 20-ых г. г. жил заграницей.

ВЕРТИНСКИЙ, Александр Николаевич. (1890?—1957). Популярный автор и исполнитель песенок. До 1943 года — эмигрант, выступал в парижских ресторанах. В 1937 г. выпустил в Харбине книгу своих песенок (1916—1937). В 1943 г. вернулся в Москву, где стал кино-артистом. Автор мемуаров, напечатанных в „Москве", в 1962 г.

ВЕРХОВСКИЙ, Юрий Никандрович. (1878—1956). Поэт, переводчик, автор книги о Пушкинской плеяде, друг Блока, Ходасевича и др. За толщину и медлительность прозванный Слон Слонович.

„ВЕСТНИК ЕВРОПЫ", ежемесячный журнал, основанный Карамзиным. Первая серия — 1802—1830, вторая серия — 1866—1918; последний редактор — Овсянико-Куликовский.

ВИНАВЕР, Максим Моисеевич. (1863—1926). Крупный русско-еврейский общественный деятель, кадет и член Гос. Думы. В Париже издавал „Еврейскую трибуну" на трех языках. Издатель и редактор еженедельной газеты „Звено" (литературное приложение к „Последним Новостям"). Автор мемуаров.

ВИШНЯК, Абрам Григорьевич. (1895—1943). Издатель „Геликона" в Берлине, печатавший „Эпопею" А. Белого. Друг Эренбурга и его жены, депортированный немцами и погибший в лагере.

ВИШНЯК, Марк Веньяминович. (1883 —). Эс-эр, секретарь Учредительного собрания. В эмиграции —один из редакторов „Современных записок". С 1940 года — в Нью-Йорке, один из сотрудников-специалистов по русским делам в журнале „Тайм-магазин" — несмотря на свои социалистические убеждения.

„ВОЗРОЖДЕНИЕ", выходило в Париже с 1925 г. — до 1936 г. как ежедневная газета; с 1936 до 1940 — еженедельная газета. С 1949 по 1954 — журнал, один раз в два месяца; с 1955 года — ежемесячно. Издание было правого толка, но, конечно, не за самодержавие, не поддерживающее фашизм и не поддерживающее Гитлера. Сотрудники газеты в большинстве принадлежали „правой" масонской ложе (Гранд Лож), в то время, как сотрудники „Последних новостей" принадлежали „левой" ложе (Гранд Ориан).

ВОЛКОНСКИЙ, Сергей Михайлович. (1860—1937). Внук декабриста, одно время директор Императорских театров в Петербурге. Близкий Дягилеву и кругам „Мира Искусства". Эмигрант, театральный критик „Последних новостей". Автор мемуаров о детстве и юности в дореволюционной России.

ВОЛОДАРСКИЙ, Моисей Маркович. (1891—1918). Большевик, в мае 1917 г. приехал в Петербург из США. Был убит эс-эром Сергеевым.

ВОЛОШИН, Максимилиан Александрович. (1877—1932). Поэт-символист, художник; колоритная фигура, часть легенды. Жил в Крыму, в Коктебеле, куда летом съезжались поэты из Москвы и Петербурга, в годы 1912—1932: Брюсов, Белый, Ходасевич, Цветаева, Мандельштам и мн. др. Его стихи до сих пор не были изданы в СССР и его иногда называют „внутренним эмигрантом". О нем см. воспоминания Цветаевой и Эренбурга.

ВОЛОШИНА, Маргарита Васильевна (1882 —). Урожденная Сабашникова. Первая жена М. А. Волошина и родственница издателя М. Сабашникова. Член антропософского общества, автор замечательной книги воспоминаний по-немецки „Зеленая змея". Художница. С начала 1920-х годов живет в Штутгарте. Ее портрет Л. Д. Зиновьевой-Аннибал до сих пор висит в квартире Вяч. Иванова в Риме. Личный друг Белого и Вяч. Иванова. О последнем в ее книге воспоминаний есть глава необычайного интереса и ценности.

ВОЛЬНОВ, Иван Егорович. (1885—1931). Писатель, друг Горького, приветствовал коллективизацию, описывал бедняков. Его жена Сара и сын Илья приезжали к Горькому в Сорренто.

ВОЛЬСКИЙ, Николай Владиславович (1879—1964). Писал под псевдонимами „Юрьевский" и „Валентинов". В молодости — большевик, друг Ленина (см. его „Встречи с Лениным"), позже — меньшевик. В 20-ых г. г. работал для советской Плановой комиссии, в 1928 году был командирован заграницу и стал невозвращенцем. В старости — одинокий, озлобленный и мрачный человек, автор интересных и ценных статей и знаток советской политики, но ни с кем из прежних товарищей он в контакте не был и последние 15 лет прожил в полном одиночестве. У меня в архиве много его писем.

ВОЛЬФИЛА — Вольная философская Ассоциация, официально открытая в Петербурге 16 ноября 1919 г. (Литейный 21), когда Блок читал „Крушение гуманизма". Белый принимал в этом кружке ближайшее участие. 2 мая 1920 г. он выступил с докладом „Солнечный град" (трехсотлетие книги Кампанеллы), напечатанным позже в № 2—3 „Записок мечтателей" (1921), под псевдонимом Альтер Эго. Белый также участвовал в вечере 7-го июля 1920 года. Общество было закрыто в 1924 г.

ВОЛЫНСКИЙ, Аким Львович. (1863—1926). Историк искусства, критик, знаток итальянского Возрождения.

„ВОПРОСЫ ЖИЗНИ", журнал Бердяева и др., заменивший „Новый путь" в 1904—1905 г. г.

ВОРОНСКИЙ, Александр Константинович. (1884—1943). Редактор „Красной нови", критик, печатал попутчиков, в 1928 году был отстранен из журнала за „троцкизм". В 1937 г. сослан в Сибирь. Автор многих книг и статей (о Прусте, Кафке, Фрейде и др.). „Незаконно репрессированный, реабилитированный посмертно".

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА — издательство, организованное Горьким. В 1919 г. — Невский 64, затем — Моховая 36. При издательстве была „студия", официально открытая 10 декабря 1919 г. (неофициально существовала с лета 1919 г. и помещалась в доме Мурузи, Литейный 24). Гумилев, Чуковский и др. читали лекции молодым. Постепенно образовалось: сначала общество Серапионовых братьев (где читали лекции Шкловский, Замятин и др.), а затем — поэтический кружок Звучащая раковина. Студии эти перешли затем в Дом Искусств, который открылся несколько раньше — 19 ноября 1919 г. См. „Москва", 1965, кн. 6.

ВУЛЬФ, Вирджиния. (1882—1941). Английская писательница, член группы „Блумсбери", жена писателя, мемуариста и издателя Леонарда Вульфа. В минуту крайней депрессии, связанной с войной, покончила с собой.

ВЫСОЦКИЕ, сестры. Племянницы А. О. Фондаминской и приятельницы Б. Л. Пастернака. Их отец был одно время директором парижского банка для торговли с Советским Союзом.

ГАБИМА, еврейский театр в Москве, основан в 1916 г. Главный режиссер — Е. Вахтангов. В 1926 г. театр уехал из пределов России, в 1931 г. обосновался в Палестине (с 1948 г. — Израиль). Представления шли на древне-еврейском языке. Одна из лучших постановок — „Дибук" Ан-ского, с незабываемой Шошаной Авивит в главной роли.

ГАМБЕТТА, Леон. (1838—1882). Французский государственный деятель.

ГАМСУН, Кнут. (1859—1952). Норвежский писатель, один из величайших нашего столетия, автор „Пана", „Виктории", „Мистерий", „Бродяг" и др. Ему была присуждена Нобелевская премия в 1920 г.

ГЕККЕРЕН, барон Д'Антес. Убийца Пушкина. Французский писатель (русского происхождения) Анри Труайа в своей двухтомной биографии Пушкина опубликовал архивы Дантеса, к которым он получил доступ в Эльзасе. После чтения этих документов, не остается сомнения, что между Дантесом и Наталией Николаевной была не, как принято думать, светская интрижка, а серьезная любовь.

ГЕЛИКОН, издательство в Берлине, в 1921—23 г. г., владелец — А. Вишняк. В Геликоне выходила „Эпопея", книги Цветаевой, Ремизова, Белого и др.

ГЕРВЕГ, Георг. (1817—1875). Революционный немецкий романтик, поэт, друг Герцена, живший (с женой и детьми) у Герцена в доме. О том, что он был долгое время любовником Наталии Герцен (первой жены), литературоведы только догадывались, но доказательств не имели. После смерти сына Гервега, архивы были открыты и опубликованы; в частности найдены были письма Наталии к Георгу, после которых не остается сомнений в их близости. Поскольку мне известно, эти документы, обнародованные в западном мире, до сих пор в СССР не приняты во внимание.

ГЕРМАНОВА, Мария Николаевна. (1884—1939). Актриса МХТ, в эмиграции с 1920-ых г. г. Играла по-французски у Питоевых в „Трех сестрах".

ГЕРШЕНЗОН, Михаил Осипович. (1869—1925). Друг Белого, Ходасевича, Шестова. Пушкинист, историк литературы, критик. Редактор „Пропилей", участник „Вех". Выехал из России с женой, Марией Борисовной, и двумя детьми в Берлин, в 1923 г., и думал не возвращаться, но Наташа (15 лет) и сын (17 лет) уговорили его вернуться в Москву, что он и сделал. Нат. Мих. Чегодаева теперь историк искусства, была с экскурсией в США. Муж ее, проф. Чегодаев, также историк искусства, автор книг по искусству.

ГЕССЕН, Иосиф Владимирович. (1866—1943). Видный кадет, член Гос. Думы, эмигрант, редактор берлинской газеты „Руль" и „Архива русской революции".

ГИББОН, Эдвард. (1737—1794). Английский историк, автор „Падения Римской империи".

ГИНГЕР, Александр Самсонович. (1897—1965). Поэт „второго" эмигрантского поколения. Муж поэтессы Анны Присмановой. И он, и она после войны взяли советские паспорта и записались в „советские патриоты".

ГИППИУС, Зинаида Николаевна. (1869—1945). Поэт, критик, мемуарист, автор рассказов и романов. Жена Д. С. Мережковского. Как „религиозный философ" не представляет никакого интереса, как критик (под псевдонимом Антон Крайний) очень часто была подвержена личным симпатиям и антипатиям (то, что Ходасевич

называл „кумовством"), а также окружая себя в жизни (в течение 50 лет) часто совершенно ничтожными людьми, она и в литературной критике обращалась чаще чем это следовало к вещам, не имеющим никакой литературной ценности (Арцыбашев, Савинков, Таманин и др.). В Петербурге одно время жила в доме Мурузи, а затем — на Сергиевской, где на верхнем этаже, после июльских дней, в квартире д-ра Манухина (в то время — большевика) скрывался от Временного правительства Ленин. Ее сестры: Татьяна и Наталия упомянуты много раз в воспоминаниях Белого; Анна Николаевна ум. в 1942 г.

ГОЛЬДШТЕЙН, М. Л. Московский адвокат, автор „Адвокатских портретов" (1922). Первый издатель „Последних новостей" (1920—21). Покончил с собой.

ГОНЧАРОВА, Наталия Сергеевна. (1881—1962). Художница, жена М. Ларионова. С 1915 г. в Париже. Работала у Дягилева с 1913 г. В этом же году была ее первая выставка в Москве. Еще в 1906 г. участвовала с Ларионовым в парижской (русской) выставке, устроенной Дягилевым. Между двумя войнами бедствовала в Париже. Ее картины находятся в русских музеях.

ГОРЛИН, Михаил. (1909—1943). Поэт и ученый славист. Муж Р. Н. Блох. Депортирован немцами, погиб в лагере.

ГОРЬКИЙ, Алексей Максимович (Пешков). (1868—1936). Мои записи о жизни в его доме были сделаны в 20-х г. г. и по ним были написаны три очерка, напечатанные в „Последних новостях" в июне 1936 г., сейчас же после смерти Горького; номера газеты 5567, 5570 и 5574. Эти три очерка почти без изменений включены теперь в мою книгу. Когда Ходасевич писал свою статью о Горьком в конце 1930 г. г., он, конечно с моего позволения, воспользовался и моими записями, и самими очерками. Поэтому возможны совпадения. Среди хора хвалебных голосов, которые сейчас звучат в СССР о Г-ом (вот уже скоро 40 лет), были голоса и критические, которые совершенно заглушались официальной критикой. Так напр. Чужак (член „Лефа") в „Жизни искусства" (1926, № 34) говорил о неудачах „Дела Артамоновых", а В. Шкловский выпустил книгу в 1926 г. в Тифлисе, под названием „Удачи и поражения Максима Горького". Пильняк был одним из первых, которые Горького не любили и не признавали, как писателя, и Горький тем-же самым платил Пильняку, в особенности же после случая в Петербурге, в столовой на Кронверкском, когда в присутствии дюжины гостей Пильняк сказал что-то неуместное о М. И. Закревской-Будберг. Несмотря на то, что с эмигрантами Горький порвал всякие отношения к концу 20-ых г. г., он время от времени считал нужным отвечать в печати на их критику. Он ответил между прочим и Андрею Левинсону (по поводу смерти Дзержинского и скорби Горького по нем), в „Красной газете", Сент. 5, 1928. Те, кто интересуется взаимоотношениями Горького с США после рево-

люции, могут найти любопытные данные в „Literary Digest", Март 18, 1922, где напечатано письмо Горького американскому народу о голоде в России и его просьба о помощи.

ГРЖЕБИН, Зиновий Исаевич. (1869—1929). Издатель, друг Горького. В Берлине в 1921—23 издавал в большом количестве русские книги, надеясь, что они будут допущены в Россию. Затем переехал в Париж, одно время работал в Торгпредстве, затем разорился и умер. О нем см. письмо Ремизова в „Русской книге" 1921 г. № 9, и некролог В. Ходасевича в „Возрождении" № 1367, 1929 г. Его сестра, Софья Исаевна, была замужем за английским журналистом Михаилом Фарбманом, первым иностранным корреспондентом взявшим у Ленина интервью в 1922 году (см. „Обсервер", 29 октября).

ГРИНБЕРГ, Роман Николаевич. Редактор-издатель альманахов „Воздушные пути" (Нью-Йорк). Вышло 5 книг, 1960—1967.

ГУЛЬ, Роман Борисович. (1896 —). Писатель, член редколлегии „Нового журнала" с 1959 г., единоличный редактор — в 1966 г. В Европе — с 1919 года (участник Ледяного похода), затем до 1927—28 г. г. — корреспондент сов. газет в Берлине. С 1930 г. — эмигрант. В переписке Горького с И. Груздевым находим следующие строки о нем: „Выполнял некоторые услуги по изданию сов. писателей в немецких издательствах" (стр. 124), а также замечание Груздева о том, что из России трудно посылать деньги заграницу советским „туристам" (Форш и др.) и гораздо легче постоянным сотрудникам „Савичу, Эренбургу и Гулю" (стр. 136).

ГУМИЛЕВ, Николай Степанович. (1886—1921). Поэт, акмеист, муж А. Ахматовой, расстрелян по делу Таганцева. Глава Звучащей раковины, лектор, переводчик, драматург, теоретик. Председатель Союза поэтов.

ГУМИЛЕВА, Анна Николаевна. (1895?—1942). Вторая жена поэта. Урожденная Энгельгардт. Ее мать первым браком была замужем за поэтом Бальмонтом. Анна Ник. вместе с дочерью (от Гумилева, р. 1918) была одно время сослана. Умерла в Ленинграде, во время осады.

ГУЧКОВ, Александр Иванович. (1862—1936). Октябрист, член Гос. Думы, председатель 3-ьей Думы, военный министр во Временном правительстве (март—май). Эмигрант.

ДАВИДЕНКОВ, Николай. (1910?—1946). Власовец, (ген. Власов: 1900—1946), работал у немцев в Париже во время оккупации. Был повешен в Москве вместе с Власовым, Красновым и др. (Объявление о казни было сделано в августе 1946 г.).

ДАЛИН, Давид Юльевич. (1889—1962). Меньшевик, политический писатель, с 1940 г. в США. Член Центр. Ком. партии с.-д., активно участвовал в „Соц. вестнике".

ДАЛЬКРОЗ, Эмиль Жак. (1865—1950). Педагог, музыкант, композитор, основатель „системы Далькроза" (ритмической гимнастики).

ДАН, Лидия Осиповна. (1878—1963). Жена лидера меньшевиков Ф. Дана и сестра Юлия Мартова. Была выслана с группой меньшевиков заграницу в 1922 г. Подруга по Мариинской гимназии моей матери (в Петербурге). Автор воспоминаний „Мартов и его близкие".

ДАШНАКЦУТЮН, национальная армянская партия, основана в 1890-х г. г., ликвидирована в 1920—21 г. г.

ДЕЛЬМАС, Любовь Александровна (1884—1969). Оперная певица (меццо-сопрано), друг Блока и его „Кармен".

ДЕМИДОВ, Игорь Платонович. (1873—1947). Член 4-ой Гос. Думы, правая рука Милюкова в газете „Последние новости" (кадет). Эмигрант с 20-х г. г. Внук Даля, автора Словаря.

ДЕНИКИН, Антон Иванович. (1872—1947). Генерал, один из участников Первой войны и Добровольческой армии. Автор мемуаров. Крупный военный, либерал (по сравнению с другими „белыми" вождями) и популярный в эмигрантских кругах деятель.

ДЖОЙС, Джемс. (1882—1941). Английский писатель, автор „Улисса".

ДЗЕРЖИНСКИЙ, Феликс Эдмундович. (1877—1926). Член Ц. К. большевиков с августа 1917 г. Глава Чеки с декабря 1917—1926 (в 1922 — ОГПУ).

„ДНИ", ежедневная газета А. Ф Керенского. Сначала как „Голос России" (в 1921—22 г.), затем — в Берлине, до 1925 г., и, наконец, в Париже, до 1928 г.

ДОБРОВЕН, Исай Александрович. (1894—1953). Пианист, дирижер, композитор. В 1919 г. директор Большого театра в Москве, с 1922 г. — в Европе и Америке.

ДОБУЖИНСКИЙ, Мстислав Валерьянович. (1875—1957). Художник, член „Мира Искусств", заграницей с 1921 г.: в Литве, Париже и Нью-Йорке. Часть его воспоминаний была напечатана в „Новом журнале".

ДОЛИН, Анатолий. (1904 —). Балетный танцовщик, партнер Немчиновой, Карсавиной, Марковой и др. Танцевал и у Баланчина. В 1927—28 г. г. в Париже был блестящий русский сезон балета.

ДОМ ИСКУССТВ, Петербург, Мойка 59. В квартире 30-а в разное время жили: Форш, Ходасевич, Милашевский, Павлович, Щекотихина, Нельдихен, Пунин, Лозинский, Мандельштам. Внизу, в так наз. „обезъяннике" — Грин, Лунц, Тихонов, Рождественский, Пяст, Шкловский и др. На первом этаже, в „елисеевских спальнях" — Леткова, Ухтомские, Липгардт, Мих. Слонимский, в бане — Гумилев, в предбаннике — Шагинян. В маленькой квартире (коммунальной) со входом на Морскую — сестра Врубеля, Волынский и др. Дом до революции принадлежал Елисееву, владельцу гастрономического магазина на Невском (из этой семьи происходит известный ориенталист, ученый японист, проф. Елисеев, живший в США). Дом И. был открыт официально 19 декабря 1919 г. и закрыт в конце 1922 г. Маяковский выступал

там с чтением „150,000.000”, Белый был частым лектором, Серапионовы братья собирались там, студия Звучащей раковины имела постоянную комнату. В 1921—22 г. г. приехавшие в Берлин писатели решили организовать „берлинский Дом И.” В издательстве Геликон вышло два номера „Бюллетеней” (февраль 1922); берлинский „дом” помещался на Ноллендорф плац, в кафе Ландграф. О нем см. „Нов. Русская Книга”, 1922, № 1.

ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ, в Петербурге, на Бассейной ул. дом 11. Был закрыт в 1922 г. Издавал „бюллетень”: „Литературные записки”, вышло 3 номера в 1922 г.

ДОМ УЧЕНЫХ, в Петербурге, на Миллионной улице в бывшем дворце вел. кн. Владимира Александровича. Пайки были лучше, чем в Доме Литераторов, выдавали иногда даже калоши. Иначе назывался Кубуч, или Центрокубу. Горький был его инициатором. Директором одно время был Родэ, владелец до революции ночного ресторана „Виллы Родэ”.

ДРЕЙЗЕР, Теодор. (1871—1945). Американский писатель, „соц. реалист”.

ДЮРТЕН, Люк. (1881—1959). Французский писатель, автор книги о России: „Москва и ее вера”. (1928).

ДЯГИЛЕВ, Сергей Павлович. (1872—1929). Балетный импрессарио, сыгравший в нашем столетии громадную роль в искусстве балета и отчасти оперы, привезший русский балет в Париж, повлиявший на современных композиторов и художников, театральных декораторов и балерин, высоко культурный, с безошибочным вкусом, угадывавший молодые таланты, поражавший зрителей в Европе и Америке — либо лично, либо косвенно. В 1899—1900 г. г. был помощником кн. С. М. Волконского (директора Императорских театров), затем редактировал „Мир искусства” и „Ежегодник Императорских театров” (два года). В 1905 г. устроил выставку исторических портретов и повез ее в Париж. Затем, в 1907—08 г. г. повез в Париж Шаляпина и др. русских артистов для выступления в концертах. После огромного успеха, в 1909 г., привез во Францию „Баллэ Рюсс”, с Павловой, Нижинским, Мясиным, Карсавиной. Композиторы были: Стравинский, Прокофьев, художники — Бенуа, Бакст, хореограф — Фокин. В 1914 г. Д. был отрезан от России, но продолжал свою антрепризу с Пикассо, Матисом, Равелем, Пуленком, позже привлек Баланчина, как танцовщика, художников Дерэна и де Кирико, и постепенно разорвал с классической традицией, соединив все лучшее что было в музыке и живописи его времени, создав новую, свою собственную традицию. После революции оказался в больших финансовых затруднениях, умер в долгах, в Венеции, где и похоронен. О нем см.: Arnold Haskell and Walter Nouvel „Diagilev”. 1935; S. Grigoriev „Diagilev”. 1953; Serge Lifar „Diagilev”. 1954.

ЕВКЛИД. (III век до н. э.) — греческий математик.

ЕВРЕИНОВ, Николай Николаевич. (1879—1953). Режиссер и драматург. Сначала — в Старинном театре, затем — в Кривом зеркале. Выслан из России в 20-х г. г., автор „Самого главного" и др. пьес. В № 40 „Нового Журнала" можно найти некоторые подробности выезда из России Е-ва и его спутников, описанные его женой, А. А. Кашиной-Евреиновой.

ЕЖОВ, Николай Иванович. (1894—1939?). Глава НКВД с 1936 до 1938. Помощник Сталина в ликвидации старых большевиков, главное действующее лицо в Московских процессах, вместе с прокурором Вышинским. Позже исчез.

ЕЛАГИН, Иван Венедиктович. (1918 —). Поэт, сын поэта Венедикта Марта (Матвеева). Выехал из СССР в 1940-х г. г. Живет в Нью-Йорке.

ЕЛАГИН, Юрий Борисович. (1905 —). Автор книг „Укрощение искусств" и „Темный гений". Живет в США, из России — в 1940-х г. г.

ЕЛЕОНСКИЙ, Сергей Николаевич. (1861—1911). Писатель, друг Горького, окончил Духовную Академию. В состоянии нервного расстройства покончил с собой.

ЕЛИСЕЕВА ДОМ — см. Дом Искусств.

ЕЛПАТЬЕВСКИЙ, Сергей Яковлевич. (1954—1933). Земский врач, друг Горького; был врачем в Кремле в 1922—1928 г. г. Сын священника, автор книги „Воспоминания за 50 лет" (1929).

ЖАБОТИНСКИЙ, Владимир Евгеньевич. (1880—1940). Видный сионист, писатель, переводчик „Ворона" Эдгара По на русский язык, журналист, общественный деятель.

ЖЕНЯ, Е. Ф. Нидермиллер (1875—1960). Сестра В. Ф. Ходасевича, с 1920 г. в эмиграции.

ЖИД, Андре. (1869—1951). Французский писатель, автор „Подземельев Ватикана", „Фальшивомонетчиков" (переведенных на русский язык с такими пропусками, что теряется смысл романа) и др. книг. Относился положительно к „русскому опыту" (диктатуре Сталина) до своей поездки в СССР. Разочарованный, написал книгу о России, „Retour de l'URSS" (1936). Чтобы представить себе, какой сенсацией был выход этой книги Жида в издательстве Галлимара, необходимо помнить, что она набиралась в типографии беспрерывно день и ночь, в полном секрете, и о ее содержании до ее выхода знали только 3 или 4 члена издательского коллектива и, конечно, наборщики.

ЖИРМУНСКИЙ, Виктор Михайлович. (1891—1971). Видный ученый, компаративист. Предс. разряда словесных искусств, академик, автор многих книг о русской и иностранной литературе. Редактор сочинений А. Н. Веселовского и др. В молодости примыкал к формалистам, затем отошел от них. Один из крупнейших ученых Советского Союза.

ЗАЙЦЕВ, Борис Константинович. (1881 —). Писатель-импрессионист, автор „Тихих зорь", „Путешествия Глеба" и многих других книг,

написанных как в России, так и в эмиграции. С 1924 г. живет в Париже. Его жена, Вера Алексеевна (урожденная Орешникова) умерла в 1965 г. Дочь, Наталия, замужем за А. В. Соллогубом.

ЗАМЯТИН, Евгений Иванович. (1884—1937). Выехал из России в 1931 г. по особому разрешению Сталина, после того, как написал ему письмо, где говорил, что будущее русской литературы есть ее прошлое. См. его очерк „О себе" в „Нов. Русской Книге", 1922, № 3. С 1931 по 1937 г. жил в Париже, на улице Раффэ. Его жена, Людмила Николаевна умерла в 1965 г. Его архив — в Колумбийском университете, в Нью-Йорке.

ЗВЕНО, литературная газета, еженедельная в 1923—1925 г. г., затем ежемесячный журнал — 1926—1928. Редактор — М. Винавер, затем — М. Кантор. Издание выходило в Париже. В некоторых номерах ежемесячника помещены портреты эмигрантских писателей.

ЗВУЧАЩАЯ РАКОВИНА, студия Н. Гумилева в 1920—21 г. Сначала — в доме Мурузи, как-бы литературные классы при Всемирной литературе, затем обособленный кружок поэтов, закрылся сам собой после расстрела Гумилева в августе 1921 г., но существовал еще год неофициально. Есть интересная фотография, сделанная фотографом М. Наппельбаумом, где Гумилев сидит в центре, а кругом стоят члены кружка: В. Миллер, Томас Рогинский, Н. Столяров, П. Волков, К. Вагинов, Ольга Зив, М. Горфинкель, Вера Лурье, Александра Федорова, Николай Чуковский, Фрида и Ида Наппельбаум и Наталия Сурина. Многие из названных были „ликвидированы" Сталиным в разное время. Осенью 1921 г. вышел их „студийный" сборник.

ЗЕНЗИНОВ, Владимир Михайлович. (1880—1953). Эс-эр, член боевой организации. Когда „Дар" Набокова должен был печататься в „Современных Записках", Зензинов настоял, чтобы редакция (состоявшая из его товарищей эс-эров) выпустила главу 4-ую, биографию Чернышевского, который для З., как и для его приятелей, всегда был иконой. Это и было сделано — и сейчас является лучшим доказательством той „власти тьмы", которая царствовала среди редакторов эмигрантских изданий; тем самым продолжалась старая русская традиция: подавлять литературу политикой, даже такой, которая давно потеряла всякий смысл.

ЗИВ, Ольга. (1901 —). Детская писательница. В 1920—21 г. член кружка Звучащая раковина.

ЗИНОВЬЕВ, Григорий Евсеевич. (1883—1936). Член ЦК большевистской партии с 1907 по 1926. Вернулся с Лениным из Швейцарии в апреле 1917 г. Председатель Исп. Ком. Третьего Интернационала. Правая рука Ленина в Петрограде в начале 20-х г. г. Личный враг Горького. После исключения отовсюду, ссылки, допросов, был судим на первом Московском процессе (вместе

с Каменевым), осужден, приговорен к смертной казни. Видимо, расстрелян в подвале ГПУ.

ЗЛОБИН, Владимир Ананьевич. (1894—1968). Секретарь Мережковских с 1916 г. до 1945. Поэт, печатался в эмигрантских изданиях, автор статей о З. Н. Гиппиус и др. („Как они умерли"). В 1966 г. был в Америке. В 1967 заболел тяжелой формой душевной болезни.

ЗОЩЕНКО, Михаил Михаилович. (1895—1958). Один из блестящих рассказчиков-юмористов, талантливый Серапионов брат, популярный в России и заграницей, создавший свой стиль и свои характеры в коротких рассказах и повестях. Автор автобиографии „Перед восходом солнца", пьесы „Дорогой товарищ", книги „Возвращенная молодость" (1933, позже — „Голубая книга"). См. его переписку с Горьким. Отстранен от печати в 1946 г. Ждановым, теперь восстановлен в праве быть переизданным. Жертва политического контроля над литературой после второй войны. „Перед восходом солнца" было переиздано в США, в 1967 г.

ЗУБОВ, Валентин Платонович. (1885—1969). Потомок фаворита Екатерины и убийцы Павла. В 1912 году основал „Зубовский институт Истории Искусств", который до 1920 г. носил его имя. В Зубовском особняке на Исаакиевской площади постепенно появились все видные представители „формального метода" (в отделе словесности) и преподавали там (в 1921—22 г. словесное отделение помещалось на Галерной). В „Отчете деятельности Института, 1912—1927" можно прочесть историю этого научного учреждения (которое было погублено в конце 1920-х г. г.), как и в пяти выпусках „Временника отдела поэтики". Всего до 1930 г. выпущено было около 25 томов научных трудов, ученых, преподававших в институте. Но борьба оказалась конечно неравной и партия, и правительство закрыло это учреждение. Сам В. П. Зубов в 1922 г. сидел в советской тюрьме и наконец был выпущен заграницу. Следующий список публичных докладов, на которых я присутствовала в зиму 1921—22 г., может дать некоторое понятие о работе Зубовского Института в начале 1920-х г. г.:

1921.	Сентября 4	Б. Эйхенбаум. Мелодика стиха.
	Сентября 25	В. Виноградов. Сюжет и композиция „Носа".
	Октября 6	В. Жирмунский. Поэтика Блока.
	Ноября 6	Б. Томашевский. Четырехстопный ямб Пушкина.
	Ноября 27	Б. Эйхенбаум. Лирика Фета
1922.	Января 15	М. Гофман. Первая глава науки о Пушкине.
	Февраля 5	Б. Эйхенбаум. О Некрасове.
	Апрель 2	В. Жирмунский. О „Мелодике стиха" Эйхенбаума.

ИБСЕН, Генрик. (1828—1906). Великий норвежский драматург.

ИВАНОВ, Вячеслав Иванович. (1866—1949). Поэт-символист, теоретик символизма, критик, историк, философ. Частично (как и Белый, и Ходасевич, и Гершензон, и многие другие) принял Октябрьскую революцию. Затем выехал в Баку и вернулся в Москву в 1924 г. Здесь его чествовали в мае 1924 г. в Обществе любителей Российской словесности. Во время чествования, Маяковский встал в зале и сказав: „Прекратите словоблудие" начал громко читать свои собственные стихи (Воспоминания В. Мануйлова. 1955). В том же году И. выехал в Италию. До 1937 г. он не переходил на эмигрантское положение (см. Архив Горького, том 6-ой, 1957, стр. 210), посылая Чулкову (в январе—феврале 1928 г.) и другим свои стихи в Москву. (См. письма Всеволода Иванова к Горькому в „Новом мире", кн. 12, 1965 г., стр. 249). С 1937 г. Вяч. Иванов начал печататься в эмигрантских изданиях. Некоторые его произведения сейчас почти невозможно найти, напр. „Песни смутного времени", которые были объявлены к выходу отдельной книгой в Алконосте в 1918 г. Они были напечатаны в „Народоправстве" (1917), но отдельно не вышли. Его статью в „Научных известиях" № 2, Госиздат, М. 1922, стр. 164—181, „О новейших теоретических исканиях в области художественного слова" и „Кручи" в № 1 „Записок мечтателей" 1919 г. необходимо было бы переиздать.

ИВАНОВ, Георгий Владимирович. (1894—1958). Поэт-акмеист, из группы Гумилева (Гиперборей и Цех поэтов). В эмиграции с 1923 г. Умер в доме для стариков, в Иере, на юге Франции. О нем см. Ходасевич в „Возрождении" № 4080, 1937 г. и № 4116, 1938 г.

ИВАНОВ-РАЗУМНИК, Разумник Васильевич. (1878—1946). Литературный критик, историк, крупная фигура в до-революционных русских толстых журналах, автор многих книг, друг Белого и Блока, левый эс-эр, редактор „Скифов". В 1943 г. жил в Пушкине с женой и был депортирован немцами в Германию, после занятия города (бывш. Царского Села). Умер в немецком лагере. В эмиграции вышли две его книги о терроре Сталина в области литературы и гибели интеллигенции. Чрезвычайно интересную статью его можно найти в „Современной литературе", 1925, за подписью Ипполит Удушьев (!), где он пишет о старой и новой русской-советской литературе и предсказывает, что случится с ней в будущем (формалисты, Серапионы, футуристы, Пастернак и мн. др.).

ИВАНОВА, Габриэль Эводовна. Первая жена Георгия Иванова, актриса театра Мейерхольда и танцовщица. Вторая его жена, Ирина Густавовна Одоевцева, урожденная Генике, известная поэтесса и писательница (р. 1897); по первому мужу (петербургский адвокат) Попова-Одоевцева. Ему посвящена ее первая книга стихов, „Двор чудес" (1921). С 1960 г. живет в доме для престарелых под Парижем.

ИВАШЕВ, Василий, декабрист, женатый на Камилле Петровне, француженке, гувернантке его сестер, позже последовавшей за ним в Сибирь (одна из трех француженок, описанных Некрасовым в „Русских(?) женщинах"). Камилла была сестрой Сидонии Петровны, которая вышла замуж за писателя Григоровича. Внучка декабриста, Вера Петровна фан дер-Флит, была подругой моей матери по гимназии. Насколько мне удалось узнать, советский критик и литературовед, пишущий в „Вопросах литературы" об американских книгах, Валентина Васильевна Ивашева — дочь внука декабриста, Василия Петровича.

ИВИНСКАЯ, Ольга. Последняя подруга Б. Пастернака. Одно время была выслана в Сибирь. Теперь, по слухам, возвращена в Москву.

ИСТРАТИ, Панаит. (1884—1935). Румынский писатель, писал по-французски. Сначала Ромен Роллан называл его „балканским Горьким" и его издавали в России, затем Истрати поехал в Москву и в 1929 г. выпустил книгу о своей поездке, где писал о своем разочаровании. После этого имя его убрали из энциклопедий и его романы и повести были изъяты из библиотек. Сейчас он упомянут в Краткой Лит. Энциклопедии, как „враг" СССР.

КАМБИЗ, персидский царь, сын Кира. (529—522 до н. э.). Завоевал Египет в 525. Передушил и заколол всех своих сторонников, родственников и друзей. См. „Историю" Геродота, книгу третью.

КАМЕНЕВА, Ольга Давыдовна. Жена Л. Б. Каменева (1883—1936) и сестра Троцкого. Убита вместе с мужем (видимо) после приговора на первом Московском процессе. Каменев был большевиком с 1903 г., членом Ц. К., председателем Московского Совета, членом Политбюро, и т. д.

КАМИНСКАЯ, Аничка. Близкая А. Ахматовой в ее последние годы жизни, внучка Н. Н. Пунина; приехала с Ахматовой в Лондон и Париж в 1965 г.

КАМЮ, Альбер. (1913—1960). Французский писатель. Упоминает мое имя в своих „Записных книжках", 1942—1951 (Галлимар, 1964, стр. 272).

КАРАУЛОВЫ, предки, семья моей матери. Иван Дмитриевич — земец, дедушка. Дмитрий Львович — „Обломов", прадедушка. Наталия Ивановна — в замужестве Берберова (1877—1942?) — моя мать.

КАРОНИН, Николай Ельпидифорович. (1853—1892). Сын священника, писатель, приятель Горького.

КАРПОВИЧ, Михаил Михайлович. (1888—1959). Историк, выехал в США. в 1917 г. Был 12 лет редактором „Нового журнала". Профессор Харвардского университета. Его дочь, Наталия Михайловна, в замужестве Анисимова.

КАРСАВИНА, Тамара Платоновна. (1885 —). Балерина Мариинского театра, затем у Дягилева. Живет в Лондоне с 1917 г. Автор „Автобиографии" (1930) на английском языке.

КАРТАШЕВ, Антон Владимирович. (1875—1960). Министр религий во Временном правительстве (1917). С 1920 в Париже. Профессор Духовной Академии.

КАУН, Александр Самуилович. (1889—1944). Американский профессор, писавший о русской литературе, в частности, о М. Горьком.

КАФКА, Франц. (1883—1924). По происхождению чех, писал по-немецки. О нем см. Макс Брод — его биограф и редактор его сочинений.

КЕРЕНСКИЙ, Александр Федорович. (1881—1970). Член Гос. Думы (трудовик), министр Временного правительства (юстиции). Затем военный министр. Затем — премьер министр, и главнокомандующий армией. С 1918 г. в эмиграции.

КИПРИАН, архимандрит. Профессор Парижской Духовной академии.

КИСТЯКОВСКАЯ, Мария. Жена московского адвоката, Игоря Ал. О ней см. в воспоминаниях Белого.

КЛЕМАНСО, Жорж. (1841—1929). Французский государственный деятель.

КЛЮЕВ, Николай Алексеевич. (1887—1937). Поэт, друг Есенина. Погиб, видимо, в ссылке в Нарыме. Странник, сектант, проповедник и мистификатор. На советском языке „клюевщина" есть „идейная и эстетическая реакционность". К. был, видимо, арестован еще в 1927 г. — среди писем писателей к Горькому („Лит. Наследство" кн. 70, стр. 656) находим письмо Чапыгина по поводу Клюева и просьбу, чтобы Горький помог ему. На этом, как кажется, переписка Чапыгина и Горького прекратилась. В США под ред. Б. Филиппова и Г. Струве вышло двухтомное собрание сочинений Клюева (1969).

КНИПОВИЧ, Евгения Федоровна. (1898 —). В печати с 1919 г., советский критик и литературовед. Близкая Блоку и матери Блока в 1919—21 г. г.

КНОРРИНГ, Ирина Николаевна. (1906—1943). Эмигрантская поэтесса, жена поэта Юрия Софиева. После ее смерти он вернулся в СССР в конце 1940-х г. г. как „советский патриот" и в 1965 г. в сборнике „День поэзии" (Алма-Ата) издал ее стихи — случай редкий для поэта „второго" поколения эмиграции.

КНОРРИНГ, Николай Николаевич. (1880—1967). Член правления парижской Тургеневской библиотеки. Вернулся в СССР в конце 1940-х г. г.

КНУТ, Давид Миронович. (1900—1955). Поэт-эмигрант, „второго" поколения. Весной 1922 г. организовал в Париже „Палату поэтов", куда входили вместе с ним Гингер, Поплавский, Парнах, Божнев, Шаршун. См. „Нов. Русскую книгу" 1922, № 2. В 1930-х г. г. Кнут женился вторым браком на дочери композитора Скрябина, Ариадне, позже убитой немцами в Тулузе, во время войны. После войны он переехал в Израиль со своим сыном от первого брака и детьми Ариадны.

КОЗИНЦЕВ, Григорий Михайлович. (1905 —). Советский кинорежиссер, брат Л. М. Эренбург, жены писателя.

КОКОВЦЕВ, граф Владимир Николаевич. (1853—1942). Министр финансов 1904—1914. Позже — в эмиграции. Автор двухтомных „Воспоминаний". В свойстве (или родстве?) с моей матерью. В моем архиве, в библиотеке Иэльского университета, находится его длинное письмо к моей матери — характерное для него и для его взглядов на русские события.

КОКТО, Жан. (1889—1963). Французский поэт, активно замешанный во все авангардные направления, один из властителей умов молодой Франции в годы между первой и второй войной.

КОЛБАСЬЕВ, Сергей Александрович. (1898—1942). Поэт, познакомился с Гумилевым в Крыму, в 1921? году. Георгий Иванов в „Петербургских зимах" без особых оснований намекает, что он был причиной ареста и расстрела Гумилева. Сам Колбасьев был „незаконно репрессирован" и теперь „посмертно реабилитирован".

КОЛЧАК, А. В. (1874—1920). Сначала — адмирал, затем "верховный правитель России". Расстрелян большевиками.

КОНОВАЛОВ, Александр Иванович. (1875—1948). Член 4-ой Гос. Думы, „прогрессист", в 1917 г. — кадет, в сентябре—октябре 1917 г. товарищ премьер-министра (Керенского). Председатель правления „Последних новостей".

К.-Д. — конституционно-демократическая партия, известная также как партия Народной свободы. Образована в 1905 г., лидеры Милюков, Родичев, Петрункевич и др. В первой Гос. Думе имела 37, 4 проц. депутатов. Либерально-монархическая до 1917 г., позже — республиканская.

КОНСТРУКТИВИСТЫ, в 1920-х г. г. литературное направление, во главе стоял Илья Сельвинский. Откололись от футуризма и „Лефа"; к ним в разное время примыкали отчасти и сам Маяковский, и Эренбург, и К. Зелинский, и Э. Багрицкий. Одно время они полемизировали с „Лефом" (А. Чичерин).

КОРНИЛОВ, Лавр Георгиевич. (1870—1918). Генерал, в июле—августе 1917 г. главнокомандующий армией. Центральная фигура „корниловского восстания". Организатор Добровольческой армии. Убит в деле.

КОРОВИН, Константин Александрович. (1861—1939). Художник-импрессионист, работал также в области театральных декораций, близкий к „Миру искусств". После революции — в Париже. Писал свои воспоминания о Чехове, Левитане, Шаляпине и др.

КОРСАКОВЫ, друг моего деда и сосед по имению — кадет, Павел Ассикритович, женатый на дочери бывшего крепостного, Евгении Яковлевне. Их дочь — Евгения Павловна, в замужестве княгиня Ухтомская, и сын — товарищ Осипа Мандельштама по Тенишевскому училищу, Иван Павлович, „Ванечка".

КОХНО, Борис. (1903 —). Артистический директор балетов Шан-з--Элизэ, начал у Дягилева, либреттист, позже с балетами Монте--Карло. В Париже с 1922 г. Вместе с Лифарем был в Венеции при последних днях Дягилева.

КОЧЕВИЦКИЙ, Георгий Александрович. (1902 —). Пианист, педагог, ученик Ленинградской консерватории, автор книги „The Art of Piano Playing" (Нью-Йорк 1967). Мы поженились в сентябре 1954 г. в Нью-Йорке.

КРАВЧЕНКО, Виктор Андреевич. (1905—1966). Автор книги „Я выбрал свободу", невозвращенец, приехавший в США в апреле 1943 г. и не вернувшийся в СССР. Покончил с собой в Нью-Йорке 25 февраля 1966 г.

КРЕЧЕТОВ, Сергей Алексеевич. (1879—1936). Издатель „Грифа" (альманахи) 1903—1914, в Москве. Первая жена — Нина Петровская, вторая жена — звезда немого экрана, Лидия Рындина. Эмигрант.

КРУТИЦКИЙ, Николай. Митрополит. В конце 1940-х г. г. был послан Сталиным в Париж чтобы перевести эмигрантскую православную церковь в Московскую юрисдикцию. В это время главой русской церкви во Франции был митрополит Евлогий (ум. 1948). О нем Бертрам Вольфе писал в своей книге „Трое, сделавшие революцию" (изд. 1948 г., стр. 328): „Духовным вождем про-фашистской религиозной организации [Русский православный комитет в 1905 г. Н. Б.] был священник Евлогий. 40 лет спустя в сентябре 1945 г. [советский Н. Б.] посол Александр Богомолов сидел в первом ряду в православной церкви в Париже, в то время как этот же самый Евлогий, теперь митрополит, служил торжественную обедню и благословил нового главу советского государства, маршала Сталина".

КРЫМОВ, А. М. (1871—1917). Генерал, участник восстания Корнилова, командовал отрядом и застрелился, когда увидел, что дело проиграно.

КРЮЧКОВ, Петр Петрович. (1890?—1938?). Друг, фактотум, доверенное лицо Горького с 1921 по 1936 г. Близкий человек М. Ф. Андреевой. Некоторые мемуаристы называют его „ангелом-хранителем великого писателя". Был арестован, судим на третьем Московском процессе и расстрелян после того, как признался, что помог убить Горького. Теперь он частично и неофициально реабилитирован, его называют „милым, чудесным" те, которые пишут о последних годах Горького. Его имя не упомянуто в алфавитном указателе имен „Летописи жизни и творчества Горького", но, конечно, встречается на каждой странице текста. Из переписки Груздева с Горьким можно узнать о том, что Крючков часто ездил из Москвы в Сорренто и обратно, и брал с собой письма к Горькому и от Горького, но не передавал их, однако и не уничтожал: Груздев нашел их в архиве Горького, куда К. их, видимо, аккуратно складывал. Только когда будут раскрыты тайны Московских процессов, будет до конца ясна

роль К., который несомненно был ближайшим человеком к Горькому, и умел превосходно ладить не только с его сыном Максимом, но и с баронессой Будберг.

КУЗМИН, Михаил Алексеевич. (1875—1936). Поэт-акмеист, автор романов и повестей, переводчик, композитор и иллюстратор своих книг. Сюрреалист, декадент, сектант. Хотя и не высланный, и не арестованный, но после 1930 г. почти не появлялся на литературном горизонте Петербурга. В его архивах есть неизданные стихи и пьесы, а также его переписка с Г. Чичериным, другом его молодости.

КУЗНЕЦОВА, Галина Николаевна. (1900 —). Поэтесса, писательница. В эмиграции с начала 1920-х г. г. Жила в доме Бунина с 1927 по 1938 г.

КУЛЬМАН, Николай Карлович. (1871—1940). Профессор, эмигрант (правого оттенка). Был женат на сестре известного большевика Бокия.

КУНЦЕВИЧ, М. М. Эмигрант, до революции служил в царской полиции, был в Киеве в 1910—1914 г. г.

КУСЕВИЦКИЙ, Сергей. (1874—1951). Известный дирижер, сначала в России, потом в США., виртуоз контрабаса. В 1924—1949 — дирижер Бостонского симфонического оркестра. Дирижировал в Париже в 1921 г. „Борисом Годуновым" и „Хованщиной" — эти постановки до сих пор считаются во Франции крупнейшими событиями музыкального мира.

КУСИКОВ, Александр Борисович. (1896 —). Имажинист, друг Есенина, с 1924 г. живет в Париже. О нем см. „Нов. Русская Книга" 1921, № 7—8.

КУСКОВА, Екатерина Дмитриевна. (1869—1958). Журналистка, полемистка, член редколлегии „Власти народа", член группы кооператоров, высланная из России в 1922 г. Жила в Праге, умерла в Женеве.

КУТЕПОВ, А. Р. (1882—1930). Генерал, похищенный советскими агентами в Париже. Участвовал в армии ген. Врангеля, в Париже занимался антисоветской борьбой.

КЮЛЬМАНН, Рихард фон. (1873—1948). В 1917—18 г. г. министр иностранных дел Германии. Помог Ленину вернуться из Швейцарии в Россию в апреле 1917 года. Получение Лениным сумм от германского правительства было известно историкам от Суханова до Мельгунова, но только после занятия Берлина и разборки архивов министерства иностранных дел Кайзера все дело выяснилось в подробностях. Все документы теперь опубликованы в двух книгах: Z. A. B. Zeman. Germany and the Revolution in Russia. 1915—1918. Documents from the Archives in the German Foreign Ministry. London, 1958, и вторая — Werner Hahlweg. Lenins Rückkehr nach Russland 1917. Die Akten. 1957. Установлена цепь людей, через которых шла связь между немецким ген-

штабом и русскими революционерами: главнокомандующий армиями, германские социал-демократы (Роберт Гримм), Парвус, Ганецкий, Ленин.

ЛАДИНСКИЙ, Антонин Петрович. (1896—1961). Поэт, эмигрант, в гражданскую войну белый офицер, после второй войны — „советский патриот". Вернулся в СССР в 1955 году, был выслан из Франции в 1948-ом.

ЛАДЫЖНИКОВ, Иван Павлович. (1874—1945). Издатель, друг Горького, после революции сотрудник „Книги".

ЛАЗАРЕВСКИЙ, Борис Александрович. (1871—1936). Писатель, автор „Сердца женщины" и других романов „легкого жанра", популярный до революции. Печатался с 1894 г. После 1920 г. — эмигрант.

ЛАЗАРЕВСКИЙ, Николай Иванович. (1868—1921). Профессор международного права, расстрелянный по делу Таганцева в августе 1921 г.

ЛАНГЕР, Сузанна. (1895 —). Профессор философии, автор замечательных книг по эстетике, американка. Ее книга „Философия в новом ключе" — вот уже 25 лет считается классическим трудом в западном мире. Ученица Эрнста Кассирера.

ЛАНСКОЙ, Андрей. (1902 —). Французский художник русского происхождения, абстракционист.

ЛАППО-ДАНИЛЕВСКАЯ, Надежда Александровна. (1876—?). По темам и выполнению — близка Борису Лазаревскому. Писательница, по популярности до революции на втором месте после Вербицкой. Автор „То было раннею весной" и других столь же низкопробных произведений.

ЛАРИОНОВ, Михаил Федорович. (1881—1964). Художник-новатор, муж Н. Гончаровой, член общества „Бубновый валет", автор „Манифеста лучистов" в 1913 г. Выехал из России в 1914 г., работал у Дягилева.

ЛАУРЕНС, Давид-Херберт. (1885—1930). Английский писатель, сын шахтера, автор „Любовника леди Чаттерлей" (1928) и др. Умер во Франции, позже был похоронен в горах Новой Мексики.

ЛЕВИДОВ, Михаил Юльевич. (1891—1942). Значительная фигура в 1920—30 г. г. в Советском Союзе, вел кампанию за „организованное упрощение культуры". Автор книги „Простые истины" (издание автора), статьи „Организованное упрощение культуры" и др. Он писал: „Масса любит халтуру и препятствовать ее вкусам мы не имеем права." В 1921 г. 27 октября в Доме Печати в Москве Л. выступил с докладом, призывая к снижению культуры. Маяковский участвовал в прениях, которые потом продолжались до 30-го в Кафе поэтов. Л. позже был „незаконно репрессирован" и теперь (по неизвестным причинам) „реабилитирован посмертно".

ЛЕВИНСОН, Андрей Яковлевич. (1887—1933). Искусствовед, критик, знаток театра и балета. Активно работал в Петербурге в студиях Дома Литераторов и Дома Искусств, затем — эмигрант. Автор некролога Н. С. Гумилева („Современные записки" № 9). 10 апреля 1928. г. выступил в парижской газете „Ле Тан" против Горького; ответ Горького напечатан в „Эроп" 1928 г. № 68.

ЛЕЖНЕВ, Абрам. (1893—1938). Член „Перевала", обвиненный в „троцкизме", теперь „посмертно реабилитированный". (Его однофамилец, Исай Лежнев, был редактором „России", 1923—24 г.).

ЛЕОНТЬЕВ, Константин Николаевич. (1831—1891). Дипломат на Ближнем Востоке, критик, писатель, цензор, драматург. Реакционер и церковник. Крайне пессимистически смотрел на историческое будущее России.

„ЛЕФ", журнал Маяковского и его группы, 1923—25, и „Новый Леф" — 1927—28. Оба были закрыты сов. правительством. В некоторых номерах можно найти исключительного интереса статьи „формалистов", а также полемику, по которой ясны трудности, которые футуристам и формалистам приходилось переживать в эти годы, чтобы хотя-бы физически уцелеть. Удалось это немногим.

ЛИВШИЦ, Бенедикт Константинович. (1887—1939). Поэт-футурист, бывал в 1922 г. на „понедельниках" Звучащей раковины. В 1933 г. выпустил книгу воспоминаний о футуристах, имажинистах и др., „Полутораглазый стрелец". „Незаконно репрессирован, реабилитирован посмертно".

ЛИДИН, Владимир Германович. (1894 —). Писатель, был в Берлине в 1922 г. В 1928 г. выпустил „Автобиографии писателей" с портретами, где можно найти, хотя и неполные, библиографии писателей и ценные данные об их книгах и их самих. В 1965 году, после тридцатилетнего молчания, издал свои воспоминания, „Люди и встречи".

„ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО", не-периодическое издание, начатое в 1931. Некоторые тома чрезвычайно ценны своим материалом. Том 27—28 обещал свое продолжение в т. 29 — переписку символистов, архивы Сологуба и Анненского, но вместо этого дал фольклор. Том 66 вообще никогда не вышел (продолжение архивов Маяковского).

ЛИФАРЬ, Сергей Михайлович. (1905 —). Начал у Дягилева, затем танцевал в парижской Гранд Опера, балетный танцор и хореограф, автор книги о Дягилеве.

ЛОДИЙ, Зоя, концертная певица, приезжала в Сорренто к Горькому.

ЛОЗИНСКИЙ, Михаил Леонидович. (1886—1955). Поэт-акмеист. Переводчик, читавший лекции по теории перевода (стихотворного) в студии Дома Искусств. Его работы не собраны, среди них — превосходные переводы с французского, английского и др. языков. О нем долго не было упоминаний в сов. печати, в 1950-х г. г.

его имя стало появляться в связи с оживлением интереса в СССР к мастерству переводчика.

ЛОКАРТ, Брюс. До революции — секретарь Английского посольства в Петербурге, при после Бьюкенане; после революции (Октябрьской) заменял посла. Автор двух книг о России: British Agent. Нью-Йорк, 1933, и The Two Revolutions, 1957. Умер в 1970 г.

ЛОРИС-МЕЛИКОВ, И. (1860—1950?). Племянник министра Александра II. Бывший русский консул в Норвегии. Бывал у Мережковских, жил в доме для стариков под Парижем.

ЛУНАЧАРСКИЙ, Анатолий Васильевич. (1875—1933). Нарком просвещения до 1929 г. Был назначен послом в Мадрид, но не успел выехать — умер в Москве. В начале 1920-х г. г. кое-в-чем помогал писателям и ученым, как материально, так и в связи с первыми репрессиями. О нем см. книгу Н. Розанель, актрисы, его жены. Постепенно Л. терял свою популярность, был отстранен из различных учреждений, где имел вес, и его естественная смерть несомненно спасла его от казни в годы террора. О нем рассказывали следующий случай: будучи атеистом, он, когда потерял ребенка, отпел его читая над его гробом „Литургию красоты" Бальмонта, — это было на Капри, в 1908 году. Об этом рассказал в Сорренто, в 1925 году, Андрей Соболь, гостивший в доме Горького. Горький, бывший крестным отцом мальчика и присутствовавший на этих оригинальных похоронах, подтвердил, не без смущения, рассказ Соболя.

ЛУНЦ, Лев Натанович. (1901—1924). Член общества Серапионовых братьев, выехал заграницу больным, умер в Германии. Его письма ко мне напечатаны в № 1 „Опытов" (Нью-Йорк). Автор рассказов и пьес, а также „манифеста" — „Почему мы Серапионовы братья". Его сестра, Е. Н. Хорнштейн, жена переводчика Якова Хорнштейна, сохранила архив Лунца в своем доме под Лондоном, и передала его в библиотеку Иэльского университета.

ЛУРЬЕ, Артур Сергеевич. (1892—1966). Композитор. После революции комиссар музыкального отдела Наркомпроса. Выехал из России в 1922 г., принял католичество. Жил в Париже до 1941 г., затем в США.

ЛУРЬЕ, Вера Семеновна. (1901 —). Поэтесса, член Звучащей раковины. Выехала из России в 1921 г. В 1922—23 г. близкий друг Белого.

ЛУРЬЕ, Евгения Владимировна. Художница, первая жена Б. Пастернака.

ЛЬВОВ, князь Георгий Евгеньевич. (1861—1925). Глава Временного правительства от марта до июля 1917 г. Эмигрант.

ЛЮБИМОВ, Лев Дмитриевич. (1902 —). Журналист в годы эмиграции, жил в Париже, работал в газете „Возрождение". В 1940-х г. г. стал „советским патриотом", был выслан из Франции в 1948 году и поселился в Москве. В 1957 г. написал книгу об эмиграции,

первую в своем роде („На чужбине"), сперва опубликованную в „Новом мире" (1957, кн. 2—4). Там-же позже был опубликован его очерк „12 лет спустя" (о его возвращении, как туриста, в Париж). О его отце, Д. Любимове, Горький писал Груздеву: „чиновник министерства внутренних дел и даже кажется полиции" (что неверно). Книга Любимова об эмиграции вызвала в СССР внимание и интерес к этому до того неизвестному явлению, и вслед за ней, в 1966 г., была выпущена книга Д. Мейснера „Миражи и действительность" — на ту-же тему: воспоминания о жизни русской эмиграции в Праге и Париже, написанные русским пражанином, корреспондентом „Последних новостей" в Праге. В ней Мейснер рассказывает о политических группировках (он сам принадлежал к группе Милюкова), о людях им встреченных, среди которых он жил 20 лет. Упомянуты (сочувственно) Ладинский и я, и несколько холодно — Набоков. Книга Мейснера вышла в Москве в количестве 200.000 экземпляров.

ЛЬЮИС, Синклер. (1885—1951). Американский писатель, Нобелевский лауреат 1930 г. Автор „Баббита" и др. популярных романов.

М., Н. (Николай Васильевич Макеев). (1889 —). Автор книги „Russia", Нью-Йорк, изд. Скрибнер. 1925.

МАКЛАКОВ, Василий Алексеевич. (1870—1957). Кадет, член Гос. Думы, в 1917 г. посол России в Париже. В 1916 г. он участвовал в организации убийства Распутина, но говорить об этом не любил: будучи человеком (даже в старости) скорее веселого нрава, он мучился совестью в связи со своей ролью в 1916—17 г. г., как и многие другие кадеты, и считал, что на нем лежит часть вины за катастрофы, происшедшие в России, которые не были неизбежны. О том, что революция не была неизбежна, я в разное время слышала от М. А. Алданова, М. В. Вишняка, В. А. Маклакова и некоторых других деятелей 1917 года.

МАКОВСКИЙ, Сергей Константинович. (1877—1962). Редактор „Аполлона", сын художника-реалиста и известной петербургской красавицы, стоял, благодаря своему рождению, в центре литературного и культурного Петербурга. Стихи его не имеют качеств, но два тома мемуаров интересны. Эмигрировал сначала в Прагу, затем жил в Париже. Оппортунист по натуре, он в 1945 году был одним из инициаторов посещения советского посла Богомолова представителями русской эмиграции. Он лично заехал за Буниным и повез его в здание посольства. Он пытался провести в правление Союза поэтов некоего Б. Пантелеймонова, фигуру подозрительную, который был забаллотирован после того, как я потребовала тайного голосования. Но впоследствии Маковский все-же провел его в Союз. В 1940-х г. г. М. сделал очень многое, чтобы разбить эмиграцию на враждебные группы (политически) и привить „советофильство" наиболее индиферентным элементам.

МАНДЕЛЬШТАМ, Осип Эмильевич. (1891—1938). Один из больших поэтов этого столетия, акмеист, погиб в сталинском терроре. Теперь „посмертно реабилитирован", но до сих пор полностью в СССР не издан. О нем см. забытую рецензию Эренбурга в „Нов. Русской книге" 1922, № 2, и воспоминания Ник. Чуковского в „Москве" 1964 г., № 8 (где я упомянута). В конце 1970 г. в США вышла книга его вдовы, Над. Як. М., „Воспоминания", одна из значительных книг последнего полу-века, написанная одной из умнейших и литературно талантливейших женщин нашего времени.

МАНДЕЛЬШТАМ, Юрий Владимирович. (1908—1943). Однофамилец предыдущего, поэт, эмигрант, погиб в немецком лагере.

МАРГОЛИНА, Ольга Борисовна. (1890—1942). В замужестве Ходасевич.

МАРГУЛИЕС, Мануил Сергеевич. Кадет, эмигрант, бывший петербургский адвокат.

МАРИЕНГОФ, Анатолий Борисович. (1897—1962). Поэт имажинист, друг Есенина. Автор романов из жизни московской богемы (конец 1920-ых г. г.). Автор частично напечатанных в „Русской литературе" (1964 г., № 4) воспоминаний о ранних годах имажинизма.

МАРТОВ, Юлий Осипович. (1873—1923). Социал-демократ, лидер меньшевиков с 1903 г., когда партия раскололась на большевиков и м-ов. В 1917 г. „интернационалист". В 1920 г. выехал из России. Основал „Социалистический вестник", который существовал до 1965 года (сначала выходил в Берлине, потом в Париже, потом в Нью-Йорке), и принужден был закрыться — не только за отсутствием читателей, но и за смертью старых сотрудников и полным отсутствием молодой смены. У эмигрантских политических партий, конечно, вообще нет „молодой смены" и быть ее не может. Второго поколения не было и нет ни у кадетской партии, ни у партии эс-эров. „Смена" есть только у правых партий, но, конечно, в самом убогом, диллетантском и лишенном цели аспекте, где больше чувствуется горечь выброшенных за борт людей, чем активная политическая (или хотя бы культурная) сила.

МАСОНЫ, — вопрос о роли русского масонства в 1917 г. многими авторами (историками и мемуаристами) затрагивался в разное время. Я. Г. Фрумкин, историк русского еврейства, писал: „Как известно [? Н. Б.], русское политическое масонство сыграло большую роль при определении состава Временного правительства первого и последующего составов". См. также сборник памяти А. И. Браудо (Париж, 1937) и подстрочное примечание на стр. 83. В 1918 г. все масонские ложи в России были правительством закрыты. В Париже, в годы эмиграции, масонство было очень сильно распространено, „левые", или иначе — умеренные, собирались по четвергам в Гранд Ориан, „правые" собирались по вторникам в Гранд Лож. (Следующие лица никогда

не принадлежали масонству: Ходасевич, Мережковский, Бунин, Ремизов, Зайцев, Муратов). Член Гранд Ориан мог свободно бывать в Гранд Лож, и наоборот. Во время немецкой оккупации, многие масоны были депортированы в лагеря и погибли.

МАХА, Карл Линек. (1810—1836). Чешский романтик.

МАЯКОВСКИЙ, Владимир Владимирович. (1892—1930). Уже в 1915 году в нем была заметна (по словам В. Ф. Маркова, в „Русском футуризме") „футуристическая сентиментальность, само-гиперболизация и истерическая эмоциональность". С О. Бриком редактировал „Искусство коммуны" (Декабрь 1918 — Апрель 1919), где принес к ногам сов. власти и государства футуризм, как единственное литературное направление будущего. В 1922 г. был в Берлине, в ноябре (24-го) — в Париже, где был устроен банкет в его часть (присутствовал среди прочих Дягилев). На банкете говорили Вальдемар Жорж, художественный критик, Илья Зданевич и Н. Гончарова (см. „Удар" № 4). Когда Есенин покончил с собой, М. писал: „Я понял, что трудность и долгость писания в черезчур большом соответствии описываемого с личной обстановкой... та же вынужденная одинокость. Обстановка... не давала слов нужных для клеймения, не давала данных для призыва бодрости" („Как делать стихи", 1926 г. Этот, несколько вычурный и темный, абзац выкинут из более поздних собраний сочинений М-го, видимо, как слишком откровенный.) В 1928 г. М. опять был в Париже. 28 ноября „Евразия" поместила беседу (о его чтении) с М. Цветаевой. Затем 3 дек. Цветаева послала ему письмо с жалобами на то, что ее „выставили" из „Последних новостей" за ее мнение о его чтении в кафе Вольтер. М. взял письмо в Москву, но книгу, которую Цветаева ему послала („После России"), оставил в Париже, у Эльзы Триоле. В „Les Nouvelles Litteraires" 31 мая 1930 г. А. Левинсон напечатал свой некролог о М-ом, за который его избили сюрреалисты-коммунисты, молодые писатели во главе с Арагоном. 14 июня того-же года был напечатан коллективный протест французских писателей против некролога Левинсона. Самоубийство М. было результатом многих факторов: его выставка „20 лет работы" (18 марта 1930 г.) не имела того успеха, который он ожидал. Он говорил: „Меня во стольких грехах обвиняли... что иной раз мне кажется, уехать бы куда-нибудь и просидеть года два, чтобы только ругни не слышать." Затем: „Баня" не имела успеха и закрылась — то ли из-за провала спектакля, то ли по распоряжению правительства. И в третьих — его личная жизнь была несчастна, не говоря уже о плохом физическом состоянии и потери (видимо, временной) голоса. Его нервность уже в 1915 г. удивила и испугала Горького: см. его письма к Груздеву, особенно письмо на стр. 227 в издании переписки 1966 года, где Горький пишет, что М. ему в Финляндии читал свои стихи и почти рыдал, их читая.

Сейчас в СССР начали производить кибернетический анализ стихов М-го.

МЕДТНЕР, Николай Карлович. (1880—1951). Композитор, жил в Париже, потом в Англии. Его старший брат, Эмилий, был другом Белого. Сохранилась их переписка. (Даты рождения и смерти Эмилия устанавливаются приблизительно: 1875—1936).

МЕЙЕРХОЛЬД, Всеволод Эмильевич. (1874—1942). Большой русский режиссер, смелый новатор, особенно если принять во внимание его публику, приученную к реализму Станиславского. Убит повидимому в подвале НКВД. М. теперь „посмертно реабилитирован". Все его ученики, последователи и друзья постепенно исчезли с горизонта. После революции одно время — крупный театральный советский работник, в 1930-х г. г. он еще мог выезжать заграницу, но постепенно вошел в конфликт с властями. С редким упорством боролся за независимость своего театра, но одолеть „политику партии в делах искусства", конечно, не мог.

МЕЛЬГУНОВ, Сергей Петрович. (1879—1956). Историк, активный противник Октябрьской революции и особенно — лично Сталина. После второй войны, когда французские коммунисты были в правительстве и не допускали выхода эмигрантских газет и журналов, Мельгунов выпускал брошюры под различными названиями, которые собственно были отдельными номерами одного и тото-же журнала. Так продолжалось и после начала парижской газеты „Русская мысль". Он не искал славы, жил и умер в крайней бедности, но сейчас историки западного мира часто пользуются его работами.

МЕНДЕЛЕЕВ, Дмитрий Иванович. (1834—1907). Знаменитый химик, отец Л. Д. Блок, жены поэта. Его жена, А. И., написала в 1928 г. воспоминания о Блоке.

МЕРЕЖКОВСКИЙ, Дмитрий Сергеевич. (1865—1941). Поэт, критик, прозаик, политический писатель, мыслитель, с несомненным даром предвидеть исторические события. Так, в 1914 году он писал, что это — „начало конца", а в 1919—1920 г. г., что „коммунизм не только русское явление, и придет день, он несомненно коснется других стран". Один из выдающихся людей русской эмиграции, одно время кандидат на Нобелевскую премию, высоко образованный, европеец до мозга костей, для некоторых — не вполне ясный характер в смысле политическом, и даже религиозном. Его исторические романы, написанные между двумя войнами, сейчас мертвы, но как культурное явление он несомненно значительная фигура.

МЕРЕЖКОВСКИЙ, Константин Сергеевич. (1854—1921). Старший брат предыдущего, автор романа-утопии „Земной рай", написанного в начале нашего столетия, в котором действие происходит в 27 веке. Был арестован и судим за совращение малолетней, и приговорен к Сибири. Покончил с собой в Швейцарии.

МЕРИМЕ, Проспер. (1803—1870). Французский писатель.

МЕТЕРЛИНК, Морис. (1862—1949). Франко-бельгийский писатель, символист. Драматург, знаменитый с 1889 года. Нобелевская премия: 1911 г.

МИКЛАШЕВСКИЙ, Константин Михайлович. (1888?—1943). Актер, теоретик авангардного театра, автор книги о театре масок, режиссер, знаток Комедии дель Арте. В 1915 г. получил за свои работы премию Академии Наук. Выехал из России (и обратно не вернулся) в 20-х г. г. В Париже на улице Сент-Оноре имел антикварный магазин.

МИЛИОТИ, Николай Дмитриевич. (1874—1950?). Художник из группы „Мира искусств". Жил в Париже, одно время был в США, затем жил в большой бедности во время войны, и после. Имел 30 лет студию на площади Сорбонны.

МИЛЛЕР, Евгений Карлович. (?—1937). Генерал Белой армии, похищенный сов. агентами в Париже. Активно работал против сов. режима.

МИЛЮКОВ, Павел Николаевич. (1859—1943). Член Гос. Думы, 3-го и 4-го созывов, видный кадет, лидер партии, министр иностранных дел во Временном правительстве (март—май 1917 г.). Эмигрант с 1918 г., редактор эмигрантской газеты „Последние новости" (Париж, 1920—1940). Автор мемуаров. Несмотря на общие тяжелые воспоминания первого года революции, встречался с Керенским в обществе, в Париже, как со старым знакомым. В „Воспоминаниях" Милюкова (Изд. имени Чехова, 1955 г.) есть несколько любопытных замечаний, косвенно бросающих свет на роль русского масонства. Милюков пишет: „Все четверо... они (Керенский, Терещенко, Коновалов и Некрасов. Н. Б.) связаны какой-то личной близостью, не только чисто политического, но и своего рода политико-морального характера. Их объединяют как бы даже взаимные обязательства, исходящие из одного и того же источника" (стр. 332). И далее: „Дружба идет за пределы общей политики. Из сделанных здесь намеков можно заключить, какая именно связь соединяет центральную группу четырех. Если я не говорю о ней здесь яснее, то это потому, что наблюдая факты я не догадывался об их происхождении в то время и узнал об этом из случайного источника лишь значительно позднее периода существования Временного правительства" (стр. 333). Сам Милюков к масонским ложам не принадлежал и потому мог высказать свое мнение о Некрасове совершенно свободно: „Из трех моих политических единомышленников (кадетов) я тогда уже имел основание считать Н. В. Некрасова попросту предателем, хотя формального разрыва у нас еще не было. Я не мог бы выразиться так сильно, если бы речь шла только о политических разногласиях" (стр. 331). („Воспоминания", том второй).

МИНСКИЙ, Николай Максимович. (1855—1937). Поэт, предшественник символистов, друг Надсона, муж З. Венгеровой.

„МИР ИСКУССТВА", — журнал группы художников 1899—1904. Сначала редактор С. П. Дягилев, затем — Дягилев и А. Бенуа. До 1901 г. — два раза в месяц, затем — один раз. См. Н. Соколова „Мир искусства", М.-Л. Изогиз. 1934. и книжку Бенуа „Возникновение Мира искусств". Рерих, Добужинский, Сомов, Билибин и мн. друг. принадлежали к этой группе.

МИРБАХ, граф Вильгельм. (1871—1918). Немецкий посол в Москве, убит летом 1918 г. эс-эром Блюмкиным.

МИРСКИЙ, Дмитрий Петрович, князь Святополк-Мирский. (1890—1939). Выехал в Англию после революции и к середине 20-х г. г. встал на советскую платформу. В 1928 г. на публичной лекции в Париже он заявил, что рассматривает литературу, как марксист. За время его эмигрантской жизни он поместил в „Современных записках" интересные статьи об изданиях Зубовского института (кн. 24), о Пастернаке и Мандельштаме (кн. 25), о Бабеле (кн. 26) и о Цветаевой (кн. 27). Ему принадлежит лучшая до сего дня история русской литературы, написанная по-английски, где иногда слишком ярко проступают его симпатии и антипатии. Теперь в Советском Союзе он реабилитирован, после того, как было объявлено, что он был „репрессирован незаконно". До 1935—36 г. г. можно проследить какую он вел борьбу с властью после того, как вернулся в СССР, и как отстаивал свои свободные права писателя и критика. В дневниках Вс. Вишневского упоминается о его споре с Мирским, где советский драматург пишет, что „князь охамел". Мирский участвовал, видимо, в диспутах, о чем есть упоминания в „Литературной газете" (октябрь 1935). Он печатал статьи в „Литературном критике" (1933) и участвовал в альманахе „Год шестнадцатый". В переписке Горького с Кольцовым (позже тоже убитым Сталиным) есть упоминание о Мирском („Новый мир" кн. 6, 1956). В последние годы в Москве Мирский жил втроем с Бруно Ясенским и его женой. Все трое вместе были арестованы и депортированы. Жена Ясенского вернулась обратно, выжив.

МИХЕЛЬСОНЫ, семья педагогов. Алекс. Сем. — автор учебника арифметики, Мария Семеновна, его дочь, начальница женской гимназии, где я училась (Владимирский, дом 5) в Петербурге. Вера Сем. — жена проф. Кояловича; Ник. Сем. — профессор Технологического института.

МЛАДОРОССЫ, — группа про-фашистского направления, с которой дружил одно время эс-эр Фондаминский, привлекая к ним различных людей. Их „вождь", Казем-Бек, позже выехал в США, где преподавал русский язык в колледже. Но в начале 50-х г. г. он уехал в СССР и теперь состоит при патриархе в секретарях и церемонимейстерах, являясь звеном между православной церковью и советским правительством.

МОРОЗОВА, Маргарита Кирилловна. Жена московского миллионера Михаила Морозова. Белый переписывался с ней с 1901 г., позна-

комился в 1905 г. О ней см. в его воспоминаниях, а также — в „Первом свидании" (Зари́на). В доме Морозовых происходили вечера, музыкальные и литературные. Белый читал там доклад о Достоевском 1 ноября 1910 г. (присутствовал среди гостей Блок). У М. К. было две дочери: старшая, Леночка, о которой упоминается в воспоминаниях Белого, и младшая, Мария Михайловна, которая в США одно время преподавала русский язык в Дартмутском колледже и там-же и скончалась. Говорили, что она — дочь Скрябина; она была музыкантша, и лицом была похожа на композитора. Не смешивать: Михаила Морозова с его родственником, Саввой, другом Горького, поклонником М. Ф. Андреевой, дававшим крупные суммы на МХТ и на большевистскую партию (он умер в 1905 г.). Переписка Белого с М. К. будет в свое время опубликована в США.

МОСКОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ. Три судебных процесса, в 1936—38 г. г., на которых Сталин, при помощи Вышинского, ликвидировал старых большевиков, соратников Ленина. Сначала был процесс „левой" оппозиции — Каменева и Зиновьева, и др. Затем — процесс Пятакова, Радека, Сокольникова и др. и наконец — третий — Бухарина, Рыкова, Раковского и др. (среди них был П. П. Крючков). Процессы начались после смерти Горького, стенограммы их опубликованы на русском и иностранных языках. Все подсудимые признались.

МОЧУЛЬСКИЙ, Константин Васильевич. (1892—1948). Автор книг по истории русской литературы, профессор Сорбонны.

МУРАТОВ, Павел Павлович. (1881—1950). Историк искусства, критик, автор рассказов („Герои и героини"), романа „Эгерия", книги „Образы Италии", комедий („Дафнис и Хлоя", „Мавритания" и др.). Переводчик с французского. Редактор альманахов „София" (Москва, 1914—16 г. г.), а также автор работы о знаменитых сражениях Первой мировой войны (последняя его книга). В Москве — близкий друг Зайцевых, затем, с 1922 г. — в эмиграции. Сотрудничал в „Современных Записках", „Возрождении" и др. Жил сначала в Италии, затем — в Париже. Первая жена — Евгения, о которой Ходасевич писал в „Счастливом домике" („царевна"), вышедшая затем замуж за поэта Виктора Стражева. Вторая жена — Екатерина, по первому браку Грифцова, жена Б. А. Грифцова, историка искусств. М. уехал из Парижа в конце 1930-х г. г. в Ирландию, где под Дублином, в имении своих друзей, прожил последние 12 лет своей жизни с редкими наездами в Лондон во время войны, почти не переписываясь с друзьями в Париже. Писал ли он что либо за это время, неизвестно. Во всяком случае — в печати о нем не было ничего. По окончании войны он продолжал жить в Ирландии, где и умер. Перед отъездом из Франции в США в 1950 г. (после его смерти) я уничтожила часть своего архива, между прочим и его письма.

НАБОКОВ, Владимир Владимирович. (1899 —). До 1940 г. псевдоним — Сирин. Русский писатель до 1940 г., затем — американский писатель. Бывший эмигрант. Крупнейший русский писатель XX века и один из самых крупных — на любом языке. В некоторых теперь забытых изданиях ранних годов эмиграции можно найти любопытные данные о нем: в газете „Руль" он был литературным критиком и между прочим писал о парижских поэтах (о Божневе, май 23, 1928), о Ладинском, (январь 28, 1931) и обо мне (Июль 23, 1931). В № 4 „Летописи Дома литераторов" один из заведующих, Н. Волковысский, поместил статью, на которую в „Руле" Н. дал ответ — по поводу свободной литературы в России. В „Нов. Русской книге" (1921, № 9, стр. 47) можно найти объявление о готовящейся книге стихов Н. (Сирина) „Горний путь", а на стр. 49 другое — об „американском альманахе „Родная земля", в который войдут его стихи. В книге „Памяти Амалии Осиповны Фондаминской" Н. напечатал свои воспоминания о ней. О Н. см. (на английском языке) книги А. Фильда, К. Проффера, А. Аппеля и др. В 1967 г. вышел сборник статей о нем, изданный Висконсинским университетом, а в 1970 г. — к его семидесятилетию — сборник „Три-Квартерли", где, между прочим, помещен мой анализ его романа „Бледный огонь". Я вспоминаю теперь, как поэт Иван Рукавишников, родственник Н., был однажды предметом разговора между ним и Ходасевичем, который лично Рукавишникова знал: он был, между прочим, автором романа „Проклятый род". Г. П. Струве сообщает о том, как он пытался поместить произведения Н. во французских журналах в 1930-х г. г. — никто не принимал их, когда узнавал, что Н. — эмигрант. Мои страницы о Н. окрашены моим громадным восхищением перед его талантом. Я также прошу читателя помнить, что эти страницы написаны человеком, который по крайней мере один раз присутствовал при разговоре Годунова—Чердынцева с Кончеевым.

НАГРОДСКАЯ, Евдокия Аполлинариевна. (1866—193?). Автор романа „Гнев Диониса".

НАДЕЖИН, Николай. (1890?—1960?). Певец, эмигрант, живший в Англии, первый муж Терезы-Нелль-Лидии Керенской, затем преданный друг жены знаменитого английского писателя Мак-Кензи, скончавшейся у него на руках. Его архив находится в Иэльском университете и был в моих руках (для экспертизы). Есть что-то странное и необъяснимое, в том факте, что в мои руки в различное время попадали бумаги (часто интимного характера) известных, и вовсе неизвестных людей. Если бы я сделала список того, что мне пришлось читать или держать в руках за мою жизнь, мне бы вероятно мало кто поверил, но когда до многих (сейчас хранящихся в великой тайне) страниц доберутся литературоведы, то они увидят на полях (или под рукописью) мои инициалы, иногда — правку опечаток, иногда — раскрытые мною недописанные имена и фамилии. Некоторые из читанных

мною документов официально известны как безнадежно утерянные. Но они будут открыты и изданы, и вызовут недоумение и интерес ученых.

„НАКАНУНЕ", газета в Берлине. (1922—1924?). Издавалась „сменовеховцами", т. е. группой, которая образовалась вокруг альманаха „Смена вех". Цель группы была подготовить к возвращению в советскую Россию выехавших из нее ранних эмигрантов. В группу входили: Алексей Н. Толстой, проф. Карсавин, Сеземан, Лукьянов и др. В литературном приложении к „Накануне" от 4 июля 1922 г. было напечатано письмо К. И. Чуковского к А. Н. Толстому, о „внутренних эмигрантах" в России, которое для печати не предназначалось. В № 7 „Нов. Русской Книги" (1922) Чуковский оправдывается в своем письме.

НАНСЕН, Фритьоф. (1861—1930). Норвежец, знаменитый полярный исследователь и член Лиги Наций по делам беженцев. Иметь „нансеновский паспорт" значило быть „беженцем", „эмигрантом", „бесподанным". В 1922 г. в Женеве состоялось международное соглашение по поводу „бесподанных". В 1931 г. в Париже было учреждено два „офиса" — один для русских, другой для армян. Позже эта организация также заботилась о евреях из Германии. В то время (20-е и 30-е г. г.), когда мы все были более или менее „гражданами кантона Ури", без „нансеновского паспорта" нельзя было выехать с постоянного местожительства.

„НА ПОСТУ", журнал, 1923—25, и „На литературном посту", 1926—32. В 20-х г. г. донос в „На посту" означал конец писателя или поэта, смещение редактора с его места, иногда арест, ссылка, физическое уничтожение „врага рабочего класса". Журнал успешно ликвидировал троцкистов, попутчиков, символистов, футуристов и мн. др. Палачи русской литературы были: Авербах, Лелевич, Родов. Они погубили два поколения писателей и поэтов, ученых, критиков и драматургов. Позже они сами были ликвидированы, но к сожалению сейчас частично „реабилитированы".

НАППЕЛЬБАУМ, Ида Моисеевна. (1901 —). Поэтесса, член Звучащей раковины. Дочь известного фотографа М. Наппельбаума, см. его книгу: „От ремесла к искусству", 1964. Ида была замужем за М. Фроманом. В ее квартире в 1921—22 г. собирались по понедельникам петербургские поэты, артисты, художники. Вторая сестра, Фрида, тоже член Звучащей раковины, ум. в 1950 г. в день смерти своего отца. Третья сестра, Ольга Грудцова — критик, сотрудница журнала „Иностранная литература" и др. изданий. Четвертая сестра, Лиля, поэтесса, печатается в сов. журналах.

НАХИЧЕВАНЬ, — город под Ростовом-на-Дону, о котором Маяковский сказал: „Слово Нахичевань — великолепное слово, еще никем не использованное в поэзии." (Выступление 7 февраля 1926 г.).

НЕКРАСОВ, Николай Виссарионович. (1879—1940?). Министр Временного правительства. Член 3-ей Думы, кадет. В 4-ой Думе — тов. председателя. В сентябре—октябре 1917 г. был „генерал-губернатором" Финляндии. Остался в СССР, работал с Советами, был обвинен в 1930 г. в „саботаже", исчез около 1940 г. Ему принадлежит формула: „Война во что бы то ни стало!" (май 1917).

НЕЛЬДИХЕН, Сергей Евгеньевич. (1891—?). Поэт, член Цеха, о нем см. статью Ходасевича о Гумилеве. Комическая фигура.

НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО, Василий Иванович. (1844—1936!). Писатель для юношества, путешественник, пионер фотографии, велосипеда. Брат Владимира, режиссера МХТ.

НЕМЧИНОВА, Вера. Балерина, начала в Большом театре, в Москве, затем у Дягилева. Выступала до конца 1940-х г. г.

НИКИТИН, Николай Николаевич. (1897—1963). Член Серапионова братства, писатель.

НИКОЛАЕВ, Михаил Константинович. (ум. 1947). Друг Е. П. Пешковой, служащий в „Международной книге".

НИКОЛАЕВСКИЙ, Борис Иванович. (1887—1966). Меньшевик, историк; его брат был женат на сестре Рыкова. Жил сначала в Берлине, затем в Париже, позже в Нью-Йорке. Умер в Калифорнии. Сотрудник „Соц. вестника", автор статей и книг, собиратель архивов.

НИЦШЕ, Фридрих. (1844—1900). Немецкий философ.

НИЧЕВОКИ, фуисты, пуписты, космисты и др. — литературные группировки ранних по-революционных лет, близкие футуристам и имажинистам.

„НОВАЯ ЖИЗНЬ", газета М. Горького в Петербурге, в 1917—1918 г., закрытая большевиками. Статьи Горького в „Новой жизни" до сих пор не изданы в Сов. Союзе. Они вышли по-английски, под ред. Г. Ермолаева в Нью-Йорке, в 1968 г. в изд. Поль Эриксон.

НОВАЯ ЭМИГРАЦИЯ — люди, выехавшие из СССР в 1940-х г. г. — в противоположность „старой эмиграции", выехавшей в 1918—1926 г. г. О новой эмиграции см. статью Н. Ульянова в „Новом журнале" кн. 28.

„НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО", русская газета, выходит в Нью-Йорке с 1917 г. Много раз меняла направление и свое отношение к советской власти.

„НОВЫЙ ДОМ", 1925—26, позже „Новый корабль". Журнал молодых в Париже, в редколлегию входили Д. Кнут, я и еще два сотрудника.

„НОВЫЙ ЖУРНАЛ", выходит в Нью-Йорке 4 раза в год. Основатели — М. Алданов и М. Цетлин. С 1945 г. — редактор М. Карпович. После 1959 — редколлегия из трех человек. В 1959—61 г. г.

журнал испытывал большие денежные затруднения. С 1966 года — редактор Р. Б. Гуль.

„НОВЫЙ ПУТЬ", журнал Мережковских, 1903—1904, выходил в Петербурге.

ОДИНЕЦ, Дмитрий Михайлович. (ум. 1950?). Историк, сотрудник „Последних новостей". После войны — „советский патриот", вернулся в СССР и умер в Казани (по слухам). Он сыграл некоторую роль в момент вывоза из Парижа немцами Тургеневской библиотеки. Осенью 1940 г., по просьбе Маклакова (в моем присутствии). О. решил пойти в сов. посольство, чтобы просить сов. посла вступиться за библиотеку. Но остановить дела было невозможно, да и сов. служащие равнодушно отнеслись к гибели эмигрантского книгохранилища, несмотря на слова О. о том, что в библиотеке этой когда-то работал и Ленин. (См. мой очерк в „Новом журнале", № 63, 1961).

ОНОШКОВИЧ, Ада. (1897—1930?). Поэтесса, член Цеха поэтов, близкий друг М. Л. Лозинского, переводчица Киплинга.

„ОПЫТЫ" — русский литературный журнал в Нью-Йорке в 1953—58 г. г. Вышло 9 номеров. В № 1 напечатаны письма Льва Лунца ко мне, публикация, положившая начало близкой дружбе между сестрой и зятем Лунца, Е. и Я. Хорнштейн, и мною.

„ОСЛИНЫЙ ХВОСТ", общество (кружок) художников в Москве в 1912 г. Ими была устроена выставка, главный инициатор был М. Ларионов.

ОСОРГИН, Михаил Андреевич. (1878—1943). Журналист, сотрудник эмигрантских изданий, автор романов, высланный из России в 1922 г.

ОЦУП, Георгий Авдеевич. (1897—1962?). Поэт, брат Николая. Печатался под псевдонимом „Г. Раевский".

ОЦУП, Николай Авдеевич. (1894—1958). Поэт-акмеист, член Цеха поэтов, автор воспоминаний о Гумилеве. В эмиграции с 1923 г. Редактор журнала „Числа".

ПАВЛОВА, Анна. (1881—1931). Балерина Мариинского театра, позже с Дягилевым, затем выступала в самостоятельной антрепризе. Ее муж, Дандре, в 1932 г. выпустил о ней книгу по-французски.

ПАВЛОВИЧ, Надежда Александровна. (1895 —). Поэтесса, приятельница Блока, Ходасевича и др. Написала воспоминания о Блоке и цикл стихов о нем. Вернулась к литературной деятельности около 1960-го года, после того, как в течение 30-ти лет была детской писательницей.

ПАЛЕОЛОГ, Морис. (1859—1944). Французский посол в Петербурге в 1917 г. Автор мемуаров о жизни в России и революции.

ПАПИНИ, Джиованни. (1881—1956). Итальянский писатель.

ПАРНАХ, Валентин. Поэт-футурист, печатался в журнале Мейерхольда „Любовь к трем апельсинам", издал сборник стихов „Карабкается акробат". Писал о русской поэзии в „Europe" (1926) и „La Novelle Revue Française" (1928). Брат поэтессы Софии Парнок (!), умершей в 1936 г.

ПАСКАЛЬ, Блэз. (1623—1662). Французский философ.

ПАСТЕРНАК, Борис Леонидович. (1890—1960). Поэт, писатель, переводчик, лауреат Нобелевской премии 1960 г. Интересен его комментарий на резолюцию компартии 1925 г. по делам литературы, перепечатанный в „Верстах" № 1, также — интервью в „На литературном посту" (1927, № 5—6). Его пьеса „Слепая красавица" осталась незаконченной: две первые части (дело происходит в 1840 и 1860 г. г.) будут выпущены, третья, видимо, не была начата (действие относится к 1880 г.). О Ренате Швейцер и ее переписке с П. см. Renata Schweitzer Freundschaft mit Boris Pasternak, Ein Briefwechsel. Wien. 1963. 160 страниц. Интересны ранние критические статьи о нем Эренбурга в „Нов. Русской книге" 1922 г. № 6, „формалистов" в „Лефе", Мирского в „Совр. записках". Мне кажется, что впервые имя „доктора Живаго" пришло П. на ум еще в 1925 г., когда он переводил революционно-романтические стихи Гервега (любовника Натали Герцен), чей сборник носит название „Стихи живого (человека)", „Gedichte eines Lebendiegen" (Georg Herwegh). Он здесь стоял перед трудностью перевести заглавие, которое в русском языке требовало лишнего слова. С другой стороны, в каталоге врачей 1870-х г. г. можно найти фамилию „Доктора Александра Ивановича Живаго, 1850—1882." Любопытно отметить, что иностранные журналисты в конце 1950-х г. г. часто упоминали о том, что лицо П. напоминало лицо юноши. Некоторая незрелость русских футуристов была замечена многими: так, напр. Ахматова писала о П.: „Он наделен каким-то вечным детством"; Луначарский о Маяковском заметил однажды: „Он будет до гроба юношей", и Вас. Каменский сказал о своей группе поэтов: „Мы в сорок лет еще совсем мальчишки".

ПАСТЕРНАК, Зинаида Николаевна, урожденная Еремеева, по первому браку Нейгауз, вторая жена Пастернака.

ПАСТУХОВ, Всеволод Леонидович. (1896—1967). Пианист, поэт из группы М. А. Кузмина. В Петербурге до революции, затем в Риге, где имел музыкальное училище. Концертировал в Европе. Приехал в США после войны. Одно время принимал участие в „Опытах".

ПЕНЗА, — вперые я услышала это выражение „у нас в Пензе лучше" в 1925 г. от прелестной семнадцатилетней девочки, Тани Яковлевой (теперь г-жа Либерман), которую родители прислали в Париж из Пензы, к тетке — оперной певице, и дяде — известному художнику. Она накануне приехала и я спросила ее, как ей нравится Париж? На что она, подумав, искренне ответила:

у нас в Пензе лучше. Вероятно, это теплое чувство к Пензе скоро у нее прошло, потому что когда через несколько лет Маяковский усиленно звал ее в СССР, она к нему туда не поехала.

ПЕРЕВЕРЗЕВ, Павел Николаевич. Адвокат, эс-эр, министр юстиции Временного правительства (май—июль). Он сыграл роковую роль в обнародовании материалов (4-го июля 1917 г), которые неопровержимо доказывали получение Лениным денежной помощи от Германии. Эти материалы были получены Керенским от французского министра Альбера Тома. Переверзев (вместе с Некрасовым и Терещенко) был ближайшим сотрудником Керенского.

ПЕТЕРБУРГ — Ленинград. Улицы, мною упомянутые, после революции переменили свои названия. Кирочная — Салтыкова-Щедрина, Екатерининский канал — Грибоедова, Офицерская — Декабристов, Басейная — Некрасова, Эртелев — Чехова, Конногвардейский бульвар — Профсоюзов, Троицкая — Рубинштейна, Надеждинская — Маяковского, Николаевская — Марата и т. д.

ПЕТЕРС, Яков Христофорович. (1886—?). Чекист. Другой Петерс — председатель суда в процессе „193-х" (Народная воля), в 1877—78 г.

ПЕТЛЮРА, Симон. (1879—1926). Украинский вождь в гражданской войне. В 1956 г. в США. вышел сборник его памяти (он был убит в Париже Шварцбардом, мстившим ему за погромы на Украине). Сборник был издан Украинской Академией в Америке.

ПЕТРОВСКАЯ, Нина Ивановна (1884—1928). Писательница, по мужу Соколова-Кречетова. В „Огненном ангеле" Брюсов вывел ее под именем Ренаты. Она уехала из России в 1911 году, жила в Италии, затем в 1923 г. приехала в Берлин и позже — в Париж.

ПЕТРУНКЕВИЧ, Иван Иванович. (1844—1928). Видный кадет, лидер партии, член Думы, один из редакторов „Речи".

ПЕЧОРИН, Дмитрий. (ум. 1948?). Адвокат в Париже, женатый на сестре второй жены Шаляпина, Марии Валентиновны.

ПЕШКОВ, Максим Алексеевич. (1896—1934). Сын Горького, в годы Саарова и Сорренто обладавший большим юмором, художник-иллюстратор, каррикатурист. Его жена (р. 1901—) Надежда Алексеевна, урожденная Введенская, прозвище „Тимоша", и две дочери: Марфа и Дарья.

ПЕШКОВА, Екатерина Павловна. (1876—1965). Первая жена Горького, мать Максима. О ней см. воспоминания Л. Никулина в „Москве" 1966, кн. 2, стр. 184.

ПИЛЬНЯК, Борис Андреевич. (1894—1937). „Репрессирован незаконно, реабилитирован посмертно". Реабилитация — в журнале „Москва", 1964, кн. 5, где напечатан отрывок из его неконченного романа 30-х г. г. „Соляной амбар", который он, видимо, пытался писать по законам соц. реализма.

ПЛЕВИЦКАЯ, Надежда. (1885?—1940). Певица, жена Скоблина, советского агента „похитившего" в Париже ген. Миллера. Он

исчез, она была арестована и судима французским судом. Приговор был — 15 лет. В 1920-х г. г. вышла ее автобиография „Дёжкин карагод", с предисловием А. Ремизова. Высокую оценку ее, как „народной певицы" можно найти в „Советской музыке" 1969 г.

ПЛЕЩЕЕВ, Александр Алексеевич. (1858—194?). Сын поэта, театральный критик. Автор мемуаров (Париж, 1931).

ПОЛЛОК, Джаксон. (1912—1956). Американский художник-абстракционист.

ПОЛЯКОВ, Александр Абрамович. (1879 —). Секретарь редакции газеты „Последние новости", до революции работал в газетах в Одессе и Москве. После второй войны — в Нью-Йорке.

ПОПЛАВСКИЙ, Борис Юлианович. (1903—1935). Поэт, эмигрант, один из лучших поэтов „второго" поколения. Пробовал свои силы и в прозе (роман „Аполлон Безобразов"). Сотрудник „Чисел".

„ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ", русская ежедневная газета в Париже. Начата была М. Гольдштейном в 1920 г., с 1 марта 1921 года стала выходить под редакцией П. Н. Милюкова. Последний номер вышел 12 июня 1940 года, накануне вхождения немецкой армии в Париж. В 1930 году, по случаю десятилетия существования газеты, вышел „альбом" фотографий сотрудников, их краткие биографии, история издания газеты, групповые снимки наборщиков и служащих, некрологи умерших сотрудников. Газета помещалась на улице, Тюрбиго, в Париже. Этот сборник, где можно видеть Бенуа и Бунина, Ходасевича и Ремизова, и многих других, теперь забытых, журналистов и писателей, давно стал библиографической редкостью. В 1930-х г. г. тираж газеты доходил до 35.000 экземпляров, по воскресеньям в ней было 10 страниц, из которых часто — 3—4 страницы объявлений.

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, Ольга Осиповна. (1871—196?). Балерина Мариинского театра, из России выехала в 1921—22 г., имела знаменитую школу в Париже, через которую прошли почти все наиболее замечательные танцовщицы этого столетия.

ПРУСТ, Марсель. (1871—1922). Французский писатель, автор „В поисках утраченного времени".

ПУАНКАРЭ, Раймон. (1860—1934). Французский государственный деятель, был в России в 1912 и 1914 г. г. Президент Франции с 1913 до 1920 г.

ПУНИ, Иван. (1892—1956). Французский художник, русского происхождения, принадлежит „парижской школе". Внук композитора, автора музыки балета „Конек-горбунок".

ПЫПИНА, урожденная, в замужестве фан-дер-Флит, сестра А. Н. Пыпина, автора „Истории русской литературы" и др. работ. Свекровь В. П., урожденной Ивашевой, внучки декабриста.

ПЯСТ, Владимир Алексеевич. (1886—1940). Поэт, друг Блока, автор воспоминаний („Встречи", 1929) и книги о русском стихосло-

жении. О нем см. воспоминания Ходасевича о Доме Искусств. Поклонник Стриндберга, он поехал в Швецию, но застал великого шведа при смерти и просидел у него на крыльце несколько дней и ночей.

ПЯТАКОВ, Георгий Леонидович. (1890—1937). Крупный большевик, арестованный Сталиным, жертва террора 30-х г. г. Был осужден на Втором московском процессе и казнен.

РАДЛОВ, Николай Эрнестович. (1889—?), художник, сын профессора философии и редактора сочинений Влад. Соловьева, и Радлов, Сергей Эрнестович, режиссер (1892—1958), имевший свой театр, женатый на поэтессе Анне Радловой. Театр и вся труппа попали в плен к немцам во время войны. Затем труппа была репатриирована, но видимо сослана, потому что после войны о Радлове и его театре больше не было известий.

РАКИЦКИЙ, Иван Николаевич. (1883—1942). Художник, живший в доме Горького, как член семьи с 1919—20 г., когда он пришел ь Петербурге на Кронверкский к чаю и остался до самой смерти Горького. Ему дали прозвище Соловей без всякой причины — пример юмора Максима, сына Горького. Его роль в процессе „убийц Горького" и дальнейшая жизнь и деятельность — до сих пор остаются тайной.

РЕВИЗИОНИЗМ в литературной критике — в СССР два критика (вне России) считаются опасными ревизионистами: Г. Лукач и Ху-Фын. Однако, критические статьи Ху-Фына ставятся высоко и о нем недавно писали, что „его реакционные воззрения не мешают полноценным реалистическим произведениям" — что доказывает существенный поворот в умах самих советских критиков в эпоху так называемой „оттепели".

РЕМИЗОВ, Алексей Михайлович. (1877—1957). Писатель, эмигрант, в течение 30-ти лет не упоминавшийся в сов. литературоведении, сейчас постепенно возвращающийся к жизни, однако до сих пор не переизданный. Автор „Пятой язвы", „Крестовых сестер" и мн. др. романов и повестей, а также замечательной „Взвихренной Руси". Он был автором либретто балета Прокофьева „Алалей и Лейла". До революции, приблизительно 30 томов его сочинений были изданы в России, и около того-же количества — после революции, в эмиграции. Данные о нем можно прочесть в „Русской книге" 1921 г., № 9. В конце прошлого века Р. вместе со своей женой, С. П. Довгелло, участвовал в одной из ранних групп эс-эров в Петербурге. О нем см. мои рецензии в „Новом журнале" № 27 и 31. Одно время в Париже он начал описывать свои сны — реальные или фантастические — где выводил своих знакомых в самых неожиданных положениях (Шестов — в публичном доме, А. в объятиях Б. и т. д.). Ходасевич однажды ему сказал: „Алексей Михайлович, имейте в виду, что я вам не снюсь".

РЕНАН, Эрнест. (1823—1892). Французский историк и филолог.

РИТТЕНБЕРГ, Сергей Александрович. (1899 —). Окончил Петербургский университет и выехал в Выборг в 1918 г., где прожил до войны. Был участником выборгского кружка „Содружество", хотя сам стихов не писал, но тесные связи дружеских отношений связывали его с русскими писателями и поэтами всю жизнь. С 1944 г. живет в Швеции, в 1950—66 преподавал русский язык в Стокгольмском университете. Затем читал лекции по русской литературе. Наша переписка продолжается более 20-ти лет.

РОДИЧЕВ, Федор Измайлович. (1854—1933). Видный кадет, член Гос. Думы. Умер в эмиграции.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Всеволод Александрович. (1895 —). Поэт-акмеист, после долгого молчания выпустил книгу воспоминаний (к сожалению, память ему иногда изменяет) „Страницы жизни" (М.-Л. 1962). В ней есть страницы о Мандельштаме, Волошине, Доме искусств и пр. Но даты и иногда даже самые факты требуют проверки.

РОЗАНОВ, Василий Васильевич. (1856—1919). Журналист-философ, единственный в такой, несколько странной, категории. Автор „Уединенного", „Опавших листьев" и др. оригинальных и несомненно интересных книг. О нем см. В. Шкловский в книге „Сюжет, как явление стиля" — очень ценные наблюдения и острые замечания.

РОЛЛАН, Ромен. (1866—1944). Французский писатель, автор длинных, скучных, небрежно написанных романов, сентиментальных и старомодных; о нем французские левые группировки (политические) имеют весьма высокое мнение. Пацифист во время первой войны, переселился в Швейцарию и жил там как „жертва" французского режима. Безоговорочный сторонник Сталина во время московских процессов, был женат на русской (М. П. Кудашевой, бывшей до того секретаршей советского историка Петра Когана в Москве), как и многие другие французские сталинисты: Элюар, Арагон, Элленс, Лежэ и т. д. В переписке его с Горьким (только частично опубликованной) можно найти замечательные образцы его риторики, смехотворной и жалкой. Роллан писал: „Я упрекал Вас за то, что Вы видите лишь улыбку Франции, я хочу, чтобы Вы видели и ее зубы". А в другом письме к Горькому он выражался так: „Нужно, чтобы стрела, пущенная вдаль, несла будущему человечеству послание живой души. Вы — меткий стрелок, Ваша трепещущая стрела несет будущему одновременно со стонами несчастной России... гениальные вспышки ума и искусства... Вы — близки Рембрандту..." См. Переписку М. Горького с зарубежными литераторами. Москва. 1960. Стр. 340 и 344. И. Дейчер в третьем томе своей биографии Троцкого писал о Роллане: „Поклонник Ганди, „совесть всего своего поколения", использовал свой сладкий евангелический голос чтобы оправдать кровавый террор в России и воспеть главного палача."

РОМАНОВ, Гавриил Константинович. (1887—1955). Сын Константина Константиновича, великого князя и „поэта". Автор книги „В Мраморном дворце" (Чеховское из-во, 1955 г.). Один из очень немногих членов царской семьи, который спасся от расстрела, главным образом — благодаря своей жене, бывшей балерине, брак с которой Николаем II не был в свое время признан, и Горькому, который помог ему уехать в Финляндию. Жил в Париже.

РСФСР — выставка под покровительством правительства РСФСР была организована в Берлине, в январе 1923 г. Из России были привезены образцы русского искусства XX века, кубисты, конструктивисты, футуристы, абстракционисты (ранние, конечно) и многие другие замечательные художники, которые сейчас вряд ли могли бы быть показаны на „казенной" выставке СССР, — экспонаты 1923 г., надо надеяться, в наше время не уничтожены, но лежат в подвалах музеев, ожидая минуты, когда им можно будет воскреснуть — не как сегодняшний день русской живописи, но как часть истории русского искусства.

РОЩИНА-ИНСАРОВА, Екатерина Николаевна. (1885—1970). Актриса русских театров до революции. Сестра актрисы Пашенной. В эмиграции с 20-х г. г. По мужу — графиня Игнатьева.

РУДНЕВ, Вадим Викторович. (1879—1940). Эс-эр, городской голова г. Москвы в 1917 г. Член редколлегии „Современных записок". Умер в По, после бегства из Парижа в июне 1940 года.

„РУЛЬ" — русская берлинская ежедневная газета, редактор — И. В. Гессен. Выходила в 1920—31 г. г.

„РУССКИЕ ЗАПИСКИ", журнал, выходивший в Париже в 1937—39 г. г. Редактор — Милюков. Вышел 21 номер. В 1938 г. в кн. 4 и кн. 11 напечатаны пьесы В. Набокова (Сирина).

РЫКОВ, Александр Иванович. (1881—1938). Председатель народных комиссаров, крупный большевик. Осужден на третьем московском процессе, и казнен Сталиным.

РЫСС, Петр Яковлевич. (ум. около 1948 г.). Журналист правого направления, брат эс-эра Мортимера, который еще в 1906 г. предупреждал партию о двойной роли Азефа, но его никто не послушал.

САБАНЕЕВ, Леонид Леонидович. (1881—1968). Историк и теоретик в области музыки, автор монографий о Скрябине и др. Также автор замечательной (ныне забытой) книги „Музыка речи" (Москва 1923). В 1916 г. написал ругательную рецензию о „Скифской сюите" Прокофьева, которая в последний момент была Кусевицким отложена и не сыграна в концерте в тот вечер — на котором видимо Сабанеев не присутствовал.

САВИЧ, Овадий Герцович. (1896 —). Автор „Воображаемого собеседника", (1928), и книги (в сотрудничестве с Эренбургом) „Мы и они" (о Франции, 1931). Также — см. его ранний роман „Пловучий остров". Друг Эренбурга и его жены, вместе с ними уехал в СССР и сейчас находится в Москве.

САРТР, Жан-Поль. (1905 —). Строки о Бухарине, как о враге народа, можно найти в книге о Женэ, изд. Галлимара, 1952, стр. 544—546.

САРЬЯН, Мартирос Сергеевич. (1880 —). Художник, пост-импрессионист, председатель Армянской Академии художеств.

СЕВЕРЯНИН, Игорь. (1887—1941). Поэт, эго-футурист, популярный в России до революции, после 1919 г. — в Эстонии. Приезжал в Берлин и в Париж (1931 г.), где дал вечер своих „поэз". Сейчас полностью „реабилитированный" в СССР за его патриотические стихи во время войны и тоску по родине.

СЕРАПИОНОВЫ БРАТЬЯ, — литературный кружок 20-х г. г., в который входили Лунц, Каверин, Никитин, Мих. Слонимский, Федин, Зощенко, Всев. Иванов, Груздев, Тихонов и Е. Полонская. В „Литературных записках" 1922, № 3 напечатан их „Манифест". Организовались они в общество в феврале 1921 года, хотя как „студия" существовали раньше. В этом же году был выпущен их первый сборник (второй в России не вышел, а вышел в Берлине в 1922 г.). В феврале 1922 г. Госиздат признал необходимым „поддержать Серапионов при условии их неучастия в реакционной печати". (См. „Новый мир", 1956, кн. 12). О группе писали А. Воронский в „Красной нови" (1922), Ю. Тынянов в „Книге и революции" (1922), В. Шкловский, П. Коган, Л. Троцкий и др. В разное время часть членов кружка (неофициально существовавшего до начала 30-х г. г.) была подвергнута тем или иным репрессиям; Каверин многие годы писал исключительно для детей, о Никитине довольно долго не было ничего известно, Вс. Иванова не раз обвиняли в „фрейдизме", Зощенко стал жертвой Жданова в 40-х г. г. Тихонов и Федин с 1934 г. занимают высокие посты в Союзе писателей.

СЕРОВА, Наталия Валентиновна. (1899—?). Дочь художника и сестра актера, вернулась в Москву около 1932 г.

СИНКЛЕР, Эптон. (1878—1968). Когда-то знаменитый американский писатель, переживший свою славу. В СССР он считается американским соц. реалистом.

СКОБЛИН, Н. генерал Белой армии, муж Плевицкой, сыгравший главную роль в похищении в Париже в 1937 г. генерала Миллера, и видимо причастный к похищению там-же, в 1930 г., генерала Кутепова. Исчез, по слухам, вернулся в Москву и был расстрелян. Любопытная подробность его бегства: после того, как в помещении Обще-воинского союза на улице Колизэ он выбежал из передней, после допроса, поняв, что его через секунду схватят, он не сбежал вниз (как полагали, — его искали на улице), но укрылся в верхней квартире, где жил эмигрант Т., советский агент, который через микрофон слушал все происходящее внизу, и когда Скоблин ворвался к нему, чтобы у него укрыться, дверь Т. была уже открыта.

СКРЯБИН, Александр Николаевич. (1872—1915). Композитор. Первым браком женат на Вере Ивановне, от которой были две дочери,

одна из них — Елена, жена пианиста Софроницкого. Вторым браком женат на Татьяне Федоровне Шлецер, сестре французского писателя русского происхождения, Бориса Шлецера. От второго брака тоже были две дочери, из которых старшая, Ариадна, жена поэта Д. Кнута, была застрелена немцами в Тулузе, как член „сопротивления".

СЛОНИМ, Марк Львович. (1894 —). Эс-эр, эмигрант, в Праге издавал журнал „Воля России". В Париже был редактором „Новой газеты" (1931 г.) и председателем литературного кружка „Кочевье". Автор многих книг о русской литературе, на английском языке, сотрудник американских журналов; был профессором русской литературы в американских колледжах.

СМОЛЕНСКИЙ, Владимир Алексеевич. (1901—1962). Поэт, эмигрант „второго" поколения. Редактор „Ориона" (Париж, 1947). Последний сборник стихов — в 1963 г. в Париже.

СОБОЛЬ, Андрей Михайлович. (1888—1926). Советский писатель, бывший эс-эр. Приезжал в Сорренто весной 1925 г. (см. „Огонек" 1925, № 26). Покончил с собой.

„СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ", русский „толстый" журнал в Париже, выходивший 3—4 раза в год. Наиболее значительное из всех эмигрантских периодических изданий, памятник эпохе 1920—1940 г. г. Проза Цветаевой, романы и рассказы Набокова (Сирина), произведения Ходасевича, Ремизова и других, старых и молодых, поэтов, прозаиков, публицистов, критиков — все прошло через этот журнал, и теперь особенно ценно, как часть истории русской культуры нашего столетия, несмотря на то, что, вероятно, одна пятая материала — никогда никем не будет прочтена.

СОМОВ, Константин Андреевич. (1869—1939). Художник группы „Мира искусств".

СОФИЕВ, Юрий Борисович. (1899 —). Эмигрантский поэт, муж И. Кнорринг, вернувшийся в СССР после войны и реабилитированный на родине.

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ, русская политическая партия, разделившаяся в 1903 г. на большевиков и меньшевиков. Основана в 1898 г. Лидеры — Мартов, Плеханов, Аксельрод и др. (меньшевики) и Ленин (большевики). Меньшевики были частью высланы, частью казнены после Октябрьской революции.

СОЦИАЛ-РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ, русская политическая партия, „крестьянская", связанная с народничеством в своих основных принципах. Состояла из „правых" и „левых" (Блюмкин, Спиридонова, Черепанов и др.). К ней примыкали „трудовики", или „трудовая группа". Как и социал-демократы, эс-эры имели представителей в Гос. Думе. После Октябрьской революции все три группы были ликвидированы.

СОЮЗ ПОЭТОВ, сначала (до октября 1920 г.) — Блок председатель, затем — Гумилев, С 1920 г. — в доме Мурузи, Литейный 30, кв. 7.

СПИРИДОВИЧ, Александр Иванович, генерал. (1873—1959). В 1906—1916 г. г. — начальник личной охраны Николая II. Автор „Истории террора в России" (революционного, конечно). Его архивы находятся в библиотеке Иэльского университета. По слухам, он заводил на каждого эмигранта „дело", по старой полицейской привычке. Жил в Париже, умер в Америке.

СПИРИДОНОВА, Мария. (1885—1935?). Возглавляла группу „левых" эс-эров, которая была ликвидирована после убийства Блюмкиным графа Мирбаха. Видимо, умерла в Сибири, после тюрьмы и ссылки.

СТАЙН, Гертруда. (1874—1946). Американская писательница.

СТЕНДАЛЬ. (Анри Бейль). (1783—1842). Французский писатель.

СТЕПУН, Федор Августович. (1884—1965). Лектор, популярный в России до революции, объезжал провинцию, читал на самые разные темы доклады. Позже — автор романа, не имевшего успеха и ныне забытого. До второй войны — профессор германского университета. Автор двухтомных воспоминаний, интересных благодаря встречам С. с известными людьми, писателями и политиками Москвы.

„СТОЙЛО ПЕГАСА", — кафе в Москве, где собирались поэты, имажинисты и футуристы, в первые годы после революции.

СТОЛЫПИНСКАЯ РЕФОРМА, — от имени председателя совета министров Столыпина, (1906—1911), убитого агентом царской охранки. Реформа касалась крестьянской общины и частных хозяйств.

СТРИНДБЕРГ, Август. (1849—1912). Великий шведский драматург. „Исповедь глупца" (в другом переводе — „безумца") написана им по-французски, затем им-же была переведена на немецкий.

СТРУВЕ, Глеб Петрович. (1898 —). Автор книги „Русская литература в изгнании", (изд. имени Чехова, 1956).

СТРУВЕ, Михаил Александрович. (1890—1948). Поэт-акмеист, эмигрант.

СТРУВЕ, Петр Бернгардович. (1870—1944). Отец Г. П., известный кадет и член Гос. Думы, экономист, историк. Эмигрант. Редактор эмигрантских периодических изданий, после 1918 года ушедший вправо от Милюкова и других.

С. — А. Ф. Ступницкий, сотрудник „Последних новостей", член Союза русских (эмигрантских) писателей и журналистов в Париже. Был инициатором посещения русскими эмигрантами советского посла, Богомолова, в Париже, (после войны), среди которых были Маклаков, Бунин, Маковский и др. 22 ноября 1947 г. было созвано первое после войны общее собрание Союза для выборов правления. В это время несколько членов Союза уже записались в „советские патриоты" и взяли советские паспорта. Им было предложено уйти из Союза, как эмигрантской организации. Большинством голосов это было одобрено, но в виде протеста из общего собрания вышли солидарные с „советскими патриотами" следую-

щие лица: Адамович, В. Н. Бунина, Варшавский, Бахрах, Зуров и В. Андреев. Большинство из покинувших зал позже, конечно, вернулись в Союз, но г. Ступницкого больше там не видели.

СУДЕЙКИНА, Ольга Афанасьевна. (1890?—1947?). Первая жена художника-декоратора Сергея Судейкина, подруга Ахматовой (урожденная Глебова). Друг акмеистов, Артура Лурье, Кузмина и многих других. О ней Ахматова говорит в своей „Поэме без героя". Одно время С. была актрисой в театре Мейерхольда, Мандельштам хорошо ее знал, Г. Иванов о ней писал: „Где Олечка Судейкина, увы! / Ахматова, Паллада, Саломея? / Все, кто блистал в тринадцатом году / Лишь призраки на петербургском льду." (1930?). После революции она оказалась в Париже и ее иногда приглашали читать стихи на литературных вечерах. Моему поколению она казалась чуть-чуть жалкой и чуть-чуть смешной: она видимо помнила — из всех стихов ей известных прежде — только „Бисерные кошельки" Кузмина, и всегда только их и читала. Она была живым воплощением какого-то упадочного и потонувшего мира. Она жила на авеню Мозар, на шестом этаже, в комнате для прислуги и держала 60 птиц. Ее разговор напоминал детский лепет, очаровательный и грустный. Во время одной из бомбардировок комнату ее разбило и всех птиц убило. В „Поэме без героя" Ахматовой, она — одна из звеньев цепи: Кузмин, Князев, С-на и сама Ахматова.

СУЛТАНОВА, Екатерина Павловна. (1856—1937). Писательница, переводчица, одна из „дам" живших в Доме искусств. (Урожденная Леткова).

СУМБАТОВ, Александр Иванович (Южин). (1857—1927). Актер Александринского театра и автор модных в то время пьес.

СУРГУЧЕВ, Илья Дмитриевич. (1881—1956). Отчасти связан с группой „реалистов" времен „Знания". Писатель, драматург, автор „Осенних скрипок", поставленных в МХТ. Это на всю жизнь дало ему большую уверенность в себе. В Париже перед войной — реакционный и аррогантный; во время войны — симпатизировал Гитлеру и чувствовал себя при немецкой оккупации как рыба в воде. Умер после войны —вполне незаметно, и теперь прочно уложен в мусорный ящик истории.

СУХАНОВ, Николай Николаевич. (1882—1931?). Меньшевик, интернационалист, член Петроградского совета в 1917 г. Автор семитомных „Записок о русской революции" (Берлин, 1922—23). Вернулся обратно в Россию, погиб в 1930-х г. г. после того, как был осужден на процессе меньшевиков (1931).

ТАГАНЦЕВА ЗАГОВОР, — по имени сына сенатора Таганцева; монархический заговор, открытый в августе 1921 г. Без суда и следствия были расстреляны 62 человека, среди них проф. Лазаревский, друг Горького Тихвинский, Гумилев, Ухтомский, Бак и др. Аресты были произведены 3-го. Днем расстрела до сих пор считается 24 число.

ТАРЛЕ, Евгений Викторович. (1875—1955). Историк, академик, автор „Нашествия Наполеона на Россию" (1936—38), „Крымской войны" (1941—43), „Истории дипломатии" (1942—46) и мн. др.

ТАТЛИН, Владимир. (1885—1953). Художник-конструктивист, автор проекта памятника Третьему Интернационалу. Также работал как театральный декоратор. Одно время был репрессирован.

ТЕРЕШКОВИЧ, Константин Андреевич. (1902 —). Французский художник русского происхождения, член „парижской школы". В 1933 году написал мой портрет (до колен) маслом, который сейчас находится в коллекции парижского художника Брианшона.

ТЕРЕЩЕНКО, Михаил Иванович. (1888—1958). До революции — издатель, собственник из-ва „Сирин", где вышел „Петербург" Белого. После революции — член Временного правительства, министр финансов (март—май), министр иностранных дел (май—октябрь), до конца с Керенским, как Некрасов и Переверзев. Еще в сентябре (26-го) заверял послов Англии и Франции в полной и абсолютной готовности России продолжать войну. С 1-го сентября — член „директории" Керенского. Только в свете масонства понятна упрямая ложь Терещенко и других до самого конца: даже военный министр Врем. прав-ва, А. И. Верховский, в октябре 1917 года, за несколько дней до переворота, считал, что надо заключать сепаратный мир, и этого не скрывал. В эмиграции Т. не общался с прежними единомышленниками и мемуаров не оставил.

ТЗАРА, Тристан. (1896—1963). Поэт, основатель дадаизма. Основал движение в Цюрихе, в 1916 г.

ТИНЯКОВ, Александр Иванович (псевд. Одинокий). (1886—1922). Печататься начал в 1906 г. Один из русских „проклятых поэтов". Фигура сомнительная — как литературная, так и политическая. „Пропащий человек" без особой ауры благородства и таланта. Г. Иванов часто любил цитировать его стихи: „Любо мне плевку-плевочку / По канавке проплывать".

ТОЛСТАЯ, Александра Львовна. (1884 —). Младшая дочь писателя. Живет в США. Автор замечательных воспоминаний: см. „Совр. записки" № 45—52, 56—57, 59 и 62. Ее последующие мемуары об отце лишены интереса.

ТОЛСТОВЦЫ, — секта, толковавшая Евангелие по Толстому. Глава — В. Г. Чертков, редактор сочинений Толстого. Другой толстовец — П. А. Сергеенко.

ТОМАШЕВСКИЙ, Борис Викторович. (1890—1957). Известный ученый, пушкиновед, профессор, автор многих книг по русской литературе. Я слушала его курс по Тютчеву в Зубовском институте в 1921—22 г.

ТОРНЕЛОЕ, Мелитта. Племянница О. Б. Марголиной, в шутку прозванная Ходасевичем „Зюзей". Приехала в Париж из Варшавы,

где жила с отцом и матерью (Лившиц). Чудом осталась в Париже, нашла работу, вышла замуж за англичанина и переехала в Англию. Вся ее семья погибла. Одно время она была диктором на ББС.

ТРИОЛЕ, Эльза Юрьевна. (1896—1970). Французская писательница русского происхождения, сестра Лили Юрьевны Брик. Т. познакомила свою сестру с Маяковским. В начале 30-х г. г. Э. Т. вышла замуж за Луи Арагона, члена французской компартии. После войны (как впрочем и до нее) Э. Т. с мужем часто ездили в СССР. В 1948 г. был слух, что Ремизов собирается ехать обратно в Россию. Э. Т. пошла к нему и отсоветовала ему это делать, за что он был ей глубоко благодарен. Она переводила стихи Маяковского на французский язык. Ее романы всегда имели во Франции некоторый успех, и особенно она была популярна у читателей в годы немецкой оккупации, настолько, что в 1940 или 1941 году она едва не получила премию Гонкуров. Ее квартира в Париже была местом, где останавливались писатели и актеры приезжавшие из СССР.

ТРОЦКИЙ, Лев Давыдович. (1879—1940). Второй после Ленина деятель Октябрьской революции, создатель Красной армии, наркомвоен, член президиума ЦК компартии и т. д. Автор „Моей жизни", книги о Сталине, „Литературы и революции" и др. работ. Меньшевик до лета 1917 года. В 1928 г. был выслан Сталиным из пределов России, жил в Турции и Норвегии, прежде чем поселиться в Мексике. Издавал „Бюллетень оппозиции", постепенно в 1930-х г. г. терял популярность и сочувствующих. После того, как (прямо или косвенно) Сталин убил четырех его детей, он подослал к Троцкому убийцу, который зверски прикончил его. Его (вторая) жена, Наталия Ивановна, была с ним 38 лет, и умерла в январе 1962 года. Если вспомнить, что Сталин охотился по всему миру за своими политическими врагами, ловил их и уничтожал, — от генералов Белой армии до Льва Троцкого — то даже без ассоциаций с „театром ужасов" или „театром мелодрамы" легко представить себе обертоны жизни политической эмиграции. „Похищения" возобновились с новой силой после окончания войны: см. разоблачения о лагере „Борегар" (под Версалем) во французской прессе второй половины 40-х г. г.

ТУРГЕНЕВА, Анна Алексеевна. (1892—1966). По мужу — Бугаева, первая жена Андрея Белого, „Ася" воспоминаний и „Нелли" — „Записок чудака". С 1915 г. жила в Дорнахе, в Швейцарии.

ТУРГЕНЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА в Париже, существовала с 1875 года, когда Полина Виардо и Тургенев собрали денег и ее открыли. В 1940 году книги были вывезены из помещения немцами и погибли где-то в Германии, в поезде, по дороге в какой-то „институт восточной Европы".

ТЭФФИ, Надежда Александровна. (1876—1952). Год ее рождения точно неизвестен. Писательница-юмористка, фельетонистка легкого газетного жанра. Пела свои стихи под гитару, ее пьески шли в театрах-миниатюр.

УАЙЛЬД, Оскар. (1854—1900). Английский писатель, автор „Портрета Дориана Грея". „Саломея" была им написана по-французски.

УХТОМСКИЕ, Евгения Павловна и Сергей Александрович. Она — урожденная Корсакова, он — скульптор, расстрелянный в заговоре Таганцева.

УЭЛЛС, Джордж Герберт (1866—1946). Английский писатель. Приезжал в Россию в 1920 году, останавливался у Горького на Кронверкском пр., в Петербурге. Отношения были очень теплые. Вторично приехал в 1934 году.

ФАН-ДЕР-ФЛИТ, Константин Петрович; его мать, урожденная Пыпина; его жена, урожденная Ивашева, внучка декабриста. Его дочь — Наташа, моя подруга детства.

ФАРРЕР, Клод. (1876—1957). Французский писатель, автор романа „Человек, который убил". Женатый на артистке Михайловского (французского) театра в Петербурге, Анриэтт Роджерс.

ФЕДОРОВА, София (1881—?). Называлась „Федорова-вторая". Балерина Большого театра, с 1909 г. танцевала у Дягилева, потом с Анной Павловой. Позже заболела душевной болезью.

ФЕДОТОВ, Георгий Петрович. (1886—1951). Соц.-демократ в 1905 г. С 1925 г. — эмигрант. До 1940 г. — в Париже, ближайшее участие принимал в „Новом граде" и „Пути", сотрудник „Совр. записок". После 1940 г. — в США. Автор книг по истории и богословию.

ФЕЛЬЗЕН, Юрий (псевдоним Николая Бернгардовича Фрейденштейна). (1895—1943). Прозаик „среднего" поколения. Погиб в Аушвице.

ФИЛИППОВ, Борис Андреевич. (1905 —). Редактор русских изданий в США (Клюева, Ахматовой, Мандельштама, Гумилева, романа Форш и мн. др.). Вместе с Г. П. Струве занимался издательским и редакционным делом. Сейчас принадлежит к так называемой „новой эмиграции", т. е. выехал из СССР во время войны. Печатал материалы из Советского Союза (Терца, Аржака и др.).

ФИЛОНЕНКО, Максимилиан Максимилианович. (ум. около 1950 года). В 1917 г. играл роль во время дела Корнилова на стороне Савинкова. В эмиграции в Париже сделался видным французским адвокатом. Вел русские дела, наиболее интересные и трудные, как напр. дело Плевицкой. После 1945 г. стал „советским патриотом", приглашался на приемы в сов. посольство в Париже и вел просоветскую пропаганду возвращения на родину.

ФЛОБЕР, Густав. (1821—1880). Французский писатель, автор „Мадам Бовари".

ФОНДАМИНСКИЙ, Илья Исидорович. (1879—1943). С 1905 г. по 1917 — эс-эр, одно время член боевой организации. В Париже с 1919 г. В его квартире жил Савинков до своего отъезда в Советский Союз. Редактор „Современных записок", где под фамилией „Бунаков" писал никем не читаемые (и довольно реакционные) очерки „Пути России". О его жене, А. О. Фондаминской, Зензинов выпустил книгу коллективных воспоминаний в 1937 году. (Урожденная Гавронская). Ф-ий погиб в немецком лагере.

ФОРМАЛЬНЫЙ МЕТОД — в литературной критике. Первые инициаторы В. Шкловский, О. Брик, (Р. Якобсон) и др. Сборники „Опояз" 1916—1919 г. г. После 1927 г. были сов. правительством приведены к молчанию, пытались сначала бороться, потом пойти на компромисс с сов. властью, придумали даже „формально-социологический" метод. С трудом уцелели, 35 лет многие из них вовсе не появлялись в печати. Сейчас в западном мире их работы по теории литературы считаются классическими. В СССР кое-кого из них переиздали в эпоху „оттепели".

ФОРШ, Ольга Дмитриевна. (1873—1961). Писательница, автор „Сумасшедшего корабля" (романа о Доме искусств), вышедшего в 1935 г. Написала много исторических романов, о революционном движении и его участниках. В „Лит. наследстве" кн. 70 опубликована ее переписка с Горьким, где она жалуется, что „в нашей стране люди не понимают и не ценят юмора". Жила в Доме искусств, Мойка 59, кв. 30а. Приезжала в Париж летом 1927 года.

ФРОМАН, Михаил Александрович. (1891—1940). Поэт, одно время секретарь Союза поэтов в Ленинграде. „Незаконно репрессирован, реабилитирован посмертно". Муж Иды Наппельбаум.

ХАКСЛИ, Ольдус. (1894—1963). Английский писатель, автор „Контрапункта" (1928).

ХАРДИ, Томас. (1840—1928). Английский писатель, автор „Тесс из Эрбревилля" (1891), последний большой писатель старой традиции.

ХАРИТОН, Борис Осипович. (1875? —?). Один из администраторов Дома литераторов в Петербурге, журналист, отец Лидии Харитон, подруги Л. Лунца (см. их переписку в „Новом журнале" № 82 и 83). Выехал в Ригу, где долгое время был редактором большой вечерней газеты на русском языке, „Сегодня вечером". В 1940 г., после занятия Риги советской армией, был депортирован в Сибирь.

ХАТИСОВ, Александр Иванович. (1878?—194?). Председатель Кавказского Союза городов, член Гос. Думы. В 1916—17 г. г. городской голова г. Тифлиса. В 1917 г. — министр иностранных дел и председатель Совета министров Армении. Автор воспоминаний. В эмиграции — глава (в Париже) армянского „офиса" по делам беженцев при Лиге Наций.

ХЕМИНГУЭЙ, Эрнст. (1898—1961). Американский писатель, Нобелевская премия 1954 г.

ХОДАСЕВИЧ, Владислав Фелицианович. (1886—1939). Родился в Москве, отец — потомок польских эмигрантов, мать — дочь известного автора „Книги Кагала", Якова Брафмана, крестившегося в свое время и получившего от Александра II дворянство. Поэт, критик, автор биографии Державина, мемуарист и переводчик. После 40 лет был реабилитирован (см. „Москва" 1963, кн. 1). Часть его бумаг пропала, когда его квартира была разгромлена немцами в Булони, под Парижем. Часть вошла в мой архив и находится в библиотеке Иэльского университета. Часть бумаг была мною передана М. М. Карповичу и осталась после его смерти среди его бумаг. И, наконец, некоторые печатные материалы я отдала в свое время Б. И. Николаевскому, и они теперь в его архиве, в Хуверовской библиотеке в Калифорнии. Х., как и Цветаева, и как некоторые другие эмигрантские писатели, не раз чувствовал те ограничения, которые политики старых русских партий накладывали на него. Из газеты Милюкова ему пришлось уйти после того, как М-в сказал ему, что он газете „совершенно ненужен". Он перешел в „Возрождение", где ему было гораздо свободнее, но газета была „правого" направления, т. е. главным образом рассчитана на читателей — бывших военных Белой армии, с которыми у Х. конечно ничего общего не было. В „Совр. записках" его держали в строгости, боялись его „острого" языка и „дурного" характера. Когда он начал писать свою повесть „Младенчество", „левая" часть эмигрантской общественности была возмущена: кому интересны его воспоминания детства? Что он, Лев Толстой, что-ли? Давление было столь сильным, что ему пришлось бросить начатую книгу. В 1965 г. в № 4 „Воздушных путей" она была перепечатана, как одна из лучших вещей, написанных в эмиграции, и сейчас переводится на английский язык. Можно сказать, что с Х. случилось то, что случилось с Зощенкой: когда он стал писать о своем „младенчестве" („Перед восходом солнца") главный палач Сталина приказал ему прекратить свою повесть, как никому ненужную, что Зощенко и сделал. Разница, конечно, была в том, что Зощенко грозили репрессии, а Х. — они не грозили. Повесть Зощенко тоже теперь перепечатана, и она тоже — не закончена... Нью-Йоркская Публ. Биб. в 1962 г. (15 февраля — 1 июня) устроила выставку первых и редких изданий Х-ча и его портретов, на которую пришло несколько советских культурных делегаций. Его портрет (работы племянницы В. М. Ходасевич—Дидерихс) помещен в альманахе „Гриф" (1913 г.). Летом 1917 г. Х-ч участвовал в „Новой жизни" Горького (см. №№ за 20 и 27 мая, и др.). В 1964 г. Харвардский студент, аспирант по классу русской литературы, стал автором дисертации о творчестве Х-ча, под руководством проф. В. Сечкарева, и по инициативе Р. О. Якобсона: это был Филипп Радли, переводчик этой моей книги на английский язык („The Italics are Mine").

ХОДАСЕВИЧ, Михаил Фелицианович. (1865—1927). Старший брат поэта, видный московский адвокат и отец художницы.

ХОДОТОВ, Николай Николаевич. (1878—1932). Актер Александринского театра. После 1929 г. играл в районных театрах.

ХОЛОДНАЯ, Вера. (1892?—1918). „Звезда" немого кино, начала у Ханжонкова, имела молниеносный успех, стала чрезвычайно популярна. Играла во всех крупных постановках (Последний фильм — „Живой труп" — 1918 г.), часто с Иваном Мозжухиным. Умерла от сыпного тифа.

ЦВЕЙГ, Стефан. (1881—1941). Австрийский писатель, выехал в Южную Америку и там застрелился.

ЦВЕТАЕВА, Анастасия Ивановна. (1894 —). Сестра Марины. О детстве и юности в Москве, о ее поездке к Горькому в Сорренто (1927 г.), о встрече с Мариной в Медоне, под Парижем (1927 г.) см. ее воспоминания в „Новом мире", 1966 № 1 и 2. Под псевдонимом она писала о поездке к Горькому и раньше: см. „Новый мир" 1930, № 8 и 9. Видимо, между 1939 г. и 1941-ым была депортирована, как и дочь Марины — об этом см. у Антокольского в его воспоминаниях в „Новом мире" 1966 кн. 4. (Там-же намек на гибель Эфрона).

ЦВЕТАЕВА, Марина Ивановна. (1892—1941). Поэт, мемуарист, критик, драматург. Сначала — в Праге, затем, с 1926 г. — во Франции. Выехала в Москву в начале лета 1939 г. Покончила с собой в Елабуге. Однажды, в Праге, в 1923 году, в номере гостиницы „Беранек" в присутствии Р. О. Якобсона, Цветаева вдруг спросила: „Как вы думаете: Конради — святой?" (Конради был убийца В. Воровского.) Ходасевич незаметно сделал знак Якобсону, чтобы тот не вступал с М. Ив. в политический спор. После неловкого молчания, разговор перешел на другую тему.

ЦЕНТРИФУГА, поэтическая группа состоявшая из трех человек: Асеева, Боброва и Пастернака. (Перед революцией).

ЦЕРЕТЕЛИ, Ираклий Георгиевич. (1881—1959). Меньшевик, лидер партии, член второй Гос. Думы, член Временного правительства в 1917 г., эмигрант с 1919 г. Автор мемуаров. До конца 1940-х г. г. — во Франции, затем в США. Остроумный, светский, интересный и образованный человек. При первой встрече (в Нью-Йорке в 1952 г.) он весь вечер смотрел на меня внимательно, и затем сказал: Смотрю на вас, и не понимаю, никак не могу разгадать загадку: отцом я могу вам прийтись, или дедушкой? На что я сказала: отцом, если бы вы очень постарались.

ЦЕТЛИН, Михаил Осипович. (1882—1945). Поэт, критик. Эмигрант. Сначала в Москве имел „литературный салон", затем перенес его в Париж. Сын богатого москвича, женатый на Марии Самойловне Тумаркиной, коллекционер картин, издатель (альманаха „Окно"), близкий человек редколлегии „Совр. записок". Член партии эс-эров. Автор книг о „могучей кучке" и др. Его

жена первым браком была замужем за „правым" эс-эром Н. Д. Авксентьевым, игравшим роль в 1917 г. Сам он был в родстве с семьей жены Фондаминского.

ЦЕХ ПОЭТОВ — основан Гумилевым, в него входили акмеисты. Вышло 4 альманаха, некоторые уже в Берлине, после революции. В Петербурге, при жизни Гумилева, Цех сливался с Союзом поэтов, где Гумилев был председателем (и в Цехе — „синдиком").

ЧАБРОВ, Алексей Александрович. (1888?—1935?). Настоящая фамилия — Подгаецкий. В ранней молодости — близкий человек Скрябину. Затем актер. Позже перешел в католичество и жил в монастыре в Бельгии. Ему Цветаева посвятила свой цикл „Переулки" (в книге „Ремесло").

ЧЕЛИЩЕВ, Павел. (1898—1957). Французский художник и театральный декоратор русского происхождения. Работал с Дягилевым. Его жизни и творчеству посвящена книга: Parker Tyler, The Divine Comedy of Pavel Tchelitchew. Fleet publ. N. Y. 1967.

ЧЕРНАЯ СОТНЯ, реакционная погромная „организация", поддерживаемая царским правительством, активно действовавшая в 1906—1911 г. г.

ЧЕРНИХОВСКИЙ, Саул Гутманович. (1875—1943). Поэт так называемого „возрождения древне-еврейской поэзии". Выехал из России; с 1931 г. жил в Палестине. Писал „идиллии", которые были переведены на русский Ходасевичем (гекзаметром). Второй после Бялика поэт XX века на „иврит".

ЧЕРНОВ, Виктор Михайлович. (1876—1952). Лидер партии эс-эров. Министр Временного правительства. Эмигрант — сначала в Праге, затем в Париже, позже — в США. Автор мемуаров.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, Михаил Николаевич. (1858—1924). Сын критика, близкий семье А. Н. Пыпина.

ЧЕХОВ, Михаил Александрович. (1891—1955). Племянник писателя, актер 2-го МХТ-а, в середине 20-х г. г. (после триумфов в Москве) выехал в Европу. Сначала имел театр в Риге, затем играл в Париже. Позже уехал в Холивуд, где имел школу. Автор воспоминаний. Главные роли: „Эрик XIV", Хлестаков, Гамлет, Аблеухов; также замечательный режиссер.

ЧИРИКОВ, Евгений Николаевич. (1864—1932). Писатель из группы „Знания", его пьеса „Евреи" шла в МХТ. Эмигрант, жил и умер в Праге.

„ЧИСЛА", — журнал на русском языке, издавался в Париже, издатель и редактор Н. А. Оцуп. (1930—1934). Вышло 10 номеров.

ЧУКОВСКИЙ, Корней Иванович. (1882—1966). Переводчик, мемуарист, детский писатель. В 1921—22 г. с семьей жил в Манежном переулке, дом 6 (второй вход был со Спасской улицы). Интересен обмен письмами между ним и А. Н. Толстым в „Накануне" 1922, № 6 и „Нов. Русск. Книге" 1922, № 7.

ЧУКОВСКИЙ, Николай Корнеевич. (1905—1965). В юности — поэт, затем писатель. Его „Встречи с Мандельштамом" напечатаны в „Москве" 1964, № 8. Брат Лидии Корнеевны, автора повести „Софья Петровна", „Новый журнал" № 83 и 84.

ЧУЛКОВ, Георгий Иванович. (1879—1930). Поэт, писатель, одно время — друг Блока. Автор мемуаров „Годы странствий" (1930). Интересны его стихи в альманахе „Белые ночи" (1907), обращенные к Л. Д. Блок и копирующие манеру самого Блока. В „Культуре театра" см. также его статью „К истории Балаганчика" (1921, № 7—8).

ЧУРЛИОНИС, Николай. (1875—1913). Один из первых „абстракционистов", литовец, жил в Петербурге, выставлял в 1906—1911 г. г. О нем см. статью Вяч. Иванова в „Аполлоне" 1914, № 3.

ШАЛЯПИН, Федор Иванович. (1873—1938). Знаменитый русский бас. Друг Горького, эмигрант.

ШАРКО, Жан Мартэн. (1835—1893). Французский невропатолог.

ШВЕЙЦЕР, Рената. Племянница доктора Швейцера, (1875—1965), лечившего прокаженных в Африке. Корреспондентка многих великих людей XX века.

ШЕСТОВ, Лев Исаакович. (1866—1938). Философ-экзистенциалист, эмигрант.

ШИШКОВ, Александр Семенович. (1754—1841). Идеолог реакции, с 1813 года — президент Российской академии, глава общества „Беседа".

ШКЛОВСКАЯ, Наталия Александровна. (1901 —). Двоюродная сестра Виктора Борисовича, моя подруга по гимназии, поэтесса. Упоминается в „Блоковском сборнике", а также в „Новой Русской Книге" (Ремизовым) в 1922 г. № 1, стр. 8.

ШКЛОВСКИЙ, Виктор Борисович. (1893 —). Основатель „формального метода", автор многих книг, считающихся в западном мире „классическими". Выехал из России в феврале 1922 года, спасаясь от ареста, прожил в Берлине около года, издал несколько книг, вернулся в Советский Союз. В 1930 г. выдвинул принцип „литературы факта", чтобы избежать репрессий за формализм, но это ему мало помогло и на 25—30 лет он был вынужден уйти из первых рядов литературы и критики. Вернулся к жизни во время „оттепели". Его брат — Владимир Борисович, учился в Духовной академии.

ШМЕЛЕВ, Иван Сергеевич. (1875—1950). Писатель „реалистического" направления, эмигрант, сейчас издаваемый в СССР.

ШНИЦЛЕР, Артур. (1862—1931). Австрийский драматург, автор „Хоровода" (1894) „Покрывало Пьеретты" — пантомима, переделанная из его ранней драмы „Вуаль Беатрисы" (1901).

ШОУ, Джордж Бернард. (1856—1950). Английский драматург. Любопытны его ранние романы (они обычно не помещаются в полных собраниях его сочинений), когда молодой Шоу был „фабианцем"

и энтузиастом английской рабочей партии: они — образцы соц. реализма и могли бы стать основанием литературного направления в будущей коммунистической Англии. Знал ли их Горький, когда писал „Мать"? Шоу приезжал в Россию в 1931 году.

ШПЕНГЛЕР, Освальд. (1880—1936). Историк, философ, автор „Заката Европы".

ШТЕЙГЕР, Анатолий Сергеевич. (1907—1944). Парижский поэт „молодого" эмигрантского поколения. Написал З. Н. Гиппиус письмо, по ее просьбе прислал ей стихи и фотографию. Был принят на „воскресеньях".

ШТЕЙНЕР, Рудольф. (1861—1925). Основатель антропософии, автор многих томов „для посвященных", жил и умер в Дорнахе, в Швейцарии. А. Белый познакомился с ним около 1912 года и до своего отъезда в Россию, в 1916 году, он и его жена были ближайшими учениками Ш-ра. После смерти немецкого поэта-антропософа Моргенштерна и самого доктора Ш-ра, антропософия потеряла популярность, которую имела. В СССР антропософская ложа была закрыта после 1922 года и антропософы подверглись репрессиям. Штейнер, по мнению его знавших, был высоко образованным человеком, мистиком, многосторонним ученым, особенно в области ритмического балета, философии, истории религий, театра, педагогики, метеорологии, гимнастики, и др.

ШТИРНЕР, Макс. (1806—1856). Немецкий философ-индивидуалист.

ШУШНИГ, Курт фон. (1897 —). Австрийский канцлер 1934—1938.

ЩЕГОЛЕВ, Павел Елисеевич. (1877—1931). Историк революционного движения, редактор журнала „Былое" (в последние годы, после В. Л. Бурцева), сначала издававшегося в Лондоне (1900), потом в Петербурге (1906—07) и возобновившегося в 1917 г. (до 1926 г.).

ЩЕПКИНА-КУПЕРНИК, Татьяна Львовна. (1874—1952). Переводчица.

ЩЕРБА, Лев Владимирович. (1880—1944). Филолог, профессор, автор книг по вопросам лингвистики.

ЭЙЗЕНШТЕЙН, Сергей Михайлович. (1898—1948). Кинорежиссер.

ЭЙХЕНБАУМ, Борис Михайлович. (1886—1959). Один из основателей „формального метода", позже от него отошедший, автор замечательных статей и книг („Как сделана Шинель", три тома о Толстом, „Мелодика стиха" и др.). В журнале „Книжный угол" (1918—22, редактор-издатель Виктор Ховин) можно найти, ныне забытые, чрезвычайно интересные статьи Э-ма, как напр. „Миг сознания" (№ 7, 1920). Это издание было полно свежего, нового элемента в литературной критике. Э-м, после многих трудностей в 30-х г. г., получил возможность продуктивно возобновить работу в конце 50-х г. г.

ЭЛЛЕНС, Франц. (1881 —). Французско-бельгийский писатель, переживший свою славу, в 20-х г. г. полностью принявший советский режим. Кореспондент Горького.

„ЭПОПЕЯ", журнал Андрея Белого, в Берлине, вышло 4 книги 1922—23 г. г. Там были напечатаны „Воспоминания" его об Александре Блоке (впоследствии им переделанные в России в три тома). Издатель — А. Г. Вишняк.

ЭПОХА, издательство С. Г. Каплуна-Сумского (в Берлине, в 1922—25 г. г.), меньшевика, впоследствии жившего в Париже и работавшего в „Последних новостях". Эпоха издавала „Беседу" Горького (1923—25) и собрание сочинений А. Блока, как и другие книги. Сумской был братом Бориса Каплуна, о котором можно прочесть во многих воспоминаниях, от Мережковского до Никулина. Он остался в Петербурге и погиб. Сестра Сумского была замужем за издателем Белицким.

ЭРЕДИА, Жозе-Мария. (1842—1905). Французский поэт, парнасец, его сонеты вышли в 1893 году.

ЭРЕНБУРГ, Илья Григорьевич. (1891—1967). Автор стихов, романов, рассказов, корреспонденций. Его мемуары „Люди, годы, жизнь" — одна из выдающихся книг нашего столетия. В последнем томе советского издания выпущена глава о смерти Фадеева. Ее можно найти в английском издании. Его ранний роман, „Хулио Хуренито", после сорока лет был переиздан в Советском Союзе, но без главы 23-ей.

ЭФРОН, Сергей Яковлевич. (1892—1939?). Муж М. И. Цветаевой. Замешан был в деле ген. Миллера, а также в убийстве Игнатия Рейсса и др. О нем см. книгу проф. С. Карлинского „Марина Цветаева" (по-английски), 1966, США, а также описание деятельности Союза возвращенцев в Париже (для репатриации эмигрантов в Советский Союз), где Эфрон играл большую роль, в книге Исаака Дейчера („The Prophet Outcast". 1963) и в книге Е. К. Порецкой (вдовы Рейсса) „Our Own People". Oxford University Press. 1969.

ЭФРОС, Абрам Маркович. (1888—1954). Искусствовед и переводчик (Данте, Петрарка и др.). Автор „Эротических сонетов".

ЮШКЕВИЧ, Семен Соломонович. (1868—1927). Писатель на темы еврейско-русского быта, из группы Горького и „Знания". Его пьеса „Miserere" шла в МХТ. Эмигрант.

ЯБЛОНОВСКИЙ, Сергей Викторович. (1870—1953). Журналист, оратор на литературных собраниях как в Москве, так и в Париже. Когда он выступал с огненной речью, его почти не было видно на эстраде по причине малого роста, и „молодые" в зале дерзко кричали ему: „Яблоновский, встаньте!" На что он, не понимая иронии, неизменно отвечал: „Я уже стою".

ЯГОДА, Генрих Григорьевич. (1891—1938). Один из крупных чекистов в линии Дзержинского—Ежова—Берии. Помогал Сталину после убийства Кирова ликвидировать интеллигенцию, активно работал для первых московских процессов, но был сам арестован и осужден на третьем процессе (вместе с Бухариным, Рыковым, Раковским, Крючковым и др.). Расстрелян по суду, после признаний.

ЯКОБСОН, Роман Осипович. (1896 —). Один из основателей „формального метода", в молодости — близкий друг В. Б. Шкловского, в студенческие годы — член Лингвистического кружка в Москве. Затем — основатель „пражской школы" лингвистики в Праге; позже — в Америке, профессор Харвардского университета, один из крупнейших славистов, видный специалист в своей области, автор многих ученых томов — см. его библиографию: A Bibliography of the Publications of Roman Jakobson on Language, Literature and Culture. Cambridge, Mass. 1951.

ЯКОВЛЕВА, Татьяна, в замужестве г-жа Либерман — см. П е н з а.

ЯР и Стрельна — московские рестораны с цыганским хором.

ЯСПЕРС, Карл. (1883—1969). Немецкий философ-экзистенциалист.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ОГЛАВЛЕНИЕ